Калина в палисаднике

I

После трех дней непрерывных дождей и холодного ветра высокий берег реки, круто повертывавший ниже мельницы по течению, походил на огромную полуковригу черствого хлеба, глубоко источенную мышами. Впрочем, воскресное солнце, первый день после дождей весело заигравшее на мутноватых еще, быстрых всплесках воды, уже слегка подсушило и берег; и лошади, тройка, спускаясь с горы, отфыркивались в разные стороны от тепловатого, их охватившего, пара. Кучер, не отпуская вожжей, левой рукою поправил шляпу с сизо-зеленым пером и крепко разгладил усы с мелкими, на них осевшими, каплями: слобода была позади, впереди — как-никак город.

— Касатку-то попридержи,— сказал господин из тарантаса немного ленивым и еще густым, по-утреннему, голосом.

Ничего не ответив, кучер для вида шевельнул правой вожжой. Касатка еще раз досадливо фыркнула и получила короткий удар ременным кнутом.

Барин достал папиросу и закурил. На вид ему было не более сорока, на самом же деле сорок седьмой. Он был моложав и, кроме того, молодился. Усы были круто закручены и двумя полусерпиками кидали легкую тень на свежие щеки; коричневая борода, густая и мелко вьющаяся, была аккуратно подстрижена и небольшою лопатой выдавалась вперед. От груди ненакрахмаленной мягкой рубашки под бородой слабо дышало ароматом фиалок; белье по старинке нянюшка Василида перекладывала свежими фиалками, и Валентин Петрович с детства привык к этому запаху. Височки его серебрились заметно и давно уже, но он устоял перед искушением и к красящим гребешкам не прибегал. «Что, друг Валентин,— сказала ему однажды жена,— и у тебя?..» — «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник»,— отшутился тогда Валентин Петрович, и эта шутка почему-то и самого его освежила. «Пусть,— подумал он,— и это не так уже плохо... при молодом лице»,— и купил себе шляпу для осени и для весны из темного бархата, она к нему действительно шла.

В широком разливе реки, выше мельницы, отражались ближние мещанские домики с мохнатой листвою деревьев, синими ставнями с вырезанным посередине сердечком, с неуклюжими трубами над стареньким, протекающим тесом; кое-где уходил в глубину синеватый прерывистый дым, разорванный дважды: и ветерком, и зыбью самих крутящихся струек. Глубже всего уходил длинный шпиц колокольни, под ним расстилались белыми пятнами одни облака. Впрочем, одно из них белело совсем неглубоко.

PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190

Смутная грусть на минуту заволокла лицо Валентина Петровича: он не отдавал себе в ней ясного отчета, но несомненно, что шла она именно от этого отражения улицы, уездного городка в тихом течении речки,— было оно, как и всякое отражение, чем-то психологически родственно воспоминанию и говорило о зыбкости и преходящести жизни. Но когда он попригляделся к этому странному облаку между домов, даже сощурив глаза и подавшись вперед, то не мог не рассмеяться: это была отраженная калина в цвету.

Валентин Петрович поднял глаза и увидел направо, не так далеко от плотины, низенький домик в несколько окон; во всю длину его шел палисадник, густо набитый сплошными кустами калины; она цвела, и цветущие ветви ее, узловатые, пышно и крутло раскинутые, лились застывающей пеной через края загородки. Крепким здоровьем и изобилием жизни была налита она в холодноватых купах своих снежных цветов.

«Какая краса»,— подумал Валентин Петрович и, сняв шляпу, пробежал привычным движением пальцев по волосам. Они проезжали плотину. На стоке вода, стесненная с боков, густо сбегала по откосу досок и падала, звонко крутясь и посвечивая острыми спинками струй, между крупных, мокро блестевших камней. Речка ниже плотины сразу делалась бедной, но не унылой, быстрыми рукавами растекалась она между островков, зеленых и каменистых, а дальше, на повороте, уже отражала соборную гору и храм на верхушке ее, залитый солнцем. Мальчишки и девочки, с подмокшими штанишками и юбчонками выше колен, с увлечением плескались в воде и рылись в песке.

Как самодельный лук, круто и нервно натянутый со стороны города, была эта, блещущая серебром, полоса реки, а сам городок зеленый, дремотный, негусто теснился невысокими, скромными домиками на низком неправильном полукруге на том берегу. «Лук направлен против меня,— подумалось Валентину Петровичу,— да кто же из него выстрелит?» Эта мысль, однако, тихонько его кольнула. Он надел свою шляпу и опять откинулся в кузовок тарантаса. От полосатой старой материи шел слабый, несколько затхлый запах пыли и тления, приятно освеженный воздухом утра.

Между тем Федор тронул коней; упруго и сильно натянулись постромки, упряжь слилась с лошадьми, и колеса, приятно и сочно похлипывая свежими, влажными колеями, быстро покатились по сырой еще от дождей, заросшей гусятником и кудрявой птичьей гречихой, широкой, вдоль реки загибающей улице. Быстро мелькнули ветки калины за палисадником серого домика, и в лицо Валентина Петровича пахнуло от них холодком, а несколько брызг, как ему показалось, упали на лоб, бороду, щеки и даже рубашку. «Вот и я промелькнул там, в реке, в этом плывущем и неуплывающем облаке»,— подумал он смутно и опять улыбнулся неопределенной улыбкой.

II

Валентин Петрович Алтухов не был богат, но его имение, около двухсот десятин хорошего чернозема, было в полном порядке, дела велись образцово, во все он вникал самолично и ежедневно на беговых дрожках объезжал поля. Образование его было небольшим: он кончил реальное училище да всего один год пробыл в сельскохозяйственной академии в Петровско-Разумовском. Политикой он никогда не увлекался, но был добрым товарищем, ходил в косоворотке и с изрядной сучковатой дубинкой, курил из трубочки дешевый табак, пел песни и при случае вышивал; на Бутырках в трактирах знали его хорошо и отпускали в кредит. Ему было жаль оставить свою студенческую вольную жизнь, но смерть отца и несколько запущенные дела по имению заставили его возвратиться домой и заняться хозяйством.

Этим новым делом недавний студент занялся прилежно: по зимам усердно читал агрономические фолианты, а летом приглядывался ко всему у соседей, что могло ему пригодиться и что не мешало бы перенять, и он добился-таки того, что Ясенки стали давать доход, с каждым годом все возраставший. Одним из первых в губернии он стал культивировать клевер на семена, и дела его пошли превосходно. Он был единственный сын у отца и видный в уезде жених. Долго, однако, предпочитал Валентин Петрович свободную холостяцкую жизнь, уезжая на зиму месяцев на пять в Москву. Часто и многими он увлекался, но настоящей страсти не знал, и даже женитьба его на тридцать девятом году на молоденькой, двадцатидвухлетней девушке, дочери известного в Москве хирурга-профессора, была наполовину случайной и во всяком случае внезапной и неожиданной для него самого. Невесту свою он видел (не будучи с нею знаком) всего два раза, на концерте и на балу в Благородном собрании; она чрезвычайно любила общество, танцы и музыку, и сама была музыкантшей. Валентина Петровича молодая девушка очаровала с первого взгляда; она была тонка, стройна и гибка; волосы ее были удивительного перламутрово-пепельного оттенка, а в глазах были смешаны грусть и веселость. Ему, человеку довольно бывалому, казалось невозможным к ней подойти, взять ее за руку, как просто делали другие, сказать несколько слов. И, однако, когда он встретил ее в третий раз у своей московской тетушки в ее особняке в Лиховом переулке, он здесь же сделал ей предложение. Теперь этот день вспоминался Валентину Петровичу как очаровательное, никогда в действительности не бывшее сновидение.

Агния зашла с прогулки к своей подруге-консерваторке, кузине Валентина Петровича. Той не было дома, и тетушка познакомила ее со своим деревенским племянником. Он неловко откланялся ей и сел в углу. Девушка была чем-то, видимо, сильно взволнована, расстроена и огорчена. Она попросила разрешения сесть за рояль и, быстрыми движениями сняв, как бы отрывая пальчик за пальчиком, длинные черные перчатки и кинув их на блестящую крышку ин-

струмента, стала играть. Валентин Петрович сидел насупротив, молчал и слушал, не отрывая глаз. Агния также, казалось, не обращала на него ни малейшего внимания, играя то наизусть, то раскрывая первое попавшееся; звуки были ей совершенно необходимы и говорили что-то свое, слушателю же — свое. Не говорили (Валентин Петрович в музыке был совершеннейший профан), но странно сливались с его чувством почти неземного восхищения к девушке, которое охватило его с небывалою силой; он отдавался им (и ей) безвозвратно. Вся жизнь его, прошедшее и будущее, без резкой разделительной грани, как море с набегающими волнами, колыхалась в нем, и каждая волна звенела, звала и утверждала.

Порою перед глазами его вставала Агния между белых колонн собрания, живая и изменчивая, окруженная молодыми людьми, которые все (о, наверное!) были от нее без ума, и ему становилось страшно. Каждый из них мог взять ее и похитить. «Да, я сделаю это»,— говорил он себе и, весь красный от волнения, встал, когда она поднялась. Тетушка несколько раз входила и выходила во время игры.

— Ну что же, не дождетесь Наташи? — спросила она теперь, когда гостья, не глядя, взяла с рояля перчатки; одна из них, скользнув по платью, легла на паркет, Агния ее не заметила.

Она хрустнула пальцами и отвернулась. Валентин Петрович заметил светлые слезы в уголках ее глаз, вид этих слез глубоко его поразил.

— Нет, не дождусь,— ответила она и быстро, заторопившись, попрощалась и вышла в переднюю.

Валентин Петрович нагнулся и поднял перчатку, от нее сильно пахло духами; он также вышел за дамами.

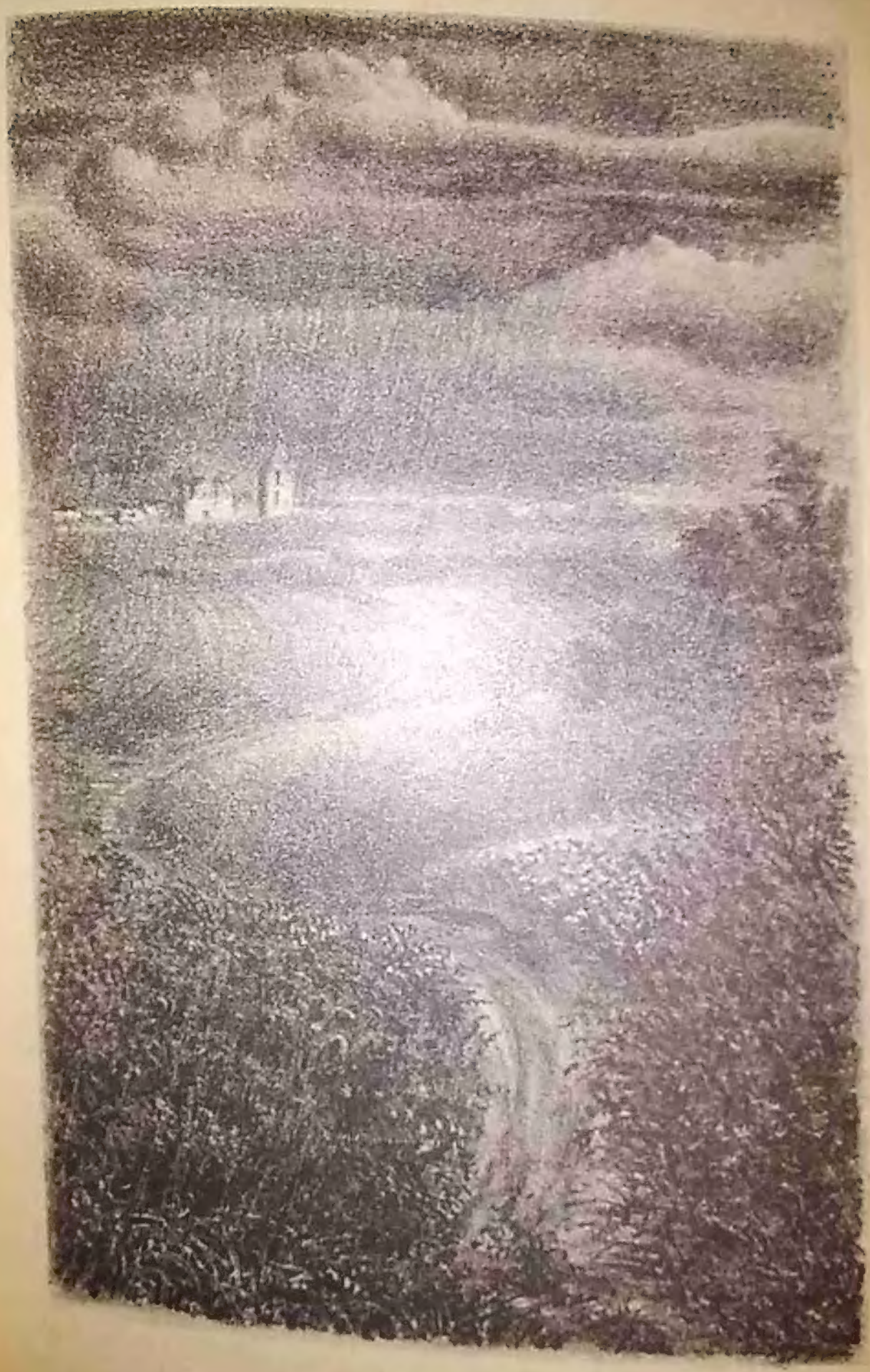
Агния уже надела левую, когда заметила, что другой перчатки нет. Вернувшись, искали втроем и не нашли.

— Я думаю, тетушка, что ваш кот стащил,— сказал Валентин Петрович, посмеиваясь.

— И то правда,— ответила тетушка.— Степа у нас большой безобразник (Степаном звали кота),— и вышла в столовую.

Они остались вдвоем. Агния стояла, полуопершись у рояля, и глядела в окно, где падал медленный снег. Валентин Петрович ждал ее взгляда. Он до сих пор не проронил еще ни слова, но теперь совершенно овладел собой; глаза его сияли решимостью и любовью. Внезапная мысль, раз зародившись, не уходила и, как живая сила, толкала его на мальчишество, на жуткий и завлекательный риск; но все это было бесконечно серьезно. Девушка перевела глаза наконец на него и не отвела их, а, остановив, глядела, пораженная общим его выражением; уже в молчании, может быть, передалось ей его необычайное состояние.

Тетушка в поисках безобразника Степы была не слышна, слабым отсветом ложились на паркет залы переплеты окон, за ними на улице падали все гуще, бесшумно кружась, снежные хлопья, в глуби



лакированной крышке рояля отражалась милая, печальная и изумленная головка Агнии.

— Ваша перчатка у меня, и она моя,— сказал Валентин Петрович, не двигаясь.

Агния слабо ему улыбнулась, но тон его слов был таков, что тотчас лицо ее стало серьезным.

— Пусть так,— сказала она и продолжала глядеть.

Тогда Валентин Петрович взял ее руку, правую, в свою и, наклонившись, твердо и с силой проговорил:

— А кто владеет перчаткой, тому должна принадлежать и рука.

Девушка вспыхнула, ничего не сказала, но руки не отняла; все это так странно совпало с ее, неизвестными Валентину Петровичу, переживаниями.

Когда вошла тетушка, Валентин Петрович пошатывался; голова его кружилась, а сердце ныло, как бы изнемогая под бременем счастья, хотя она ничего не сказала и только не отняла руки.

Были потом и еще свидания, встречи и разговоры, беседа с профессором, но этот час зимнего вечера, четыре часа пополудни восемнадцатого января в пятницу, остался самым волнующим и самым диковинным воспоминанием.

Сама она ни о чем из прошлого своего не говорила, но позже, когда Агния, после полутора лет жизни в деревне, оставила мужа, он, перебирая и сопоставляя на печальном досуге своего одиночества все самые мелкие факты, уяснил для себя, что у нее была крупная и роковая неприятность с человеком, которого любила, и в особенно горькие минуты он не уставал повторять себе, что она вышла за него «с досады» и «назло» кому-то. Теперь он знал даже, кому,— в одном из писем своих она назвала его имя; я знал его почерк по адресам на письмах, которые Агния часто от него получала и никогда не показывала; знал, что ей нравилось в нем, соображая об этом по тому, что ей не нравилось в муже.

Полтора эти года они прожили, впрочем, дружно и нежно, с редкими размолвками, но было в чувстве обоих нечто как бы недовершенное; захвата и полноты чисто человеческой страсти Валентин Петрович за время своей супружеской жизни так и не узнал. Со стороны на него глядя, этому трудно было поверить, но у души есть и иные законы, чем те, которые на первый взгляд читаемы людьми в фигуре, в чертах лица, внешнем характере.

Отъезд Агнии, вернее побег, за границу со скрипачом-виртуозом Дубовским (он выступал на том самом концерте, когда Валентин Петрович впервые Агнию увидел) произвел на него впечатление чрезвычайное. Крошечный мальчик Борис остался отцу и вырастал на попечении няни.

Около трех лет провел Валентин Петрович в строгом уединении, запершись от соседей, которым дал пищу для разговоров и пересудов на долгие месяцы; даже хозяйство перестало его, казалось, вовсе интересовать. Он выписывал в эту пору много книг, больше

по философии и преимущественно по древней. Была зима, когда засел было даже за греческие учебники, но как следует их не одолел, а в одну чудесную весну с вечно живой ее философией, из самых недр земных подымающейся в запахе талой, отопревшей земли, в желтых и теплых закатах, в движении зелени и вод, сложил свои книги в дубовый высокий шкаф и выехал в поле. Он не махнул рукою на прошлое, оно не умерло в нем, но для других он сделался вновь общительным и приятным хозяином и собеседником, прежним, знакомым всем Валентином Петровичем.

Время от времени на расспросы знакомых он сообщал краткие сведения о жене — Агния изредка писала ему о своих успехах в музыке, о даваемых ею концертах. Но за последние годы эти письма становились все реже, и уже более полутора лет Валентин Петрович принужден был говорить, что новостей нет никаких. Делал он это с обычною простотой и видным спокойствием, так что судить о том, остался ли все же в душе его какой-нибудь след, никто не решился бы наверняка.

III

Заехав на почту и рассеянно сунув в карман пальто газеты и письма — корреспонденция у него была почти исключительно деловая,— Валентин Петрович отправился в банк, в управу и по другим обычным делам, а пообедать, уже часу в шестом, зашел к голове, старому товарищу по реальному училищу.

В доме у головы, Аркадия Андреевича Струкова, настроение было не совсем обычное. Веселый гомон, напоминающий предвечернее щебетание птиц, прилетевших на ранний ночлег и гомозящихся на верхушках старых берез, был слышен и с улицы. В раскрытые окна было заметно, как кто-то несколько раз взмахивал, встряхивая или расправляя, полотнища легкой белой материи. Из-за горшков кактусов, фуксии и болотной, сбившейся густо, травы, похожей на крохотные пальмочки, выглянуло сразу четыре или пять девических лиц, послышался смех и возня быстрой уборки. Вылезая из тарантаса, Валентин Петрович припомнил, что близился срок выхода замуж Сонечки, старшей дочери Аркадия Андреевича: вероятно, шла спешка в приготовлениях к свадьбе.

Так это и было. В дверях, на пороге, встретил его сам хозяин. Он был по-домашнему — в поношенном персидском халате с широчайшими расшитыми рукавами. Распахнув его на груди и закрыв, как занавесью, всю дверь, Струков покрикивал весело и хриповато, будто спросонья, и как бы перебрасывая слова через голову:

— Живо, живо! Пришел! Глядит! Убирайтесь!

Валентин Петрович остановился, улыбаясь.

— Ты нас застал, как на бивуаке. Они меня прямо из спальни вытолкнули прикрыть им отступление.

— Кто?

— А девчонки! Целый полк. С утра до вечера восточный базар. Ну, бог с ними!.. Здравствуй.

Он протянул с приветствием пухлые руки вошедшему.

Звонкий вскрик раздался из комнаты. Кого-то все же застали врасплох. Валентин Петрович заметил белую руку, обнаженную, кусочек кружева с коротенького рукава; несколько каштановых, сильно вьющихся прядей метнулись в просвете дверей, слегка ударяясь о плечо.

В зале был беспорядок, не все успели убрать.

— Примерки все, к свадьбе. Целый содом,— сказал Струков, позевывая и расправляясь в плечах; обширный живот его под рубашкой мягко поколыхивался.— Шьют всем гуртом, и портниха сороковой нынче день как в дому. А свадьба-то уже в воскресенье.

— Папочка, дай мне там... на кресле в углу.

— И мне у рояля...

— И мне на диване...

— И мне...

Отец замотал головой и закричал под девичий смех, возобновившийся с новою силой:

— Мы лучше уйдем! Мы лучше уйдем! Как будет обед готов, позовите!

— Ну и прекрасно, давно бы пора догадаться,— ответили из-за двери.

— Тут ведь не только мои,— пошлепывая стоптанными вышитыми туфлями, продолжал Аркадий Андреич разъяснять положение дел.— Я уж теперь и не разберусь, кто свои, кто чужие, подруги, да родственницы, да портнихи, да еще какие-то девы... Ну, как клеверок, бушует после дождей?

Они вошли в кабинет и стали раскуривать по сигаретке.

— Обед у нас нынче, милый друг мой, с опозданием.

Обед действительно начался при свечах. Валентин Петрович подумывал было уже и уехать, пока Аркадий Андреич ходил переодеваться, но тот его отговорил, призвав на помощь жену.

— Ночь видная, месячная, куда вам спешить, дети не плачут ведь,— говорила Ольга Григорьевна,— и жена не ждет,— добавила она и немного смутилась.

Но Валентин Петрович сам повторил за нею:

— Да, и жена не ждет,— и вздохнул.

Веселая беготня в струковском доме, смех за стеной, много раз начатая и тотчас оборванная, короткая чья-то мелодия, царапанье веток из сада, как будто кто постукивал розовым ноготком, подразнивая,— все это странно действовало на него сегодня; не мог он забыть и кружевной узкой полосочки над смуглым чьим-то плечом. Разговаривая о последних городских и газетных новостях, он слабо, однако, отзывался на них, опять привычная грусть обволакивала его все еще красивую голову, но в грустном чувстве этом не было покоя примиренности, и не была она широкой, объемлющей стихией, словно бы сгущалась и затвердевала она, как куполом тонко-

по стекла отгораживая его от молодых бьющихся голосов за стеной; как резвые касатки, задевали они крылом о стекло, и в сердце болезненно отзывался уколом всякий вскрик.

— Пойдемте, пойдемте,— тащила его между тем Ольга Григорьевна,— а впрочем... Аркаша, он ведь не знает еще...— И она убежала с мягкою живостью уже полнеющей, но еще подвижной сорокалетней женщины.

Валентин Петрович вопросительно взглянул на Струкова, который, переодевшись, поправлял мягкий коричневатый галстук и улыбался.

— А вот увидишь!— ответил тот добродушно и с оттенком извинительной отцовской гордости.

Через минуту двери открылись опять, и вошла двухлетняя Ирочка, последняя дочка Аркадия Андреича. Смеющимися глазками посмотрела она на отца и на гостя.

— А-едать,— пролепетала девочка и одной ручонкой схватила палец отца, другой — Валентина Петровича; оба последовали за ней.

— Славная тройка, не правда ли?— сказал, улыбаясь, отец.— Особенно коренной: не уступит и твоему. Ты ведь не знал, что она уже говорит?

Валентин Петрович вздохнул.

Обед был накрыт на террасе; горели свечи под стеклянными колпаками, летние мошки кружились вокруг, а сад уходил в темноту и казался очень большим.

Старшая, Сонечка, поздоровалась первая, закрасневшись в качестве невесты; другие встретили его также весело.

— А где же Оля? А Нина? А Катя?

— Все разбежались, папочка!

— Одна храбрая Настенька здесь? Молодец! Вы не знакомы?

Пока Валентин Петрович оглядывался, ища, о ком говорят, Струков взял его за плечи и повел, подталкивая, в угол террасы:

— Видишь, где она спряталась?

Из полутьмы, в ветках орешника, росшего над балюстрадой, на Валентина Петровича сверкнули смеющиеся глаза, и оттуда же протянулась рука в суровой вышитой кофточке, открытая выше локтя.

— Это она вас боится, она вас боится!— запрыгали хором, топоча ножками, струковские девочки.

— И ни капельки не боюсь,— сказала Настенька смущенно-вызывающе, выступая из темноты.— Я тут щелкала листьями.— И она на ходу еще сдернула несколько листков с ветки орешника и, приложив к губам, звонко и мастерски, по-мальчишечьи, щелкнула.

— Ну и прекрасно, что не боитесь, хотя он у нас хват, возьмет так, в обнимку, хлоп — и увез!— Струков хлопнул в ладоши, и все стали рассаживаться.— А почему ж те ушли?

— Они придут после обеда,— ответила Сонечка.

— Они пошли за Колей и Васей и за Андрюшей,— добавила Лиза.

— И за Гусиком,— закончила Лида.

Ну, ты молчи,— хлопнула ее Сонечка салфеткой и опять закраснелась.— Какой еще такой Гусик!..

— Гусик — это не что-нибудь. Гусев Василий Никитич, мой будущий зять,— пояснил отец Валентину Петровичу,— молодой инженер, голова! И красавец. Они все тут в него влюблены. Не правда ли, Настенька?

Девушка энергично тряхнула своими короткими волосами, так что они разлетелись веером в стороны, и сжала неумело презрительно губы.

— И ни капли,— сказала она.

— Всё ни капли да ни капли,— возразил, передразнивая, Аркадий Андреич и затолкнул салфетку за мягкий ворот рубашки.— А мы с тобой, брат, по рюмочке, а? Рябиновой, что ль?

Глаза Валентина Петровича встретились с насмешливо веселыми, но не укрывшими и смущения глазами Настеньки, и он весело согласился выпить рюмку рябиновой.

Девочки звонко смеялись, постукивая ножами и вилками. Все были на две косы, у всех кос-как подвязаны ленточки, у всех розовые щеки и аппетит завидный.

— Ешь, ешь. Неизвестно, как муж [illegible] будет кормить,— говорил отец Сонечке.— Ух, сколько их! [illegible] шутливым отчаянием покрутил головой.— А наследника [illegible]. Всех пристраивай! Жаль, ты не холост.. [illegible] Валентин Петрович на этот раз несколько нахмурился. Настенька [illegible]

— Аркаша,— перебила жена,— ты [illegible] пятую?

— Ничего, на каждую дочь по паре [illegible] и крышка,— ответил муж, наливая шестую.— Первый круг еще обхожу.

Он сделался разговорчив и весел. Валентин Петрович был очень ему благодарен в душе за эту его разговорчивость. Сам он чувствовал сегодня странное смущение, вообще ему мало свойственное.

Едва ли не впервые за это последнее время ощущал он опять с особенной тоской свою бездомовную жизнь. Пока Боря был маленький, хоть он-то был ближе ему. Теперь рядом с нянькой появилась еще гувернантка; недалеко время, когда надо будет отдавать в гимназию. Агния... О ней сегодня вскользь помянули два раза, и точно тронули соты давно покинутого улья, сквозь кору затвердевшего, побуревшего воска тяжелыми, крепкими каплями выступил мед старательно запечатанных воспоминаний, а аромат его, старый и отстоявшийся, заволакивал грудь. Молодое веселье пенилось здесь еще беззаботнее над белою длинною скатертью; мило пунцовилась Сонечка при каждом намеке на жениха, усердно толкались коленками и локтями средние девочки. Ирочка клала отцу в рот листочки салата, а он целовал ее пальчики; мать с серебряной разливательной ложкой похожа была на Юнону. А он? А его жизнь в прадедовском доме? Хозяйство и книги, тишина кабинета и унылые другие, более десяти, пустующих комнат?.. Даже Боря и тот так редко смеется, и Валентин Петрович не раз задумывался о том, как

о может отозваться на характере мальчика – впечатления детства значительно невыгладимы. . Но сейчас ему не хотелось останавливаться в мыслях на этом. Было нечто мешающее, и такое простенькое деревенское имя носило оно – имя Настеньки.

Красивою девушку назвать было нельзя, для этого лицо ее не было прежде всего достаточно тонко. Лоб был высок и открыт, а нос несколько широк, как и все лицо, веснушки теснились у глаз в изобилии. Но глаза и рот были хороши несколько дикою красотой. Глаза темно серые, с очень большими ресницами, блестящи и влажны, они должны бы быть особенно хороши в запущенном, старом лесу, где в сумерки пробегают, пригнув несколько спины, осторожные пары волков, один за другим, и где на заре из лиловой норы, подобной небольшому кургану, раздается полуписк по-птичьи проснувшихся и вечно голодных многочисленных волчат. Рот мал, но губы ярки и полны и походили на длинную двоечку, надрезанную посередине. Вся головка Настеньки была невелика, но коротенькие кудри, откидываясь при [illegible] и неожиданно резких, окрыляли ее. Румянец [illegible] нежный розовый [illegible] девочек Струковых [illegible] крепким загаром [illegible] на щеках, шея крепкая, смуглая очень.

Валентин Петрович [illegible] Настенька особенно [illegible] бочно отгадал, что рука [illegible] обнажена перемычка рубашки через [illegible] как и вся, чуть угловатое, принадлежащее [illegible] производило на Валентина Петровича несколько [illegible]. Но и лицо не [illegible] то, что она [illegible] сегодня, недостаточно просто и своими резковатыми движениями [illegible] хотела порвать невольную и досадную [illegible] неловкость. И это ему было почему-то приятно и странным образом [illegible] с нею. И вообще от присутствия Настеньки за столом давно забытое ощущение стесняемости, ощущение молодое, откуда-то подымалось все возрастая, в нем. Будто старому пенсионеру, навстречу задымившимся его воспоминаниям, говорила душа «прости» и открывала, крохотную пока, дверку навстречу повеявшей молодости. Встретились одновременно два ощущения, оба достаточно сильные: сожаление о неудавшемся прошлом, просторный гул от одиноких шагов в просторном дому и острые иглы пробившейся между бревен зеленой травы, еще не зацветшей, но по-весеннему ароматной и свежей.

Валентин Петрович не знал, как этому столкновению чувств суждено было обостриться и осложниться еще в самые ближайшие дни; сейчас он чувствовал себя немного смущенно, ему было и печально, и радостно одновременно. Он мало ел и не был особенно оживлен за столом, но за сдержанностью его приходила в движение новая жизнь.

IV

Почти тотчас после обеда, пока старшие сидели еще за столом, самых маленьких отправили спать, а подростки и девушки вышли встречать Олю, Нину, Катю, Андрюшу, Колю, Васю и Гусика... Все они быстро вернулись, столкнувшись с подходившими у самых ворот. Поздоровавшись с Валентином Петровичем, вся эта молодая компания, включая сюда и Гусика, очень милого молодого человека, с еще юношескими, но уже гладко выбритыми щеками, в очках, сквозь которые глядели его голубые молодые глаза, все эти девочки и мальчики очень скоро, один по одному, со ступеньки на ступеньку скатились в темный сад. Они догоняли друг друга, были слышны удары ладоней по спине и общий топот ног. Валентину Петровичу показалось, однако, что он различает Настенькин бег, особенный среди других, и, поймав себя на этом, он слегка покраснел. Это последнее смутило его окончательно. «Я уж теперь и не разберусь, кто свои, кто чужие»,— вспомнились ему слова Аркадия Андреича, сам он, однако же, разбирал, отчетливо выбирая одну.

— Посмотришь на молодежь,— говорил между тем Аркадий Андреич, стряхивая широко расставленными пальцами последние крошки с бороды,— и сам делаешься как-то поспокойнее, что ли... Право... Мне вот сегодня еще в управу идти, чепуха какая...— Он легонько зевнул.— Хотим увеличить базарный сбор со скотины... Сюжетец веселенький!

— Аркаша, ты совсем неприлично зеваешь,— заметила Ольга Григорьевна.— Хорош ты будешь на заседании...

Струков встал, потягиваясь; поднялся и Валентин Петрович.

— Нет, уж без чаю я вас не отпущу,— задержала его Ольга Григорьевна.— Месяц взойдет, и поедете. Поскучайте полчасика, а я тут порядок пока наведу. Может быть, в сад хотите пройтись, к этим сорокам? Напугайте-ка их!

Валентин Петрович поколебался, но ехать домой ему не хотелось, и он уступил, а через пять минут, простившись с Аркадием Андреичем, сходил по ступенькам в темный, слабо подрагивавший от внезапных налетов ветерка струковский сад. Едва он сделал несколько шагов в темноте, как споткнулся о брошенные у террасы кегли. Это его немного смутило. «Куда я пойду? Довольно глупое положение,— подумал он.— Никуда не пойду. Кажется, там, у сирени, есть лавочка, посижу и покурю». С помощью спички он отыскал скамью и закурил папиросу. «Сорочье пугало,— подумалось ему.— В самом деле похоже...»

Со стола быстро убрали и свечи унесли, чай готовился в доме. Теперь окна светились за переплетом дикого винограда, окидывавшего перила сквозящими пятнами лапчатых листьев. Куст орешника, откуда вышла к обеду Настенька, темнел плотною массой. Сад казался большим и незнакомым. Ни смеха, ни напеванья не было слышно, доносился издали короткий, обрывистый разговор, необ-

щий и редкий. Им хорошо и молчалось. Что они делали там и почему так притихли?

Валентин Петрович, покуривая, сидел, несколько сгорбившись, и водил концом сапога по песку. Его радовал огонек папироски, то приближавшийся к лицу, то вновь отдаляемый: с ним не было так одиноко. Вдруг он услышал шаги позади себя, они возникли из темноты совершенно внезапно и приближались к нему; легкий песок поскрипывал под ногами. Валентин Петрович инстинктивно затушил папиросу.

— Должно быть, он в доме,— услышал он чей-то негромкий голос.

— Ну и глупо,— ответил другой.— Не чай же он там собирает? Я побегу, в окно постучу.

— Ну, ну!

Две тени, уже загодя на носочках, стали прокрадываться мимо террасы.

«Что это со мной? — соображал между тем Валентин Петрович, не выдавая себя.— Отчего мне вдруг так радостен самый голос ее и вдвойне занимает, что она меня вспомнила?»

Он видел из своего убежища фигуры двух девушек и то, как Настенька, подойдя к окну и встав на карниз, заглянула в глубь дома и потом, помедлив и не увидев его, все-таки крепко, несколько раз стукнула в стекло и отскочила [illegible] волосами.

— Шалите вы там,— нараспев [illegible], выглянув, Ольга Григорьевна.— Чай еще не готов.— И [illegible] хлопнулось.

— Знаешь, Анюта, а что, если он [illegible]? Где-нибудь спрятался? Ты знаешь, а он мне...

— Что?

— Нет... Не скажу!

Затем обе вскрикнули: «Ай!», схватились за уши и побежали.

Они только что миновали скамью, когда Валентин Петрович, и для себя самого неожиданно, хлопнул в ладоши за самыми их головами. И Настенька, и Анюта Струкова быстро бежали в потемках, хохоча и спотыкаясь и уже схватившись за руки; Анюта повизгивала время от времени. Ветки хлестали им головы и еще больней ударяли следом в лицо Валентина Петровича. Он, однако, настигнул бежавших и с разбегу разнял их сжатые руки.

— Что, испугал? Испугал? — говорил он, неловко преодолевая смущение и не отпуская их рук, крепко сжимая холодную Анютину и горячую Настенькину.

— И ни капли.

Валентин Петрович весело рассмеялся, эти три знакомых словечка совсем развязали его. Он высоко взмахнул руками и коротко притянул обеих к себе.

— Слушайте, тогда мы давайте их напугаем.

И дальше они пошли таясь, как заговорщики. Напугать удалось; какие-то таинственные листья опускались в потемках на головы сидевших в кружок, что-то щекотало у шеи и по рукам. Все по-

искакали и, вооружившись также сначала короткими, а потом и по-
больше безжалостно наломанными ветками, стали отражать напа-
ление из темноты. Поднялась веселая возня, гомон и неразбериха.
Все перепутались, и теперь инстинктивно только держали мальчики
сторону мальчиков, девочки девочек, как и быть подобает в насто-
ящей первобытной игре. Валентину Петровичу, как неожиданному
зачинщику, доставалось больше других. Мальчики, увлекаясь,
ополчились вплотную, удары сделались крепче; девицы не отстава-
ли. Когда начали вырывать ветки из рук, подростки перешли уже
в невинную, но все-таки больную рукопашную. Тут уж действитель-
но трудно было различить, кто и где. Однако горячие Настенькины
руки, очень сильные, взмах кудрей ее, залеванных лицо, особенно
энергичные удары веткой, сопровождаемые щелканьем языка, как
будто бы хлопали хвостом орешника, Валентин Петрович их
узнавал.

Давно уже кликали к чаю, и все наконец двинулись к дому, но
приближение это было все же радостно длительным: битва ветвями
и встречи рук продолжались.

— Наконец я поймал и вас. (Настенька [illegible] и ловко увертывалась.)

— А кто я?— спросила она.

Валентин Петрович только сжал [illegible] вопроса не повторила.

— «А он...» Что вы начали. Ты хотела сказать? Что вы хотели сказать?— Валентин Петрович не решался напомнить: «А он мне...»

— Когда?

— А там, у террасы.

— «А он...» Ах, да, я хотела сказать: «А он веселый, я и не знала...»

Настенька вырвала руки и убежала.

— Мы! Мы! Чай пить! — кричала она уже на террасе.

V

Все возвратились в столовую подозрительно красные и растрепанные. Ольга Григорьевна навстречу им улыбалась.

— Посмотрите-ка, каковы! Да где вы? — проговорила она, обращаясь к Валентину Петровичу и не видя его хорошенько между ними.

— Да, да... Я здесь,— отвечал он, трогая волосы и напуская их на височки.

Он был красен не меньше, если не больше других, борода была смята несколько в сторону, галстук в другую, а из-за борта пиджака торчала тонкая веточка сухой, прошлогодней березы.

— Батюшки мои!— ахнула Ольга Григорьевна.— Да что же с вами они с вами палелали?

Она даже хлопнула себя по бедрам руками и, опустившись в плетеное кресло, надолго расхохоталась. Рассмеявшись и все, и

Валентин Петрович стоял в образовавшемся полукруге и улыбался смущенно и счастливо. Настенька была позади других, и Валентин Петрович видел только ее смеющиеся, задорные и ласковые глаза.

Чай прошел очень весело, со сменявшимися одно за другим с поразительной быстротой и неожиданностью незначительными, но всех очень смешившими маленькими происшествиями. Мальчики, казалось, очень подружились с Валентином Петровичем и поминутно брали у него папиросы; было очень забавно и весело, что этот важный помещик с бородой и поднятыми кверху усами совсем между ними как свой.

Когда было истреблено полторы коробки печенья, не считая хлеба, ватрушек и пряников, и самовар подогревали два раза, стали прощаться. Это заняло еще с полчаса. Валентин Петрович, взяв слово со всей веселой компании приехать к нему еще до свадьбы «справлять девичник», предложил пока подвезти, кому по дороге. Оказалось, что всем, кому и вовсе не по дороге. Но всех усадить, конечно, не было возможности, Федор на козлах кряхтел, охал и злился и что-то настойчиво, но невразумительно повторял о ненадежной шине на колесе. Поместилось все же семь человек.

Федор тронул демонстративно медленно и продолжал невнятно ворчать. Но, должно быть, [illegible] кони заразились общим весельем, да и лошади застоялись [illegible] и смеющийся тарантас покатил резво и бойко [illegible] сонного городка. Следом за ним просыпались собаки [illegible] в отдалении за тарантасом, как волны за [illegible] прорезавшего [illegible] водную гладь. Одно, [illegible] таки настоящ[illegible] и справедливо, это не ехать по [illegible] мощеной [illegible] города в ее невероятных выбоинах [illegible] конечно, погибла бы.

Гусик и Настенька оставались последними. Они жили на двух разных концах города и вовсе, казалось, не хотели слезать. Валентин Петрович примолкнул, а Гусик рассказывал Настеньке, сам оживленно смеясь, различные случаи из своей недавней еще студенческой жизни. Настенька сидела теперь, перебравшись с козел, рядом с Валентином Петровичем, Гусик напротив нее. Оживляясь, он наклонялся к девушке, касался ее рукава. Настенька беспечно и звонко смеялась. «Они все тут в него влюблены», — вспомнились Валентину Петровичу слова Стружкова. — «И ничего в этом нет удивительного», — добавлял он, вздыхая про себя, механически ему самому, почти против воли. Василий Никитич был привлекателен, в нем было много нетронутого, простодушно веселого. Но от этого сознания Валентину Петровичу не было легче.

Всходила луна, красным щитом поднялась она на востоке и стала над городом, еще низкая и таинственная. Все вокруг странно переменилось, и город показался иным, далеким и старым. Почему-то непроизвольно припоминались теперь давно минувшие времена, татары, поле битвы, может быть и луна, освещавшая трупы, воткнутые стрелы и перебитые копья. Настенька стала смеяться все реже и раз даже тронула руку Валентина Петровича, придвину-

лась ближе к нему. Василий Никитич также скоро замолк; в лунном отсвете блестела оправа его очков, когда он повертывал голову.

Подъезжали к реке с другого конца, от мельницы: здесь был проезд на шоссе. Василий Никитич поблагодарил и слез. Настенька простилась с ним равнодушно.

— Ну, теперь трогать на мост? — обернулся Федор с козел, искоса поглядывая на барышню.

— Нет, назад поворачивай, — отозвался Валентин Петрович, — барышне надо туда, — он махнул рукой. — Мы поедем опять через плотину.

— Тогда сперва-начала было надо туда, а то непорядок, не путь ночною порой через мельницу. — Недовольно и круто Федор стал повертывать лошадей.

Валентин Петрович ничего ему не сказал. «Много ты понимаешь», — подумал он про себя, а на вопросительный Настенькин взгляд повторил и вслух, негромко, сразу повеселев:

— Много он понимает, не правда ли?

Настенька задумчиво и важно кивнула ему головой. Новое, вместе с поднявшимся месяцем охватившее ее настроение не покидало девушку. Они ехали теперь в медленной тишине. Дома казались покинутыми и неживыми. Таинственно поблескивали купола и кресты церквей в отдалении, слабо серебрился тес на крышах домов. Валентин Петрович тоже молчал, но уже не от смущения, не от неловкости. Он понимал, что и Настенька молчит не оттого, что они остались вдвоем и им не о чем говорить, она стала слушать что-то в себе еще раньше, и молчание ее казалось знаменательным. Валентин Петрович невольно покорялся ему, и странное ощущение постепенно возникло в нем, подчиняя себе ум, волю и воображение. Это было ощущение спокойного, важного течения жизни, где все имеет свое место и свою значительность. Настенька, безмолвная рядом, уже не была для него случайной веселою спутницей; казалось, они давно уже едут так в тишине между домов, и душа ее, таинственная и большая, не чужая ему.

Вдруг он почувствовал, как девушка с силой сжала его пальцы: теперь рука ее была холодна. Валентин Петрович, встрепенувшись, взглянул на нее и не узнал Настенькиного лица. Оно было бледно, губы слегка закушены, а глаза глядели остро и жутко. Он невольно подался к ней.

— В такую же ночь... — начала Настенька и замолчала, но через минуту Валентин Петрович услышал, как тихо и отчетливо она договорила: — В такую же ночь я потеряла его. — И пальцы ее, крепко сжимавшие руку Валентина Петровича, медленно стали разжиматься, и сама Настенька так же медленно отвернула лицо; было заметно, как дрогнули ее губы.

Валентин Петрович ничего не сказал, не спросил, но не дал ей отнять свою руку. Он отчетливо сжимал теперь ее холодные пальцы

и горькая жалость и нежность заливали его грудь. Так вот откуда шла его внезапная и властная симпатия к ней, вот почему молчание было таким полным и родившим их между собой! Она больше, чем кажется, и раны их — близкие раны. Стоило лишь отойти теплым домашним огням и растаять узору теней, как на место свечей зажглись в вышине далекие серебряные звезды, и месяц поплыл по обширному полному куполу небес; то же самое совершилось и в душе человеческой: говор, игра, блеск глаз и улыбка ушли, осталось сердце и рана, дума и жизнь, огромная колесница, важно катящаяся между миров.

— Спасибо вам,— сказала Настенька, когда, прощаясь, Валентин Петрович коснулся губами ее руки.— Нет, подождите!

Она соскочила с подножки и подбежала к палисаднику.

«Как странно,— думал между тем Валентин Петрович,— что она живет именно здесь, точно я чувствовал». Калина сплошным серебром заливала весь палисадник, казалось, сама луна пролилась здесь у дома; в окнах было темно. Руки купались в белых цветах, медля, казалось, расстаться с веселой работой.

— Ну, вот вам. Я очень вам б[illegible]лодарна,— сказала она, вкладывая какое-то свое, значительное содержание в эти слова и передавая ему небольшую охапку [illegible] цветущих веток; цветы и листва, вздрагивая, коснулись [illegible] бороды Валентина Петровича.

Он принял их также обеими руками [illegible] и руки Настеньки. Губы ее опять были закушены, но [illegible] и в них была внезапная удаль.

— Так вы приедете? — спросил Валентин Петрович.

Настенька молчала; зубы ее влажно блестели, а от рук, через холод цветов, шла опять теплота.

— Так вы приедете ко мне? — повторил он вопрос.

— Хоть сейчас, — ответила Настенька с таким же внезапным лукавством, вызовом и чуть заметной усмешкой.

Валентин Петрович потянул ее и крикнул Федору:

— Пошел!

Настенька едва успела вскочить.

— Во весь дух! — прошептала она.— До первой версты!

— А потом?

— Не к вам же? До первой версты, а потом я добегу.

— Ночью? Одна? Я вас опять довезу!

— Ни за что! Или я сейчас соскочу!— И Настенька даже приподнялась.

— Сумасшедшая,— сказал, мягко беря ее руки, Валентин Петрович.— Сядьте же.

— Так принимаете мой уговор?

— А вы не боитесь?

Настенька только покривила губами.

— Ни капли! — ответила за нее, передразнивая, Валентин Петрович, она кивнула головой и рассмеялась.

Лунный свет дробился в воде, как будто серебряную муку просеивала мельница, и она звенела, упадая и рассыпаясь.

— Я люблю, я люблю...— неизвестно о чем говорила Настенька, ловя воздух рукой и кидая его впереди себя. — Я хотела бы правит[illegible] сама, лететь, ах!..— И, без всякой логики, наклонилась низко за тарантас и, как бы зачерпнув воды, плеснула ею в лицо Валентину Петровичу; шляпа Настеньки сдвинулась набок, она совсем смахнула ее.

Неизвестно, что думал Федор на козлах, но он пустил лошадей в гору вовсю; впрочем, он не ворчал и лицо его, всегда немного суровое, было мягким.

От внезапных Настенькиных переходов — точно она всю себя кидала, безжалостно, целиком в самые острые и разнородные чувства — сердце Валентина Петровича [illegible] странная музыка; резкая, острая скорбь и великая радость звучали в одинаково высоком строю. Но было и нечто другое, странное и [illegible] одновременно. Холодновато [illegible] бог знает что [illegible] ужели ветки калины? — [illegible] между Валентином Петровичем и Настенькой [illegible] руки не разлучались, они переплетались [illegible] прижимались [illegible] которым несказанно хорошо от близости [illegible] шесть лет был Валентин Петрович [illegible] как может жить и до [illegible] преступно в себе убили.

До первой версты — это было мгновение, и оно же было длительно, полно, волшебно. Свое странное [illegible], резковатое [illegible] крик летящей зигзагами чайки, Настенька несколько раз испускала из груди, и каждый раз видел Валентин Петрович дикое блестя[illegible] в глазах ее. А весенняя игра шла своим чередом: [illegible] цветы и Валентин Петрович так неистово хотел коснуться губами того самого места, где касались они, что не раз [illegible] мгновенные волосы.

Настенька соскочила на ходу, не подрассчитав. Федор [illegible] вил лошадей. Но она закричала:

— Не надо! Не надо! — и побежала, взмахивая руками [illegible] ловя воздух и, как мячик, кидая перед собой.

Валентин Петрович приказал Федору ехать тихо и, обернувшись, долго глядел на быстро бежавшую под месяцем [illegible] и слушал звон ее бега. Он не хотел думать о том, что [illegible] в груди, он отдавался пришедшему безраздумно. Одно мгновение в его голове серебряный звук реки, оповестивший [illegible] уже был слышен, и стрела [illegible] ему не хотелось ее вынимать из [illegible] сердца.

VI

Валентин Петрович долго не мог уснуть. Дом был погружен в темноту, но все его огромные комнаты заливал месячный свет. Он лежал, уткнувшись в подушку, мысли его не были отчетливы, они удивительно приятным образом смешивались и переплетались, почти сливаясь, с отрывочными, зыбкими воспоминаниями и непосредственными ощущениями, даже с самыми примитивными, первобытными из них, коренившимися в теле, в крови, в теплоте рук под головой. На короткий миг он забылся. Блестела крышка рояля или отсвет мокрого теса под месяцем, и в блестящей поверхности отражались колеи гладкой дороги, а может быть, и переплет окна. Кажется, падал снег медленными белыми хлопьями, но он был похож на цветы, крупные шапки сиреней, угловато-неправильных. «А кто владеет перчаткой...» – начинал Валентин Петрович и не доканчивал. Чьи-то другие глаза, с острым и прерывистым блеском, глядели на него. «И ни капли не так», – слышал он шепот. Потом уже не было ни снега, похожего на цветы, ни цветов, падавших медленным снегом, а дробилась, играя в лучах, и вилась серебряная сыпучая и текучая река у плотины, и далеко кто-то кричал в степи: «А-а! А-а!»

Валентин Петрович поднял [illegible] темными тенями был вычерчен переплет окна на стене, и как [illegible] дрожащая серая полоса пересекала его. Он поглядел в окно. Через [illegible] наискось, расширяясь, шла полоса серого дыма, она [illegible] изменяла свои очертания, но тянулась не прерываясь. «Дым», – подумал Валентин Петрович и приподнялся на локте. Смутное, четкое удивление не потревожило, однако, его, не поднято с места. Может быть, это всего лишь продолжался сон? «Какой пирокластический струей проходит он», – подумалось Валентину Петровичу, и точно бы было это мыслью о самом себе.

Так он провел, опершись локтем о подушку, минуты две, но холодная струя воздуха из чуть приоткрытого окна освежила его. Он вгляделся еще и рассмеялся. То, что он принял за дым, было отчетливое вязи, росшего в некотором отдалении перед окном. Огромная ветвь с побочными сучьями, одетыми листвой, странно серела в лунных лучах. Нет, не дым, не мимолетный вздох о призрачном, невоплотившемся бытии – дни нашей жизни, они подобны могучему дереву, и корни их глубоко уходят в темную землю.

Смех был короткий, непроизвольный, но тотчас следом за ним Валентином Петровичем овладело странное волнение; оно заставило его подняться и сесть у окна.

Птицы спали еще, в саду стояла торжественная, холодноватая тишина, но утро уже белело смутно, и дрожала листва, предчувствуя зарю. Роса блестела кое-где на траве, и крупными прерывистыми пятнами была раскинута по низам лунная сеть.

Валентин Петрович накинул халат и остался сидеть у окна. Голова его стала ясней, мысли отчетливее. «Да, жизнь коротка и бы-

стро проходит,— раздумывал он,— ну что же, и пусть, это вне на-
шей власти и воли, но эти короткие дни, они должны быть нашими.
Не поздно ли, однако же, мне?» Он взглянул на вяз, уже отчетливо
вырезавшийся листами на белеющем небе, переплел и хрустнул
пальцами рук и решительно сказал себе вслух:

— Нет. П о з д н о — глупое слово.

Утро все прибывало, переменились воздушные токи, и облака
побежали быстрей, одна за другой подавали голос невидимые пти-
цы, розовый пар подымался в отдалении над прудом, посветлели
аллеи, и чей-то человеческий голос донесся из деревни.

Валентин Петрович поднял глаза, и на лицо его упал золотой
красноватый отсвет: верхушка вяза была увенчана сверкающей
еще небольшою кроной. Он следил, поднявшись и не опуская голо-
вы, как все шире, полнее раздвигалась она над двухсотлетней вер-
шиной. Он знал это дерево неизменным с раннего детства, но лет
пятнадцать назад в большую грозу ударом молнии вяз был по-дуры
сколот, и одну из двух главных ветвей пришлось отпилить; дерево
было изуродовано, и огромная пустота зияла на месте погибшей,
полнившей его неотъемлемой части. Это было больное и тяжелое
зрелище. Но годы шли, и молодые ветви [illegible] во вновь открыв-
шийся простор. С каждой весной они [illegible] и изгибались,
заполняя живой, колеблемой массой о [illegible] пустоту; жизнь по-
полняла утрату. Стоял теперь и глядел [illegible] Петрович на эту
стихийную, упрямую и мудрую жизнь [illegible] решимость во-
подымалась и крепла в нем. «Да, да... [illegible] он тихонько и неиз-
вестно о чем и о чем-то определенном.

Он хотел уже одеваться и выйти дать распоряжения по хо-
зяйству, когда взгляд его упал на высокую стопку почты, оставлен-
ной им вчера на столе. Между газет и деловых, большого формата
конвертов, выпав, лежал небольшой, с золотым ободком, серый
конверт. Он так не ждал его, что не заметил вчера.

И теперь не заметил Валентин Петрович, как сердце, сжавшись,
застучало сильно и крупно. «Вяз, дым, жизнь... На пороге, через ко-
торый решал он переступить, вдруг встала жена. Письмо было от
Агнии.

Оно не было длинно и было необычайно по содержанию. Аг-
ния возвращалась. «Не думай, что я приеду к тебе с тем, чтобы жить
у тебя. У меня нет никаких прав на это. Но ты должен знать, что
здесь все кончено и навсегда. У меня одна теперь мысль, одна мо-
жизнь и страсть — вернуться туда, где я была счастлива. Да, я бы-
счастлива в жизни с тобой. Со мной тогда были мечты и мое стра-
ние и надежды. Боже мой, я опять несправедлива к тебе и знаю, как
больно прочесть тебе эти строки (если ты не вовсе еще забыл м[illegible]
и тут я вспоминаю будто не о тебе... Но это не так, не так! Я пр[illegible]
не умею писать, не умею и не смею сказать самого главного, [illegible]
мне только теперь — так поздно, увы! — прояснилось. Нет, ты [illegible]
ки знай, что ты для меня остался один-единственный во всем [illegible]
человек. Но ты поступи со мною сурово, не надо, не надо мне жа-

сти, она слишком больна мне. Валентин, милый мой, и все-таки ты прости меня! Может быть, ты сделаешь это, может быть, ты и поймешь так... мимо слов. А мне надо одно, об одной отраде мечтаю: видеть тебя и Бориса. Приеду в начале августа, раньше с духом не соберусь. Пробуду неделю, а потом к отцу. Агния».

— Делай что хочешь, сам распорядишься, — сказал Валентин Петрович вошедшему за хозяйственными распоряжениями старосте; он свернул письмо, вложил в конверт и прошел на другой конец дома.

Борис еще спал. Губы его были полуоткрыты и едва заметно пошевеливались; шея у раскрытого ворота была тепла и по-детски влажна; щеки свежо розовели, и волосенки спутались на лбу. Валентин Петрович сел в кресло возле кровати, подпер голову обеими руками и крепко задумался.

VII

Стояли жаркие и долгие июньские дни, сенокос закончился [illegible] годня. Три огромных [illegible] уже стояли завершенные, доваживали в сарай [illegible] дружков около старого леса. Пряный, слегка [illegible] высоких валов, и пестрели, переливаясь по [illegible] поденщиц. Досадная туча, грозившая с запада [illegible] Работа шла полным размахом: каждый день бы [illegible] Петрович просыпался с зарей и возвращался домой [illegible] обеду. Он сам брался за грабли и вилы, навивал возы, а [illegible] на отдых в тени копны, раскидывая руки и ноги и [illegible] лицо шляпой. Так лежал он час или два, [illegible] довольный этой возможностью не думать. Но все же внутри [illegible] было напряжено и томительно, как бывает перед грозой.

И в самом деле, грозы, кажется, было сегодня не миновать. Окончив объезд и остановив дрожки на рубеже в тени у дубков, кудрявых и молодых, как бы вышедших из лесу поглядеть на людскую работу, Валентин Петрович, сняв шляпу и помахивая ею в пылающее лицо, вступил в свежую лесную сень. Лес был смешанный, старый, густой; порой попадались и молодые веселые заросли, приходилось идти, раздвигая ветви руками.

Здесь было тихо, прохладно и отдохновенно: птицы пели негромко, бодро и сдержанно-весело. Немного уставшие от однообразного положения на дрожках, запыленные ноги было приятно поразмять в ходьбе. Валентин Петрович расстегнул ворот русской рубахи и начал тихонько насвистывать, но скоро замолк. Он никак не мог уловить той отрывочной короткой мелодии, которую слышал у Струковых. Со времени этой поездки прошло уже четыре дня, но в душевном состоянии Валентина Петровича мало что прояснилось.

«Что, собственно, произошло? — спрашивал он себя уже в который раз, нагибаясь время от времени, чтобы сорвать кисточку ягод,

сверкавшую между зеленой листвой.— Самое важное — это, конеч-
но, письмо... Она приедет сюда... Она приедет сюда...» Это был все-та-
ки самый неясный пункт, то есть как это выйдет, самый приезд. О.
конечно, он примет ее как жену, ни одного слова упрека не должно
быть и никакой речи об отъезде. Он сделает все, чтобы ей было лег-
ко и просто с ним. Обида и ревность (он усмехнулся)... их не было,
Случись это раньше, какой-нибудь... нет, даже не месяц, неделю на-
зад, он подумал бы: как хорошо! Вот и пришло, настало спокойное
немного печальное завершение, дом перестанет быть пуст, в нем по-
текут опять мирные годы семейной их жизни, и если не будет в ней
всей полноты молодой, все покрывающей собой любви, то и что
же? Пусть это будет похоже на вечер, но и вечер в природе благо-
ловен. Довольно себя обольщать, да и самые годы его... и о них не
надобно забывать... Но отчего же их нет, этих вечерне-умиротворя-
ющих мыслей? «Я сделаю все», — какие сухие слова, и эта ссылка на
годы звучит так нестерпимо фальшиво... Нет, никогда еще (или так
страшно давно!) не чувствовал себя Валентин Петрович таким мо-
лодым и исполненным сил, только им тесно и страшно найти себе
выход...

О Настеньке Валентин Петрович старался не думать. Это не бы-
ло легко и требовало большого усилия воли. «Что может из этого
выйти? — заставлял он себя размышлять. — Будут глухие и страст-
ные мечтания в самом начале.— Настенька молода, полна жизни
и страсти. Пусть она испытала какое-то тяжелое, неизвестное горе,
но юность умеет все пережить и переработать в себе чисто стихий-
но, горячим потоком крови, ростом, кипучестью. Уже и сейчас ее
обаяние по-новому волшебно засверкало под лунными лучами, ро-
дившись из горечи. Да и откуда я взял, что она меня... что я ей хоть
сколько-нибудь нравлюсь?» Валентин Петрович краснел и замина-
ся, отгоняя непроизвольно набегавшие мысли. Но чем добросовест-
нее делал он это, тем больше томило его внутреннее беспокойство,
близкое почти к физическому недомоганию. В кабинете его стоя-
еще, в большом кувшине, правда слегка уже осыпаясь, но все ещ
крепкие ветки калины, наломанные Настенькиными руками; очер-
ния венчиков были неправильны, угловаты, и едва различимый
горьковатый запах шел от них, и месячная ночь стояла в душе В
лентина Петровича живая.

Каждый день просыпался он с мыслью о том, что сегодня
гут приехать Струковы и с ними Настенька, но теперь перест
и ждать. Он злился на них и на себя.

«А вдруг приедут все-таки?» — неожиданно подумал он и
удивился внезапному молодому удару брызнувших где-то в нем
шественных сил. Он засмеялся, сделал прыжок и выпрямил
ну — в ней ощущалась необычайная упругость. Небольшое сухо
рево стояло перед ним. Он охватил его, чувствуя в руках бо
прилив крепости, и потянул к себе, где-то внизу оно хрусну
и подалось. Тогда он подскочил, чтобы схватить повыше, и р
еще... Это оказалось веселой работой, и, провозившись мину

два-три, Валентин Петрович стоял уже над сухою осинкой, вывернутой из земли, с коротко оборванными корнями, и попирал ее ногой. Сделав это как нужное дело, он почувствовал некоторое облегчение и повернул назад.

Солнце было уже невысоко, тянуло первой предвечерней прохладой. Облака опять собирались на западе и, кровавясь, клубясь, громоздились одно на другое. Зыбко золотились и разбегались, словно бы расчесывал их ветерок, остистые колосья пшеницы. Лошадь, ритмично отдергивая голову и обмахиваясь хвостом, щипала зеленую траву; слабо прожженные колеи терялись в низенькой, гладкой зелени рубежа. Где-то вдали, по шоссе, погромыхивали, дребезжа, вперебивку, колеса, и этот звук Валентину Петровичу был невнятно приятен. Да, Агния приедет и будет здесь, как и все в жизни приходит в свой черед. Но вот это мгновение... Да живет и оно! Тогда не будет уже ни этой июньской волнуемой розмыви мягких пшеничных волос с золотистыми нитями солнца, тонко вплетенными в них, ни душистых в руках его ягод, еще полуспелой, но тяжелой и ароматной клубники, ни всего того, что живет только эту минуту: ни заходящего солнца, на которое можно уже глядеть, не щуря глаз, ни пригнувшей [illegible] голову сытой, его поджидавшей лошадки, ни прозрачных [illegible] от низких лучей вокруг заднего колеса, ни изогнутых [illegible] тела насекомого, самих черненьких дрожек на горизонте [illegible] далекого, первобытного, провинциального и странно [illegible] дребезжания далеких колес по шоссе.

Ему вздохнулось легко и легко вышло. Да будет в жизни всему свое вольное место... «А-ах!» — сказал он и, хрустнув пальцами, закрыл глаза. И тотчас же увидел Настеньку, бежавшую под месяцем, она ловила воздух руками, кидая перед собой; серебряная мука дробилась под легким бегом ее. «Я люблю... я люблю...» — повторяла она, не называя что. «Хлоп — и увез», — ответил он громко, и лицо его было серьезно.

Когда Валентин Петрович сел в дрожки и тронул отдохнувшую лошадь, она побежала, помахивая головой и спешно дожевывая последние травинки, а он все прислушивался к замирающему по шоссе дребезжанию разбитых колес.

Борис выбежал к нему навстречу на пригорок у сажалки. Валентин Петрович, попридержав лошадь, подхватил его под мышки и посадил впереди себя между колен. На мальчике была матросская шапочка, волосы немного вились и падали на загорелую открытую шею. Валентин Петрович почувствовал неудержимое желание наклониться к ней и поцеловать; от кожи пахло загаром и летом. Мальчик поднял плечи, ежась, и засмеялся. Он уже успел завладеть клубникой и кусал ягоды прямо с веточек, рот его был занят, чтобы сразу сказать что-нибудь отцу, и, обернувшись, он в ответ поцеловал его в губы своими, невинными и душистыми, — это была редкая у мальчика ласка.

— Щекотно было тебе? — спросил отец.

— Да, папочка,— ответил он, облизав свои губы, и принялся рассказывать о проведенном дне.

Слушая ребячий лепет Бориса, непрестанно похлопывавшего вожжами, отчего лошадь, почувствовав слабую руку, пошла совсем шагом, Валентин Петрович хранил на лице странное выражение. Было двойственное, щемящее и стыдное, и ласкающее ощущение. Борис походил на мать с каждым годом все больше, но у него были длинные локоны над загорелою шеей и говорили они о другой... «В руки твои предаю мою жизнь, и дыхание, и течение дней». В чьи Вечер янтарным теплом и прозрачною тишиной стоял над землею. Помедли, помедли, солнечный бог, благословенный и в самом закате своем!..

Когда Валентин Петрович стоял уже на ступеньках крыльца и лошадь уводили отпрячь, он явственно различил на дороге за садом неуклюжее многоголосое громыхание старого, потертого экипажа. Он остановился прислушиваясь.

— Кто-то к нам едет,— сказал Борис.

Через минуту скрипнула дверь, и няпонька Василида, появившись, сказала:

— Кого-то к нам бог послал, к нам повернули.

Она пошла по ступенькам и, от света насупив темный платок и прикрывшись рукой, стала глядеть через очки. Вдруг из-за кухни выбежали со стремительным лаем Буян и Волчок. За ними, прихрамывая, плелся и старый Танцор, похожий на больного белого медведя и еще, странным образом, на доброго пожилого монаха. В ответ на собачий лай раздались оживленные, уже близкие возгласы. Танцор остановился на полдороге и вдруг, не успев докончить ленивый свой лай, свел скулы и сладко, устало зевнул.

— Посмеется, посмейся, Танцор! — попросил Борис, и, пес, знавший эту науку, оскалил желтые зубы, высоко сморщив верхнюю губу, и, преданно изгибаясь, подошел к крыльцу.

— Как гороху насыпано,— сказала Василида, поднимаясь опять на крыльцо,— не знаю, чашек хватит ли.

— Папа, кто? Папа, кто?— приставал Борис.

— Не знаю,— ответил отец, охваченный молодым волнением, и, не трогаясь с места.

Няня была права: как горох. Одна за другой две длинные старомодных ободранных линейки с комическим шиком выкатились из-за поворота и остановились у подъезда барского дома. В обе стороны, как горошины в раскрытом стручке, были набиты дамы и мальчики. Точно выронили кого по дороге, две перебитые были в одной из линеек. Валентин Петрович беглым, но зорким взглядом увидел сразу, что Настеньки нет.

Шумной гурьбой, смутив даже собак, повысыпались все из линеек. Валентин Петрович едва успевал отвечать на рокот приветствий и пожимать быстрые руки.

Борис, оробев, держался за его спиной, искоса с любопытством выглядывая. Вышла мадам и увела его с собой.

— А отчего же Аркадий Андреич? — спросил Валентин Петрович у Сонечки, когда вошли уже в дом.

— Папа? — Сонечка засмеялась. — У него нынче много занятий.

— Каких? Где? Перед свадьбой?

— Каких? С Настенькой!

Валентин Петрович ничего не мог понять; он видел только, что и войдя уже в дом все смеялись и переминались с ноги на ногу, словно ожидая чего.

— Да, мы очень заняты здесь, — раздался вдруг вкусный струковский голос.

Широкая фигура Аркадия Андреича смотрела с террасы, заняв собой почти все окно; из-за плеча его выглядывала Настенька. Валентину Петровичу вспомнились две щербинки в стручке; он распахнул окно и с чувством расцеловался со Струковым; Настенька, смеясь, откинулась. Но Аркадий Андреич, взяв ее за плечи, полуотцовски, полушутливо подтолкнул к Валентину Петровичу.

— «И в дом мой смело и свободно...» — продекламировал он. — Как это там? «Хозяйкой полною...» Вы не обидитесь, Настенька, что я вас так, «полною», именую? А впрочем, в окно все-таки неудобно.

Но Настенька уже вырвалась и стояла в дверях.

Валентин Петрович был очень смущен нескромным вздором приятеля, но ему самому хотелось закричать: «Войди!» — взять Настеньку за руки и закружить по террасе, давно не видавшему веселья.

— Входите же, — сказал он девушке и протянул ей руки.

Она ответила ему быстрым, смешливым и очень радостным взором.

— Все-таки ты, брат, хозяин, да не совсем, — говорил между тем, отирая лоб клетчатым синим платком, Аркадий Андреич. — Мы к тебе с Настенькой махнули через забор, слабоват твой заборец! Она-то, положим, хоть в щель, ну, а я не пролез и обрушил, уж извини!

В столовой был слышен звон чайной посуды.

— Молодцы, — мотнул головой Аркадий Андреич. — Ни минуты промедления! На войну бы их! Ты думаешь что?.. В провиантский обоз... — И он потрясся негромким смешком.

Валентин Петрович скупо взглядывал на Настеньку, ему было неловко за этот блеск благодарных и радостных глаз, который он чувствовал сам. Он успел, однако, приметить, как Настенька несколько возбужденно и будто бы жадно, любопытствуя сразу все охватить, оглядывала стены, портреты и вещи, пока они шли.

Когда были все трое в дверях столовой и мужчины несколько приостановились, улыбаясь на молодую вольницу, уже рассевшуюся, как птицы на морском берегу, вокруг стола, случилось маленькое происшествие. Кто-то из мальчиков, передавая через головы чашку, уронил ее на пол. Валентин Петрович услышал рядом с собой, как Настенька слабо вскрикнула; все невольно притихли.

— Ничего! — воскликнул Аркадий Андреич. — Мир дому сему. Это примета веселая — к счастью! И кто-то, наверное, спешит. Не сегодня, так скоро.

Но Настенька была бледна. А впрочем, и она скоро разошлась вместе с другими. Вечер вступил и покатился веселою колеей.

«Чашек хватило, хватило бы самоваров», — думала между тем нянюшка Василида, посмеиваясь.

VIII

После быстрого чая заторопились все на сенокос. Теперь работа шла у самого леса — последний этап. Несколько крупных капель упало из темного облака, и как пчелы, гудя, торопятся в улей под набежавшею тучкой, так зашумела и здесь спешная, веселая работа. Теснясь и толкаясь, зарываясь лицом в душистое сено, дружные гости, за неимением грабель и вил, подтаскивали охапки к последним возам. Но тревога оказалась напрасной, низкое облако быстро свалило, не разрешившись дождем, и только на закате зловещим красноватым отсветом подернулась огромная синяя туча. Солнце, кажется, село уже, но лучи его, прорываясь меж облаков, заливали еще багровым сиянием запад, широкий, страшно раздвинувшийся.

— Теперь бы костерчик в лесу да яишенку на вольном воздухе соорудить, — сказал, томно вздохнув, Аркадий Андреич.

Все его поддержали, а Валентин Петрович распорядился, чтобы на одной из телег Василида прислала к камням в лугу хлеба, яиц, вина и самовар.

В лесу уже сумрак заливал низины и лощинки, кусты слились в голубовато-серые массы, и только наверху сквозь кроны деревьев широким шатром светило вечернее небо. На покойном, мягком фоне его трепетали угловатые простые листы тесных осин и узкие березовые веточки. Легкою сыростью, неусыхающей влагой тянуло от главной ветви оврага, где пробивался извилистый, перемежающийся ручей. Местами он выбивал себе огромные ямы, полные лягушек, головастиков и тонких ткачей-водомеров.

На месте схождения двух лесных овражков несколько диких больших камней образовывали своеобразное подобие амфитеатра. Это было когда-то излюбленным местом прогулок и пикников. Теперь все рассыпались по склонам, собирая сушь для костра, натыкиваясь с разбегу на пни и гулко, на разные голоса, перекликаясь, кто-то попал в огромную муравьиную кучку, кто-то в яму с водой, вымочив ноги до колен.

Аркадий Андреич скинул пиджак и, пыхтя, подсел развести огонь. Это не сразу ему удалось. Листва была отсыревшая, снизу собранная из ям. Тогда он стал доставать из карманов жилета мелкие свернутые бумажки, старые билеты, кажется, даже, в увлечении какие-то, быть может, еще не погашенные счета, и дело пошло. Живой огонек быстро стал прилипать к корявым дубовым палочкам и взбираться все выше, мелко треща и ныряя между ветками

Густой и тяжелый дым потянул от влажной листвы, слепя и щекоча в глазах.

В костер все подваливали и с боков и сверху, и теперь он высоко взметывал длинные языки; пышало жаром. Порой отрывалась в горячем течении тонкая связочка листьев, уже затлевших и испещренных частыми красными точками. Ее выкидывало высоко, но потом она останавливалась и, медленно кружась, упадала, погасая и исчезая где-то в сгущенных потемках, в черном кольце вокруг костра.

Лица все время менялись в этом прерывистом, изменчивом освещении, но неизменною у всех была страшная важность, бог знает откуда сошедшая. Веселье умолкло. Горячие языки костра и особенно его сердцевина, золотая, медленно рушившаяся с тайным внутренним шумом, притягивали к себе все глаза, гипнотизируя волю. Точно вдруг перестало это быть простою причудой, деревенским беззаботным развлечением перед наступающей ночью и сделалось каким-то мистически важным обрядом, переносившим в очень древние времена. Почти первобытные черты, чудесно затлевшие жизнью, проступали сквозь юные, завороженные лица, словно глядела через них первоначальная душа человека, много видевшая и мудрая, знавшая первое появление огня на земле. Сквозною дрожащею кроной ветви высокого [illegible] окидывали собою костер и группу им освещенных людей, [illegible] в молчании.

Солнце зашло, и теперь свет [illegible] своим сокровенным, таинственным светом. Первые звезды, [illegible] людям, засияли уже в вышине, сверкая и прячась, над зыбкою сеткой ветвей. Их влияние, незримое, но могущественное, подобное тому, как луна движет изменчивой поверхностью моря, начинало проявлять себя и оно: совершенно отпадали и истлевали мелкие чувства зависти, недовольства, усталости и неудач, одиночество перестало быть индивидуальным, и если сохранялось, то вырастало в одиночество мира, огромное чувство со своими корнями, оплетавшими всю темную землю, и кроной, терявшейся в пространствах небес; любовь, странно сгущаясь и тяжелея, становясь почти ощутимой физически, переставала быть только одной умиленностью и нежным взаимопроникновением. Сонечка и Василий Никитич стояли бледные, крепко сжимая руки, забыв о других.

Тяжелые, томно и придушенно страстные, докатились с запада первые удары еще далекой, но неизбежной грозы.

Они заставили прозвучать и человеческий голос. Кто-то сказал:

— Гроза идет.

И все зашевелились, пробудясь.

Общее молчание до этого не было длительным, но оно казалось теперь таким, ибо было полно до краев. Да и не дана человеку излишняя длительность подобных состояний, мудро и справедливо: жизнь должна наполнять сегодняшнюю чашу, в короткие дни надо вместить всю полноту бытия, но в мгновения, подобные миновав-

шим, обретаем мы силу и могущество жить, в них познаем нашу значительность, изначальность и наше бессмертие — здесь, на земле.

Валентин Петрович не знал, что ощущала рядом с ним Настенька. Она была несколько впереди, и ему был виден вскользь лишь ее затененный щекой и как бы укороченный профиль, но малейшее движение лица ее, вздрагивание кожи на щеке, упругие касания коротких тяжелых волос, уже чувствующих электрическое напряжение, все тотчас отзывалось в нем. Он стоял к ней несколько под утлом, и плечо его слегка касалось кофточки на ее спине. Настенька оставалась неподвижною, ни на волос не отклоняясь, а Валентин Петрович, не думая, не замечая сам, как влекомый магнитом, медленно к ней пригибался. Вдруг он почувствовал теплоту ее тела. Коротенькая, мгновенная мысль попыталась его отклонить откинуть, но тотчас умерла: приближалась гроза, покоряя себе

И как странник в пустынных местах, увидя у ног внезапный источник, повергается на землю и окунает знойное лицо в студеную воду; как ребенок, наголодавшись и накричавшись, найдя материнскую грудь, припадает к ней жадными губками и от блаженного упоения потирает пухлые ножки одну о другую и шевелит даже крохотными виноградинами пальчиков — подобно этому и Валентин Петрович, испив раз Настенькиной теплоты, не отклонялся уже. Душистый и теплый ток проникал все его существо. Нельзя было точно определить, шел ли лицо обжигающий жар от костра или от шеи Настеньки, близкой и смутно золотящейся, и опять лицо Валентина Петровича непроизвольно никло к ней, и не было в его существе того маленького, осторожного человека, который подумал бы не следит ли кто за ним, не видит ли... Только сердце шумело глухо как лес перед бурей. И когда донесся первый, глухой, как бы изнутри, в земной, туго натянутый барабан ударивший гром, Валентин Петрович быстро склонился, плохо сознавая, что делает, и поцеловал Настенькину горячую шею.

Никто не видал этого, все обернулись на запад на чьи-то слова

— Гроза идет.

Валентин Петрович крепко оперся о плечо Настеньки (и было в этом движении нечто большое и властное), а она, обернувшись к нему, немного откинула голову, и темные веки ее были полуопущены, а губы, маленькие и красно надрезанные, непроизвольным движением, словно бы ей не хватало воздуху, сделали короткий, быстрый и жадный, и сдавленный глоток.

IX

Телеги с припасами, кстати запоздавшей, решили не ждать. Хотя было и жаль покинуть костер. Когда стал огонь немного потухать и уже начали трогаться, Анюта Струкова, разбежавшись, и взяв свою короткую юбочку, скакнула через него, за ней и другие задержались еще с этой новой забавой. Было весело прыгать страшно, но и задорно. Мальчики также скакали, только навстречу

друг другу. Это и утроило отвагу жать руки друг ры, а в отдалении вался Аркадий ли к потному немного рубашк

— черт воз рывком обняв ст лодость, ау? Что плеча Валентина

Настенька принимала. Пор к ней обращали ни и крепко опе

Молния бли продвигались на Пора наконец и

Когда все бе следний раз на к мились в черную брать, прошумел

— Начинает дождик накроет.

И дождь не ные аккорды, бег кам дерев, потом ли полновесные тельной мелодии

Вдруг послы глушал его, но и щелкал, и из те ваясь. Девочки по бояться не в шутк казался один мут очертания, и оно не страшная лоша Телега остановил бокам самовара т

— Ты, Василь

— Я-с, Валент

— Да, только

— Поверием

жичок.

Белобородый плотно прилипше звонко шлепнулис с поворачиванием

друг другу. Это усиливало и опасность, можно столкнуться, но и утроляло отвагу. Надо было встретиться над костром и успеть пожать руки друг другу. Как бабочки, над огнем мелькали веселые пары, а в отдалении, и не думая останавливать, покрикивал и любовался Аркадий Андреич. Волосы его отдельными прядками пристали к потному лбу, жилет был полурасстегнут, и распахнувшаяся немного рубашка слегка обнажала волосатую широкую грудь.

— Черт возьми, я бы их всех обвенчал,— сказал он, внезапным порывом обняв стоявшего рядом Валентина Петровича.— Где ты, молодость, ау? Что скажешь, брат Валентин?— Он так и не отпустил плеча Валентина Петровича.

Настенька села на камне насупротив. Она участия в игре не принимала. Порой на нее падали быстрые, беглые тени, то и дело к ней обращались, но она сидела не шевелясь, высоко подняв колени и крепко опершись головой на сжатые руки.

Молния блистала все чаще и чаще, тучи ощутимо и тяжело продвигались над головами, листва шумела тревожно и свежо. Пора наконец и домой.

Когда все бегом взобрались по откосу оврага и, поглядев в последний раз на костер, уже полускрытый кустами орешника, устремились в черную тьму леса, в которой ничего нельзя было разобрать, прошумели важно и гулко первые, тяжелые капли.

— Начинается!— провозгласил Аркадий Андреич.— Славный дождик накроет. Барышни, ножки кутать.

И дождь не замедлил. Первые минуты словно кто брал пробные аккорды, бегло пробегая невидимой и легкой рукой по верхушкам деревьев, потом сразу ударил верно и полно, зашумели и заскакали полновесные капли с листа на лист, прядая в веселой вступительной мелодии.

Вдруг послышался навстречу глухой и скачущий шум. Гром заглушал его, но в паузах он снова был слышен. Кто-то скрипел и щелкал, и из темноты кашлял в грязи, приближаясь и не показываясь. Девочки поменьше схватились руками и, кажется, начинали бояться не в шутку. Потом у невидимого до сей поры чудовища показался один мутно-желтый глаз, запрыгали призрачно огромные очертания, и оно сразу появилось перед бегущими: теплая, совсем не страшная лошадиная морда заколыхалась у человеческих лиц. Телега остановилась. Стекло фонаря было матовым от дождя, а по бокам самовара текли желтые глянцевитые струи.

— Ты, Василий?

— Я-с, Валентин Петрович. Так что прикажете поворачивать?

— Да, только где здесь повернешь?

— Повернем за милую душу. Благодать господь послал, ложжичок.

Белобородый, курчавый мужик в мокрой рубахе и пиджаке, плотно прилипшем к плечам, соскочил с передка, босые ноги его звонко шлепнулись в мокрую, скользкую землю. Началась возня с поворачиванием; пришлось относить задок телеги руками, причем

особенно усердствовал, крепко вымазавшись в грязи, Аркадий Ан
дреич.

И на этот раз, как тогда, в тарантасе, физически невозможно,
было всем поместиться. Остались Валентин Петрович, Настенька да
длинноногий, как комар, неловкий и очень нежной души гимназист,
только что окончивший, по прозванию Тараканьи Мощи; он явно,
для всех к Настеньке был неравнодушен.

Все гомозились, сидя чуть не друг на друге, но всем непремен-
но хотелось, чтобы поместились и оставшиеся трое. Настенька ни за
что не хотела сесть и на все хитрости и уловки мальчиков не подда-
валась. Между тем дождь поливал.

— Ну, ехать так ехать,— сказал Валентин Петрович, внутренне
радуясь непреклонности Настеньки, хотя и сам сильно ее уговари-
вал.— Трогай, Василий!

— Стой,— крикнул Аркадий Андреич, когда лошадь уже с из-
тугою тронулась,— господин святитель, или как вас там... Слушайте
садитесь на лошадь верхом!

На телеге все рассмеялись.

— Ноги будут болтаться!

— Нет, ничего! Мощи на случай помощи!

— Вы оградите нас от несчастия!

Сами Тараканьи Мощи помалкивали, но потом вдруг гимна
зист, покосившись на Настеньку и, должно быть, прочтя во взгляде
ее одобрение, одну за другой поставил ноги свои на подножку ко-
леса и завернул зачем-то брюки; затем стал на оглоблю и молодце-
вато, ко всеобщему удивлению, перемахнул одной ногой, едва не
перекатившись весь через скользкую спину лошади. Со скрипом
и стоном телега тронулась в путь. Настенька хохотала навзрыд,
крепко схватив рукав Валентина Петровича и прижимаясь головой
к его плечу.

— С богом!

— С Мощами!— ответили хором несколько голосов из телеги.

— Самовар приготовьте!— крикнул еще раз вслед им Валентин
Петрович.

Лица Настеньки не было видно, они шли рядом, поскальзыва-
ясь и сталкиваясь.

— Хорошо...— сказала Настенька, помолчав.

— А мне...— начал он и не договорил.

— У вас и с вами,— быстро докончила Настенька и, вырвав ру-
ку, побежала вперед.

— Постойте, постойте, Настенька!— крикнул он ей вдог-
ку.— Вы упадете, нельзя так!

Он подоспел как раз вовремя. Настенька действительно по-
скользнулась, Валентин Петрович подхватил ее; поскользнувшись
и сам, он едва удержался и должен был крепко обнять ее. Кофточка
Настеньки была мокра, и под мокрой рукой Валентин Петрович
чувствовал крепкий, молодой стан девушки. Не размыкая рук,
только поднял их выше и, сжав ее плечи, наклонил к себе. Он

ная, зигзагами, молния на мгновение ослепила глаза; четкие, строгие стволы, теснясь, обступили их. Настенька опять откинула голову и полузакрыла под поцелуями глаза. Лицо ее было мокро, нежно и холодно, но губы горячи, хотя и безответны, и от шеи шел сырой и густой, почти смолистый запах загара.

— Будет,— сказала она наконец и, тряхнув головой, отступила от Валентина Петровича.

Он пошел рядом, не смея ближе к ней подойти. Лицо его пылало, руки немного дрожали, а в голове и в сердце, сливая их воедино, плыл смутный, острый и нежный страх.

«Боже мой, что я наделал... И почему она идет опять далеко?..» Руки его не переставали вздрагивать, все помня, но не смея снова приблизиться; голос не повиновался, да и что было сказать?.. Но он сделал над собою усилие.

— Настенька,— начал он, запинаясь,— вы на меня не сердитесь? — Она не отвечала.— Я говорю глупости, но это потому, что... потому, что...

— Будет,— повторила она свое короткое слово.— Не надо.

Она шла теперь ближе, и Валентин Петрович отчетливо различал ее силуэт между деревьев. Дождь несколько притих. Гром стал реже, и воздух очистился; дышалось озоном легко и возбужденно.

— Отчего вы ничего не спрашиваете у меня? — сказала вдруг Настенька.— Вы даже не знаете, кажется, кто я

— Я знаю только,— проговорил Валентин Петрович, застенчиво потупившись,— что вы подруга Сонечки

Настенька рассмеялась.

— Подруга!— воскликнула она.— Да ведь мне уже двадцать два года! И я вовсе ей не подруга. Я здесь гощу, я не здешняя.

— Уже двадцать два!— повторил он ласково и горько, вспоминая свои сорок шесть.— Кто же вы?

— А зачем вам?— Настенька вдруг повернулась к нему.— То и хорошо, что вы не знаете и не узнавали. Вот она — я, вот и все. Я с вами иду в лесу, ну и будет. Гроза пришла и ушла, уходит. Так и люди должны. Что спрашивать! Это неволя! А я люблю...

— Что?

— А вот пришла и ушла. Вот и все. Вот и вся я. Настенька, помолчав, продолжала:— Помните, Аркадий Андреич сказал про вас: «Хлоп — и увез!» Это мне понравилось. А больше я ничего не хочу о вас знать. Слышите? Мне все равно, что там у вас! Совсем все равно! И к чему говорят мне об этом, как будто... Нет, может быть, и не так... От этого во мне еще... Ну, да, еще больше. Не говорите со мной. Помолчим.

Настенька словно устала от непривычно длинной тирады. Она шла, поматывая головой и о чем-то про себя думая. Между тем дождь снова усилился, сгустился мрак, и молнии стали все чаще и изломанней. Гром не гремел теперь с ударами и раскатами, он ниспадал вниз, сухой, прерывистый и едкий. Сверкания молнии имели фиолетовый, тревожащий цвет; и казалось, внизу фосфорилась

трава, очертания деревьев становились двойными, с темно отог-
ченным контуром, и вода под ногами, в широко растекшихся л-
жах, как раскаленное серебро, покрытое сквозистою дымкой, кол-
ла глаза. Дождь лил сплошными потоками, но странная сухо-
пронизывала воздух, и порою казалось, что действительно пахн-
фосфором.

— Вы не боитесь?— спросил Валентин Петрович; Настень-
промолчала.— А если бы мы заблудились?

— Я была бы рада,— отвечала она с коротким, также сухо-
смешком.

Однако лес кончился. В отдалении, через лужок, были вид-
уже и огни господского дома; Валентин Петрович сделал все-таки
крюк, выходили теперь стороной; хлюпая, булькался дождь в вод-
пруда. У дикой яблони Настенька остановилась.

— Постойте,— сказала она и, помолчав, вдруг внезапно и кре-
ко до боли обвила руками шею Валентина Петровича.

Она всего раз поцеловала его, но сама, и сделала это с дикой
безудержностью.

— За то, что ты... За то, что ты...— начинала Настенька и ни ра-
не договаривала.— Ну, а теперь бежим!

Они взялись за руки и побежали под ударами дождя, бившег-
здесь, без прикрытия леса, с особенной силой.

Однако и их по пути нагнала телега. Она давно уже, вторичн-
блуждала в лесу, но разминулась с Валентином Петровичем и На-
стенькой. Василий теперь возвращался. Сам он был все в той же р-
бахе и пиджаке, окончательно слившихся с телом, но им привез-
плащи.

Обоим хватило и одного. Настенька сидела, сжавшись в комо-
чек и приникнув к Валентину Петровичу, а он целовал ее мокрую
голову и с осторожной нежностью дышал, отогревая, на ее холод-
ные пальцы.

X

Прошла гроза, прошел и этот вечер, смешной и мокрый, кото-
отогревались в самых фантастических костюмах, опустошив вс-
гардеробы, комоды и сундуки (домой возвращались наутро), мир-
ла и свадьба Сонечки с Гусиком, отпразднованная на славу, не оди-
раз еще опрокидывались песочные мировые часы, сменяя день н-
ночь и мрак на зарю; уже от Сонечки Гусевой получились пер-
открытки из Италии с фресками Гирляндайо из Санта Мария Нов-
ла и с головою Давида из Академии; уже успело завязаться и нов-
сватовство с другой, ближайшей по очереди девочкой Струкс-
Лизой, за которую, ко всеобщему хохоту, присватался гимнази-
влюбленный до той поры в Настеньку и из молодечества перед н-
в ночь грозы болтавшийся верхом на мокрой лошадиной спи-
и дело, смех смехом, уже налаживалось, а Аркадий Андреич пок-
рил с озабоченным видом, что пора, пожалуй, приглядывать жн-

ха и Прочке. Уже созрела пшеница и был на исходе июль. Лето стояло жаркое, полное гроз, удачи в работе. Крутой дугой подымалось оно и в жизни Валентина Петровича; событий особенных не было, и в то же время было оно полно событий, хотя и были они совсем особого рода, подобные событиям в природе: грозе, дождю и гулявшему над деревьями ветру, полуденному томлению, когда воздух, накаляясь, охваченный ленью, дрожит и мреет над желтыми полями, а листва никнет в изнемогающе сладкой истоме; и многое другое, причудливое и простое, и величественное в своем разнообразии и полноте, проходило чередой в душе Валентина Петровича, неизменно связанное с частыми теперь свиданиями с Настенькой. Точно какой-то затвор был снят, и шумно бежала река, отражая всю полноту бытия.

Валентин Петрович стал бывать и у Настеньки, и дорога через мельницу становилась излюбленной.

Жила она у бабушки и двух ее дочерей, обеих рано овдовевших и не имевших детей; мужчин в доме не было, и Настенька среди молчаливых старушек одна наполняла его кипением жизни. Из отрывочных слов этих женщин, сам не расспрашивая, Валентин Петрович узнал только, что отец Настеньки служит в Москве, в Крестьянском банке, что у нее есть брат гимназист, а сама Настенька учится на Екатерининских курсах. О женихе она ему ни разу не заикнулась. Был у Настеньки и жених, [illegible] да «с ним вышло несчастие», какое именно, об этом не говорили, да и вообще упомянули о нем только раз и мельком.

Впрочем, история эта не была особенно сложной. Аркадий Андреич, знавший давно бабушку Настеньки, еще до приезда внучки погостить в это лето знал от нее обо всем и раз передал Валентину Петровичу. У Настенькина жениха была другая семья, незаконная, о которой Настенька не знала. Но раз эта женщина, мать двух детей, отыскав Настеньку, пришла к ней. О чем они говорили, хорошо неизвестно, но Настенька в слезах вышла проводить свою гостью, и еще всю ночь пробродили они по улицам Москвы, а наутро она не приняла жениха. Он нелегко отнесся к разрыву, начал кутить и проводить ночи за картами. Было и еще одно свидание у них, и Настенька, кажется (хотя бабушка с ужасом только полунамекала об этом), предлагала ему повенчаться с тою (не жить, он ее уже не любил, а лишь узаконить ее и всей семьи положение), и тогда она будто бы станет опять любить его, даже крепче, чем прежде. Но он отказался — низкого происхождения была эта женщина,— так все и расстроилось.

Валентин Петрович с тайным волнением выслушал этот рассказ Аркадия Андреича — так тесно переплеталась эта история с самыми скрытыми и глубокими собственными его переживаниями.

Изо всей струковской молодежи бывал у Настеньки изредка один теперешний жених Лизы Струковой. Он приходил к ней и молча просиживал (всегда на одном и том же потертом синеньком кресле) по нескольку часов у окна, выставив вперед через комна-

ту свои тощие ноги и глядя, как Настенька сидит за вышиванием. Потом брал у нее полотенце, выщипывал самыми кончиками, «всегда в трауре», грязных ногтей канву и уходил, длинно вздыхая. «Такой блаженненький, не дай бог,— говорила бабушка Валентину Петровичу, покачивая головой,— ну, а все-таки был жених...» — «И дядя у него с состоянием, лучшую москательную лавку имеет,— подхватывала первая тетушка,— да только Настенька все того не может забыть, хоть и сумасшедший он...» — «Настеньке будто грозил...» — добавляла вторая, а бабушка со вздохом кратко заканчивала: «Ну и то сказать, офицер...» — «А что же, он предложение делал?» — спрашивал с запинкой Валентин Петрович. «Кто? Москательщик-то? А как же, честь честью, и нам говорил. Мы к ней, а она только рукой махнула, так и отпустила ни с чем. Теперь к Лизаньке Струковой присватывается, что ж, дай ему бог...»

Старушки собрались однажды и в Ясенки. Валентин Петрович водил их по хозяйству; они одобрили сад, молотилку, скотный двор с симменталами, кузню и мельницу и отнеслись скептически почему-то только к плодовой сушилке, которую в этом году заводил Валентин Петрович; съездили утром к обедне (в Ясенки приехали с вечера), с удовольствием ели пирог с рисом и рыбой, после обеда сладко уснули часика на два. Настенька хозяйничала за чаем и за обедом, рассудительная и спокойная, как бы принимавшая гостей у себя; у Валентина Петровича, глядя на нее, сердце ныло тоской и умилением.

Она вообще бывала теперь нередкою гостьею в Ясенках. Приходила обыкновенно пешком, с утра, а вечером отвозил ее Валентин Петрович в двухместной тележке, правя сам лошадьми. Изредка объезжала Настенька с ним и поля, но чаще оставалась дома, брала из библиотеки книгу и уходила читать в сад или на пруд. Она подружилась с Борисом, с мадам (гуляла и играла с ними) и даже с нянюшкой Василидой, женщиной очень строгого нрава и поначалу отнесшейся к ней далеко не дружелюбно. Настенька вовсе, казалось, не думала (равно как и Валентин Петрович), что могли говорить и придумывать в округе о частых ее посещениях.

Раза три пришлось Настеньке даже заночевать. Раз из-за грозы, другой раз занездоровилось, а последний осталась сама: за Борисом недоглядели, он выкупался под вечер в пруду с пастухами, и у него сделался (небольшой, правда) жар. Мальчик он был некрепкий, и Валентин Петрович не на шутку обеспокоился. Он хотел сейчас же посылать в город за доктором (единственным), но Настенька знала, что тот был в этот день в отъезде, и сама осталась с больным.

К вечеру Боре стало как будто бы хуже. Он лежал у себя в кроватке в большой детской комнате, окнами выходившей в сад, и, разметавшись, пытался о чем-то рассказывать, несвязно и поминутно сбиваясь. Настенька сидела возле него, держа его руку. На шкафчике, в изголовье, стояли лекарства, недопитая чашка с заваренною сухою малиной и затененная книгою лампа. Француженка на пар

почках собирала вечерний свой туалет, так как ее на сегодня (по крайней мере на время) переселили в соседнюю комнату, рядом.

На другом конце дома нянюшка Василида сидела за покрытым скатертью, уже прибранным чайным столом и, надев очки, читала Библию, единственную свою книгу, которую перечитывала уже в шестой раз. Все двери, соединяющие комнаты огромного дома, были открыты, и Валентин Петрович, закинув руки за спину и переплетя пальцы, ходил по просторной их анфиладе. Дойдя до дверей детской, он останавливался на минуту и глядел на Бориса и строгое лицо Настеньки, в полутени склоненное к мальчику, улавливал два-три отрывистых, несвязных его лепетания и, круто повернувшись, шагал назад. Слева был сад, слабо шумевший кое-где вырванной светом из окон блестящей листвой, справа второй ряд комнат, неосвещенных, выходивших во двор. Оттуда еще доносились кое-какие звуки затихавшей, но не отошедшей еще на покой хозяйственной жизни.

Когда доходил он до столовой и видел нянюшку Василиду, неспешным движением старческих губ читавшую строки Ветхого завета, улавливал напряжение морщин у очков, толстой, перекрученной ниткой опоясывавших сзади ее маленькую голову, к вечеру освобожденную от платка, с тонким слоем гладких, еще не вполне седых волос, он замедлял свой шаг, хотя и не останавливался. Становилось похоже на жизнь — от детской кроватки и склоненной над ней молодой внимательной женщины и до этих старческих шевелящихся губ над страницами ветхой книги.

Путь одному через длинные молчаливые комнаты с зеркалами в простенках и старыми, в старых, тусклым золотом мерцающих рамах, портретами предков кажется длинным и пространство слишком большим, чтобы наполнить его одному; крайние полюсы есть, а середина? Настенька сидит возле мальчика, как молодая мать около своего ребенка. Как мать и жена?

Валентин Петрович остановился снова у двери. Мадам ушла, а Настенька, привстав и наклонясь над Борисом, старалась расслышать, что он ей говорил. Вдруг Валентин Петрович услышал отчетливый шепот.

Мальчик полупривстал и, охватив Настеньку за шею руками и не отрывая глаз, прямо в ухо сказал ей:

— Мамочка, дай мне попить!

Валентин Петрович видел, как вспыхнула Настенькина шея и откинулась голова, но вслед за тем она, не отнимая его руки, потянулась своей к чашке с малиной. Мальчик напился и лег, смолкнув, а девушка села опять, не обернувшись к Валентину Петровичу.

Бесшумно и тихо повернул Валентин Петрович назад, но не к няне, а, отворив дверь, на террасу; тут сел он на ступеньках лестницы, расстегнув себе ворот, и, достав папиросу, засветил огонек. Слова Бориса в бреду не переставая звучали в ушах. О, как все теперь было гораздо сложнее! В его отношениях собственно к Настеньке все было просто, но простота эта рядом с той неизбежною

сложностью, которая вот-вот вступит опять в его жизнь, грозила сама стать усугубленною сложностью. И все возникал короткий рассказ Аркадия Андренча, испуганное недоумение бабушки и странный намек о каких-то угрозах...

История Иакова с женами его и служанками жен — «пусть она родит на колена мои» — вспомнилась ему из первой книги Моисеевой, как раз той, что перечитывает на ночь няюшка Василида. Но разве ж Агния неплодна в супружестве и он — какой же Иаков! Одна Настенька, в обаятельной своей непосредственности, разве одна она не была бы немыслимой в роли служанки Рахилиной Валлы? Валентин Петрович почувствовал, как неудержимо краснеет. Что, если бы подойти сейчас к няне и спросить мудрого ее совета? Она качала его в колыбели, заменяла ему рано умершую мать, она прожила восемь десятков лет и знает его лучше, чем знает себя он сам...

И Валентин Петрович едва не поднялся, чтобы пойти к ней, сесть у ее ног, как в старину, или стать на колени и, подождав, пока она сдвинет на лоб очки, положить к ней голову на старенький фартук и спросить по-детски совета... Но он удержался. Он и сам, слава богу, не маленький и мужчина, отец и муж.

Настенька?.. Разве она?.. Разве с ней не поискать ли вместе исхода, в четыре руки не разобрать ли запутанный узор причудливых нот, не дожидаясь прихода самих событий? Но и это представлялось совсем невозможным. Настенька прежде всего не любила слов и разговоров (хотя и проговорила когда-то в Москве целую ночь — о, это, наверное, была лунная видная ночь! — с женою любимого!..). С ним же единственный раз, тогда, в лесу, сказала она что-то о себе самой, и то отклоняя возможность самой попытки что-нибудь еще разузнать о ней. «Пришли и ушли», — сказала она, и как правдивы и обещающе горьки эти слова!

Конечно, сама про себя она не раз, а много раз думала об этом же. Иногда Валентин Петрович ловил на себе ее взгляд, полный немого вопроса, который тотчас же она тушила беглым движением крутых ресниц своих, а разговор заводила о пустяках. Бывало и так, что он видел ее случайно, идя мимо окна, как она быстрым шагом ходила из угла в угол комнаты, заложив, как любил и он, за спину руки, и лоб ее был наморщен, а выражение лица почти суровое и напряженное. И еще один раз застал, не виденный ею, за внимательным вглядыванием, в большой портрет Агнии в его кабинете. Но она никогда, ни полунамеком ничего не спрашивала его о ней (хотя, кажется, многое хотела бы знать...) и держала себя так, как но бы и не знала о ее существовании. Молчал и он...

Но и помимо этой всегдашней Настенькиной скрытности, разве не должен был именно он что-то решить? Он был в центре этих и всю ответственность надо уметь брать на себя, не малодушничать. Должен решить... Но что же?

Валентин Петрович был сильно взволнован и курил одну папиросу за другой.

Пусть это было в бреду, но и в самом деле Борис не отозвался ли лишь на ток ее чисто материнской любви? Такой еще не видел Настеньку и Валентин Петрович, он замечал только привязанность Бориса к ней и то, что мальчик с Настенькой переставал быть хмурым и задумчивым, и он простодушно радовался, глядя на них, этим веселым детским минутам. Но сейчас девушка, сидевшая у больного, была вся иная, и еще небывало острое чувство какой-то безнадежной нежности томило грудь Валентина Петровича.

Он пробовал думать об Агнии, о предстоящем приезде ее, но мысли его быстро путались и соскальзывали опять на Настеньку, на сегодняшний вечер, уже перешедший в темную ночь, на то, как сидит она у Бориса, как мать... Только одно, нечто широкое и общее, полнило грудь от всех размышлений. Это не было мыслью ни о себе, ни о жене, ни даже о Настеньке, а скорей вообще – о человеке, кто бы он ни был и под какой бы широтой ни проводил свои дни, о его оторванности и разрыве с единой гармонией мира. Вот и сейчас он, мужчина, отец и любящий, перед лицом этой благоухающей ночи – как детски беспомощен он в своем одиночестве!

Валентин Петрович встал со ступенек, прошелся и, смяв папиросу, хрустнул руками.

Света не было в окнах, кто-то распорядился потушить лампы. Он не знал, сколько времени [illegible], – может быть, и очень долго уже. Только из окон Бориса [illegible] слабый отсвет и освещал на песке забытое полосатое колечко серсо. «Спит ли она? – подумал Валентин Петрович. Или сидит и... может быть... ждет».

Он ощущал усталость в груди и незаметно подкравшуюся за мыслями сладостную истому. Только теперь осознал он это томящее чувство и испугался его, ибо знал, что оно предвещало, и отдавался ему одновременно: ум отходил, усталый и ничего не разрешивший, дыхание ночи, на смену ему, стало слышней. Где-то в ракитках резко, протяжно и с перегибами кричала далекая иволга. Безлунная ночь, бесшелестная, еще не вовсе остывшая от зноя, покоилась над садом, деревья полудремали, стояла глубокая, теплая, безмолвно призывающая, душистая тишина. Отдаленные, но все же терпкие и крепкие запахи конопли и мяты несли собою темное, полное неопределенных желаний, беспокойство и ожидание. И в доме была тишина, ни звука не доносилось из-за темного четырехугольника открытой двери. Было похоже на то, как если бы была скрыта она черным, сплошным, непроницаемым пологом.

Вдруг Валентин Петрович коснулся глаз. По мимолетной ассоциации образов ему показалось, что в дверях, раскинув полы халата, стоит Аркадий Андреич, а за ним, за на мгновение откинутой темной полой, мелькнула округлость девичьей нежной руки, и узкое кружево скользнуло с угловатого, смугло белеющего плеча. Он сделал шаг к двери и остановился, схватившись руками за косяки. Перед ним в двух шагах была Настенька. Она спешно накидывала что-то белое на плечи.

— Три часа,— сказала она.— Боря уснул, и жара нет, лобик холодный.

— А мадам?— произнес первое попавшееся слово Валентин Петрович.

— Я разбудила ее, она перешла туда. Все прошло,— ответила Настенька и повторила опять:— Три часа.

— Три часа,— повторил за нею и он, как эхо, и не двигаясь, следя, как Настенька застегивала пуговицы на груди; теперь он уже наверное знал, что только и ждал, когда она выйдет, и думал только об этом.

— Я хочу лечь,— добавила она тише и, дрогнув плечами, протянула Валентину Петровичу издали высоко обнаженную руку.

«Лечь... лечь...»— опять повторил он, но уже про себя, и все не двигался с места; у него кружилась голова, и казалось, что если он оторвется от спасительных дверных косяков и сделает хотя шаг к Настеньке, то ноги его не выдержат и он упадет.

— До свиданья!

— До свиданья,— едва прошептал он в ответ и протянул Настеньке руку, слабо и непроизвольно притягивая девушку к себе.— Посмотрите, какая ночь!

Они стояли в дверях и глядели в сад, уже слегка белевший. Рука его была на плече Настеньки, и он все ближе обнимал ее, медленно привлекая к себе. Настенька молчала, дыхание ее было тяжело и прерывисто и волосы касались лица Валентина Петровича. Она безвольно и медленно поникла к нему, точно рушась и отдаваясь его широкой груди. Потом она вскинула руки, как тогда у яблони под дождем, и вся прижалась к нему, обвив его шею.

Но не совсем и так, как тогда. Это уже не был порыв грозы, быстро пронесшейся и миновавшей, и не было свежей влажности капель дождя на волосах и лице, это была безвозвратность, безудержная, душная ночь, и от лица и тела пышало жаром, и поцелуи были жадные, пересохшие и неутолимые, и была тишина и темнота и пахло коноплею и мятой...

XI

Под утро небо заволокло облаками, но дождь не сразу собрался, и денек стоял серый и мягкий. После завтрака Валентин Петрович отправился в поле, а Настенька сидела в саду. Мадам писала письмо на родину, няня томила себе в горшочке дикие груши на кухне, любимое свое лакомство, а Борис, как после ванны окрепший после своей кратковременной хвори, катал желтый старенький обруч по узкой и длинной кленовой аллее; он был весело настроен и что-то покрикивал на ходу, отдельные фразы из фантастической истории, разыгрывавшейся в самой тесной связи с бегом обруча и его крепкой ореховой палочкой. Каждый раз, как он, возвращаясь, добегал до Настеньки, он брал один из ее пальцев и, осторожно

поднося к губам, быстро целовал его и кидал всю руку назад, смеясь и опять подпрыгивая и гоня обруч перед собой.

Когда он только что поцеловал седьмой и побежал было дальше (счет пальцев тоже был звеном в его путешествии), залаяли собаки и кинулись навстречу завернувшему за угол сада экипажу. Борис остановился и на цыпочках, продолжая игру, по-новому обернувшуюся, и радуясь нечаянному и непредвиденному приключению, которое надобно было как-то включить в круг событий, стал придвигаться к дому, прячась и пригибаясь в зарослях рябины, орешника и молодых кленов и серебристого тополя, густо заполнивших канаву вдоль плетня.

Настенька только скользнула рассеянным взглядом по промелькнувшей через сетку листвы рыженькой паре, запряженной в тарантас с откинутым кузовом; какая-то дама в коричневой дымной вуали сидела там, но Настенька равнодушно отвела голову и стала глядеть в мягкую, весь сад покрывавшую тень. Девушка рада была серому дню, приносившему ей отдохновение; он помогал мыслям ее не углубляться слишком и обволакивал все ее существо убаюкивающей, миротворною [illegible] слабо улыбалась Борису с его ритмически возвращающимся обручем, каждый раз как он осторожно брал ее руку и шалов[illegible] назад. Время от времени она, однако, вздыхала и поше[illegible] непроизвольно кончиками пальцев.

Ей было, кажется, вовсе не [illegible], кто там приехал. Она подумала было, что надо пойти встретить раннюю гостью (дом был пуст), но осталась сидеть. И только когда Борис вприпрыжку бросился к ней и закричал, не рассчитав по детски голоса, так что, пожалуй, и приезжая дама могла услышать его слова: «Там тетя какая-то приехала! Чужая!» — она поднялась и пошла навстречу приехавшей.

Дама стояла, обойдя дом вслед Борису, у края крокетной площадки и глядела на них. Старые собаки Буян и Танцор, радостно повизгивая, очевидно узнав, терлись вокруг нее и старались лизнуть правую руку, с которой перчатка была снята. Больной Танцор, всегда меланхолический, так извивался, словно хотел вылезти из своей обветшавшей и облезающей кожи, и только Волчок недоуменно и отрывисто потявкивал издали, да и то все реже и реже.

Настенька шла с Борисом, уцепившимся за ее фартучек, который она надела с утра, и, словно на нее нашло какое-то странное отупение, почти не видела гостьи. Та стояла не двигаясь, и беглые блики, подобные зарницам, набегающим одна на другую, проносились по ее затененному лишь слегка откинутой вуалью лицу; руки, опущенные, туго натягивали узкую лайковую перчатку. Такою увидела ее Настенька, тонкую и стройную, изменчивую и напряженную, вдруг разглядев и сразу узнав по портрету. Остановилась теперь и она на мгновение, и глаза Агнии, не отрывавшиеся от них обоих, различили, конечно, смертельную бледность на лице молодой девушки, к которой прижался, также вдруг испугавшись, хорошенький мальчик. Боря? Но странное сходство, конечно, больше

всего в общем их выражении, было в эту минуту между ним и тоб
за фартучек которой он уцепился, словно ища защиты от непонят
ной опасности.

Невероятная короткая мысль пробежала в ней, что живут
здесь, быть может, уже другие, что муж, на последнее письмо не от
ветивший (впрочем, она не давала и адреса), уехал куда-нибудь
продал имение или даже...

Агния невольно хотела поднести руку к бровям — привычка
появившаяся у нее в последние месяцы,— но опустила ее с полуд
роги. А Настенька быстро пошла к ней вперед и, овладев собо
спросила:

— Агния Львовна?

— Да, я.

Тогда Настенька, опустив углы губ, сказала еще:

— Это Борис, ваш сын, он вас не узнал. Я пойду... пойду... ра
поряжусь... скажу...— И, не подав руки Агнии, оторвав от себя Бор
са, повернулась и, преувеличенно крепко ступая, прошла в дом

Через пять минут няня, покинувши группу, прибежала, поковы
ливая, в сад и не отрываясь начала целовать Агнины руки, щеки
и волосы, а молодая женщина плакала, уткнувшись в ее плечо, от
которого несло свежим дымком. Борис был тут же. Он казался рас
терянным и, уступив мать объятиям няни, отодвинулся на два шага
в сторону и оглядывался, ища Настеньку.

Когда все втроем пошли в дом и няня хотела распорядиться
послать за Валентином Петровичем в поле, гувернантка шепнула
ей, что Настенька уже сказала об этом одному из пастухов, пришед
шему на обед, да и сама куда-то пошла. На старую француженку
пахнуло неотразимым обаянием давно уже покинутой родины, от
Агнии шел неуловимый запах Парижа, одета она была очень скром
но и просто, по-дорожному, но от этой изящной простоты, от ко
ких волос приехавшей, легко заложенных на уши, шло на малень
неизъяснимое очарование, щекотавшее самые ноздри и патриотиче
ски сентиментально трогавшее сердце ее, тугим, высоким корсето
забронированное от всяческих волнений на чужбине уже тридцать
без малого лет. Об одном жалела она, что Настеньки не было и с
не видала их встречи своим хитроватым и падким на все пикант
французским глазком.

Пока няня хлопотала о чае, Агния отпустила Бориса с фрей
женкой, а сама осталась одна. Ей хотелось этого. С минуты на ми
ту ждала она Валентина Петровича, а чувствовала себя разби
и слабой и от дороги, сделанной ею без всякого перерыва и, по
запиому побуждению, ранее срока, и от первых волнующих вп
лений Ясенок.

Самый разрыв с человеком, которому она отдала почти
лет жизни, такой тяжелый и открывший ей глаза на весь тот об
в котором жила и который был скрыт с таким виртуозным ис
ством все это время от ее слепо любящих глаз, это роковое от
зрение, даже оно, кажется, не было так истомляюще тяжело
последние месяцы, когда все думала Агния собрать себя, укрепи

и набраться мужества перед возвращением; они истощили силы ее окончательно. А она умела быть безжалостной и даже жестокой к себе! Даже сон не приносил ей с собою ни отдыха, ни освежения, и она вставала разбитою для нового дня. Но особенно тягостны были часы вечеров, когда на бульварах, в кафе и ресторанах зажигались огни и летний Париж начинал жить своей таинственною и такою чуждой, пугающей жизнью. Все жалило душу — огни и голоса, рожки автомобилей, глаза парижанок, похожие на бархатные ночные цветы, и боль ее походила на то, как если бы изо дня в день заставляли ее идти босыми ногами по острым и накаленным солнцем камням.

Потерянным раем представлялись тогда для Агнии покинутые Ясенки и их немудреные поля и перелески, пруд и лут, старый с аллеями сад. Она не родилась и не выросла в миротворящем их лоне, но, странное дело, точно там действительно начинала она, хотя и с надломленными силами, новое детство, и если не стала вовсе родной, то деревня, с ее простором и тишиной, готова была назвать ее приемной дочерью. Муж и Борис из них она боялась и думать столько, как бы хотелось; представлялись ей издали не иначе, как частью чего-то великого целого и простого и исцеляющего там, на родине. И самое это слово впервые стало для нее живо и полно чарующего обаяния.

Была в эти дни Агния как глубоко больная, и если не смела надеяться на исцеление, то мечтала хоть умереть на родной земле. Порой она падала духом до совершенного ко всему безразличия, когда уже не было ни мыслей, ни чувств, ни хотя бы отдаленных надежд, но иногда вскакивала, как от толчка, начинала спешно укладывать вещи, брала дрожащими руками шляпу, перчатки, подходила к зеркалу и застывала так, не видя себя. Наконец это стало свыше всякой меры и сил, и почти в каком-то припадке она собралась в один вечер, кое-как рассовала по корзинам и чемоданам самые необходимые вещи и поехала на вокзал. Поезда ждать пришлось три часа, но она терпеливо выждала их, не сойдя с места и не пошевелившись. Дорогой она была как немая, не отвечала ни на один к ней обращенный вопрос, ничего не ела и пила только кофе на коротеньких остановках. Всю последнюю силу она собрала и устремила на самый процесс передвижения, приближения, и когда села наконец после трех ночей, проведенных в вагоне, на ямщицкую пару и, назвав имение Ясенки, уронила левую руку на локоть правой, так и просидела, не изменяя позы, все одиннадцать верст, и были они полны разнообразнейших, но одинаково мучительно волнующих чувств. В последний раз вспыхнули в ней и давние те очарования – томления и мечты, которые с такой магической силой владели когда-то ее живою душою. Только, быть может, теперь хоронила она их навсегда.

И когда показался ясенковский сад, серебрясь и седея верхушками тополей, все это было покончено, умерло, чтобы не воскресать, и осталось одно ощущение рокового молниеносного приближения к страшному и дорогому последнему месту, которое скажет

ли: жить ли еще? Она писала Валентину Петровичу, что пробудет здесь несколько дней, но теперь знала с твердостью, что ей некуда ехать, это было именно так — последнее место. О, пусть она хрупка и слаба, пусть истомлена артистической переутонченностью, но в ней есть и иная стихия: мужество, смелость и решимость; есть, быть может, какая-то еще непочатая Агния, еще молодая, полная сил, она сумела бы завести этими здоровыми соками и, ширясь, ветвясь, наполнить и этот просторный дом или же... или... — чем плохо и это? — небольшой холмик земли и вечное отдохновение в тихой тишине, где шумят только деревья вверху да сельские птицы поют свою несложную песню.

И вот она сидит здесь, в своей бывшей комнате, одна — как хорошо, что некоторое время одна еще! — и напряжение слабеет в ней, и отходит печальною жалобой сердце: так темная туча, долго томившаяся, вдруг, не прогремев, исходит мелким и частым долгим дождем. Одной, самой по себе, силе ее не развернуть своих крыльев! О, если бы чье-то сердце, крупное, крупно бьющееся, застучало у ее груди, сердце всепрощающее, возрождающее, истинно человеческое!

Но собственное ее, усталое, устало шептало: поздно пришла поздно вернулась! Настенька была перед ней, и в глазах ее было столько сжатого, уплотненного блеска, почти получавшего самостоятельное бытие, и Борис держался за ее фартучек, крепко прижавшись к ней и напрягая шею, как бы упираясь. Она знала, что не ошиблась, но так было горько сказать себе это горькое слово в последнем убежище: чужая!

Агния сидела так, уронив голову, сжав губы и руки, пока наконец не пришли и слезы. Она не противилась им и, раз заплакав, плакала долго, лишь изредка вспоминая приложить платок к мокрым глазам. Они не сразу облегчили ее. Было смутное ощущение как бы дождя, начала которого она не заметила; эта частая сеть льющихся прядей, словно само небо в изнеможении разметало косы свои, залила собою и сад, и дом, и поля, и душу, все пространства вокруг и внутри. Неопределенная, смутная жалоба, вина, тоска, не находившие разрешения, плакали в ней. Ощущения ее походили сейчас на хаотическое кажущееся бесцельным движение облаков, будто не знающих, куда себя деть. Слезы капали с длинных ресниц, и вся она была как большая дождевая слеза, дрожащая на черном кончике узловатой и мокрой березовой ветки. Дождь и в самом деле пошел точно такой, и в самом деле начала его Агния не уследила.

XII

Валентин Петрович между тем, бывший довольно далеко и сразу отысканный пастухом, то нетерпеливо торопил лошадь ко жами, то сдерживал ее слишком быстрый бег. В том же порыва сменяющемся темпе беспорядочно и напряженно теснились в не ве его мысли, то рожая причудливо фантастические и необы

смелые решения, то спадая до странного физического замирания в груди, когда всякая отчетливость сознания исчезала.

Но по мере приближения к дому мысли его становились все сжатей, энергичнее и сильнее. Он окончательно овладевал собой. Какая-то глубокая перемена произошла в нем, кажется, именно сегодня. В его руках была теперь судьба и своя, и их обеих,— это было ответственно. Чувства и мысли и самая жизнь так тесно сливались, как конь с седоком, в непрерывном одном устремлении. И только где-то, как пыль за тем всадником, крутилась и поднималась целая туча других житейских отрывочных представлений, и среди них неотвязней других: как они там... обе... сейчас? И это было первое, что он спросил у встретившей его няни:

— Где Настенька?

— Жена приехала,— строго глядя через очки, ответила нянюшка Василида.

«Вот она, нянина, народная мудрость...» — мелькнуло в его голове, пока он скидывал плащ, блестевший дождем.

В доме была тишина, ни звука, точно все вымерло. С забившимся сердцем быстро пошел он, почти побежал, звонко стуча по паркету. В столовой был чай, не тронутый еще. Где же она? Теперь «она» не была уже Настенькой; где-то в двух шагах от него, еще невидимая, была и дышала в этих стенах, не видевших ее долгие годы, Агния — жена.

На минуту он приостановился и даже закрыл глаза от охватившего грудь его трепета. Все его мысли были полны, как удар здорового пульса, а необычная активность, переполнявшая его душу, настоятельно требовала своего проявления; точно после длительного сидения он встал во весь рост и, подняв голову, увидел мир лицом к лицу. И, увидев, принял первый удар, проникший ему в самое сердце; с такой молниеносной быстротой и почти страшным ясновидением он ощутил сердце Агнии и проник в него. Это оно стучало теперь в груди его и мимо слов, вне их, одним этим биением, открыло и осияло все: приезд, встречу здесь Настеньки, всю прошлую жизнь и это томительное ожидание его возвращения. Такая острая боль, какой еще не знал Валентин Петрович, и слитный с нею почти огневой восторг охватили его с силою бури. Он не только готов был теперь идти навстречу всему, ни перед чем не отступать и глядеть пришедшим судьбе в глаза открыто и мужественно, но больше и ярче того: была какая-то радость и гордость, что вот предстоит душе человека труднейший экзамен, и она не отступает, а рвется навстречу всем трудностям, вставшим ей на пути. И не одной его душе этот экзамен, и они обе стоят перед судом, любовь — нет, не только любовь,— достоинство человека должно быть оправдано.

Агния встала навстречу. Она быстро отерла глаза и лицо крошечным маленьким платочком, крепко зажатым в руке, зрачки ее были расширены и углублены. Прежняя гибкость и упругая твердость, давние, еще девические, сами собою и с непостижимою быстротой вернулись к ней в это решающее мгновение, и она стояла так, прекрасная своей внезапною красотой. Возле глаз ее наметило

время легкие, лучиками, морщинки, такие же лежали и над бров-
ми, но черты лица стали еще тоньше, углы губ, слегка опущенные,
дрожали, и волосы, несколько в беспорядке, были похожи на обла-
ко, пролетающее и задевшее голову дымным крылом.

Верно, и вид Валентина Петровича так же был странен,— ис-
ключительно редко можно увидеть лицо человека, когда почти ди-
кое вдохновение, как гром, ударивший с высоты, венчает его своим
единственно достойным человека венцом, и увидишь тогда, когда
в самом все напряжено навстречу,— Агния сделала шаг и остано-
вилась, и новое волшебное изменение преобразило черты ее: слиш-
ком сильно и неожиданно было это явление. Она слегка вскрикну-
ла, тем самым вскриком, должно быть, с каким срывает, склоняя
ветер верхушку пены со вставшей и устремленной волны, и, как та
же волна рушится неудержимо вперед, она упала на грудь Валенти-
на Петровича в отдающемся изнеможении чувств.

В дверях была нянюшка Василида; вопреки всем приличиям
она не могла не появиться на этот вскрик, услышанный ею, и вось-
мидесятилетнее женское сердце остается все тем же женским пор-
вистым сердцем, пока только бьется, и есть звуки, не отозваться на
которые оно не в состоянии. Губы старушки стали вдруг широки
и влажны, а на конец платочка, засыпанного рыжею нюхательною
пылью, упала живая слеза. Коричневым скрюченным мизинцем
отерла ее нянюшка Василида и отошла на цыпочках прочь.

Немногими словами привета обменялись муж и жена; все уже
было дано, и на слова перевода не требовалось. Оба вместе шли
в детскую.

Теперь ни одной секунды не забывал Валентин Петрович и На-
стеньку. Сердце его, точно в одном фантастически огромном бие-
нии, расширилось так, что вмещало весь мир от полюса до полю-
са, то есть Агнию и Настеньку вместе, но Настенька стояла где-то
вдали, еще не зная о происшедшем; одиноко стояла она, не отводя
казалось, от них блистающих глаз, а сердце Валентина Петровича
уже томительно жаждало сжаться, чтобы вместить и заключить в
обеих совсем, навсегда, толкнуть и спаять их между собой в одно
навеки объятии.

По какому-то особому, порывисто сильному сжатию своей ру-
ки рукой Валентина Петровича, как по угаданному сигналу, Агния
остановилась; она поняла, что это было мыслью о Настеньке.

— Слушай,— спросила она, крепко взяв его руки (теперь я
что, может быть, было бы дико и страшно и невероятно слож-
спросить во всякое другое время, было не то чтобы легко,
единственно нужно, необходимо и естественно),— слушай, ты
бишь ее?

— Да,— ответил Валентин Петрович.

Наступило молчание. В этих коротких словах было мно-
уже в самом вопросе, в возможности и необходимости его было
ключено для нее знание того, что ответит, а для него также и
что Агния все уже поняла и приняла в самой сущности проник-
венно и верно, то есть минуту их встречи не только как ей

ние, или забвение, или все равно как сказать, и не только как порыв чистой радости свидания и любви к ней одной, а выше и чище, человечнее и мудрее, ибо и она уже знала, что в этой же их встрече, такой, включается третья. Но Валентин Петрович еще не знал всего, как в эту минуту просветления и подъема думала Агния. Он пока только знал, не раздумыванием, а постижением, что это не кто иной, как Настенька, творец такой встречи, это она ввела его в круг настоящего мужества, в крепящие волны стихий, где душа свободна, вольна, горда и могущественна, где природа ее, не скованная, знает движения, по силе равные океанским течениям, точнее — что именно Настенька провела его, сама проходя, через подлинную стихийную закаляющую страсть, которая одна способна в мужчине выковать настоящего мужа. Ему открывалась теперь, хотя и не вполне еще, и та глубина постигания, которая далась Агнии длинным рядом ее скитальческих лет. Не только ему не пришлось что-нибудь «делать», как когда-то он думал (а теперь вспоминал со стыдом), не только не было той больной и унижающей жалости, о которой писала она, но точно огнем испепелило самую возможность всяких обид, ревности, обоюдных недоразумений на распутывание (и еще горшее запутывание) которых не хватило бы жизни. Это было подобно чарам костра, но действеннее, глубже и окрыленнее. То, что сковало их вместе в эту минуту безмолвного нерушимого объятия, это было выше любви и крепче, чем самая верность.

Но предвидеть, как будет дальше, Валентин Петрович еще не мог.

— Где же она? — спросила Агния после молчания.

— Я не знаю, — ответил он.

— И она должна быть с нами сейчас, — сказала Агния твердо.

Борис, увидя вошедших, подошел к отцу, неловко косясь на мать. Он теперь уже верил во все то чудесное и неожиданное, во что обернулась его игра с обручем, и хотя удивление длилось еще, робкая нежность, стыдливость и радость побеждали недоумение, и когда Агния, присев на корточки, вровень с ним, обняла его шею и смочила ее горькими и счастливыми материнскими слезами, мальчик недолго крепился и вдруг, изо всех сил обвив ее шею, заплакал сам и прижался к ней с солеными поцелуями. Не только поверил теперь, но и признал, даже узнал отдаленным каким-то воспоминанием.

Немного спустя отец спросил его:

— А где же Настенька?

— Не знаю, — ответил мальчик и беспокойными, какими-то тревожными глазами поглядел на обоих.

Но кто был поражен совершенно простым этим вопросом, так это мадам. «Впрочем, в этой дикой стране можно всего ожидать», — все же с недоумением и уж конечно с горделивым сознанием собственной врожденной культурности подумала она, пожав давно плечами, так, однако же, чтобы это было не слишком заметно.

— Где она может быть? — спросила Агния, взяв мужа за руку, и в голосе ее было столько живой, непосредственной тревоги, по-

чти безотчетного страха, что он сразу заразил и с удвоенной силой охватил Валентина Петровича. На столе, на Борины тетрадях, сачках и удочках, наваленных в беспорядке, лежала простенькая, из желтой соломки, Настенькина шляпка.

— Я сейчас узнаю, папочка, от няни,— сказал Борис и убежал бегло и с внезапно родившимся обожанием взглянув на мать.

— Она где-нибудь здесь,— возразил самому себе, возникшим сомнениям Валентин Петрович,— вот ее шляпа.

— А что, если нет?

Оба посмотрели друг другу в глаза и прочли одно и то же страшное подозрение.

— Пойдем, пойдем... сказала Агния и вышла первая. Борис уже бежал им навстречу.

— Васичка (так он звал Василиду) сказала...— мальчик запнулся и, посмотрев на мать, договорил, обращаясь к ней,— что Настенька что она ушла в лес, то есть на пруд... к яблоньке... одна.

— Ты меня подождешь?

— Нет,— ответила Агния,— и я с тобой

Они оба накинули плащи и, забыв о калошах, направились к пруду почти бегом.

Дождь шел, но не сильный, кое-где уже были видны просветы синего неба, они влажно поблескивали и исчезали. Трава на рубеже к пруду была мокра и высока.

— Ты без калош,— рассеянно-заботливо произнес Валентин Петрович; сердце его падало, как с горы; Агния ничего не ответила.

Дойдя до пруда, они поняли сразу тщету своих поисков. Были следы, но дождь все покрыл серою сеткой на травах, и нельзя было понять, старые эти следы или недавние. Пруд спокойно рябил под дождем, и лес отзывался на оклики невнятным, неопределенным эхом, спутанно сливавшимся с шумом листвы. Настеньки не было.

На обратном пути оба молчали, Валентин Петрович сумрачно что-то соображал; дома отчаянно заливались собаки.

— Твой ямщик,— сказал Валентин Петрович.— Она ушла в город.

— И я о том же,— отозвалась Агния.— Едем сейчас.

Старенький тарантас на окрики их остановился. Ямщик обернулся с козел и ждал.

Француженка со все возрастающим недоумением видела через окно, как господа сели, не заходя домой, в экипаж, и ямщик, повернув лошадей, погнал их по направлению к лесу, по летней дороге на город. Она даже присвистнула носом и, тонко поведя вермишелью бой, отправилась в столовую пить чай с кипяченым сливками.

XIII

Путь через лес протекал в глубоком молчании. Агния кутала в мокрый, холодный плащ и поминутно взглядывала то вперед, по сторонам. Ямщику приказано было гнать лошадей, время от

мени Валентин Петрович давал ему указания, где нужно свернуть; лесные дороги хитры, их надо знать да знать.

Дождик переставал. Уже весело посвистывали птицы в кустах и деревья отряхивались от пригибавших их капель. В просветах к оврагу свежо блестела мокрая трава; звук от копыт лошадей был мягок и сочен, беловатый пар подымался над их залоснившимися спинами и боками, ямщик покрякивал и посвистывал, впрочем сдержанно, догадываясь о чем-то неладном. Ехали быстро, но тревога, все возраставшая, бежала далеко впереди.

Все было теперь сосредоточено в этой езде: сомнения, надежды, в тысячный раз подымавшиеся тяжелые мысли о том, что, быть может, там, под серым дождем, взбухшим мелкие пузыри на пруде, покоится Настенька, чуждая уже и этой погоне за ней и всем высоким их недавним переживаниям... Ее-то в конце концов все-таки и недосмотрели, все решено и все устроено — без нее!.. Надо было остаться там и искать... багры... Нет, нет! Ужели смерть? Боже мой! И не мочь ничего предпринять, кроме этого медлительного передвижения, имевшего сомнительный смысл! Какая неправда, тлен, и... позор, и во всяком случае полное поражение...

Порой казалось все конченым и безнадежным. Не все ли равно, бегут ли лошади быстро, или, устав, потащились бы шагом, или вовсе повернули назад? Каком роковом сокрушающим размах сделал их маятник! Огонь и восторг — и мертвое преступное отчаяние, а по пути скошена жизнь. Жить с преступлением?..

Лес кончился. В низкой ложбине глядела спасская церковь, а дальше, на горизонте, серовато-лиловые, виднелись главы уже городских церквей. Купол собора и шпиц колокольни горели, как желтая луковка и золотая игла. Там уже падало солнце, а повернув голову вправо, Валентин Петрович увидал широкую, мягко сиявшую радугу.

Охваченный внезапным, таящим откровение волнением, Валентин Петрович взял руку жены в первый раз за все это время и с силою сжал. Он хотел что-то сказать, но Агния сама приподнялась, наклонилась и вдруг прошептала:

— Смотри! Она?

На большом белом камне (от города пятая верста) сидела Настенька. По лицу Валентина Петровича Агния прочла ответ на свой нетерпеливый вопрос, и оба так и остались стоять. Солнца все еще не было, но и вправо от них на быстро синеющем и шевелящемся небе и в глазах Валентина Петровича, слегка увлажненных, а через глаза и в синем просторе души, поверившей в чудо, сияла мягкая и полная радостная дуга обещания – радуга. О, как торжественно хорошо было бы полностью принять многоцветные дары ее!

Агния... Глаз жены не видал Валентин Петрович, как не видал и мгновенного, непроизвольного больного движения ее губ; он неотступно глядел вперед.

Найдя пастуха и приказав ему бежать к Валентину Петровичу, Настенька, сама не зная еще куда, вышла из дому. Она направилась прямо по рубежу; влажные стебли травы сочно ложились под ее

быстрыми шагами; серели невдалеке лес и пруд. Девушка едва различала их, но, дойдя до дикой яблони с просыпанной под нею мокрой желтою падалицей, она остановилась у опушки леса и обернулась на дом. Он выступал большим мокросерым пятном, влево от служб, на таком знакомом мягком фоне седых тополей. Она стояла и глядела, запечатлевая все подробности; казалось, только сейчас она поняла, как все это дорого ей до нестерпимости, до боли в глазах. Потом она сделала какое-то неопределенное движение рукою, полуподняла ее и уронила и, повернувшись, быстро пошла по лесной дороге, а потом и побежала, словно гонимая ветром судьбы.

Теперь Настенька сидела на камне. Она с трудом переводила дыхание, волосы ее были мокры и тяжелы, руки уронены на колени; лицо, хотя и разгоряченное бегом, хранило всю строгую сосредоточенность мысли. Башмаки были полны воды, и ныла слегка натертая нога, доставляя этим болезненным ощущением некоторую отвлекающую отраду.

Настенька сидела так и глядела на радугу. Была у нее одна любимая в детстве картинка. Такая же крутая, высокая радуга и дымно бегущие тучи за нею, а на радуге ангелы сидят и играют живою и легкой гирляндой, и только один, отделившись, летит вниз, а под ним темная и глухая река, но игра остающихся не нарушена. Что это была за книжка, Настенька не могла как следует вспомнить, в ней было двенадцать в красках картин, но поразила воображение эта одна, а в ней, главное, то, что сорвавшийся не мешал общей гармонии. Про себя решала тогда Настенька с первою дрожью рано проснувшейся гордости, что ему суждена иная судьба: пройдя через темную реку, огонь, покинутость одиночества, он взойдет по ту сторону радуги и будет там один, полновластный. Бог весть почему, на усталую голову, ожило в ней это воспоминание детства. Она не отводила взора от цветной череды полос, а зоркий глаз ее непроизвольно замечал, что правый конец дуги лежит ближе крайнего склона леска: на темной зелени дерев усиленно ярко горел зеленый кусок, остальные давали затуманенно измененные оттенки. Одно усилилось, другое побледнело и изменилось, и все как-то по-новому сдвинулось с места. Или все осталось как было, и только она сама скользит под крутизну и раненый взор ее воспринимает вокруг все иначе? И не упала ли уже и вот сидит, покинутая, на распутье у камня большой дороги?

Валентин Петрович стоял в тарантасе и махал ей шляпой. Голоса его не было слышно, но Настенька все же наконец оборотилась, тяжело повертывая голову на этот еще далекий призыв, сдвинула брови и поднялась. Первым побуждением ее было вскочить и бежать, но она осталась из-за гордости и из-за невозможности скрыться; лошади приближались с большой быстротой, и тарантас, подскакивая и наваливаясь, казалось, сам подталкивал их. Лицо Настеньки было сурово; эта погоня за нею была, кажется, воспринята в первую минуту, как что-то похожее на оскорбление, и ощущение это еще возросло, когда она различила и Агнию, также изо всех сил но наклонившую голову вперед. Что было им нужно от нее? И

чем первые часы свидания, теперь, очевидно, такого нежного и примиренного, они посвящают ненужным тревогам о ней? Настенька стояла, крепилась и взвинчивала себя. Теперь в ее глазах заиграл новый, еще скрытый огонь, точно она задумала и нечто иное. «А, ты этого хочешь,— говорили, казалось, глаза,— ты сама идешь мне навстречу, признаешь мое право, так будь настороже — признаю ли еще твое...» Когда-то готова была она сама подарить это право несчастной другой, но взять милость из чьих-нибудь рук,— о, Настенька слишком горда!

С таким вызывающим видом стояла и глядела девушка, когда с разных сторон экипажа соскочили к ней одновременно Агния и Валентин Петрович. Он ближе был к Настеньке и первый взял ее руки. Сердце Настеньки будто окаменело, холодными, почти презрительными глазами встретила она его загоревшийся, стремящийся и убеждающий взор. Она ничего не ответила и на горячее восклицание Агнии:

— Мы так измучились оба, пока увидали вас! Отчего вы ушли? Настенька!.. Позвольте вас так назвать .. Мы должны все преодолеть, и чем труднее... Все мы много страдали, Настенька!

Настеньку жгло каждое слово, и особенно это, соединяющее их, такое естественное: «Мы так измучились оба...» «Какое мне дело до ваших мук!» — можно было прочесть в ее засверкавших глазах.

Но уже и сейчас в этих порывистых, призывающих словах Агнии ухо ее уловило ту тайную, скрытую женскую боль, которую не воспринимал, видимо, вовсе Валентин Петрович через полог своей, ослепившей его мечты; она видела острее и глубже, чем он, она безошибочно слышала в восклицании Агнии что-то шедшее через силу, надрывное и дребезжащее. Но, может быть, именно это, такое понятное и самой Настеньке, такое женское, смягчало ее и тушило обжигавший пламень оскорбления. И где-то на очень большой глубине дрогнула в душе ее золотая точка; ей еще не было имени, но в ней было зерно последнего решения Настеньки.

Как издали видела она отступившего на шаг Валентина Петровича; лоб его был высок, общее выражение лица сдержанно и полно напряженной игры столкновения чувств; в самой фигуре его, в изгибе плеч и талии было опять то почти фантастическое с покинутым ее женихом сходство, о котором она ни одним словом ни разу не помянула...

Одновременно была в душе Настеньки и досада, почти злость на его слепоту, на это благородно-наивное мужество, и оно же плеяло ее. И поверх всего то, что она в первый раз понимала во всей роковой полноте, как полюбила его безраздельно и как тяжела, непереносима будет потеря. На минуту захотелось ей закрыть глаза и, кинувшись, как во сне, отдаться ему на полную волю. Но видела и Агнию, вдруг сразу примолкшую, с опустившимися утлами губ, как двенадцатилетняя девочка притулившуюся на том самом камне у пол ее, где сидела и Настенька.

И оба они точно отступили перед ее внешне холодною твердостью, отступили и ждали... с новым, робким перед нею раздумьем.

Слово опять было за Настенькой, и Валентин Петрович стоял и ждал, и она быстро, быстро решала. Она уже знала теперь: нет, бороться не станет, вытеснять... кого? — эту несчастную, всю исстрадавшуюся женщину-девочку у ног ее?.. Нет, нет! У нее не вид дарующей победительницы...

Настенька смутно угадывала теперь по лицу Валентина Петровича, по их спешной за нею погоне, по затаенному, но явному, вопреки словам, живому страданию Агнии, угадывала и самую встречу их, и боязнь за нее, и, когда отыскивали, это щемящее раздвоение Агниных чувств... Но — тем более надо уйти. Почему? Настенька даже головою тряхнула: так решила, так будет. Самое трудное — это уйти, ничего не показав, не потревожив, а если бы только возможно, еще укрепив. Они перед нею как дети... О, трудно! Но и трудное не невозможно, и в самой трудности, в преодолении — высокая радость.

И только дошла Настенька в мыслях до последнего этого сознания, горячие силы опять пробудились в ней и золотыми искрами пробежали по жилам. О, любовь убивать — преступление, но поставить ей любую задачу, дать силам ее какой угодно исход — этого никто не в силах отнять у любящего, это его священное и вольное право!

Настенька порывисто присела и, обняв голову Агнии, крепко поцеловала ее в губы, но, сокращая всячески длительность этой минуты, тотчас вскочила и протянула обе руки Валентину Петровичу: он притянул к себе ее голову и коснулся губами виска.

— Нет, нет! — каким-то разорванным голосом, почти со слезами, воскликнула Агния.

И когда Валентин Петрович склонился, послушный этому «нет», к близким Настенькиным губам, он явственно ощутил, как энергично они были сомкнуты.

Настенька покорно села с ними в тарантас, и ямщик повернул коней. Агния и Настенька сидели молчаливо и внешне спокойно и сдержанно, но всю дорогу шел между ними безмолвный их разговор, и они понимали друг друга острей и больнее, чем понимал из обеих сидевший напротив Валентин Петрович.

Француженка встретила их с полным недоумением и, зорко приглядываясь, прилежно копила материал для длинного и ядовитого письма.

Остаток вечера был сокращен. Агния села сыграть, но прозвучала Валентина Петровича, григовское «Сердце поэта», но оборвала, не докончив: слезы томили ее.

Спать отправились рано, и на прощание Настенька попросила себе лошадей на заре, обещав скоро приехать опять, но запретила Валентину Петровичу встать проводить ее утром. Весь вечер она казалась спокойною и почти веселой; украдкой, зная, что расстанутся совсем, нежно ласкала Бориса.

Но когда все разошлись наконец, Настеньку охватил настоящий озноб, зубы стучали, и волосы шевелились на висках. Она ле-

талась в платок, но согреться не могла. Наконец дрожь она пересилила, но время от времени все еще вздрагивала.

— Настенька, вы? — услышала она голос Валентина Петровича.

Она сидела на подоконнике, выходившем в сад (недавно еще разошлись), и кивнула молча в ответ: я; да; я; вся тут.

Валентин Петрович стал целовать ее руки, отданные ему; потом приложился к ним щекой и глазами. Настенька вздрогнула опять. Он поднял голову и посмотрел на нее.

— Что это? — спросил он тихонько. — Вы вздрагиваете?

— Да, — ответила Настенька, — это кто-нибудь прошел по тому месту, где я буду лежать. — И на его вопросительно-тревожный взгляд, полный любви, пояснила со слабой улыбкой. — В могиле. Ну да, такая примета есть.

Она поднялась и стала закрывать окно.

— Идите, все хорошо.

Валентин Петрович постоял с минуту еще перед закрытым окном и медленно отошел. Настенька издали следила шаги его, кутаясь в шаль. Вот он и исчез...

XIV

Время шло; уже золотясь, тяжелели леса, и вяз перед домом шумел, как чаша, полная золотых ниспадающих искр дорогого вина.

Была середина ясного, погожего октября. Как молодое чувство жизни с годами, не погасая, делается, однако же, тоньше, четче и глубже, так что становится видимым как бы самый скрытый план нашего бытия, так и осень, пролив на землю червонное золото и обнажив узловатый узор освобожденного тела стволов и ветвей в замолкшем лесу, не потеряла в своем очаровании. Четкость, строгость, законченность, без единого лишнего штриха в очертаниях, холодноватое небо, целомудренно чистое, но не бесстрастное, звонкая еще бесснежная дорога и ровные, вдаль бегущие колеи, полный и мерный завершительный труд молотьбы и свежий, уже морозный скрип мельницы, отведавшей вкус нового хлеба, тяжелые струи воды, медлительно огибающей город, — такова была эта поездка Валентина Петровича.

Настенька уехала в Москву в самый день отъезда из Ясенок, не повидавшись больше с Алтуховыми. Писем она не писала, и только бабушка вскользь сообщила Валентину Петровичу, что «офицер к ней опять пристает». Это известие, как и самый отъезд Настеньки, больно его укололо, и неясное предчувствие утраты стеснило грудь.

Жизнь в Ясенках шла своим чередом. Не была похожа она ни на ту, как была до отъезда Агнии за границу, ни на представлявшуюся Валентину Петровичу не раз, когда он думал о возможном возвращении жены домой. Сам он по-прежнему много бывал на работах. Агния почти весь день проводила с Борисом, и необходимость в доме мадам становилась все более сомнительной. Осень стояла на

редкость погожая, и почти каждый вечер оба они выходили гулять среди пустующих, уже затканных осеннею паутиной полей; они говорили немного, а о Настеньке почти никогда. Но никогда — только словами, оба чутко отгадывали мысли о ней в непроизвольных движениях, жестах, зазвучавшей вдруг по-иному интонации голоса, по всем этих вторичным обертонам души, часто едва уловимым, но тем больше характерным и говорящим.

Агния слегка пополнела, окрепла, реже плакала теперь, оставаясь одна, но смутная тяжесть ее не покидала. Иногда она, долго перед этим раздумывая, решалась наконец на какой-то большой разговор, но с полуслова сбивалась и замолкала, только крепко опираясь на мужнину руку, как бы пробуя, может ли она на совсем опереть на него и свою жизнь. Он отвечал на это движение прижиманием локтя к себе, и ответ этот не был исчерпывающе ясен и успокоителен.

Но дни протекали, не останавливаясь, один за другим, и время незаметно налагало свои целящие и связывающие узы. Однажды заговорил Валентин Петрович о поездке зимою в Москву. Агния коротко согласилась: ей было больно и страшно и хотелось вместе с тем неизбежного полного выяснения. Валентин Петрович написал письмо Настеньке, и теперь ждали ответа.

Но сегодня на почту он запоздал и от нечего делать, пережидая, зашел к Аркадию Андреичу. Его самого не было дома, детвора была также в отъезде, у тетки в губернском городе Т., где все учились в гимназии. Ольга Григорьевна с Лизочкой оказались в Москве за спешной покупкой приданого: новая свадьба была не за горами. По дому бродила одна маленькая Ирочка, рыжеватые легкие кудерки ее золотым сквозным облачком сияли на солнце, а толстая нянюшка едва поспевала вразвалку за ней.

Не раздеваясь, в пальто прошел Валентин Петрович на террасу. Осыпавшиеся листья покрывали собою слегка подгнившие доски в углу, где голые ветки орешника глядели из сада. Весь сад теперь был виден насквозь и походил на покинутый дом. Только кое-где запоздавшая паутина серебрилась в кустарниках.

Раздумье, глубокое, поглощающее, охватило Валентина Петровича. Точно из отдаления, с вершины холма, обозревал он минувшее лето, начавшееся именно здесь... нет, еще раньше — при переезде через плотину у мельницы, где отразилась калина за всадником. «Вот и я промелькнул там в реке, в этом плывущем и уплывающем облаке», — припомнилось ему тогдашнее беглое ощущение. Какой большой и сжатый, какой значительный кусок жизни, как все было тогда просто и полно, и... человечно. Да, именно так. Далекая Настенька, не подававшая голоса, оставалась в душе непрестанно живою. Всходило ли утро, громоздились ли тучи на небосклоне, или кровавый закат раздвигал волшебные стр[illegible] западе — незримая, во всем дышала она. Была какая-то тайная связь, органическая, нерасторжимая, между нею и всепроникающим и объемлющим всякую жизнь лоном природы, включавшим и их краткие жизни. Она была как гроза, набежавшая и отошедшая

солнце меж туч, как высокая радуга на дымном склоне небес, как лёт быстрого ветра. Пришла и ушла. Но разве может пройти то, что единое вечно?

Валентин Петрович не слышал, как Струков вернулся. Он вошел без обычного шума и всегда сопутствующей ему веселой суеты. Узнав, что Валентин Петрович был здесь, он прошел к нему на террасу, ступая замедленно и осторожно.

Увидев силевшего к нему спиною товарища детских лет, Аркадий Андреич остановился, и лицо его отразило старание подавить необычное, внезапное волнение.

— Ты уже знаешь? — спросил он негромко, подойдя и положив на плечо Валентина Петровича руку.

Валентин Петрович, вздрогнув, поднялся и ничего не ответил. Он понял одно, что случилось нечто непоправимое.

— Неизбежность... Всем на роду написано. Но только страшно и горько... обидная смерть... Ты не думай, я знаю и понимаю... — быстро и бессвязно заговорил Струков, и мелкие слезы покатились по его пухлым щекам.

— Настенька?.. — прерывистым голосом спросил Валентин Петрович. — Ты... о ней?

— Так ты не знал еще? Не читал?.. Но ты знаешь, Валентин, она всегда носила в себе нечто трагическое. И для нее это была неизбежность.

В руках Аркадия Андреича был свежеполученный последний номер московской газеты.

— И все кончено? — глухо спросил Валентин Петрович, протягивая руку.

Струков кивнул головой. Наступила минута молчания. Валентин Петрович взял газетный лист, мелко свернутый, и сразу увидел то, что искал. Развязным и хлестким тоном, с подзаголовками, в заметке была изложена «загадочная драма» об убийстве офицером молодой девушки. Причины глухо были названы романическими, намекалось на какой-то отказ с ее стороны. Убийца покушался и на себя, но неудачно.

Валентин Петрович прочел внимательно все от начала и до конца и сунул газету в карман пальто.

— Ты прости меня, — машинально сказал он и направился к выходу.

Аркадий Андреич его не удерживал.

Пришла и смерть и могильной плитой прикрыла цветы, свежие и своевольные, с прихотливыми, крепкими очертаниями. По ветру бились несколько уцелевших кисточек горькой темно-кровавой калины; окна домика были полузакрыты синими ставнями с вырезанным темным сердечком.

Валентин Петрович сказал Федору ехать шагом. Он слез с тарантаса и бережно сломил несколько хрупких веточек; горьковатый, холодный запах, как тогда от цветов, шел от слегка проморо-

женных ягод. Смерть! Жить с преступлением? Ему припомнилось, как тогда они с Агнией ощутили эту томительную, убивающую тяжесть, когда Настенька бежала от них.

Преступления, может быть, и нет, конечно нет, но есть грозные силы, что движут наши пути, да еще горечь, и горечь о том, что минули дни, когда души людей были сильнее и поступь их по земле тверже. Они были сильны и высоки и жили по сотням лет: Валентин Петрович вспомнил опять нянину Библию. Но и теперь случаются люди и встречи на тесных путях нашей жизни — как урок (прав Аркадий Андреич), как перст судьбы, как указание. Им суждено еще жить свои короткие дни вольно и погибать трагически. Так возникла в жизни Валентина Петровича девушка Настенька и так ушла она, почти в полном безмолвии, почти ничего о себе не сказав. Но тем глубже оставленный ею след.

И все же: «Это кто-нибудь прошел по тому месту, где я буду лежать...» Валентин Петрович закрыл рукою глаза и горько заплакал.

Большой серый камень на пятой версте был одинок и дико красив. Было в нем нечто языческое, седое и первобытное. Но заходящее солнце окаймляло края его золотым ободком.

Да, прощальный дар Настеньки — горечь, но только она, золотая эта капля, даст последнюю крепость вину. Еще долгие годы, со сменою весен и зим, впереди у Валентина Петровича и Агнии. И путь их отныне — совместный, скрепленный страданием, виною, любовью, утратой. И их скромная жизнь коснулась вечных истоков, а только не оставаясь чужими и в стороне в могучем разрушительно-творческом столкновении стихий, можем мы обрести и настоящую нашу силу.

И уже с мыслью об Агнии осторожно подымался Валентин Петрович на ступеньки крыльца, неся ей последнюю о Настеньке весть.

Тула, 1913

Душка

I

Шумно и звонко перелетали птицы над дальнею рощей; вечерний воздух был полон их острого, почти колкого крика. Медленно упадавшее солнце горячими пятнами ложилось на тронутую уже кое-где золотом листву берез и осин. Над полями покоилась вечерняя тишина, и паутина, густо заткавшая высокое жнивье, тепло золотилась и двигалась сбоку от тарантаса, как на зыбкой глади морского залива отражение дальнего света, но и здесь покалывали, шевелясь, ее отдельные острые лучики. Это сочетание мира и мягкости отгоревшего, усопшего лета с посверкиванием будущих морозных игол говорило о наступлении дней, когда душа человека сознает себя одиноче, но и собирается вся, мысли становятся резче и тоньше, точнее: близилась полная осень.

Тарантас, погромыхивая и подскакивая по выбитой после возки хлебов, все забиравшей влево да влево дороге, дребезжа ненадежными шинами, не слишком стремительно приближал Васю Лопатина к цели его путешествия. Провалившись на конкурсе в Горном институте и проболтавшись недели две в Петербурге без дела, он ехал теперь к двоюродному дяде на отдых. А отдохнуть было от чего: лето пропало в беготне [illegible], как оказалось, зубрежке, потом неприятность экзамена [illegible] может быть, главное – эти две недели после провала, проведенные нехорошо. Вспоминая теперь о своих вечерних блужданиях по туманным улицам Петербурга с нездоровыми огнями дешевых кинематографов, Вася только шумно вздыхал, стыдливо вбирая голову в плечи и морща по привычке левую бровь.

Дядю он совершенно не знал и ехал так себе, на авось: пожить сколько придется; теперь спешить было некуда.

Но возница слишком уже не торопился: восемнадцать верст ехали без малого три часа. Уже на пятой версте все несложные разговоры, какие мог Вася придумать, были исчерпаны, и теперь путь совершался в молчании: кажется, это, однако, обоих их не тяготило. Вася узнал, что дядя Кирилла Матвеич живет один с двенадцатилетней дочкою Танечкой, всем домашним хозяйством правит дальняя родственница Любовь Петровна, но никто, кроме ближайших соседей, в дом не заглядывает, да и сами они никуда. «Ну и ничего, тем, может быть, лучше»,— подумал Вася. Он при этом немного кривил душой; смутно ему представлялось в деревне: огромный дом, камины, библиотека и чей-то легкий бег через залу; цветы на столе и в сумеречный час негромкий говор рояля, а не то и нечаянный смех или игра в прятки, беготня, оживление... Все то, что смут-

но мы, русские, носим в душе, стихию, в которой родимся. Минутами Вася Лопатин забывал и Петербург и свою бровь; он открывал глаза со всею наивностью девятнадцатилетнего юноши, на которого никто не глядит, и неловко возился по шитой когда-то цветными шерстями, сильно протертой подушке. Он был крупен фигурой, высок и походил всею повадкой на породистого щенка, которому и на просторе все тесно от своей собственной толщины. Да, конечно, робко мерещилась ему и любовь, и так отдался бы ей со всей чистотою и сдержанным целомудрием вот этой вечерней целительной тишины.

Но он вспоминал постыдные свои петербургские дни — провал и нечто другое, еще более горькое и стыдное, и опять жевал губами, поправляя очки, и доставал, вздыхая, папироску. От портсигара пахло духами, кожа хранила их вот уже пятнадцатый месяц. Правда, что с этим, в сущности, все было покончено, духи оказались живучее, но Вася привык сохранять эти свои романтические воспоминания. И опять была горечь, острая иголочка в сердце: потеря чего-то уже в себе самом...

Дорога вступала меж тем в пронизанный солнцем, слегка шевелящийся лес, лица коснулась прохлада. Кучер, подтянувшись, погнал лошадей, и колеса зашумели отдохновенно по жидкой еще, первой опавшей листве. Вася снял фуражку и провел рукою по волосам. «Да, ну и что же...» — неопределенно подумал он, ощущая снова странное облегчение. И так приподнялся, все без фуражки, навстречу вдруг показавшейся через немного минут за поляной реке, узенькой колокольне за нею, саду на той стороне и глянувшим через зелень колоннам серого дома. Да и разве... потеряно все? Разве не с ним еще вся его, едва открытая жизнь, и это красное солнце, и птицы над рощей, и крутой впереди, заселенный берег реки?.. Что-то сокрыто там для него — до времени.

— А вот и Никольское, — сказал Никанор, обернувшись и махнув кнутовищем. — И барин Кирилла Матвеич на балконе в халате сидят.

Кириллы Матвеича, по правде сказать, еще вовсе не было видно, но, прежде чем сесть, невольно раскинул Вася руками, как бы в смутном кому-то объятии, и улыбнулся такою широкой и от души идущей улыбкой, что заморщили на висках вдоль очков мелкие складочки кожи.

Лошади бойко, с задором, какого и ждать от них было нельзя, четко пересчитали бревна моста и вынесли тарантас к самому дому.

II

Дом был серый и старый, с кое-где облезшею краской. Особенно сильно облупились колонны, и голуби целыми выводками вились, прихорашиваясь и томно воркуя, по карнизу. Балкона, собственно, не было, был небольшой крытый навес, позднейшей пристройки, в правом несимметрично выступавшем углу. И дядя Ки

рилла Матвеич в страшном костюме, похожем на подрясник, подпоясанный широким домашним поясом из шерсти зеленого цвета, вовсе не сидел. Круто наклонившись, усердно возился он возле обширного, ярко блестевшего чана. На звук подъехавшего тарантаса даже не обернулся, и только когда Вася взбежал по ступенькам, оторвался наконец Кирилла Матвеич от поглотившей его всецело работы и принял Васю в объятия.

— А, ты... Ну, я очень рад, добро пожаловать! Проходи, голубчик, туда, я сейчас, все спешил до тебя, да не успел.

И он опять принялся за прерванный труд.

Вася глядел с изумлением. На полу и на лавках стояли огромные блюда с круглыми катышками желтого свежего воска. На одном, ближайшем, громоздились еще свежевырезанные благоухающие соты. Кирилла Матвеич брал их руками, и из-под пальцев его, крепко врезавшихся в воск, лились над чаном тяжелые струи. Солнце, густое и красное, разливалось по самой земле и золотило седеющий клок над дядиным лбом. Важно надувшись, в красных серьгах стоял индюк посередине двора, и аккуратные куры неторопливо рылись в куче песку. От реки и от сада за домом тянуло вечернею свежестью, и опять вдалеке слышен был крик еще не улегшихся на покой, гомозящихся птичьих стай. Со стороны конюшни и рабочей избы доносился спокойный, размеренный говор рабочих. Но звуки эти только еще острее давали почувствовать прозрачную и глубокую тишину, разлитую окрест.

Вася поправил очки и опять улыбнулся, но уже привычной кроткой и доброй улыбкой. Дядя, казалось, совсем забыл о нем, весь поглощенный своим первобытным занятием. Юный гость вступил в дом и, не раздеваясь в передней, прошел прямо в залу, за нею в столовую. На столе кипел самовар и выступали на складках рубчики скатерти, только что вынутой из комода, чайник был сверху накрыт вязаным теплым чехлом с вышитой крупной фигурой синего петуха, высоко задравшего голову. Вместо стульев к столу близко придвинуты лавки, и на минуту пахнуло запахом клея и дерева. Никого в комнатах не было.

Было так тихо, что звуки от Васиных шагов долго еще отзывались, медленно замирая в дальних углах обширного дома. Ярко-красные пятна заходящего солнца рдели и здесь на пунцовых штофных обоях, кое-где разлезавшихся за давностью лет; одно из них било в старое зеркало, и рубином сверкал захваченный им уголок старинной резьбы в рамке красного дерева. Нечаянно Вася тронул себя и вслух рассмеялся: оба борта пальто и рукава после дядюшкиных медовых объятий были липкие. Вася лизнул языком, чтобы совсем убедиться: да, они были и сладкие.

Из столовой вела дверь на террасу, уже настоящую, просторную; груши росли возле самого дома. Вася выглянул осторожно туда и увидел сидевшую спиной к нему девочку. Она держала в руках кусок черного хлеба и ела. На ломте, искрясь, лежал великолепный, мягко спадающий по краям сот свежего меда. По теплому де-

реву била девочка туфелькой, надетою на босую ногу, будто в такт своим мыслям, и было заметно, как уши ее и часть залитой солнцем щеки при еде шевелились. Она немного откидывала голову и широко разевала рот, чтобы захватить сразу побольше кусок, и Вася ясно видел потом отпечатки ровных зубов ее на воске и хлебе. Он пожевал невольно своими пыльными губами и издал звук, должно быть, крякнул. Девочка оглянулась и схватилась бежать. От резкого движения мед упал, и она остановилась в нерешительности.

— Танечка, это ты? — догадался Вася.— Чего ж ты боишься? Я Вася. Ты не слыхала обо мне?

Девочка покачала головой.

— Твой брат, а твой папа мне дядя.

— А ты не врешь? — спросила Танечка.

— Ну, конечно, нет.

Тогда она подошла к упавшему соту, осторожно подобрала его и, заодно уже, вернулась доедать на старое место. Вася присел рядом с ней.

— Может быть, хочешь и ты?

— Дай.

Она отломила ему половину, и они совсем разговорились. Вася глядел на нее с непонятною радостью. Сначала Танечка показалась ему дикаркой и робкой, но она была бедовая. Через пять минут она уже потащила Васю глядеть «местечки». Это был, очевидно, ею самой изобретенный термин. «Местечек» было множество — до дюжины, все они помещались на толстых, в два-три обхвата, стволах полуистлевших ракит, густо заросших молодыми побегами. В иные и влезть было мудрено, но девочка проделывала это артистически. Она протягивала Васе руки и, смеясь, тащила его прямиком через трещавшую сушь. Внутри «местечек» было очень уютно: в одном спрятаны свежие желтенькие орехи, разложенные, как птичьи яйца по гнездышкам, в другом казна — разноцветные пачки бумажек от дешевеньких конфет; всюду были натыканы осенние полуувядшие цветы и огромные стебли зори и чертополоха.

Так они обежали почти вдоль всей ограды обширного, густо поросшего всякою всячиной сада, и Вася забыл и про усталость и про чай, ждущий в столовой, под колпаком с изображением орущего синего петуха. Пальто его было измазано приставшею к меду пылью и мусором, мелкими сучками березы. Но он не видел этого. Он глядел на раскрасневшееся личико нечаянной сестры своей, на ее быстрые на босую ногу туфельки, которыми она так легко перебирала по короткой осенней траве, на болтавшиеся позади синие две тощие рыжеватые косички. «Вот и у меня... сестра»,— думал он с легким недоумением и нечаянно хорошей,облегчавшею радостью.

— Постой! — вдруг сказала Танечка, прислушиваясь.— Это Люба зовет нас. Чай пить.— И побежала было, но остановилась.— Ну ка,— мотнула она головой,— Люба их любит: карякинские.

— Кто? — переспросил Вася.

— Люба — белая голуба,— ответила девочка скороговоркой и засмеялась.

Вася подошел, исполняя приказ, к шершавому стволу старой груши и несколько раз сильно тряхнул. С верхушки упало с десяток груш — оранжево-желтых, на тонких, перегруженных сладкою тяжестью веточках. Иные из них при падении надломились, и явственно послышался их свежий и пересыщенный аромат. Вечер в саду был так медово тепел и тих, что, пока Вася стоял, прислонясь спиной к корявому, с севера тронутому лишайниками и мохом стволу грушевого дерева, и глядел, как Танечка с милым оживлением клала в подол платья плоды, над загорелыми и зацарапанными ножками слегка его приподняв, ему смутно казалось, что ничего этого «по правде» нет, а ему или снится, или это он смотрит картинку из книжки, виденной в детстве.

Дядя их ждал на террасе, с ним рядом стояла и Любовь Петровна.

— Хорошо мы тебя встретили, а? — улыбаясь, сказал Кирилла Матвеич.— С дороги-то. Небось без чайку затомился, клянешь нас!

— Отлично, дядя!— воскликнул Вася с одушевлением.

— Постой, постой, где это ты так выгваздался? Ну, умыться теперь, чайку. Любовь Петровна там тебе ватрушки пекла, горяченькие.

Вася расцеловался еще раз с дядей и обнял Любовь Петровну: от нее пахло сдобным.

— А с вострушкой-то нашей познакомились хоть?

— Нет еще, папочка, я сейчас!— звонко вскрикнула девочка.— Люба, тебе!— И, высыпав груши с такою стремительностью, что Любовь Петровна едва успела подставить навстречу им полосатый свой фартук, цепко обвила Танечка Васину шею прохладными своими руками и крепко несколько раз его поцеловала.

— Он у нас будет жить. Совсем!— заявила она и первая побежала в столовую.

Но и там, за взрослыми разговорами, не усидела Танечка долго.

— Кыс-кыс,— дразнила она самовар,— попой еще!

Но самовар петь не хотел, и не дымились больше, сквозь прищуренные ресницы зыбкою радугой не отливали уже нависавшие у неплотно привернутого крана редкие капли; другие звуки донеслись издалека, веселые и молодые.

— На беганских! Хочешь?— вскочила девочка и потянула за рукав и Васю; он побежал за ней с веселою резвостью.

На террасе в углу отыскали фонарик, зажгли, и через минуту в толпе дворовых мальчишек на гигантских шагах взлетала уже легкая Танечка, едва касаясь земли, подобно светящейся бабочке в темноте; свободной рукой с фонарем чертила она круги и зигзаги, вскрикивала, ухала, и косички ее, откинутые, то исчезали в тени, то гнались опять за ее быстрой головкой двумя горячими змейками.

III

В институте, от которого Танечка, за лето поотвыкшая, уже сильно отвыкла, не был закончен ремонт, но все же теперь оставались последние ее на воле деньки. Для Васи, почти неразлучного с нею, началось с этого первого вечера чудесное время, отдохновение полное воздуха и беспричинного смеха. И как хорошо: даже никто не спросил ни об экзаменах, ни о провале; и ни о чем другом, от чего нельзя не покраснеть, можно было теперь вовсе не вспоминать. Привычки морщить свою левую бровь как не бывало, а если порой и втягивал все-таки голову в плечи, то происходило это теперь не от каких-либо неприятных воспоминаний, а разве лишь от стыдливой радости бытия, переполнявшей все его молодое громоздкое тело. Все, чем жил в последнее время Вася Лопатин до приезда в Никольское, быстро и крепко забылось, а место мудреных приборов, замысловатых значков и формул с кудрявыми их завитушками, которые так ему не давались, заняли совсем другие, простые и милые вещи: зеленый и мокрый, именно осенью оживающий мох по мочажинкам в лесу; пышные шапки блекло-коричневых опенок — целые города из грибов, при виде которых, забыв обо всем, летела Танечка, как стрела, вязжа на весь лес и мелькая [illegible] голыми, янтарно загорелыми ножками по желтой листве [illegible], с капельками крови, сережки на узловатых бородавчатых [illegible] бересклета, прочно засевшего по канавам вокруг всего сада, [illegible] рябины; пламенеющие на закатах, как фантастические [illegible], клены на поле и в саду; в кучах листвы барахтанья с Танечкой, лазанье по кустам за орехами, которых девочка много, к удивлению Васи, знала разных сортов,— вся несложная цепь нехитрых деревенских очарований.

Поначалу Вася стыдился еще своего аппетита, но в деревне любили поесть, и он не стал отставать от других. Изобретательность Любови Петровны по этой части была неистощимою. Вася успел полюбить и старушку. Особенно мило было глядеть каждый раз, когда Танечку, уставшую за день беготни, относили вечером спать. Все не хотя уходить, но уже сладко позевывая, задремывала она у стола и по мере того, как сон ололевал ее, никла все ближе к отцу или к приезжему братцу всем горячим своим, ослабевающим телом, губы приоткрывались, и уже легкий аромат сна начинал исходить от нее. Пересидя на руки старушки и глядя уже только, чтобы попасть куда следует, коротенькими поцелуями толкалась Танечка в лицо остававшимся, потом широко отводила руками и крепко замыкала их у полной Любиной шеи, и вот совсем наконец опускались ресницы, чтобы открыть их только навстречу мигающим утренним зайчикам, и Вася слышал одно ее легонькое и непрестанное почмокивание уже куда пришлось — в щеку, нос или шею, — пока Любовь Петровна не укладывала ее на постельку.

— А ты здорова́ еще, мать, каждый вечер мешки таскаешь в амбар,— неизменно в одних выражениях шутил всякий раз Кирилла Матвеич.

В своем неизменном порядке в хозяйстве шли между тем и работы. С посевом, поздним в этом году, было покончено, и уже кое-где изжелта-зеленые иглы озимей бойко буравили черную землю. Убрали и сад, и теперь приходилось особенно радоваться всякому уцелевшему яблоку, до сердцевины холодному, с восковым, глянцевитым снаружи налетом. Стало просторней между деревьями, и пышнее были внизу кучи листвы; случалось, за ночь осыпалось целое дерево, сразу озолотив широкий круг под собой. Еще сквозь сон, просыпаясь, слышал теперь Вася Лопатин каждое буднее утро шум молотьбы, пощелкиванье кнута, длительно-удальское посвистыванье на лошадей, ходивших по кругу, и особый, характерный звук взрыгаемой барабаном соломы. Молотьба и была теперь главной работой: Кирилла Матвеич спешил, пока дни были длинны и стояла погода. Теперь появлялся он только к обеду, и усы его, по-казацки глядевшие книзу, часто бывали такими забитыми и отягощенными пылью, что походили удивительно на пару летучих мышей, подвешенных к носу; он долго каждый раз фыркал над умывальником, прежде чем быть к столу.

Танечка завлекла в ригу и Васю, и видя тотчас дал обоим занятие: в поденных всегда бывал недостаток. Танечка с маленькими своими граблями была на работе [illegible] купалась в пруду, а Вася поначалу сильно робел под [illegible] внимательными взглядами девиц из Никольского: каждое их [illegible] слово, конечно, было о нем и было насмешливым. Но скоро и сами они, приметивши, что молодой барчук не из бойких, повернули дело по-своему, а Вася был этому рад.

Погода стояла на редкость, подувал ветерок с южных далеких морей, и солнце с прощальною, отходящей истомой плавилось на желтых, спелых ометах. Быстро передвигались, как-то особенно ладно ступая по гладкому току, босые ноги девиц, и их яркие кофты, легко облегавшие плечи и грудь, казались живыми и дышащими, давая при всяком движении новые очертания телу.

Вася, будучи еще гимназистом, увлекался в Москве одной молоденькой барышней, а она, больше, чем им, модными танцами, в хитоне и босиком, и таскала Васю за собой повсюду. Но как бледнела вся эта грация выучки перед простой молотьбой деревенских девиц, где в каждом движении все было в полную меру во всей естественной правде и простоте! И, доставая свой портсигар в коротенькую минуту отдыха, он забывал теперь даже вздохнуть при все еще слышном аромате духов.

Чаще всего ставили Васю на работу девическую — принимать солому с решеток. Прерывистой пеленой скользила она по гладким решеткам от барабана и попадала на грабли, ее уже поджидавшие ручкой, обернутой книзу. Одним коротким ударом, вместе со стоявшею в паре подростком Полюшкой, откидывали они сообща золо-

тистый шелковый клок дальше к воротам, а наберя кучу побольше, выталкивали наружу, где другие уже паковали солому веревкой, чтобы лошадью волочить на омет. Таскал Вася и колос на узко сдвинутых и отшлифованных, как слоновая кость, вертких носил-ках, и только раз на второй или третий день Кирилла Матвеич пу-стил племянника подавать в барабан — работа самая трудная и по-четнее всех остальных.

Но как раз не обошлось без греха. Вместо того чтобы ровной, по возможности непрерывною лентой подвигать по полку развязан-ный сноп, Вася крутым горбом, увлекшись, пустил его целиком. Ло-шади на секунду приостановились и сразу рванули, барабан ухнул и с особенным металлическим свистом завертелся, жужжа, с жут-кой легкостью. Было слышно, как лошади тронулись рысью.. Кто-то закричал на всю ригу: «Стой! Стой! Ремень!» и закашлялся пылью. Все засуетились и потащили от плетня толстое бревно к ма-ховику; послышался запах горелого дерева, и машину остановили.

— Уж больно ты, мальчик, ретив,— сказал ему дядя и засмеял-ся.— Что ж, Авдотья, клади на полок, живо наладим.

Вася стоял очень смущенный, и когда повернулся сойти, во-брав, по-старому, голову в плечи, на него внезапно обрушился раз-вязанный сноп — его наклон головы и движение Авдотьиных рук, высоко державших зыбко плывучую тяжелую ношу, пересеклись между собою.

— Славно перекрестила!— сказал Кирилла Матвеич.— Хоро-шенько, сударь, ее!— И, хлопнув ладонью подавальщицу по спине, отошел.

Смахнув рожь с головы, увидел Вася круглое запотевшее лицо перед собою. Глаза девушки, также круглые, темно-серые и ясные под запыленными ресницами до необычайности, глядели на него без смущения, напротив того, с ласково-легким задором.

— Нечаянно, барчук, право слово, нечаянно,— сказала она и рукавом утерла потное, с осевшею пылью лицо.

Из темных губы ее стали пунцовыми, они были крупны и четко надрезаны; блеснула полоска зубов, влажных и белых. Девушка бы-ла среднего роста, очень здоровая, крепкая; под желтою кофтой ее дыхание было так полно и жарко, что Вася даже посторонился. Гордый своим положением у барабана, раньше он вовсе не замечал, кто ему подавал снопы на полок. «Хорошенько, сударь ее!» — вспомнил он дядин наказ, хотел что-то сказать или сделать, но ничего не сделал и не сказал, а, покраснев, пошел мимо решеток к маховику.

Нечаянной передышке, как Вася увидел, все с устали были в сущности, рады. Однако же надо было спешить — под вечер закон-чить «приклад»; он был к тому же последним. Опять на возвышении у полка появился усатый и лысый Михайла, старший рабочий и ловко стал пошевеливать, играючи, будто бы правил послушной тройкой коней, текучими полуснопами; у ворот приходилось толь-ко повертываться. Черномазая, как цыганка, Полюшка, посверкивая

на Васю, ставшего опять у ворот, черным, немного косящим глазком, бегала бегом, едва успевая, урывкой, залезть под платок почесаться. Когда становилось совсем не под силу управляться с соломой одним, отрывались и прибегали помочь выгребальщицы из-под решеток; все вместе тогда наваливались они на громоздкие кучи, застилавшие свет, и, теснясь и путаясь, падая, а еще того пуще смеясь, выталкивались вместе с соломой наружу. Вася, развенчанный, скоро забыл свою неудачу у барабана. В работе ли самой, в молодости ли, но много было веселья, да не было и минуты свободной хотя бы для излюбленного своего раздумчивого жеста - сбоку тронуть очки. Танечка часто кидалась в самую кучу и казалась там маленьким розовым яблочком, упавшим в груду листвы.

Кончили поздно, уже темнел и закат, и золотили ресницы людей, взглянувших на небо, первые вечерние звезды.

К запаху свежей соломы, зерна и горьковатых трав с межников резкой струей примешивался теперь запах вспотевших отпряженных лошадей. От пыли и от аромата близкого вороха лошади громко отфыркивались, шевелили губами, подбирая просыпанный колос, пряли ушами, косили глаза и стучали копытом о гладкий убитый ток. Мужики убирали ремень и заметали оставшийся колос, а бабы выбегали наружу отереться подолом от пыли, поправить платок.

Уже позвякивал Кирилл Матвеич увесистой связкой ключей, готовясь замкнуть тяжелым замком тяжелые ворота риги, когда молодайка в красной Танечкой юбке, поцапукавшись с бабами, подошла к хозяину сбоку и со всего размаху кинула его в ворох.

— Бабы, купать! — закричала она.

— Что они делают? — спросил в изумлении Вася.

— А это, барчук, такая обычая, — ответил Михайла, только что вытерший досуха наконец свою лысину и теперь крутивший, поплевывая, из газетной бумаги цигарку. — По тому случаю, как стало быть, со ржицею пошабашили. Чтобы на предбудущий год... бог бы, того... послал еще того лучше...

Старого барина купали недолго, больше для виду, но, когда черед дошел до молодого и та же со гладка, подкравшись, то кинула и Васю, дело пошло веселей. За него вступились, как полагается, парни, веселую подняв кутерьму, а с нею и облаками острую пахучую пыль. Васе казалось, что он охмелел в этом купанье, и он ловил уже сам и кидал в остистую, пухлую кучу кого попадется; но желтая жаркая кофта слепила глаза, и тут руки его, прикасаясь, дрожали.

Когда он поднялся наконец и, отряхнувшись, стал поправлять очки, то увидел, что стоят в стороне только трое: Кирилл Матвеич с Михайлой в деловом разговоре да Танечка, одна у двери. Что-то кольнуло у Васи в груди, когда он взглянул на сестру. Ему показалась во взгляде у девочки настороженность и, может быть, даже непонятный укор. Но скоро он убедился, что все это выдумал сам.

— Как они тебя, Васенька,— сказала она раздельно певуче, по-бабьи, когда он к ней подошел, и покачала с комической жалостью своею гладкой головкой.— Не больно?

Вася вгляделся и в глазах ее прочитал невинное одно любопытство, и разве был еще только лукавый легкий смешок. О, как в деревне все просто! «Хорошенько, сударь, ее!» Вася опять покраснел и, взяв под крылышко Танечку, вышел вместе с другими.

Идя между девиц мимо коровника, откуда свежо пахло навозом и парным вечерним удоем, Вася невольно прислушивался к тому, о чем говорили шедшие сбоку и поотстав Авдотья и Гришка, младший работник; странное, самому ему непонятное беспокойство овладевало им.

— О чем они?— спросил он Полюшку, мотнув головою в их сторону.

— Об чем, а я знаю?

— Будто не знаешь?— сказал Вася, напуская на себя развязность.

— Я бы, может, сказала, да я тут...— отвечала Полюшка загадочно и засмеялась.

На террасу вынесли лампу, хотя еще и не вовсе было темно, и чуть видимые веселые янтарные зайчики проливались из медленно откидываемых вместе с головою чайных стаканов, полных наполовину зеленоватой горячительной влаги, согревая и оживляя уставшую грудь.

Назавтра на вейку оставили двоих девиц ночевать. Михайлу позвали пить чай, а все остальные, кроме своих, отправились, огибая сад, по дороге к селу, и на углу, на повороте, молодайкин голос звонко завел величальную песню.

— Кто это с Гришкой-то шел, я забыл, как зовут?— спросил будто бы к слову Танечку Вася.

— С Гришкой кто шел? А Душка.

И уже на пороге в переднюю Танечка остановилась и, засмеявшись, сказала еще:

— За нее Гришка наш сватается, Прасковья сказывала, да только она не пойдет.

IV

С этим именем: Душка — Вася встал и наутро. Проснулся рано и вышел, только умывшись, на террасу и в сад; Танечка еще подымалась, и он хотел разбудить ее яблоками. Был мягкий, тумный денек, и влажные листья сочно ложились под Васиными ногами. Ему сразу же посчастливилось; на низких ветвях росшей близ к плетню старой, раскидистой яблони он отыскал два огромных поникших и затаившихся в кусте бересклета кубастых апорта. Яблоки были холодны и тяжелы; Вася только приподнял их, и плодики веточки тотчас, легко и покорно, с явственным звуком удовлетворенности, отделились от дерева; поднялась с облегчением и эластичная ветвь. Вася, однако же, знал, что как

апорт ни был зрел, надо ему дать улежаться, а потому долго выглядывал еще и лазил по корявым сукам почти совсем обнажившейся «овечьей мордочки», увлекшись веселой охотой. «Душка, душа... Психея... Вот странное имя! — думал он между тем. — И в то же время просто Авдотья...»

Танечка проснулась уже, но еще неохотно открывала, тотчас опять закрывая, глаза. Вася, войдя к ней, высыпал яблоки у самой подушки, и девочка рассмеялась.

— Не хочется уезжать, — сказала она и задумалась.

Когда Вася вышел в столовую и увидел Любовь Петровну, в ожидании кофе резавшую широкими лентами серую оберточную бумагу для заклейки окон, ему сделалось безотчетно грустно. Осень идет, Танечка уезжает. Как хорошо было с ней! Точно играючи отодвинула девочка какой-то давивший его, им самим наваленный камень, а под камнем... Да, пусть миновалось оно, первое Васино увлечение, давнее, что пережито духами, пусть несколько позже засорял он себя там... в Петербурге, но вот сердце опять обнажено, детские руки и открытая строгая осень опять его уготовали для этого чувства, что, как источник, бьющий живою водой, может иссякнуть разве лишь с самою жизнью.

Сегодня у Васи в груди было томительно неопределенное ощущение, точно день, предстоящий ему, был чем-то чреват и отягощен неразличимым пока в [illegible] событием. Неясно заманчивой рисовалась ему идущая [illegible] вчера обмолоченной ржи; и ему хотелось и не хотелось идти туда. «А может быть, там ее вовсе и нет!» — думалось Васе, и он краснел, ловя себя на этой неотвязчивой мысли о Душке.

— Что это ты, — заметила наконец его беспокойство и Любовь Петровна, — уже не с ветчинки ли со вчерашней? Кирилла Матвеич с утра тоже мне жаловался...

Вася в ответ немного повеселел, но, только когда подали кофе с целыми корочками затомившихся, почти поджаренных сливок и выбежала снова веселая Танечка, умытая и розовая, с мелкими блестящими капельками воды на выбившихся прядках волос у висков, и повисла с размаху на шее у Любы, а потом примостилась и к Васе и быстрым движением по скатерти притянула свою горячую плоскую чашечку из коричневой глины, только тогда Вася выпрямил спину: в эту минуту почувствовал он, как ощущение молодости, точно вода из ручья, пробежало по всему его телу, а сердце забилось, преодолев тоску, предчувствием радости, и рига сразу перестала быть страшной.

Душка на вейке, конечно, была. Он тотчас же узнал ее вчерашнюю желтую кофту. Она стояла у ручки и, нагибаясь и разгибаясь, вертя колесо, весело о чем-то кричала, чтобы слышно было сквозь грохот лохматому, неуклюжему Гришке, подававшему в веялку.

— Ну что, дружок, выспался? Здравствуй!

Кирилла Матвеич с метлой, для этого случая особенно выбранной («как шелк метелочка», — оценил ее Никанор), с любовною бе-

режностью смахивал с кучи зерна всякий туда проскочивший колос или соломину. Он прикидывал взглядом и вслух соображал, сколько будет возов, явно и с удовольствием преуменьшая, чтобы иметь возможность потом с еще большим удовольствием удивляться на обыкновенному умолоту, так как приклад, вчера обмолоченный, был из самых хороших.

Танечка сразу уселась рядом с цыганкой Полюшкой, отгребавшей лопатой зерно.

Самая, может быть, ладная изо всех сельских работ, по хорошему урожаю, именно вейка. Тарахтят равномерно решета, засыпается из тяжелого вороха за севалкой севалка, а внизу по деревянному ложу, полируя его, золотой непрерывной струею щедро льется зерно. Только теперь наконец родилось оно в этой хозяйской горсти, чутко определяющей вес. Его берут и по нескольку зерен, дабы получить, как от лакомства, ощущение вкуса, и подносят понюхать полной пригоршней почти мистический его аромат, и даже щеки, по-татарски сидя у веялки и отгребая зерно, неотразимо приятно прилечь к щеке же крутого плывучего вороха и ощутить его холодящую свежесть.

Вася взял у ворот стоявшую праздно лопату и стал подгребать ближе невейку, чтобы Гришке удобнее было черпать севалкой. Какой-то инстинкт подсказал ему это столь же любимое, как и с метлою у вороха, хозяйское дело, и по мимолетному взгляду Кирилла Матвеича он почувствовал его одобрение.

Работа эта — полуработа и после вчерашней как отдых, и, прогребая невейку лопатой от самого гладко убитого тока, чтобы вскинуть ее наверх, Вася чувствовал, как все смутное в нем естественно и необходимо становится на свое место. «Рабочая жизнь, труд... как хорошо!» — думал он не особенно связно, но нет-нет да и посматривал на Гришку у веялки.

Гришка сегодня был в сапогах и лихо сдвинутой на затылок примятой фуражке. Почти вовсе безбровое и испитое, некрасивое лицо его было мрачно, по обыкновению, и неприветливо, но иногда, насыпав доверху ящик над веялкой, он останавливался и, щеголя сверху пальцами, помогая зерну проходить, говорил что-то Душке, на что она махала от хохота головой и свободной рукою, который раз уже! — скидывала его фуражку на землю. И когда он опять нагибался, полуобернувшись, чтобы поднять ее с земли, его было другим.

На Васю, казалось, не обращала Душка никакого внимания и только раз он поймал на себе ее взгляд и внимательный и опять, как тогда у барабана, не без задора и легкой усмешки.

После обеда возили сразу тремя возами, и Кирилла Матвеича оставив метлу и почетный свой у вороха пост, стоял теперь у веялки. Широкой ладонью он весело разгребал льющееся из севалок зерно и заталкивал его под раскинутое веретье в углы возле грядок. Вейка, по старинке, не была на высоте, и там и сям между зернами татарно-зеленоватым отливом поблескивали крупные душистые

ковки чеснока и уютно прятались, ускользая от пальцев, коричнево-желтые венички васильков.

Когда все три телеги, одна за другой, были готовы, веретья зашпилены деревянными гладкими спицами, а на верху пузатых возов, для окончательной прочности, водружены обернутые кверху дном севалки и меры, Васю командировали на ссыпку в амбар. Внутри этой каменной стройки было темно, свет шел от дверей, затененных навесом и подъезжавшими возами, да слабый с лестницы на чердак. Пахло зерном, мышами и кожами, развешанными под крышею. Оттуда же достигал, пробиваясь сильно и густо и не смешиваясь с другими, запах от сваленных в особом отделении на соломе яблок и груш. Вася принимал из рук Никанора полные меры и кидал за дощатую стенку в дальний у лестницы закром. Когда зерно было накидано так, что стало сыпаться через загородку, Никанор, отъезжая, сказал:

— Я попрошу у Кириллы Матвеича кого поздоровше, надо отгресть.

И еще до нового возвращения возов Вася услышал быстрые чьи-то шаги и вслед за тем голос с порога:

— И ничего не видать!

— Проходите сюда,— [illegible] темноты.

— Ай, вы тут? — спро[illegible] и засмеялась.

Вася не отвечал ничего. Стоя на весу, глядя на Гришкино наклоненное лицо, каждый раз, как он подымал сброшенный Душкой картуз, Вася нескладно думал о том, как удивительно изменялось оно и даже переставало быть некрасивым; и от мысли этих становилось Васе и хорошо и грустно одновременно. За обедом усиленно настраивал он себя как бы на отречение от чего-то и несколько раз принимался хвалить все того же вихрастого Гришку. Теперь все это сразу исчезло. Снова томление охватило его и страшная робость. Он хотел бы что-то сказать, но опять не знал, что именно, что-нибудь очень простое и ровное, чтобы не выдать себя, и в то же время приветливое, а вместо того глупо молчал. «Это все оттого, что я сказал ей на «вы».— подумал он.

Со света не разбираясь, Душка быстро пошла и натолкнулась на гири, а натолкнувшись, упала на Васю, сидевшего у лестницы на чердак. Вася порывисто обнял ее и коротко, с силой, прижал к себе. Кровь с шумом лилась в нем, как если б зерно прорвало стенки амбара.

— Не ушиблись... не ушиблась ты? — спросил он прерывистым шепотом, отводя уже свои вдруг занемевшие руки.

— Ничего,— ответила Душка.— Пустите. — И быстро, по-мальчишечьи, перекинулась за стенку закрома.

И опять шум от зерен из-под ног ее слился с шумом в груди. «Все пропало...— подумал коротко Вася.— Я напугал ее». Краска стыда залила лицо, но еще трепетала и медлила уходить острая радость мгновенного разрешения целых дней томивших его неясных желаний.

— Лопаточку дайте,— сказала Душка из темноты, и по тону слов ее Вася понял, что никакой неловкости не было.

Заскрипели колеса телеги, подъезжал Никанор, и Вася начал опять с чудесною легкостью пошвыривать мерку за меркой туда, где шумела лопата и переступали, скрипя, по упруго засасывающему зерну в темноте босые Душкины ноги.

Под вечер догадался Вася сбегать наверх и принес в подоле рубашки улежавшихся груш. В промежуток работы Душка ела их, а он стоял насупротив, опершись локтями на дощатую полустенку закрома, и глядел при свете свечи, воткнутой в рожь, как открывались и замыкались ее влажные губы и поблескивал из-за загнутых круто ресниц все тот же смеющийся огонек ее глаз. Вася что-то болтал, и Душка звонко смеялась на те пустяки, что он с одушевлением рассказывал ей.

V

В воскресенье после обеда Танечку отвозили на станцию, но с утра поехали в церковь; дома осталась одна Любовь Петровна стряпать и укладывать в дальний путь отъезжавшую девочку.

В Никольском расписывали иконостас, и ехать пришлось в соседнее Волково, где как раз справляли престол священномученика Кукши, просветителя Орловского края. Ехать пришлось верст шесть или семь наезженным гладким проселком, а то и прямиком с рубежа на рубеж. Неизменный спутник во всех поездках, бежал сторонкою Чуркин, любимец Танечки. Это была единственная в усадьбе собака, солового цвета, гладкая, но с печальными человеческими глазами. Про нее сложилась в округе легенда, что будто бы она не только провожала хозяев до церкви, но и ходила вместе с ними к обедне. Улучив момент, осторожно просовывал голову Чуркин, а за ней и все свое гладкое туловище, и тихонько, слегка отступив от порога, усаживался на задние лапы между старух. Его сначала гоняли, но потом понемногу привыкли или, вернее, перестали совсем замечать, обертываясь лишь на скрип церковных дверей, когда он уходил. А Чуркин смиренно исчезал каждый раз в тот самый момент, как священник провозглашал о выходе оглашенных. Танечка, радуясь, верила, что был он и вправду знаменитый разбойник, отбывавший в собачьем образе годы своего покаяния.

Церковь в Волкове была деревянная, с безвестными могильными камнями в ограде, с купами старых, не вовсе еще обнаженных осенью лип; с меланхолическим темным иконостасом внутри и цепочкою на нем желтых и розовых лампад, зажженных ради [illegible] стола.

Кирилла Матвеич, Танечка и Вася заняли традиционное [illegible] ное место у левого клироса, а когда читали часы, между обедней и утреней, все выходили на ярмарку. Танечку сразу же окружили девицы, а Кирилла Матвеич накупал детворе деревенских [illegible] из патоки и муки, в золотых, по краям надрезанных мелко [illegible]

ках. Вася чувствовал себя несколько грустно, как и во все последние дни; опять овладевало им ощущение своей отрешенности и далекости, и чем было все праздничней и яснее вокруг, тем острее кололо в груди.

Душки с того самого вечера ссыпки в амбаре он не видал и тайно завидовал Гришке, как вечер — убегавшему на деревню. Нынче он также будет на улице в новой рубахе, зелено-золотой с переливами, после долгого и обстоятельного торга купленной третьего дня за два пятнадцать; китаец с косою на голове и ручною тележкой, плотно набитой товаром, божился всеми богами, что красивее этого нет ничего на земле... А Вася Лопатин, как и в прошлое воскресенье, будет опять стоять у балкона, слушать звуки гармоники да девическое громкое пение на селе и курить одинокие свои папиросы одну за другой. И Танечка уезжает, с ней и Кирилла Матвеич, который вернется только наутро...

Вася не раз думал о том, что, собственно, мешает и ему развернуться, также надеть высокие сапоги и косоворотку и идти водить хоровод или даже хотя бы так постоять в кучке парней, спокойно поплевывая, как и они, семечками на сторону да разные отпуская небрежно словечки. Но он только криво поводил губами, рисуя себе эту идиллию. Даже на тихую никольскую жизнь в дядюшкином доме стал он глядеть подчас с некоторым укором и раздражением. «И все-таки мы господа,— думал он [illegible] и этого, как платья, не скинешь. А я, кроме того, [illegible] человек, потерявший всю простоту...»

Бродили в нем и другие, еще неясные, но очень волнующие мысли... В конце концов, почему, собственно, эта крестьянская девушка что ни день все острее тревожила чувства его и воображение, а вся стихия ее действовала на него неотразимо, как волнует неотразимо порою и покоряет пласт черной весенней земли, глянувшей из-под талого снега?

— Заскучал ты у нас,— говорил ему дядя.— Подожди, еще поживешь, вот начнется веселье! Завалит нас снегом, а супротив окон, по паре на каждое, для развлечения нам заведут свои песенки волки... Что тебе граммофон!

Вася хотел бы ответить: «Дядя, выстрой мне хату. Я скоро женюсь и останусь тут жить. А волки что ж, пусть!»

Но он упорно молчал, и теперь, купив себе длинных копеечных палочек с бахромой по концам, вовсе не знал, что с ними делать. Кругом стоял говор, неторопливый, и оживленный, колыхались спины и плечи, пестрели платки, грызли корявенькие рожки с червоточинами, лесные орехи, лущили подсолнухи. Вдруг он увидел бегущую Танечку. Она махала руками и высоко подпрыгивала, развевая оборки коротенькой юбки, словно скакала через бечеву.

— Иди скорей, тебя Душка зовет,— запыхавшись, сказала она и потащила Васю за руку.

Отдельною кучкою от других стояли девицы из Никольского; они были разряжены по-городски, кофты заправлены в пояс; на пле-

чах косыночки и шарфы, гребешки в волосах и смешное праздничное «вы» в обращении даже друг с другом. Вася, конфузясь, поздоровался с ними за руку и отдал конфеты. Они угостили его сами орехами из платков, будто бы носовых, стянутых к одному углу; белый их цвет переходил, однако, уже в сероватый. Между другими стояла и Душка, она ничего не говорила и только изредка улыбалась, также немного жеманясь, по-праздничному, и то и дело неспешным движением поднося кончик шарфа к губам.

Девицы расспрашивали Васю, отчего он не ходит на улицу, долго ль здесь поживет, звали рядиться зимой и гадать, если пробудет до святок.

— На Душкину свадьбу приходите гулять, — сказала Полюшка и покосилась: одним глазом на Душку, другим на Серафимку и, почти третьим, в это же самое время, на Васю Лопатина.

— Глаза раздерень, — сердито ответила Серафимка, тускло блеснув своими, как черносливины, темными и большими; она забыла даже про «вы».

— А что же за вас, что ли, нынче Григорий Ипатыч приедут? — не осталась в долгу и Полюшка.

— Он, видно, сразу за двух, — съязвила Аленка, подросток с намазанными красной бумагой щеками.

Все засмеялись. Улыбнулась и Душка, но глаза ее были серьезны, а когда зазвонили часто и дробно к обедне, она сама подошла мимо всех к Васе Лопатину и, тронув рукой его грудь, как собака касается лапой, вовсе и не заметив, должно быть, непроизвольного этого движения, сказала ему:

— Приходите нынче на улицу, мы будем ждать.

И в глазах ее в этот раз не было скрытой усмешки, ни задора.

Машинальным таким же движением у самой ограды тронула и Вася чью-то гладкую спину.

— Видишь, видишь, и он пробирается... — обрадовалась Чуркину Танечка, взяв Васю за руку; и, прижавшись к нему, короткою скороговоркою, уже не смеясь, сказала еще: — Вот тебе и не будет скучно теперь, я нынче еду...

VI

После чая и пирогов через час подали и обед. Танечку в первый раз видел Вася задумчивой; порой казалось ему, что у нее, как в лужу воду в лощинках, поросших лозой, набухает между ресницами. Тогда она быстро моргала, кивая головой. Вместе они обошли Танечкины местечки, и девочка не отпускала все время Васину руку.

Она сама принесла из Любиной корзинки припрятанные в сене два Васиных апорта и просила Любу уложить их с собой.

Кирилла Матвеич за обедом хотел быть веселым, но это ему удавалось, а Любовь Петровна ничего не ела и не сводила с Васи печки глаз.

Васе было не по себе. «Что это значит,— раздумывал он,— «вот тебе и не будет скучно теперь»? Точно Танечка передавала его с рук на руки... И, еще припомнилось, как в первый же день она обняла его и, целуя, сказала: «Он у нас будет жить. Совсем...»

Какой пустотою повеял старый никольский дом, когда отзвучали последние скрипы удалявшегося за рекой тарантаса! Кирилла Матвеич поехал с Танечкой в город, Любовь Петровна скрылась к себе по какому-то делу, а вернее — просто поплакать. Чуркин, бегавший проводить отъезжавших, скоро вернулся и настойчиво грустно, все еще не отпущенный грешник, чертил хвостом по куче песку, что привезли накануне для осенней починки печей и свалили пока у подъезда. Вася вышел на двор побродить, не зная, за что ему взяться.

На крылечке рабочей избы сидела кухарка Прасковья в новом кубовом фартуке, полном подсолнухов. Она степенно передвинулась по лавке, давая место и Васе, но он присел у порога на камне, достал папиросу и закурил: на камне этом точили ножи и отбивали косы, углы его были объедены лезвиями. На кухне была тишина.

— Или нет никого? — спросил Вася рассеянно.

Прасковья махнула рукой.

— А кому там и быть-то! — сказала она. Никанор уехал на станцию. Михайлу домой отпустили еще со вчерашнего вечера, а Гришка с Митюшкой на печке спят. Наморились, вишь! И шут их знает, что на сам-деле им досталось, ровно бес в них сидит, угомону не знают! Чисто безбожники!

— А что ж тут такого, что спят? — возразил все так же рассеянно Вася.— Праздник.

— А то такого,— завела Прасковья рассказ.— Наморились, конечно. Спину-то гнули небось, а вот чуть тебе свет, поднялись: стало быть — выспались! Уздули огонь, глянула я — батюшки, четыре часа! Давай будто им есть. Я, грешный человек, к черному их отослала, ради праздника-то... Грехи одни! Ну, пошарили сами, нашли, стало быть, кое-что, пожевали, позавтракали. Все ничего — нет, давай в черепашку играть. Это перед обедней тебе! Гришка-то и отродясь не умел, а Никанор, видишь ты, вместе не может: и скакать и играть. Так что придумали, окаянные: Никанор порычит-порычит и давай скакать, потом хвать черепашку опять — «дай еще музыки себе наиграю» — и вдругорядь пошел. И к чему это, не приложу я ума, как бы машиною, чего доброго, не придушило, овес-то весь еще впереди. Отчаюги, не люди!

— А Гришка что ж, тоже? — спросил Вася неопределенно.

— Ну, этот что, этот от дурости. Совсем обмирает.

— По Душке?

— Ну да об ей. Нынче с отцом с поглядками едут, стало быть, надвечер. Отец, видишь, с шахты вернулся, сына надумал женить. Да только она... ее не поймешь. Полюшка мне сказывала... (Прасковья понизила голос и оживилась.) Идут они анадысь с молотьбе, он ей будто и говорит: «А я, говорит, к вам на Никольском дело

имею».— «Ну что ж, отвечает, дело твое».— «Посвататься, девка, хо-
чу,— это Гришка-то,— вот опосля этого самого Кукиша,— так ей
и говорит, дурак,— с батей приеду». А что приезжать, приедет отец,
а тут выгон один перебечь! Это все, значит, для форсу. «Ну что ж,
поезжай. К Серафимке, что ль?» — «И помим Серафимки найдем».
С бусырью малый, а все говорит по порядку. Ну, а она ему: «Приез-
жай, на свадьбе гулять будем». Насмеялась, значит, ему, а он, дурак,
верит: обнадежила будто бы... Она у нас часто бывает, вот малый-то
и привернулся к ней. Как чуть послободнее, все посылают за Душ-
кой — по дому там... и мне помогает.

— Почему ж насмеялась, может, и нет?

— И-и! Много их, дураков-то, на ложку цепляется! За нее, гово-
рят, приказчик приедет из города. Бедная, что говорить, а первая
девка, да и он, городской-то красивый такой из себе, сказывают,
толстый, мордастый... обходительный человек.

Помолчав и обтерев подсолнечную шелуху, облепившую круг-
лый ее подбородок, как осевшая кучечка пчел, потянулась Праско-
вья всею своей четырехугольной монументальной фигурой так, что
под мышками хрустнуло, и, бог знает как связав с предыдущим, все
под одно продолжала:

— А то еще у нас случай был, Василий Ликсеич. Человек один
рыбу ловил, подле речки, да лег у болота, ну, стало быть, на кочеч-
ке, и заснул, а змея возьми да и заползи к нему в рот, а оттуда, зна-
чит, в живот...

— Да, это бывает,— возволнованно поддакнул ей Вася и, не
слушая дальше, пошел от крыльца.

«Почему позвала?— думал он про себя.— И сегодня, в день свя-
товства?.. А Гришка... спит».

Обогнув гумно, ригу и службы, быстро шагая, вошел Вася Ло-
патин в открытый всегда, гостеприимный сад. Пахло свежеопавшей,
но уже тронутой тлением, влажной листвой. Ничто тишину не на-
рушало, кроме треска сухих березовых веточек под крупными Васи-
ными шагами да неопределенного мягкого шума листвы.

Душка, Полюшка...— как странно здесь их зовут! Но Вася при-
вык уже к этой краткости имени, будто бы пренебрежительной,
и находил ее изнутри скорее своеобразно товарищеской. И как про-
сто и верно самое имя ее вязалось со звуками голоса и всею ее от-
годняшней простотою невольного жеста... Все было мило в ней Ва-
се, и... неужели все потерять?

Вася долго ходил, потеряв ощущение времени и то ускоряя
шаги, то замедляя, вдоль густо заросшей канавы, где между редкой
листвою кроваво рдел один бересклет, но когда стало заметно тем-
неть, Вася остановился и лишь понемногу стал видеть и понимать,
какая глубокая открытость и простота были в осеннем саду, какая
за день там отстоялась кристальная тишина и как, отдавшись ей,
сердце готово принять все, что ему суждено, хотя бы и горькое...
он пойдет нынче на улицу.

В воду гляделись огни с того берега — пять или шесть в низине дворов отделенцев. Теплыми, желтыми пятнами, как поплавки, колыхались они на самой поверхности неслышимо убегающей речки, а ниже, на дне, мигал и золотился звездный песок. Далеко еще до сна на селе, воздух улицы полон движений, топота ног, звуков разноголосых гармоник. В каждом окне сквозь низкие окна тускло-желтым пятном глядит самовар, а на столе, крытом домашнею скатертью, стоят тарелки с баранками и мятными груздиками — час чаепития, антракт между едою и выпивкой. Кое-где парни, из тех, что побогаче — ремонтных рабочих и кондукторов, отпросившихся на денек,— и бородатые мужики засели в картишки — три листика или последняя новость — «двадцать одно». У многих дворов в полупотемках высятся поднятые кверху оглобли и слышен мерный хруст жующих коней; корм привезен с собою. А на крутом берегу у реки идет своим чередом «улица». Нынче она полулетняя и полузимняя; Вася застал ее еще на дворе.

Много парней было соседних, с тальянками на ремнях, в пиджаках и жилетах, с позолоченными, вдетыми через петлю цепочками: свои, никольские, поскромней, но если в руках всего только куцые черепашки, зато рубахи стояли горбом, только что не накрахмаленные, а тяжелые кисти от пояса низко бились по жирно намазанным голенищам. Девицы, особняком от парней, «водили тонки», медленно двигаясь в общем круге, держались они рука в руку с соседкой, обернув пальцы в платочек. Одна заводила, за ней подголосок, и только потом подхватывали остальные. Иногда цепь распадалась и шли поглядеть на пляску парней, теснясь сжатым кольцом, опираясь на плечи друг друга, но с тем же все неизменным по моде, платочком у губ.

Деревенская пляска на Васю произвела впечатление вполне неожиданное. Не оказалось в ней ни раздолья, ни свежести, ни вдохновения, но было множество, взамен того, замысловатых вывертов и выкрутасов, строго заученных и размеренных. Плясали по одному, с деревянным лицом, не отрывая глаз от концов сапога и отбивая ритм затекшей, поднятой в уровень глаза рукой. Отработав свое, отирал парень рукою лицо и впивался тотчас в носки другого танцора. Тишина вокруг плясунов была полная, все следили движения, особенно ног, точно завороженные, да и сами танцоры были похожи на загипнотизированных или на кукол с заведенной хитрой машинкой. Раз один из парней чиркнул даже спичкой и поднес ее к сапогам своего визави и конкурента, и никто при этом не рассмеялся...

Потом Вася смотрел на манерные танцы девиц, изображавших то полечку, то краковяк, именовавшийся ими не без деликатности: «коровяк». Вместо простых и привлекательных, какими их знал на работе, увидел Вася жеманниц чистейшей воды; и не была среди них исключением даже и Душка, хотя эта роль и удавалась ей плохо. С Васей она перекинулась всего немногими словами, но, кажет-

ся, все же ей было приятно, что он пришел на ее зов. Вася сдержа
ности этой не понимал, и на душе его было смутно.

Скоро, однако, стало и вовсе томительно, и он собирался бы
исчезнуть, как вдруг по толпе прошло какое-то замешательство
пыхавшаяся от бега Аленка, уже отмывшая свой бумажный ру
нец, за который жестоко досталось ей после обедни от бабки, п
бежала за Душкой: мать звала, приехали на поглядки Гри
и Гришкин отец. Косицы Аленкины растрепались от бега, а в глаз
сверкало и любопытство, и беглые зарницы понятного того вол
шия, которое охватывает девчонок-подростков от всякого каса
к чужому пока, но и для них, в свой черед, неизбежному сватовст
от самых даже и слов: невеста, жених...

— Девочки, милые... за Душку приехали... Пойдемте глядеть
Приехали, сейчас умереть!..— заохали и запелестели в толпе, а па
ни сбились вдруг в кучку и издали молча поглядывали с угрюмо
недоброжелательностью (Гришка был чужаком) и стали в этот м
мент как-то все на одно лицо.

Зато у девиц... О, сколько бы мог Вася Лопатин приметь
у них: взглядов, косых и лукавых, деланно насмешливых, скрыт
завистных и открыто взволнованных! Но он глядел и видел одн
только Душку. Лицо ее переменилось и стало странно спокойно
движения просты, естественны; ни тени
щения или растерянности, и если что бы
разве лишь строгость, и притом не к кому
а строгость — как состояние души; нельзя не быть строгим в дел
серьезном.

Она всего только и сделала, что подошла к Полюшке, взяла е
за руку и позвала: «Полечка, пойдем со мной», потом оберну
к другим и им сказала: «Прощайте, девочки, я нынче уж, знать,
приду». Потом они обе пошли, а Аленка побежала курьер
вперед.

Вася глядел им вслед, и сердце его билось неровно. Сватов
этого надобно было ждать, и все же оно вышло внезапным, не
тря на разговоры с Прасковьей. Вася не был особенно быстр
размышления, ни на душевные переживания, и до него доходи
сразу. Но, когда сейчас ясно представил себе ее жениха, с бе
его мочальными косицами, выползавшими из-под картуза, и р
с ним эту строгую девушку, так нечаянно открывшуюся с н
еще стороны - пленительно гармоническом, что-то ткнуло
и он, не раздумывая, пошел за удалявшимися.

Уход его был замечен: «барышни» поджали губки и, ко
помедлив, одна по одной, также пошли поглядеть, как т
будет.

Обе подруги шли, как всегда, не спеша, и Вася их быстро
гнал. На шаги его они не обернулись, верно их не узнал, и
услышал последнюю Полюшкину фразу: «А по-моему, лучше
левое». Душка в ответ засмеялась и возразила с упрямством и

стью: «Нет, полушалок малиновый и налевое».— «Ты думаешь, луч-
ше?» — «Угу!»

Вася, замедлив шаг, слегка поотстал, потом сделал еще не-
сколько невнятных шагов, потом, услышав, что сзади кто-то идет,
быстро свернул в сторону и зашагал по направлению к дому.

Перелезши через густые заросли канавы и наконец через пе-
тень в смутно густевший и показавшийся ему незнакомым сад, Ва-
Лапатин подошел к дикой яблоне, темноветвистой в ночи, и, при-
лонившись к ее холодному стволу, почувствовал вдруг, как ему бо-
ло мучительно стыдно. И не потому, что он как бы ошибся, нечая-
но различив за царственно верным спокойствием девушки какие-
другие, слишком обыденные ее черты, что пресекли его невольны-
порыв, а, вернее всего, за себя. Это он, Вася Лопатин, ничего вокруг
не понимал, это он всему оказался чужой; все шло, как и идти над
лежит, но ему среди других не было места; сердце открыто, но п
сто, никто в него не вступил. Или еще и иначе: чувства его не доста-
точно ярки? Мало развита воля? Или его расшатал уже город? А г
еще думал о том, как и он развернется..

С низов дышал от травы легкий новорожденный мороз, но Е.
ся его и через потертые свои штиблеты не замечал; он стоял, все
тесней прижимаясь, с невнятною жалобой к яблоневой холодной
коре, и единственным отрадным его ощущением было то, как впи-
вались ее корявые выступы в горячую кожу щеки и острою линией
от глаза до уха давили очки. Если бы Танечка была еще здесь, с ней
так легко! Так все по-иному через нее воспринималось, пока была
милая девочка в доме: молодо все, когда молодые глаза... Но Танеч-
ки не было, и в этот темный час лежала она уже не под своим ре-
ноцветным, из лоскутов, а под казенным, вытертым одеялом и пе-
ла, может быть, одна о другую веселые свои, а теперь загрустившие
деревенские ножки, домашним теплом изба званные. Вспомни-
ли она Васю и знает ли, как сейчас ему тяжело? И почему это жиз-
идет, как машина, однажды кем-то заведенная, не считаясь с живым
человеческим и своевольным хотением?. И ни именно это он
жен принять в свое сердце? Тихий вечер прошел, и место его за-
пила морозная и одинокая ночь.

Когда Вася вернулся, Любовь Петровна еще не спала, но б-
уже у себя. Она окликнула Васю, сказала, что там молоко на с
и, грустно вздохнув, зашептала опять длинные свои на сон г-
щий молитвы.

VII

Наутро Вася встал поздно и с головою несвежей. Еще
в постели, он взял папиросу, чтобы прогнать свою непонятную с
бость. Ни одной живительной мысли не шевелилось в голов
только когда, пролежав так с четверть часа, вспомнил, что с утр
ним поездом должен был приехать уже дядюшка Кирилла Мат
начал вставать.

Но в доме была тишина. Вася вышел в столовую и, поглядев в запотевшие стекла, сразу почувствовал, а отчасти и вспомнил, то, что вчера не дошло до сознания,— что был ночью мороз: трава на дворе оживала, оттаивая, но была еще, как человек, не вполне отошедший от обморока. Васе смутно почувствовалось в этом какое-то соответствие с собственным странным оцепенением, все еще длившимся.

Любовь Петровну нашел он уже на кухне, куда забежал, наскоро тронувши завтрак; ему захотелось дальней прогулки. Обе женщины были заняты хозяйственными делами и уделили Васе мало внимания.

— Кирилла Матвеич наш загулял что-то в городе,— сказала Любовь Петровна.— Гришки до сей поры нет, видно, остался ждать до ростовского. И Душки нет дома, надо бы было хоть после обеда белье замочить,— продолжала она, обращаясь уже больше к Прасковье.— То молотьба, а то, видишь ли, праздники.

Прасковья была хмуро настроена и не отвечала.

Вася вышел и мимо колодца пошел знакомой дорогою к лесу. Земля на тропинке оттаяла, но все же была туга под ногой; шаги ложились упруго, без звука. И эта упругость и тишина передавались Васиному телу, а затем постепенно проникали и глубже.

Лес лежал на той стороне реки смутно лиловый и матовый, и на него хорошо было глядеть. Но уже почти дойдя до места, Вася раздумал и стал подниматься вверх по реке, медля ее перейти и наметив себе переправу повыше, там через воду были положены камни для пешеходов.

И вода в реке нынче казалась ему гуще обычной; кое где становился берег обрывистым и русло реки круто сжималось, а вода заводила глухой разговор, и голос ее был заметно суров; горбатые струи были черны. Для себя незаметно Вася мало-помалу становился бодрее, и когда в одном таком месте он сел на изъеденный временем камень и, достав папиросу, неспешно ее закурил, табак показался ему недостаточно крепким.

Он опять уже думал о Душке, но как-то сегодня совсем по-иному — спокойно и даже несколько властно; не так, как думает мальчик, а по-мужски. Не были эти думы его очень определенными, просто пришла к нему и все возрастала сила и независимость от где-то происходящих событий; ему опять захотелось идти и вообще какого-то действия, напряжения мышц.

Уже совсем у перехода, там, где с той стороны подходил к самому берегу лес, вблизи лохматый и мокрый, а с этой круто к реке сбегал глубокий овраг, Вася остановился. На противоположной стороне оврага, отлого подымавшейся вверх, он различил тысячи птиц — ворон, или галок, или грачей: Вася, как городской человек, плохо их различал. Птицы сидели насупившись и казались отсюда раскиданными во множестве черными деревяшками. Зрелище было унылое и своеобразно красивое.

Вася, не зная еще, как это будет, стал осторожно спускаться, но все же крайние сторожевые заметили его приближение и издали короткий деревянный звук, явственно недовольный. Те, что сидели по краю, вяло и с крайней неохотой перелетели на два-три шага. Тогда Вася с удвоенной осторожностью и вдруг пробудившимся в нем инстинктом хитрости стал огибать пологий склон за одиноким обветренным выступом. Время от времени он слышал вверху все то же сухое, дерущее горло покаркивание, но когда внезапно поднялся над склоном, то все огромное поле было перед ним черно. Тотчас он кинулся прямо перед собою, крича и махая фуражкой. Целая широкая полоса, ближайшая, поднялась, каркая, в воздух, остальные продолжали сидеть. Он побежал дальше и так, полосу за полосой, вздымал перед собою темные тучи. Нечто похожее на опьянение постепенно овладевало им, ему неудержимо надобно было теперь всколыхнуть все это море, привести в движение всю неисчислимую черную рать. Уже и теперь воздух был полон свиста от крыл и от карканья, зловещего и раздраженного, но это-то и подымало все более Васю. Птицы были, однако, упорны и, подымаясь невысоко, опускались снова где-то позади сидевших; живое черное поле перед Васею, таким образом, не уменьшалось, а всего только пятилось передними волнами и сгущенно темнело вдали. Тогда Васю охватило настоящее вдохновение, и он побежал изо всех сил, то устремляясь прямо, то резко сворачивая, крича и визжа, махая руками, кружась и приседая, как настоящий маленький атом налетевшей вдруг бури. И вот Васина цель оказалась достигнутой. Это было оглушительных несколько минут, когда все неисчислимое воронье, очевидно признав себя побежденным и преодолев наконец упрямую косность своего зыбкого многотысячного тела, поднялось, прижатое к скирдам соседней деревни. Чудовищной черно-стальною спиралью кружились, каркая во весь рот, показавшиеся Васе вдруг на секунду огромными птицы. Зловещий этот водоворот заметно сгущался над ним и низился над его головой, как бы собираясь напасть на дерзкого человека. Васе пришло потом в голову, что птицы могли бы его заклевать, а если бы все их тела, только подумать, слились в одну колоссальную птицу, то убило бы это чудовище не только что взмахом крыла, но и одного пера, толщиною в столетний дуб. Теперь ему было не до размышлений, но смутное ощущение сказочно дикой силы противника отлично им сознавалось, и именно это сознание осуществленной человеческой мощи, победы доставляло Васе собою также несколько дикое, но большое и настоящее удовлетворение. Он стоял несколько полных минут и дышал глубокою грудью; пот катился с лица, руки от возбуждения немного дрожали.

Еще немного спустя ему стало уже просто смешно и весело необычайно от всего этого боя, столь внезапно затеянного.

Но когда все еще там, где победил, остался Вася один среди тишины осеннего влажного дня, непонятная и властная грусть заняла в душе его свой необходимый черед. Он победил, он рас-

это множество надвое, и таяли два облачка вдалеке, теперь едва различимые, изменяясь только в оттенках своей черноты: то сизой, то угольно-пепельной — в соответствии, верно, с ритмически согласованным движением крыл, таяли и вот порой исчезали совсем, переходя в небытие, в смутное царство смутных же и уже не тревожащих призраков. Но к чему все это сделал Вася Лопатин? Он ничего об этом не знал, и шла его грусть не от этой ли, очевидно открытой вдруг человеку, бесцельности?

И это ощущение, однако, не было длительным. Вася встряхнулся и, быстро перебежав по камням через речку, зашагал между деревьями; лицо продолжало жарко гореть, но уже не от стыда, как вчера, а от недавнего возбуждения, еще не улегшегося, и еще, может быть, от неоформленной пока жажды... чего? Прохлада приятно его освежала, и было похоже на то, что окунулся в лес, как в родник; здесь по кустам и совсем растерялась мимолетная Васина грусть.

Шел он теперь без мыслей, забыв о курении, и, раздвигая кусты, приоткрывал изредка и губы, не давая, впрочем, труда полностью улыбнуться; с наслаждением также расправлял время от времен Вася в воздухе пальцы, как бы после тяжелой работы, которую только что осознал.

Листва под ногами не лежала уже вольная и подвижная, а грудилась мокрыми кучками; порою мочажинки блестели в низинах, и изумрудный, изумительной свежести мох окаймлял веселым своим, густым бархатом эти крохотные озера; можно было еще кое-где увидать на них жуков-водомеров, уже ослабевших и подтощавших, а потому и шныряющих без особенной резвости, да нет-нет прожужжит возле уха неутомимый чудак, эпигон минувшего лета — длинноногий и худощавый комар.

Но и без этого чахлого труженика, одной из самых первобытных, думается, тварей земных, издавшего трубный свой писк еще над первобытнейшими болотами, в которых тонула земля, и сама-то похожая по тем временам на взбухшее тесто, над которым еще не успели хорошенько подумать, что из него, собственно, выпечить; и без этого откровенно посредственного музыканта всех времен и народов, упорство которого, право же (как это водится между людьми), давно бы должно сойти за талант — и без него тишина в сыром осеннем лесу полна была сложных, трудно определяемых звуков: прела листва, в какие-то малые щелки, сопя, с настойчивостью и упорством непобедимыми стремилась проникнуть вода, и неохотно, по принуждению, выдавливался по соседству мутный пузырь с легким привкусом болотного газа, видимо, кроме того, кое-где отставала кора, падал набухший с осины листок и, падая, плавно покачивался — красивая, легкая смерть, самый воздух шумел, наконец, спокойно и неторопливо скользя между ветвей, да и в Васином молодом существе ощутимо толкалась упругая кровь о мускулистые стенки сосудов... И если надо назвать то нечто, что все эти звуки объединяло, так это была их первобытность. И были

они еще почему-то странно сродни недавней Васиной битве с сонмищем птиц. Только одно: здесь не могло бы возникнуть и самого слова бесцельность, ибо и Вася был тут — как трава и земля или эти ее, из-под прелой листвы возникавшие, пузыри...

VIII

Но стоило зародиться шуму, уже определенному шуму, как Вася тотчас насторожился. Пройдя еще немного вперед, он явственно различил теперь в небольшом овражке направо сдержанный смех и девичьи голоса, а вслед за тем и увидел яркие пятна одежд.

Не успел он еще сообразить, кто бы это мог быть, как его окликнул знакомый (и такой веселый!) голос:

— Василий Ликсеич, идите-ка к нам: по орехи! А то мы и сами хотели зайти, да забоялись Кирциллы Матвеича.

Душка стояла на склоне оврага, густо заросшего старой лещиной, и лицо ее, широкое, милое, было свежо, как, верно, был свеж и девственно зрел найденный ею орех, что так легко, с шелковым скрипом, только что вылущился, точно родился под большим ее пальцем. Обернулись и другие девицы и замахали Васе руками. Они были одни, без ребят, обязывавших, по деревенскому кодексу, к некоторой доле жеманства. Вася же был между ними чужой — не жених, не осудит — и в то же время был тоже немножко чудной, но веселый, каким успели узнать его за молотьбу.

И он замешался живо и просто в стайке этих нестрашных, наперебой щебечущих птиц. С большой открытостью и дружелюбием угощали они Васю орехами все из тех же деликатных платочков, ставших вовсе уже шоколадными, и настаивали, чтобы взял непременно у каждой.

— Я столько и не соберу, чтобы отдать, — говорил с усмешкой Вася; странным образом и он не ощущал сейчас ни малейшей неловкости — без парней и ему было легче и независимее.

Девицы протестовали: зачем отдавать, да и когда-то еще поедет он в деревню!..

Гранки хотя и висели еще кое-где на оголившихся ветках, но огромное большинство их уже посеяло плод, и орешки надобно было раздобывать под листвой. Вася умел теперь распознавать, где ли гранка с орехами, и знал, что надо глядеть внизу и под пустыми. Ютились орехи еще и у самых корней, где между стволами в торчащих отмерших побегах было набито много опавшей листвы.

Все понемногу опять разбрелись, но Вася упорно держался Душки и время от времени перекидывался с нею словечком, пока не решился спросить наконец и о вчерашнем.

— Почему это Душка сказала, что побоялись Кирциллы Матвеича?

— А потому и забоялись... Насмех сказала, кто же так боится!

— А отчего тогда не запели?

— А зачем заходить? Стало быть, знали и так, что вы тут окажетесь. Сердце сердцу, значит, кукушечкой весть подает.

Полюшка смеялась, и глаза ее щурились с такой лукавой усмешкой, что Вася сказал:

— Чье же — мое иль твое?

— Стало быть, наше, — отвечала Полюшка дипломатично и повела головой по овражку.

Вася взглянул туда и увидел голубой сегодня Душкин платок, а когда, поглядев достаточно времени, обернулся назад, Полюшки уж не было возле.

— Ай, глядите-ка, девочки, белка!

Душка крикнула это так звонко и радостно, что, казалось бы, все должны были мигом сбежаться, но, к удивлению Васи, не отозвался никто; и никого кругом не было видно.

— Где белка? — спросил он, краснея и радуясь, что остался с Душкой один; хитрость девич была теперь для него вне сомнения, и это сначала немного смутило, но вслед за тем весело он, через это смущение, как через [illegible], рокочущий брод, побежал к смотревшей на дерево девушке.

— Глядите, гляди!

Девушка [illegible] руками, потом [illegible] левою рукой [illegible] немного пригнула и, наконец, [illegible]. Все эти движения [illegible] поротом. Теперь стояла она за [illegible], одною рукой [illegible] стараясь ему показать [illegible] на корявом дубовом суку с [illegible] Вася, по близорукости, никак не мог [illegible], да и рад бы не торопиться его увидать… Душка близко [illegible] за ним, и дыхание это он не только слышал его, но и с [illegible] полнотой ощущал в [illegible], едва различимых [illegible] прикосновениях, и было оно [illegible], свежесть [illegible] не смешивались между собою, но, и оставаясь раздельными, были все же одно, и была [illegible] пожиз[illegible] не было покоя [illegible] состояния, а было движение, [illegible] [illegible] в мир.

Вася чувствовал [illegible], с ногами не [illegible], а лишь слабо покорствуя [illegible]. Он не заметил момента, когда [illegible], и он перестал, [illegible] очками и не [illegible] и самый дуб, на котором [illegible] и куски [illegible] растопыренными узловатыми сучьями, и даже Душкину [illegible] руку. Может быть, [illegible] от воли, [illegible], и когда, наконец, повернувшись, со слабой улыбкой уронил он руки на Душкины плечи и она [illegible] движением [illegible] не отшатнулась, он не поцеловал ее, а только, не видя, глядел и глядел, как слепой, обернувшийся к солнцу.

И она уже больше не смотрела на белку (разве теперь только эта резвунья сама насмешливо-острым глазком метнула на них...) смутное, на секунду, волнение охватило и девушку, но поспешно, чтобы не дать себе испугаться, она рассмеялась Васе в лицо. И тотчас он увидел перед собою серые ясные глаза ее и смеющийся рот, зубы белели ровной двойной полосой; на щеках был рассыпан, слабо поблескивая, меленький бисер воды, упавший с дерев. Не было чар, но было лучше, чем чары (так, по крайней мере, почувствовал Вася, очнувшись от своего первобытного, дорожденного бытия). Психея, душа, как и недавняя Васина грусть, расплылась тихою влажностью по перелескам, а белочка, милый зверок,— да, она была здесь, и Вася увидел, поймал ее наконец... И так же легко и неизбежно, как упали на Душкины щеки капли воды с задетой орешины, наклонился и Вася и крепко поцеловал ее несомкнутый, влажный, еще смеющийся рот. Потом откинулся, не отпуская рук, поглядел (и, как в зеркале, счастливое лицо отражало счастливое...) и еще раз со всей жадностью молодости прижался к живому и сильному, полному жаркою кровью, Душкиному телу; а Душкино тело и душа ее, крепко девическая, были сейчас воедино.

О, никакого смущения и никакой, как в амбаре, неловкости! Спросите у ветра, смущается он, когда, пролетая над лесом, волнует сонмы листов, у вод, бегущих по руслу ручья, у зацветающих трав! О, как звонко и весело засмеются они на глупый этот вопрос...

Как было дальше? Просто и хорошо, и необычайно легко. Пошли, помахали рукой, держащею руку, потом отпустили друг друга, и искание орехов, совместное, было, как и подобает, деловитым и оживленным. И только еще разок, на прощание, поцеловались коротеньким, счастливым, как бы с веселой украдкою поцелуем.

И когда, поаукавшись, девицы собрались опять, а Вася простился со всеми «за ручку» и зашагал по лесу один, деревья ему по пути стояли ровесниками, невнятные их голоса звучали товарищески, и Васино счастье было повсюду — и в нем самом, и в движении его между дерев, и в небе, повеселевшем влажной лазурью, и в бархате мховых ковров по сторонам, и особенно в стройных этих и легких сквозных на поляну окошечках между стволами...

IX

Немного в лесу поплутав, круговою, дальней дорогой пришел наконец Вася домой, и первый, кого он увидел, был Гришка. Он только что отпряг Красавчика и пристяжную — золотисто-рыжую молодую кобылу, у которой за красоту ее было целых пять спорных имен,— и теперь убирал в сарай хомут и шлею. Чуркин, бегавший Гришку встречать, в тайной, быть может, надежде встретить и Танечку, был явно не весел и предприятием своим разочарован слабо, скорее из вежливости или собачьего долга потершись или гнутым задом о мокрые Васины коленки, он даже не сделал попыт

ки лизнуть его руку, а тотчас отошел и, крепко, с подчеркнутым пессимизмом прижав между ног корень хвоста, поплелся домой.

Не веселей был и Гришка; и всегда был он угрюм, но сегодня едва отвечал на Васин вопрос о Кирилле Матвеиче, который, как оказалось, не приехал и со вторым, ростовским. Больше Гришка так ничего и не сказал, и только белесые, едва обозначенные брови его упрямо сдвигались над вдавленной, короткою переносицей.

Васе ясно было, что вчерашнее его сватовство, как и предрекала Прасковья, не удалось. Впрочем, об этом можно бы было уже и в лесу догадаться... Но там как-то шло мимо житейски-реальное, и только сейчас Вася решил: да, конечно, иначе и быть не могло. И Гришки ему не было жаль; радость всегда немного эгоистична. То, что было в лесу, было опять, в сущности, мало понятно для Васи, но хорошее непонятное всегда кажется нам таким верным, нужным и радостным, и уже от этого одного — раз мило душе, то и понятно.

За обедом Вася был весел и разговорчив, так что даже Любовь Петровна взглянула на него с некоторым недоумением. Она, напротив, была печальна вдвойне: и за Танечку, и по случаю неприезда Кириллы Матвеича; последнее для нее имело особенный смысл, о котором Вася и не подозревал.

— Когда же дядюшка приедет-то все-таки? Вы, видно, правы: что-то он загулял..

— Приедет когда-нибудь, — усмехнул Вася краткий ответ на вопрос, сделанный им с беззаботной легкостью, и в тоне Любови Петровны не был укрыт такой чуждый, вовсе не свойственный ей оттенок презрительной горечи; после обеда она тотчас ушла к себе в комнату.

Все было Васе наперекор; продолжала чем-то быть недовольною даже Прасковья, пришедшая в дом после обеда, и Васе едва удалось ее расшевелить, прибегнув для этого к маленькой хитрости: он завел разговор опять о вчерашней змее.

— Ай интересно тебе показалось? — спросила Прасковья, поначалу весьма недоверчиво, но скоро потом разошлась. — Коли охота, так слушай. Ну, стало быть, это... как я говорила, — прямо в живот, там приютилась. Ну, к бабке его, человека этого, как полагается. А бабка так насоветовала: иди, говорит, на то самое место, где и был, и поставь ты перед собой ягод тарелку и налей туда молока. Она на ягодный дух не иначе как должна-таки вылезть. Так все и сделали. Народ стоит за кустами, глядит, чтобы, дескать, и не шелохнуться. А человек тот лежит и орет: змея из нутра лезет на ягоды. Часа, знать, два али три так промаялся. Ну, показалась головка... вылезла. Тут это гомон поднялся, кричат ему: «Вылезла, вылезла! Подымайся скорей!» А ему и невмоготу. Змея слышит: кричат — да назад... прижилась, видно там, понравилось ей. И кидается, боже ты мой, куда зря, путь потеряла. И все ж таки три дни пожил тот человек и богу душу отдал. Истинно так, верные люди передавали.

— А змея как же?

— Да что ж змея? Убили, конечно. И сколько же крови из н[illegible] вышло, матушки-светы! Так и льется, и льется ручьем. Напилась, видно, уволю...

Определенно был неприятен Васе этот рассказ; он пожалел, что попросил докончить его. Смеркалось, и сумерки от паутины ползли по углам. Вышла Любовь Петровна из спальни, и Вася прилег на диванчик в углу, рассеянно вникая в обычный между женщинами хозяйственный разговор, но конец его довелось уже слушать иначе...

— Так что ж, поладили, значит, теперь уж и стирать не придет? — услышал он голос Любови Петровны.

— Ну, стало быть, что так. Невеста, видишь, теперь.

— Дура она. Да еще верно ли это?

— И Гришка сам мне сказал, вот как приехал. Все подтвердил. Только и он невеселый какой! - Прасковья теперь говорила пониженно, с оттенком таинственности.

— Отчего?

— Ребята смеются. «Ты, говорят, что для отца, что ль, молодайку берешь?»

— Тьфу ты, господи, гадость! - сухо отплюнула Любовь Петровна.

А Прасковья зашептала с удвоенным одушевлением:

— И истинно верно, я вам скажу. Это такой, прости господи, идол... и, поглядите-ка: кто из них больше жених? Гришка что? Мразь! Плевком, как говорится, перешибешь, а ведь это-то черт — здоровенный, ну истинный идол из преисподней... И уж про него это известно... все говорят... И малый то наш... приехал, не жрамши, и за стол не сел, прямо на печку... разволновался. Плачет, знать, я уж ушла, а вчера, Митюшка наш сказывал, на парней будто бы в драку...

— Да Душка-то что ж? Разве она ничего и не знает?

— Да то и Душка... Девка как девка. Поладили с матерью, стало быть, слушайся...

«Неправда, неправда!..» Васе хотелось вскочить и закричать, затопать ногами, но он лежал недвижим, как если бы сон свинцом [illegible]лил ему ноги. Он слушал и холодел. «Неправда, неправда! Она б[illegible] весела! Этого не было! Душка любит меня...»

— Ну, Душка не знает, а мать с ума, что ль, сошла?

— Знать, сошла, да не вовсе. Видите, я вам скажу... — Ш[illegible] Прасковьи был теперь еще и иной: по-деловому заинтересован[illegible] и что-то словно бы понимающий. - Шут-то этот рябой, прости м[illegible] господи, с козырем, значит, приехал. Раньше таил, а тут будто [illegible]крыл...

— С каким еще козырем?

— А вот я вам объясню. Ездил он, значит, на шахты, а там у [illegible]го браток, старшой. И как уж там было у них, не знаю допод[illegible] но только землю ему, видишь ты, подписал брат-то Ипатов в [illegible]

ную собственность... на две души, и бумагу с печатью этот вчера предъявил.

Любовь Петровна молчала, ибо в тоне Прасковьиных слов: «земля» и «вечная собственность» — послышалось явственно то, против чего возражать бесполезно. Прасковья тотчас поняла, однако, молчаливое это неодобрение и, ища что-нибудь примирительное, уже громче и несколько официальней докончила:

— В нашем быту, милая барыня, все так-то. О прочем о чем и не спрашивай. За двадцать стукнуло девке — уж, знать засиделась, пора и пора! Да и то сказать, может, и зря много болтают, всего не поймешь.

— Я завтра пойду сама с матерью поговорю. Я не позволю этого! — сказала вдруг громко, волнуясь, Любовь Петровна и даже стукнула сухонькой ручкой о стол. — Эх, Кириллы Матвеича нет, — добавила она уже тише, — тоже на старости лет... нечего сказать, хорошо себя соблюдает... — И она опустилась на лавку.

Вася вскочил с дивана и сел; от волнения он не мог сразу встать на ноги; слезы блистали на глазах его. Невыносимый кошмар наконец был нарушен, и разбудила его Люба — белая голуба.

— О, милая, милая... — частым взволнованным шепотом повторил он несколько раз, — да, да! И я тоже с вами...

Он быстро поднялся и подбежал немного не рассчитав, к сидевшей старушке, с жаром поцеловал сухонькую руку ее, ту самую, что ударила о стол, потом опустился на пол и, зарывшись в ее сырою свеклою пахнущем фартуке, дал наконец волю слезам, повторяя одну только фразу:

— И я с вами... да, да... милая, милая... тетя.

Она с нежною лаской гладила голову этого милого мальчика и сейчас, точно все другое смело, слышала только его последнее слово; в нем было нежданное, такое дорогое, бесценное признание чего-то в ней, какого-то права: тетя!..

Прасковья глядела-глядела на них, потом поднесла к глазам грязный свой фартук, хмыкнула носом и, повернувшись, ушла...

Вася уснул в ту ночь в нервно приподнятом, но действенном настроении. Однако сон его был снова тяжел; он охал, вздыхал, делал беспокойные попытки движений, но они беспомощно замирали, и пробудиться он долго не мог. Снилось ему, что он в длинном и душном сарае ищет выхода и не может найти, вспоминается змея, залезшая в человека, и его тошнит, руки и ноги слабеют. И вдруг слышит веселый Душкин смех, совсем близко. Бежит туда, хватаясь руками за сено. Но это не сено, а пыль, осевшая на паутине; все пространство впереди его заткано паутиной; он рвет руками и тонет в ней, кричит, и голоса не слышно. И вот видит, в углу барахтаются в борьбе два пыльных демона: один — худой и искалеченный, припадающий на ногу, другой — огромный и толстый. Оба скалили зубы, кусались и рвали друг на друге куски; зрелище было омерзительное. Душкин смех вдруг замолк, и Вася понял, кто был перед ним. Он кинулся, не раздумывая, прямо перед собою и, преодолевая от-

вращение, старался свалить их обоих. Тогда, забыв междоусобие оба серых демона накинулись вместе на Васю, и началась долгая мучительная борьба. Васе казалось не раз, что он задыхается под навалившимися на него отвратительными телами, но он делал усилие, вывертывался, и борьба продолжалась. Вдруг он увидел, сквозь рее почувствовал, Душку рядом с собой, и в руках у нее был нож. Что было дальше, осталось закрыто, ибо вслед за тем произошла перемена. Повеяло воздухом, и он внезапно увидел себя в комнате Танечки; окно было открыто в сад, и легонько тянуло прохладой. Танечка лежала бледная, беленькая, но веселая, она куталась в одеяло, улыбалась ему и говорила: «Это ничего, ты обо мне не плачь, все хорошо».

Когда Вася проснулся, он лежал непокрытый, и ногам было холодно: сброшенное одеяло фантастическим беспомощным существом, поверженное в борьбе, лежало на полу. В свете раннего утра различил еще Вася всюду осевшую копоть и вспомнил, что лампу он, ложась, забыл потушить. Вася посмотрел вокруг полудремотно, поднял одеяло, укрылся и снова уснул.

X

Вместо того чтобы пойти самой на деревню, Любовь Петровна сочла за лучшее пригласить Душкину мать к себе, а с Прасковьей, посланной на село, пошел и Вася. Так, может быть, и для него было удобнее: он рассчитывал Душку увидеть одну и высказать ей все, что томило; он теперь отчетливо знал, что именно. Непроизвольно в этой ночной борьбе своей, несмотря на пятнущее о ней воспоминание, он еще точно бы вырос и возмужал. Мысли его по-необычному были тверды и ясны.

— И напрасно барыня это удумала,— говорила между тем Прасковья, пока они шли мимо сада.

День был ясный, просторный и четкий; острые облака бродили по вышине, внизу похрустывала подсушенная морозом трава, а в тени, как на гравюре, сделанной тонким пером, стояли в серебряных завитках отдельные стебли полыни и зонтичных, и была вокруг та предельная тишина, в которой душа не страшится быть сама собою.

— Напрасно, я говорю, барчук. Дело изделано, и мешаться не для чего. Что к худу и что к добру, не нам судить, а только обе большая произойдет, это действительно.

Вася молчал. Он думал теперь не о том объяснении, что предстояло там, на барском дворе, а о своей встрече с Душкой. Ни в чем дела он не вмешивался, у него свое дело.

Душка жила на окраине; немного поодаль села, на отлете, стояло несколько темных, низеньких хат, и Прасковья ему указала третью. На улицах было пустынно, не было видно даже собак. Кое-где уток и кур, забавно насупившись, с обрывком веревки на ноге, разглядел, остановясь, на подходивших только один поросенок;

он упористо, следя и ожидая с недружелюбием незнакомых людей, на коротких своих толстеньких ножках, но сразу вдруг струсил, круто почти перевернулся и опрометью побежал через выгон к реке.

— Ишь шелудивый! — с почти материнскою нежностью засмеялась Прасковья. — Ноги-то как, подлец, не забыл!

Изба Душкина была — как безлюдная, и через низкие темные окна никого не было видно. Перед порогом у входа лежал традиционный большой камень-валун, а в сенях, узких и темных, свалена была веревочная сбруя, мешок с картошкой и две пары лаптей.

— Или в холодной сидят, — сказала Прасковья, но все же направилась на теплую половину, направо.

Вася переступил порог и снял шапку. В переднем углу слепо глядели в киоте несколько старых, почерневших от дыма икон. Они не были в ризах, но разноцветные бумажные цветы, сделанные все под георгины, украшали их; в обе стороны полки над лавками, равно как и киот внизу, также были оклеены цветной, спускавшеюся книзу бумажною бахромой; стол посередине аккуратно накрыт домашнею тканевою скатеркой; наконец, пространство налево, между русскою печью и дверью, задернуто цветным ситцевым пологом.

— Кто там? — спросил голос из-за занавески.

— По твою мать пришли. Любовь Петровна к себе ее требуют, — отвечала Прасковья: она стояла в дверях, как солдат, высокая и четырехугольная.

— Прасковьечка, ты?

Занавеска раздвинулась и Душка, в новенькой кофте, вышла к гостям. Увидев и Васю, она сперва ничуть не удивилась, протянула руку и сказала: «Присядьте».

— Ты что ж это там от людей схоронилась? — спросила Прасковья, посмеиваясь.

— Гостей ждем с мамашей, — ответила Душка. — Может, она еще и успеет сходить, коли ненадолго. Она на дворе.

— Я здесь посижу, подожду, — заявил Вася, когда Прасковья, поговорив, пошла через сени на двор к Душкиной матери.

Вася понимал, конечно, что он делает большую неловкость, оставаясь с Душкой наедине, но ему было теперь не до деревенских приличий. Прасковья, как истинный дипломат, ничего при этом не проявила, даже сказала, уходя:

— Мы, может, там прямо задами и пробежим.

— Я к тебе пришел, — начал Вася, не замечая даже, что говорит на «ты». — Ты, говорят, замуж выходишь?

Душка не отвечала и, опустив глаза, спокойно дышала, на лице ее ничего нельзя было прочесть. Вася сидел на лавке, а она стояла недалеко от стола.

— Ну, скажи же мне, правда? — Вася протянул к ней руки, и она слабо подала одну из своих; Вася придвинулся к ней. — Ты ничего не говоришь, стало быть, правда.

— Не нужно, барчук, — сказала Душка одними губами.

— Как не нужно? — Вася вскочил и положил обе руки на плечи девушки, как тогда, в лесу; и, как тогда же, она не отодвинулась, только легонько скрипнул стол под ее левой рукой да примялась скатерть с угла. — Душка, ведь я же тебя... ведь мы любим друг друга!

— Не нужно, барчук! — опять так же тихо промолвила Душка.

— Не называй так меня! Я не барчук, а Вася — твой, я люблю тебя. Откажись!

Душка медленно повела головой.

— Пустите меня, — сказала она, — нехорошо.

— Ты думаешь, что я так... что я мальчик... Душка, послушай, а ты... разве не любишь?

Девушка вместо ответа взглянула на него открыто и широко, и в серых ясных глазах ее, вдруг слегка затуманенных, Вася прочел ответ — и жданный и неожиданный...

— Ну, а тогда все хорошо, все хорошо! — воскликнул он в радостном возбуждении и притянул Душку к себе.

Она стояла в объятиях его неподвижно, но вдруг задышала, слабея, часто и тяжело, и сама опустилась на лавку, а Вася, совсем как перед барышней, стал перед ней на колени.

— Пол-то грязный, — сказала Душка застенчиво и не могла в то же время не улыбнуться.

Вася восторженно ответил на эту ее улыбку; лицо его светилось радостью, и очки, поднявшись с одной стороны, косою линией пересекли висок.

— Ничего, ничего... — быстро зашептал он. — Видишь, как все хорошо. Будет и свадьба, но наша. Да? Вот придет твоя мать, мы и объявимся, да? Душка, слушай, я буду работать, я сильный. Дадут нам даст немного земли. Ах, как я люблю тебя, а ты? Ты? Так же любишь, как я?

Вася еще долго говорил, не замечая то жалостливой, а то порою и горько-суровой полуулыбки на ее лице.

— Встаньте, — сказала она наконец, — кто-то к дому подъехал нехорошо.

Вася поднялся, обиженный и изумленный.

— Голубчик вы мой, миленький, миленький... — заговорила наконец, также поднявшись, и Душка, — забудьте об этом. Это не зя. — Она осторожно тронула его волосы и взяла Васину руку, кре ко ее пожимая крепкими своими, рабочими пальцами. — Ручка-то ка кая беленькая, как у барышни, — сказала она и глубоко, прощальн вздохнула. — Ну вот и все, стало быть. И хоть были минуточки наши...

— Душка, послушай, но почему же минуточки?

— А я всегда тебя буду любить, — докончила Душка, — и пок веянием буду стоять, тебя вспомяну.

— Так ты не хочешь? Не веришь?

— Вы барин, — ответила Душка и отошла к дверям.

В сени кто-то вошел. Вася хотел еще говорить, возражать, спорить, просить, но вместо того и он оправил рубашку и стал подальше, к углу, где образа.

— А у нас сидит гость,— встретила Душка вошедших.— Барчук за матушкой заходил, а Прасковья за нею на двор пошла.

Первым подошел поздороваться к Васе Гаврюшка, Душкин брат. Он был черномаз, строен и походил на цыгана; коричневые глаза его блестели большим оживлением.

— Здравствуйте, Василий Ликсеич,— сказал он, пожимая Васину руку,— а мы ездили земельку смотреть, дарственную... У-у... хороша земля!— он покрутил головой.— Вы с ружьишком не балуетесь, а то как-нибудь вместе прошлись бы по холодку..

Вася слушал его и невольно следил движения Душки; они были размеренны, спокойны, но и больше того: было в них словно бы нечто покорное. Пока Гришкин отец молча развязывал красную свою подпояску, она так же молча стояла невдалеке к Васе спиною; когда же толстый, крепкий, чернобородый мужик, размявшись, стал скидывать свою свиту, Душка ему помогла и сама повесила ее на гвоздь между дверями и занавеской; Вася заметил даже, как она аккуратно рукою оправила складки. Потом она отошла к столу и так же заботливо тронула скатерть.

Гришкин отец достал из кармана красный платок и прежде всего обтер отпотевшую бороду, потом скрутил его, положил обратно в карман и только тогда подошел поздороваться к Васе. Лицо у него было широкое, красное и неожиданно добродушное, так же простодушно глядели и глаза из под густых бровей, маленькие и живые; с Гришкою не было ни малейшего сходства.

— Из экономии будете? спросил он.— Гришка мой там Скоро возьму, пусть приучается к дому. А то нехай послужит еще? — воскликнул он вдруг, с живостью обернувшись в сторону Душки, и весело рассмеялся.— Вот что, Гаврила Гаврилыч,— опять перешел он в степенный и деловой тон,— в телеге-то там...

— Я сейчас сама принесу,— быстро за брата ответила Душка и вышла.

— А вы куда ж, молодой человек? Посидите, отведайте хлеба-соли.

— Я не у вас в гостях,— резко ответил Вася и, пожав Гаврюшкину руку, быстро вышел, минуя Ипата.

Ему было тяжело невыносимо; слезы, гнев и досада душили его. Быстро пройдя через сени, он с порога увидел телегу с еще не отпряженной лошадью, но Душки не было возле нее. Он обернулся назад и вдруг узнал фигуру девушки в дальнем углу сени, у двери на двор. Душка стояла, прислонившись к стене, и плакала; плечи ее подымались.

Вася быстро к ней подошел и тронул у локтя. Тогда, не глядя, она обняла его обеими руками и тяжело поникла на грудь. Потом быстро обтерла лицо рукавом и стала целовать Васю — в щеки, глаза, губы, очки...

— Милый, милый ты мой, голубчик ты мой сизокрылый, пр... щай, прощай! Только и было солнышко раз, а теперь, видно, пр... щай...— с горячею нежностью причитала она, все целуя и глад... свои силы и, взяв Душку за руки, сказал ей хриплым от волнени... голосом:

— Душка, послушай, а ты знаешь, что про него говорят?

— Знаю,— ответила она твердо, и глаза ее стали сухи.— Но кл... Христом-богом клянусь, ежели что — убью.

За минуту до того целовавшие нежные губы Душкины были т... перь сжаты и тверды; девушка стояла в полутьме перед Васею ... но выросшая.

— Ну, идите,— сказала она и, еще раз притянув Васину голов... спокойно и крепко его поцеловала; что-то каменное теперь бы... в ней и в самом прощальном ее поцелуе.

Вася, покорный, вышел, и шаги его были тяжелы. Когда он обернулся при повороте на главную улицу, то увидел тем... и Душку над ней; он постоял, подождал, но она в его сторону ... обернулась.

Уже недалеко от дома заметил Вася и Душкину мать, торопли... во бежавшую к себе домой. Он инстинктивно почувствовал, что и Любовь Петровна не имела успеха, и ему не захотелось встречать... ся. Ах, еще есть на свете убежище — сад!

Вернувшись домой, Вася прошел прямо к себе и накинул на... двери крючок.

В этот же вечер вернулся из города, на напятых лошадях, и Ки... рилла Матвеич; вид его был весьма виноватый, и он делал большие усилия, чтобы разъяснить возможно правдоподобнее свое запоздание. Не раз при этом он путался в своих довольно несвязных рассказах, но особенно тягостными выходили они потому, что никто о... этом его, в сущности, и не расспрашивал. Под конец, когда Кирилла Матвеич замолк, Любовь Петровна спросила о Танечке.

— Танечка не весела,— коротко ответил Кирилла Матвеич. Плакала, домой все просилась. Такая ей это каждый раз мука...

Вася сидел, сильно наморщившись. О, как разно обертыва... жизнь перед ним и какое есть у нее еще другое лицо! Когда ... лось это? Трудно понять. Не с деревянной ли пляски парней?

И все замолчали: самовар стоял на столе полуутащенный чу... жалобно скулил у балкона; и в самом молчании, и в коротких ... тем о Танечке словах этого старика, такого веселого всегда х... на, а теперь сидевшего столь виноватым и жалким, как-то само... истаяла вся вина его; что-то необходимо в нем стало понятным и никаких, в сущности, не было вин: ни его, ни вообще, и бы... одна вина, общая всем и неизбежная, да и то не вина, а просто ... человеческая с ее неистребимой нескладицей или слабостью, ... быть глупостью даже или и вовсе не так, а с ее холодно ... стороны предначертанной роковою суровостью...

XI

Дни шли между тем своим чередом. Вася хотел много раз уезжать, но все оставался: уезжать было некуда.

Жизнь в Никольском давно снова наладилась. Дядя Кирилла Матвеич по-прежнему был весел и хлопотал неустанно в доме и по хозяйству, по-прежнему Любовь Петровна стряпала вкусные вещи, Васю полюбили оба старика от души и баловали его, как маленького, изливая на него всю ту неизбывную нежность, что томила сердце их по милому ребенку Танечке. Танечка изредка писала и им, и Васе, но за последнее время что-то замолкла совсем.

Шло все обычным из года в год повторным порядком и на селе. Там, за садом и выгоном, куда вовсе Вася теперь не заглядывал, но вести оттуда проникали через Прасковью, за последние шесть недель произошло немало очередных событий: похоронили деда Кутукина (известного пасечника и колдуна), дядю Антона (хромого и по прозванию «полутораженца») задавило машиной, на шахты уехали трое братьев Ермилиных (лучшие на селе гармонисты и плясуны); свадеб сыграли четыре (две молодайки прибавились и двумя девицами убыло; из них одна Серафимка, обогнавшая Дуняшку, всегдашняя ее соперница), а у тетки Федосьи (глухой) появился ребенок неизвестного происхождения — была тетка Федосья уже одиннадцать лет вдова. Много было по этому последнему поводу смеху и разговоров, но еще того больше неожиданных — дружелюбия и внимательности к бедной вдове, словно зажгли в глухой избе ее свечечку и к тому огоньку льнули невольно: и ласковый при случае разговор, и кое в чем по дому услуга, а то и скромные под вечер приношения: то крупец, то коровьего масла, то щепотку в тряпочке чаю.

Вася душою переболел за долгие эти дни и ко многому теперь относился спокойнее, но над переносицей продольные легли две морщинки, и стал заметно он молчаливее, больше сидел у себя, чаще и подолгу рылся в полном старыми книгами дедовском сундуке. Да и то сказать — и на дворе было невесело. Глухая стояла пора. Глухая, но не слепая, однако: неизменно любил выходить Вася в сад и научился любить осенние поздние краски. Была еще большая лиловость во всем, матовая и заглушенная, но с тысячью живых и мягких оттенков; порою все утопало в волнистом тумане цвета сильно снятого (из-под сепаратора) молока, и только там, где еще плотнее была перламутрово-сизая его густота, можно было отгадать скрытые им предметы или животных. Чуркин сильно осунулся в эту осень, может быть, простудился, втянулись бока, и отросшая шерсть сбивалась в комки по обе стороны когда-то упругого, ныне больного и понуро опущенного хвоста. Иногда Вася брал и его с собою в лес, и когда денек выдавался ясно морозный или шел пока еще редкий, с редким, рассеянным шумом упадавший на ветви снег, Чуркин подтягивался; Вася, остановясь, садился на корточки, гладил его по спине, и от Чуркина шло тепло.

Была и в лесу темная та же лиловость, а когда пепельно-розовое небо раннего вечера светило между стволов, на все вокруг ложился живой и прелестный оттенок, как легкие сны ушедшей глубоко под землю растительной силы. Вася вздыхал тогда и, достав папироску, курил ее медленно в странной забывчивости.

В одну из таких дальних прогулок Вася встретился с Душкиным братом, Гаврилой Гаврилычем; беззаботная головушка эта понравился Васе: вот кто был дома в лесу больше, чем дома! Со стареньким, еще кремневой системы ружьишком бродил он с утра до позднего вечера и знал наизусть каждый овражек. С Душкою внешнего сходства в нем не было, но голос был тот же, грудной, негромкий и полный. В коротеньком с ним разговоре Вася узнал, что Душкина свадьба будет через две недели после покрова.

Теперь этот срок близился. И вот однажды, когда сидели все за вечерним длительным самоваром, а за стенами валил густой снег, похожий у окон на мешковатые стаи сумеречных кружащихся бабочек, бьющихся в стекло на огонь, прибежала из кухни Прасковья и, оживленная, предупредила о том, что придут сегодня сваты [illegible] господ звать на Душкину свадьбу; она сама только вернулась оттуда.

— Гаврика видела, — торопясь, говорила она. — Веселый, пьяный-распьяный, вот истинный бог! Бегает все, суетится, чулан у себя вот как разбрил, гостям чтобы спать, заботный такой, хоть бы всегда этакой был. Уж не чает, знать, как и день пропихнуть. Этот [illegible] завтрашний еще.

— Как, а свадьба послезавтра, что ли? — спросил Кирилла Матвеич. — Разве уж оглашали?

— Угу, уж два воскресенья, наполовину уж огласили. Барчуку-то вот интересно б поехать. И Душка, знать что, просила его... В село, барчук, поезжайте. Интересно. Невеста с женихом, стало быть, будут на вышке сидеть, а мы на полу — поезжане.

— Как так на полу, а те на потолке, что ль? — притворно, больше для Васи, пошутил Кирилла Матвеич.

— Да что вы, Кирилла Матвеич, ну вот, как у Свирилона помост, стало быть, для князя с княгиней, а мы за столом честь честью, как следовает, пировать будем.

— Это Гришка-то князь! — рассмеялся Кирилла Матвеич. — Вася, поедешь?

— Нет, не хочу.

И Вася, конечно бы, ни на какие торжества не пошел, но, [illegible] не подъехали несколько позже прямо к балкону на розв[illegible] и с бубенцами сваты и дружки с полотенцами через плечо и [illegible] по старинке, с присловьями и убеждениями, обряд приглашения. Вася имел еще время подумать; терпкая горечь опять заб[illegible] в нем, и захотелось испить чашу до дна.

Два эти дня: пир у невесты и жениха, толкотня за столом, угощения, говор и теснота, сплюснутые лбы и носы навалившихся с улицы в окна мальчишек, пар от дыхания и от горячего кушанья, запах водки и табака и отсыревших тел и одежд — все это [illegible]

кошмарно, дико, бессвязно. Васю сажали, как важного гостя, под образа, давали ему даже тарелку и вилку (но без ножа), усиленно угощали, и он принимал участие во всех церемониях: клал бабушке на кашу, платил за величанья, принимал в дар полотенца, отдаривал, но делал все это почти механически; на него было устремлено немало глаз любопытствующих, но он их не замечал.

Скупо и почти недоброжелательно следил Вася обряды, сменявшие один другой издревле предопределенною чередою, не вдыхал он в них поэзию живой, дошедшей до нас старины, а если и воспринималась она, то с дикой ее, трагической стороны.

Но что он видеть не переставал и не только видеть, а ощущать всей совокупностью чувств, это была она — Душка, невеста, княгиня. Он отделял ее от кошмара, сопутствующего ей, и странно, точно бы не было для нее ни давки и тесноты, ни тяжелого воздуха, ни гула крепких речей; движения ее были (или так Васе казалось) легки и свободны, взгляд ясен, дыхание не стеснено. Кто же она? что? Вася быстро и сильно пьянел и с непривычки, и от убийственного чередования водок — зеленой и красной. Кто же она? Или и вправду душа — пленная в жизни, но вечно свободная?

С Васею Душка была очень проста и мила; ничего особенного она ему не сказала, но в каждом движении ее, к нему обращенном, в слове, во взгляде была такая открытая ясность и... благодарность.

Полюшка успела Васе шепнуть: «Вот радость-то, что вы тут, а то Душка все убивалась, что вы в обиде и не пойдете, так в полотенце и плакала. (Васе припомнилось, что и Полюшка сама, прощаясь с подругой, рыдала навзрыд. Мамаша ее будто бы круто с Любовью Петровной поговорила». Но Вася чувствовал сердцем благодарность невесты и за другое, он помнил: «минуточки наши...», и у него ныла в груди такая острая нежность и так точили воды ее, что рухнуть бы снежному кому и изойти, растаять в слезах... Но он сидел твердо и прямо и рассудительно отвечал на вопросы соседей. Он видел все и не мог ничем себя проявить, точно был зачарованный. Вскочить бы на лавку, на стол и закричать, махая руками, чтобы спугнуть и прогнать и эту птичью громаду, чтобы в трубу, один за другим, туда, где запевала песни метель, и в окна, и в двери хлынула вся эта плотно осевшая чернота; и, распугав, найти, как тогда в лесу, как орешек, как белочку, Душку — свою, одну. Но не было сил для этого подвига, была вместо них, напротив того, неподвижность, было одно созерцание злой, веками длящейся сказки, открытой непостижимо, но и в нем зачаровавшей всякое действие.

Обряд венчания произведен был вечером, уже у себя на селе: ремонт был недавно закончен. В церкви было холодно и полутемно; новый иконостас из-под свежего лака выглядел мертвым лубком; за решетками окон гудела непогода, ветер крепчал и рвал листы ржавого железа на крыше; гулкие и странно пустые раздавались слова священника и дьячка, теряясь порою в завываниях ветра, точно венчание совершалось не в церкви, а далеко от жилья, в поле, открытом ветрам, и под хлопья метели: под ногами холодными пятнами лежал растаявший снег.

Две пары глаз остались в памяти Васи. Стоя неподалеку от Душки, почувствовал он вдруг позади себя пристальный взгляд и, тяжело обернувшись, увидел Ипата. Вася как-то о нем позабыл: и за столами, и в переездах сливался Гришкин отец с другими такими же, и был он, в конце концов, вовсе ничем не замечателен, но сейчас лицо его показалось Васе странно зловещим, конечно, падал так свет, что скрадывал щеки в тени и выдвигал одни только скулы, темным горбом между глаз чернел грубо отесанный нос, а в самых глазах стояла тяжелая и каменная, неподвижная усмешка. Помедлив немного, черный мужик перекрестился, крепко кладя свои короткие пальцы, но взгляд глаз не изменился, и самое крестное знамение, им совершенное, почудилось Васе темным и злым, колдовским.

И какая, боже мой,— до чего иная! — страна открылась для Васи, когда под звуки ликующего Исайи, исполненные довольно-таки хриплым дуэтом, увидел Вася венчанную голову девушки; в глазах ее была радость, свобода; мягкое сияние излучали они... Кто же она?.. И когда невеста одними ресницами кивнула ему, Вася принял это как знак: «И под венцом буду стоять, тебя вспомяну».

Вася в этот момент почувствовал, что старые церковные стены заколебались, пол стал уплывать из-под ног — медленно и бесшумно, а между корявыми ветками дуба глянула вечная просинь небес.

Он не понял, что это он сам пошатнулся; он не знал и того, что горел в нем сжигающий хмель и что опьянение это было двойное — и от вина, и от крайнего напряжения сил; у Васи был жар. И все, что он видел, он видел поэтому также в двойном преломлении: и длинную цепь механически связанных действий, к нему как бы вовсе не относящихся, и то, что было за ними — душу событий.

После венчания Вася сел в сани, где на передке был Гаврюшка, задумавший самолично перед «княжьим» обедом его прокатить. С[illegible] лихо промчался вдоль по селу, звеня бубенцами и озорно, по-цыгански подщелкивая языком вперемежку с гортанными выкриками. Но ему показалось этого мало, и Гаврюшка, стоя, крутым поворотом вожжей, свернул лошадей в переулок, чтобы, пробравшись задами, еще раз вслед за тем развернуть свою удаль. Горячность и нетерпение подымали его, и он даже встал над козлами — высокий и статный, немного разбойничий; он и здесь, по целине, [illegible] лошадей.

Ветер переменился, грубо рвал бубенцы и бил теперь прямо в лицо; хлопья мокрого снега лепили глаза; разноцветные [illegible], вплетенные в гриву и сбрую, тонули в снежных потемках и так странно косматили лошадиные спины, и точно уже были это не лошади, а чудом ожившие звери очень давних эпох.

В ногах, на подоле Васиной шубы (Кирилла Матвеич дал свой старый енот), сидел мальчуган, ездивший в церковь с невестиными образами; иконы были завернуты в полотенце и лежали с ним [illegible] дом. У ног Васиной спутницы, Гришкиной тетки, — как ее звали, [illegible]

не знал. На вид ей было между сорока и пятьюдесятью; скуластое широкое лицо ее было красно и от вина, и от ветра, глаза были маленькие, глубоко посаженные, брови неровно уползали на лоб. Поддевку свою она расстегнула, и яркая кофта ее, малиновая, и в полутьме била в глаза. Она сидела, покачиваясь, закрывала глаза и улыбалась; зубы ее остро торчали наружу. Иногда она что-то говорила, но слов нельзя было разобрать.

Гаврюшка вдруг обернулся и кинул мальчику коротко:

— А иконы-то целы? Гляди!..

— Э, что иконы! — воскликнула баба, закрутив головой, и наступила ногою на полотенце. — Придет, милый мой, время, и боги там, наверху, в черепки полетят. — И она засмеялась, привстала и, полуобняв на козлах Гаврюшку, пикнула лико на лошадей; полы поддевки ее разлетелись и ударили Васю в лицо.

Сани опять понеслись, а баба стояла, наклонившись вперед, летящая, точно сама была вихрем, сметающим там где-то богов.

Мальчик в испуге прижался к Васиным коленям и потихоньку рукою пытался вытянуть полотенце, но женщина в кофте, будто в ответ на это движение, густо причмокнула ртом и переступила; Вася услышал слабый треск дерева, сердце его забилось неровно, дрогнули руки. Он отстранил от себя мальчугана и, приподнявшись, схватил бабу за плечи, но, не удержавшись, увлек ее за собой и грохнулся опять на сиденье. Теперь страшное это лицо было вовсе близко от Васи, и он с омерзением видел кривые и черные, вером раскинутые зубы; они были [illegible] прямо на Васю; сама она тяжко и неохотно, словно [illegible] скользила с колен рядом с ним; и невыносимей всего было ощущение тепла ее толстых, коротких и отвратительных ног. Вася сжал кулаки и изо всей силы толкнул ее прочь от себя. «Стой! Стой!» — закричал он Гаврюшке, но, не ожидая, пока тот сдержал разгорячившихся лошадей, перекинул ноги за грядку, ткнулся лицом в холодный сугроб, встал и побежал прямо по снегу, путаясь в шубе, отплевываясь, точно и самыми губами прикоснулся к чему-то поганому.

Он слышал зовы и крики Гаврюшки, но бежал от них, как от чумы, и только почти у самого дома стал понемногу приходить в себя.

На дворе какое-то было движение, у конюшни стоял человек с фонарем, и в комнатах дома свет во всех окнах. Видимо, что-то случилось. Вася быстро поднялся по запушенным снежным ступенькам балкона и застучал в обитую по-зимнему дверь, забыв о звонке.

Отворили ему не сразу, и первое, что бросилось Васе в глаза, была Танечкина мокрая шубка, оставленная в передней на сундуке, и синяя ее вязаная шапочка. Из дальних комнат доносились голоса, радостные и одновременно встревоженные. Быстро скинул шубу и он и побежал через столовую, натолкнувшись по пути на отодвинутую наискось лавку. Очки его запотели, он снял их и стал на ходу протирать.

— Кирилла Матвеич, спирт там, в буфете, ножки ей разотрем да скорее за доктором...— услышал он голос Любови Петровны и невольно остановился.

Кирилла Матвеич вышел тотчас; клок седых волос его над лбом, торчавшая тревожно и выбившаяся из-под мягких манжет цветная рубашка придавали ему совершенно растерянный вид.

— Танечка...— заговорил он быстро и на ходу.— Тебе сказали? Убежала из института... с прогулки. И прямо на вокзал и сюда... Где же тут спирт? Подвинь-ка, я влезу. Лошадей наняла, но простудилась жестоко... жар... вся горит. В этакую-то метель...

— Можно мне к ней?— спросил Вася, и голос его зазвенел; с невероятною быстротой, словно в воронку грязные воды, стремительно убегало и исчезало все, что только что было; голова его быстро свежела, и было несколько страшно от этого ощущения.

— Можно, она узнаёт.

В спальне Любови Петровны, где уложили наскоро Танечку, было полутемно; лампу заставили раздвинутой книгой, но свет падал ярким пятном на кресло ближе к комоду, и лежало на нем зеленое институтское платье. Васе вдруг вспомнились слова Кирилла Матвеича на другой день после приезда: «Они там все как яички крашеные...», но Танечка лежала уже раздетая и беленькая, как тогда, во сне... Рассеянная улыбка бродила по милому лицу ее, и навстречу брату она сделала легкое движение рукой.

Вася наклонился к ней и осторожно ее поцеловал; лоб ее и дыхание были жарки, сквозь нежную кожу виска проступала явственно голубая сеть жилок.

— Ну вот я и дома. Совсем,— прошептала она Васе в лицо и закрыла глаза.

Любовь Петровна сделала ему знак отойти, и он сел на кресло возле того, на котором так и оставалось кинутое зеленое платье.

Там он и просидел всю эту ночь. Не ложился, впрочем, никто. Доктора не застали в больнице, и приходилось ждать до утра. Танечка ночью металась в жару и горела как свечка.

Вася сидел и думал, думал... как еще никогда. Время, проведенное им в Никольском, казалось ему целою жизнью, и отделыные эпизоды переживались полностью заново. Один раз он даже невольно и криво про себя усмехнулся, когда пришло ему в голову, что дал бы ему, в конце концов, тот самый Горный институт, о котором он так горевал, и разве можно ставить его, хотя бы и отдаленно, в сравнение с тем, что он испытал и чему научился здесь.

Дыхание Танечки неподалеку, самое присутствие ее тут позволяли ему обозреть все, что было, как целое, как завершившийся круг.

Порою мысли его обрывались, и их заливала опять жизнь и острая жуть непосредственных чувств, и Вася то мрачно сдвигал свои брови, то забывался совсем, и тогда зрачки его сгущенно темнели и расширялись, как у слепого.

Острая тревога все время томила его за Танечку. Нежностью и благодарностью к ней за то, что не покорилась, полно было Вас

но сердце. Но... неужели и за протест покарает судьба? И возвращался опять мыслью к Душке и к этой последней своей поездке из церкви...

Страшно, но кажется так: через пленительное и ровное, если пронзить его острой иглою, хлынет кошмар; под цветущею пленкой земли, такою, в сущности, хрупкой, гуляют еще, биясь и бушуя, океаны огня и глухо рокочут тяжелые волны металлов. О, мечты его: чей-то легкий бег через залу, цветы на столе и в сумеречный час негромкий говор рояля...

Но ежели все на земле такое иное и это и есть самая жизнь — в чем же сила и мудрость тогда и как и на чем утвердить свою душу?..

XII

Вася наконец уезжал из Никольского; теперь оставаться ему было слишком уже тяжело. «Он у нас будет жить. Совсем», — слова эти Танечки не оправдались. Но ее другое «совсем» точно сбылось; она теперь дома и навсегда. Белая ограда у церкви замкнула ее в последнем объятии. Будут отныне идти, чередуясь, зимы и весны, ласковый снег прикроет своим одеялом последний земной приют ее, а хлопотливые пчелы слетятся жужжать по весне над желтою вербой, но она никуда не уйдет: она теперь дома — совсем.

Похудел и побледнел Вася Лопатин и казался теперь еще выше; даже очки на носу лежали, понуро сползая вниз. Он бросил курить и выкинул вон портсигар; запах духов, въевшихся в кожу, стал ему вовсе непереносим.

Гришка, женившись, ушел из экономии, и Васю должен был отвозить Никанор, тот самый, что его и привез.

Перед отъездом с минуту сидели в молчании в зале, потом помолились перед иконой и стали прощаться.

— И куда же ты? Жил бы себе... — сказал еще раз Кирилла Матвеич дрогнувшим голосом. — Право, живи, покуда не гоним, а я велю лошадей отпрягать, — добавил он вслед за тем, стараясь хотя бы под этой безрадостной шуткою скрыть свою слабость и охватившую его душевную боль; дядин вихор висел вовсе уныло, и на старика было больно глядеть.

Вася молча и крепко обнял и поцеловал Кириллу Матвеича. Но когда черед дошел до Любови Петровны, то и он, и она не удержали слез; оба, прощаясь, снова и снова прощались с милой девочкой Танечкой; она стояла меж них, и, склонясь головой на широкую Васину грудь, не Любовь Петровна, полная хлопотунья старушка, рыдала при расставании, а хоронила счастье свое ласковая Люба — белая голуба, и плакал с ней Вася, оставляя навеки в этих стенах свою молодость.

Лошади стояли у крыльца, и Никанор, в каляном тулупе, с поднятым в уровень шапки воротником, похлопывал себя по бокам рукавицами.

Не было Чуркина.

Предчувствуя Танечкину скорую смерть, он не отходил послед-
ние дни от дверей и ничего не ел; после ее похорон он вовсе исчез
Дорога опять шла через лес, строгий, седой и холодный; без-
молвный и крепкий мороз налег на него тяжелой пятой.

Дальше на долгие версты тянулись поля, и полнились однооб-
разно за минутой минута скрипеньем полозьев. И это был океан, не
мертво-застывшие волны его неподвижны, и путь по ним долог

Вася ехал и думал: не смерть страшна человеку, а жизнь
страшны на путях ее непонятные силы, чуждые ему и холодные

Как ни хотелось продлить расставание, но все же на станцию,
по-деревенски, выехали с большим запасом времени, и Васе ждать
пришлось около часа.

Он лениво-раздумчиво бродил по платформе, когда вдруг на
вихрастой заморенной кобыле прискакал мужик,— видно, он гнал
ее во всю мочь. Еще не доходя до дверей, ведущих на станцию, сни-
нул он шапку, и быстрый шаг его перешел в мнущийся и неуверен-
ный; под конец он просто, робея, начал топтаться на месте, а уви-
девши Васю, обратился к нему — узнать, где отыскать господина
жандарма.

— А что такое? — спросил рассеянно Вася.

— Видите, барин, старосты нет, а так что случилось несчастье
Молодайка у нас, видишь ты, старика топором зарубила, свекора
ейного тоись. А мужик ее тоже вроде как буйствует.

— Душка? — проговорил с запинкою Вася, чувствуя, что начи-
нает дрожать.

— Она самая, точно так-с; Авдотья Гавриловна,— подтвердил
мужик недоуменно.

Вася его оставил стоять и отошел.

Смутно он видел потом, как появился жандарм, смутный
и франтоватый, и как мужик поскакал дальше, к уряднику.

Через те же поля, в сыпучем, застывшем снеге помчал Васю
и поезд; он стоял у окна и над запушенной его нижнею частью гля-
дел на сугробы, сливавшиеся сплошной пеленой.

Он видел и Душку; и она нашла свой исход, убила неправду
И вот повезут ее далеко в таком же вагоне, но только на окнах бу-
дут решетки. От них все равно никуда не уйти. Он видел открытые
серые глаза ее и арестантский халат; и опять были эти глаза пра-
дивы и смелы, как и тогда, под венцом: в новом этом плену, с собою
наедине, она оставалась свободна. Да, поступь людей на земле дол-
жна быть тверда.

Вася Лопатин чувствовал, как у него руки в карманах пальто
невольно сжимались и как приливала к ним изнутри горячая и не-
покорная сила.

1913—1918
Орел—Москва

Крест на могиле

Печаль моя светла.
А. Пушкин

I

В темно-бархатном рукаве густо-зеленых лесов, подобная чьей-то руке, золотистой и напоенной к вечеру солнцем, упруго-покорная, загибалась Кама у плеса. Небольшой пароход по имени «Латник» (из уфимских) тихо скользил против тяжко-спокойных вод, склоненной трубой, как папиросой, мирно попыхивая. У большого села с далекою колокольней и тонкой на фоне вечернего неба серой мечетью легкие лодки катающихся и встречавших в мерных взмахах их весел были с кормы парохода похожи на стайку стрекоз, над самой водой реющих крыльями.

Пароход уже повернул, боком и наискось приближаясь к берегу, не имевшему пристани, но с опавшим в безветренном воздухе, истрепанным флажком на наскоро сбитом причале. На пароходе внизу шла суетня. С почитаемой этой губернией древней иконой ехавший на «Латнике» викарный архиерей высаживался здесь; это была ежегодная поездка в село, где жил когда-то щедрый благотворитель на церковные нужды, оставивший по себе капитал и на эти поездки: на завтрашний день, день его смерти, в церкви торжественно шла длинная служба за упокой его боголюбивой души, из окрестных мест целые толпы богомольцев стекались, согласно обычаю, приложиться к чтимой иконе, полюбоваться золотом пышного облачения владыки, упиться стройностью и долготой епископского богослужения, послушать согласное пение мальчиков архиерейского хора, стриженых, с голыми шейками, в шитых золотым галуном темных рясках.

С обнаженными головами гребцы, в ярких, новых рубахах с более темного цвета влажными ластовицами, в нескольких лодках держались теперь вблизи парохода, который к низкому берегу не мог подойти. С большими предосторожностями вынесли на самую большую из лодок, изукрашенную пестрым ковром, покрытый белою скатертью стол и на нем небольшой темный образ — богоматерь с младенцем. Туда же сошел и викарный — худой старичок, с очень узкой и длинной седой бородой, пастырским посохом, похожий в своей необычной одежде, на фоне простого и несколько дикого камского берега, на жреца из давно забытых времен (помнили их разве Кама да берега ее, сохранившие прежний суровый свой вид); еще в ту же лодку сели, после владыки, четыре монаха с темными

бородами, в темных и твердых, высоких, тугих клобуках, и стал, из
садясь, епископский служка, мальчик стройный, необычайной кра
соты. В других лодках расселись также монахи, мальчики-певчие,
светские лица, сопровождавшие их в путешествии. Когда все усе-
лись, старичок архиерей встал в своей лодке (и все поднялись), бла-
гословил пароход, потом обернулся к берегу и благословил народ
на берегу.

По данному регентом знаку мальчики, забрав уже свежего воз-
духа, приготовились петь, но в это время донеслись по воде звуки
«Коль славен» — это школьники пели на берегу; было видно, как
молодой человек в короткой визитке, взгромоздясь на широкий де-
ревянный обрубок, неистово махал над ними руками. Регент недо-
уменно взглянул на архиерейскую лодку, но едва старичок подня-
руку, чтобы дать утвердительный знак, как новые звуки, резко дре-
безжащие, медные, нестройно ворвались в детское пение: из-за при
горка форсированным маршем шел отряд вольной пожарной дру-
жины, торопившейся к встрече; медные инструменты голосили на
циональный гимн. Сухая, маленькая рука архиерея с тонкими пальц
цами, готовая махнуть регенту хора, опустилась на грудь, и пальцы
нервно затеребили наперсный крест.

По лицам столпившихся на пароходе пассажиров пробежала
улыбка; только группа татар с бритыми головами, наполовину
посередине прикрытыми шитыми, с блестками по-празднично-
му — тюбетейками, стояла плотною кучкой, спокойная и серьезная
с молчаливым уважением к чужому обряду, пред ними происходя-
щему.

Кто-то на берегу догадался, насколько возможно, сократить
какофонию звуков, и лодки с иконой поплыли к берегу уже
в кристально-прозрачной гармонии свежих и опытно чутких к ма-
новению руки регента молодых голосов. И опять все водное
шествие духовенства странным образом походило на забытый
давний обряд.

Теплое, желто-зеленое небо, мягко опрокинутое, чуть колы-
лось в реке; родилась и крестилась тотчас в полных водах реки пер
вая, такая же теплая, как и небо, звезда; опять глуховато, под от
динку, заработали крылья колес, забирая что дальше, все больше
полней. Еще слышится пение, видится случайным ветерком вздут
нутый флаг, стайки весел-стрекоз реют еще над водой, зеленеет ни
кая сельская церковь, и в мирном соседстве с нею высится легко
своим минаретом, с полумесяцем на бледнеющем небе, мечеть;
уже едва различимы фигуры отдельных людей, уже весь этот плот
вдруг затемневшей реки тихо и плавно уносится вдаль, становясь
за минуту живой и полный движения, как бы легким воспомина-
ем, только пригрезившимся с удивительной четкостью в прозрач-
сти летнего вечера.

II

Сойдя с парохода тою же ночью, Веригин не без труда отыскал небольшую гостиницу, близко к пристани, в сущности, несколько комнат для проезжающих при трактире «Веселого льва». Оставшись один, он не сразу лег, а, открыв окно, присел на подоконник, немного усталый и приятно взволнованный предстоящим назавтра отъездом в деревню.

Окно выходило на двор, темный, пахучий; кажется, здесь же был и извозчичий двор. Но и убогий номер гостиницы, и огарок свечи в позеленевшем подсвечнике, и этот густой, терпкий запах трудового двора, и особенно мерные звуки жующих животных, и хлюпанье конской подковы по временам в навозной грязи, когда лошадь, устав стоять, заменяла затекшую ногу другой,— все было Веригину неизъяснимо приятно; со стороны трактира смутный шум, вероятно, брани и ругани, доходил невнятный, смягченный и так же приятно возбуждающий, как голос самой непосредственной жизни — трудовой, грубой, рабочей, полной темного, скрытого смысла. И небо над силуэтами темных сараев стояло спокойное, строгое, но не чужое.

С новым местом, новым, задуманным и осуществляемым предприятием каждый раз молодеет душа, свежие силы ее беспредельны — только уметь их коснуться, вызвать их к бытию. Несмотря на свои двадцать три года, Веригин считал себя сильно уставшим, порою почти непригодным для жизни, изверившимся, и теперь, решив ехать в одну из голодных губерний и наскоро ликвидировав свои несложные университетские дела, отправился в путь без тени энтузиазма, почти механически; он не любил того, что называют сентиментальностью, но был также лишен и чувства того стыдного, фальшивого стыда, который мешал иным из его товарищей совершить эту почти традиционную «поездку студента на голод» спокойно и просто, без ненужных и глупых ломаний.

Перед самым отъездом он побывал в деревне у бабушки (отец и мать Веригина умерли) и прогостил там неделю, чтобы дальше ехать уже одному, без товарищей, что ему также было приятно.

Нечто детское или, вернее, отроческое, та бодрая свежесть жизненных восприятий, которая омывает наши ранние годы, так нечаянно теперь возвращалась к нему. После трех лет студенческой будничной жизни, такой скупой на яркие впечатления и так равнодушно обманувшей все наивные ожидания юности, едва ли не в первый раз ощутил он это чудесное чувство бодрой готовности жить еще в ночь накануне отъезда, в деревне. С особою силой и полнотой оно охватило его здесь, у окна, на постоялом дворе. Задремавшая было душа пробуждалась. Свежий ночной ветерок, своею прохладой давший почувствовать холодок креста на груди под рубашкой, с новою силой и живостью воскресил в его памяти этот вечер перед отъездом сюда.

С братом Сережей они уже улеглись на полу на матрацах, постланных им шустрой сестренкою Настей; дом Веригиных был тесноват, и мальчики охотно ложились спать на полу. Настя, в сером клетчатом платье и сером переднике, угловатый и быстрый подросток с загорелой до черноты смуглою кожей и немного косящими, делавшими ее похожей на китайчонка, черными подвижными глазами, завидуя брату Сереже, который оставался с Иваном последнюю ночь, долго от них не уходила. Сначала сидела, болтая, и смеясь и плача в душе, потом прилегла, потом обняла горячими полудетскими ручонками шею брата Ивана, прижалась к нему, подогнула под платье горячие, в простых башмаках, тонкие ноги, потом через четверть часа, так и уснула, тихонько посапывая и изредка вздрагивая худеньким телом, все не отпуская тесно сомкнутых рук.

В зале горела лампадка — перед отъездом. За киотом на ризе спасителя белел большой перламутровый крест; киот божией матери был оплетен сухой горечишкой еще прошлого года. В открытые окна, мимо тесных цветов на деревянных полочках, лилась безмолвная ночь из затихшего сада. Через узор чуть колеблемых листьев герани, фуксий и роз глядели и прятались крупные звезды; казалась комната странно просторной, гармонической, даже как бы торжественной в своем несложном убранстве.

— Ты не спишь? — услышал Иван негромкий вопрос.

Он удивился тому, что Сергей, феноменальный сонливец, замолкший давно уже, также не спит и окликает его.

— Нет. А что?

Сережа, не отвечая, поднялся в постели и, осторожно ступая босыми ногами по комнате, подошел к брату Ивану и сел возле него.

— Ты что?

— Так. Я все ждал, чтобы Настя ушла.

— Спит.

Они помолчали.

— Тебе не холодно так? Хочешь под одеяло?

— Нет.

Иван взял рукой Сережину руку – она была горяча.

— Видишь, ты уезжаешь, — начал Сережа и не знал, как продолжать и как сделать то, что он хотел сделать.

Брат пожал ему руку, почувствовав это.

— Ты, — сказал, запинаясь и сильно волнуясь, Сережа, — ты теперь, Ваня, не молишься, ложась спать... я заметил. Так я хотел возьми у меня этот крест... ты едешь и... может быть, не вернешься. Я знаю, там умирают.

Все это было так необычно, странно и так правдиво. Сережа был мальчик-подросток, четырнадцати лет, вспыльчатый, стриженый, целые дни проводивший за ловлею раков и пескарей на светлой речонке Залетощи. Невинный, как пятилетняя девочка, он был

забияка и соня одновременно и, книжник зимой, вдохновению играл летними вечерами с пастухами в лодыжки. И вот теперь он благословляет крестом старшего брата. Голос его дрожит большим, волнующим чувством, рука горяча, и еще горячей упадает слеза на лицо Ивана Веригина, когда тот привлекает брата к себе и целует, молодыми усами прижавшись к его свежим детским губам.

Настя проснулась, улыбнулась, ничего не поняла и, сонным поцелуем простясь, ушла к себе; тотчас ушел и Сережа на свою постель в другом углу таинственной, торжественной комнаты, погрузившейся в полную тишину.

Повинуясь тайному побуждению, Веригин, во власти ночного воспоминания, расстегнул ворот рубашки, вынул Сережин дареный крест, перекрестился, коснулся губами холодного золота, поглядел на темное небо, затворил окно и лег спать. Во сне он видел огромную толпу бритых голов в тюбетейках, слышал смутный гул голосов и, улыбаясь, трогал свой крест на груди, как викарный на лодке в давешнем сне наяву.

III

По приезде в деревню Коркалы, сплошь татарскую, на полторы версты раскинувшуюся по обоим скатам оврага, где в проеденном ложе между камнями бежал быстрый ручей, дни и труды Веригина сразу вылились в определенную форму. Времени для себя оставалось только на короткий и крепкий утренний сон. Не хватало его среди дня ни на мысли о самом себе, о бесцельности и непонятности людского существования вообще, ни на размышления о том деле, которое делал: паллиатив ли оно, филантропия или просто веление сердца, не рассуждающего вдаль, а дающего то, что оно может в эту минуту. Было просто радостно встать очень ранним утром, до зова муэдзина на минарете, умыться холодной водой, идти в амбар отвешивать хлеб, и муку, и желтое сало в толстых, широких крутах для кашицы, принимать и отпускать приходящих, делать заказы на продовольствие, торговаться, узнавать, где что закупить дешевле и лучше, писать деловые записки, письма в редакцию о высылке денег, обходить несколько раз на день все столовые по деревне, пробовать пищу, записать новых едоков и отсылать в две больнички на деревне заболевающих.

В Коркалах было цинготных свыше полутораста, фельдшер и две сестры (больницы и половину столовых содержал Красный Крест) с ними едва управлялись. Первое время вид этих больных производил на Веригина чрезвычайно гнетущее впечатление: черный рот с зубами, на три четверти выпавшими или едва сидящими в зловонно загнивающих деснах, распухшие, грязные ноги с красновато-фиолетово-синими кровоподтеками, глухое безмолвие на лице и странный, полумертвый взгляд затекающих глаз. Особенно

страшны были старики, особенно отталкивающи женщины и ко
с чем не сравнимо жалки малые дети. Но глаз скоро привык
и к этой картине, и основное настроение дня была почти неизмен
не покидающая деловитая бодрость.

Вскоре же по приезде Веригин взял на себя ведение и столовых
при Красном Кресте; это еще прибавило дела, пришлось вести
двойной счет расходам, хранить кучу расписок, готовить отчеты

С одним из этих отчетов и за новой получкою денег Веригин
отправился верст за двенадцать, в большое село Черемшан, где жи
земский начальник Николай Викентьевич Рунич — звено между Ве
ригиным и уездным комитетом.

Хозяин Веригина, Хасан Даутов, татарин лет сорока пяти из за
житочных, любил эти редкие выезды. Он надевал под жилетку с це
почкою от часов желтого цвета рубаху, узко стянутую в рукавах
и вольно веющую в поле по ветру, чмокал губами, щелкал языком
и кнутом, подсвистывал и гортанно подхаркивал паре своих, того
странного цвета, каким красят пасхальные яйца луком в деревне
сытых лошадок, изучивших до мелочей все привычки хозяина, сре
ди которых на главном месте стояло — щегольнуть перед людьми,
ослепить, сверкнуть и улететь в облаке пыли.

Был вечер субботы. Миновав четыре деревни, обогнув три по
мещичьих сада и переехав вброд столько же каменистых ручьев, по
сле недавних дождей гулких и полных, Хасан, сберегая силы своих
лошадей к эффектному въезду в село Черемшан, пустил их шагом.
Вечер был тих, и воздух напоен запахом созревающих придорож
ных трав. В церкви кончилась всенощная, веселый, дробный звон
как молодой паренек в праздник на площади, плясал над селом,
и все село Черемшан казалось, озаренное им, идиллическим прими
тивом, почти ненастоящим. Купы ракит пышно сидели по берегам
ручья, серо зеленели огороды за плетнями позади домов; улица
пойдет книзу, подымется кверху и легкой дорожкой повернет по
аллее направо, в усадьбу.

Веригин едва успел разглядеть и узнать мелькнувшее легким
дымком белое платье при въезде в аллею. Хасан был верен себе
именно здесь пустил лошадей. «Постой, постой!» — закричал Вери
гин, но он несся, не слыша. «Постой же», — тронул его за плечо, но
он мчался, не слушаясь. С торжествующим видом осадил Хасан ло
шадей лишь у подъезда «начальника», доставив барина, не шелох
нув, как казалось ему — по воздуху. Веригин встал, слез с повозки и
расправляя отбитую о задний плетень кузовка пострадавшую спер
и зная, что разговаривать с Хасаном совсем безнадежно, отправился
в дом.

— И Николай Викентьевич и Миночка у всенощной, — заявила
старая тетушка Рунича, жившего с нею и дочерью Минодорой
втроем в большом доме. Жена Николая Викентьевича с ним не жи
ла, появлялась лишь изредка из Петербурга для денежных и для му

жа всегда неприятных и тягостных объяснений. Миночке шел шестнадцатый год; это она возвращалась из церкви пешком, когда Хасан промчался мимо нее при начале аллеи.

– Я видел ее, но Минодора Николаевна шла одна.

– Тогда Николай,– предположила тетушка, улыбаясь тому, что Веригин назвал ее внучку по имени и отчеству и переходя сама к короткому «Николай» о племяннике,– тогда Николай, верно, заехал к отцу Михаилу: какие-то новости есть, бумаги.

– О столовых?

– Да, будто как так. Заходите же.

– Нет, я пройдусь пока. Благодарю вас.

Аграфена Васильевна постояла минуту на крылечке: убедиться, пойдет ли Веригин внучке навстречу,– потом, убедившись, улыбнулась довольно и, поправив привычным движением роговые очки, пошла с перевальцем распоряжаться по хозяйству.

IV

Аллея восьмидесятилетних, с корявым стволом, с черными шапками галочьих гнезд в просторных верхушках, все еще свежих и крепких берез шла одной стороной вдоль сада; между низко склоненных ветвей без ухода запущенных яблонь Веригин заметил идущую девушку. Она с аллеи сошла прямо в сад и, видимо, торопилась. Веригин заколебался: догнать ее? – но пошел за нею лишь следом. Теперь, когда так нечасты были минуты размышлений о чем-нибудь связанном лично с собою, с необычайною свежестью ложились редкие, вне голода, впечатления в душу, и самые мимолетные звучали отчетливо и в полную силу.

Веригину подумалось, что Миночка может спешить потому, что видела, как он проехал. И ему одной этой догадки, этой возможности было довольно. Он следил за смутным мелканием белого, сшитого пышно, легко, по-девически, платья, за частой, вперебивку, перестановкой желтеньких ног, видимых ему несколько сбоку; она наклонялась по временам и, поднимая над собою руки, поддерживала, чтобы пролезть, над головою от плодов тяжелую ветвь, точно готовилась, выпрямившись, понести ее в дом, на неведомый пир.

Веригин видел, как Миночка взбежала по ступенькам террасы, слышал стук ее каблучков по столовой, гостиной, может быть, к подъезду, к крыльцу. Он сел на ступеньку внизу, снял фуражку и стал ждать. Но Миночка не приходила; быть может, она спешила и не для него.

Была тишина, легкой прохладой веяли сумерки. Вставать не хотелось, живо вспомнился покинутый дом; этот вечер, легко скользя по земле от востока к закату, придет через каких-нибудь два часа и в Ахметьево и отразится в Залегощи – тихой реке, где от-

ражен в этот час и Сережа, любитель вечернего развлечения, следящий за полудюжиной разных систем поплавков, а Настя, оперши на перильца крыльца, будет сидеть в тишине, золотящейся от вз ением за день, насквозь пахнущей летом реющей пыли, и смотря поля, может быть, думать о брате, Иване Веригине, который уех на благородное дело и пишет им редко и скупо, в чем тоже есть кое-то строгое благородство. Впрочем, от Насти мысли неуловим легко скользят в этом саду, уходящем в пепел сумерек, рассы емых со щедростью вечером, где погуще, под деревами, — к друго нечаянно милому образу: от платья серого, в клетку и фартука рого потемней к этой словно зацветшей минувшей весенней бел ной фее яблони, юной, провеявшей легким виденьем, приветом ны по старому летнему саду; и как разно и как равно милы и ба маки простые сестрины в эту минуту, и городские ботинки, желт тупые и волнующие, маленькие, делающие ножки Миночки пох жими на лапки пчелы, собравшей в саду желтую пряную дань.

Вдруг в тишине послышалась из дома музыка: Миночка се играть. Это был — он узнал — Бетховен, Третий концерт. Веригин з крыл глаза и увидел клавиатуру, а над ней двумя облачками, ка крылья стаями по осени умирающих бабочек, трепещут, едва каса ясь и поднимаясь, быстрые и бледные пальчики.

Концерт приближался к концу, когда он вошел и остановился в дверях. Миночка зажгла в зале свечи: в сумерках их живой све был тепел и нежен, лицо девочки в нем сосредоточенно и печально воздушное платье, облегая ее, делало спрятанную, еле отгадыв емую фигуру ее трогательно робкой; если лицо отражало мысли и чувства, роднившие ее с взрослой девушкой, то в эти пушистые ткани завернутую хотелось бы именно девочку взять на сильные р ки и, зашагав по бледной от сумерек и свечей большой комнате, от угла к углу, ощущать ее обвившие шею доверчивые, хрупкие рук да целовать, полушутя и лаская, там, где чуть в завитках начинает ся прядка волос у виска, или в уголок, опушенный ресницами, г за, и все-таки знать, что любовь на твоих руках, что это взрос ничьим не оскорбленный цвет будущей жизни.

Он сделал шаг к Миночке, вдруг взволнованный самому ем неясными мыслями. Миночка оборвала на «секунде». Две ноты д сте взятые рядом, прозвучали неуверенно, разрозненно. Ни один них не подумал: «Это наша судьба», но двойной этот звук, вне сферы сознания, болезненно запечатлелся на сердце; то же ч было полусознательно, но живо, юно и светло правдиво, — это б чарующее сочетание радости до смущения и смущения, порож ющего вновь чувство волнующей радости.

— Я не знала, что вы меня слушали.

Веригин наклонился и поцеловал, не выпуская из рук, ее п ко что бегавшие, а теперь такие замерзшие пальчики; они сдел

дрогнули, инстинктивно вырываясь и отдаваясь в то же мгновение нечаянной ласке с блаженной покорностью.

Миночка, после двух-трех незначащих фраз, вдруг засуетилась, забеспокоилась и убежала: «к бабушке» — позаботиться о еде и о прочем. Но прежде чем добежать до нее, она, едва скрывшись в дверях, закружилась в столовой, закрыв глаза и почти потеряв ощущение тела: душа хотела лететь.

Едва не погибшая при столкновении в этом танце яичница, которую самолично вносила в столовую Аграфена Васильевна, была затем съедена, при добродушно удовлетворенных улыбках старушки, обоими вместе: Миночка вдруг заявила, что и она голодна.

Николай Викентьевич вернулся не скоро и чем-то явно был озабочен. На сеновале, куда они пошли спать, он, однако, разговорился.

Веригин, лежа на сене, испещренном узором луны, за плетневой стеною сарая полно светившей над миром, плохо слушал и почти совсем не понимал длинные речи соседа; видимо, Рунич в чем-то хотел оправдаться и перед собой и перед лежащим с ним рядом Веригиным. Он говорил вообще о русских порядках, о своей тягостной должности, тут же и о жене, из-за которой, в сущности, и нельзя бросить службу, о неизбежности близкой в стране революции, если будет все так продолжаться. Кроме того, казалось, он хотел что-то еще сообщить, фактическое, но недоговаривал.

Веригин, под равномерный шум его голоса, сознавал, полный радостным чувством, про себя только одно: как он мог думать, что жизнь изжита, когда... тут слов не хватало для ясного определения чувства, да и надобности не было в них: так лучше.

— Я к вам завтра приеду сам. Может быть, все еще обойдется. Не правда ли?

Выдержав долгую паузу, Николай Викентьевич убедился, что собеседник его, вообще молчаливый, уснул. К тому же принудил себя вскоре и он, правда, не без труда.

Ночь над спящей землей как бы хранит в себе все, что было и будет. Дыхание спящих становится глубже, ровней и ритмичнее: это душа дышит воздухом горним — спокойствия, мудрости и разрешения.

V

Звон колокольчиков земского, зов десятских, старосты и санитарных собрал большое скопище татарских бритых голов у избы Хасана Даутова, где у Веригина остановился приехавший Рунич. В этой толпе были и женщины, жены больных, и вдовые матери кормимых в столовых детей; цветные их платья были подобны яркими заплатам на фоне темной мужицкой толпы; ребятишки с живописными дырами на всевозможных местах, с голыми коленками

и животами, толпились, любопытствуя видеть, что будет, в сто
ронке.

Веселого было немного. Земский в третий раз выходил к угрю
мой и неподатливой, глухо враждебной толпе. То, что вчера он не
решался сказать Веригину, теперь приходилось осуществлять. Упра
вление Красного Креста распорядилось, чтобы на каждой избе, где
помещается столовая или больница, организованная на средства
учреждения, был прибит на кусках белых полотен знак креста. Как
Рунич и предполагал, татары решительно это сделать отказались.
В его увещеваниях к ним было много и правды: это ведь был только
знак учреждения,— но он и сам сознавал всю ненужность и нелепо
катность предъявленных требований. Мусульманам в этом казался
первый шаг к потере их веры.

Бумага, полученная вчера Николаем Викентьевичем, гласила
что в случае несогласия сельских обществ выполнить предписание
управления, всякая помощь должна быть прекращена незамедли
тельно. Он сознавал, зная положение дел, что поступить так — зна
чило почти совершить преступление, и оттого так упорно старался
уговорить собравшийся сход, но это упорство только усиливало об
щие недоверие и подозрительность. И Рунич понимал также и это.

Теперь он вышел сказать о прекращении помощи. Ему было
легче, перейдя в начальнический тон, строго заявить об этом
с крыльца, чтобы скрыть и превозмочь охватившие его с томитель
ной силой чувства гадливости и апатии (сочетание чувств для него
при несении службы, нередкое).

Толпа приняла известие сначала глубоким безмолвием, ко
продолжалось немного мгновений и после того, как Рунич прерва
свою краткую речь. Но вслед за тем все зашевелились, негромки
но общий гул пробежал между людей. Татары заговорили о чем-то
между собой и сами с собой; в гортанном их говоре было нечт
угрюмо-зловещее, и самая сдержанность звуков была полна неожи
данной, но пока не проявляемой силы. Они, несомненно, были пора
жены, ибо не ожидали возможности обречения их на почти верну
гибель, но теперь, когда все уже было сказано, они как бы забы
о земском: от него больше ждать было нечего. Ему не возража
теперь, не спорили с ним, не просили; это было в кратких и э
гичных словах, одних и тех же у всех, загадочное для Рунича об
ждение факта и принятие какого-то решения — всеми же, без исклю
чений и без колебаний. Женщины вели себя так же, только жен
их были несдержанней и голоса громче и резче; ребятишки б
молствовали.

Луна всходила не рано, сход начался в сумерки, и теперь бы
почти совершенно темно; частые звезды усеяли небо, но в изб
огней не было вовсе. Лица в толпе, как и гул голосов, сливал
в одну тревожную массу.

— Лошадей! — распорядился кучеру Рунич и вошел в избу к Хасану Даутову; входя, он чувствовал и не видя, что взоры всех опять обратились к нему: нет, о нем не забыли.

Веригин, опершись локтями, сидел у стола, над которым спускалась на проволоке тускло светившая лампа, лицо его было сумрачно.

— Все покончено, еду, — сказал, затворив за собою дверь, Рунич; по губам его пробегала гримаса, с которою он не мог совладать.

Веригин ничего не ответил.

— Скажи там, чтоб поскорей!

Когда Хасан выходил исполнить приказ, в походке его, в самых ногах, немного кривых под широчайшими панталонами, было столько нескрываемого недружелюбия, что Рунич отвел глаза. Он опустился на лавку рядом с Веригиным и закрыл руками лицо.

Веригин понимал, что он страдает, но и это сознание не вывело его из состояния оцепенения; он сидел так, не двигаясь, уже очень давно, около двух с половиной часов.

Вдруг резкий и гневный крик поднялся на улице возле избы. Рунич отнял от лица руки, его почти безусое, вялое лицо было бледно.

— Не дают лошадей, — проговорил он сам для себя и ощупал лежавший в кармане шестизарядный кобуре револьвер.

Шум все возрастал и слышался даже в сенях.

Вошел Хасан и со злым лицом заявил, что лошадей не пускают, вернули во двор.

— Пусть их посмеют не дать, — сказал Рунич спокойно, вставая. — Пусть.

Хасан не трогался с места.

— Тебе я говорю или нет?

Николай Викентьевич преобразился: теперь в положении дел было нечто ясное, возвращавшее логику мысли и дававшее возможность активного действия.

— Хасан, поди очисть сени, скажи: я прошу, — произнес Веригин, также вставая.

Хасан вышел тотчас.

— Пять им и шестую, голубчик, себе, коли что. Прощайте. Конец один всем.

Веригин взял пальто и фуражку.

— Наденьте мое, — сказал он ему почти строго. — На всякий случай: может быть, кто и не уйдет из сеней, подумают — я. И уезжайте. Хасан вам откроет другие ворота.

Рунич покачал головой.

— Нет, ни за что.

— Я вам говорю, а вы слушайте, — все так же строго почти приказал Веригин и, опуская глаза, добавил: — У вас дочь, не забудьте.

Наступила минута молчания.

— Ну, а вы?

— Не беспокойтесь, я сделаю все, что нужно. Я уже знаю.

— Но и они будут знать, что вы меня выпустили.

— Ничего, я им объясню. Прощайте. Скорее же!

Он помог Руничу надеть свое пальто, слегка потрескивавшее при этом на плечах, и подал фуражку.

— Старенькое,— сказал он с улыбкой.

— Я вам это оставлю?

— Нет, мне не надо, да и вы спрячьте в карман и не показывайте. Все хорошо обойдется, поверьте мне.

В тоне Веригина теперь почудилась почти радость, и Рунич поверил ей: «Он что-то решил».

— Ну, прощайте. Дайте я вас поцелую,— они поцеловали друг друга,— и... перекрещу.

Веригин отстранился.

— Нет, пожалуй, не надо и этого...— сказал он задумчиво.— Да. И это... возьмите себе, проживем без него.

Быстрым движением сдернул он с шеи золотой, надетый ему Сережею крест, сунул его изумленному Руничу и крикнул Хасану.

Бубенчики подвязали, Хасан был послушен, и в темноте осторожная тройка бесшумно вышла по мягкой дороге.

Немного спустя Веригин вышел к татарам.

Они не расходились, сгрудившись плотно к крыльцу.

Выход Веригина встречен был дружелюбно. Татарки заголосили, бросаясь к нему.

— Слыхал, большой начальник все порешил?— сказал староста Агиев, обращаясь к Веригину.

— Мы не пустим его, мы, бачка, его не отдадим, пусть сам губернатор приедет, возьмет. Нам одно теперь — помирать... Ашать нечего. Конец один, бачка.

Ребята не отрывали глаз от Веригина: им многое было здесь непонятно, и они ждали, что он все разъяснит. Веригин молчал.

— Ты не думай его прикрывать. Мы тебя любим, а его не отдадим. Потому — начальник злой человек, веру рушит.

— Братцы,— сказал Веригин,— земский начальник уехал, я его выпустил через двор.

Шум изумления пронесся в толпе.

— Но я вас не оставлю. Тут ничего не поделаешь: полостей столовых закрыта, больницы тоже закроются, но я все беру на себя, ничего не закроется. Завтрашний день приходите ко мне, как всегда.

Хасан Даутов, стоявший рядом с Веригиным, наклонился и, быстро схватив, поцеловал его руку. С тем же бросились стоявшие близко татарки.

Веригин почувствовал, как у него задрожали ресницы.

— Ты, староста, погоди,— сказал он, стараясь быть как можно спокойнее,— надо будет послать телеграмму.

Когда народ стал расходиться, на востоке из красного зарева показалась луна: не полумесяц, а целая, полная, в этот жуткий вечер как бы победившая крест.

VI

Телеграммы Веригин послал и знакомым в Москву и в редакцию тогдашней московской газеты «Курьер». Деньги перевели по телеграфу, и помощь голодающим в Коркалах не прекратилась. Однако справляться со всем одному было почти невмоготу. Особенно трудно было в больничках. Уход за цинготными не представлял особенных сложностей, всю технику этого дела Веригин постиг в предыдущие дни; он поил больных клюквенным морсом, смазывал десны терпкой ротанией, растирал опухшие ноги, но на все это не хватало ни сил, ни времени. Тогда он организовал целый штат добровольцев из женщин, усердно ему помогавших; иногда приходили с предложением помощи и мужчины. В деревне, несмотря на бедствие, царило одушевление; в мечети, молясь за правоверных, мулла возносил молитвы аллаху и за Веригина.

Однако история получила огласку, и Веригину могли грозить неприятности, хотя и формально он не совершил ничего незаконного. Он думал теперь об одном — чтобы только его не тревожили до нового урожая. С детства он помнил про рожь: «Две недели колосится, две зацветает, две наливает, две созревает»,— она уже наливала свои молодые, мучнисто-молочные зерна, урожай обещал быть хорошим.

В середине июля, ранним утром, без кучера, одна, в «карафашке» к избе Хасана Даутова подъехала на большой темной лошади тоненькая Миночка. В простом темном платье, она еще более походила на ребенка, но в то же время и на взрослую женщину; лицо ее было серьезно, движения рук, управлявших лошадью, были уверенны и сдержанны.

Она отдала вороного жене Хасана Даутова Бедрисе и, спросив, где можно застать Веригина, отправилась пешком по деревне. Из труб кое-где тянуло дымком, зеленела по-утреннему по скатам оврага трава, собаки, безмолвные, с подтянутыми животами, лежали у изб. Когда переходила Миночка на ту сторону оврага, свежесть ручья охватила ее, и она задержалась на минуту у тонких перилец: ей подумалось, что она переходит через какую-то грань своей жизни.

— Миночка, вы?— услышала вдруг она голос Веригина и, повернувшись к нему, быстро перебежала по камням в ложе ручья.

Миночка с этого утра каждый день неизменно приезжала в Коркалы утром и уезжала вечером, став Веригину лучшей помощ-

нщей. Он отнесся к ее посещениям просто и с той сдержанной
и благодарною радостью, в которой так много всегда чистоты; ни
о последнем приезде Веригина в Черемшан, ни о событиях следу-
ющего за тем дня они никогда не обмолвились и одним словом.

Долгие июльские дни для них были коротки, близилось время
отъезда, если б не новая беда — тиф. Теперь в Коркалы ездили фель-
дшер из Черемшана и изредка земский врач.

«Программа была бы не выполнена вся, если бы я не заболел:
студент, голод, тиф — это неизбежное трио,— думал иронически
мягко Веригин, уже чувствуя жар и тупую боль в голове.— Все рав-
но работа моя теперь кончена, а такой поры в моей жизни уже не
повторилось бы. Это Сережа сказал: «Там умирают».

Когда он слег совсем, Миночка перестала уезжать на ночь до-
мой, она поселилась за цветной занавеской у Бедернисы; они
по-прежнему говорили немного, но глаза каждого видели все в дру-
гих глазах, чего не видеть нельзя, и сердце знало все также, что хо-
тело знать.

В один из вечеров, жалкий и виноватый, расстроенный, при-
ехал к Веригину Рунич. Он робко подошел к больному, бывшему
в памяти. Веригин был рад ему, но по слабости много не мог гово-
рить. Когда он хотел уезжать, Веригин сделал знак ему наклониться.

— Пришлите мне тот крест, что тогда.

Николай Викентьевич, покраснев, приподнял лицо от больного.

— Хорошо,— ответил он.

Когда Рунич уехал и в избе Веригин и Миночка были одни, она
сняла с шеи крест и, надевая Веригину, тихо сказала:

— Я давно берегла его для тебя.

Ночью, в бреду, перед Веригиным снова плыли люди и лица,
татары шумели и не хотели брать крест; тогда весь их сход относи-
ла волна от берегов, старый «Латник» покачивался, попыхивая тру-
бой, как папиросой, на водах Залегощи, тихой реки, и видны были
в их домике киоты спасителя и богоматери с младенцем на руках
и веником из горечишки еще прошлого года; и бритые головы глядев-
ли туда почтительно и серьезно; потом подходил Хасан и, взяв
с груди Веригина крест, подносил к его жарким губам, и холодок
креста был отраден Веригину; на берегу, в стороне, стояли и плака-
ли, держась за руки, Настя и Миночка, а Сережа, вытянув все удил-
ща из воды и собрав их в одной руке, глядел на него неотступно,
как бы прощаясь; все нити шли в один узел.

VII

Когда Веригин тихо скончался в час, как молочное утро та-
инственно роднит душу с бессмертием, Миночка была возле него;
она приняла и последний вздох его. Девушка не растерялась, точно
она была приготовлена к этой потере; она послала дать знать от-

В черемшане произошла новая печальная неприятность. Отец Михаил, знавший от Рунича историю с крестом (как он теперь проклинал себя за слабость, заставившую его проговориться!) и вообще не любивший Веригина «за гордыню», отказался совершить по полному чину обряд погребения. Напрасно ему рассказал, негодуя, Николай Викентьевич последнюю сцену при своем свидании с Веригиным — отец Михаил ссылался на то, что Веригин умер без покаяния, данных о том, когда он говел, в его распоряжении также нет. Он предлагал послать запрос архиерею, а пока обождать.

Миночка, выслушав, твердо сказала отцу:

— Я благословила его; умер тихо и хорошо.

По тону слов ее отец понял, что она не хотела выпрашивать милостей, и со странной гордостью в душе одобрил ее.

Необычные похороны были на третий день. Рунич уехал, но Миночка была до конца. Вся деревня шла с обнаженными головами; многие плакали — мужчины и женщины. День был рабочий, первая возка снопов, но в поле не вышел никто.

Поздним вечером Хасан сдал все скудное имущество Миночке, оставшейся еще на последнюю ночь; себе он припрятал только зубную щетку Веригина, которую очень полюбил давно уже, тайком от владельца, разглаживал над открытой губою щетину усов.

В стекло к нему постучали. Хасан вышел и узнал старосту Агиева, санитарного Магомета и старика Оглы.

— Бери топор,— сказал Агиев,— иди. Мулла приказал.

Они тихо вышли и направились к лесу, за версту от деревни. А когда наутро Миночка встала перед отъездом проститься с могилой и пришла туда мимо спящих домов по росе, она увидела в рыхлую землю зарытый, свежий, пахнущий деревом — крест на могиле.

1912

Повесть о Спиридоновых

I

Рассказ Натальи Степановны

У меня было два брата; один, Алексей, был рабочим на юге и дома не жил, а младшего еще мальчиком взял к себе дядя наш, служивший и сам с малых лет в трактире у Нарвской заставы в С.-Петербурге. Помню, как с матерью мы, без отца, тогда бедовали в Рязани, а дядя приехал к нам в пиджаке и с цепочкой и к обедне ходил каждый день, но нашим приходом он брезговал, а шел не иначе прямо в собор: важность свою утверждал. Нас он водил все эти три дня, что у нас погостил, обедать в трактир. Мамаша обижалась, а он ей разъяснял:

— Да как же мне тут, сестра, ты пойми, мне невозможно не покуражиться: я в трактире — сижу и в трактире — заказываю: будто в театре или во сне! Самому-то мне подавать... — И повернется ко мне: — Ты, Наташа, как думаешь?

— А я думаю так, что надоело достаточно.

Я глядела на него и дивилась: неужели Игнатий Михалыч действительно сам другим подает? Да кому же тогда и сидеть за столом в Петербурге — разве князьям да министрам?

На третий день этих гостин своих он нам сказал:

— Стыдная должность моя, таить не желаю, но только что прибыльная, кое-чего про черный денек себе сберегу. Вы небось и не знаете, что это значит — акции акционерного общества, а? Каспийско-Черноморского нефтепромышленного общества, а? Из еще... — Он помолчал и зажмурился. — Или вот вам еще золотое словечко: ди-ви-ден-ды!

Глупа я была, слушала это мудреное слово и понимала по-своему: будто как д и в о! А Ванюшка стоял около печки и вот-вот заплачет.

— Ты у печки не стой! — сказал ему дядя. — На дело везу, чело-века, я говорю, из тебя, сопляка, устроить желаю. А сейчас мы с литься начнем и расставаться: у печки нельзя, как бы несчастья было! А ты тоже не вздумай реветь, — обернулся ко мне, — и вы, стрица возлюбленная: слезы не есть ни товар, ни производство, а одна обнаженность, пустая привычка! Взять же я вас все равно с собой не возьму: с бабами я неладно живу, не люблю.

Нам уже было известно, как он с бабами жил и одинокость свою обеспечил.

Мамаша печаловалась, как отъехали оба, да нужда ей шептала-нашептывала: авось он Ванюшку и вправду до настоящего дела там доведет, а уж столица — махина не маленькая!

Об жизни об нашей рязанской — ах, уж и долгие годы! — и вспоминать не хочу: сидишь за иглой, покуда глаза не заломит, подойдешь к окошку подышать на ледок — за окошками вата, на вате цветочки из шерсти из красной нарезаны — все будто жизнь! — и будто чем-то то ли взгрустнется, то ли взмечтается...

— Наташа, ты там не простудись! — скажет мать и сама закашляется.

Знаю уж, знаю: и забота у ней обо мне и другая забота — завтра на бал-базар для Лидочки Кравченки (из бакалейной) платьице надо кончать; это в гимназии нашей были такие балы — «бал-базары»: танцевали для бедных и продавали цветы.

Отойдешь от окна, тронешь глаза, чтобы цветы за окном не маячили, да и опять за иглу.

А ночью бы спать — ан не спится. Потемки, сверчок, глухомань. А на снегу, на морозе собаки: гав-гав! Собаки в Рязани у нас были лихие: на заборы вскакивали! — сидят, как вороны, и друг на дружку оттуда ярятся.

Ну, с мамашей еще ничего, я маманю любила. А как она померла, я и сама, как собака, завыла, такая меня одолела тоска! И время опять неспокойное: с японцами война, а Ванюшку, я знала, в солдаты забрали, вот и боюсь и скучаю, как бы его на Дальний Восток не отправили. А старший братенок молчит, то хоть к праздникам, бывало, напишет, десятку пришлет, а то будто помер.

И не знаю, чем бы я, одинокая, с собой порешила, когда бы в один вечерок не стукнули в раму. Я даже не поглядела и выскочила: и испугаться забыла, и обрадоваться не собралась. А только в сенях, как отложила задвижку впотьмах, слышу, как кто-то мне говорит:

— Ты, что ль, Наташка? — и ледяные усы дохнули в лицо. — Ну и холод у вас! Весь закоряжел...

Алексей был постарше меня лет на десять. Он рано из дому ушел, да и поскандалили тогда — еще при папаше — и особенно мы никогда не дружили, а тут я обрадовалась, прямо как онемела. Гляжу на него и только слышу, как горло у меня петухом прыгает, и ни словечка, и ни словечка.

— Будто бы как ничего, — сказал он мне в горнице, — никого за собой не привел.

Я ничего сразу и не поняла: кого ж бы ему за собой приводить? Скорей самоварчик, чайку. Он посмеялся:

— Ты самовар-то при мне осторожней, я теперь наскрозь человек нефтяной, как бы, чего доброго, и не вспыхнуть? На-ка, сестренка, понюхай!

И я засмеялась: а и взаправду полушубок его весь провонял!

Кидаю я уголья и думаю: а ведь неладно, нехорошо — и про мамашу сразу не вспомнили! Думаю так, а у самой сердце колотится, вот радость-то мне! Вот уж какая радость-то мне!

А Алексей ходит по комнате и на руки дует. Только и он на минутку остановился и на меня поглядел; это-то сразу и я поняла.

— А мамаша-то наша... скончалась...— сказал он негромко, и открыл рот, будто чего хотел добавить еще, да так и закрыл, ничего не сказав, только усы его книзу запали да ноздри прижались одна к другой: будто из кузнечного меха воздух весь выдавили.

Подошла я к нему и обняла угольными своими руками. Щеки его заросли бородой, как овчиной. Уткнулась я в эту шерсть его, и плачу, плачу, а слезы мои и горькие и сладкие: не одна я на свете!

Всю эту ночь мы так и не спали, и новый мне мир открылся в ту ночь.

Ну, мертвые — мертвы, а как же не знала я, сидя в Рязани да ковыряя иглой, какая на свете есть жизнь! И как будто всю нашу землю я увидала и нашла ее в братниных — вот уж горячих — словах.

Он в эту ночь многое мне рассказал и на сердце моем все растревожил. Я и не знала, что он еще с осени был на нефтяных промыслах у Мухтарова — на Биби-Эйбате. Вот об этих-то самых последних делах больше всего и горячился: как у них началась назад тому две недели на Балаханах забастовка, на заводе (как раз!) Каспийско-Черноморского нефтепромышленного общества (сразу мне вспомнился дядюшка и его дивиденды!), а отсюда на промыслы Нобеля и Манташева, а потом и по всем другим промыслам... И как стали их усмирять, и о стычках с казаками и со стражниками, и как ему надобно было оттуда податься: у Мухтарова памятный день — двадцать третьего декабря...

И теперь-то я поняла, кого он боялся за собой привести, и хорошо поняла-увидала, как может вспыхнуть: весь нефтяной человек.

— Медлить мне тут невозможно,— сказал Алексей,— да и дело не медлит, билет у меня прямо до Питера. Едем?

Так я Рязань и обрезала, будто негодную нитку.

В дороге уж мы о политике говорить не хотели: надо до места доехать — так приказал Алексей. А зато разговоры — гудит все кругом про войну, а и война — та же политика; про Порт-Артур да про Стесселя — будто бы предал, про генеральских в вагоне коров.

Ехал солдатик один, забинтованный, в Тверь, из Москвы его на неделю пустили домой.

— Что ж,— говорит,— выходит, история наша тухлая, братцы. Ехал из Харбина, двадцать копеек на день продовольствие, а хлебушка фунт — пожалуйте гривенник, бутылка молока — пятиалтынный, больную-то руку за подаянием приходилось протягивать. Да и эти-то суточные дали всего на шестнадцать дён, а ехали без малого двадцать пять...

А народ слушает и гудит, как в улье. Около Клина сел в наш вагон бородатый мужик, вошел, отряхнул себе валенки, полы — да, еще не садясь:

— А на кой она ляд, эта война! Сами полезли, никто не просил, на соседской земле хату начали строить — ну, конечно, и драка. Да чтоб она сдохла, война!

Ну, тут уже и брат не стерпел, разговор повернул про царя: без обиняков!

Толкану, толкану его в бок, а он и не слышит, ровно железный. А потом и толкать перестала, и самое с лавки так и подымает...

Доехали мы хорошо, никто не обремизил. Питер далеко начался... Едем — все трубы и трубы, кое-где главы блестят. Выйдешь на волю взглянуть — дымки на морозе похрустывают. Сколько тут нашего брата! Только со мной Алексей к дяде в трактир не пошел.

— У меня,— говорит,— есть своя я в к а. А ты поезжай, да не робей, мозги-то ему прочисть хорошенько. А я под вечер зайду, навещу. Ежели будет неласков, мы с ним по-свойски поговорим. Племянника старшего — по одному случаю — должен он помнить! (Было у них дело когда-то из-за дядиной жены, из-за третьей; я в это не вмешивалась.)

Дядя, однако ж, меня ничего: принял и покормил.

— Места искать? Ну, плохое ты выбрала время. Разве не слышишь — трещит?

Стар уж он стал, каждое слово как-то в середку присасывает.

Я говорю:

— Ничего не слыхать. Это у вас за ушьми, может, дядя, трещит?

Он только ручкой махнул, а рука вся в морщинах, и шея в морщинах, как повернулся.

Я не стала с ним спорить, разобралась в уголку, а сама все про брата Ивана раздумываю. Спросила у дяди, он ничего не сказал, буркнул — едва разобрать:

— Вечером, может, увидишь!

Но вечером, поздно уже, пришел один Алексей; прямо с порога спросил:

— Брата не видела?

Дядя ответил:

— Он не вольный тебе, чтобы шататься по улицам. Царскую службу несет.

«Вот зловредный какой! — подумала я.— А мне не сказал. Я бы давно отыскала». Он, будто мысли прочел, кривенько мне усмехнулся и подмигнул.

— Только что — тьфу! Я бы его часовым и у пустого колодезя не поставил...

— Вот и верно,— сказал Алексей,— у пустого колодезя он и стоит. Была, говорят, когда-то водичка, а ныне не стало.

Дядя опять не осерчал; даже, напротив того, подхватил:

— Бывало, стояли они вот этак высоко! — руку поднял против бровей. — А нонешний год как по лесенке — со ступеньки они на ступеньку: блокада тебе Порт-Артура, апрель — это раз; Плеве убит, июль — это два, — тут уже руку топориком к сердцу спустил. — Ну, Святополк немножко подправил... А Стессель опять еще постесал.

— Да и мы немножечко, дядя... на промыслах. Про Биби-Эйбат не слыхали?

— Я не слыхал? — сощурился дядя. — А когда бы и не слыхал, бумажки-то мои — а? — вверх... вверх тормашками! И не вверх, а вниз да вниз... в преисподнюю!

— Ну, тормашки еще впереди, — посмеялся ему Алексей.

Тут Игнатий Михалыч на него напустился, губами зачмокал и стал приседать:

— А ты не пророчь! А ты помолчи! Ты в этом деле не понимаешь! Молод еще! А у меня их тринадцать, тринадцать штук! — он как птица крылами, взмахнул. — Кровные денежки тают, так и плывут между пальцами, так и плывут... как у пустого колодезя... Это ты правильно! Вот это ты правильно!..

И он страшно стал озирать одну за другою ладони, раздвигая и скрючивши пальцы, скрючившись сам.

Тут только я поняла, что он не совсем в себе, и больше мы на него не глядели. А Алексей мне сказал, что вчера забастовали путиловцы в числе двенадцати с половиною тысяч, а нынче бастует Франко-русский механический.

Я вспомнила про дымки, как подъезжали: надо бы всем!

— Вовремя я... — громко шептал Алексей. — А только не худо было бы и не мне одному, а прихватить бы еще Колченогого да Колоколанча. (Это были друзья его по промыслам, я уже знала.) Да и им сказать: там, брат, тоже наворотили!

Он часто говаривал этак-то мне: «Ну что, брат?» А то и еще лучше: «Ну что, брат сестра?»

Я и сейчас посмеялась. И опять, как товарища, похлопал он меня по плечу и сказал:

— Вот что: с тобою мы вовремя, сестричка, приехали!

И по нынешний день я это помню, как окрестил он меня этим «мы». «Да, да, да! Трое нас тут, Спиридоновых, вроде три богатыря!» — так горячо я подумала в эту — ах, дорогую — минутку!

Ждать я Ивана не стала и на другой же день, утром, пошла к казармам.

Народу, людей — никогда еще я столько не видывала, и это меня горячило. Город кипел, как жидкая каша в устье у печки, и ополовия там проникали друг друга в сражении, невидимом глазу, я умею сказать.

В казармах дежурный мне вызвал младшего брата.

— Спиридонов Иван! — крикнул он в коридор.— Там тебя барышня спрашивает!..— И я увидела Ваню.

Изменился он так, что я бы его и не узнала, когда б не глаза; глаза у него будто меленько — как узелочек на шелковинке — были у носа притянуты: веко одно к веку другому, и глядели оттуда, будто они сами у себя из-за плеча выглядывают. Худой он был очень, жалость смотреть; и, однако ж, красивый мне показался.

Ну, то да се, многого тут не наговоришь. Он мне, вижу, обрадовался, но и вижу заботу. И никогда бы ее не поняла, кабы не эти дни с Алексеем да и не такая пора.

Как расставаться, отошли мы к сторонке. Тут он мне и обронил:

— В трактире у дяди, в шестом или пятом часу, спроси ты студента Евлампия и передай, что я все получил, и скажи ты ему, что все а к к у р а т н о; ну, он поймет: значит, что сделано. И пусть мне доставит еще. А сама ты ко мне пока не ходи. Нынче грела... значит, в субботу приди... нет, лучше в пятницу, он, может, тебе что и еще передаст.

А когда я совсем отошла, оборачиваюсь взглянуть, а он все на месте. А как увидал, что гляжу, сделал [illegible] мне, чтобы услышала, и говорит:

— Как я,— говорит,— тебе [illegible], Наташа, рад тебя увидать!— И отошел.

В трактире Игнатий Михайлович [illegible] жил, но жил на том самом дворе — снимал во флигеле комнату. В пятом часу, как он заснул после обеда, лампу я потушила и пошла в заведение. Раньше робела бы, а теперь ничего, будто меня развяза ли. Ни князей, ни министров, как по глупости лет я размышляла, теперь бы я и не ждала, но и студентов не испугалась.

В трактире машина была заведена, канарейка висела, картинки; не больно оно по-столичному, да и народу в тот час не вот-то как много. Спросила и я себе чайник; села, поглядываю, думаю, как мне узнать.

А только узнала.

И вовсе он был не в студенческой форме, а в штатском пальто и картузике; картузик-то, может, меня и наве л; и сапоги на нем были большие, но только сидели неловко. Сел мо одой человек от других вдалеке, пива спросил и пива не прихлебнул, прикрылся газетой, на дверку входную поглядывает. Я это мимо прошла — на часы поглядеть — и назвала его имя.

— Да, это я,— говорит.— Не от Ивана ли вы?

Тут и еще, как шелуха на луковице, листок за листком: отвалится — видно подальше, отшелушишь — и глаза прозревают.

Он мне тут все разъяснил, а я за доверие это душу бы, кажется, рукою бы вынула и положила на стол: бери, коли надо!

Никак я не думала, что главные забастовщики совсем около нас, за Нарвской заставой, и что нынче как раз ветер отсюда подул и потушил многое множество фабричных дымков по всему Петербургу. Этот ветер дул и во мне, изнутри шевеля мои волосы, и — может быть, так только мне показалось — попахивал он Алексеевым нефтяным полушубком.

Тут же узнала я в подробности и про «отделы», и про Гапона, и что надо партийным взять руководство, и что главное дело — как будут войска, а там почти что никто не работает.

— Брат ваш давно уже с нами, — так он сказал, — и мы этого трактирчик давно облюбовали. Ваш брат человек замечательный, он и умереть будет готов.

Тут у меня сердце кольнуло иглой.

— А только ему много трудней, чем другим. И его, если что, надо беречь. У нас каждая голова на счету. А он очень горяч. Вы знаете, он одновременно и очень горяч и мечтателен, а это и есть самое опасное. Откуда он такой у вас взялся?

Откуда? — разве я знала. Я думала, он, как и дядя, наденет пиджак и станет, как он, цепочкою перед собором играть. И я сказала Евлампию, — он мне объяснил, что это кличка такая его, а зовут его «по-христиански» (и улыбнулся) Александром Никитичем.

— Александр Никитич, — сказала я, - Иван Спиридонов оттуда же, откуда и все мы: от нашего времени.

Так я сказала и сама себе удивилась, а он поглядел на меня с уважением, и мне было гордо.

В трактире, как видно, его покрывали. Вышли мы с ним через черную дверь. Там он и сунул мне маленький сверток — для брата Ивана, в казарму.

— Вы его крепко поберегите, дядюшка ваш не пронюхал бы.

«Положу-ка его за икону», — подумала я.

На дворе было полутемно, фонарь стоял в отдалении. Снег утоптанный, желтый. Пахло навозом, овчинами. У колодезя извозчики качали в корыто холодную воду. Лошади фыркали и переступали ногами. Я бегом перебежала по снегу к себе.

Дядя лежал и тихо посапывал. Неслышно вскочила я на табуретку и осторожно за большой киот запихала свой сверток. Я очень боялась, что дядя услышит и мне помешает. «У тебя бумажки свои, — думала я о дядиных акциях, — а у меня бумажки свои», — думала о прокламациях. И мне было чуточку жутко, но только и весело; так бы и рассмеялась перед иконой.

Слезла — он спит, — и скорей за порог: Александр Никитич звал с собою позвал, и я так радовалась. Шел тихий снежок, и рабочие в восемь часов двинулись скопом на Невский завод. Я тоже шла вместе с другими, мне все это внове, и в голове тоже порхали снежки, только эти снежинки были горячие...

Идем мы все так, между собою негромко переговариваем, будто как по рабочему делу, спокойно, но этот спокой деловой — ему не перечь! Поднялась на минуточку я на тротуар, оглянула. Снежок под ногами, как коврик, подстелен, и великое множество ног, и плечи, и головы. «Куда же идут? — подумала я.— Правды искать, чтобы была допущена правда». И я опять в гущу сошла.

— А очень просто, как и у нас,— говорит кто-то рядом со мной.

Я поглядела — постарше который говорит помоложе товарищу:

— Как у нас было? Стали чуть свет на работу, как и всегда. Стою и я за станком, тиски завернул, начал пилить. Слышу, с двора стекла разбили, кричат: «Выходите! Кидайте работу! Довольно уж мы на господ поработали!» Ну, у нас поглядели сосед на соседа, думаем так: в одинокости — на кого, может статься, припадок нашел... Однако же нет, в мастерскую пришли. Вижу знакомого токаря, он мне и говорит. «Не меркан,— мне говорит, - дорогой товарищ! Идемте с путиловцами правды искать!»

«Моими словами»,— подумала я и потеснилась поближе. Да только что не мои слова эти были, а ходили они между людей по всей по толпе, по всему Петербургу.

— А токарь тот, понимаешь, хоть и знакомый, а был он мне так, без надобности... А тут эти [illegible] ва его пронзили меня между ребрами. Отодвинул я [illegible] ему что-то в спину сказать — и не могу, только [illegible] Туда-сюда — одеваются, в том числе и я. Вот так же и [illegible] снимем за милую душу. Теперь так-то мы все друг другу токари!

Молодой рабочий на это сказал:

— Рабочему классу правов надо искать.

— А ну?

Молодой стал загибать ему пальцами.

— Восьмичасовой рабочий день утвердить; сверхурочные только с согласия и за двойную плату; полную уплату за брак, ежели не от небрежности...

Тут подхватил ему третий, худой и широкоплечий чернобородый:

— И чтобы чернорабочим платили не меньше рубля, а женскому полу не меньше, как по семь гривен...

— Требования эти, товарищи, экономические,— бойко вступился четвертый; он прихрамывал на левую ногу и просунулся сзади между старым и молодым, схватив их под ручки; бородка его, как говорил, так же, как сам, к каждому слову прихрамывала.— Нужны нам, товарищи, не забывайте, свободы и политические. Нам нужно свободою гарантировать неприкосновенность законов и всеобщее равноправие между сословий. И мы, между прочим, сами должны говорить, что нам полезно. Публично должны — сами — законы писать!

— Ну, божий закон, может, один,— сказал пожилой и вздо-
нул.— Этак ведь, братец, и до царя можно доехать.

— И за милую душу доедем!— подкрикнул хромой.— А ко-
доехавши, будет опять неуправка, так мы...

— Наш о̀тдел,— сказал молодой (все они так говорили: «о-
дел», а не «отдел»),— наш о̀тдел решил испытать, все мы с дове-
ем, а ежли не примет...

Я это потом слышала и на собраниях отделов:

— Тогда нет у нас царя! Все помрем! Все готовы! Будем сто-
до конца! Помрем на площади!

Но когда это самое тихо сказал немолодой, а за него дого-
рил его старший товарищ, то я поняла: рыхло мы шли в гор-
Санкт-Петербурге — почти как в деревне — на сходку, а только у-
каждого в сердце — на сердце наскочишь на кремешок!

На Невском заводе, где строятся корпуса кораблей, все об-
шлось в полчаса. Выключили электричество; рабочие повалили
двор и объявили мастерам, что у них стачка. Даже полиция не у-
ла явиться. Оттуда прошли еще к Штиглицу. Там было много ра-
ботниц, и женщины, к моему удивлению, снялись все, как од-
Только в прядильной кое-где было с замешкой. Одна мне работ-
ница так намекнула:

— Нитку-то, милая, это не хитрость оборвать, а узелки-то
вязать потруднее!

Тут я нашлась и говорю:

— А зачем их вязать, ежели куделька гнилая? Гнилую кудель-
ку надобно вон!

Женщина хрустнула в плечах и повела на меня глазами: зе-
ные они были у ней.

— Складно ты говоришь!— сказала она и нагнулась отряхн-
себе юбку.

Когда мы все вместе выходили во двор, она опять оберну-
ко мне:

— А то подходил тут намедни один, брюки навыпуск фу-
студенческая...— Тут опять поглядела она на меня и рассм-
своими зелеными. «Нам, говорит, р е с п у б л и к у нужно!»

Я и после не раз к этому делу приглядывалась: к госпо-
платью не очень-то льнули, и никакой открытости не было. Я
го не сказала, но поняла, почему по-простому был и Евлампи-

На другой день, в четверг, я прямо с утра вышла на у-
мала, дядя будет перечить, но он только зорко следил, как я
лась.

— Ну ничего,— говорит,— пожалуй, гуляй, покуда пела!

Я и ходила по городу, как только ноги носили! Была и на
ских собраниях и на собраниях «отделов». Коротко надо ска-
лова у меня закружилась, ну, а сердце, напротив того, ни р-

дрогнуло; да и не так: билось, дрожало, только что не изменило себе.

У многих «отделов» народ стоял в гуще, ждал, покуда черед дойдет; говорили из окон, не глядя на зиму; под вечер кое-где фонари во дворе зажигали и читали петицию с бочек. Тут же, отдельными выкриками, добавляли к ней новые пункты. Меня поразило, как тут поминали про «батюшку». Вера какая была! Самое имя: Гапон — так называли, оберегаючи, как будто бы вербная свечка в руках, и чтобы ветер на огонек не дохнул, не погасил. Никто бы тогда не посмел и словечка супротив него вымолвить.

Евлампия я в этот день не видала; брата Алешу ждала — не пришел. Ну ничего, думаю, вечером в казармы пойду, Ивана увижу. Хотела бумаги взять из-за киота, да отложила на утро, а утром пришел Алексей.

— Пойдем, — говорит. — Хочешь Гапона увидеть?

— Как не хочу.

Только тогда с Алексеем мы запоздали, как подошли, он кончал. И больше всего глаза его помню. Все стояли, как в церкви, без шапок, а вот глаза его, черные как вороны, летали над головами. А кончил, прошелся по лесенке ... пустые глаза, будто их выпили...

Старичок один, в ... как кадилом

— А в Зимнем дворце ... обед приготовлен на шестьдесят будто персон

— Да, туда одно ... — отозвался ... мазый, однорукий мужчина ... двоевятня

Я уж слыхала об этом ... царскому павильону пос... пушечный выстрел, и опять ... подумала: побегу возьму свой пакет и оттуда в казарму!

Дома я шасть под образа! Шарю рукой, а руки трясутся ... моего за киотом не оказалось! Обернулась я и с табуретки чуть не упала: дядя глядит из-за печки! Согнулся, как дьявол, и руки дрожат, а глаза у него будто угольки ... от сердца ... горят ... покрыты ... И подо мной табуретка ...

Кинулась я к старику, вся трясусь; трясется и он.

— Я, — говорит, — видал, как ... и вовсе не ... Я не ... чтобы в моем дому. Это ты что же, ... Да ты спасибо скажи, что ты не в ... Да я тебя

— Да я тебя сейчас удавлю! — закричала я, будто бы громко, а и сама этих слов не расслыхала, так всю мою грудь ... ярость. И кинулась к дяде...

Но только что он оказался сильнее, откуда в нем что ... лось! Он, как утопленник, схватил мои пальцы и начал ломать. Я не кричу, хоть и больно, а наседаю:

— Отдай! Сию же минуту отдай! Я убью тебя, старого, я дом подожгу! Я Алексею скажу!

Он отпустил меня и отпихнул.

— Убивай! Меня уже убили... Ты опоздала! Племяннички, б[illegible] тья твои, меня изничтожили! Один у меня жену уволок, дру[illegible] у меня сердце украл... Я его холил, ухаживал, а он что за это? Пр[illegible] стол колебать? — И тут он опять начал кричать: — Престол... Ты [illegible] знаешь! Он труд охраняет! Честного труженика! Кто горбом св[illegible] сорок лет да поклонами — стяжал состояние, а? Ты думаешь, [illegible] мои денежки, ты думаешь, мне мои акции задаром достались? [illegible] я за них каждого, не только что выродка этого... да, разорву, из[illegible] тожу!

«Стало быть, он разорвал их?» — подумала я (не поня[illegible] и только хотела об этом спросить, как вижу — он начал крести[illegible] мелким крестом и бормотать:

— Вот тебе крест, что я никому ничего не сказал! Его [illegible] Ванюшку-то, судом бы судили жестоким! Он тут поутру неда[illegible] стоял...

Тут моя грудь затосковала. «Ах, — подумала я, — отчего ж м[illegible] не было дома?» И припомнила, что уж видала патрули на ули[illegible]

— И я к нему подходил и посмеялся. «У пустого колодезя» [illegible] только что я... никому, ничего... не передал... Ничего... Упаси м[illegible] бог!

Как услышала это, так поняла, что б[illegible] что, наверно, донес[illegible] И убежала скорей со двора — от сумасш[illegible] него и от предате[illegible] К Ивану меня не пустили. Он был под [illegible], а солдатик один м[illegible] тайно шепнул — на него был донос и у[illegible]!

Я домой не пошла, целую ночь пр[illegible]ла; в груди моей жг[illegible] и что было лютее — не знаю, то ли ненависть к дяде, то ли стра[illegible] Ивана. Однако ж под утро зашла я в трактир, там меня зн[illegible] и я прилегла за стойкой на лавке.

Утром гудели извозчики, а мне снилось, что я у себя в Ряз[illegible] на нижнем базаре, и покупаю капусту, а торговец-старик ш[illegible] в мешке и достает оттуда кочан. Глянула я, а это Ванина гол[illegible] мешка! Откинулась на старика, а этот старик — дядя наш, и [illegible] у него водяные, навыкате... Я так закричала, так закричала и [illegible] гу остановиться. А ко мне подходит один из половых и [illegible]

— Чего ты кричишь? Аль домовой на тебя навалился? Вс[illegible] брат тебя спрашивает.

Я так и вскочила: Ваня пришел! Но это не Ваня был [illegible] Я тихонечко все ему рассказала.

— Вот гадина! — сказал он. — Да пришибить его, дьявола [illegible] руки только марать об него невозможно: не такое время т[illegible]

И он увел меня в город, на Васильевский остров.

Удивление было мое, когда Алексей привел меня в к[illegible] Александра Никитича, узкая комната была под чердаком, [illegible] ходило во двор.

— Да откуда же друг дружку вы знаете?

— А вот вчера за работой сошлись,— Евламний сказал.— Ну, а что же Иван? Вы ему передали вчера?

Тут я заплакала. Так было больно мне, просто невыносимо! И Алексей за меня рассказал.

— Это не вы виноваты, а я виноват,— отозвался Евлампий.— Неосторожность.— И даже с лица потемнел.— Но только как знать: если б на улицу завтра он вышел, ему бы несдобровать, это наверное. А так... надо подумать, надо устроить побег, связь у нас есть.

Целый день они с Алексеем работали, писали и поправляли; я на гектографе им помогала.

Дядя украл, передал, а мы тут другие работаем!

Тут же мне Алексей рассказал и передал письмо из Баку; к новому году стачка закончилась «крупной победой» рабочих; Алексей был очень доволен. А как вспомню теперь из семи этих пунктов первый хотя бы, самый решительный: «Установить с первого января девятичасовой рабочий день, а для ночных работ и в предпраздничные дни – восьмичасовой рабочий день»,— сердце теперь запоет от жалости: и это победа!

Раза два или три они уходили куда-то, а я сторожила квартиру; мне объяснили, кому и что говорить: приходили товарищи.

Дома они не ночевали, и я оставалась одна на целую ночь.

— А где ж мы увидимся? — спросила я брата, когда, уже поздно, оба они уходили.

— А перед Зимним дворцом, — сказал Алексей, и мы поглядели друг другу в глаза.

В трактире я утром мало спала, а в эту ночь и вовсе глаз не сомкнула. Мне было холодно, а недосыпание мое переходило порой в мелкую дрожь; я куталась в шаль и все не могла отогреться. А когда согревалась, тогда накатывал жар, и я подходила к окну, открывала форточку. Двор был пустой, и мне было страшно: месяц на небе был в эту ночь кровяной.

«О,— думала я,— как пусто кругом, а сколько народу не спит! И Ваня не спит». Жизнь моя нынче была как перерезана надвое. И так захотелось мне вдруг умереть! Я даже на месте стоять не могла, забегала. Шагаю по комнате и руки ломаю себе: умереть бы за всех! И чтобы всем... кровью купить... хорошую, верную жизнь!

Шел мне двадцать второй, а я была как ребенок... Ну что ж... этих слез своих – я и сейчас их не стыжусь.

Утро глянуло стылое, медленное. Помню, нашла я спиртовку и черствых полбулки; поставила чай и напилась; это немного меня успокоило: будто идти на работу! Вышла во двор, калитка закрыта, вернулась и еще часа полтора прождала окаменелая.

В десятом часу было на линиях очень спокойно; был легкий морюз, покалывал щеки. Дворники с метлами, но косоурятся. Только смотрю, народ, как муравьи, редкой цепочкой – все к одному месту; туда же и я; в доме собрание. Тихо, будто все выспались и при-

готовились (а кто из них спал?); и женщины, старые и молодые,—с
ними мне легче. Один за другим на эстраду рабочие:

— Не лучше ли всем умереть, чем так жить? Мы живем по де-
сяти семей в одной комнате. Верно я говорю?

Ораторов слушают — и о войне и о религии,— будто пьют воду в жару: не оторваться.

— Так вот почему, товарищи, идем мы к царю. Но ежели он не захочет нас слушать, мы будем судить его — народным судом!

И все колыхаются, как пшеница на поле: народ-ным су-дом!

Но памятней всех чисто одетая женщина, а из работниц. Ее видно; голос негромкий, а слова очень твердые, и говорит — душу выкладывает.

— Матери и жены! — сказала она.— Не отговаривайте ваших мужей и сыновьев идти за правдой. Идите с ними. Если на нас нападут, если станут стрелять, не кричите и не шумите. Стойте с мужьями и братьями крепко. Вот вам повязки с красным крестом.

Все к ней потянулись.

— Пойдем! Все с тобою пойдем!

Старуха одна, в синем платке с белыми крапинками, сказала махнувши рукой:

— Все равно, убьют — так убьют! Что ж и я не была молодой. Вы тут побудете? Я старику только самовар сбегаю вздую, малинку он пьет: грудь у него, видишь, заложена.

Вышли из дома огромной толпой, спокойно, неторопливо, подошел и другой «отдел» — Гаваньский; тронулись вместе, от одного проспекта и до другого. Близко к полудню; солнце огромное; играет мороз. Недалеко по улице цепь пехотинцев. Наши колонны шагах в тридцати остановились. Несколько человек из рабочих рядов вышли вперед и замахали белыми платками. Вдруг на толпу из-за цепи солдат мчатся казаки - с шашками наголо!

Стали теснить; толпа подается, но и пружинит; паники нет только в задних рядах кое-кто побежал; их останавливают. Казаки стыдят, но они еще больше входят в азарт.

— У вас ведь тоже есть жены и дети! — кричат им в лицо

А уральцы в ответ:

— Наши жены рубашки нам вышивают, дома сидят! А в Пи-
ре жен у нас нет. Н-ну! Р-расходись!

А уж кое-кто и под лошадьми. Потихоньку берем и утаскива-

Пехотинцы берут на прицел. Много рабочих расстегнули ш-
то, грудь подставляют. Видно, как дрогнули ружья. Офицер вы-
по воздуху шашкой махнул: казаки опять!

Тут из окна соседнего дома посыпали прокламациями: зна-
мый печорошний запах пахнул мне в лицо. Я подняла голову и
и мелькнули очки: узнала Евлампия.

— А где ж Алексей? — крикнула я, и загорелся рубец на щ-

Я закричала от боли и обернулась. Но казак уже поворотил свою лошадь. Та самая старушка, что самовар бегала ставить, подбирала упавший листок и все не могла со снегу его подхватить: пальцы корявились; казак, наклонившись, огрел и ее. Я не успела опомниться, как увидала — схватила она казака за ногу и не кричит, тащит его! Подбежала и я, подоспели другие; казак елва ускакал.

— Баб испугался! — кричали вдогонку ему.

Кто-то в толпе отнял казацкую шашку.

— Оружие, э! Оружие, э! — кричал он, размахивая, и шашка сверкала на солнце.

Тут и другие кричат:

— Давай защищаться! Пойдем за оружием! И молодежь побежала громить оружейную мастерскую.

У солдат-пехотинцев рабочие также отнимают оружие. Один из солдат говорит:

— Я тоже не с неба свалился, и я из рабочих.

А рядом другой:

— Мы и сами не рады. Офицеры приказывают.

— Да офицеры без вас — чего они стоят? Тьфу! Ничего!

— Вынет револьвер да и застрелит

Маленький и узкоплечий [illegible] корябом, рванулся вперед

— Ну! Проходи! Какие-[illegible] разговоры? Прикажут отца убить — убью! Я присягал.

— Где тот закон, которому ты [illegible]? Этого быть не должно! Этот закон не есть народный закон

— Уходи сейчас, говорю! [illegible] прикинут штыком.

На четвертой линии тем временем стали валить телеграф, кирпичи, доски и бочки, опрокидывая извозчичьи сани и деревенские розвальни. Тут еще раз я увидала Евлампия на баррикаде, он был без шапки, и одна прядь волос поднялась на голове. Он говорил, должно быть, рука его то поднималась, то опускалась. Небольшой отряд пехотинцев быстро прошел к баррикаде. Я видела, как косо к Евлампию просунулся штык и как он, взметнувшись, упал; я поняла, что больше его не увижу.

Я закусила губу, я и сама хотела б упасть, но какая-то сила меня подымала. В голове плыл кровавый туман, и через него я одно только помнила и одно только это твердила в себе: «Мне надо к Зимнему! Мне надо к Зимнему!» — так приказал Алексей. Но немногим из нас удалось пробраться туда.

Зимний дворец мрачно глядел на толпу; я его увидала впервой. Около пушек его стояли воиска. Руки мои загорелись: так и схватила бы мертвую эту махину и кинула, проклятую, в реку! Но глаза мои все время искали, где брат.

Нас оттеснили к садовым воротам. В самом саду, за решеткой, под солнцем прыгали дети, девочки-подростки катались на коньках; на деревьях карабкались мальчики — с вышки им было любо-

пытно глядеть. Войска в стороне серели на солнце. Те, кто из шест вий добрались сюда, стояли, чуть пошевеливаясь, и тихо между со бой разговаривали. Ждали царя. Иногда проезжал конный отряд

— Уберите войска! — кричали тогда из толпы.— Зачем тут вой ска? Мы не разбойники!

— Расходитесь! Будут стрелять! — скороговоркой, будто бы между прочим, предупредил офицер с красным, морозным лицом, его не послушались, и ему не поверили.

И вот тут-то вдали — я поднялась чуточку выше — я увидела брата Ивана. Я ждала Алексея, а увидала его. Он был с винтовкой и без шинели. Я хотела вглядеться еще, но толпа захрустела, как ка пустный кочан, и меня скинуло наземь: это горнист заиграл боевой сигнал.

«Значит, устроен побег! — вскрикнула я про себя, не обращая внимания на непонятные звуки.— Но почему он с винтовкой?» Я ста ла тесниться к нему, не помня себя от волнения.

Покуда я тискалась между толпой, раздался ружейный зал и затрещали сучья деревьев в саду. Меня отшатнуло, я вскинула го лову и увидала, как падали вниз похожие на мячики живые клубоч ки,— живые ли? И еще запрокинутой своей головой я увидала на не бе белесую мглу и красное, мутное солнце, в тумане стояли по обе стороны два его отражения. Я думала, что я убита и что это мне представляется. Но это (узнала потом) видели все; и еще потом бы ла яркая зимняя радуга, и поднялась снежная буря.

Я кинулась к брату. Он навзничь лежал на снегу, раскинувши руки, но была возле него как бы людская проталина. Он был сол дат, кругом него были рабочие... Мне ударило в голову. Неужели они... за то, что он был между ними — солдат? Я на минуту помеша лась, должно быть: ведь тогда Алексей, бакинский рабочий, убил брата Ивана — солдата, солдата?.. Я чуть не упала. Рядом лежала женщина с черной косой, утоптанной в снег; лежать бы так мне!

Я чуть не упала, но меня поддержали, и я видела, как, отсту пая, бережно взяли рабочие тело убитого и как по снегу пальцы его бороздили последний свой след.

Много извозчиков ехало в снежную вьюгу: все это раненых или убитых! Я нагнала Алексея, он соскочил. Мы обменялись скупы ми словами. Он тоже вез незнакомую женщину, раненую, а на руках у нее был годовалый младенец с простреленным черепом. Тут же однако, Алексей успел мне сказать, что Гапон убежал.

Иван будто спал; его голову не отпускала я от груди, и мне хо рошо были видны узелки его глаз; он прижимался ко мне, как ма ленький, как маленький... как живой. Евламний был прав: вышел бе жал — и убит!

Я не могу говорить, как с Алексеем мы хоронили его; это мне тяжело. Так оба брата живыми и не увидались.

Дома шумели извозчики: старый буфетчик, наш дядя, кинул в огонь свои нефтяные бумаги и утопился в трактирном колодезе. Мы с Алексеем стояли и молча глядели в черную глубь.

Кто-то поодаль негромко сказал:

– Теперь ни царя, ни Гапона.

* * *

Когда Наталья Степановна кончила и замолчала, все мы сидели также примолкнув. Но племянник ее, молодой Спиридонов Иван Алексеевич, шести с половиною лет, нарушил молчание; он неожиданно громко спросил:

– А что ж вы царя то тогда... отчего не спихнули?

– А мы не умели еще, – серьезно ответила старая тетка.

– А мы бы живо вас научили, – бойко ей возразил мальчуган. – Да только, пожалуй, тогда мы еще не родились? Как же теперь с этим быть? – Старшие все улыбнулись, и начался общий наш разговор.

II

Короткая жизнь Ивана

Дядя Ивана, питерский по[illegible] потом и буфетчик в том же трактире, взял его мальчиком [illegible] своей, жившей вдовою в Рязани. Взял он его как приемыш[illegible] собственной своей бездетности, проистекавшей, в свою [illegible], от невыясненных обстоятельств. Жены его (их было три), скучая без деток и тяготясь его скверным характером (услужая в трактире, дома стремился он быть самодержцем), убегали одна за другой от сварливца незамедлительно, на этом деле поставил он крест.

– Что венчанная, что невенчанная – не прививается яблочко, – так он сказал про себя и яблоки стал покупать на базаре.

И тут он был скуп, не щедрился: он понемногу наметил себе [illegible]ную страсть любостяжания. Теперь по ночам мысли его были заняты, капиталец его возрастал, он открыл в себе вкус к биржевым операциям.

– Чайные плантации свои, – в добродушную как-то минутку обучал он племянника, я перевожу в нефтяные. И пояснял: Нынче на чай, завтра на чай, месяц пройдет – глядишь, и бумажка в горсти зашевелилась, а нету бумажек добрей, как Биби-Эйбат!

Мальчика принял он в дом поначалу как кошку: пусть шевелится все-таки что-нибудь около, да и есть кем понукать, – но потом как-то раз себе уяснил, что ведь Ванюшка «наследник»! В первый раз его эта мысль обожгла, как горчица.

Ночь была. Мальчик лежал на сундучке под стеганым драпом тряпьем. Игнатий Михайлович, пораженный своим неожиданным домыслом, резко вскочил и, подбежав босиком по стылому полу наклонился над спящим Ванюшкой; с любопытством и ненавистью стал он разглядывать в свете лампадки этот сопевший клубочек скрюченный, жалкий. Но по мере того, как он вглядывался, нена висть его все возрастала, переходя в настоящую ярость, как если в дом его неведомо как пробрался и затаился в ночи опасный ис битель.

Как нефтяной грязный поток, забурлили в душе его все оскор бления, которым за долгие годы он подвергался в трактире и ка торым когда-то и он был чувствителен: именно это была дорога цена его акции! И внезапно теперь к этому жуткому кладу, где зат клась целиком вся его длинная и нелегкая жизнь, протянулась чь жая рука — и чья же? Племянника, воспитанника, которого он пр ютил на груди своей, как медянку... Спит, а готовит укус! Ничего, показывает, а смерть накликает — ждет не дождется...

Игнатий Михайлович был близок к тому, чтобы тут же, немед ля, его придушить или вышибить раму и выкинуть вон, на мороз как щенка.

Но он притушил в себе боль и когда, уже позже, приглядывая за мальчуганом, наконец образумился и стал понимать, что испу гался собственной выдумки, он с хитрою радостью, смеясь, утвер дил в себе новое открытие: захочет — отдаст свои капиталы, а не захочет — пожертвует их на благотворительные дела, чтобы имя его на доске говорило потомству о благородстве души его: «От Игна тия Михайловича Спиридонова из мещан г. Рязани»!

Он понял теперь, что в руках его сила, и стал изъясняться с мальчиком: «Хочешь богатым быть — можно! Только склонись пе ред дядюшкой, стели перед ним уважение, целуй ему ручки!»

Но племянник во всем обманывал дядю: смерти его не же и на богатства не льстился. Он возраста и очень тихо и ровно поры до времени, впрочем. Он очень скучал по родимым местам на судьбу не роптал, и подносы по трактирному заведению нос как чайки,— в проворных руках, на проворных ногах.

Когда, случалось, перепадал ему гривенник, он на базаре пал себе книжку в лубочной обертке и прилипал к ней как к варенью. Он был фантазер, и последней ступенью его фантази были стихи.

Согнувшись, как кролик, нарапал он буквы, поминутно вя коротенький свой карандаш,— на лавочной серой бумаге, зетных полях, на обертках от гильз. Стихи были детские и неу ные, он воспевал в них родную Рязань, Наташу-сестру перед ью, с иголкой, кота, у печки за пирогом по воскресеньям ке мать, и дым из трубы, и как падает снег и ворона летит

слегу. Дяде попался однажды Ванин стишок, и он счел лодыря Ваньку за идиота.

Иван, подрастая, на дядю не обижался, но и нисколько не ластился, как бы того старику ни хотелось. Игнатий Михайлович, съевший к тому времени вовсе передние зубы, сюсюкал, поплевывал – злился; никак не удавалось ему получать на капитал свои процентики – племянник рос мимо и не расстилался под ноги ему половиком.

И, однако же, эти стихи роль свою в жизни Ивана сыграли. Раз как-то их увидали студенты, сидевшие за кружкой пива, краснея, Иван подал листок. Это свело его с ними, и он стал ходить на вечеринки; новые вещи открылись ему, о которых он раньше не имел и понятия.

Бумагу марать он забросил, да о том и не жалел. Милорды Георги тоже отпали в небытие. Теперь он читал и Михайловского и книжечку Бельтова. Не очень он все понимал и не слишком во всем разбирался, зачем это люди так горячатся и спорят между собой! Полудеревенский (Рязань ли была не деревней?), полугородской – он мог бы быть разыгрываем [illegible] осторожные стороны, но вместо того он все в себе [illegible] одном, все возрастающем в нем чувстве.

Часто он думал [illegible] голубь из Парголова, с тайной такой вечеринки [illegible] спорить, а всем бы объединиться и вместе бы... что?

Раз, накопивши немного [illegible] он сделал поездку в Финляндию, ему захотелось [illegible] на знаменитую Иматру. Правду сказать, поехал не совсем-то спроста. У него к тому времени завелась небольшая сердечная боль: он никак придумать не мог, как с ней ему быть.

Причиною этих первых страданий была молоденькая фельдшерица, слушательница Рождественских курсов. Она была очень розовая и очень пышная в белых своих тоненьких кофточках, глазки у нее немного косили, а волосы то ли сами вились, то ли она их завивала. Вот когда раз чуть щекотнули его по щеке эти ржаные волосики, сердце тогда у него и открылось, он никак не умел ни управиться с ним, ни объявиться. Это его тяготило, все как-то стало неловко в себе, будто в одном человеке, привычном, объявился другой и этот другой не вовсе по мерке.

Бедный Иван (ему шел девятнадцатый год) решил наконец по-товарищески высказаться. Он замедлил, как с дачи шли к станции, и увидал, что она впереди, завернула на боковую дорожку. Но когда он наперерез пробирался кустами – осень была, и паутина ложилась на щеки, совсем как ее волосики... – он увидел, как она целовалась со студентом в пенсне, и пенсне ему очень мешало, а сам этот студент был из противных противный. Через день после этого он и поехал на Иматру.

Он долго глядел, как рушится валом на гранитные скалы вода, это как раз было то, что ему нужно. Он стоял у порогов и, как голодный, пожирал это огромное буйство, напор — глазами, ушами. Вода ударялась в гранит и снова взлетала на вышину; мелкие брызги ложились ему на лицо, но не было это уже нисколько похоже на колечки волос, ни на паутину в кустах. Он и в себе пустил жернова и перемалывал там человека другого, в него самого не влезавшего.

Он долго там был; прошел по Вуоксе верст на шесть и нагляделся на все шесть порогов; ему надобно было силу куда-то девать, а сила не уходила, скорее все прибывала она.

В одном месте, близко к воде, поднял он камушек; камушек был похож на лисичку, а когда обернул его, на другой стороне увидал — крут, как кольцо. Он долго глядел на него, опять повернул, опять поглядел на лисичку и нетвердой рукой бросил камушек в воду. Тут немного внутри его отпустило, можно теперь было ехать домой.

За эту поездку Иван целые сутки не спал, но ни сна, ни усталости не было и в помине; новая сила его не покидала, но она понемногу вошла в берега. И с этого дня он переменился. Теперь он не спрашивал себя: «Что?» Может быть, это знал он и раньше, но теперь он хотел непременно, и поскорей, такого дела. Вместе с тем он, может быть, несколько и помрачнел для людям, его окружавшим, стал будто бы строже, начал оглядываться. В эту пору как раз он и сошелся с Алексеем Никитичем Волгиным — он же «Евлампий».

Прозвище это новому другу Ивана дали, пожалуй, недаром: он будто и впрямь походил на монашка длинноволосого, только в очках. Да какой он монашек: веселый он был и строгости одновременно необычайной. С Иваном они подружились, и Иван шел за ним без оглядки; Евлампий не раз руководил забастовками.

С ним же порой открывалась душа у Ивана и попросту: эта Рязань в нем никогда не умирала, а «монашек Евлампий», строгий ученый, понимал, к счастью Ивана (и своему), — понимал и вороний и снега, разве, бывало, скажет, смеясь:

— Против ворон социализм пока ничего не имеет. Пусть воробьи сами себя, без социал-демократов, отстаивают!

Когда объявилась война и потянулись войска на Дальний Восток, Ивану пришлось очень подумать, его призывали, и надобно было теперь работать в казармах — дело нелегкое! Но он его взял на себя и был аккуратен: ни разу не попадался.

Ивану хотелось бы, впрочем, идти на войну — там ему дело казалось важней, — но Евлампий держался особого мнения, предполагал, что и тут разыграется достаточно круто.

Перед январем солдаты смущались и толковали глухо в казармах, однако с оглядкой и осторожностью. Многие, впрочем, тайком побывали в «отделах», где уже обсуждали петицию, которую

жны были в воскресенье, девятого, передать в Зимнем дворце самолично царю; что тронутся шествия — знали. Но не хотелось и верить и думать, что двинут войска — против народа.

Забастовки росли. Кое-кто из рабочих дергал солдат за шинели:

— Что ж, против нас разве пойдете?

Солдаты увиливали:

— Коль ты японец — пойдем, а если крещеный... дай прикурить!

И, однако ж, негласно в казармах усилили службу: боялись друг с дружкой и наедине перекинуться словом. Только в уборной кто-то на стенке мелом изобразил печатными буквами:

«Не верьте, ребята, офицерам, держите рабочую сторону!»

В уборную все перебегали, один за другим; можно подумать — холера охватила казарму!

Иван теперь очень берегся, с Евламием было видаться опасно, а нужно... И тут увидал он Наташу-сестру. Как он обрадовался! Наташа приехала с братом. Алешка, как видно, удрал из Баку — прямо сюда; вот это вовремя: все теперь Спиридоновы были у дела! Он Наташе сказал:

— Приходи теперь в пятницу, седьмого числа.

И как прощался, подумал опять о Рязани и как они вместе с Наташей рубили капусту и «кушали хряпку»; именно так — неделикатную «хряпку» сопровождали они деликатнейшим «кушаю»...

«Эх, Наташа, Наташа! — подумал Иван.— Может быть, времечко наше с тобою, Наташа, приходит!»

А седьмого числа он был именинник, и послали его к Нарвской заставе в патруль. Он видел, как по заборам раскленвали объявления от градоначальника: с толпою будет поступлено по закону... и видел (как будто не видел), как их, отогнув с уголка, срывали рабочие... Но он не видал, что за ним была слежка: он догадался об этом только позднее, вернувшись в казармы.

Дялин трактир от поста был как на ладони, но Иван не заметил, как появился старик и, прежде чем к нему подойти, долго шептался за спиной у племянника с каким-то весьма подозрительным типом. Потом он по улице, ковыляя, покружил возле Ивана, и, когда подошел, глаза его были пусты.

— Ты что же тут, сторожишь?..— забормотал он привычно и неразборчиво.— Сторожишь... у пустого колодезя?.. Плохо ты, брат, сторожишь, под носом не видишь.

— Вижу тебя,— сурово ответил Иван.— Что тебе надо?

— Мне — ничего, а вот тебе-то, наверное, не лишними были бы лядины денежки... Ха! Кому они лишние? Только тебе, непочтивец, их от меня не видать!

Иван отвернулся.

— Нам разговаривать не полагается!

— Не полагается, да? — Старик захихикал. — В Зимнем дворце говорили, будет парад... А это не ты в Зимний дворец из пушки стрелял, а? — признавайся! — вчера!

Оставшись один на посту, все думал Иван, что увидит Наташу, но у дяди спросить не хотелось; верно, она была на собраниях — нынче горячий денек, недаром патрули послали. И правда, на улицах, как растревоженный улей, гудели отдельные кучки народа. На шагавшую группу солдат поглядывали с молчаливым вопросом. У Ивана в груди было тревожное чувство: он мог поручиться лишь за себя и за немногих товарищей. Он шел наступившись, мерно шагая крепкими своими сапогами, и только раз за дорогу он улыбнулся. У какого-то казенного дома, верно затем, чтобы нельзя было сорвать, объявление градоначальника было приколото под проволочной сеткой. Старый рабочий неспешно прочитал его до конца, потом закурил, тоже не торопясь, папироску и сунул горящую спичку внизу, между проволокой. Под проволочным заграждением быстрою змейкой, разбегаясь по сторонам, невинный огонь быстро испепелил строгое начальственное увещание.

Рабочий взглянул на солдат и ласково им подмигнул; тепло и беглый огонь еще отражался в его помолодевших глазах.

— Вот, сукин сын, молодец, — сказал шагавший рядом с Иваном солдат и с удовольствием сплюнул на снег.

«Вот сестра принесет, — подумал Иван, — этому я дам почитать». Он все поглядывал по сторонам, но так ее и не увидел, а когда воротился в казарму, услышал короткий приказ об аресте. Это его сильно ударило.

Сидя в потемках и подбирая ноги от холода, Иван отчетливо слышал, как на дворе просила сестра ее пропустить. Он не мог ей подать даже голоса и хотел одного — чтобы ушла поскорей: он боялся, как бы ее не задержали и не стали обыскивать. Он теперь крепко задумался; необходимо отсюда бежать.

Но бежать удалось только через полтора суток. Дежурил его вчерашний сосед, которому он собирался дать прочитать прокламацию. Иван отпросился в уборную. Там он скинул шинель и, недолго гадая, перемахнул через окно, а потом и через забор. День был морозный, но он ничего не замечал; жаль только было... нету ружья. Издали явственно слышались выстрелы.

Он окунулся в людской шумный поток, дрожащий таким напряжением, что снова оно заставило сразу его увидать кипящую Иматру. Уже начались кое-где столкновения; несколько раз кричали пронзительно; эти резкие звуки напоминали крик птиц ранней весной, алые пятна на снегу были похожи на пролитый... стереть спрон.

Недоумение, охватившее всех, прошло — не в испуг, в ... ние. В одном переулке потеснили солдат. Им кричали в ...

— На японцев бойтесь! А на своих, как на скотину! Мерзавцы! Трусы!

Солдаты утрюмо, пятясь спиной, не отвечая, огибали кирпичную стену. Один задержался, наклонившись поправить сапог, и отчетливо видел Иван, как у этого парня, раскосого и низкорослого, дергались щеки. Он выпрямился, кинул винтовку и скрылся в толпе: будто нырнул в пруд. Винтовку Иван подхватил и привычно, обрадовавшись, вскинул ее на плечо. Так он добрался по кипевшему огнем водопаду к самой решетке Александровского сада; толпа охраняла его, его подбодряли.

Площадь гудела; мороз горячил его тело. Он ждал, когда же придет минута — его; что она будет, он ни на минуту не сомневался.

Вдали показалось ему на мгновение: не Наташа ли там? Вот бы стать рядом! Но люди, как волны, ежеминутно поглощали людей. Он еще озирался, как вдруг заиграл горнист и тишина пала на землю. И опять в тишине еще раз проиграл короткий сигнал. Послышалось: «Целься!» — и первый ряд преображенцев, присев на колено, взял на прицел.

Иван инстинктивно пригнулся, и, как если бы это была команда ему, тоже стал на колено: руки сжимали сами собою винтовку. Никто из соседей теперь его не видал.

— Не тронут! — услышал он жаркий, горячечный шепот женщины рядом с собой.

Но в ту же минуту раздался над головой его залп.

Иван уцелел; он огляделся: падали раненые, женщина рядом с удивленным лицом откинулась навзничь; глаза ее были мертвы; черная коса, как крыло на лету, задела Ивана. И женщина эта стала ему как сестра.

Тогда он размял свои пальцы и со всем хладнокровием, целясь, начал стрелять: как на учении. И как стрелял, казалось ему, будто стреляет, выглядывая из-за своей собственной спины; и тот, кто выглядывал, был как раз по мерке. А голос, похожий на дядин, скрипуче шептал ему в ухо: «Я так и знал, вчера это ты в Зимний дворец из пушки стрелял».

Иван успел выстрелить только два раза, он еще в третий стал нажимать курок, но, как та женщина, раскинул внезапно руками и опустился на снег. Легкий покой и холодок охватили его. Он спокойно успел еще увидать морозное небо, но быстро оно переменилось, и, сделав усилие, он разглядел: это был снег, и черные птицы летали на этом не близком и не далеком снегу. А когда пролетели они, он больше уже ничего не видал.

1929
Москва

Феодосия

Посвящается О. М. Новиковой

I

Пятнадцатого мая 1905 года Татьяна Ганейзер, проснувшись по обыкновению рано, слушала звон московских колоколов, с радостью соображая, что нынче воскресенье и в гимназию не идти. Мысль эта выскочила по-детски первой, обогнав привычную за последние месяцы утреннюю думу: о старшем мичмане Владимире Гребенщикове и об эскадре Рожественского, в составе которой он следовал на своем миноносце вот уже несколько месяцев — целую вечность! — с октября прошлого года. Эта уже не детская, а девичья мысль и сейчас, как и вчера, и неделю, и месяц тому назад, заставила ее внезапным движением далеко откинуть одеяло и немного так полежать на холоду.

Она не хотела, как многие московские дамы, подражать жене адмирала Того, спавшей вовсе без одеяла, чтобы хоть так — издали — делить лишения любимого человека. Ей это тоже сначала понравилось, но об этой японской [illegible] одеяле столько шумели в Москве и столь неприкрыто [illegible], что самая мысль о ней ей опротивела; мешала [illegible] врожденная гордость, не позволявшая ей пойти по следам какой-то японки, врага; да еще, по правде сказать, мурлыкала в [illegible] сладкая детская привычка — свернувшись, как кренделек, засыпать в пушистом тепле: это последнее сильно жило в Татьяне, чего она не сознавала, иначе все-таки что-нибудь выдумала бы, чтобы себя унемить. И, однако же, это утреннее откидывание, результат разнохарактерных взаимодействий, к ней привилось.

Плохо соображая, который был час, помедлив лишь несколько коротких минут, пока цепочка холодных иголочек добралась по спине до самого корня короткой тяжелой косы, быстро она опустила ноги на чуть захолодавший в ночи, вощеный паркет и так, босиком, чтобы никто не слыхал, пробежала по коридору целое путешествие через пустыню! и заглянула во внутренний ящик для почты, куда совали снаружи, в дверную щель, корреспонденцию: ничего не было!

Писем она и не ждала, но не было пока и газеты. Письма были как чудо, их было всего только четыре за все семь долгих месяцев, из них последние два из Носи-Бэ, на Малагаскаре, где эскадра тщетно ждала присоединения южноамериканских кораблей, а то и Черноморского флота. Теперь Носи-Бэ с его тропическою сыростью и духотой был далеко позади, и эскадра, отяжеленная еще Небога-

…ним, плыл в неизвестное; сердце Татьяны Ганейзер гулко и тяжело билось в такт котельным машинам.

Она знала из писем Владимира (он сообщал осторожно и скороговоркой), что Рожественский использовал Мадагаскар для боевой подготовки, в которой эскадра столь очевидно нуждалась, суда выходили в море для практической стрельбы и маневрирования. Все-таки это было кое-что, но, невзирая на свою крайнюю молодость, все же Татьяна чувствовала, как над эскадрой в чуждых морях нависло что-то трагическое, неизбежное. При ней иногда обрывался очередной разговор об авантюре «адмиралтейского шпица», но обрывания эти и умолчания бывали выразительнее самых выразительных слов.

Положение стало особенно ясным после падения Порт-Артура, и каждый номер газеты, который к ней попадал очень часто раньше, чем выйдет из спальни отец, раскрывала Татьяна с невольным биением сердца, привычно ища на среднем листе скупых военно-морских телеграмм. Порой она медлила и, прежде чем развернуть огромные простыни, механически — в который раз! — пробегала глазами условия подписки на газету «Московские ведомости»: с доставкой и пересылкой 17 р.; рабочим, нижним воинским чинам, волостным правлениям и крестьянам через волостные правления 8 р. в год и 80 коп. в месяц. Какая забота, подумаешь, о рабочих и крестьянах: вдвое дешевле! Татьяна могла бы об этом задуматься, но она не задумывалась. Воздух, которым дышала она в родительском доме, окислял в ее легких горячую [illegible], и во всем существе ее кровь тосковала, молилась и помышляла о победе, победе, победе! А между тем воздух на улице, казалось бы, тот же, психологически бил в обратную сторону. Даже в гимназии подруги Татьяны смеялись над ней и называли ее ура-патриоткой. Татьяна молчала и злилась.

В тех же «Московских ведомостях» после обеда, за кофе, вчера отец прочитал ей своим немного стеклянным, тускло поблескивающим, как и пенсне его на мертвенном холмике носа, сухим и размеренным голосом передовую. «Корреспондент Кельнской газеты был сам свидетелем подобных случаев...». К дереву впереди позиции прикреплен был флажок. Послали солдата, он нашел там бутылку портвейна и тридцать прокламаций. Одна, конечно, еврейская («честное слово!») — там говорилось об уничтожении Варшавы пожаром, взрыве в Севастополе, общей революции и бегстве царя; во второй проповедовалось, что японцы являются истинными друзьями русской свободы.

Татьяна слушала чтение отца со стесненным сердцем. У него был крутой, воскового цвета лоб; рыжевато-седые, реденькие, чистые, пышные волосы на висках непосредственно падали к молочных, с синевой, бакенбард; подбородок ходил размеренно и выразительно, колыхая увядшую, немую губу, на которую …

лись уже синеватые тени, и в полном несоответствии с этим, лицо было розово, щеки пухлы, как у младенца, а скупо окрашенные голубые глаза напоминали стоявший в буфете фаянсовый старый сервиз, оставшийся еще от прабабушки. Татьяна знала тайны этого несоответствия, и оно смутно томило ее, а тайна была между тем очень проста. Антон Максимович (как он себя русифицировал) был недалек, вот и все.

«Ганейзер Оттон!» — как вызывали его в Петершуле на громоздкой Фурштадтской, пошел по юридической части. Отец его, Максимилиан Оттонович, теперь уже покоившийся на иноверческом кладбище, помнил еще времена морского генера-гаудиториата и обеспечил сыну карьеру в Главном военно-морском суде, но «Антон Максимович» не любил Петербурга и выезжал туда из Москвы лишь на время сессии суда.

Татьяну томило, покачивало. Пахучие испарения кофе, поднимавшиеся над скатертью, были видимы в косом луче вечернего солнца. Эфирные эти масла, совершившие далекое путешествие по знойным морям и не побежденные ими, не рассеявшиеся в пространствах, смешивались с запахом краски из Синодальной типографии, и что до того, что терпкий этот типографский запах не перенес дальнего путешествия, — именно он повествовал о протекшем дне земного шара, за последнее время переставшего быть простой географией, когда-то одного из скучнейших предметов для Татьяны Ганейзер.

Вдруг Антон Максимович [illegible] подбородок его окаменел и выехал далеко вперед.

— Повесить их! Расстрелять [illegible] он отрывисто, коротко, но так тяжело, как если б рукою клал пудовую гирю на деликатные весы богини Фемиды.

Татьяна приподнялась.

— Кого и за что? — спросила она, не замечая, как и ее голос стал металлическим.

— Японцы — враги, я их понимаю, — ответил отец, — хотя это и подлость. Нет, я говорю о наших, о доморощенных.

Разговор этот их — в молчащей огромной квартире от матери у Татьяны Ганейзер осталось: скрип шелка, духи «Violette de Parme», смешанные с запахом канареечного семени, и сквозные глаза, как будто за ними были другие — горячие и настоящие, в квартире, напоминавшей порою пустыню, наступила минутная тишина. Взгляд отца изменился. Глаза его некоторое время бежали, как бы только сейчас заметив крошечную Татьяну на краю горизонта и устремившись к ней; нагнали; остановились. Отец разглядывал свою дочь.

— Отчего ты стоишь? — спросил он отрывисто. (Он привык, что перед ним стояли его подчиненные и еще... подсудимые; она не была его подчиненной.) — Что ты так строго на меня смотришь?

Татьяна не знала сама, почему она так смотрела, она не разбиралась в себе и из честности ничего отцу не ответила. В эту минуту она вспомнила другое — как тот же самый вопрос ей задал отец в пору ее раннего детства. Она разбила свою «головастенькую» — это была ее любимая куколка — и с сухими глазами стояла над ней, отражаясь в паркете. Отец проходил и окликнул ее, она и на него перевела все тот же свой неморгающий взгляд. «Татьяна, что ты так строго на меня смотришь?» — точь-в-точь таким же тоном спросил он и тогда; и с этого случая он перестал ее звать Танюшей и Таней; еще тогда она стала маленькой Татьяной Ганейзер.

Должно быть, случайная (или уж не такая случайная) эта повторность окутала девушку на весь тот вечер туманом воспоминаний.

Во всяком доме свой воздух. Сухопутная жизнь в континентальной Москве не мешала Ганейзерам дышать про себя воздухом моря. Есть семьи (или, вернее, прежде бывали), где между живыми не менее живые, дышали невидимые, не во плоти пребывающие герои и героини романов — Наташа Ростова или Эдварда из «Пана», лейтенант Глан или Андрей Болконский, а то еще (доселе не постаревший!) сам Григорий Александрович Печорин; судьбы их, думы, дыхание смешивались с судьбами, думами и дыханием молодого населения дома. В доме Ганейзеров домашними ларами были герои морей. Адмиралы Корнилов, Нахимов с самого раннего детства Татьяны были для нее живыми существами. В доме Ганейзеров поэзии было немного, в театр выезжали лишь [illegible], сказок Татьяна вовсе не знала; все это вместе взятое заменялось медлительным, кабинетным изучением истории, и японская война была как глава, очередная в огромном многотомнике Российской державы.

Ощущение это — морей и сражений на них — каждое лето усиливалось поездками к дальней их родственнице, невестке адмирала Нахимова. Между лесов Смоленской губернии угрюмо, насупленно стоял ее сорокакомнатный дом с мрачными, как всякий фундамент истории, немыми подвалами.

В гостиной стояла на столике одиноко подзорная труба адмирала, и хотя ничего с террасы не было видно, кроме лужайки перед домом и в отдалении невысоких кустов по пригорку, но видавшая море и флоты труба таила в себе для Татьяны особую магию. В сумерки по вечерам на диване становилось немного ей страшно, казалось, что улегченная комната вот-вот придет в движение, поплывет окна и двери, диванчик взметнется на высоту и с шумом рухнет вниз далекая, на обманно-спокойном полу, неустойчивая этажерка с фарфоровыми безделушками. Тень в сюртуке возникала в [illegible] большой палец крепкой серой руки твердо ложился для большей устойчивости за пуговицу такого же сумеречного мундира, а другая рука держала, не отпуская, скупо поблескивавшую внимательную трубу. Тень эта странно двоилась, расслаивалась, за ней возник[illegible]

другие, то вырастая за потолок и разрываясь внезапно, подобно пороховому дыму при выстреле, то резко снижаясь и уплотняясь; тогда отделялись другие — коренастые, плотные порою (от груза истории) немного горбатые тени, и они занимали углы и простенки, громоздились на мебель.

Образы моря и кораблей, никогда Татьяной не виденные, знакомые ей лишь по гравюрам и литографиям, обитали всегда в сумерках ее внутреннего мира, и сухопутные массивы, ее окружавшие, — Москва и Смоленск — пергамент, испещренный историей, были, однако, всегда в детском ее воображении омываемы синими водами моря, и суша полей и лугов не казалась такою устойчивой и незыблемо прочной, как тем из многих ее подруг, жизнь которых в деревне и в городах круто была обведена каменным или глиняным горизонтом, видимым глазу.

Балтийское море, привычное, Татьяна не очень считала за море, хотя именно там, на низких его берегах, она дала слово Владимиру. Он снял ее в этот день, и простенькая карточка эта, где морской горизонт пересекал Татьянино сердце, очень ее передавала. Серые внимательные глаза девушки узнавали себя: они были стянуты по уголкам у виска, и они были просты и прямы; но эта особенность век — наследие матери — придавала им то своеобразие, которое заставляет насторожиться, она говорила о неожиданностях, о долгом покое и о возможности взрыва. Это от матери, в роду у которой значилась бабка-монголка, сидевшая скрючившись за сквозной пеленой ее глаз. Лишь недавно узнала Татьяна — и через то многое ей осветилось как молнией! — узнала, что бабка однажды проделала на глазах ее матери диковинный, резкий прыжок с высокого берега в море. Все это было давно уже, на берегах Феодосии; в доме об этом не говорили. Но Феодосия, южное море — это мечты Татьяны Ганейзер.

И вот, не найдя ни письма, ни газеты, Татьяна стояла у ящика, неизвестно чего поджидая. Писем она не ждала, но поймала себя на мысли именно о письмеце — своем собственном. В Феодосии жила ее тетка, отцом не любимая; он опасался младшей сестры покойной жены своей. «Горячая женщина и сумасшедшая!» — это был его самый мягкий отзыв о ней. А тетка не раз Татьяну звала и неизменно получала отповедский отказ. «В этом году кончишь гимназию, может быть, можно будет поехать» — так осторожно гласило на днях наконец полуобещание, и Татьяна об этом настрочила тете Евгении непривычно горячее письмецо.

«Ответ — еще рано, но я поеду, поеду!» — упрямо твердила она и не трогалась с места, как будто бы именно здесь, у почтового ящика, чем-то напоминавшего станцию или пароходную пристань, особенно важно было закрепить свою волю. Вдруг она услыхала, как по коридору вдали заскользили шаги. В короткой рубашке, вытянув нос (из осторожности: чтобы ступать как можно тише), длин-

ноногая, как цапля, хотела она ускользнуть: шаги были ей слиш-
ком знакомы.

— Что ты делаешь здесь? — спросил отец; голос его звучал
привычной умеренной строгостью.

Он был в халате, малиновый пояс узеньким хвостиком воло-
чился за ним, волосы на голове еще не проснулись. Детский испуг
оставил ее, ей стало немного смешно, и она, усмехнувшись, от-
ветила:

— Я за газетой охочусь — с утра.

— Ты весела и охотишься, а я с утра смотрел карту. Они дол-
жны теперь быть совсем близко...

На этот раз не было в словах его укоризны (укоризна почти ме-
ханически всегда вызывает противодействие), в словах его было
раздумье и важность, что-то он переживал про себя. Татьяна смол-
чала, усмешка ушла с ее губ.

— Хочешь, посмотрим? Но ты не одета...

— Нет, ничего, ничего...

Однако едва они тронулись с места, в ящике зашевелилось
и зашуршало.

Антон Максимович с давно забытою живостью вынул газету,
он даже нетерпеливо дернул ее, и уголок, полуоторвавшись, за-
гнулся наподобие паруса. Татьяна затем услышала звук разрыва-
емой бандероли; к слегка затяжелевшему пальцу придвинулись
остальные, и узенький сверток газеты раскинулся надвое. Все напря-
женное внимание Татьяны сосредоточилось на этих отцовских дви-
жениях, на кисти руки и как бы разломанной пополам узкой газеты.
Полусознательно в ней это ассоциировалось с видением моря и ко-
рабля. Листы зашумели, как волны, и пенсне устремилось на сере-
дину, на глубину. Девушка внутренне сжалась в комок и устреми-
лась туда же сама: что там лежало — на дне?

— «Нью-Йорк, 27 (14) мая. (Отец всегда читал место и дату.)
Сюда дошел из Токио слух, что сегодня начался бой в Корейском
проливе...»

К концу этой фразы голос Антона Максимовича, невзирая на
всю его выдержку, несколько дрогнул, и в ту же минуту с ближай-
шей колокольни донесся маленький, дробный, ситцевый звон. Так
этот был весел и неуместен, Антон Максимович даже сделал рукою
движение, как бы отсылая кого-то из комнаты. Этот звон, этот звон
помешали ему сотворить крестное знамение.

— А еще что? Еще что? — сухими словами спросила Татьяна
отца.

— А еще пойдем к карте, — сказал он, уже овладевая собою
и прочитал спокойно, как справку, еще одну телеграмму: — «Токио,
27 (14) мая. Рожественский находится вблизи острова Цусимы в Ко-
рейском проливе».

II

«Ваня! Первого сего февраля мы соединились с эскадрой Рожественского. Теперь стало не так опасно, да и веселее при такой массе судов. Красиво смотреть на морские маневры и весело быть среди таковых, хотя при всех трудностях службы. Соединение наше состоялось в открытом океане в одиннадцать часов утра. Встреча была радостна и весела».

«Уже третий раз: веселее, весело, весела... А как-то теперь? Как-то сейчас?» — думала, забравшись с ногами на диван, Татьяна. Это был фельетон в «Московских ведомостях» — матросское письмо, отправленное из Носи-Бэ, откуда Владимир писал про духоту и жару. «Почему же так поздно его напечатали? А что-то сейчас?» У Татьяны болела голова, но она продолжала читать, жадно следя за самым перечислением эскадренных судов.

«К нам навстречу вышли по-боевому, боевыми колоннами, броненосцы: «Орел», «Князь Суворов», «Бородино» и «Император Александр III». Это первая боевая колонна шла навстречу. Справа от нее шла вторая, из крейсеров «Аврора», «Алмаз», «Дмитрий Донской» и «Жемчуг». Впереди ее шла разведочная колонна из вспомогательных крейсеров: «Урал», «Кубань», «Терек», и по левую сторону главной колонны шла вторая броненосная колонна из броненосцев «Ослябя»...»

Татьяне вдруг представилось это перечисление как поминанье, и усталым говорком точно кто-то прочитал ей и не в ней: «Упокой, господи... Упокой, господи...» Впрочем, равно это было похоже и на баюканье утихомиренных волн

«...из броненосцев: «Ослябя», «Сисой Великий», «Наварин» и крейсера «Адмирал Нахимов». Миноносцы не участвовали...

Тут не участвовали, а там? Боже мой, боже мои! А там идет бой! А там уже все, может быть, кончено. После вчерашнего первого известия и сегодня еще нет ничего определенного. Одна телеграмма из Токио, и стиль ее тот же, что и в матросском письме. «Главная часть эскадры Рожественского, идущая двумя колоннами — броненосцы с правой, канонерки и крейсера с левой стороны, появилась в заливе. Все остальные известия задерживаются».

«Макаров, Витгефт, Рожественский»... это тоже звучало как поминанье в кабинете отца. К обеду зашел давний знакомый и совсем не моряк, но разговор шел о бое возле Цусимы. Татьяна тоже провалилась сегодня по математике и еще отцу не сказала; да и какие уж тут экзамены!) заглянула в столовую, будто проверить, все ли к обеду в порядке, и слушала между тем это гудение гостя:

— Сами судите, Антон Максимович: корабли совсем новые, только что выстроены, приемные испытания едва начались, но не закончены были, с места сорвали! И экипаж наскоро набран, на обу-

чение не было времени! что говорил сам адмирал? И я очень боюсь...

— Это все половина беды,— неспешно ответил Антон Максимович.— Главное — воинский дух! Еще счастье, что едут они и ничего из того, что у нас делается, не доходит до них.

Гость отозвался:

— Все это связано в узел, и узел разрубит судьба. Россию ждут испытания.

За обедом пришел и еще один гость. У него был дурной цвет лица, козлиная бородка танцевала под скривленными его подлыми улыбками. На Татьяну он обращал мало внимания и каждое блюдо обильно, как уксусом, поливал ядовитыми фразами:

— Усадьбы жгут — говорят? Это недурно, это мне нравится прочищает мозги. Наш «святой мужичок» с бородкой Николы-угодника отлично работает. «Народ-богоносец» — пожалуйте! Вот он вам в натуральную свою величину.

Ножка цыпленка хрустела между его кривоватых зубов, и он с присвистом, не удержавшись, всасывал в себя сладкий крохотный мозг.

— А дворянство надо давно... надо его потрепать. Дурь надо выбить. Есть ужасная дрянь в дворянстве

После обеда Татьяна ушла и легла на диване. Газета ее утомила, и от газеты не могла оторваться.

Раздался звонок. Татьяна прислушалась, горничная пошла отворять. Какой это злой человек с козлиной бородкой. «Божья земля! Божья земля! Божьей земли полагается всего только три аршина на человека, да и за ту в городах платят!» Но почему же все о смерти, все около смерти?

Матреша к ней постучала.

— Да. Можно.

— Вам телеграмма.

— Отцу?

— Нет, собственно вам.

Татьяна не сразу ее вскрыла. Матреша глядела на барышню с недоумением и со страхом.

— Уйдите, Матреша! Оставьте меня.

Татьяне казалось, что телеграмму можно и не вскрывать. Да в глазах у Матреши она видела именно эту самую яму «божьи ... ли»... Владимир убит... Поминанье... Витгефт, Макаров, Рожественский, Гребенщиков... И даже не яма и не земля, а кусочек «божьего моря»... У Татьяны закружилась голова, и она присела на стул. Слабыми пальцами разорвала она ободок и мертво заглянула в серо-голубую бумажку.

«Феодосия. Приезжай как можно скорей нездорова хочу тебя видеть люблю жду непременно тетка Евгения».

Уже первое слово «Феодосия» мелькнуло в глазах как голубая полоска в окутавшем ее мраке. Больна? Ничего! Поеду, поеду! Владимир... он жив! Не о нем! И сразу вспомнила формулу, умершую для нее на экзамене. Провалилась... Неважно. Я выдержу там экстерном... у тети! Отец сейчас спит... «Миноносцы не участвовали...» Ей на минуту показалось, что миноносцы не участвовали при Цусиме. Глаза ее упали на эту фразу из матросского письма, и она вернулась к нему. Наивная бодрость его в эту минуту была ей нужна.

«...Радостно было смотреть на все это, и хорошо было чувствовать себя при встрече своих собратий и звуках «ура!» и музыке. Я страшно доволен, что приходится переживать такие счастливые и редкие жизненные, а также и нашей истории минуты, хотя...»

Это «хотя» преследовало теперь ее всюду. В эту минуту, после резкого колебания чувств, быть может, впервые, Татьяне представилась жизнь во всех ее суровых противоречиях. Она не знала, конечно, что ей предстоял еще целый ряд лет, которые будут никак не похожи на годы и дни ее предков, ибо и жизнь ее родины вступала в ущелье, где воды теснятся, густеют и пенятся, преодолевая один за другим густые преграды порогов. Татьяна не знала, но ощущение это уже зародилось в ней: наше сознание всегда открывает лишь то, что уже стало в нас самых живым кусочком нашего «я».

«...хотя временами все это [illegible] физическим трудом, бессонными ночами и т. п. Чем [illegible] далее, пока закрыто мраком неизвестности, а покажет [illegible] богу, наш отряд от гор. Либавы до Мадагаскара прошел 8571 миль (15001 версты), скорость хода в час...»

О телеграмме тети Евгении Татьяна решилась, однако, сказать только на следующий день. Отец уезжал вечером в клуб и вернулся оттуда в самом мрачном состоянии. Татьяна подумала: «Знает!», но понимала, что спрашивать его было бесцельно.

Однако же и во вторник парижские телеграммы передавали лишь смутные слухи из Америки о «фантастических» потерях русских, а от себя — о больших потерях японцев.

— Что ж, поезжай, — сказал ей отец неожиданно кратко.

И опять в глазах его Татьяна прочла, что ему многое известно.

— А Владимир? — спросила она.

— Это не ясно. Но эскадры уже не существует.

— Ты знаешь наверное?

— Сегодня по телефону я получил подтверждение. И, повернувшись к столу, он показал ей листок с собственноручною записью: «Всеподданнейшая телеграмма главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами, действующими против Японии, генерала-от-инфантерии Линевича. 16 мая во Владивосток прибыл крейсер 2-го ранга «Алмаз». Командир крейсера донес...»

Все донесение, в сущности, укладывалось в два короткие слова: бой и гибель.

Татьяна взглянула на Антона Максимовича. Ей ли не знать о... ны? Но она никогда не могла бы подумать, что он такой глубокий старик.

— Рожественский ранен,— сказал он внезапно, и голос его странно окреп.— Но если он сдался и если он жив и в плену, то мы его будем судить. Я его буду судить.

И еще раз Татьяна отца не узнала. Она видела его суровым, сердитым, даже во гневе, но она никогда не видала его говорящего статуей с опущенным долу желтым мрамором век.

Ей, однако же, было не до наблюдений. Уж если Рожественского будут судить, то что же Владимир? Значит, одно из двух: смерть или суд. И ее отец будет судить его. За что же? И кого, собственно, надо судить? «...Хотя временами все это оплачивается физическим трудом, бессонными ночами и т. п.». Что, собственно, это оплачивается? И кому это нужно?

Но Татьяне было и не до размышлений. В сердце ее поднялся горячий вал и залил все ее существо. Еще минута, и она бы упала. Но странная гордость перед отцом удержала ее, она крепко сомкнула горевшие губы и вышла к себе.

III

До сих пор внешний мир досягал [illegible] Татьяны Ганейзер (если не считать крохотного ее гимназического [illegible]ирка в одной из самых строгих гимназий да недомолвок отцовских гостей) — досягал через газеты, теперь, уже в поезде, она окунулась в живой и пестрый поток впечатлений, и сложная явь была далеко от специфической стилизации московской газеты.

Когда уезжала Татьяна, все уже было ясно. Рожественский сам донося императору, что он в плену в Сасебо. Владимир Гребенщиков разделял судьбу адмирала. Он был ранен в бою, но не тяжело. Обо всем этом были наведены чрезвычайные справки.

У Татьяны было такое ощущение, как если бы сама она была ранена или подвергалась опасной операции и теперь медленно поправлялась. И, как бывает с серьезно больным, наряду с настоящей болью сопровождала ее мелкая боль, подобная раздражающему покалыванию волоска из тюфяка или твердой подушки. Это была мысль о неудачных экзаменах и о том, что она это дело скрыла вопреки всей своей натуре, от отца. Когда она призналась ему наконец, он спокойно сказал:

— Ты — моя дочь. Я давно уже знал от начальницы и все ждал, когда же ты скажешь. Со мной было в юности нечто подобное. Тоже трусил.

— Ты мне никогда ничего такого не говорил.

— А теперь вот сказал! — И старик так задорно повел [illegible] юношим носом, точно у него на стриженом голове торчат [illegible]

корный вихор, не поддающийся ни холодной воде, ни [illegible] маслу.

На вокзале они расцеловались. Отец не допускал сантиментов и скользнул по щеке ее обычным своим прохладным поцелуем.

— Я выдержу там... в Феодосии... экстерном... — сказала Татьяна с площадки.

— Ну-ну, не храбрись. Отдыхай! — ответил он весело.

Однако ж Татьяна, уже косым взглядом, когда он не знал, что она видит, запечатлела (как быстрый рисунок карандашом), как он повернулся и внезапно весь сгорбился.

Она вошла и осталась стоять в коридоре у широкого [illegible] ного книзу окна.

Наступал тихий вечер, но ветерок бил Татьяну [illegible] сто, без церемонии. Свежераз[illegible] воздух [illegible] ничего не говорит (не умеет) и он говорит: «Я [illegible] и я здоровешенек. Лечу и [illegible] слышала, что он говорит [illegible] слышала и отвечала [illegible]

Татьяна была молода [illegible] силуэт Антона Мак[illegible] омывая судьбу далекого [illegible] планеты и обитаемого [illegible] торически крепкого [illegible] корни в самую подпочву [illegible] воздушно, легко, — бился в ней свой ветерок, кружился, играл и порхал. Одна, молода [illegible] тырех сторон ее света, смеясь, улетчали ее бытие.

Татьяна отродь не бы[illegible] на холодную воду [illegible] [illegible] [illegible] желтыми, белыми [illegible] красными [illegible] крохотные, как островки в архипелаге [illegible] чивые, мягко они колыхались на упругих [illegible] ких, высоких, тонких, пушистых, [illegible] чащей, бегущей узкою ленточкой дороги [illegible] изображаемого, но существующего [illegible] другое, из века в век и для каждой точки нашей земли.

На земле этой, там, где они бы [illegible] [illegible] легко подымаясь и опускаясь [illegible] [illegible] и косой со щечным [illegible] то или (весна запоздала), березки и тополя, обрызганные мол[illegible] блестящей, душистою зеленью, тонко благоухали; порой [illegible] как стайки порхающих бабочек [illegible] [illegible] сгинуть назад, то как белым платочком махали [illegible] [illegible] кругленькие и тонконогие вишневые [illegible] деревца, похожие на [illegible] гимназисток. И только от времени до времени [illegible] [illegible], как мрачные грозовые тучи на небе. Да и [illegible]

бе, вопреки земному покою, было движение и заворошка, мобил зация.

Долго смотрела Татьяна и думала, на что походили эти п ро-лиловые, с рыжим подпаленным брюхом, воздушные кони. Ко ни? Не только. Она различала и всадников, а косые, упрямые, узк полосы с оборванным верхом, развитым и ниспадающим, больш всего похожи они на склоненные древка знамен или на пики с об рывками знамен.

В Подольске, огромный и неопрятный, похожий на гигантск старые бани, прошумел перед Татьяной «Портландский цемент». В нее пахнуло жаром и потом, пыхтеньем машин и вязкими звука похожими на чавканье, как будто машины со стальным равнодуш ем пережевывали там живых людей. Пыхало скрытым огнем. Татьяне вдруг сделалось холодно. Она поежилась, невольно руко ища платок на плечах. Платка с нею не было. Надо идти в купе. Э значило: природу проехали, и начался новый ландшафт: люд и страсти.

В купе было два человека, оба мужчины. Один был чиновни в тужурке неизвестного Татьяне ведомства и оттого ставший для нее «чиновником вообще», он был молод, приплизан, коричневы глаза его блестели и маслянились, когда он поглядывал порой на Та тьяну. Двуглавые орлики на золотых пуговицах не были штампо ванными, а вырезаны (не очень искусно) отдельно и привинчены к ним. Татьяна видела такие на парадных мундирах знакомых ст дентов-белоподкладочников, но на простом дорожной тужурке и не у студента выглядели они и для нее подчеркнуто неумно. Дру гой был инженер, также в тужурке, но явно рабочей и немного за саленной. Лицо его было серо и беспорядочно, коротко зарос две-три бородавки казались кочками между кустарника. Небольш глаза от усталости переходили к большому напору и порою я тельно блестели.

– Россия всегда объедалась пространством,– услышала Тать на, входя,– и ей просто напросто необходима диета.

Инженер был худ и подвижен; казалось, что политические взгляды в данном случае совпадали с простым физиологи ощущением человека, которому противно громоздкое, и сонное.

– Вы изволите говорить неисторично и негосударс но,– лояльно возразил чиновник, усеянный золотыми п ми.– Россия – гигант между двумя океанами, ей нужен пр

– Вы это от кого-нибудь слышали,– быстро и не стес но, как бы коротко плюнул инженер.

При слове «неисторично» Татьяна насторожилась и б сочувственный взгляд на чиновника, но ей пришлось отпр так нехорошо он покраснел при нескромной, предприимчи

ке инженера; было видно, что тот угадал. Татьяна закуталась в платок и слушала дальше.

— Неисторично! — заявил инженер.— История не в одних только войнах и перераспределениях территорий. Настоящая история в том, как живется трудящимся. Поняли? И вот в этой области сдвиги — они действительно историчны. А канцелярии ваши,— он, как булавкой скользнул по орлам, — это, простите меня, навинчено сверху, это можно и скинуть.

— То есть как это скинуть? — загорячился чиновник.

— А как скидают: очень просто.— И он сделал едва уловимое движение пальцами; пальцы его были худые и нервные, ногти, пожалуй, и грязноваты.

— И потом, что это значит: м о и канцелярии, ну, а ваши? (Инженер усмехнулся.) И что это значит: трудящиеся? Разве мы, например, с вами не трудимся?

Инженер не удостоил ответом ни одного из вопросов. Он продолжал по существу:

— Второе: «негосударственно». Но ведь давно уже сказано: не человек для субботы, а суббота для человека. Это прежде всего относится именно к государству, да, пожалуй, и к государственникам — таким вот, как вы! Ведь не станете же отрицать, что вы кормитесь при государстве?

— Это уж вы несколько с лишком.

— А государство должно быть слугою для тех, кто действительно его создает. И, наконец...

— Вас слушает молодая девушка, — неожиданно произнес предостерегающе и даже как бы с обидой чиновник.

Он поджал свои полные губы, но им было тесно, и они плохо сжимались; Татьяна, заметивши это, не могла не улыбнуться.

— Да, я слушаю,— отозвалась она.

— А еще вы сказали: простор, — продолжал инженер, бегло взглянув на Татьяну и вряд ли, однако, видя ее.— Да, это верно: простор для России действительно нужен, только не тот, о котором вы думаете.

Он медленно и не спеша, как если б затягивался папироской, вдохнул и выдохнул воздух и замолчал.

Чиновник почувствовал, видимо, необходимость реванша. Во время длительной паузы он несколько раз перебирал, как бы ища в них вдохновения, свои золотые шершавые пуговицы и наконец разрешился.

— Все это, что вы говорите, философично и отвлеченно, а государство, империя,— он выпрямил грудь,— это есть факт; и родина также,— неловко добавил он это более теплое слово.— И когда есть война и государство в опасности, то философией не побеждают. Мы и в тылу должны быть мобилизованы, и каждый из нас на своем посту — как солдат. А у нас, как известно, есть поражения, позор!

Воскликните вместе со мною: позор! — и, невзирая на все различие взглядов, мы пожмем руки друг другу и перейдем к чему-нибудь более (он мимолетно взглянул на Татьяну) — более, я бы сказал, приятному... интимному, да.

Инженер хотел ему что-то ответить, губы раскрылись уже, но он тотчас же их крепко замкнул. Через нос он опять, глубоко, с легоньким свистом, потянул в себя воздух и ладонью потом потер около сердца.

— Я подышу немножечко там, — сказал он Татьяне и вышел.

Татьяна молчала. Молодой человек с блестящим пробором был бы искренне огорчен, если б узнал, что лощеная его декламация не имела успеха. Но так как ему самому речь его очень понравилась, то он был спокойно уверен, что произвел и на соседку должное впечатление, — он мило ей улыбнулся и розочкой приоткрыл свои полные губы.

«Неужели я в самом деле, — думала между тем про инженера Татьяна, — неужели он хочет, чтобы японцы нас разгромили совсем?..»

— А вы далеко изволите ехать?

— Я в Феодосию.

— К солнцу и морю? — сказал собеседник с карамельною приторностью. — Я думаю, к вам загар очень пойдет. Я в этом отношении, как видите, прогрессивен... Да и что [illegible] в чем... — И он зашевелился на месте, передвинувшись [illegible] на два-три вершка.

С его розовых губ солнце и море, дорогие, живые для Татьяны слова, сошли олеографией, и она это сразу почувствовала.

— Неинтересный для вас разговор, — продолжал между тем, не унывая, сосед и, еще придвинувшись ближе, конфиденциально добавил: — А какой неприятный, говоря между нами, наш спутник. Не правда ли?

— Напротив, — сказала Татьяна, вставая и крепко, обеими руками, держась за платок на груди, — напротив, он мне очень понравился. И то, что он говорит, об этом мы все обязаны думать.

Тем же маршрутом, ходом улитки, молодой человек отодвинулся на прежнее место.

За минуту до этого Татьяна даже не подозревала, что надо думать о том, о чем говорит инженер, но мысль не всегда приходит до слов, нередко мысль свою мы слышим впервые и ловим из собственных уст; это бывает всегда, когда родится она горячо.

Чиновник замолк, и Татьяна забыла о нем.

В первый раз в жизни путешествовала Татьяна Ганецкая. С этой своею свободой она скоро освоилась и выходила на станциях. Ей доставляла большое и свежее удовольствие сутолока и пестрота вокзальной толпы. Это была смесь города и деревни, чемоданов, картонок, узлов и мешков; шляпок, вуалей, деревенских платков и маленьких косыночек; котелок и картуз, китель и [illegible]

стремительно бегали за кипятком и неторопливо лущили подсолнухи; ели бифштекс и очищали зубами жирную воблу; разбавляли мадеру холодной струею сифона и опрокидывали у стойки граненый стаканчик очищенной. На станциях были большие киоты с лампадками и с редкими одинокими свечками, напоминавшими почему-то фигуры солдат на лубочных картинках: где-нибудь далеко — «на сопках Маньчжурии»; весьма вероятно, что и ставили их старушки матери, молясь за своих далеких сыновей. Несколько раненых — костыли и бинты — выбирались на площадку: хоть издали полюбоваться на мирную и богатую жизнь, которая и отражалась в начищенных кирпичом медных блестящих боках самовара и как бы воплощалась в жарком его монументальном чреве.

Воздушные песенки жаворонка, несущие в себе росистое утро, и свежая мгла вечерних хлебов с проворными стежками перепелиного крика, дающими ощущение земного простора, сменялись кипучим движением людей, горячими выкриками, где восковая французская фраза переплеталась с рассыпчатой русской руганью. Лощеный чиновник, сделавший через окно раза два глазки хорошенькой дамочке с родственной пухлостью губок, перебрался в соседний вагон, бежав с поля битвы; с инженером Татьяне трудно было разговориться. Он возбуждал к себе большой интерес, но было в нем что-то похожее на глубокое место; Татьяну манило, но плавать она не умела.

На какой-то большой ночной остановке Татьяна открыла глаза и тотчас же полуопустила ресницы, еще отяжеленные сном и темнотой. Неизвестный человек вошел к ним в купе. С инженером тихо они переговаривались, и Татьянин сосед передал вошедшему сверток — пакетик бумаг, который тот глубоко засунул себе, почти на плечо, под суровую куртку, напоминавшую смоленый брезент.

Татьяна сначала подумала, что это новый пассажир; ее немного смущало все-таки, что она оставалась в купе вдвоем с инженером. Но скоро она догадалась, что встреча эта была условленной заранее.

— У нас ничего, организация крепкая, — ответил вошедший на какой-то вопрос инженера.

Сквозь частокол ресниц Татьяна увидела, как он закивал головой и как у него пресмешно, как у лошадки, задвигались рыжие уши. Инженер его взял за плечо.

— Главное — помни: никаких преждевременных выступлений. Не надо мариновать, но и пивыряться народом нельзя. Организованность и одновременность — это главное.

— А ты далеко теперь?

— К Стамболи, на фабрику. Для осмотра машин.

Татьяна удивилась, что и брезентовый человек говорил с инженером на «ты». А Стамболи — это ведь, кажется, в Феодосии: отец ее курил табачок от Стамболи. По-детски представились они ей кон-

грабандистами, а непонятный ночной разговор — свиданием разбойников у костра. Свет бил прямо в лицо, и, полусонная, Татьяна зашевелилась под своим одеялом.

Когда поезд тронулся и инженер вернулся с площадки, расставшись с приятелем, он развернул газету и полез наверх, к фонарю. Это последнее совсем уже было в стиле разбойников. Едва преодолевая сон, Татьяна приоткрыла уголок глаза и увидала, что инженер затеняет свет, чтобы он ей не мешал. На сердце Татьяны стало совсем спокойно, и она сама расслышала мирное свое посапывание. «Разбойники в сказках — они всегда добрые», — это было последнее, что она еще успела подумать, и тотчас увидала равнину, подернутую синевой, и на горизонте ветвистое коричневое дерево.

Приглядевшись к равнине, она поняла, что это была не земля, а вода. Стало быть, море: какое оно непохожее! И Татьяна нагнулась, чтобы подобрать платье. Тогда к ней подскочил чиновник с орлами и руку согнул крендельком. «Надо бежать! — сказал он и улыбнулся. — Бежимте со мной! Они вас погубят!» И улыбка была у него мертвая, страшная, и синие губы, как у утопленника. Татьяна закрыла глаза и с силой оттолкнула его, а когда она их снова открыла, то увидала себя в маленькой лодке, и с ней инженер, а на носу человек, и уши у него шевелятся, а у плеча сильно приподнято. Они подвигаются к дереву, а дерево [illegible] от них, и Татьяне не страшно ничуть, но сердце щемит непонятною болью.

Проснувшись, Татьяна забыла свой сон.

И опять перед нею замелькали станции, избы, поля, а когда, как усталость от солнца, засветился [illegible] вечер молодой, зеленоватый на небе серп полумесяца, Татьяне показалось, что воздух — соленый и непонятный, томящий грудь неутолимою жаждой. И вдруг она увидала не так далеко от пути сплошную равнину — ни единого деревца на горизонте. Тоненький месяц, как ножик бумагу, прорезал своим острием легкое облачко. Татьяна следила за ним, а когда он вырвался наконец на свободу, она невольно как бы окунула глаза: месяц лежал перевернутый в синеватой равнине, как если б упал, и упал глубоко. Татьяна стояла, внезапно запыхавшаяся, как будто бежала на обгонки и наконец прибежала. Она прижала обе руки к груди, как всегда это делала, когда волновалась, и сказала сама себе, едва переводя дух:

— Но ведь это же море!

IV

На большой карте генерального штаба в кабинете отца Татьяна глядела не раз на этот черный кружок, именуемый Феодосией. Москва была центром, Феодосия, море — окраиной.

Теперь Татьяна лежала в кровати, в сером с колоннами [illegible] с деревенским парадным крылечком и флигелями. За окном [illegible]

дождь и каштаны; окно не закрыто, и занавеска колеблется, умеряя порывы теплого влажного воздуха. Отдаленный фонарь кидает на стену отраженный и слабый отсвет, и на стене колышутся тени, набегая одна на другую: безмолвные всплески листвы; похоже на море. И весь этот город, раскинутый около вод легким, немного взъерошенным полумесяцем, с небольшим и убегающим горбиком гор, и эти деревья, и серо-голубая гимназия, и дождь за занавеской, и бег листвы, и сама Татьяна Ганейзер, п у т е ш е с т в е н н и ц а,— все это заключено в небольшом черном кружке (в кабинете отца) на разделенной квадратами штабной карте России. И теперь этот кружок уже не окраина, к которой, чтобы ее поглядеть, надо было нагнуться, теперь это центр бытия, и уже отсюда, из центра, располагается весь другой мир.

Татьяну немного с дороги качает, и это приятно: как если бы приехала на корабле... Впечатления этого первого дня бегут в беспорядке, но и в гармонии они — как эта листва, играющая на стене, перекатываясь и переливаясь: она убегает и остается и, оставаясь, не пребывает в покое.

После Джанкоя Татьяна считала восьмая остановка; кто говорил — Феодосия, а местный люд ее называл Сары-Голь. Этого местного люда, без стеснения забившего [illegible] и буфера, было множество: тут были евреи и караимы, греки, армяне-торговцы, рабочие, портовики; их перекличка между собой в утреннем воздухе — как солнце на гребешках мелкой волны и как в неводе рыбья пестрая чешуя. Все они сильно горланили и порывисто жестикулировали. Поезд, однако, тронулся дальше, и когда он уже тронулся, входная дверь с шумом открылась, и боком оттуда влетело красное шелковое солнце зонта. Одновременно чья-то за солнцем рука с целою связкой серебряных тонких браслетов сдвигала его, и из-за него на Татьяну устремились два черных глаза.

— Танька! Нашла! Это ты? Наконец-то! Там целый базар, едва пробралась!

За тетей Евгенией в открытую дверь было видно Татьяне целое скопище белых двойных полосок зубов: все было залито смехом! Невольно она и сама рассмеялась, но на улыбку ее горячим дождем обрушились быстрые поцелуи. Красная, со взбитой прической, наконец и она схватила тетю за руки повыше локтей и отодвинула ее от себя.

— Как ваше здоровье? — спросила она. - Откуда вы взялись?

— Какое здоровье? — недоуменно возразила Евгения и тотчас догадалась: — Ах, это ты про телеграмму! Да я ж наврала! А то бы тебя не отпустили.

И обе они принялись хохотать.

— Девочка тоже, гляди, хороша: как цветок! — услыхала Татьяна из-за дверей и залилась ярким румянцем.

— Поздравляю! — воскликнула тетя, ничуть не смущаясь. — У моряков, я всегда говорила, есть вкус. И одинаковый вкус!

— Пойдемте в купе!

Но и, входя в купе, Татьяна вносила с собою в зрачках молодого матроса, протянувшего крепкую руку поперек входной двери, у него были немного озорные, смеющиеся глаза и белые неровные зубы; тоненькая серебряная цепочка уходила по обожженной груди за воротник.

В купе Евгения Васильевна, к изумлению Татьяны, радушнейшим образом кинула обе руки навстречу инженеру.

— Григорий Григорьевич, здравствуйте! Вот уж не думала застать вас с племянницей в тет-а-тете! Вы всю дорогу вдвоем? И не увлеклись моей Таней? Впрочем, куда вам, безнадежно, ведь вы сухопутный экземпляр! Надолго ли? Ну что в Петербурге? У нас тут кипит, как в котле. Одесса, слыхали?

Инженер улыбнулся, но на слова был несколько скуп.

За обедом Евгения Васильевна опять его вспоминала, но уже называла его сокращенно «Гри-Гри».

— Этот Гри-Гри ни-чего, ни-чего не понимает, кроме своих прокламаций, массовок, кружков! Я сама это очень люблю, то есть ты понимаешь, это огромное дело! Каждый из нас обязан принять в этом участие. В последнем номере «Освобождения»... Ты знаешь, я его получаю на библиотеку в каталогах книгопродавческой фирмы в Берлине... Мне, как начальнице гимназии, их доставляют безо всякой цензуры...

— Тетя, и вы пораженка? — спросила Татьяна, серьезно взглянув на нее; это слово в вагоне ее поразило, и она впервые сейчас даже с заминкой, употребила его.

— Откуда ты знаешь? — воскликнула с живостью тетя Евгения. — Конечно же, да! Царизм осужден на погибель, и все это надо ускорить! И эти Гри-Гри и Ершов...

— Я не знаю Ершова, — ответила с некоторой суховатостью в тоне Татьяна.

— А этот матрос, что в вагоне! Ты уж забыла! Ваня Ерш...

Татьяна его не забыла. Пока они ехали от Сары-Голя (Феодос... тож) и Татьяна глядела на море и дачи, а тетя Евгения ей перечи... ляла: «Это Куломзиной... а вот Филадельфина... А это Суворин — п... петь ненавижу! А это милейшего Крыма... а это Ламзин!» — и пла... мелькали дома и купальщики, Татьяна сердилась и... нет русско... точного слова, чтобы передать, как сквозь сердце, как из разво... ченной пашни, прорастает молодая острая зелень, буравя плоть... и ничего с ней не поделать; так вот: и сердилась, и одновремен... это зеленое безыменное «не!».

А когда сходили на «городской Феодосии» и с нее стали при... вать смешную доплату в тринадцать копеек, а она не могла сра...

найти у себя в сумочке такой маленькой мелочи, Ершов еще раз созорничал.

— С меня семь копеек,— сказал он, посмеиваясь,— семь да тринадцать — ровно двугривенный. На, получи!

Он кинул монету ждавшему сборщику, повел, расправляя плечами, и скрылся в толпе.

Татьяна тогда растерялась и не успела его остановить; тетка беседовала с худенькой простенькой дамой в пенсне.

— Я зову ее «милый акафист» — толстовка! Она уж всегда за кого-нибудь просит. Туберкулез у нее, сельская учительница... Живет теперь здесь...

Татьяна от тетки скрыла свой странный, похожий на ветерок, мимолетный роман с Ваней Ершовым. Не ему ли писал этот матрос из Носи-Бэ?

— Так я говорю: и Гри-Гри и Ершов, — продолжала, мешая ложечкой кофе, Евгения Васильевна, — но только Ершов... Он уезжает нынче же ночью,— жаль тебе? Он удивительный парень, он понимает! У него тут роман, я тебе расскажу...

— Тетя, зачем мне романы Ершова? Ну посудите вы сами!

Тетя Евгения немного обиделась. Она опустила глаза и задумалась.

— Видишь...— сказала она [illegible] и не продолжала.

Со старенькой деревенской [illegible] они перешли, виден был порт и корабли. Небольшой [illegible] казался игрушечным; такой же забытою кем-то игрушкой стоял на бульваре памятник Александру III, Генуэзская башня, изгрызенная веками, рядом с ним была как ихтиозавр рядом с дельфином; эти два памятника на крохотном кусочке земли создавали густое ощущение времени. Татьяна легонько вздохнула; это был полуосознанный вздох о краткости человеческой жизни: юности свойственно импульсивное это сжимание сердца. Тетя Евгения называла племяннице горы, дома.

— Это ф о р п о с т,— говорила она, звеня серебром на руке по направлению как бы нарисованных, одна над другой, черепичных крыш.— А это гора Митридат. Там между колоннами — видишь?.. это музей, по проекту самого Ивана Константиновича.

— Вы, тетя, всех знаете, а я никого. Какой Иван Константинович?

— Ах, Айвазовский. Ну как же не знать! Он умер. Я повезу тебя в его галерею...— И она начала распространяться об Айвазовском.

— Так что же там, между колоннами? Вы начали и не досказали.

— Фанагорийские львы! — воскликнула с новым одушевлением Евгения Васильевна.— Их привезли на пароходе из Керчи. Там тоже гора Митридат и раскопки. Хочешь, поедем? У меня есть оттуда слезинцы, я тебе покажу! Я часто думаю о женской судьбе того времени...

И Евгения Васильевна вдруг перешла к истории Татьяниной матери. У нее была своя логика.

— Ты уж большая теперь, тебе это можно... Да и ничего в этом постыдного нет. Все это наше подлое время с условностями и предрассудками. Вот почему я всею, всею душой за эмансипацию женщин! Жизнь, дорогая Танюша, одна, и жизнь коротка!

Это последнее восклицание тети Евгении тронуло девушку: оно тайно совпало со смутным ее ощущением, вызвавшим вздох.

— Он не был матрос, он был музыкант и певец, то есть рыбак. Он был красив, очень, Татьяна, красив! Я девчонкой была и его целовала во сне, и не стыжусь! Он приносил к нашему дяде — мы жили у дяди — свежую рыбу и там на кухне болтал. Он был и суров, не был болтун, но у нас он любил расположиться... И он пел и играл на окраине, он был очень беден, ну, знаешь, как в сказке... а мы как принцессы, и Ольга так хорошела, так хорошела при нем! Она ведь немножко всегда была подмороженная, а тут — не узнать, и глаза становились как бархат... А львов-то тебе, пожалуй, не видать. Возьми-ка бинокль! — И тетя Евгения, как девочка, побежала в комнату.

На пороге она споткнулась и упала, проехавшись руками по полу; серебряные обручи глухо зазвенели, как если бы кто неосторожно потревожил сокровища в гробнице самого Митридата. Татьяна испуганно бросилась к ней и, обняв, подняла ее с пола. Она увидала смеющееся лицо и слезы, смочившие щеки. Слезы не капали, и Татьяна сообразила, что и побежала, и ее неугомонная тетя только затем, чтобы там незаметно вытерпеть их. Она обняла и с искренним чувством ее поцеловала.

— Да вот он, на столике, — сказала Евгения и вместе с биноклем прихватила кружевной свой скомканный платочек.

— Ну что там долго рассказывать! Ах, да! Он еще был канареечник! (Татьяна тотчас ощутила знакомый ей с детства запах канареечного семени и увидела мать у тонюсенькой клетки; там над чашечкой свежей воды нахохлился желтый пушок канарейки Мимозы, — бедная мама!) И вот раз в воскресенье, дядя уехал к себе на плантации — он поставлял для Стамболи! — мы убежали к Евстафию... ну, рыбаку, и он нас угощал: сам зажарил нам рыбу, а потом мы пили чай без ложечек и с баранками. Ах! Не знаю, поймешь ты! На солнце плавала пыль и пахло рыбой, а канарейка пела как солнечный луч. Я была очень мала и глупа, но я догадалась, я угадала подсолнух на огороде и сказала, что хочу его поглядеть. «Пусть они поцелуются, — подумала я, — а потом, когда уходить, и я его поцелую...»

Позже Татьяна разглядывала слезницы из Керчи; это были узенькие слюдяные, мутно-серого цвета фиальчики, в которые плакальщицы собирали, идя за гробом, слезные капли и хрупкие сосуды оставляли в гробнице; смутно возник образ прабабки [illegible] голки. Тяжелые грузные, полные перемен, проходили века, [illegible]

усохли и въелись серыми пятнами в стенки. У тети Евгении в двух из слезниц стояли гвоздички, и, невзирая на всю алую их жизнерадостность, невольно этот цветок стал для Татьяны скорбным цветком. Слезницы сейчас у нее не было, и слезы свободно катились одна за другой из-под бинокля. Она слушала повесть о матери, о канарейке и глядела сама на узких бокастеньких львов, головастых и гладко облизанных временем; их было два — в каждом стекле по одному. Они были влажны и зыбко туманились, как и глаза, как и стекла бинокля. Непривычно ей плакать, но она этих слез не замечала.

— А потом... Это уж было совсем романтично. Это придумала сама Ольга. Мы вместе удрали из дому — на рыбную ловлю, на ночевку! Ах, рыбы какие под месяцем! Я даже и про влюбленных забыла. Морская вода так и хлещет по голым коленкам, юбка мокра, и море необыкновенное. Ольга нагнется ко мне и шепчет: «Я убегу! У меня ожерелье... Прямо в Константинополь... Честное слово!» И знаю, что никуда не убежит, а сладко и жутко. «Я, говорит, не могу больше жить с этим своим законом!» Ты извини, ты не обижайся, я очень твоего отца уважаю, но [illegible] реакционер! Терпеть ненавижу!

Татьяна опустила бинокль [illegible]лись; карандашный горбатый силуэт реакционера [illegible] глаз.

— Да, да! Я не говорю [illegible] Ему донесли, кто-то из обывателей [illegible] по телеграфу. Ну все это пусть! Но [illegible] тоже исчез из Феодосии... администрация [illegible]

— Это не может быть! — вскипела Татьяна.

— Танечка, это был факт.

V

Надо было прийти Дмитрию Ивановичу Пискаренко, художнику, чтобы этот острый укол немного затих. Это был бородатый мужчина изрядного роста, широкоплечий, в толстовке. Не заросшим у него оставался только нос. Глаза маленькие, хитро-добродушные, к тому же он щурил их немилосердно.

Тоненьким голоском, как только вошел, он попросил себе водочки.

— На улице пыль, и в горле [illegible]. Чтобы прочистить, надобно маленький шкалик, водочки шкалик! — И он засмеялся своей прибаутке.

Тетя Евгения вынесла водочки, а он заложил за спину руки (руки огромные) и весь изогнулся и запрокинул винтом голову кверху, чтобы в ладонь снизу, на воздухе, поцеловать «благословенную, да[illegible] ручку».

Выпил он «по-христиански», как он сам определил, пригнулся, поохал, откинулся, повел, в ниточку сощурив, глаза на тетку и на

племянницу и медленно стал подносить рюмку ко рту, одновременно вытягивая еще более медленным темпом заросли нижней губы; когда ж наконец стекло с нею встретилось, он вовсе сомкнул свои веки, вовсе над рюмкой навис и одновременным движением руки и головы отправил горячий напиток в якобы пыльную глотку.

— Здорово, Митрий, губы не забудь вытри! — хихикнул он, подмигивая одновременно глазами и мелкокудрявой растительностью дремучих усов: губ не было видно. Потом он горбиком сдвинул всю кисть руки вправо, а влево отвел, круто согнув, большой палец, сразу ставший культышкой, и крепко им, в обе стороны, вытерся.

Потом появилось вино и печенье: Евгения Васильевна знала вкусы бородатого гостя.

— Тоже, как вы, ре-во-лю-цио-нер-ка? — протянул он лукаво, кивнув на Татьяну.

— А вы ре-ак-цио-нер? — отшутилась Татьяна сама, уже к гостю привыкшая и так же, как он, растягивая слоги.

Дмитрий Иванович шутил и смеялся, но тут стал серьезен.

— Ни то и ни то, — сказал он увесисто. — Я только художник.

— «Добру и злу внимая равнодушно»? — попробовала подсмеяться над ним Евгения Васильевна.

— Зачем равнодушно? Равнодушны только коровы, — невозмутимо отозвался художник. — Нет, мне все интересно.

— Интересно?

— Вот именно. Жизнь есть движение, а значит, рисунок. Вы видали когда-нибудь, как рисовал Леонардо?

— Вы говорите так запросто, как будто это один из ваших друзей!

— Он и есть лучший мой друг, если не считать вот этого, — и он поглядел на свет рюмку.

— А я думала, вы скажете: не считая меня!

— Евгения Васильевна! — патетически воскликнул художник и стал в театральную позу.

В полном противоречии с этой его декоративною позой оказались ботинки, они были рыжи, и с ужасом Татьяна увидела, что он был без носков.

— Евгения Васильевна! Дружба мужчины и женщины всегда проблематическая! Чувства мои к вам, собственно, вовсе иного рода...

— А что же без прибаутки?

Художник подумал и раздельно продекламировал, скандируя строки:

Со дней мироздания
Не было труднее задания:
Найти в миротворении
Что-нибудь лучше Евгении!

Впрочем, сказав этот экспромт, он и сам немного смутился и потребовал ручку.

— Вы тут посидите,— обратилась к нему Евгения Васильевна,— у меня нынче совет, и мне надо переодеться. С Таней вы не соскучитесь, а сейчас... Танечка, на минутку!

— Я не знаю, удобно ли, тетя,— смутилась Татьяна, когда они в спальной заговорили об экзаменах.— Станут говорить, что все это слишком по-родственному!

— Вот пустяки!— загорячилась Евгения.— Всего не переслушаешь, что говорят. Ты видишь, как я себя ни в чем не стесняю — в знакомствах... и в убеждениях! Вся эта казенщина очень мне надоела, и все это скоро... скоро... «Зачем мне романы Ершова?» — кажется, так ты спросила. Видишь, теперь я скажу тебе.. Я, может быть, только сейчас поняла. Я всегда думаю несколько позже...

Тетя Евгения сбросила платье, на тонких руках ее тихо, как дождевые капли, позвякивали серебряные обручи. Признавшись, что «думает позже», она улыбнулась, как бы извиняясь, что с этим уж, видно, ничего не поделаешь. Татьяна глядела и думала: «Она — как подруга. И еще неизвестно, кто из нас старше».

— Видишь... это же жизнь! Надо, не знаю, надо — все, понимаешь? Все живо, и все бежит [illegible] в канареечной клетке! Ну вот!

«Она как морской ветерок!» — подумала про себя Татьяна, но ничего не сказала.

— А об экзаменах я на совете скажу!

— Не надо.

— Не спорь!

Когда Татьяна вышла к художнику, она сразу заметила, что бутылка вина была как пустая слезинка; художник дремал. Однако шаги человека он тотчас услышал, как чуткий зверь.

— А я без вас думал... о вас,— сказал он, приоткрывая глаза.— Вы очень молоды и, конечно, обуреваемы чувством... понятием несправедливости в мире. Но справедливости нет. Каждый ее понимает по-своему, и, чтобы нечаянно не ошибиться, я ничего.. так я решил: я ничего не знаю о справедливости! Я знаю и вижу борьбу, а борьба есть движение, а движение есть красота.

Татьяна необычайно заволновалась. День этот был для нее пестрый и яркий, как восточный платок на ветру.

— Что вы скажете о человеке, — внезапно спросила она, — который, воспользовавшись силой, причиняет другому зло?

— А именно?

— Не все ли равно? Ну, высылает, положим... за пределы губернии. А тот совсем невиновный!

— Он генерал — высылающий?

— Допустим.

— Война. Генерала убьют. Не на войне, а в карете. Скрещение двух справедливостей. Обижаться не надо.

Проговорив это, как Пифия, он опять призакрыл один глаз.

«Что за человек!» — подумала Татьяна. То, что он сказал, было жестоко, даже, быть может, цинично, но в то же самое время у нее было такое ощущение, что с этим нельзя не считаться.

— Вы знаете, я засыпаю, — пробормотал между тем Пискарев-ко. — Это, должно быть, от пыли. Проводите меня.

Евгения Васильевна смеясь, отпустила племянницу. Она была во всем черном, и даже строга, невзирая на смех.

— Ты очень, Татьяна, права. Я устрою тебя в другом месте. Я поговорю с Иваном Ивановичем.

Желтый, палевый вечер дохнул им в лицо. В маленьком городском саду с полуоткрытою сценой тихонько настраивали скрипку. Скрипач был похож между зелени на сухощавое насекомое неведомой породы.

— Это он просит пить! — сказал художник и взял Татьяну под руку; походка его была неверна. Пройдемте немного повыше. Не хочется в город.

Они направились вверх [illegible] переулками.

«К. И. Ведмедь, — прочитала [illegible] домовладельца. — На дворе есть собака. Стучите!» [illegible] для большей убедительности словесного предостережения [illegible] нарисована на воротах, ноги у нее были раскинуты в [illegible] уши болтались.

— Смотрите! Смотрите! [illegible] Хозяин «ведмедь» и собачка немного похожа на медведя!

Дмитрий Иванович расторопен и поцеловал ее руку.

- Оставь! Негодяй! — закричал он внезапно и, бросив Татьяну, кинулся за мальчишкой, который перелез в птичку.

Мальчик оторопел на минуту, но тотчас пригнулся бежать, а художник не сохранил равновесия и упал. И сам, как медведь, поднялся он и поглядел на свою руку сначала, потом на Татьяну. Ладонь была исцарапана в кровь.

Нет, это совсем не скрещение справедливостей, — отметила на тайную Татьянину мысль. Тут справедливость одна.

«Что это нынче все лаются?» — подумала между тем Татьяна. Точно невидимое землетрясение. И она попросила показать ей нагорийских львов.

Это были уже окраины города. На тех серых остатках [illegible] ской стены; издали она была похожа на гигантскую черепицу, [illegible] шенную вниз по откосу; от времени или от сотрясения в [illegible] стах у нее выпали зубы. Монастырь св. Ильи маячил высоко на [illegible]

Музей был закрыт, и львы молчаливо глядели на полдень.

- У них такие же узелки вот тут, как у вас, — сказал Пискарев.

ко, делая движение рукой к глазам Татьяны, и добавил, подумав: — Я их очень за это люблю.

Татьяна почувствовала, что это последнее относилось немножко и к ней.

И, лежа в постели теперь, перебирала она длинный свой день — фразу за фразой и человека за человеком. До нее доносилась глухая перекличка собак. Возвращаясь с горы, они видели еще много таких же портретных изображений на воротах, как и у К. И. Ведмедя.

— Это не вы рисовали? — спросила она шутя художника.

— Нет, это не я, но я уважаю того, кто их рисовал. Я хотел бы с ним познакомиться.

Дмитрий Иванович жил далеко — у тюремного замка, против сенного и дровяного базара. Назад шла Татьяна одна, ей захотелось увидеть вечернее море. На улицах уже зажгли фонари, в порту вспыхнуло электричество, и за этой световой завесой пароходы и лодки сразу ушли в синеватую тьму. Они теперь покалыхивались, как смутные остовы гигантских неведомых рыб.

На бульваре был щебет, гулянье. Гимназистки прогуливались здесь с офицерами, — для Татьяны это было непривычно и ново.

— Пойдем-ка отсюда, — говорил длинный гимназист в очках. — Свои надоели!

— К стамболийским гимназисточкам, что ль? — отозвался другой. — Пожалуй, оно веселей.

На Итальянской, куда за ними вышла Татьяна, было еще более людно, чем на бульваре. У табачной фабрики она увидала группу девиц. «Должно быть, это и есть стамболийские гимназистки!» — догадалась она и не ошиблась.

— Убирайся от нас, черт долговязый! — крикнула одна из них и ударила по рукам гимназиста: остальные его подняли на смех.

Внезапно Татьяна увидела утреннего своего матроса. Он стоял к ней спиной, в обеих руках держа руки невысокой красивой девушки.

— Ты нынче уедешь, — говорила, смотря снизу вверх, эта «стамболийская гимназистка», — а завтра табак мне все очи выест.

Она говорила как будто печальное, а черные глаза ее смеялись и губы прыгали в улыбке. Руки ее были, должно быть, горячие упругие и плотные, — такой она была крепышок. Около уха в черных ее волосах воткнут был веселый красный цветок. Татьяне очень понравилась эта феодосийская Кармен. Задорная, крепкая бодрость шла от нее, юг и загар заражали московскую девушку. «Ага, — подумала она, внутренне засмеявшись и с озорством в свою очередь, — вот когда я тебя, Ершов, припеку!» Из серебряной сумочки достала она маленький свой кошелек и с радостью отсчитала розовых тринадцать копеек. И только когда подошла и тронула его за плечо

и сказала, только тогда сама себе удивилась, как развязал ее теплый вечер у моря.

— Вы за меня заплатили: возьмите мой долг.

Он обернулся и отпустил одну руку возлюбленной. Рука у нее заболталась по воздуху, но тотчас же она ее подняла и поправила красный цветок в волосах. Никакого смущения не отразилось на ее открытом лице, одно любопытство.

— Ты с кем это спутался? — спросила она, и грубый этот вопрос в ее интонации прозвучал нимало не грубо.

— А я знал, что вы будете помнить, — засмеялся Ершов. — Кабы не нынче мы отплывали, зашел бы и сам к тетушке вашей. Я за веселость очень ее уважаю.

— Ну вот и прекрасно, — сказала Татьяна смущенно. — Берите же!

Вместе с деньгами он прихватил и пальцы ее; одна из монет прижалась неловко и больно, но девушка руки не отняла.

— Кабы не Катя, — нынче прощанье у нас! — так, ей-богу, пошел бы вас проводить, вечерок погуляли бы.

— Вот дурак-то! — воскликнула Катя. — Да чего ж ты ей про меня объясняешь?

— А может, я и ее тоже люблю.

Катя весело ударила его по руке, и он отпустил Татьянину кисть. В эту минуту все тот же длинный в очках гимназист задел, проходя, локтем Татьяну.

— Нехорошо с матросами, — проворчал он негромко. — Лучше бы... Ай! — И отскочил, схватившись за бок.

— Эй, бабушка... А ну-ка сюда! — крикнул Ершов старухе цветочнице как ни в чем не бывало, словно бы кулак его не проделал только что движения мины в бок гимназиста. — Ну что же ты, божья старушка!

Сморщенная, будто залежавшийся в подвале лимон, коротенькая старушка цветочница продвинула вдруг между людей целый маленький сад. Ершов кинул ей Татьянины деньги, точь-в-точь как там, на вокзале: жестом богатого человека, привыкшего раскидывать целые состояния направо и налево. Катя окунула лицо в цветы и приняла живейшее участие в выборе.

— Вот этот возьми, — говорила она, вытаскивая лохматый серо-голубой прис, — он будет поделикатней... Или вот этот!

Татьяна спокойно могла бы уйти, но, когда они оба стали копаться в цветах, она почувствовала себя побежденной.

— И повихрастей, — добавил, мотнув головою, Ершов.

Они не спешили, как будто вовсе забыв про Татьяну; знали, должно быть, что не уйдет.

— Ну и опять же памятка будет у вас! — с весельем и торжеством обернулся Ершов.

Татьяна взяла два торжественных ириса и поблагодарила; она была смущена.

— А вы куда уезжаете?

— Прямо в Одессу,— ответил Ершов и, подумав, добавил:— Нынче там жарко!

Татьяна не поняла. Она думала о другом и, лишь отойдя шагов на двадцать, сообразила, что хорошо бы самой купить у старушки и передать цветы... не ему, а ей! Она в замешательстве остановилась, поколебалась и решила, что нет, что теперь уже поздно.

Тетя Евгения еще не возвращалась. Татьяна устала, легла. Как странно он любит, и как у них это все хорошо! «Вечерок погулять бы...» И погуляли бы! И не побоялась бы с ним! Это не то что с лощеным чиновником из купе. С этим — коричневым? Да ни за что в мире! И, однако же, это он сказал: всякий на своем посту! Где же мой пост? А ведь Гри-Гри передал прокламации... Это наверное. А отец говорит... расстрелять или повесить! «Я не хочу жить по сводом законов!» Бедная, бедная канарейка Мимоза... В ней что-то общее с тем — с рыбаком, с музыкантом... И цветы все-таки надо было купить! Нет, нет, вовсе не надо. И справедливости нет. А если нет справедливости, то нет и любви и ничего вообще нет. И зачем тогда жить?» Татьяне хотелось заплакать. Но она уже и без того нынче плакала, это ей непривычно, и глаза ее, точившие слезы, узелки ее глаз были похожи на узелки у львов. Но львы ведь способны к прыжку, она же лежит кренделькой под набегающей тенью листвы и, кажется, уже засыпала и просыпалась. Однако же как это нет справедливости! Как это нет любви? Надо, чтобы было все!

— Ты уже спишь?

— Да, тетя Евгения! Нет, я не сплю!

— Ты знаешь, Одесса...

Одесса — такая же черная точка на карте отца. Туда едет Ершов. Быть может, как раз сейчас отплывает его пароход. Что он сказал про Одессу?

— Тетя, в Одессе — там жарко?

— Откуда ты знаешь? Да, да... Там как будто утихло, а теперь закипает опять. Я после совета... Завтра садись заниматься, мы сожмем в несколько дней, чтобы потом отдыхать, отдыхать! Я после совета видела Гри. Но он, удивляясь, он что-то колебл... а я уже вижу порох и дым. А впрочем, касатик мой, спи! Спи, сладкая крошечка!

Вместо дыма и пороха пахнуло духами, и тетя Евгения ... яла облаком; осталась Одесса, и слово Одесса стало живым ... чала оно шуршало над крыльями, подобно большому жуку. По... на глазах, внезапно оно загорбатилось и задымило высоким ... Уже настоящий порох и дым, и зацепило за месяц: месяц ...

брызгал белую воду, а за месяцем тетя Евгения, а за тетей Евгенией Дмитрий Иванович Пискаренко, художник... Отчего они падают? Но уже много людей, один за другим, падали, падали и, упадая, шумели дождем в листьях каштана. Но Пискаренко поднялся, и рука у него была в крови.

– Нет, это совсем не скрещение справедливостей, – строго сказал он Татьяне. – Тут справедливость – одна.

И опять они вместе поплыли, кучка людей, и опять у костлявого рыжего человека с приподнятым левым плечом шевелились мохнатые рыжие уши.

После длительного путешествия по морю листвы и жидкого месяца, где на них лаяли целым архипелагом морские собаки, судно наконец прибыло в гавань; раннее утро и солнце. Татьяна раскрыла глаза и подбежала к окну. После ночного дождя море было как выстиранное – блеклое, ситцевое, только огромный столб крови, след от ядра, бежал по воде: это было горячее феодосийское солнце – с востока.

VI

Когда-то над Феодосией гост[illegible] Генуэзская крепость, теперь феодосийск[illegible] скромно приютилась в большом сером д[illegible] на Итальянской: это табачная фабрика Стамболи. [illegible] это, подавлявшее более мелкие – Ма[illegible] – выросло не сразу, как и самый дом из жил[illegible] постепенно приспособлялся под фабрику, пристраиваясь и расширяясь: каждый прибавок инвентаря, всякая новая [illegible], создаваемая для табака, были биографическими событиями в жизни ее владельца.

Вениамин Стамболи, основатель этого самого крупного в Феодосии табачного предприятия и счастливый конкурент другого табачного магната, керченского Месаксуди, начал свою блестательную карьеру, не думая о том, что когда-нибудь его сыновья выстроят себе, пусть аляповатые, но тем более дорогие дворцы по набережной, перед которыми скромно должен будет посторониться и сам Алексей Сергеевич Суворин, такой же, как и они, фабрикант, но только еще более крепкого зелья.

Маленький Вениамин жил и ютился кое-как, зарабатывая пропитание мелкой торговлей на улицах. Он из мешочка деревянною ложкой продавал портовым рабочим табачок – на копейку, на две, на три. Потом понемножку, подростком, начал соображать и, через целый ряд ступеней, дошел до ручного станка, старенького, но дешевке и в долг приобретенного в компании с двумя-тремя такими же, как и он сам, капиталистами, потом он это орудие производства выкупил в единоличную собственность, потом принанял кое-кого себе в помощь и понемножку стал обрастать. Он был неприхотлив

во внешнем своем бытии и знал свое дело — людей и машины — до тонкости.

Уже войдя в силу, он вымуштровал также и сыновей: Мушу, имевшего дело с заказчиками, Исаака, странствовавшего по закупке плантаций, и младшего Иосифа, сидевшего на производстве, на фабрике. Каждое утро, задолго еще до работ, когда косые тени бежали от моря на прохладные улицы города, по Итальянской на рыжей (цвета лучше самого лучшего трапезонда, прокуренного серой) танцующей лошадке подъезжал Иосиф Вениаминович к дверям, ведущим в контору. По ритуалу, заведенному еще стариком отцом, подавался самоварчик, приходил старший мастер с помощником, работавшие на арманье. Это был сортировщик-дегустатор, сидевший на этом деле десятки лет и имевший на своем лице, не в пример трапезондовой лошади, цвета и оттенки всех табаков, переходивших через его пергаментные ладони: светло-желтого и красного на щеках, коричневого на подбородке и шее, зеленоватого у висков и черновато-кирпичного на носу и на губах; наконец, глаза его были подобны пеплу сигары. Сам он не курил, но с тем большею тонкостью — на ощупь, на запах, на глаз — распределял номера и составлял из них сорта. Он глубоко презирал французскую манеру травления, когда для придания определенного вкуса и запаха табак пропитывается самыми разнообразными пряностями и ароматами; ассортимент этот очень велик: анис, апельсин, гвоздика, алоэ, дягиль, корица, лимон, роза, шафран, мускат, валериана, миндаль...

— Табак, извините, не поросенок под соусом и не невеста в венчальном уборе,— говорил сортировщик, перебирая губами, сухо шуршавшими, как из папуши сухие листы.— Табак — это дело природное. Крымский Дюбек, например, легок и ароматен, но кисловат а если к нему сухумского самсончика — третью часть, да крупного лагодехского малую долю, да через десятый лист крымского американку, а на подстилку...

— Наш Айвазовский опять краски мешает!— говорил, улыбаясь, хозяин (дегустатора звали так же, как и знаменитого феодосийца).— Но вот по-коммерчески, я бы сказал, в номер сороковой можно добавить... Подвинь-ка сюда!

Художник табачного дела усиливал темные краски в лице и начинал негромко посапывать: в чистую игру тонкого аромата и вкуса вторгался властный заказ рынка и прибыли.

Иосиф Вениаминович крутил папироску, делал одну короткую затяжку и передавал мастеру; Иван Константинович только вдыхал легкий дымок, и под пеплом сигары в глазах его порой загоралась красная искра. Не всегда это был какой-нибудь новый сорт, но всегда проверяли основные сорта — стандарт. Между каждой

раскуркой Стамболи делал глоток крепчайшего чаю: для освежения вкуса!

Короткие эти дымки, короткие фразы, стынущий самовар, в котором миниатюрно играла листва далеких каштанов (ставили его на окно), и еще более далекие, глазом не различимые, трепетали мотыльки парусов; пустующие соседние залы, где, однако, дежурный механик уже, проверяя, переходит от машины к машине и, заглянув на тротуар, видит конторщика, у которого лицо походит на педантически выписанный свеженький счет, а в глазах отражаются цифры; и пало всем, все пропикая, табачная неоседающая пыль, ставшая воздухом,— таково раннее утро «Стамболийской гимназии».

Еще немного — и грохнет тяжелый в воротах засов, и сквозь распахнутые железные ворота дохнет в пустоту переулка мрачный и грязный двор, где кислый запах подгнивающей табачной листвы прочно смешался с запахами человеческого пота, отхожего места и конского навоза. Немного еще — и со складов сырья, расположенных в разных местах города, тяжелых и темных, похожих на тюрьмы, с решетками запыленных оконных квадратов, потянутся к фабрике квадраты тюков; громыхая по каменным плитам, косматые и мохноногие лошади, чихая от [illegible] запаха, втиснут слежалые кипы папуш в холод ворот [illegible] чтобы в обратный путь, щеголевато и сильно двигая грудью с [illegible] напором выкатить свежие фанерные ящики, полные кудрявого нежного зелья; а по теплеющим тротуарам и по камням мостовой зашагают все те, кто продремал здесь короткую летнюю ночь: по две и по три, и поодиночке заспешат, во избежание штрафа, косынки, платочки, косы, косички, редкая шляпа. Ворота впускают, но не выпускают. В семь часов по звонку все на местах.

День начался. Горячее солнце испепеляет дома. Табачное царство накалено. Снаружи обычный и скучный вместительный дом. Окна его в обе стороны распахнуты на жаркую мостовую. Но с тротуара напротив в отворенные окна видны силуэты фигур, движения рук, сдержанный человеческий говор и размеренный сап машинных частей, скользящих по растопленному маслу.

Внутри же: движение, пот, внимательность глаз, соразмерность движений; машины не ждут, надсмотрщик не спит, хлеб-соль насущная — дорога. У армана Иван Константинович распоряжался, как полководец, посылая на поле битвы отряды различных родов оружия. Новобранцы не все выдерживали строгий осмотр, много шло в брак и в запас («ополченцы второго разряда!»). Тут он был виртуозом: цвет листьев и зрелость их, грубость ткани и жилок, запах и эластичность листа — ничто не ускользало от его внимания, все быстро и безошибочно взвешивалось и определялось; так же он, впрочем, муштровал и сподручных рабочих. Дальше шло спрыски-

вание, и табаки складывались в ящики и покрывались рядном, чтобы они могли там хорошенько отволгнуть.

Татьяна искала Гри-Гри, он обещал показать ей работы на фабрике.

За эти две-три недели в жизни ее произошло порядочно мелких и крупных событий. Экзамены кончены; тетя Евгения их спрессовала в несколько дней. В этой гимназии Татьяна сошлась с несколькими девочками, у которых был свой «кружок»; тетя Евгения в этом нисколько ей не препятствовала. Правда, Татьяна была на кружке всего один раз. Там были и гимназисты, в том числе длинный, едва не приставший к ней на тротуаре. Это последнее ее немного смутило. Из «мальчиков» понравился ей один, уже великовозрастный юноша, учившийся в учительском институте, а раньше и сам бывший сельским учителем в Тульской губернии. Все его звали по имени: Петр. Читали сейчас главу из книги Бельтова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Татьяна понимала туго, но тема ее заинтересовала.

Петр был один в синей рубашке с крученым дешевеньким поясом. После Бельтова он перевел разговор на другое и вступил в отчаянный спор с Григорием Григорьевичем, дорожным спутником Татьяны. Оба они от теоретических размышлений перешли к забастовкам, к крестьянским волнениям. Злобою дня была забастовка телефона в Одессе. Григорий Григорьевич, как показалось Татьяне, был очень силен в вопросах теории и вообще она ни капельки не удивилась, увидав, что он и здесь верховодит. Но когда разговор зашел о практическом, инженер сразу подкис.

— Телефон — это уже переход к прямому восстанию, а восстание должно быть подготовлено. Очередная задача — нажимать в экономике и добиваться свобод.

— Учредительного собрания! — сказал Петр баском.

— Не возражаю, — пожал плечами Гри-Гри.

— А единственный путь к завоеванию человеческих прав — это именно вооруженное восстание. Довольно хождении к царю!

— Да я не за хождения...

— Бумажки и прокламации — хорошая вещь, — вел свою линию Петр, — а вооруженные массы — это дело иное. Я против единоличных террористических актов.

«И я против террора», — подумала Татьяна и внимательно посмотрела на молодого Петра, на нервного Гри-Гри. Бывший учитель был прост, как земля, горячность и жар он сочетал с убежденным спокойствием. Гри-Гри же напоминал ей секанта-начетчика под стенами у Сергия-Троицы, куда они ездили, еще при матери, на богомолье. Этот противный, коричневый в вагоне спросил у инженера: «Что это значит: мои канцелярии? Ну, а в а ш и?» Татьяна тогда поняла, что этот вопрос не был пустою, надуманной колкостью у Григория Григорьевича, невзирая на всю его тонкость и остроту

а может быть, и благодаря им, была какая-то приверженность к внутренним пунктам, параграфам, к тому расписанию, которому должна была следовать жизнь; у него была-таки — верно! — своя канцелярия.

Позже Татьяна подумала: «Что я за судья между ними? Оба хотят одного — революции, а я разве... тоже?» На этот вопрос Татьяна себе не ответила. Воздух со взморья, омывающий поры, проникающий в кровь, он входит без спроса и без вопросов. «Вооруженное восстание масс»... Но ведь это совсем не убийство в карете, это... война! Однако войну Татьяна и понимала и принимала. В ней было смятение: война... между своими?

— Вооруженное восстание, если оно неудачно.. — сказал инженер.

И тут перебил его Петр, впервые с запальчивостью:

— А кто это может сказать наперед? Но и неудачное — неудачное, если судить только о нем, а в цепи событий..

Теперь стояла Татьяна на лестнице и не знала, куда ей идти. «Господин инженер в гильзонабивном», — сказал ей привратник, а где это гильзонабивное?

Почему все это сейчас ей припомнилось?..

Но вот она увидела ряд низких столов и скамеечек. Особо сидели черноголовые мальчики. Татьяна невольно вошла и нагнулась, чтобы увидеть, что они делают. Они грубо и коротким ножом чернили, и желтые листья, казалось, текли между их проворными пальцами. Два из них на особом резце с двумя лезвиями ловкими и легкими ударами по обеим сторонам главного нерва высекали его.

— Это тут что? — невольно спросила Татьяна, едва успевая следить за листьями и за пальцами.

Это цех шишки, - важно ответил, не взглянув на нее, один из согнутых черных кузнечиков.

Татьяна повела глазами на длинный ряд женских столов. То же мелькание листьев и рук и, более медленно, ритмически, спин и голов. Вязки отдельных пачуш, похожие издали, пока их не трогают, на груду вяленой рыбы, летели, как брызги, и тонкая пачка листвы раздвигалась, как веер; два-три испорченных, летели мимо сточки к ногам, как бы сами собою, меж пальцев; из рядом лежащей пачуши брались новые листья и перемешивались с только что отпрепарированными.

Приходили рабочие с пустыми ящиками, забирали готовые и уходили.

Гладкие листья, без нервов, от мальчиков уносились особо.

— А все-таки вы-то что делаете? Зачем это нужно?

— А это особый табак, для графов, для князьев! — задорно-зна-

чительно выкрикнул один из мальчуганов, на мгновение кинув в Татьяну лезвием своих глаз.

«Должно быть, отец курит такой!» — подумала Татьяна с легким смущением, неизвестно от чего происходящим. — Вот уж не думала...» И она ощутила как бы прикосновение воздушной листвы — целый веер ресниц: женщины из-за столов пошевелились и на мгновение, как по команде, окинули взглядом фигурку Татьяны. Именно так: чудодейственной силой множества глаз Татьяна и сама себя ощутила со стороны некоей «фигуркой», возникшей между людей занятых существенным делом. И, как далекого друга, по ту сторону рытвины, их разделяющей, увидела она голубой поверх головы платок и два черных глаза под ним. Она инстинктивно протянула руку туда и быстро пошла, как по легкому, перекинутому в воздухе мостику: когда кажется, трудно переходить, легче — перебегать!

— Катя! Здравствуйте, Катя! Вы меня помните? Вы меня не узнали? — Татьяна очень обрадовалась.

— Я очень хорошо помню вас, — неспешно ответила Катя, и глаза ее влажно блеснули из-под темных бровей. — А Иван-то Калиныч поклон вам прислал.

Тут она улыбнулась, и Татьяна увидела, какие у нее крепкие, ровные зубы.

Еще одною из маленьких перемен в Татьяне было то, что она в первый раз в жизни загорела как следует. Зонтики, тень, к которой привычно она прибегала даже в деревне, все это было забыто. Татьяна едва ли сама представляла, почему это она отдалась такому немодному (тогда это было немодно) свободомыслию; только однажды, на берегу, шутливо подумала: «А море? Разве оно ходит под зонтиком?» — и рассмеялась. Загар неожиданно очень к ней шел; чиновник с орлами на сей раз был прав. Как бы то ни было, загар этот скрыл, как густо она покраснела от присланного ей Ершовым поклона.

— Вы кого же тут ищете? — не оставляя привычных движений, спросила работница.

— Григорий Григорьевич... тут... инженер!

Катя опять быстро взглянула, на этот раз очень серьезно, как на сообщницу, и как будто хотела сказать: «Так и ты... тоже?» Но лишь повела головой и как бы совсем равнодушно ответила:

— Он в гильзонабивном! — Потом удивительно тихо, но внятно добавила: — Вы с ним при других будьте поосторожней! Тут слушают... — И громко опять: — Ефрем Васильич, вы бы барышню провели к инженеру! — И еще раз тихонько: — Ефрем-то Васильич — он свой!

Так невольно Татьяна в первый раз в жизни «попала в конспирацию»; странно, ей это было приятно: как холодок в удушливый жар. Она подивилась, как Катя свободно, легко провела разговор и еще больше того, может быть, была поражена, как, разговаривая

и порою и взглядывая, ни на минуту она не оставляла работы, точно была не человек, а механизм.

Ефрем Васильич, человек очень малого роста (у него было прозвище: «Короткая курка») и в очень длинном, мешковатом пиджаке, с большими унылыми усами, точно их вывесили на веревке проветрить, да и забыли, косо, снизу наверх, повел головой на Татьяну, как если б въезжал на пригорок; потом он поглядел на свои широкие руки, крепко подул на них, на минуту вздыбив усы, потер деловито ладонями, но руки все же подать не решился. От Татьяны движение это не ускользнуло.

— Что же, пожалуйте,— сказал он как бы доверительно.— Я вас, пожалуй, и проведу!

По пути Татьяна увидела, как в закромах для хранения «мешек» заботливо работницы распределяли табак такими ровными слоями, как если бы собирались стегать одеяло.

— Отсюда в крошильный станок, вам небось любопытно? Мы мимо пойдем!— И старый рабочий опытным взглядом окинул желто-волнистое табачное море.

— Пойдемте,— сказала Татьяна.

Ефрем Васильич ей нравился, от него самого шел какой-то удивительно приятный, немного [illegible] запах,— нравился ей, но она не умела заговорить. Старик это сам, однако, почувствовал. Он подошел к кромке закрома и [illegible] горсти кипу смешанных листьев. Татьяна нагнулась понюхать.

— Ваш батюшка курит? — спросил он.— А может быть, нюхает? Нет? Так вот ему, слышь, будет весьма любопытно. Я вам отберу...

Это неожиданное «слышь» — полупереход на «ты» — совсем подкупило Татьяну.

Ефрем Васильич с неожиданной живостью стал подбирать «ассортимент». И, подбирая, ворчал поневножку в усы:

— Табаки, они тоже, как бы сказать, имеют дистанцию — поделикатней и побазарней... Как бы сказать, господа табаки и гм... гм... простонародье... Молодежь нынче, видишь, пошла социальная...

Он бегал от закрома к закрому и передавал ей лист за листом.

— ...пошла социальная, ну и табачок. Это, понять, аристократы: ялтинский Дюбек высший сорт, американ первого разбора... Опять хороши табаки огневые: Манкон и Кубань, бессарабские, лагодехские трапезонды... Извольте, видишь (так он сочетал «ты» и «вы») — цвета-то, цвета! оранжерея, лимон! а вот красный — это купечество, это чаек и трактирчик, небось не бывала? Это крепкая штука: береговой трапезонд и сухумский! А вот это — кирпич, будто бы стройка — это наш брат пролетариат! Видишь, горяче-ключевский самсон... А только, скажу, и хорош: крепость и аромат!

Татьяна слушала эту нечаянную лекцию, нюхала один за другим листы табаку разных форматов и всевозможных оттенков, и у нее начинала кружиться голова. Она с удовольствием вышла

в крошильную и увидела машину. До сих пор люди, сырье — это было почти неотделимо, здесь — шестерни и ремни, уверенно-матовый блеск отполированной стали, все это создавало «дистанцию», заполненную прохладою творческой воли.

По горизонтальному желобу к системе колес и ножей равномерно текла, постоянно разравниваемая и приглаживаемая, компактная масса табачной листвы; она прессовалась, а нож, как гильотина, опускался и поднимался, отрезая узенький пласт за пластом. Самая площадь разреза Татьяне напоминала рисунки разреза земли. Она постояла, слегка заворожённая этой системой ритмических звуков — овеществленного времени. Ефрем Василич тоже замолк. Едва уловимым движением век следил он за ножом.

— Пора поточить,— сказал он почти про себя.

Татьяна пристально глядела теперь, как переменный нож прижимали к точильному камню, и ей делалось страшно, когда чьи-то грубые пальцы нажимали совсем у лезвия. Но неожиданно тихий (тем более ее поразивший) раздался крик у станка, к которому она повернулась спиной.

Татьяна и раньше заметила мучительное несоответствие между движениями рук, ловкими, быстрыми, как бы играющими, и тяжело напряженной, прижатою линией низких бровей. Это было у всех, кто за машиной, и это приоткрывало ей один из законов труда, где видимая легкость, непринужденность, даже изящество даются тугим и постепенным развертыванием пружины сосредоточенности. Это было у всех, но молодая женщина с очень приятным и миловидным лицом, лишь неестественно бледным, особенно ее поразила этим преодоленным разрывом, который давался ей, видимо, мучительно трудно. И крик ее был криком падения, приглушаемым вошедшею в кровь дисциплиной: сдержанный и почти деловой, чтобы предупредить о происшедшем и не слишком встревожить людей столь незначительным происшествием. Татьяна тотчас к ней подбежала.

Машины шумели еще, но уже водворилась людская мертвая тишина, впрочем тотчас же сменившаяся порывистым говором (тоже не громким). Женщину подняли, побежали за водой.

— Ваську-регулировщика надо позвать!

— Кто-то за ним побежал.

— А «наместника» нет? Васька может его и ножом!

— Да и следовало бы!

— Девчонку испортил! Девчонку испортил! — шептал рядом с Татьяной весь побелевший Ефрем Василич; он глядел на свою спутницу по-прежнему снизу вверх, но ноги его были так широко и крепко расставлены, как будто бы он ее от чего-то оберегал.

— Отчего она так? — спросила Татьяна, сама сознавая наивность вопроса.

– И у меня дочка есть дома,– продолжал Ефрем Василь-
свой сдавленный шепот,– слесарь жених. К покрову... К покрову...
– Ну грех – это дело десятое, кто тут судья!– пробурчал
с хрипотцой рыжий веснушчатый малый.– А вот ежели грех вышел
наружу – как так, беременную девушку... и на станок!
– Пять рублей косому, слышь, дал: «Привези, говорит, ко мне
в дом после бани...» Этого черта давно бы уж надо приструнить... Не
одному Василью «наместник»!
– И статуэтку ей подарил со стола...
Татьяна теперь понимала. Только так и осталось неясным, кто
же именно был этот «наместник». Его на фабрике не было: Василий,
регулировщик, первым делом кинулся было к нему в кабинет.. Те-
перь он стоял, не зная, что делать с руками, налитыми кровью.
– Отвези-ка ее ты домой!
– Ох, и отлупит ремнем, почем зря! – послышался женский
знающий шепот.
Но тут лежавшая женщина вдруг тихо вздохнула, лицо ее бы-
ло мокро от воды, и повела слабой рукой к белью. К удивлению
многих, этот порывистый [illegible] поднял ее за пол-
ную талию, что у Татьяны отлегло от сердца
В стороне она различила [illegible] тихих, но весьма
оживленно беседовавших [illegible] отдельные фразы,
вернее слова: «Да и порт[illegible] – «А как же? Часы?» –
«И обращение тоже...» – «А обыски.
«Нет, они не полицмейстер!» – смутно подумалось Татьяне, – и за
восемьдесят копеек в месяц они не подпишутся на «Московские ве-
домости»!»
К Ефрему Васильичу подошел человек в пиджаке, восточного
типа; глаза у него были (а может быть, стали тяжелые
– Одно к одному,– сказал он негромко, кладя ему на плечо
вологатую руку – Пойдем, брат, к механику
– Только Григорий Григорича... нет, не замай! Пусть будет
чист,– так же негромко и деловито ответил тот – Да вот и он сам.
Пожалуйте, барышня! С рук вас и на руки!
– А я вас повсюду искал – обратился к Татьяне Гри-Гри.
Он был немного бледнее обычного, но выглядел совершенно
спокойным, как бы ничего не заметил, не знал. Он повел за собою
Татьяну.
– Посмотрите: как буря!
Татьяна обернулась, куда он показывал, и почувствовала, как
инстинктивно он сжал ее кисть; вероятно, она сделала бы то же
Это была настоящая, в миниатюре, снежная буря, только снег был
рыжий и под стеклом: так охлаждают и прочищают табак. Татьяне
в ее смятении чувств, внезапно возникшем, смутно пригрезилось,
что она заглянула в прозрачное зеркало.

— Мне нельзя показывать виду, что я причастен ко всему этому,— доверительно сказал ей Гри-Гри, вдохнув и выдохнув, сморщивши ноздри, тугую струю табачного воздуха, и отпустил ее руку.

Татьяна неосознанно поднесла ее ближе к лицу (у нее была эта привычка; дома она просто бы даже понюхала) и ощутила запах машинного масла. Она поглядела: Григорий Григорьевич был в синем рабочем балахоне, сильно вымазанном. В глазах его мерцали рыжие огоньки: нет, он не вовсе был лишен темперамента!

— Нынче суббота и выдача,— сказал он,— не знаю, как это будет.— И пояснил на безмолвный Татьянин вопрос: — По субботам рабочим выдается табачный паек. По восьмушке. И даже табак высшего сорта, но только, конечно, под дешевою бандеролью.

— А разве так нельзя взять? — наивно спросила Татьяна.

— Первый раз — штраф полтинник, второй — рубль, третий раз — вон!

— И куда ж эти деньги? Как только не стыдно!

— А тому, кто обыскивает. Вон видите, там!

За углом коридора Татьяна увидела быстро шмыгнувшего человека. Он шел, как и все, но изумительно напоминал бегущую крысу. Живо Татьяне представилась Катя, и как эта крыса лапами по нам бегает; ее слегка затошнило.

В гильзонабивном, куда Татьяна наконец добралась, было просторней; здесь еще больше машина похожа была человеку и делала целую цепь тонких и умных движений. И, невзирая на то, что Татьяна отдавала себе ясный отчет о происходившем на фабрике и понимала, о чем шумели сейчас и внизу и вверху, строгая логика движений и их чистота заворожили ее: точно сама она путешествовала с одного легкого мостика на другой, еще более легкий.

Длинная лента папиросной бумаги с круга шла книзу, и постепенно кверху края ее заворачивались в ровную трубку, две небольшие зубчатки, через которые она проползала, скрепляли ее, как бы прошивая, а острые ножницы резали отдельные, едва весомые гильзы; с другой стороны табачок, ровный, волнистый, ложился под пресс, резался и принимал форму цилиндрика; навстречу шла гильза, конец ее цепко обхватывали особые щипчики, и стержень втал кивал в нее цилиндрическую порцию табака: папиросы рождались и ровным дождем падали в коробку.

Григорий Григорьевич, как папиросы, раздельно ронял слово за словом, идя от этапа к этапу; впрочем, ухо его, наверное, слушало отдаленные шумы, но он ничем себя не выдавал. Татьяна особенно задержалась на щипчиках: в ритмических и деликатных движениях их действительно было очарование. Они походили на ужимки двух обезьянок, неустанно игравших в игру, которая им не надоедала. И вдруг что-то произошло...

Татьяна услышала длительный свист пара, ремней, останавливавшихся как бы в недоумении, поршней и шестерен. С недоум

ем она увидела, как замерло все, и на полудвижении, на волосок от придвинутой гильзы, замерли ее обезьянки. Она взглянула на Гри-Гри. Инженер наклонился к самому уху ее, но произнес достаточно громко:

— Началась забастовка.

Из множества лиц, как рыжая буря кружившихся перед Татьяной, когда она покидала фабрику, ей запомнились два. Катю она увидела, когда та скинула с головы голубой свой платок и замахала им в воздухе. Она что-то кричала в толпе, и зубы ее блестели на солнце, а голубой ее платок напоминал собою о море. Другой был Ефрем Васильич, спутник Татьяны по фабрике. Он шел в сопровождении трех горячо говоривших рабочих. Сам он молчал и был все того же короткого роста, но казался вдвое выше самого себя. Татьяна его остановила и, повинуясь инстинктивному побуждению, протянула руку ему на прощание; в другой руке был подаренный им ассортимент табачных листьев. Она держала их цепко, как бы боясь уронить. Ефрем Васильич на минуту перед ней задержался и уже без всякого смущения, даже с некоторою важностью, протянул ей свою руку, которую за полчаса перед тем постеснялся подать при знакомстве. В его простоте было сознание большого достоинства, как если бы у себя дома хозяин провожал до порога добрую гостью.

Татьяна почувствовала еще раз и поняла: началась забастовка.

VII

Про длинного гимназиста так объяснил художник Татьяне:

— Видите ли, душа моя девица, и, между прочим, просим не гневаться! — во всяком мужчине, а гимназист уже тоже мужчина какой ни на есть, сидит обезьянин. Это меня так учил переводить с французского на русский милейший мой наставник мосье Сильвестр: «Один какой-то нибудь профессёр любил обезьянина». К политике, и в строгом смысле, к морали это, пожалуй, и не имеет прямого отношения...

— Но ведь это же гадость!

— Да вроде того... — И Пискаренко с раздумьем и забавною неохотой длиннейшим ногтем на пальце, как вязальною спицей, почесал в голове. — Но за это ведь просто надо бить по рукам!

— Он и ко мне чуть не пристал! — наконец призналась Татьяна.

— Как это к вам? — вскипел Пискаренко в сильнейшем негодовании. — Да я бы на месте его раздавил!

Татьяна в ответ рассмеялась.

— Я и не знала, что вы... прямо как тигр!

— Ну, положим, скорей как медведь.

— Но только я вас должна огорчить: за меня вступился матрос!

— Молодой? Ну конечно! А впрочем, я жму ему руку.

— Странный вы человек, Дмитрий Иванович: вы беспристрастны в теории или... так вообще, а вот в частных реальностях...

— А как же иначе? Да и кто вам сказал, что я беспристрастен! Еще, пожалуй, вы скажете, что и бесстрастен? Нет уж, простите меня вовсе, Татьяна Антоновна, я именно человек острых пристрастий...

— А то и страстей? — лукаво спросила Татьяна.

— А как бы вы думали! И уж, во всяком случае... нежных, так сказать, чувств. А уж что касательно вас...

— Не объясняйтесь в любви!

Разумеется, он не объяснялся, но в то же время и объяснялся, Татьяну немножечко это занимало. Они очень дружили и частенько ссорились, а ничто так не укрепляет дружбы, как ссоры.

Дмитрий Иванович был очень прост, но одновременно и внутренне витиеват, как-то своеобычно два эти свойства в нем уживались; даже борода его, вся состоявшая из крохотных завитков, была и витиевата и монументально проста и внушительна. В художестве своем грешил он некоторою декадентщиной, изображая на полотнах преимущественно допотопную жизнь. Бродили там полчища ихтиозавров и мамонтов, кряжисты [illegible] всходили многоствольные баобабы. Он рисовал картины из жизни животных, но эти животные были явно очеловечены. Об этом говорили и названия картин: «Помолвка двух мамонтов», «Кентавр у доски держит экзамен», «Крокодил вынимает занозу у детеныша»; и у мамонтов были смущение и застенчивость, у кентавра лил пот, грудь была засыпана мелом, и явственная дрожь пробегала в мохнатых его конских коленях, а у крокодила в длинной улыбке ни одного не было зуба (кривого и тонкого), который не дышал бы любовной заботой и заботливою любовью.

— Это все так... мимоходом... эскизы, — говорил он в смущении, перевертывая полотно и ставя его в пыльный угол. (Больше всего любил он поворачивать свои произведения и ставить их в угол и с трудом перевертывал к свету.)

— А зайцы зачем? — спрашивала Татьяна.

— А это, видите... Это мой глаз. Да вы не спрашивайте! Это я сам там присутствую и сам оттуда гляжу! — И он начинал объяснять пересечение линий, как глядится оттуда, как глядится отсюда. — Это чисто техническое, это задачки...

Но Татьяна по-своему воспринимала пискаренковских зайцев, сидевших в углах, и на островке, и даже не деревьях. Зайцы ей нравились, в них была жизнь и невинность.

— Или еще: это как почерк мой или... ну, подпись. Будет всемирный потоп, кое-что уцелеет... Я потому и собак люблю на воротах. Ну вот и меня по зайцам запомнят, узнают.

— А я?

Он понял вопрос.

— А вы у меня будете голубем с оливковой ветвью. Эти животные — это ведь чувства и страсти людские. Гляжу на базар и рисую. Это наброски к потопу. Когда-нибудь будет потоп.

Он глядел за окно и, помолчав, продолжал:

— Не то древность, что древность. Не фанагорийские львы и не генуэзская башня. Они, как и мы сейчас. Но будем и мы настоящею древностью. И может случиться, что это скоро и станется.

— Скорее землетрясение,— предположила Татьяна, вспоминая, как здесь в первый день люди падали.

— А это одно и то же,— отозвался он невозмутимо и положительно.

Ссорились они из-за вина, которым он порядочно злоупотреблял, из-за чистоты и опрятности, которых он органически не принимал, и из-за некоторых других мелочей.

Впрочем, всего только раз они поссорились крепко. Он пришел навеселе и выказал себя совсем неприятным задирой.

— Когда я был молод, я брился и имел а ме-ри-кан ский приличный вид. Порядочная гадость, не правда ли? И цилиндр, выпивая, приподымал набекрень. Как Мак Линдер

— Хотела бы я посмотреть! Наверное, к вам очень шло!

— Ну вот! Я так и знал! Все женщины таковы.

— Дмитрий Иванович, потише!

— А чего мне потише! Я хочу рассказать про бритье. Попался мне парикмахер. Не парикмахер, а приват-доцент по философии, а то и по литературе. Роста гигантского, белый халат, волосы черным ежом — где-то там в поднебесье «Вас бритва не беспокоит? Пудры прикажете?» — «Не надо, я пудры не люблю!» — «Не употребляете? Это восторг! Мужчинам и не следует уподобляться женскому сословию. Пудра не больше, как тлен. Вас не беспокоит? Пудра скрывает шероховатости, мелкие дефекты кожи, но ведь только на миг! Только на миг! А женщинам — им ничего больше не надо, они живут мигом. В этом, конечно, и вся женская суть». И, знаете, этак дунул по воздуху — фиксатуар, одеколон! «От мига и до мига»,— и под конец сам подмигнул, как настоящий философ: дескать, мы понимаем друг друга!

— Дмитрий Иванович, вы сами как парикмахер! — рассердилась Татьяна.

— К сожалению, я, кажется, больше объект для парикмахера. Но я разделяю его философию.

Под конец он дошел до того, что стал утверждать, будто женщина и вовсе почти не человек: она не верна, не глубока, капризна, фальшива, и мила только снаружи, и добра лишь для показу, и во-

обще женщина — это напасть. Татьяна сначала отшучивалась, но под конец разозлилась, поджала губы и стала совсем некрасивой.

Дмитрий Иванович пристально на нее поглядел.

— Ну вот, точь-в-точь! — произнес он с пьяным упрямством. — Что же не выгоняешь?

— Идите! — сказала Татьяна и вышла сама.

Художник два дня не появлялся. Татьяна не вытерпела и пошла его навестить.

— С утра выходил, — сказала хозяйка, — а не видала, чтобы вернулся.

В комнате были мусор и пыль, стояли пустые бутылки, на столе лежал исписанный лист непочтовой бумаги. Татьяна в задумчивости подошла к столу и невольно прочла: «Когда человеку бывает так тяжело, как тяжело было мне, он идет к последнему свету и гасит его, он вынимает реликвию и глумится над ней. И его прогоняют тогда, когда надобно было бы протянуть к нему руку и погладить дурацкую голову, как гладят порою последнего пса. В этот день — как пригадала! — в день годовщины, как от меня ушла четыре года назад, жена прислала письмо. Я был мужчиной, и я ей отказал: не приезжай! И я пришел к вам, Татьяна! Татьяна!..» Дальше шло еще несколько строк, но Татьяна отпрянула в ужасе: она поняла, что это было письмо и оно было написано к ней. Однако ж она не убежала. Она огляделась кругом и стала убирать комнату. Она делала это не очень умело, но постаралась. За окном увидела картину цветов, душистый горошек бойко с чем-то и разноцветно, пестро сам с собой разговаривал. Татьяна перекинула ноги за подоконник и сорвала несколько тонких цветков. Она собралась было вернуться, как увидала: в деревянной беседке что-то белеется. Ребяческое любопытство овладело ею. Потихоньку она подошла и увидала спящего художника. Он лежал на узенькой лавочке и казался непомерно громоздким и в то же самое время походил на уснувшего ребенка, которого забыла в беседке нерадивая нянька: он был и мамонт и заяц одновременно. Татьяна полюбовалась на это своеобразное зрелище и отошла, очень тихо ступая. Цветы она в воду, в стакан, поставила на подоконнике и ушла к себе прямо из сада. Это и был первый шаг к примирению; второй — и даже не шаг, а прыжок — не замедлил сделать он сам.

Но Дмитрий Иванович наряду со всем этим бывал и монолитно высказывания его тогда бывали точны, порой грубоваты и всегда оригинальны. Татьяну весьма удивили (и заставили призадуматься) его рассуждения о забастовке на фабрике.

У тети Евгении диапазон знакомств был действительно необычайно обширен. Она отнюдь не замыкалась ни в одном из кругов и не очень любила пересечения их, ибо тогда могли бы возникнуть некоторые неудобства и острота. У нее бывала и молодежь, и даже типа Гри-Гри, и местные «крокодилы», как она их называла

— Феодосия, деточка,— это провинция, ты не обольщайся, и никаких львов тут не водится, кроме, впрочем, фанагорийских. Их я ужасно люблю. А крокодилов сколько угодно. Недаром ведь море!

— Но, тетя, насколько я знаю, крокодилы в море не водятся. Крокодилы водятся в Ниле.

— Ах, это все равно!— позвякивала браслетиками Евгения Васильевна и крокодилов именовала отдельно: — Таможенный крокодил, почтовый и даже — крокодил... полицейский. Положение обязывает! — говорила она.— Ничего не поделаешь! — И в черных горячих глазах ее пробегала брезгливость; однако ж гостей принимала с любезностью и вина давала получше.

Те в свою очередь очень ценили это общение и на вольности Евгении Васильевны глядели сквозь пальцы. Для них как-никак это было проникновением в «общество». Кроме того, вольнолюбивая барынька имела отличные связи и в Петербурге, и в Москве и, стало быть, знала, что делала. Да и времена неустойчивые, надо поглядывать на оба фронта: еще как все повернется? Не одна Евгения Васильевна, а и вся страна начинает себе «позволять»! Приверженность к старому строю, «привычному» — конечно, сидела в крови, и по инерции делалось все полагавшееся, что долженствовало и защищать и укреплять — «на славу нам, на страх врагам!» — но, по правде сказать, особого энтузиазма, чтобы «лечь костьми»,— этого не было. Внимательный сельский хозяин всегда отличит декабрьский крупитчатый и запозистый снег от февральского вялого снега: все будто бы так же бело, но на февральских полях почиет усталость, покорность весенней судьбе, и изнутри эта предвесенняя рыхлость разлагает и самый крепкий сугроб.

Знала Евгения Васильевна и настоящих, ярых черносотенцев, полных бычачьей крови, но этих она к себе не пускала. Не примешивала, однако ж, не только Гри-Гри, но и художника на «суарэ» — к этой холоднокровной компашке крокодилов, забронированных, как настоящие аллигаторы, в чешую своих вицмундиров. И, однако же, людям искусства закон, как говорится, не писан: художник однажды пожаловал.

Высокие люди города обсуждали события. Для Татьяны речи эти не были новы, это были отголоски газетных статей и собственные домыслы, сортом пониже московских, к которым она привыкла в кабинете отца. Она сидела, помалкивала, глядя не столько на них, сколько в себя и изумляясь своим не произносившимся ею, но горячо зарожавшимся и протестующим репликам. Море незримо плескалось в ней.

Впрочем, была одна сторона в этих беседах, которая делала их для Татьяны, пожалуй, и интереснее московской высокой политики: в них было много конкретности, жизни. Евгения Васильевна порою выуживала и полезные сведения, которыми позже делилась

с Гри-Гри. Так, кое-что удавалось ей узнавать о положении арестованных (в их числе оказался и Ефрем Васильевич — «как коновод»), кое-какие предположения «властей» и даже о передвижении местных воинских сил.

Вот и сейчас, раскрасневшись, Евгения Васильевна только что выслушала, как ее по секрету предупреждали относительно Григория Григорьевича.

— Поступило одно сообщение конфиденциального свойства — от дорожного его спутника, достойного доверия человека. Я не говорю о речах возмутительных, я до некоторой степени тоже за свободу слова... в границах, конечно. От века я не отстаю, но между словами и поступками есть разница! Корреспондент наш, изволите видеть, почуял и пересел рядом в вагончик, дабы предоставить ему большую свободу действий. И вот ночью, на станции... ну, все равно на какой, ваш инженер изволил передать некий пакетик сугубого свойства одному человеку... Конечно, того задержали и... все как следует быть.

— Я плохо этому верю, — сказала по виду спокойно Евгения Васильевна. «Как он при всей своей осторожности... как он неосторожен, Гри-Гри!» - думала она между тем и не знала, как бы ей этот донос совсем опорочить. — Этого не может быть! — добавила она вслух. — Инженер Терногоров ехал в одном купе с моею племянницей, и она не могла бы не видеть.

— Как с вашей племянницей! — изумился чиновник. — Не может этого быть! С ним, правда, ехала молодая особа, но только...

— Нет, договаривайте!

— Это, знаете, частные сведения... в приватном письме...

— Что ж, он за нею ухаживал, что ль, ваш корреспондент?

— Вот именно, что краткосрочный роман... в духе времени! — глупо признался чиновник и тотчас же почувствовал, что совершил страшную глупость. Он стал поправляться. — Таким образом, согласно известным вам обстоятельствам, никоим образом упоминаемая Татьяна Антоновна не могла быть означенной особой. И он сделал легкий полупоклон по направлению к Татьяне.

— Нет, это была именно я, — сказала Татьяна и поднялась.

Она сделала было даже привычное движение - прижать к груди обе руки, но сдержала волнение и опустила их с полупути. Чиновник, однако же, сделал из предосторожности попятный шаг.

— Стало быть... — начал он.

— Стало быть, этот знакомый ваш... - хотела закончить Татьяна...

— Первостатейный мерзавец! — крикнул с азартом в дверях Скаренко; он вошел с минуту назад, его никто не заметил. — А вы после этого... вы... — продолжал он, внушительно переступая порог.

Татьяна ему сделала знак.

— Стало быть, этот знакомый ваш...— продолжала снова она, но злополучный рассказчик уже сам прервал ее возбуждение:

— Да он не мой! Ради бога, не мой!

— Ну, все равно,— вступилась Евгения Васильевна, немного встревоженная маленьким скандалом и радуясь счастливому обороту дела с Гри-Гри.— Все равно теперь это ясно, что и про инженера все выдумано. Он его просто... не знаю что... приревновал!

— Он очень низкий человек!— докончила наконец Татьяна.— И клеветник. Здравствуйте, Дмитрий Иванович! И я хотела бы знать, где он, собственно, служит?

— Служба? Не знаю... Двойная... двойная-с!

И разговор перешел на забастовку.

— Однако же как с этим быть?— шутливо сказал старый почтмейстер.— Сегодня ты без табачку, а завтра, глядишь, и без трубочки!

— Тут заграница мудрит,— вступил в разговор глубокомысленный политик из таможни.— Контрабанда бывает не всегда материального свойства, бывают и мысли, которые, как семена, здесь прозябают... заграничной породы... Он закурил папироску и, предовольный, надолго умолк. Да, Исаак Вениаминович теперь, я думаю, покряхтит!

— А я не думаю,— сказал [illegible] Пискаренко.— Чего ему кряхтеть? Кряхтеть будут рабочие!

— Как это так?

— А весьма даже просто. Забастовка теперь волынь, и всегда в эту пору производство весьма сокращалось, а это не так-то просто, тут же все сделалось самой собой. Да и ремонт на фабрике необходим. А тут еще, чего доброго, можно субсидику на разорение, на «тяжелые обстоятельства»!

— Государственный ум!— неопределенно лукаво протянул, вытягивая подагрическую ногу, старик почтмейстер; он был стар, но щеголеват, и ему хотелось показать нарядный носочек, голубовато-сиреневый, в яркую фиолетовую полоску.

— Не государственный ум, а на свете все вещи просты. Но напрасно вы думаете, что раз художник, так в политике значит, дурак. Ни Леонардо не был дурак, ни Данте. Мы только ленивы на это. Да, а рабочие? Ну как же без заработка? Вот они-то именно и покряхтят.

— Глубокая мысль!— воскликнул тот самый, что попался с Гри-Гри; он счел, что была самая пора и ему вступить в общую беседу.— Так вы против забастовок? Ну, а каков же ваш путь для преодоления конфликтов между рабочими и предпринимателями?

Художник надулся и не отвечал.

— Ведь государство заинтересовано в равновесии экономических сил и в мирном сожительстве классов!

— Ничего подобного!— буркнул в кулак Пискаренко.

— Тогда я не понимаю вас... Отказываюсь вас понимать.

— А меня понять очень просто,— встал наконец художник.— Предпринимателей надо бить, и полицию надо бить. И даже полицию в первую голову. А впрочем, вы не бойтесь, бить надо на площадях.

Так живописно произошло это непредвиденное скрещение двух кругов тети Евгении. В глубине души она все же была скорее довольна. Для Татьяны Дмитрий Иванович преподнес и еще одну неожиданность. Уже за винцом, придя в благодушие, он обернулся к соседке и тоном признания негромко сказал:

— А впрочем, все эти мысли, я вам признаюсь, они не вовсе мои. Но они мне ужасно понравились. Это, видите, Катины мысли.

— Вы знаете Катю?

— Узнал. Недавно. Случайно. И собачника тоже узнал. Ну, который на воротах. Мне захотелось его отыскать. А к нему пришла Катя. Я знаю, что вы ее знаете.

— И она вам понравилась?

— Ужасно понравилась. Тоже и Петр. А собак он — для заработка.

— Ах, этот Петр!

— А вы и Петра успели узнать?— удивился в свою очередь Пискаренко.

— Я племянница тетушки,— улыбнулась Татьяна,— и я знаю теперь решительно, кажется, всех. Впрочем, кроме, может быть, вас одного. Вы каждый день новый.

Когда уходили, в передней замешкался старый почтмейстер.

— Для вас любопытно-с!— совал он бумажку Евгении Васильевне.— Я вовсе нет, не ретроград. Подлинное я отослал по назначению, а это, собственно, из любопытства. Я на досуге снимаю себе дубликаты. Все может быть! На старости лет, может быть, буду писать мемуары о нашей эпохе... Ведь это — эпоха-с!

Переданный им «документ» и действительно был вдвойне интересен. Тетя Евгения, сама прочитав, принесла его, уже ночью, Татьяне.

VIII

«...Хотя временами все это оплачивается физическим трудом, бессонными ночами и т. п.».

Татьяне казалось, что она читает теперь продолжение этого письма к «Ване», хотя и было оно не из далекого Носи-Бэ, а из какого-то черноморского порта. Матросская жизнь, правда на берегу, вставала перед нею во всей своей, скромно сказать, неприглядливости.

«Установили правило уходить со двора только после пяти часов вечера и то с билетами от ротного. А ротные так, зря, билет не

дут, всегда им нужно отчет, куда ты идешь. А без билета никуда не уйдешь, потому стены очень высокие, и через окно тоже не вылезешь, и казармы представляют собою тюрьму. Решеток, правда что, нет, и для посторонних ничего не заметно, но в подоконниках забиты толстые прутья, так что не только нельзя уйти из окна, но даже и головы не просунешь. Так и сиди, как арестант. В пять часов, окончив работу, придешь, поужинаешь и не знаешь, куда девать эти два часа,— поверка у нас в восемь часов. Белье помыть — не всегда захватишь места, как команды у нас до тысячи человек, а удобства для мойки всего на восемь человек; и когда ни придешь, там уж всегда стоят и ждут места. Воды тоже всегда недостаток, не только для стирки, но часто даже и пить нечего. Посуда — гнилые кадушки и сильно воняют гнилью. И живешь так, как какой-нибудь арестант. В праздники до поздних часов приходится пользоваться билетом не более одного раза в месяц и то при хорошем поведении. Тогда, не позднее двенадцати часов ночи, должен явиться к дежурному офицеру, и он отмечает, кто в какие часы явился, и утром докладывает командиру.

А питаемся мы небогато. Утром дают воду горячую, а она с песком, потому эти кубы вмазаны нагухо и их почти никогда не чистят. Чай и сахар мы должны покупать на свои деньги, а на завтрак варят кашу из пшенной крупы и очень жидкую, почти что одна вода, сала никогда не бывает. Только звездочки сальные плавают. Это не завтрак, а просто помои. Хлеб всегда черствый, напеченный на неделю вперед, и очень кислый, а из под нижней корки идет палька на два синяя полоса, и не укусить. С шести часов идешь на работу и работаешь до одиннадцати как проклятый, и твоего же брата поставят кричать на тебя. В одиннадцать пообедаешь одного борща, тех же помоев, как и на завтрак, перемены никогда не бывает. В армии, например, варят кашу, а у нас этого никогда не бывает, и даже того не берут, что полагается, благодаря тому, что некому всего этого контролировать. На обед на каждого человека полагается полфунта мяса, но они совсем не берут хорошего мяса, а только разные кости, жилы, легкое и печенку. И это не борщ, а помои, в которых легкое плавает, как пробки. В половине первого опять идешь на работу до пяти часов. А в ужин — утренняя каша, разве когда кулеш. В восемь часов поверка, а после поверки в черед чистить картошку на завтрашний день. Так и идет вся наша служба.

А провинишься — так карцер с мышами и с крысами. Крыс у нас много, полками ходят на водопои. Или лишают отлучек. Иль стоять под винтовкой, с мешком, набитым землей полтора пуда, на шее...»

Татьяна взглянула на тетку, та отвечала глазами: «Читай, читай дальше!»

«...А затем я пишу тебе о брате Евстафии, твоем родном дяде. Он отыскался и заслужил себе биографию. В Полинске он пробыл

три года и никому не писал, равно как и потом. Был бродягой, певцом, помощником повара на пароходе, потом в типографии, где и попал в организацию, и к этому последнему пристрастился, как и требует по справедливости наше время труда и необходимой отваги. У нас тоже, но потихоньку, на койках передавали, что будто бы даже во флоте, еще перед весной, поговаривали, но только я этому вовсе не верю. Мы сидим на цепи дисциплины, и цепь эта нам поодиночке не перегрызть, а скопом — доверия нету, не побежал бы кто и не донес. А гражданская часть, наш брат рабочий, действительно накалена и шипит без воды, потому на накал сыплются слезы детей и матерей. Третьего дня я был отпускной и увидал своего брата Евстафия и твоего дядю после лет разлуки...»

Татьяна немного запуталась.

— Брата и дядю, это один или двое?

— Все тот же Евстафий! Читай!

«Он всегда в себе заключал интерес, а теперь даже вдвое. Ты хорошо должна это знать, когда он один жил в Феодосии, одна благородная дама иссохла по нем и с тоски бросилась будто бы в море, а министр, ее муж, засудил его беззаконно в Нолинск, где вечная ночь и на улицах ходят медведи, а их не боятся. Посветят фонариком, да и мимо...»

— Тетя, а тетя! Да ведь это похоже...

— Похоже.

«А Евстафий отмалчивался про медведей. Говорит: «Это преувеличено», а я знаю, что верно, и верные люди передавали.

А насчет министровой жены никак не забыл и называл ее «канарейкой»...»

Сомнения быть не могло: это о матери, и это тот самый Евстафий... Обе женщины были взволнованы. Если первая часть письма говорила сухо и горячо, то эта подступала к глазам; Татьяна, однако, сдержала себя и сквозь туман дочитала.

«...И говорил, что это несправедливость, и что они хотели бежать в Константинополь, и что он и теперь бы ее отыскал, но время не терпит, и надо теперь засучить рукава, что ты и сама можешь понять. Он теперь служит в порту, а в порту неспокойно; как и на фабриках, есть у нас повсеместно организация масс, и как, например, вовсе на днях арестованы были выборные от рабочих, то под давлением масс властям пришлось отступить, и называют уже день забастовки в понедельник четырнадцатого, о чем даю тебе весть. Давно не писал, но брат мой Евстафий меня растревожил, и я хочу, чтобы слова твоего дяди были красным набатом и играли красную зарю всеобщего нашего освобождения. Твой известный тебе дядя Макарий Стрельцов».

Адресат письма был неизвестен, и тетя Евгения осторожно старалась узнать у почтмейстера, откуда и кому было письмо.

Татьяна заснула со смутными растревоженными мыслями, а наутро она узнала за достоверное, что четырнадцатого июня (день был обозначен в письме без ошибки) в Одессе разыгрались кровавые события. Накануне опять были арестованы выборные от рабочих, а когда толпа потребовала их освобождения, то на рабочих у завода Гана напали казаки, а потом забастовала сначала вся Пересыпь, а за ней и весь город. Передавали, что в понедельник начались столкновения с полицией, а потом и с войсками, а в ночь на пятнадцатое подошел броненосец «Потемкин» и выкинул красное знамя восстания.

IX

Татьяна стояла над котелком и глядела, как закипает вода.

Перед нею был водный круг, замкнутый и спокойный. Но вот появился на горизонте один небольшой пузырек; мигнула глазами: их два, и три, и целый потом небольшой ободок, спокойный для глаза. Но вот такой же один пузырек появился на дне, возле — другой, на расстоянии — третий. Наверху пузырьки стали чаще, но все неподвижны. Внезапно один со дна взлетел кверху; помедлив, другой; сорвались с места и лопнули сразу два или три у поверхности. Их уже много: целая колония пузырьков — на дне, и оторочка — вверху. И вдруг сразу со дна — как уколы булавок: один за другим, один за другим; заметались и боковые вверху. Они сливаются вместе, становятся больше и вскипываются несколько боком. Со дна возникают тоже большие и тотчас летят кверху. На поверхности сразу их много, и не только уже у краев, а и посредине. Они завладевают всем замкнутым кругом: перекатываются друг через друга, протискиваются снизу, вылетают и лопаются: вода кипит крутым ключом. Немного еще — и она перекинется за края котелка, а пар — как дымки от орудий.

Татьяна следила, как закипает вода. Она вся ушла в это внимательное созерцание, как если бы сейчас это было самое главное в жизни. Может быть, она этого не сознавала, но за последние дни это было действительно так. Каждый день приносил с собой новости. Такая же «точка на карте», как и Феодосия, — Одесса была как котелок на огне. Вести оттуда скупее всего шли через газеты, но горячие вести переносятся морем и ветром с непостижимою быстротой. Кроме того, местные власти были широко и быстро осведомляемы по телеграфу, и новости эти через четверть часа становились известны тете Евгении.

Татьяна живо себе представляла многотысячные митинги: и как ревут фабричные гудки и как выпускают пары из паровозов и высаживают публику, а кругом идет стрельба и побоище. Особенно ее взволновал чей-то случайный, на улице, рассказ, как избивали шашками работниц фабрики Высоцкого, девушек-подростков. И вот

в десять вечера появился «Потемкин». Татьяна не видела, но была потрясена, как если бы первая его увидала. Сердце ее разрывалось: вот это и есть война против своих, и оставаться нейтральным было нельзя...

Вся трагическая история «Потемкина» доходила до Феодосии в цветных и противоречивых, ярких отрывках. Одесса разрушена бомбардировкой; к матросам примкнули войска.— Было два выстрела по офицерскому собранию, но — перелет; войска остаются спокойны.— Семнадцатого на горизонте показалась эскадра. Был бой: «Потемкин» потоплен.— «Потемкин» цел, и к нему присоединился «Георгий Победоносец».

Про офицеров также шли разные слухи. Одни говорили, что все перебиты, другие, напротив, утверждали, что некоторые из них даже примкнули к восставшим; потом постепенно стало выясняться, что огромное большинство их попросту свезено на берег.

На летучем собрании около памятника Александру III Татьяна и Катя (они стали встречаться) слушали старого матроса торгового флота, который не вышел говорить перед всеми, а попросту жарко поспорил с соседом. Татьяна становилась на цыпочки и упиралась рукою в плотную и горячую Катину руку, чтобы не пропустить его слов.

— А я бы сказал,— говорил с ожесточением коренастый старик,— дело это такое, господа офицеры! Давайте мы тут говорить без чинов, ведь как у нас к вам нужда, так и у вас к нам нужда. Матрос ходит по морю, и лицо смерти всегда перед ним, и не принуждайте матроса бороться против своей трудящейся родины. Вы говорите, что нам не увидеть полей и близких наших, любимых: матрос не боится, ему смерть как сестра, она всегда рядышком. И потому мы отважны, и всегда в нашем сердце, когда его оскорбляют на самом корню, кипит огонь мести, и во всякую минуту оно может вспыхнуть. И это матросская сила, и что можете вы против этой силы? Да ничего! Вы солью посыпали кашу... Да, правильно, но ведь одной человек не может питаться никак!

— Им хорошо, отец, у них барышни с зонтиками и под музыку, и на самих из зеркала картинки глядят. И это нестерпимо.

— Да, правильно так, что умирать им не хочется и цепляются: у них разноцветные, но оттого, что легко им живется, трудящегося умирать, матросу же — наоборот. Нате, пожалуйста! И раздвинул свою совсем не седую волосатую грудь: фиолетовая татуировка блеснула на мгновение.— И все потому, что одна у нас цель, когда Россия станет республикой и когда вся земля будет в руках целого народа. И это есть цель! И цель, повторяю, рукой можно достать!

— И вот, когда будет земля в руках целого народа, вы думаете, вам будет тогда трудно жить, и вы нас угнетаете, чтобы самим жить хорошо? И вы думаете, что только тому будет тогда хорошо, кто

ками может обрабатывать землю? Напрасно вы думаете так, вам и тогда будет хорошо житься, молодым и красивым всегда хорошо. А теперь вы как между двух огней: между начальниками вашими и адмиралами и между низовой воинской массой, и, покуда не поздно, нам надо соединиться против общего нашего врага. Вы вместе с матросами обязаны строить пароходы и вооружать их пушками, умирать в бою с врагами или тонуть в бурях. И как вам не скинуть с себя проклятую форму царских лакеев, и соберемся вокруг красного, величественного и свободного флага верных сынов отечества. Что лучше: вы будете любимы народом или, как теперь, ненавидимы?

– Торгового флота, а, видать, боевой!

– Они все боевые!

– А я уверяю тебя, – Катя, когда увлекалась, говорила с Татьяной на «ты». – Я уверяю тебя, что Ершов на «Потемкине», туда, говорят, много стеклось! Ты думаешь, нет?

Про Ершова Татьяна не знала, но обращение это к офицерам (отсутствующим!) – оно, капля за каплей, плавило сердце: тут был и патриотизм, но какой-то другой – «строить пароходы и вооружать их пушками...» – и языки революционного пламени: сжечь дотла ненавистное. И это тоже война не с другой. В Владимир Гребенщиков... Он никогда не уходил из сердца Татьяны, но никогда он был как родная заноза. Он далеко, и [illegible] будут судить (отец в одном коротком письме [illegible] ту, «быть может, печальную, но неизбежную [illegible]» и Татьяну мучило, как же был должен он поступить. Так может быть, так, как поступил один из офицеров на «Георгии Победоносце»? Он не пошел ни за матросами, ни на берег, он заявил, что не может перенести своего позора, и застрелился; и мертвый упал за борт. Кто-то Татьяне сказал, что утонувшие на глубине идут головою книзу, и она живо представила себе этот медленный нырок, и у нее у самой закружилась голова.

– Катя, а жизнь дороже всего или нет? – внезапно спросила она, прижимая руками к груди наивную брошку: серебряный танцы с жемчужинами; брошка впилась в нежную кожу, и в этом была для нее же отрада.

Но на этот раз Катя ее не слыхала.

Девушки между собою не то чтобы подружились, но обеим было приятно встречаться. У ворот табачной фабрики теперь постоянно толпился народ. Привычка гнала рабочих к воротам, и там же всегда можно было узнать новости. Город заметно и присмирел, и развернулся. Начальство заняло выжидательную позицию. Отдаленный «Потемкин» жаром дышал по водам. При первом известии Татьяна (шла мимо), увидев голубой Катин платок, сама подбежала к ней:

– Катя, а вы знаете, что в Одессе...

– Я знаю, я получила оттуда письмо.

— И я получила... То есть я прочитала...

— На понедельник четырнадцатого было назначено...

Татьяна смутилась и догадалась:

— Вы получили от дяди письмо?

— А откуда вы знаете?

Татьяна, не поколебавшись, все рассказала: ведь Кате могли грозить неприятности, если почтмейстер не только коллекционер и будущий составитель своих мемуаров. Гри-Гри уже был предупрежден и уехал в Ростов. Но Катя к известию отнеслась очень спокойно и только махнула рукой:

— Они и так все знают, да им и не до того! — Она улыбнулась лукаво и, очень открыто глядя в глаза, спросила Татьяну: — А об ком-то дядюшка мой и до сей поры обмирает? Вот бы вам встретиться с ним! Он ведь ух какой!

— Какой он?

— Горячий!

Как это было странно, когда через Катю, не только в словах ее и в очень коротеньких воспоминаниях, а больше через нее самое через непосредственность и живость ее восприятий, движений — возникал понемногу доселе таинственный образ рыбака-музыканта.

Как-то раз она Кате сказала:

— А наверное, он мою мать и теперь еще любит.

— Конечно, а что?

— И не любил никакую другую!

— Ну как же, еще чего выдумаешь! — И Катя совсем неделикатно, но очень весело и заразительно засмеялась. — Они все равно что матросы. У них небось в каждом порту по любушке есть! Ну, покуда не венчаны, — вдруг уже серьезно сказала она, и Татьяну опять удивила, — покуда не женятся, пусть погуляют. Ершов-то мой тоже... он и об тебе тогда возмечтал, только раздумал: «Пусть она, говорит, останется у меня платонической!» А что это значит, того и сам шут не поймет...

Тут Татьяна не могла не рассмеяться.

— А ну их к шутам, этих ребят! — заключила вдруг Катя. — Все только Петр очень, я нахожу, замечательная личность, и очень хороший он человек.

В таком именно нынче составе: художник и Петр, Татьяна и Катя, компанией отправились в большую прогулку. Еще было темно (а Татьяна давно об этом мечтала: увидать, как взойдет солнце), художник, как кошка, знал отлично тропинки, обрывы, и немножко нарочно пугал. Он звал с собою и тетю Евгению, у нее разыгралась мигрень. Подле кушетки, где она возлежала, герцогиня», сказал Дмитрий Иванович, стояла в вазочке чайная роза. Она увядала, и тетя Евгения печально на нее вала; рядом лежал мигреневый карандаш и порошки аспирина.

дожник один из них повертел в руках, раскрыл и высыпал в вазочку, в воду.

— Вы увидите, как она быстро поправится! — сказал он шутя и серьезно, как говорил обычно с тетей Евгенией. — А вместе с нею встанете и вы!

— Вы мало меня уважаете, — отозвалась Евгения Васильевна. — Мне не до шуток. Дела очень и очень печальны. (Вечером было получено известие, что «Потемкин» ушел к берегам Румынии.)

— Вот мы и идем с горя на прогулку. От святого Ильи поглядим — может, увидим, как он там пристанет. Там его встретит румынский оркестр.

Шутка вышла неловкой; Дмитрий Иванович даже сам крякнул и замолчал.

Ночная предутренняя мгла охватила путников. У мужчин были корзинки с провизией; там же лежал и котелок. Катя прижалась к Татьяне и прошептала тихонько:

— Я прощу ему все, но одного не прощу.

Татьяна ее поняла: про Ершова и про «Потемкина», если он не на нем. Она обняла Катю за плечи и поцеловала ее в завлажневшую от утренней сырости щеку. До них доносился мужской разговор.

— И непременно! Одна неудача такая стоит многих удач.

Художник озорничал.

— Вы правы, потери и жертвы не в счет. Это все один сантимент. Это сплошной Маразм Роттердамский! Катя! Вы про Маразма что-нибудь слышали? Ежели нет, вам Татьяна расскажет!

— Вы хотите сказать — про гуманиста Эразма?

— Да, про него. Но только что это вернее — маразм! Сильных людей вовсе перевели!

— Ну, это вы больше по Ницше, — отсыревшим баском возразил ему Петр. — Но если взять гуманизм исторически, то он свою роль, конечно, сыграл. И, однако, вы правы: когда обостряется жизнь, не всякий и не всегда гуманизм прогрессивен...

От этих ли слов, или от горного ветра у Татьяны заломило брови и узелки у глаз затянулись еще крепче. Но ей хорошо было ступать в полумгле и чувствовать рядом живое Катино тепло. Однако они отставали. Дмитрий Иванович остановился, покачал головою и закричал:

— Я пуговицу потерял! У меня пуговица отскочила! Постойте.

Они подошли и долго искали воображаемую пуговицу. Она оторвалась и еще несколько раз, покуда не поняли, что хитрый художник хотел, чтобы они не устали.

Верхушку горы (хоть и знал, что тут начинается плато Те-те-оба) он окрестил: плато Большой пуговицы, и здесь был привал.

Солнце взошло, как и подобает, с востока, но Татьяне всегда было удивительно то, что, стоя на набережной и глядя на Черное южное море, думаешь: юг, а это восток. Теперь перед нею открыл-

ся кусок сиренево-бледного моря и по ту сторону гор, и все стало понятно. Восток. А за востоком — дальний Восток. Она не могла отойти от своих мыслей.

По дороге сюда, поднимаясь мимо лесничества, набрали немного суши; это была драгоценность: будущий чай, и Татьяна взялась вскипятить котелок. Но Дмитрий Иванович не исчерпал своих хитростей. Он дал всем раположиться и распаковать корзинки с едой, а потом, потирая руки, сказал:

— Хорошо, а теперь закройте глаза и дайте мне руки.

Он не прибавил к этому никаких объяснений, и его послушались. Цепочкой, крепко сжимая встречные пальцы, легонько посмеиваясь, отсчитали так до полусотни шагов и, по приказанию, остановились.

— Ну, а теперь откройте глаза!

Эффект удался. За плато Большой пуговицы тот небольшой подъем, который теперь преодолели, скрывал огромные дали, внезапно открывшиеся. Сразу их не охватить. Воздушная изумительная синева с гармоническою гаммой оттенков являла им целую новую страну, о которой нельзя было и подозревать. Внизу перед ними лежала, покоясь в ранних нежарких лучах, Двуякорная. Изломанной линией, в три поворота, на переломах почти утопая в воде, распластанною, упавшею стрекозой лежал мыс Кник. Небольшие домики на одной из пережабинок, казалось, стояли вовсе в воде: их отражение, повторною линией, сливалось с ними самими. Прямо — откос, чуть поправее — тропинки сбегали в долину, еще полную седоватой утренней мглы; это, пожалуй, еще не была з е м л я — название более позднее, это была рядом с водою, первобытная с у ш а! И весь этот серо-седой недвижный ландшафт, однако, хранил именно линии первообразующих, находящих первую форму движений. Явно массивы переставлялись, теснились и громоздились, ища равновесия и устраиваясь «как поудобнее». И этот покой, пожалуй, казался лишь передышкой, как будто все сделалось лишь начерно, лишь «на пока». Долина, однако, взбегала опять и ударяла в воды застывшей крутою грядою горных пород, и лишь кусок Киммерийского моря у Коктебеля приоткрывался неполным своим очертанием.

Петр хорошо знал Коктебель с его знаменитыми камешками, не раз побывал на Святой горе, откуда будто бы в ясные утра видел Кавказ, на открывшемся им теперь Карадаге, но и он был должен признать, что отсюда вид изумительней и внезапней, нежели там. Глаз наслаждался убегающей далью и тем сложным перемещением планов, которые передавал на сетчатку хрусталик. За шлемом серо-золотой в солнце Сюрюк-Айи громоздились гиганты континентального Крыма, а левей Карадага, на огромной дистанции чуть измененного синего тона, лежал Меганом — унылая пустыня, вытянувшаяся к морю похожей на крокодила шершавой спиной.

— По вечерам у него зажигается глаз,— пояснял Дмитрий Иванович.— Лежишь и глядишь, как он мигает.

— Вы так говорите, будто тут ваша постель и вы на ней каждый день спите,— подзадорила Катя.

— Не день, а ночь,— поправил художник.— И не каждую, но я был бы последним идиотом, если бы частенько сюда не ходил. Этого ты нигде не увидишь. И потом...— Он стал говорить очень медленно.— Тут хорошо очень думать. Петр попрекнул меня Ницше. Положим, я сам себе Ницше, но и у Фридриха есть хорошие мысли. Есть у него афоризм: «Хорошо ступать с вершины на вершину», и хороший конец афоризма: «Но для этого надо иметь длинные ноги». Вот я и гляжу: отсюда на Карадаг, с Карадага на Меганом, с Меганома... Вы видите, это ведь Аю-даг... «Ведмедь-гора»! — обернулся он к Татьяне.

Аю-даг был воздушный, сиреневый и казался утренним сном. И легко, на минуту, ветерком колыхнулся незабвенный пушкинский плащ.

Все глядели туда, кроме художника: он сосредоточенно разглядывал свои ноги.

— Коротковаты,— сказал он внимательно их изучив, и все рассмеялись.

— А Румыния где? — спросила вдруг Катя, и все остальные мгновенно ей показали, вытянув руки.— Пойдемте немного туда.

Татьяна осталась одна и тотчас за ним вслед, как небольшой пестрой кучкой двигались они по вершине плато. Непышные розовые, голубые и фиолетовые цветы на пути стлали им простенький коврик. Уже на отдалении Дмитрий Иванович к ней обернулся и, молча простояв с полминуты, сложил по бокам носа и рта жаркие, должно быть, ладони и прокричал, как прокричала бы птица, звонко и с хрипотцой:

— А вы приготовьте нам чаю! Мы скоро вернемся!

«Из Румынии...— со слабой улыбкой подумала Татьяна.— Ну что ж, хорошо... возвращайтесь... Ну что ж, приготовлю вам чаю...» Она перестала глядеть на уходивших. Ей хотелось остаться одной. Тишина и простор, открывавшийся перед нею, и молчание внутри самой себя охватили ее сосредоточенной гармонической силой. Точно был мир, и она, и оба они, и в неподвижности, ступали по времени; и было еще ощущение высоты и спокойной приподнятости, откуда и мир расстилался у ног наподобие собственной карты и оттого плывущее под ногами и над головой легкое время становилось историей. Индивидуальная жизнь ее, короткая жизнь человеческого существа на небольшой планете земле, не терялась ничуть и не растворялась в безликом дымчатом хаосе: Татьяна, напротив, ощущала себя прочно стоящей в этом единственном мире, и она была в него включена так же крепко и необходимо, как любая песчинка в глыбу породы.

И только море внизу было похоже на сон ее, смутно ей вспомнившийся. Не отрываясь, Татьяна глядела на горизонт, чуть различимый. Неопределенно томила ее эта гладь, на которой ни единое пятнышко не говорило о жизни земли. Ей захотелось огня и движения. Она неумело, но с большою заботой развела, вернувшись к стоянке, костер и приладила котелок с водой. Это вернуло ее от моря на землю, и запевший у нее на глазах котелок вел внутри нее с ней разговор. «Где же история?» — говорила Татьяна и сама себе отвечала: «А вот это: огонь, и вода, и дымки!»

Когда она снова поднялась на вершину, на горизонте она увидала предмет, похожий на маленькое, неизвестно откуда возникшее деревцо. Деревцо это слегка покалыхивалось, но оно не было зыбко, в нем была своя крепость, упругость. Татьяна глядела и не могла оторваться. Через некоторое время ей показалось, что под колеблемым деревцом возникла подставочка, щепка. Она не тонула, не колыхалась, напротив: упрочивалась и чуть стала толще, как если бы по тому же самому месту второй раз провели карандашом. Дощечка стояла на месте, и все движение ее, еле заметное, было вверх: как будто бы море ее выпирало наружу.

— Го-то-во?.. И-де-е-ем! — услышала она голоса и повернулась направо.

Художник организовал трехголосую декламацию. Все кричали в один голос, а он отбивал такт тонкой далекой рукой. Потом они все подняли руки, и в руках оказались цветы. Потом побежали. Дмитрий Иванович самоотверженно вскидывал ноги, но за молодежью не поспевал. Тогда, в свою очередь самоотверженно, Катя и Петр подождали и дали себя обогнать. Запыхавшись, он сунул Татьяне букет прямо в лицо.

— Вы знаете что?.. — сказала Татьяна и побледнела, но он не дал докончить.

— Я знаю одно, что когда вы стояли тут... Это бывает в горах. Я, как художник, знаю отлично, как солнце, бьющее в спину, омывает высокий, одиноко стоящий предмет... Но это неважно... вы же и есть мой п р е д м е т! И когда вы стояли, вы были темная, как ее ли бы вы испепелялись, а вокруг вас бегущий... не ободок, — это не верно! — но золотящийся контур. И я закричал вам о чае, потому что в вас было...

— Я вам говорю, там пароход!

— ...В нем было что-то трагическое... — сбился художник в ко стоимении. — Да, пароход.

Левой рукою, цветами, Татьяна закрыла лицо, правую протянула художнику и с силою привлекла его к себе; ладонь девушки отчетливо у него была горяча и влажна.

— Вы знаете... это... это «Потемкин»... — сказала она, и голос у нее горячо сорвался.

Художник смотрел и молчал. Внезапно он стал очень сосредоточен, но рука его в захолодавшей Татьяниной руке начинала заметно дрожать.

— У вас там... бинокль? — спросил он приглушенно.

Татьяна кивнула ему головой, но руки, в ответ на его короткую попытку движения, — руки не отняла; художник охотно оставил ее покоиться в крепком пожатии.

— Я знаю и без того... Это, наверное, он, — сказала Татьяна; но когда подошли Катя и Петр, она сама оттолкнула Дмитрия Ивановича.

— Идите скорей и принесите бинокль. Он в корзиночке справа!

Катя была красна, как пион; да и Петр... в лицо его бил тайный прибой. Оба они к пароходу отнеслись недоверчиво. В самом деле: неужто вернулся он из Румынии?

О чае забыли; и о еде. Бинокль переходил из рук в руки. Несомненно — на горизонте развертывалось большое судно. Никто не был из них моряком, иначе давно уже характерный литой силуэт был бы с точностью определен: большой военный корабль; и только когда Петр деловито сказал (бинокль в эту минуту был у него): «Я вижу на мачте красную точку!» — только тогда всем стало ясно, что Татьяна не ошибалась, что это «Потемкин» и идет в Феодосию. Вся деловитость Петра мгновенно исчезла, и на вершине горы поднялось беспорядочное и с минуты на минуту все более горячее обсуждение события. В котелке закипала вода.

Чувства двоились. В трубу стали видны, кроме красного флага, другие, в том числе и официальный андреевский. Стал различим небольшой миноносец, шедший несколько сбоку; первой его увидала Татьяна, и сердце ее еще добавочно дрогнуло. Чувства двоились: от зрелища нельзя было оторваться, с другой стороны — хотелось навстречу, а навстречу — значит, в обратную сторону, значит, через несколько шагов потерять его из виду. А потерять — суеверно казалось — не потерять бы совсем!

Чай остывал; ждали тартинки, над тартинками ни единой пары мушиных крыл; пролетавшие редкие пчелы интересовались только цветами.

Когда наконец сошли и проглотили немного еды, а Петр только обжег первым огромным глотком себе горло, он не стал дожидаться, чтобы чай остыл окончательно, и быстро вскочил:

— Я побегу!

Вскочила и Катя, и, позабыв даже проститься и захватить что-нибудь вниз, оба они побежали с такою стремительностью, как если бы кто выстрелил ими.

— Пойдемте и мы, — сказала Татьяна. — Только разочек взглянем еще!

За четверть часа броненосец увеличился вдвое. Радужными точками в стеклах бинокля на нем роился народ. Так простояли

они пять или десять минут, а обернувшись, увидали бегущих: они уменьшились впятеро. И когда, уложив провизию, они и сами тронулись в путь, Катя и Петр мелкими камешками уже вкатывались между первыми домами города, встречно взобравшимися на крутизну.

— Вот у кого длинные ноги! — кивнул бородою художник.

— И у кого крепкие руки! — возразила Татьяна шутливо, кидая взгляд на корзинки, по одной в каждой руке; Дмитрий Иванович ей не отдал ни одной.

А Татьяне хотелось хоть немножечко облегчить себя шуткой, потому что на сердце у ней было торжественно и она сознавала, что наступали ответственные в ее жизни часы.

X

Когда у фабричных ворот Катя и Петр вонзились в толпу и сообщили, что «Потемкин» идет в Феодосию, им не поверили. А между тем в это самое время разукрашенный флагами броненосец уже огибал мыс св. Ильи.

— Ребята сдурели! Привиделось им, видно, во сне.

Однако горячие лица бежавших кричали о том, что они далеки были от сна; и народ загудел к пристани.

Напротив, Евгения Васильевна сразу Татьяне поверила. Она склонна была в это утро верить хорошим вестям, мигрень у нее миновала, и роза в стакане окрепла от аспирина и благоухала по-прежнему. Я так и знала! — вскричала она. — Его ничто не должно было остановить! И мы встретим их, как надлежит, и мы все вы дадим: и угля и хлеба! А это... прелесть какая! И вы настоящий волшебник, и я ее вам дарю! — И она протянула розу художнику.

— «А куму не сенца, хотелось бы спиртного!» — несколько вольно процитировал басню верный себе Дмитрий Иванович.

— Ну вот что: бросьте в стаканчик несколько лепесток и у вас будет розовый ликер. — И она сама принялась отворять заветный шкафчик. — А ты куда же, Татьяна? А кофе?

Татьяна не слушала больше и побежала на пристань.

В порту еще не было особого оживления. Шла небольшая погрузка, и в воздухе перелетали привычные позывные крики. Рабочие стояли все еще недоверчивой кучкой. Но вдруг, странно одновременно, возник на домашнем феодосийском горизонте «Потемкин», и слева, со стороны казарм, довольно беспорядочно, в спешном строю, пришагала рота солдат.

— Они видят сквозь горы, должно быть! — зашевелились в толпе.

— Революционному «Потемкину» ура! — прокричал кто-то потом; маленькая пешая сила на берегу и огромная, все еще

движений, плывущая крепость тушили и возбуждали голос кричавшего.

– Вот погуляем теперь! – кто-то промолвил неопределенно, выражая радость и пряча ее в сомнительное словесное оформление.

Татьяна не раз в эти памятные два дня с особой ясностью, почти обнаженностью, воспринимала эти зигзаги колеблющих и колеблемых сил. Соотношения быстро менялись, да и сами встречные силы были исполнены трещин. «Только б они не стреляли, мы их не тронем!» – услыхала она очень скупые слова молодого солдата. И через день эти солдаты стреляли. «Потемкин» хотел бомбардировать – и не дал ни одного выстрела. Но берег, который стрелял, – стрелял по инерции, автоматически, а нестрелявший корабль проявил настоящую крепкую волю, которая не пожелала беспельных в данном случае жертв. Все это лишь много позже во всей своей сложности и значительности стало ясно Татьяне. В эти дни для пристального раздумья не было времени, его хватало едва-едва для пристального глаза и для внимательного слуха. События эти были разорваны, кое-что Татьяна видела, многое слышала, еще больше узнавала вперебивку от других лиц (Катя и Петр, тетя Евгения, бывшая живым телефоном).

Огромная толпа рукоплескала [illegible] броненосцу; оттуда кричали, махали фуражками. [illegible] речи, которую держал один из людей, прибывших [illegible] с броненосца ее оттеснили. Но она слышала всегда [illegible] между людьми на берегу, – он взвивал этих людей как [illegible] знамен, и трепал их обнаженные головы. Солдаты [illegible] как на параде. Начальник был бледен и нем. Казалось, немного еще, и он возьмет под козырек. Стоявший на берегу член управы кивал головой в ответ на оглашенное требование, чтобы городские представители явились на броненосец.

Позже в руки Татьяны попал листок, напечатанный на машинке и скрепленный печатью броненосца «Потемкин». Ей передал его старый рабочий.

Прочти нам еще! – сказал он и протянул этот листок.

Татьяна заволновалась – и не зря. Ей довелось испытать редкое состояние, которое, верно, испытывает ребенок, делая первый шаг. Эту бумажку нельзя было прочитать так же просто, как читают неграмотному полученное им письмо.

Старик в последний момент, передавая, зажал шершавыми пальцами угол бумаги, точно ему инстинктивно хотелось ее еще подержать у себя, и угол слегка надорвался. Голос Татьяны, еще неуверенный, тотчас же окреп, как только она прочла первую фразу обращения: «Граждане всех стран и всех народов!» Ей показалось, что она стоит на высоте и перед нею история, многоголовая, тысячеустая, но с одним широко бьющимся сердцем, и это сердце билось, как море.

«Граждане всех стран и всех народов!

Перед вашими глазами происходит картина великой освободительной борьбы: угнетенный и порабощенный русский народ не вынес векового гнета и своеволия деспотического самодержавия. Разорение, нищета и бесправие, до которого русское правительство довело многострадальную Россию, переполнили чашу терпения трудящихся масс. По всем городам и селам вспыхнул уже пожар народного возмущения и негодования. Могучий крик многомиллионной русской груди — долой рабские цепи деспотизма и да здравствует свобода! — как гром раскатился по всей необъятной Руси!»

Татьяну прервали. По мере того как читала, она забывала, что перед ней народ. Странно, она произносила вслух эти чужие слова, и оттого, что она говорила их громко, они становились как бы ее собственными словами. Мало того, она в каждую фразу вкладывала искреннее свое убеждение, как если бы в первый раз открыла книгу в самой себе и читала в ней. С каждою фразой, как пласт за пластом, открывалась ей изнутри пребывавшая в ней самой родная земля. И вот Татьяну прервали... Гул голосов прошумел перед нею, как набегающий вал. Она подняла глаза и увидала перед собою многое множество внимательных глаз. Татьяна почувствовала, как эти лица, взволнованные и немного похожие на детские, невзирая на бороды и на морщины, как они были в эту минуту, в каком-то особом значении этого слова, — как были они человечны!

И дальше, читая про флот, и про армию, и про «крестьян и рабочих, которые пали от солдатских штыков на улицах и на полях нашей родины» и которые «снимут с нас свое проклятие, как с их убийц», и опять про Маньчжурию и про «Всенародное учредительное собрание», и «Долой самодержавие!» — Татьяна уже не читала сама для себя, а читала для всех и за всех. Теперь ее не удивила поспешная, скороговоркой, команда и шаги уходивших солдат. Она поняла, что это чтение было острым оружием, и сосчитала четыре солдатских фуражки, не слыхавших команды или ее не послушавших: это были четыре солдата, удержанные ею, Татьяной.

Подпись гласила: «Команда эскадренного броненосца «Князь Потемкин Таврический» и миноносца № 267». Печать закоптили на зажженной свече и приложили в левом углу. На печать легли опять крепкие, шершавые пальцы и потянули бумагу к себе. Разорванный угол был тщательно выправлен, и выправлявшие пальцы замазали его копотью. Надобно было думать, что их отпечаток остался и на печати «Потемкина», как бы повторно ее подтверждая.

— Ты агитатор, Татьяна, я и не знала! — смеялась тетя Евгения, подхватившая племянницу к себе в экипаж.

Татьяна молчала. Сердце ее билось сильно и крепко, и в груди ему было просторно. Татьяна не узнавала своего биения сердца

На «Потемкине» в свою очередь читалось «правительственное извещение», где были обещаны суровые и крутые меры. Трагическая тень нависала над броненосцем. О ней, как по отдаленной зарнице, Татьяна могла бы догадаться по фразе, услышанной бегло в толпе уже поздним вечером. Кто-то спросил, кого не видать:

— А ты что ж, не вернешься?

— Я бы вернулся, да мачту надежды моей в Одессе «Георгий Победоносец» сломал.

Татьяна обернулась, но вполупотьмах уже никого не увидала. Витиеватая фраза эта была исполнена глубокой и неизлечимой горечи. Татьяна знала, что «Георгий» к восставшим примкнул, но потом оставил «Потемкина» в одиночестве. Лучше бы не примыкал!

Там же она поймала и фразу другую:

— Эскадра придет. Мы только первые, и мы объявим отсюда Всероссийскую народную республику! — И голос звенел не уверенностью, а заклинанием.

Но боевая действительность кипела в рассказе:

— Уж и жарко было в Одессе! Мне три раза пулей, как отступали, пригибало фуражку: нагнет и нагнет!

Сидя сейчас в экипаже и вытянув уставшие ноги, Татьяна глядела, не отрываясь, на море. В нем пламенел опрокинутый жар горячего дня. «Потемкин» застыл вправо от волнореза, пушки глядели на город, жерла их, темно-коричневые, жарко густели на солнце. На короткое время было такое явление: появится красный флажок и исчезнет, появится белый и тоже исчезнет. Потом эта игра прекратилась. Позже это Татьяна проверила, и ей подтвердили, называя только различные часы дня.

Дома внезапно ноги победили Татьяну. Она прилегла на минутку, и бессонная ночь, наверстывая упущенное, тотчас на нее опрокинулась темным своим одеялом.

Проснувшись, Татьяна услышала жужжание мухи. Приоткрыла глаза, — шторы были опущены. Ночь или день? Наконец, она различила, что это не муха, а тетя Евгения. Кто-то сидел у нее в соседней комнате.

— ... на корме плечом к плечу матросы. «Где ваше начальство?» — «У нас начальства нет, есть комитет». — «Где комитет?» — «Внизу». Нас посадили за большой стол. Председатель, бумаги, и один штурманский офицер сидел и записывал.

— Наши «отцы» небось испугались?

— Говорят, что нет. А Крым — так и вовсе веселый! Я вам передаю стенографически! Боже мой! Это же все исторические вещи. Об этом потом будут романы писать.

— Я буду писать свой Потоп.

— «Что об нас говорят?» — «Говорят, что убили всех господ офицеров, обстреляли Одессу. Священника убили». — «Неправда. Высадили. За нами придет вся эскадра». И тут начались требования

о выдаче провианта, воды и угля. И чтобы воззвание было прочитано на площадях для сведения всех жителей Феодосии. Набрались в зал матросы и прибавляли: «Сигарочной бумаги! Табаку!» А Матюшенко, их вождь, сидел и крутил оторванной ручкой от кресла. Знаете, неприятно! Дуранте глядел-глядел, да и говорит ему: «Мне бы чего покурить!» Тот завернул цигарку и дал, а ручку оставил. Ну разве не прелесть!

— Да, это платформа междупартийная! — отозвался художник.

— И пароход Российского общества, что задержали, сейчас отпустили и пароходу салютовали. Но вот на совещании у генерала Плешкова жандармский полковник Загоскин как бушевал! Он обозвал и Дуранте и Крыма крупными буржуа! Вы только подумайте, как для него это ругательно! Буржуа, которым нет дела до отечества и которые берегут только свои недвижимости от возможной бомбардировки...

— Что же, это не глупо и даже попросту дельно. Ни фуни луа, это и есть буржуа, а услугам ажана они предпочли д'аржаны!

— Перестаньте французить, Дмитрий Иванович! Но замечателен общий итог, который преподнесли тому же Дуранте: «Мы вам не разрешаем, но предоставляем в ваше распоряжение!» Тоже не плохо! Но вот в угле и воде решительно отказали. Что будет, Дмитрий Иванович?

Позже Татьяна глядела, как для броненосца грузили провизию.

— Вот это совсем замечательно, — сказал рядом с нею художник и вынул блокнот. — Быки не хотят быть морскими животными!

Быки упирались и откидывали высоко рога. Татьяне зрелище это действовало на нервы, а кто-то рядом сказал:

— Ничего! Пусть и они послужат делу революции!

У Думы собрался народ и требовал дать броненосцу все, что он спрашивает.

— Здравствуйте, барышня! — прозвучал за Татьяной знакомый ей голос; она обернулась и увидала короткую фигурку Ефрема Васильича. — Уступят теперь по всем статьям! — Подмигнул он ей с хитрой значительностью. — Этот шутить не позволит! Это тебе не Кобрика.

Татьяна Ефрему Васильичу очень обрадовалась, а он будто с ней расстался; коротенькие штаны его, очевидно, слежавшиеся в тюрьме, густо слоились поперечными складками (как когда-то и у художника); он фукал в усы и был предоволен.

— Вы на свободе! Как я рада!

— Ну, а еще бы... Вот этот уйдет, опять посижу, — ответил он философски. — Стамболи уже вызывал, да мы не пошли. Пусть ждет!

— Как: этот уйдет! — воскликнула немного по-детски Татьяна.

– А что ж, не стоять же ему на рейде у нас, тут революцию не причинишь. Говорят, будто которые есть, сдаться желают.

– Не может быть! Нет!

– Да и я думаю так же. Сдаваться нельзя. Вздернут половина на половину! А только народ несознательный, да и толпа большая. Как всколыхнуть!

Он говорил очень раздумчиво и будто с Татьяной советовался.

Был уже вечер. Массив броненосца придвинулся ближе к берегу и волнорезу. Волны дробили огни по краям и колыхали широкие полосы посередине.

– У нас континент. Дело решит сухопутье, войска.

– А войска?

– Что же? Солдат понимает, что это не положение, когда пленным в Японии лучше, чем дома.

– Значит, не станут стрелять?

– Ну, это ты не скажи. Сила – тогда она сила, когда не по пальчикам, а в цельном одном кулаке!

Татьяна уже собиралась домой, когда непостижимо разнесся слух, что, ежели угля кораблю не дадут, будет бомбардировка. На берегу не поверили.

– Ты знаешь, – сказала ей дома тетя Евгения, – я была у Дюранте. Там был и генерал. И при мне принесли ему телеграмму из Севастополя от Меллер-Закомельского. Вышли оба они в зал, а генерал говорит голове: «Позвольте, я прочитаю» – и начал читать: «Надеюсь, что вы не поступите как изменник городской голова...» Милейший Леонард Антонович вышел оттуда и руками развел... Недаром его жандармский полковник грозился арестовать!

– Тетя, вы слышали? Будет бомбардировка, угля не дали.

Евгения Васильевна даже изменилась в лице. Она стукнула так кулачком по изящному круглому б у л ю, что браслеты ее как бы рассыпались на перламутр.

– Мерзавцы, да как они смеют стрелять! Мерзавцы, да как же они не дадут!

Мерзавцами, в быстром кипении слов, в эту минуту оказались решительно все – те и эти, в эту минуту тетя Евгения внезапно утратила свое сходство с палевой розой.

Ночью подробностей никак узнать было нельзя, и ночь прошла беспокойно, а утром мальчишки-газетчики, срочно мобилизованные – эти живые объявления южных городов, стремглав носились по улицам и истошным голосом кричали о предстоящей бомбардировке. Одновременно о том же расклеивались спешно отпечатанные ночью объявления с предупреждением жителей, что ввиду невозможности доставить уголь «Потемкин» откроет стрельбу. Улицы брызнули людьми, и началось великое феодосийское бегство.

XI

Действительно, больше всего своею текучей бурливостью феодосийский народ в это утро напоминал стремительный горный поток, с тою лишь разницей, что он проносился, шумя, не под гору, как надлежит быть воде, а в гору, на крутизну. Это было великое переселение народов. Женщины тащили детей, мужчины пожитки, подчас ни с чем не сообразные. Говор и крик усугублялся мычанием коров, лаем собак. Многие падали и поднимались и падали снова. Девчонки ревели, мальчишки не отставали от них; впрочем, иные пылали воинским пылом, били в тазы и трещотки.

Но вот — Феодосия! Казалось бы, пыль от такого великого множества ног должна была застлать самое солнце, но в Феодосии не было пыли. Привычные камни спокойно переносили удары, топот и шмыганье.

Внизу, по набережной, текли экипажи — в Коктебель, в Старый Крым, на вокзал. Извозчики, как и всякое человеческое существо, не лишенные страха гибели, не покидали, однако, насиженных своих козел и ограничивались тем, что заламывали невероятные цены, — но никакого удовлетворения: все тотчас соглашались, а бедные головы корыстолюбивых возниц под высокими белыми шляпами были обречены на муки Тантала: отчего не спросили вдвое и втрое?

Броненосец спокойно и молча, ничем не выдавая своих намерений, недвижимо стоял неподалеку. Особенно величаво было это спокойствие на гладкой воде, когда суеверно оборачивался кто-нибудь из бегущих и на минуту сам застывал на земле, уподобившейся бурному морю.

Художник нес кисть, палитру и холст; тюбики красок были в кармане. Волосы его были мокры от быстрой ходьбы, но он не бежал. Он очень, художнически, радовался. Вот он — потоп, наконец! Он имел для себя определенную цель: гору Митридат. Оттуда он набросает эскиз великого бегства... А если погибнет — ну что ж! — набросок останется. Ни капельки страха, любопытство и жадная радость для глаза: все время меняющиеся пересечения линий! Его по дороге толкали, смеялись над ним, почти издевались, но это только подхлестывало его поющую радость.

Не воздержался он и от чудачества. Два дня спустя, перед отъездом Татьяны из Феодосии, они совершили вместе прогулку к фанагорийским львам у музея. Он очень серьезно ей говорил о своей предстоящей работе — наконец, наконец! — над Потопом. Татьяна его слушала, полная мыслей, и вдруг, переведя глаза, на одном из львов увидала странную надпись цветным карандашом:

Гора Митри — Дата
Митрий — дата:
22—23 июня 1905 г.

– Дата на случай индивидуальной моей гибели,– сказал Пискаренко, к удивлению Татьяны, так же серьезно, как и все предыдущее: это была дата прихода «Потемкина» и дата великого бегства; из Митридате Дмитрий Иванович набросал свой эскиз.

Татьяна сейчас была далеко от художника. Тетка стремительно, при отчаянном сопротивлении племянницы, увлекла ее на вокзал: Татьяне не хотелось покидать Феодосию. В поезд попасть, однако, не было никакой возможности, его брали приступом, не считаясь ни с рангом, ни с положением ожидавших. Кроме того, с минуты на минуту ожидали прибытия городских властей, выехавших на вокзал навстречу губернатору.

Солнце пекло. От броненосца ложилась густая, глубокая тень, сливавшаяся у бортов с черным его отражением. Наверху его было какое-то движение, которого нельзя было понять.

– А утром,– как бы отгадав взгляды Татьяны, сказал немолодой человек в летней накидке и соломенной шляпе с непомерно большими полями,– а утром тень шла к самому берегу и ложилась на берега, как на карту.

Татьяна обернулась на голос и поздоровалась с говорившим, она узнала его. Это был учитель истории и географии, у которого она держала экзамен. «А знаете вы,– сказал он ей после того, как она обстоятельно ответила ему наполеоновские войны,– а вы знаете, Наполеон теперь ведь в корзинке?» Она удивилась тогда, а он посмотрел на нее очень серьезно и пояснил: «Я очень фрукты люблю, и мне их приносит каждое утро одна немолодая женщина в честных таких, тяжелых башмаках, я ее издали слышу и поднимаюсь от своего Моммзена к серой ее плетеной корзинке. Я ее спрашиваю, что у тебя нынче в корзине? А она мне отвечает: «Наполеон». Вот и все. Это яблоки, сорт. Вот и все, что осталось от Наполеона. Можете идти».

– А вы не уезжаете? Вы здесь с утра?

– Нет, я учусь. Я прохожу тут уроки настоящей истории.

Татьяна не знала, да и мало кто знал, а ей потом рассказала Катя сама, как ночью, вместе с Петром, они еще раз перевалили через Феодосийские горы. Там у Двуякорной был рыбный завод, небольшой. Они взяли себе по знакомству рыбацкую лодку и на заре махнули на броненосец, чтобы из города никто не видал этой их экспедиции. Это было небезопасно. Но Петр поднялся один («Смерть как хотелось и мне, как маленькой девчонке в алтарь!») и там сообщил, что только что подошел к пристани утопленник, можно его будет забрать. Так прошла для Петра и для Кати эта вторая бессонная ночь. Так же тихонько отплыли они и назад. Теперь с броненосца отчалил катер – за углем. Никто про это и не догадывался.

– Городской голова! Городской голова!

Лошади были лихие, можно бы было в другое время и полюбоваться. Да и сам городской голова выскочил из ландо молодцом: не

догадаться, что это «изменник» и что жандармский полковник грозился его арестовать. Целая группа генералитета собралась для встречи губернатора.

Однако тем временем катер отчалил и в сопровождении миноносца отправился к городу. Обстрел ожидали с вокзала. Губернатора все еще не было. С минуты на минуту можно было ждать залпа. Один по одному «генералитет» зашел потихоньку за церковь св. Екатерины. Евгения Васильевна сморщила брови и взглянула на Татьяну, та отрицательно покачала головой.

— Бедный...— Евгения Васильевна назвала чье-то имя и отчество.— Как ему жарко! Я отнесу ему веер.— И она, за другими, укрылась под прикрытие церкви.

Татьянин экзаменатор (звали его Иван Иванович Веселкин) следивший, как в грязной речонке Байбуге под дулами пушек дети железнодорожников как ни в чем не бывало ловили пиявок, перевел взгляд на блестящее общество, присевшее на траву за церковью, как на пикнике, потом на Татьяну, стоявшую одиноко, и сказал ей негромко, спокойно.

— Creavit in coelo angelos et in terra vermiculos; non superior in illis, non inferior in istis.

— Я по-латыни не знаю.

— Напрасно, у вас есть способности. А это значит вот что: «Сотворил на небе ангелов и на земле червячков; не выше в этих, не ниже в тех».

Татьяна вздохнула. Мудрость учителя не дошла до нее. Сердце ее стучало неукротимо. Это и есть война между «своими». Невыносимо стоять в стороне!

И нельзя оставаться больше за церковью: одинокий вагон с локомотивом подкатывал к станции.

После короткого рапорта губернатору было доложено:

— Ваше превосходительство! Сейчас будут стрелять. Опасно по берегу, лучше в объезд!

Волков молодцевато шевельнул золотым плечом:

— Какой же я был бы военный, если стал бы бояться!— И он быстро метнул приветливый взор на Татьяну.

Взгляд был подхвачен, и Евгению Васильевну с племянницей тотчас пригласили: Центральная гостиница, против бульвара (в тени деле Хаджи). Кучеру сказано было тихо: «Гони вовсю!..» По берегу подобранно и угрюмо шагала рота солдат... Катер подошел к угольщику, видно, как небольшие фигурки возятся с якорем.

Когда Татьяна была в вестибюле гостиницы, она услышала залп; и следом второй. Она не выдержала и упала на руки тети Евгении. Это стреляли солдаты в матросов, пытавшихся взять уголь. Никто этого сразу не сообразил.

Все произошло быстро: залп, матросы убиты или бросились в воду, выстрелы по утопающим и по плывущим, убегающий

единого ответного выстрела миноносец, аресты оставшихся около утопшика, паника в городе перед ответною бомбардировкой и отход броненосца, сломленного этой трагической неудачей,— вся эта трагедия могла бы произойти на глазах у Татьяны, но, лежа, она слышала только внутри густое биение воли, и ей казалось, что она опускается в толщу мрачно-зеленой воды.

Временами она приходила в себя, и тогда голоса людей из отдаления к ней долетали:

– ...крупным калибром... нужно отойти дальше, чтобы стрелять...

И погодя — по телефону:

– Илья-пророк? Восточный пост? Что видно? «Потемкин»?

Ответ с поста на мысе св. Ильи повторялся у телефона же вслух:

– В море. Идет.

– Куда?

– На юг.

И еще погодя:

– Назад не идет?

– Нет, не идет.

Губернатор покушал в [illegible] действия городской управы признал правильными и отбыл в [illegible]. Татьяна вышла на террасу во втором этаже, море было пу[illegible] как и ее стянутые узелками глаза.

XII

У самого волнореза был пристань Российского общества пароходства и торговли. Когда медленно, на сытых лошадях, Татьяна и тетя Евгения возвращались домой, они увидели на море стремительно мчавшуюся миноноску, а на пристани полицию, в бороде фигуру генерала Герцика. Он ходил по доскам, поднимая и опуская тяжелые плечи. На миноноске суетились матросы.

– Тетя, подъедем,— сказала Татьяна.

Одновременно на рысях прибыл в своем экипаже Дурново.

– Как ваше здоровье? – любезно спросил он Татьяну и, не дожидаясь ответа (дело могло быть серьезным!), обратился к Евгении Васильевне: – Я был у него, – быстрым шепотком заговорил он, сделав движение к спутнику. (Это был исправник Ионин, временно назначенный полицмейстером; настоящий полицмейстер сбежал.) – Он живет в доме Айвазовского – да вы знаете! Вышли мы на балкон... ну, по стакану чаю... Видим, летит миноноска... Вернулись! Другие! – резковато крикнул генерал на пристани.

Он наклонился, заложив руки за спину, и вступил в разговор с прибывшими; ничего разобрать было нельзя.

Вдруг он выпрямился и крикнул с необычайной резкостью:

— Что, вы не знаете, как нижние чины должны разговаривать с генералом! Смирно!

Тогда стало слышно, как один из матросов громко ответил:

— Среди нас нет, ваше превосходительство, нижних чинов. Мы все офицеры. Где «Потемкин»?

— Ушел. А вы разве не видели?

— Нет, мы не видели, а если бы видели, мы его бы взорвали.

Что-то в Татьяне дрогнуло на глубине — героическое прошлое. Ей неудержимо захотелось в Москву, точно теперь в Феодосии нечего было делать. Она так и сказала Евгении:

— Тетя, поедем домой. Я уезжаю в Москву.

Офицеры, переодетые матросами, вольно высаживались, их отправляли на отдых в гостиницу.

Тетя Евгения остаток дороги молчала. Но только вошли они в дом и пахнуло на них домашней прохладой, она не смогла больше терпеть. Она вскинула руки на плечи племянницы и крепко их сжала, как бы руками перекидывая мост между ней и собою.

— Я понимаю тебя. Я тебя так понимаю! Ты не хочешь больше со мной? Да, я слаба, я колебалась, я не герой... Даже во вражеском стане — эта отвага, эти офицеры... Взорвать броненосец или погибнуть самим! Это не может не вызывать уважения! И я решила... я решила уйти в частную жизнь... Я возьму отпуск, и мы уедем с тобой в Старый Крым! Я и сама не люблю такую себя. Я такую себя теперь ненавижу! — И она рывком притянула Татьяну. — Вот что... возьми, возьми от своей взбалмошной тетки...

— Не надо...

— Не смей! Я тебе говорю!

И Евгения Васильевна один за другим сняла три тоненьких обруча (осталось четыре) и так же один за другим нанизала на руку Татьяны.

— Я их очень люблю... Это фамильные, знаешь... Они пролежат один через другой: каждый меньше другого, и каждый больше другого. Как чувства наши — и больше и меньше... и одинаковые, и не поймешь! Ты, верно, меня очень глупой считаешь, скажи?

Горничная постучала и принесла письмо.

— Тебе. От отца.

Татьяна взяла из рук у Евгении большой, казенного типа конверт. Адрес был на машинке. Она разорвала конверт, и письмо было отстукано на машинке; оно было коротко. Отец сообщал, что имеет сведения о Владимире Гребенщикове. Он поправляется, и ведутся переговоры о возможном возвращении пленных. Внизу от руки была всего одна фраза: «А у меня болит голова».

Вечером Татьяна разбирала свой чемодан. Кое-что в нем сохранилось и до сей поры нетронутым, точно вчера прибыла в Феодосию. Она вынула маленький сверточек, завернутый в газетную бумагу, и стала неторопливо развертывать.

Это оказалась коробочка пудры, про которую Татьяна вовсе забыла. Она развернула ее, открыла, понюхала и поставила на окно. Ее заинтересовал газетный листок. Он был надорван наискось, но все же можно было прочесть (и понять).

Телеграф принес нам удручающие
вести с Дальнего Востока.
В морском бою ранен доблестный
ирал Рожественский; эскадра его
тила несколько крупных судов.
ания, посланные нам господом,
не прекратились. Надежды, воз-
гавшиеся всею Россией на наши
орские силы, не оправдались, и весь
ентр тяжести войны снова перено-
ся на наши сухопутные войска,
бы ни были потери

Тут было оборвано вовсе.

«Не обо мне ли?» — подумала Татьяна с невольной улыбкой, и тотчас же улыбка ушла. Она живо вспомнила и отца, и холодный паркет, и откидываемое одеяло, и как Владимир снимал ее на Балтийском, и увидала опять миноноску с переодетыми офицерами...

— Войдите! Вы, тетя? Что-нибудь произошло?

— Не произошло, а открылось... Гершык проверил, он говорил с военным постом на святом Илье Миноносец, который пришел, видел «Потемкина»! И не сегодня, а когда тот еще сюда шел. Но когда броненосец повернул на Феодосию, они выбросились... то есть пристали где-то у Карадага и там в Коктебеле тайно отсиживались... Нет, каково! Не мудрено после этого, что они голодны, как львы, то есть, я хотела сказать, как собаки... Кажется, все это, впрочем, по случаю благополучного завершения дела решились не оглашать...[1]

Набежал ветерок, стукнул о раму. Татьяна взглянула туда. Возвышенная передовая «Ведомостей» легкой пуховкой летела по воздуху, и белое облачко пудры, как легкая космическая пыль, взвивалась за этой недавней «живою историей».

Ночью, когда Татьяна уже засыпала, из того же окна постучалась к ней Катя. Татьяна ее не испугалась, не удивилась, будто ждала. Открыла окно и молча глядела на гостью.

— Есть у вас йод и бинты? Не знаешь ли верного доктора? И хорошо бы еще одеяло. Утром сама приходи.

Татьяна не спрашивала, быстро порылась в аптечке и быстро сложила свое одеяло. Она отдала его не символически — для женщина, а по-деловому, реально — для неизвестного раненого, как предполагала она, с броненосца.

[1] Данный эпизод с теми подробностями, с какими он дан здесь, был сообщен автору, как и многие другие детали повести, во время поездки его в Феодосию для собирания материалов.

Кати утром дома не оказалось, но тетка ее, полуслепая старушка, с тесемочками, привязанными к жидким седеющим косам и скрепленными на прилизанной узкой головке вверху надо лбом, рассказала, как Катю найти.

Татьяна дороги не спрашивала из осторожности и, когда уже подошла к низенькой хатке, совсем на окраине, не сразу решилась войти. Из-за окна с занавеской, скрывавшей герани, она слушала чей-то мерный рассказ:

— ...семнадцати лет, а ему было уже двадцать восемь. Через месяц после свадьбы его и арестуй, а я в таком положении. Ну, этот ребеночек умер, а выпустили его через год. А потом, погодя, перебрались мы в Петербург. И дома он не сидел. С работы придет и уйдит. Спросишь: куда? «А тебе, говорит, зачем знать?» Он и тогда был подпольщиком, а я и не знала, была молода. Раз даже чуть было его и не выдала. Пришел один товарищ его и говорит: «А ты, Маруся, не знаешь, чем твой муж занимается?» — «Откуда мне знать?» — говорю. «Он, говорит, подпольщик теперь». А я думаю — знать, повышение. Забастовщик-то знала, а про подпольщиков и не слыхивала. Пошла да соседу-пьянице и похвасталась: «А мой муж, говорю, получил повышение, он нынче подпольщик!» Вот словечко-то ахнула! А как пришли эти дни, ну, конечно и он, разве такого удержишь! Выше [illegible] и застрелили.

— Да, таких разве удержишь! Вот и я про Ершова так думаю: разве удержишь его! Наверное, погиб в одесских боях...

Когда Татьяна услышала Катю, она потихоньку постучала в окно. Минутку помедлив, выглянула черная Катина головка.

— Больной-то наш плох, очень плох... Но ты входи!

Татьяна взглянула на рассказчицу. У нее было простое, открытое лицо, светлые волосы и бледно-голубые северные глаза.

— Теперь вот живу в ваших краях, да что-то невесело.

— И я говорю: что и мой уж никогда так-то не стукнет.

Татьяна тотчас догадалась, что Катя опять про Ершова. Обе женщины нисколько не постеснялись Татьяны.

— А что с ним? — спросила Татьяна про больного.

— В бреду. И сильно поранен. Доктор-то твой не приш[illegible], а фельдшер только рукой махнул. Говорит, поскорей бы ко[illegible] и ему будет легче и вам поспособней, а то, чего доброго, кто [illegible] сет, что укрывали.

— Да кто он — матрос?

— А я разве тебе не сказала? Мой дядя Евстафий.

— Покажи мне его, — сказала Татьяна и приложила [illegible] к груди.

— Вишь, как ходики тикают! А ничего больше и не слышно, промолвила, прислушиваясь, хозяйка.

Там, в узенькой комнате, была полутьма, пыря у самого [illegible] тянула часы. Казалось, она стукнется на пол, и остановит[illegible]

время. Свет падал из комнаты, откуда вошли они с Катей, и тень от больного крутым горбом вздымалась на стену; чем-то она напоминала тень броненосца, падавшую на изрезанную феодосийскую карту.

— Он был на «Потемкине»? — тихонько спросила Татьяна.

— Ну да! Он дрался и в порту, а потом бежал на корабль.

— А где ты нашла его?

— А там же, на угольщике. Мы ночью с Петром пробрались туда. Он был — как мертвый. И Ершов мой непременно погиб! — добавила Катя. Эта навязчивая мысль ее не покидала. Он опять, дядя Евстафий, говорил о твоей матери. Он говорил, чтобы пришла.

Тут больной обернулся, и Татьяна увидела бледное его лицо с черной вьющейся бородой. Оно и сейчас было очень красиво. Только глаза были страшно далеки, словно бы он только что их перевел с дальнего-дальнего горизонта. «Ходики» тикали, гиря спускалась к самому полу. Глаза Татьяны различили теперь еще половичок, наискось шедший к кровати больного; он был как мосток, на который ступили ноги Татьяны. Вдруг больной захрипел, и руки его под одеялом зашевелились.

— Ну, вот ты и пришла, — сказал он издалека, но довольно свободно. — Ну, и теперь хорошо. И ты больше уже не уйдешь. — Последние слова он выговорил с большим трудом и так и не высвободил из-под одеяла руки.

Татьяне сделалось страшно. Она поняла, что он принял ее за умершую мать. Она сделала над собою усилие и подошла к умиравшему, о котором столько слышала. Она откинула это, когда-то ее, одеяло и высвободила его мощную руку: рука не была горяча, как ожидала Татьяна, и она была тяжела.

В эту минуту кто-то стукнул снаружи. Катя хотела пойти отворить, но поглядела на Татьяну.

— Иди, иди, — отвечала шепотом та, — я еще тут немного побуду.

Евстафий теперь уже ничего не говорил. Татьяна положила свою горячую руку поверх его все холодевшей руки.

— Ну вот я тебя и отыскала! — почти те же слова услыхала Татьяна; но голос был молодой и горячий. — Ночью сегодня пришла. Что ж ты молчишь?

Татьяна не видела Катю, но она понимала, почему Катя молчит. Она не ждала его, и вот он пришел, она думала, умер, и вот он живой!

— Ай кого полюбила другого? (Грубовато и звонко, и только чтоб подразнить.)

— Выйдем отсюда, я тут не хочу говорить.

И через минуту слышался уже на дворе горячий и сдержанный Катин говор. Его прерывал деланный смех молодого матроса. Смех этот, однако, скоро исчез. Он начал теперь говорить хотя неловко,

но по-серьезному. Катя его прерывала. Потом наступило молчание. Потом громко и зло Ершов прокричал:

— А ну тебя к черту с твоей фанаберией! Другую, получше, найдем!

Катя вернулась и, кажется, плакала. Хозяйка молчала.

«Прощу ему все, но одного не прощу!» Татьяне стало казаться, что она тут стоит целую вечность. Она хотела уйти, но еще не имела сил. Вдруг она услыхала голос Петра:

— Парень сидит на камнях, а по лицу слезы текут. Я пригляделся: Ершов!

— А ты подошел к нему? — спросила порывисто Катя.

— Нет.

— А откуда ты знаешь его?

— Я у него учителем был. А потом он пошел в городское. Бедовый был малый.

— Поди и позови его. Нет, не ходи! А сам уходи, уходи! Глядеть не хочу! — И она зарыдала громко, что-то еще говоря непонятное.

Петр ничего не говорил, не отозвался никак. Потом Татьяна услышала, как стукнула дверь. Тогда Катя забилась и застонала. Татьяна хотела к ней выйти, но лежавший пред нею, теперь уже вытянувшись, строгий чернобородый человек ее не пускал. Татьяна не думала и не заметила, что большой ее палец попал в его закаменевшую руку. Тогда закричала и она. Но Катя, верно, не слышала: она кинулась к окну и во весь голос в окно закричала:

— Петр, воротись!

— Да я никуда и не уходил, — послышался ровный голос Петра. — Это хозяйка ушла.

Татьяна высвободила наконец свою руку и вышла в светлую комнату. Солнце ее ослепило. Катино лицо было как небо, когда и солнце и дождь.

Тете Евгении Татьяна про все это ничего не сказала. По дороге она силилась вспомнить: «ходики» остановились, это было наверное, но она не могла припомнить, когда. И потом, это их тиканье — оно как бы тонуло в Катином дождевом лице, в звоне горячего солнца.

В последние дни перед отъездом Татьяна все больше бродила с художником, и именно он приготовил ей последний феодосийский сюрприз.

Город оставался полупустым два или три дня. Масса домов стояли открытыми, брошенными. Голодные собаки бродили по улицам и, поджимая хвосты, вынюхивали у дверей человеческий дух. Фабрика мрачно стояла с наглухо запертыми воротами. У многих рабочих были животные. Коровы мычали, и трясли бородою козлы, побираясь по соседним дворам. Множество перепуганных людей скрывалось еще в кизильнике, в балке. В ближайших окрестностях

ходили про Феодосию фантастические слухи, что города больше не существует, что он разрушен до основания. Деревня Прицепка, в сторону Симферополя, бывшая местом ссылки еще во времена Екатерины II и сохранившая вольно-разбойничьи навыки, пыталась пограбить. Она поставляла большею частью грузчиков. И вот на огромных подводах, с треском и грохотом, как настоящие гунны, из-за Лысой горы обрушились они на Феодосию, через базар, но получили отпор.

Художник был нервен и мрачен одновременно. То он говорил о Потопе и собирался работать (в руки не брал и карандаша), то иронизировал, то был исключительно нежен с Татьяной, но непосредственно вслед за этим впадал в непроходимую мрачность.

– Все равно,– говорил он, – «Потемкин» пал (уже было известие о разоружении и сдаче «Потемкина» в Румынии), но и самодержавие пало. Это дело минут.

– Как минут?

– А что такое минуты? Спросите у фанагорийского льва, где изображено мое имя. Мы, в сущности, стоим рядом с мамонтами. Только слепые не видят этого. Да и что такое самодержавие? Плохонькие декорации на сцене заезжего провинциального театра. Новая пьеса пойдет без декораций и с совершенно другими людьми. Но только статистом я быть не способен. Это уж простите меня вовсе!

Однажды запела опять в ресторанчике скрипка, и опять на бульваре зашептались склоненные парочки. Дмитрий Иванович стал мрачен, свиреп.

– Главная подлость не в том.. а в том, что решительно все осталось на месте.

– Это правда, Дмитрий Иванович, что к вам вернулась жена?

– Да, это правда. В два часа двадцать пять. А в два тридцать я вышел к вам. И я становлюсь революционером, и я не хочу выносить старый режим. Я ухожу.

– Куда и зачем?

– А вы... разве вы не уезжаете? (Татьяна вздохнула.) Матросы и рыбаки имеют большой успех у женщин, да и рисовальщики сойдут – тоже, пожалуй... Вы давно видели Катю? Так вот и я становлюсь рыбаком, но только на свой собственный лад. А главное: вы уезжаете, а вы для меня как роса. Вы не знали, что вы для меня как роса? А роса – это утро и воздух, и весь мир отражен в чистейшей из капель.

В этот вечер, прощаясь, он крепко сжал пальцы, отдельно на каждой из рук, точно каждой рукой – ни за что – чего-то он не хотел отдавать, но должен отдать; и так, сжатыми пальцами, постучал одной рукой о другую. Это был сухой и короткий звук: кости о кости.

— И ежели все осталось на месте и вы уезжаете, то оставаться и ждать... Минуты — они очень долги! А я человек острых пристрастий...

Он зашагал не оглядываясь. Татьяна смотрела ему вслед со стесненным сердцем. «На случай индивидуальной моей гибели», — вспомнилось ей, и она решила завтра же утром его навестить.

Отъезд был назначен еще через три дня, но неожиданное известие из Москвы заставило Татьяну выехать завтра же. Телеграммой ее известили, что у отца был удар. Так вот о чем говорили эти стекла: «А у меня болит голова!» И он встал перед ней — как был на вокзале. Художник не угадал: не в карете!

В последний раз над Татьяной плескалась листва на стене, и ей вспомнился первый ее феодосийский день. Сколько людей и событий прошло перед нею, как люди менялись и набегали, меняясь, то на других, то на самих себя! И море, такое изменчивое и равное самому себе, родило героя и поглотило героя. И герой умирал в короткие сроки с тем, чтобы жить в долгие сроки. И отцу везла ассортимент табаку, а отец уходил навсегда. Татьяна теперь видела смерть, и Татьяна пережила жизнь своей матери. И кажется, что... художник ее полюбил, это можно сказать себе в темноте. И Татьяна теперь на свете одна, а когда человек остается один и некуда глянуть повыше, — это ответственно, и шаги человека становятся тверже. И отец вряд ли уже будет судить Владимира, и как она встретится с ним, со своим... женихом? И какой вообще будет суд — моря, земли, городов? И кто крепок (Ермолова не вспомнила и позабыла цветы) — это Катя и Петр; и, подумав, добавила: нет, не Гри Гри, а коротенький человек, у которого складки, Ефрем Василич, кажется. Да, и какая другая... какая другая Татьяна сама! Должно быть, опять приложила руки к груди: звякнул браслет о браслет. И тетя Евгения... Тетя Евгения — больше, чем кто-нибудь, — как эта листва на стене...

Татьяна очень хотела перед отъездом видеть художника и хотела увидеть жену, но ей не удалось.

Я пошлю за ним, он придет на вокзал, - так рассудила Евгения Васильевна, очень расстроенная отъездом Татьяны, которая теперь становился совсем необходим.

«Да, может быть, лучше не видеть жену», — подумала Татьяна и уступила. И никого другого, пожалуй, не надо: Кате не до...

По дороге к вокзалу она увидала Ефрема Василича. Он шел в сопровождении двух городовых; заметив Татьяну, он по и дружески ей подмигнул.

На станции художника не было. Браслеты звенели с обеих сторон, три и четыре, и, расставаясь с тетей Евгенией, Татьяна прощалась со всей Феодосией, которую знала когда-то только на...

Опять было море и порт и на рейде суда были в дыму... и мелькали опять приморские дачи, но они странно казались...

стоящими, почти что несуществующими. «Отчего же все-таки он не пришел? — подумалось невольно Татьяне. — Не стал же он впрямь рыбаком?» И как бы в ответ донесся до нее разговор:

— Так что же он, бросился?

— Наверное, сам. Недалеко от завода. В Двуякорной бухте. Знаешь, откос с оливковым деревом?

— Да кто он такой?

— Не знаю. Болтали — художник.

— И насмерть?

— Ну да!

Татьяна теперь поняла, как он стал рыбаком на свой собственный лад.

Дорога была Татьяне трудна. Каждая тень на пути была тенью трагической, а долгая ночь — как бесконечный и трудный туннель. Но чем дальше за ней оставалась отныне ей кровная Феодосия, тем больше все прояснялось Татьяне, и все понемногу становилось на место: даже художник, даже отец и даже Владимир. И надо всем вздымался трагический огромный корабль, и тень от него ложилась на карту. И на карте была не одна Феодосия, на карте была вся Россия — от кровавого Дальнего Востока до дремучих нахимовских дебрей Смоленщины.

Утро ее залило солнцем. В коридоре вагона какой-то солидный путеец обратился к ней, вежливо приподняв отягченную значком новенькую фуражку:

— Как хорошо вы загорели!

Татьяна никак не отозвалась.

— А где, позвольте спросить?

— В Феодосии.

— А феодосийский загар держится крепко?

Татьяна вложила свой смысл в этот вопрос и ответила очень серьезно, так что потом инженер ничего больше не спрашивал:

— Да, очень крепко, и этот загар на всю жизнь.

1930

Красная смородина

Вот что случилось с одной деревенскою девочкой на нашем селе. Звали ее Дашей, фамилии у нее не было никакой; Даша жила приемышем у деревенского столяра Никифора. Не было у Даши и отчества, да пока она в нем и не нуждалась.

Подобрали ее, чистенько одетую, на Коньевском лугу — у леса, за речкой. Как она туда попала и как заночевала там, от нее не могли добиться. Даша угрюмо молчала, и только глазенки ее посверкивали огоньком, впрочем, может быть, это было простым отсветом огней; барские усадьбы полыхали в то лето и ночью и днем.

Никифор Говорной, крепкий мужик, каждый день с новыми, свежими стружками в кудрявой своей бороде, не был бездетен, но дети у него подрастали лет до шести, до семи и умирали, точно над ними проведена была такая черта: расти, но не дальше! С течением лет он в этом деле отчаялся и жил с женой без детей; на риск подобрал себе Дашку.

Девочка долго росла темным, угрюмым зверьком, будто что знала сама про себя, да только таила. Впрочем, и Говорные фамилии своей не оправдывали и были несловоохотливы, даже весьма.

— Не приживет школи и эта девчонка у Говорных, — судачили бабы, — видишь, как клонится к земи. Другие тебе тянутся кверху, как яблоки, а эта как кустик: сама, как говорится, в себя завивает.

Но бабы ошиблись. Девочка в себе налилась и пошла в рост будто что-то забыла и по-новому Даша открылась, заговорила и стала смеяться, а потом и такой говорок зазвенел, что за всех за троих оправдала приемную свою фамилию.

Выросла Даша — крепкая девочка, проворная, темнокудрявая, очень способная в школе, и на дому, и по хозяйству; всюду поспеет и все у нее будто горит.

Рано, до свету, подымалась она и, не зажигая огня, умывалась — тихо, как мышь — из глиняного висячего горшочка, потом убирала постель (спала она на лавке) и через холодные сени пробегала на кухню; у Никифора дом был просторный, на две половины. Там ее ждали: с вечера нарубленный хворост, картошка из погреба, головка капусты, свекла и лук. Тут она зажигала под потолком висячую лампу и, засучив рукава, как настоящая, заправская хозяйка принималась за работу — стряпню. Все у нее было в порядке и все припасено. Быстро она растапливала печь, чистила картошку, клала туда горстку крупной сероватой соли и, отодвинув говорливо пылающий хворост, ставила в устье горшок, потом она все заправляла для обеда: кашу и щи, чтобы позже поставить, когда печь прогорит; кирпичный под накалялся, как уголь, и в жарко нагре-

ленной печке обед не только будет готов, но и щи протомятся как следует, и на каше поджарится корочка.

Тем временем Никифор задавал на дворе корму скотине, и Даша, выбегая за квасом на погреб (квас любили холодный, и на ночь его не приносили), успевала еще помочь и отцу. Особенно нравилось ей резать отрезком косы гладкую и холодную солому: лошадь держали на сене, а корове задавали резку, посыпанную отрубями. Ловко вжикала Даша острой косой, и желтые дудочки падали, рассыпаясь, в большую корзину.

Туда же на двор приходила и мать Аграфена Михайловна (хоть и бездетную, а звали ее из почтения по имени и отчеству: была она хорошо грамотная, мещанка из пригорода, и во время войны писала и читала письма всей деревне! Она была худенькая, узкая; крестьянская трудная жизнь, как видно, была не вовсе по ней, и, может быть, оттого и дети ее долго не выживали. Дашу она так полюбила: должно быть, любовь свою за всех четверых умерших детей собрала, как пучок, и перевязала в одно и всю ее, развязывая, отдала чужой этой девочке. Она бы, пожалуй, и к самой работе ее не подпускала, да слаба стала на ноги: помота в спине и глаза застилает. Однако же птицу кормила сама, да и коров у нее приемная дочка отнимала только по воскресеньям: очень любила Даша доить, да в будни не успевала всего, — глядишь, перед печкой надо и к школе кое-чего почитать!

Покончив дела, покормивши скотину, садились и сами за стол. С морозу на кухне охватывал жар. Трещало в печи, дымилась картошка, гудел под трубой самовар. Сбегав за квасом, Даша быстро кидала в трубу горячие угли. Завтракали не торопясь — чинно и плотно. Сначала ели картошку с квасом и накрошенным луком, потом ели картошку с постным маслом и опять-таки с луком, но лук макали в соль и откусывали, и это было как лакомство. Потом пили чай, и когда его допивали, можно было уже тушить лампу: с ровной и мягкой снежной перины сонная ночь уже уползла, и синий холодный рассвет неспешно похаживал по соломенным крышам домов, грея в густом и теплом дыму. Скоро бежать Даше и в школу!

И школу — на горке, в помещичьем старом дому — Даша любила: зима или не зима, а в доме с колоннами всегда половодье: гомон, возня — как птицы на первых проталинках.

Копьевская школа была и обычная школа, и несколько особого типа. В имении некогда было отличное садоводство, и старый помещик — «Чудила-мученик», как его прозвали в округе, — когда он еще только затевал свои новшества и их утверждал у себя под воркотню и насмешки соседей, оставил крестьянам хорошее плодовое дело. Он был бездетен и умер сам по себе, так что имение штурмом брать было незачем, и все сохранилось в полном порядке. В доме теперь — многолюдная школа, а рядом во флигеле — молодой агроном — бывший подпасок в имении магната Ширинского, на той стороне, за рекой. Там и сидеть бы, пожалуй, ему, Ивану Егоровичу,

в этом огромном совхозе, но в Тимирязевке он пошел по плодовому делу, да так тут и осел — на Копьевке. Школа имела «уклон», да, пожалуй, не только уклон, а и побольше того: силами школьников велась и настоящая работа — в самом саду, в подвалах, в плодосушилке.

Сад был огромный и содержался в образцовом порядке; целая плантация слив. Да и в округе сады завели у крестьян. Еще бывший владелец — чудак — эти сады поощрял. Любил он посасывать трубку и продымленным своим говорком приговаривал:

— Меньше будет, сударь вы мой, у меня воровства́-с, не то что у ва́с! — В усы улыбался неприхотливой свеженькой рифмочке и переходил на философию: — К тому же древесная жизнь с незримой поэзией родственна́-с, облагораживая на́с, да́-с!

Дальше этих рифмочек: в а с, п а с — он не шел и, переходя с слов к делу, обкуривал в а с через п о с.

Но как бы там ни было, а школьный Копьевский и сады по округе в целом давали изрядно: одна только плодосушилка по осени в сутки пропускала до ста пятидесяти пудов сырья. Но в хозяйстве было поставлено, кроме того, и образцовое сырьевое дело: овощи, фрукты в специальных подвалах сохранялись в продажу к весне в нетронутом, свежем их виде.

Были, конечно, на производстве и специалисты рабочие, но школьники сами очень вникали во все и «производственные занятия» эти любили.

Со знанием дела, со свежим чутьем, между других, на сборе плодов работала Даша. Груши и яблоки, особенно сливы, требовали большого внимания и деликатности. Даша снимала их артистически — со стебельком, не дотрагиваясь до них руками, тут же связывала ниткою по два плода и передавала подруге; и на веревочке в погребе их вешали так, чтобы они не касались друг друга. Даже и птичий подросточ ий гомон в широком саду тогда примолкал, это было похоже на священнодействие.

Но совсем по-другому шумел массовый сбор, когда работала плодосушилка. Она похожа была на огромный, жарко разинутый рот, непрерывно алкавший; подвижные решета походили на челюсти, пахучий дымок охватывал их пряным, сырым ароматом. Тут больше работали мальчики, Даша с подругами орудовала между деревьев. У нее была своя специальность — трусильщицы.

Под обмазанный известью ствол подводился брезент с круглым отверстием посередине. С одной стороны до этого воротничка два полотнища оставлялись несшитыми, брезент охватывал дерево, и тогда соединяли свободные стороны парными завязками. У отверстия сосбавшего ствол, и в самом деле пришит был «воротничок», его привязывали веревочкой к дереву, чтобы туда не просыпались плоды: ведро будут держать, а Даша — на дерево!

По деревьям она лазила быстро, легко; подвижные ее, загорелые ноги между ветвей всегда находили удобное, ладное место; кожа на солнце тепло золотилась, сама подобная коже плода. Даша

и ждет, пока закрепят брезент у ствола; темные глазки повисли, немного скошенные, между листвы, губы в движении (есть было можно сколько угодно), сахарный сок блестит на губах, и вся задремавшая, тяжелая сладостью крона — как воздушный, сквозной, теплый шалаш. Сквозь зелень отсюда — кроны, стволы — кроны, стволы: точно взметенные вверх стога из душистых плодов.

Ветки трясти надо было легонько, одну за другой, чтобы падали сливы только созревшие. Даша была мастерица: короткий толчок — ветка за веткой — и сиреневый, розовый, синий дождик внизу... Иногда под ногой дрогнет корявая, узловатая ветвь, послышится хруст — Даша прижмется к стволу молодой, свободной грудью, схватится цепкой рукой и переступит на более прочную ветку. Но однажды, пришлось, все-таки рухнула Даша с высокой, раскидистой груши, подгнившая ветка не выдержала и подломилась. Как плод, перекидываемый с решета на решето, Даша упала не сразу, пытаясь схватиться за сучья и обрываясь. Ушиблась она, по счастью, не сильно, но вся ободралась — ноги, руки, шею и грудь, синее платьице было изодрано в ленточки.

Это падение для Даши осталось [illegible] каким-то зелено-дымным костром, в котором [illegible] незримые языки огня.

Странно, она даже [illegible], взамен того, неудержимый, прерывистый [illegible] в школу и ставший серьезным за[illegible], порывшись в кармане и выбравши ключ, отворял уже [illegible] шкафчик аптечки, а ей стало ужасно неловко и чуточку [illegible] испортила дерево, девочка все же давилась в [illegible] от душившего горло, досадного смеха.

Пастух-агроном занялся царапинами почти с педантической тщательностью. Лечебное это [illegible] привычку, и он даже посапывал носом, сдержанно [illegible] крепкими своими, полевыми ноздрями. Даше показалось, рядом посапывает молодая лошадка. Ей было больно — под очень жесть — и продолжало быть не по себе, но мягкая теплота [illegible] под кожей. Наконец он ее разрисовал до конца: синие ленты — вместо платья, узенькие струйки запекшейся крови, похожие на коротенькие веточки кораллов, буро-желтые полные пятна — как смола на вишневом загаре ее разгоревшейся кожи — все это было пестро и забавно: кусочек доморощенного маскарада. Иван Егорович даже слегка отступил перед своим произведением и, почти как художник, прищурил глаза и тронул очки.

— Ну, Говорная, — сказал он, — разодолжила! Другой раз так не лезай!

Он засмеялся и слегка ударил ее по спине, по лопатке. Девочка повернулась под его ладонью и выбежала вон.

Иван Егорович спрятал назад баночку йода, вымыл руки под рукомойником, подошел к окну, где висело полотенце, и протянул руку, чтобы его достать, но вместо того оперся рукою на подокон-

ник: в окне он увидал еще не ушедшую Дашу. Около нее была [illegible] большая кучка ребят. Девочка звонко смеялась, рассказывала и, [illegible] в силах сдержаться, складывала руки на животе, от смеха покачи[illegible]ясь. Иван Егорович внезапно чего-то вдруг рассердился – на себя [illegible] похоже, – хотел им крикнуть в окно, чтобы шли на работу, но [illegible]жался и продолжал глядеть, забыв про полотенце. Так незам[illegible] руки его высохли сами собой, и ветерок из-за откинутой рамы [illegible]ным своим языком лизал не таясь его шершавую кожу.

А Даша сама, только когда ложилась спать, вдруг застыди[illegible] по-настоящему, и уже не того, что сломано дерево, и не того, [illegible] Ивана Егоровича оторвала от работы, а чего-то другого, про что [illegible] сумела бы связно сказать. Этот нечаянный стыд с опозданием [illegible] очень короток и очень горяч: будто иодом мазнули внутри [illegible] ребрами сердца. Впрочем, этот ожог, как и те, настоящие, [illegible] скоро прошел, и Даша быстро заснула на жестком своем пол[illegible]ке. А ночью ей снилось, что она летает и падает, летает и падает [illegible] ведь я обещала ему, что я не буду больше летать!» – думала Да[illegible] во сне и тотчас сама себе говорила: «Нет, ничего я и никому не [illegible]щала!» – и летела опять: летела и падала.

Даша училась отлично, не по годам, молодой агроном ладил ее в Тимирязевку. Впрочем, их несколько было таких – выдвиженок. Зимою для них был отдельный урок, вернее, занятия, практика в [illegible]боратории: нижний, полуподвальный [illegible]аж. Собственно, там про[illegible]ходили по осени работы, связанные с [illegible] плодов, стояли чаны для обваривания в щелочном кипя[illegible] бокастеньких автоклав для стерилизации банок, напо[illegible] черносливом, тощая, по[illegible]жая на цаплю с отдельными торчащими перьями закаточная ма[illegible]на, на которой Даша ухитрялась [illegible] крышки на банках [illegible] полуторасот штук в час, самодельный бельевый шкаф, в рав[illegible] мере пропахнувший серой и яблоками. В отдаленье, в углу [illegible]ился без употребления коленчатый сложный кожицеснимат[illegible] «Уникум».

– Никаких не надо нам уникумов! – говорил, как будто [illegible]дился, никогда не сердившийся Иван Егорович. – Это, может [illegible] гражданина Ширинского кожицу надо было снимать, тонкий [illegible]тель был шкуры сдирать с нашего брата, так и плодовую шкур[illegible] мог претерпеть.

– А ведь без шкурки нежней, говорят, и за границу, [illegible] так отправляли?

– Все это видимость, глупость, деликатес! И агро[illegible] шил очки и развивал своим слушателям теорию о витамин[illegible]дящихся именно в кожице.

Даша любила, когда их учитель немножечко так «за[illegible] Он был высок, немного сутул, правая рука иногда далеко за[illegible] за спину, как будто вот-вот поднимет, позади головы, [illegible] ревочный кнут, обкружит там кнутовище несколько раз и [illegible] с оттяжкой, будя под холмом дальнее эхо.

Кожа плода, витамины... Даша посапывала и подпирала [illegible] рукой. Слабый, но явственный запах отгоревшего лета [illegible]

ноздри: под кожей играла молодая ее, еще затаенная жизнь; о «загранице» говорили они — и не раз — по вечерам, во время занятий, о которых мы помянули.

Еще были в Копьеве «ветхие денми» старушки, которым казалось, что в мрачном подвале Чудилы-мученика творится недоброе. Знахарка Пафнутьевна не раз и не два тайком пробиралась к заделанному решеткою боковому окну. Вытяжной шкаф над плитою работал с дефектом, и едкие серные и хлористые пары, стлавшиеся в воздухе, заставляли открывать окно. Осторожною старою кошкой подбиралась знахарка и клала длинный горбатый свой нос на заржавленный прут. Запах кислот щекотал ее серые ноздри, в горле першило, желтые ребра мерно поскрипывали: было похоже, как если бы жерди, полугнилые, под злыми порывами ветра стонут о скорой погибели старого дома. Но все это нашу старуху не останавливало. Серо-зеленые глазки ее, запорошенные седою пургою времен, хищно глядели, впиваясь, разглядывая, как красным грибком накаляется платина и, ядовитый, над тиглем клубится дымок, как лижет по воздуху под паяльною трубкой медный зеленый огонь.

Подростков-ребят старуха Пафнутьевна вовсе почти не замечала, они ей без надобности. В каком [illegible] смысле держала она высокое свое женское знамя. [illegible] жизни пора, когда она так мужиками пошвыривала, [illegible] весенний ручей, да и много спустя, когда у нее уж [illegible] титул заправской колдуньи, скольких и скольких [illegible] обвивала она вокруг пальца — истинно так, как обвивала [illegible] нить, выдернутую из старой своей, затасканной [illegible] презрительным смехом смеялась она в кудлатые бороды, где седым паучком обернувшись, недремлющий бес проложил уже тонкий узор лунной, лукавой своей паутины. А баб и девчонок жалела: держала она, не изменяя себе, слабую сторону — учила коварству и хитрости, заметала следы, выгораживала...

И вот за решеткой, в коротких юбчонках, видела старая ведьма целую стайку стриженых юрких, на нее самое ничуть не похожих, молодых и веселых колдуний. От бога и церкви ушли, танцуют в подвале, между зеленых огней — старой колдунье хоть поглядеть, хоть подышать...

Ветер подул из окна, заколыхались огни. Даша, сидевшая рядом с окном — возле стены, за весами (первая между других, она перешла на количественный анализ), — встала, чтобы притворить раскрытую раму. Рама была за решеткой, и надобно было дернуть ее за веревочку. Не глядя, схватила она размочаленный кончик веревки и совсем уж хотела ее потянуть, но подняла глаза и отскочила. Разбитое рыжим квадратом седое лицо, скрюченный нос на ржавом пруте, желто-зеленые жидкие по ветру волосы — все это было так дико и страшно, что Даша, помедлив, испустила глухой и сдавленный крик. К ней подскочили, но за окном ничего уже не было. Резво порхали по ветру молодые прохладные снежинки. Порезвившись, они упадали на шершавые прутья решетки и медленно, медленно

глаза. Так однажды на Дашу взглянула из тьмы древняя, мышиста пяжетта-серая быль.

Мальчишки смеялись потом:

— Ты бы дернула сразу — и нос бы ей прищемила!

Пафнутьевна скоро потом умерла; бог знает, каковы были ее предсмертные думы.

Далеко, на все стороны света, лежали поля, под сугробами т лилась, поджидая весны, затасканная жизнь. В глухих деревнях, в э тах, занесенных снегом, шли разговоры, ворочались неторопли мужицкие думы. Хозяйство кругом было в движении, люди и их от ношения — все перестраивалось. Космический ход земледельческ жизни, диктуемой солнцем, погодой, дождями, претерпевал вто жение сил посторонних. В близком соседстве возникали хозяйст нового типа. За четырнадцать верст, на Красном Ключе — не дов но того, что поля в общей запашке, — строили общий огромный мина с обширной столовою в будущем, с общею кухней. В чита при доме, еще не отделанном, однако, уже слушали вечером ради читали газеты: передвижка значительная! В коллективном хозяйст ве был свой тракторист. В избе его было убого, он был из приезжи недавно женат, и с изумлением глядели на проезжавшие по большак на телегах, как, отработав и вымывшись, сидел за деревянным сто лом под ракитой Андрей Николаевич и читал не спеша молодой рыжеватой Катюше журнал. Даша [illegible] с ними знакома и стран тетрадочки эти (давали ей сразу [illegible] прочитанных!) — журнал пу тешествий — знала чуть что не наизусть...

Не все было ладно, и не все [illegible] становилось на место в Кра ном Ключе: сшить из кусочков огром[illegible] одно одеяло — дело нелег кое! Ежели просто в прогулку собирается компания, да не особен спешащаяся — и то не удовольствие, а одна ерунда, когда не прав раздоры: ладить же общее дело с людьми на девять верт в окр ну — надобно думать, что потруднее. Но появились машины — ст афаны наших времен — и стальной своей дратвой прошнуровали в накрепко; немало задорных затылков стесала машина под об уклон: эта причешет!

— Эта дурь-то расчешет тебе! говорили кругом му ки. — Торфяные мозги твои вынет, а вложит фабричные!

Говорили подчас не без ехидства и не без лукавства [illegible] вем — поглядим, как городьба эта будет разваливаться

— По звонку — на работу! Да черт их возьми, я знаю и с гда мне работать, а когда и полежать. А тут на работу [illegible] дешь — плати! Плати, как какой-нибудь сукин сын крепости

— И яблочка там в саду не сорви, — вторила баба, — и ви ки ребенку, горсточку масла...

Больше всего изумляло, что из трех деревень, соединя вместе хозяйничать, семь мужицких дворов, самых зажи в коллектив свой не приняли, дали им землю далеко на от выкидали с насиженных гнезд.

— Видишь, зараза от нас! — объяснял на базаре один из лишенцев. — Потому как мы, видишь ли, отравляем умы!

— А я человек справедливый, — вступил в разговор другой из этой же группы, — говорят мне: ты, пожалуй, себе, брат, богатей — сколько угодно — как нравится — только мы, видишь ли, эти излишки твои будем острым серпом, так сказать, срезывать. Покорнейше вас, я им отвечаю, благодарю: мы уж как нибудь сами их срежем, зачем вам трудиться! И срезал запашку, аккурат в аккурат, без излишков. Хлопот, видите, меньше. А ежли не хватит — авось из колхоза корочку кинут — на бедность: как же так, бедняку да не помочь!

Даша была девочка шустрая, много видела, соображала. У нее-то самой колебании, пожалуй что, не было: молодой агроном твердо их вел, — но дома не раз скрипели сомнения, грузно ворочались мысли у старших, точь-в-точь как во многих и многих занесенных глухими сугробами хатах. Одно только видела Даша: что тугая раскачка — идет и идет. И особенно два замечательных пункта прорезали мозги: детские ясли — у баб, и самые эти машины — у мужиков. Удобрения — туго, ученый агрономический разговор — еще того туже, ну, а выедет трактор — [illegible] и отвесить до зёми поклон!

Даша еще молода, скоро [illegible] пускала она по-молодому, по-новому, ей [illegible] Ученье в Копьеве клало на всех [illegible] интересный, особенный — как [illegible] по глухих полынных просторов. [illegible] гое, скачи до нее — не доскачешь, и [illegible] как [illegible] торую зажгли и поставили прямо [illegible] далеко!

Даша любила и сад, и плоды, и [illegible], но [illegible] бе намечала другую: больше всех витаминов она любила всякую живность — коров, лошадей, уток, цыплят. С ней, как была она еще вовсе ребенком, случился такой анекдот.

Аграфена Михайловна, приемная мать, куда-то ушла. Никифор, по обычаю, стругал свои доски, стояла жара, [illegible] между цыплят в распашонке, растопыривши пальцы, сидела и Даша; неподалеку, откинувши ногу, грелась на солнце соседская утка. Даша глядела и думала, что надо цыплят покормить, поглядела на утку, как она сонно лежит, вытянув жирную ноги, и сразу — сообразила. Под громкое квохтанье наседки напихала она в рубашонку цыплят и потихоньку приковыляла к ленивой, на солнце распаренной утке. Сразу она на нее навалилась и стала подсовывать ей цыплят, одного за другим, чтобы они пососали. Утка рвалась, цыплята кричали, кудахтала курица. Даша вспотела, ей было неловко и трудно справляться с цыплятами, с уткой, но она все продолжала с настойчивостью совать золотые комочки в пушистую уткину грудь. На всю эту кутерьму вернулась как раз Аграфена Михайловна.

— Ты что это делаешь? Ты утку задушишь!

— А я думала, мамочка, у ней молочко пожирней, чем у ходлатки!

Даша знала теперь, что птичьего молока не бывает, но хорошо помнила о простом молоке и мечтала своей специальностью сделать животноводство. Корову их звали Агафьей, и как доила Агафью, думала Даша о... Дании. Это бродили в ней школьные их разговоры о загранице.

Иван Егорович сам за границей, не мудрено, не бывал, но по-немецки читать научился, и в подовом хозяйстве их многие из машин и приборов были из-за границы; кажется, он втайне подумывал о командировке в Германию — не сейчас, так со временем. Даша — очень внимательная к молодому учителю — порою об этом читала под стальными его, деловыми очками, как случалось Ивану Егоровичу вдруг посреди делового разговора задуматься. Поймает на этом себя, дернет очки и закончит неспешно, размеренно оборванную свою полуфразу, а коротенький вздох через ноздри — похоже, как будто наскоро сунул свою молчаливую мысль в дорожный мешок и самый мешок отодвинул в угол ногой — лежи там да поджидай!

Мысли у Даши о загранице очень двоились, а то и троились. Наши враги — буржуазия, наши союзники — пролетариат, — все это крепко сидело и не вызывало сомнений; так же крепко сидело: высокая техника! Но и еще — журнал путешествий, из номера в номер, неустанно тревожил воображение. Путешествия, бури, аэропланы, неизведанный мир диких зверей...

В юности часто случайно запавшее слово пускает в душе корешки; приютится оно, незаметно сначала, где-нибудь на самых задворках — возле плетня, на огороде, а потом, глядишь, куст, а с годами — шумит как вольное дерево по ветру и зацветает каждую весну купами пышных цветов... Даша попала однажды в городе, вместе с Никифором, на железнодорожную станцию: у него были дела на товарной. Мимо шел поезд, остановился на три минуты. Даша глядела, как из вагонов вылезли люди — смеялись, ходили; ей было все интересно.

— Город Мещовск! — сказал господин с толстым брюшком. — Раньше торговый был город, а теперь одни только яблоки.

Даша обиделась и отошла: «Приехал бы в школу к нам — глядел!» — подумала она с некоторым вызовом, но ничего не сказала и отошла; и не эти слова в ней проросли: брюзжанье не прорастает! Два пассажира и девочка в коричневом клетчатом платьице говорили поодаль на неизвестном ей языке. Они были оба в белых штанах, волосы гладко расчесаны сбоку, будто только что вымыли голову; один был высок, с далеко откинутым лбом и сильно выступавшими надбровными дугами, у другого лицо — как у горбуна, хотя он и не был горбун. Девочка Дашиных лет походила на перелетную птичку, на минутку присевшую передохнуть, и носик у нее

чем-то желтым запачкан; за окошком вагона торчали две белые лилии.

Даша глядела на них, раскрывши глаза; перелетная девочка глядела на Дашу. Старшие заняты были своим разговором. Вдруг Даша услышала фразу по-русски.

– Всякое движение – благо, – сказал человек с лицом горбуна и глухо закашлялся.– Движешься,– значит, живешь.

Девочка в клетчатом платье к нему подошла, тронула руку. Дали звонок, прогудел паровоз, и машина поехала. Около лилий в окне мелькнуло лицо – наверное, дочери горбатого этого негорбуна.

Даша девочка умная, и Даша жива: все в ней в движении. Она поняла и почувствовала, как смешаны горечь и радость. Столько пахнуло ей сложного в этом коротком! В сложностях Даша совсем не привыкла копаться, впечатление это так же просто она в себя приняла, как если бы съела свежее яблоко. Но яблоко съедено и «витамины» в крови, то есть в самой сути всех сутей.

На обратном пути, как всегда, заехал Никифор к трактористу Андрею Николаевичу. Они увидели его, не доезжая до хаты. Он привстал на своем жестком сиденье, и сама громыхая по пыльному большаку, видела Даша сегодня [illegible] движение, как никогда не доводилось ей замечать: машина [illegible] по полю, а на машине стоял и двигался меж [illegible] Андрей Николаевич, и он себя чувствовал там [illegible], как у себя под ракитой. Еще издали он закричал:

– Никифор! Дашутка! [illegible] никого не найдете, Катя теперь работает в яслях.

Подъехав, он отцепил из-за [illegible] ключ и дал его Даше.

– Отложены! Что к нам давно не бывала? А ключ схоронишь под камень, у порожка положен.

Никифор поил коней у ручья, Даша достала журналы, спрятала ключ; под камнем лежал холодок.

Лошади, фыркая, пили студеную воду; пили неспешно, как бы пожевывая. По временам они отрывались и медлили, наслаждаясь прохладой. С их невысоко поднятых морд, из-за неплотно прижатой губы срывались и падали тяжелые капли, капли не были круглыми и формой своей напоминали ей грушу. Так, по особому, нынче видела Даша привычные мелочи.

Она и сама напилась после коней и слышала, как шевелятся губы ее в журчащей воде, пила бы, не отрываясь пила.

Даша скоро забыла про станцию и про людей, у которых пробор блестел будто мокрый, и про клетчатую девочку с желтым, испачканным носиком; и еще крепче забыла она, что отец этой девочки – она догадалась – болен и едет лечиться; жизнь отбирает свое, то, что потребно для жизни. Но уж наверное только казалось, что позабыла – эти слова про движение, и самое в них замечательное – это то, что они прозвучали между чужих, непонятных ей слов, будто сама заграница что-то сказала по-русски. Спросить бы

у Даши, отчего через несколько дней она попросила Ивана Егоро-ча показать ей немецкие буквы и вообще ей помочь в этом деле. Да-ша сказала бы просто: «Так, захотелось чего-то!»

А тут еще аэроплан!

Про аэроплан только слыхали, только читали, и вдруг.

Был август, работы в саду в полном разгаре. Даше было пору-чено тонкое дело: окулировка. Надобно было привить спящим глаз-ком десятка три молоденьких яблонь. Иван Егорович сам нынче при-вез от Ширинского (где был пастухом) несколько свежих побегов особой разновидности апорта. Работу они разделили поровну: у кто-го выйдет лучше!

— Это, Даша, тебе не корову доить,— смеялся заведующий.— дело это потоньше!

Он иногда любил над Дашей подтрунивать. Но и Даша не ос-валась в долгу:

— А давайте и там объявим соревнование! Я погляжу, как вы доите...

Даша с садовым ножом обходилась с мальчишеской ловко-стью. Кривой этот нож, специально изогнутый, был как живой ме-ду живыми пальцами девушки.

За работой примолкли. Даша с большою заботливостью выби-рала местечко, где делать прививку. Аккуратно, ни глубже, ни мельче, надрезала она свежую кожу почка, чуть холодившую паль-цы, и уверенно под поперечным прорезом сделала продольный надрез, тотчас отгибая по обе стороны вороти-ок. Глазок со щитком из нижней части побега, «спящий», но хорошо развитой, бывал уже за-готовлен. Не теряя секунды, вводила под воротничок и прижимала крепко большими пальцами. Потом почку мазала варом и акку-ратно над почкой уверенно прижимала перекрестной полоской мяг-кой мочалы. Оба конца перекрещивались назади и ложились спе-ди уже крест-накрест; переставало теперь походить на хирурги-на операцию, и становилось больше похоже, как если бы Даша пе-ленала грудного ребенка.

От Ивана Егоровича она отставала в быстроте и автомати-движений, но никак не в добротности самой работы. Ученичес-крепко еще сидело в ней, но она вкладывала в эту работу, как и все, что бы ни делала, много тепла и воображения. Так, тверд-помнила, как аккуратно надо приладить камбий одного к камбию другого; чем это искуснее сделать, тем больше на хороший успех. Но знания эти не сидели в ее голове мер-пучком лучистых заноз, живо она представляла себе и свежую ку, и то, как смешаются соки, и как одна ткань начнет при-к ткани другой. Возясь, как с детьми, с молодыми дичками, Д-кончит прививку и отодвинется на долю минуты — взглянуть, том, будто как собираясь оправить новое платье, играя охватит верхушку дичка и полуобрежет — согласно закон-уки - листы: равно у дичка и у «его благородия».

Движений немного, но Даше тепло, она изнутри разогрелась и, подобно Ивану Егоровичу, также немного посапывает; губы зажаты по-деловому.

— Даша, это ты у меня научилась? Сопишь, как лошадка.

— У вас.

И, помолчав, добавляет:

— Вы говорили: дышать через нос.

Он глядит на нее, улыбается; Даша глядит на него, улыбается тоже. Потом у него уши зашевелились; зашевелились они и у Даши. Дружба такая у них? Может, и дружба, но только сейчас оба внезапно они услыхали, как что-то жужжит — как заводная игрушка за дверью. Но в вечернем саду нет ни дверей, ни игрушек. Скоро закат, низкое солнце зарозовило стволы; пахнет землей и листвой; пахнет плодами, а по земле будто бежит и стрекочет узкой иглой; ни капли не по земле, а по верхушкам — по яблонькам, грушам, по оранжево-красной рябине; и нет же, нет! — не по рябине совсем — по облакам. И только успел Иван Егорович рот раскрыть, как закричали мальчишки, будто из разных мест разом открыли пальбу.

— Аэроплан! Аэроплан!

Это было событие в копьевской глуши. С деревьев, из-под кустов, с открытых полян в небо [illegible] в небе летел аэроплан. Казалось, что он не спешил [illegible] облаков спокойно, легко.

Аэроплан пролетал [illegible] но все же профиль его заметно удлинился. Первые [illegible] замерли и сменились восхищенною тишиной [illegible] звенящая нить, было продернуто острое это звучание [illegible] поразительным в нем было то, что оно состояло из повторных, но каждый сам по себе, законченных звуков, подобных сверкающей [illegible], повернутой на солнце; и, однако же, все это в целом не обрывалось и было единым; это звучало — движение.

Даша следила полет не отрываясь. Она стояла, застыв, рядом с Иваном Егоровичем. У нее было тайное ощущение, что это она, что аэроплан — это она. Невольно она, как бы проверяя себя, тронула руку соседа; мгновенно земное солнечное тепло шевельнуло ее пальцы и отозвалось в груди. Смущенно, неловко она отдернула руку, но молодой агроном настиг ее в воздухе. Никогда ничего такого ни с нею, ни с ним не случалось; он крепко зажал ее пальцы, так, что челюсти сжались во рту, и очень коротко так подержал; потом он отпустил ее руку, и Дашина рука как предмет, принадлежащий не ей, упала сама по себе, ударив ее по бедру и отскочив немного на сторону. Аэроплан скрылся за садом, серый, чуть золотящийся.

Так на деревне Даша росла. Годы ее, один за другим, были похожи между собой и не похожи, один покрывая собою другой, один в другой прорастая. Но вскоре после пролета аэроплана с Дашей произошло одно приключение, послужившее началом целого ряда событий, круто ее жизнь перевернувших.

В пяти верстах от Копьева лежало село Ширинское-Шарик. Сложное это наименование произошло от известной дворянской фамилии и от имени неведомой миру, но увековеченной дедом последнего владельца имения любимой собачки супруги его, урожденной графини Бибиковой. Бибиковы были в родстве с сыном знаменитого Суворова, Александром Александровичем, генерал-губернатором в С.-Петербурге. Семья эта хранила русские традиции и, вопреки модному галломанству, давала животным простые, деревенские прозвища. От них и попал к нашей графине прославленный Шарик. В один из наездов в Ширинское эта собачка здесь прихворнула желудком и, несмотря на все старания ветеринара и вызванных из губернского города врачей, приказала долго жить. Все формальности по переименованию села из просто Ширинского в Ширинское-Шарик были проведены законным порядком. Так и жило и в наши революционные дни, имя невинной страдалицы собачки.

Ширинское-Шарик – это также и имя совхоза, раскинувшегося на обширных полях бывшего имения. Но кроме совхоза, находящегося в тесных сношениях с Копьевскою школой, был и другой, теневой, центр бытия на селе; назывался он скромно, лояльно: чайная «Гусли». Чайную эту в аренде держал (и аренду платил образцово) местный крепыш, Фаддей Никодимыч.

Человек этот был исполнен житейских талантов: был оборотист и ладил со всеми без исключения. Под образами в просторном дому его аккуратно была развешана целая серия лозунгов, вплоть до призыва вступать в ряды ВКП(б). Портреты вождей обрамляли с ласкающей глаз симметрией любезное сердцу хозяина свидетельство от консистории с синей фигурной печатью, выданное за беспорочное несение службы в качестве церковного старосты в течение четверти века.

Эту почетную службу он нынче оставил, но в оскудевавшую церковь и теперь постоянно ходил, нося под мышкою аккуратно сложенный коврик – для гигиенического коленопреклонения. Он становился неизменно у клироса и подпевал тем же хрипловатым басом, в котором нетрудно было узнать интонации «Интернационала», когда в торжественных случаях он выручал многоголосый хор, не знавший всех слов пролетарского гимна; Фаддей Никодимыч твердо знал его наизусть, не хуже псалмов праотца нашего, царя Давида.

Вернувшись домой, он самолично вытряхивал коврик, мыл руки, чадам и домочадцам делил серенькую, по нынешним временам, просфору, а от нее непосредственно переходил к пирогу, который был уже значительно побелее. За пирогом восседала семья, по-воскресному убранная и причесанная. Семейка была, скромно сказать, пестра: от розовощекого комсомольца до худенького, приличного юноши, официально пребывавшего в Киеве в каком-то мифическом фабзавуче при «объединенной фабрике мягких корсетов (!)», а на деле учившегося в полулегальной, но отнюдь не мифической ду-

ной семинарии, которую отец в своем интимном кругу неизменно величал академией.

Судьбы хранили этот многовместительный дом, в котором возносили молитвы в дни советских торжеств и выкидывали на коньке красный флаг — на пасху и на рождество.

Эластичность Фаддея Никодимыча была столь велика, что про него, смеясь, говорили, будто бы он предвосхищает важнейшие мероприятия власти. Так, например, стоило в этом году поднять в столичных газетах вопрос о непрерывной рабочей неделе, а Фаддей Никодимыч уже улыбается в ус:

— У нас-то торговая неделя давно уж и непрерывно осуществлена-с! Кто на что может пожаловаться? Отказу у нас не бывает! В трудовые часы сияния солнца и в ночной пелене-с — жаждущего трудящегося всегда готов утолить и согреть. Долгом своим почитаю быть неизменным слугою-с трудового народа!

И не хвастался Фаддей Никодимыч: согревал, горячил и веселил.

Такова была эта «чайная»; таков был хозяин ее — арендатор Фаддей Никодимыч, печальник трудящихся.

Знали его и к нему наезжали порою издалека; в стеклянной подслеповатой его «галдарейке» с пучками лекарственных трав на гвоздях, мешочками, свертками, тючками из аккуратной рогожки — под лавкою и по углам, с широкой картиной в позолоченной раме, изображавшей лежащую с книгою женщину (копия известной, по правде сказать, пошловатой картины, извлеченная из господского дома), — там всегда находилось на течко, чтобы раскинуть кровать для приезжего гостя. Изголовью кровати надо бы быть к простенку, украшенному живописною женщиной, но Фаддей Никодимыч бывал неизменно заботлив к гостям и выказывал тонкое понимание по части эстетики. Чтобы подушка не провалилась, у свободного края походной кровати он не ленился подгородить старый, точимый червями комодец головою возлегши к нему гость, таким образом, мог любоваться очаровательным зрелищем — в меру своих законных желаний.

— Грешен! Люблю образцы высокого художества, да-с! Люблю осязать глазом своим полногрудость изящную, не виноград, а чистая дынька-с, ароматическая.

Гость разделял вкусы хозяина, но все же немного смущался.

— А вы не смущайтесь, я вас утверждаю-с. Конечно, повесить такое — в горнице, рядом с лозунгами — неделикатно, да и под кнутом тоже, скажу, неподобно, ну а в штатском, сказать, уголке, — веселит, и чувства, опять же, достаточно нежит. В лунном сиянии лучик скользнет, например, — благородно, уютно-с! Откровенно сказать, совпадает с мечтаниями.

Гости у Фаддея Никодимыча были весьма разнообразные: диапазон его интересов был очень обширен. Однажды пожаловал гость и из далекой Москвы: это было событием.

Между селом Ширинское-Шарик и Копьевом-селом порядочный лес. Правда, с обеих сторон он изрядно прорежен: деревеньки на вольном лесу изрядно обстроились. Что и говорить, нынче опять стало потуже, заводят лесное хозяйство, но и забота-то главная – не бревна теперь, а дрова, на дрова же отпускают сушняк. От речки Копьевки, по той стороне – к лесу луга, а за лугами полянки по ссечкам в лесу; туда выпускали телят, гоняли в ночное.

У Говорных пропала телушка. Даша под вечер побежала на поиски. Она забежала далеко, кликала телку. Телка не отзывалась. Возле узкой протоптанной тропки Даше попался орешник. Она не утерпела и раздвинула куст. Из-за куста на нее, глаза в глаза, глянул – волк.

Волк был одет в приличный костюм. Непостижимо, как это Даша ошиблась (если ошиблась). Костюм даже был чрезмерно приличен. Брюки в полоску; подогнуты; белый жилет, отдающий слегка в желтизну; аккуратный люстриновый пиджачок и шахматный галстучек: зеленая клетка, желтая клетка; к тому же в руках плотная трость с набалдашником и на голове – котелок: волк, взглянувший Даше в глаза, был – в котелке!

Он глядел через куст (Даша как [illegible] раскинула, так и застыла), глядел и молчал. Глаза у него б[illegible] рыжие, и сдвинуты скулы; скулы были покрыты [illegible] остатками бак; эти остатки – котлетки [illegible] выпиня[illegible]. Нос был вытянут хареи; ее, по он [illegible] Губ на лице вовсе не было; было пробл[illegible] пустое место. Но на пустом этом месте вдруг [illegible] редкие зубы кофейного цвета; они были [illegible], как у старой лошади. Одновременно с тем подня[illegible] котелок, рука оказалась в серой перчатке.

– Вы, гражданка, смею спросить, не из Копьева ли будете?

Говорливая Даша молчала будто немая; дохленький его тенорок, странно овеянный грустью, лишал ее сил, она продолжала пребывать недвижимой. Он два раза негромко и осторожно икнул: острый, печальный кадык его показался и спрятался.

– Так-с, понимаю... – Он помолчал, вынул сиреневый платочек из бокового кармашка и помахал себе в рот; спрятал платочек. – Так-с, понимаю... догадываюсь!

Даша хотела бежать, но странное оцепенение еще не вовсе ее покинуло. Однако ж она прошептала с натугой:

– Я вас не знаю!

– Нет, вы меня изволите знать! – старательно изогнулся странный ее собеседник; под золотою цепочкой, пересекавшей тощий живот, у часового кармашка, закачался, покручиваясь, золотой тяжелый брелок; человек перекинул трость в правую руку, в левой легко усмирил болтавшуюся золото-свинку. – Я вас помню такою еще... – Он показал. – И я имел удовольствие, честь – на руки вас брать; осмеливался!

Видимо, он наслаждался неведомыми Даше воспоминаниями, впрочем, тем временем, она собой овладела.

— Кто вы такой? — строго спросила она, и сразу он выпрямился, кашлянул в руку и с фамильярной почтительностью легонько дрыгнул правой коленкой.

Если бы Даша напрягла свое воображение, память, она бы могла, пожалуй, увидеть салфетку под мышкой. Но и без того эта старательная принужденность непроизвольно ею почувствовалась. И столь же неожиданно для себя, она приняла тон молодой госпожи, ведущей беседу с лакеем.

— Я хотела бы знать: что вам в Конькове понадобилось и кого вы хотели там видеть?

— Кажется, ежели только я не ошибся, так именно вас. Да и как ошибиться! — с внезапной восторженностью воскликнул вдруг котелок. — Кто еще так бы посмел разговаривать! Вы, полагаю, у Говорных, по справкам моим, изволите жить?

Даша гордо ответила:

— Да, я живу у отца.

Собеседник ее рассмеялся долгим и дряблым смешком, опять прикрывая рукой, из почтительности, погорелый свой рот.

— У отца-с!.. Справедливо сказали!.. Ох-хи-хи... у отца-с!

Даша в негодовании сунула ветки к нему, прямо в его волчью личину, и быстро пошла прочь от орешника.

— Постойте! Постойте! Дарья Владимировна! Постойте же я вас прошу!

Даша еще никогда не слыхала, чтобы ее звали по отчеству. И именно это звучание: «Вла-ди-ми-ро[illegible]» — каждый звук его, чуждый и непривычный и, очевидно, родной — именно это остановило ее. Легко ли сказать: найти свое отчество!

Незнакомец бежал с непостижимою резвостью. Даша его поджидала. На ходу, перекинувши трость под мышку, снимал он перчатку с правой руки и, добежав, сложил обе ладони, без перчатки наверх, как бы прося благословения.

— Барышня... Золотко наше... Ручку пожалуйте... облобызать!

Телушка пропала; семья была в горе; Даша вернулась в смятении. Она едва дождалась темноты, чтобы остаться сама с собою наедине. Это свидание, найденный ею, на тропе у орешника, неизвестный далекий отец, письмо от него, все это жгло ее мысли и заставляло сжиматься сердце в груди — предчувствием недоброго, а может предзнаменованием: не волк, но посланец от волка!

Владимир Ширинский, магнат-эмигрант, неизвестным путем доставивший дочери это письмо через своего лакея Петрушку, [illegible] и писал: «Петрушка тебе передаст, я на него полагаюсь», на [illegible] недлинных страничках ей сообщал, что только недавно будто бы ему удалось установить, что Даша жива, что все дело о выезде [illegible] границу устроит в Москве адвокат Арцыбушев (у него же [illegible] в валюте), что на Петрушку во всем можно ей положиться. О себе Ширинский писал, что он уже плох, что ему хотелось бы [illegible]

ночь перед смертью, что у него порядочно денег и вилла близ Ниццы, что он оставляет ей полную свободу («как тебе заблагорассудится») — остаться ли с ним или вернуться.

Даша, пока все это читала, была исполнена только негодования: какой он отец — бросил, бежал! — теперь эмигрант, классовый враг! Но когда дочитала до слов «как тебе заблагорассудится», у нее дрогнуло сердце, и не об «отце», а о себе — вдруг зажужжал аэроплан, вдруг увидала людей на вокзале и желтоносую, в клетчатом птичку: заграница — живая, не миф — распустила пред нею свой радужный хвост.

Мысли и чувства Дашины быстро мешались и перебивались. У нее был отец — казалось бы, радость какая! Но радости не было, даже была определенно досада. Смутные ощущения раннего детства внезапно в ней пробудились туманным желто-зеленым пятном, а то промелькнет кисея... Быть может, это была минута ее пробуждения в далекой кроватке; также, быть может, это была и колясочка в дымно-зеленой аллее старого парка... Ночь беготни, гари и дыма зашевелилась в сознании, как головешка в закрытой печи. Как очутилась она на опушке Копьевского леса?. Ничего не известно. Даша даже всплакнула, уткнувшись в подушку: «Не хочу я другого отца! Никифор-отец — родной мой отец». Как же сказать и что теперь делать?

Перед рассветом Даша заснула [illegible] был чуток, некрепок. Телушка во сне странно в ней [illegible] своим — приключившимся.

Даша в кустах ищет [illegible] как и днем. Она раздвигает орешник и видит, как [illegible] как нарисованный, волк — хвост разостлало по ветру — [illegible] телушку, у ней шея висит и болтается по земле голова. «Отдай мне телушку!» — кричит ему Даша, а он остановился, телушку к сторонке, и замахал ей котелком, а ноги в штанах, и штаны будто в полоску... И слышит вдруг Даша во сне (и сквозь сон), как замычала к ней телка, поднявши свою отбитую голову... И Даша проснулась.

Телка мычала. Даша не сразу вскочила, думала — все еще сон. Но явственно телка продолжала мычать под окном, голос у ней был недовольный, что ее долго не слышат! Даша вскочила и выбежала за порог. Голова у телки была цела, и шершавый, теплый язык мокро лизнул заспанную Дашину руку. Даша обрадовалась и на минуту забыла все свои злоключения.

Когда она выходила из клети, закат чуть розовел. Ракиты стояли как вырезные. Ни одна птица еще не просыпалась, ни один листок не колыхался. Босые Дашины ноги ощущали прохладу земли. Непроизвольно, не думая, Даша пригнулась и сняла у колена прицепившуюся соломину; она повертела ее в руках и кинула прочь. Сон ее миновал, она точно умылась, и на душе было чувство, похожее на ветерок освобождения. Телка от волка ушла, и самые думы из головы надобно выкинуть прочь!

Не заходя даже в избу, Даша перемахнула речку и быстро-быстро пошла по направлению к Ширинскому. Был праздник, от школы свободна, домашние встанут попозже — можно успеть и вернуться: она никуда не поедет, отрежет начистоту!

На лугу лежала роса. Было похоже, что тут не ступала нога человека. Легкие паутинки, предвестники осени, также слегка были отягощены невидимой влагой. Но и невидимая, она прогибала эти воздушные нити и заставляла их слегка поколыхиваться. Подобная этой, неуловимая роса ложилась, отяжеляя, и на Дашины мысли. Еще четверть часа назад, казалось ей, отмахнулась от наваждения, но вот она на том самом месте, где ее покинули крошечной девочкой, много лет тому назад. Что бы с ней было, если бы этого не произошло, и отец взял бы ее с собой? Говорили, что он скрылся пешком, переодевшись. Нити младенческого ее существования были оборваны, и перед нею возможность — снова, через пространства, их перевязать с тем бытием, которое ждет ее за границей. Она смело рвала паутинные нити, но в собственной груди ее ткалась паутина, она замедляла шаг и потихоньку раздумывала, сама не замечая того, что она глубоко размышляет.

Так бывает всегда, когда мысли не есть одна чистая логика, а когда все существо человека ищет какого-то нового расположения всех своих членов, а мысли, подобно одеждам, лишь выгибаются складками, натягиваются и опадают. Мысли тогда, забывая о логике и о принципах, только покорствуют, как частное покорствует общему, внутренним этим телодвижениям ищущей жизни. Тогда то же самое происходит и с чувствами. «Хорошо или плохо» — ощущение это перестает быть каркасом для чувств, и так же, как мысли, покорно они изменяют окраску тонов и полутонов. И если подобное движение вод готово порой унести и стойких, окрепших, определившихся, то что же сказать о крестьянской шестнадцатилетней девушке Даше, внезапно ставшей «барышней» Дарьей Владимировной?

Утро плыло над лесом, ежесекундно меняя оттенки вокруг. Легкие, перистые облачка полураковиной легли над поляной. Было похоже на опахало из розовых перьев. Небо дышало и распрямляло крылья в полет, Даша опять ускорила шаг. Утро непроизвольно ее подымало, и, как бы осилив крутой перевал, Даша легко устремилась — в долину.

Путь ее был мимо Ширинского парка, но, секунду помедлив, она перебралась через ограду, словно влекло ее — точной тропой — проделать путь возвращения! К парку она, как случалось ей, проходить, была всегда равнодушна, но невольно теперь с любопытством взглянула она под длинные своды аллей, наполовину уцелевших: это ведь здесь скрипела когда-то колясочка с маленькой Дашей! И, однако же, старый парк взглянул на нее неприветливо: чопорно он ее не соблаговолил узнать и признать. Да и сама Даша отрешенно взглянула на холодную его красоту. Пустяки, пу-

ки: и никакого нет «возвращения»! Было, отрезано, минуло. Но через это минувшее открывался полет — за границу!

Фаддей Никодимыч встал. Он бурно плескался на галдарейке, нисколько не стесняясь присутствием гостя. Подушка была, вопреки обыкновению, прямо к стене; Петр Афанасьич или стерег себя от соблазнов, или давно и окончательно выветрился.

— Господин Арцыбушев сами ее отвезут,— говорил он неспешно, поводя по груди желтоватыми пальцами.— Человек он, Фаддей Никодимыч, тонкий весьма — даже до удивительности. Да и то сказать, какое название от властей предержащих имеет: по-старинному, видите, консул обозначалось, а нынче зовут консульгант!

Фаддей Никодимыч фыркал и тем выражал солидарность: названия, чин были значительны!

— Я помню у нас...— Петр Афанасьич скатал наконец на груди крохотный грязный кусочек.— У нас за столом... кóнсула, да-с. И мы принимали их тонко-с!

Фаддей Никодимыч растирал полотенцем красную шею; разговор этот был ему по душе, даже отчасти интриговал: консул, который свободно мог доставать разрешения за границу! Когда выпадет потемней да погуще осенняя ночка, и ему случалось принимать у себя особых гостей, которых [illegible] на своем языке называл «полузаграничный полуфабрикат» [illegible] были как перелетные птицы — нынче по сю сторону, а [illegible] только глаз их в полеты не климат, а шелест кредитных бумажек.

— А видал ты их?

— Кого? Паспорта? Не раз доводилось! Господин Арцыбушев не раз их передо мною вертели. Вот эдак! Красный и аккуратный. И с золотым герботиснением.

В дверь постучали. Фаддей Никодимыч скинул крючок и заглянул.

— Одевайся. Пришла!— И вышел наружу.

Он поглядел на пришелшую девушку. Красное золото первых лучей обливало ее от русых коротких волос, прядью упавших на лоб, и до босых загорелых ступней. И сама она была вся молода и свежа, как это прохладное раннее утро. Фаддей Никодимыч даже крякнул. «Красный и аккуратный, и с золотом»,— ему представилось, как она это вертит в руках.

— Здравствуй!— сказал он, но тотчас же поправился.— Вы погодите, выйдет сейчас. Старичок наш заспался.

— Мне нужно его видеть немедленно, упрямо промолвила Даша.

Ехать — не ехать — между двух этих вставших валов, столкнувшись между собой, по гребню их, как по ножу, пробежала в ней поверхностная, острая мысль: он мог обмануть, письмо было ложное — и никакого отца! Зачем это? — как ей узнать!.. Могут ее увезти и продать... за границей бывает... Чего бы хотела она: чтобы письмо было прав-

лой или мистификацией? Даша не знала; Ширинское-Шарик охватило ее острой тревогой и беспокойством.

— Я ничему не поверила,— сказала она почти что себе.

— Как не поверили! — воскликнул в тревоге Фаддей Никодимыч, как если бы все это касалось лично его.— Да Фекла Ивановна и по сей день жива! Феклуша... Я сам помню-с, сквозь толщу минувших времен... Батюшка ваш, признаться, любил молоденьких нянюшек, и у него отменный был вкус по части сей гастрономии. Помню...

Даша его прервала:

— Я не хочу ваших гадостей слушать! Где эта Фекла Ивановна?

Фаддей Никодимыч оторопел, в интонациях Даши ему почудился отзвук барского окрика.

— Иди, говори! — толкнул он вперед старичка, забрякавшего сзади цепью и свинкой.

Даша схватила Петра Афанасьича за руку и повлекла за собой: точно и вправду, долго дремавшая, в ней прорвалась и заиграла господская кровь.

Фекла Ивановна, еще молодая вдова, румяная и круглолицая, с запахом лета, загара, стояла на огороде и выбирала кочан. Капуста была еще молода, но у нее были ранние высадки, и ей захотелось найти подходящий вилок: свежие щи в воскресенье!

Хата ее была на отлете, дорога почти непроезжена, и омытая ночною росой птичья гречиха блестела на [illegible] солнце по-молодому. Почуяв, что кто-то идет, Фекла Ивановна полуобернулась и прикрылась от солнца рукой. Она была высока и очень ладна, позади ее, густою стеной, стояла кудрявая шишкастая конопля. Даша глядела на нее, не отрывая глаз, и вдруг увидела, как молодая вдова внезапно скользнула по этой густо-зеленой стене и словно бы рухнула сама на себя. Даша даже приостановилась.

— Видите, видите-с? — в свой черед останавливаясь, бормотал Петр Афанасьич.

Во встревоженном беге своем за ускользавшею Дашей он разгрелся, порозовел. Внезапная остановка еще кинула новый бросок жиденькой крови на вялые щеки. И он — как если бы сам набежал на себя: и стоя на месте, пребывал он в движении — задняя часть его корпуса переплеснулась вперед, затылок хлестнул на лицо, за ним неприметно отросшие бачки его шевелились приметно — спиралями. Даша глядела с недоумением, как он перед нею плескался и найдя наконец дохленькую и все же определенную форму.

— Видите, разве не видите-с, как Фекла Ивановна вас испугалась? Была с коноплю, стала с капусту-с!

— А вам за меня много обещано? — спросила вдруг Даша и, не дожидаясь ответа, перекинула ногу за холодную, гладкую жердь.

Фекла Ивановна низко присела между капусты. Пугаться, конечно, теперь ей было нечего, но тем не менее какая-то сила сгибала ее к земле, и ей удобней отсюда было глядеть, как если бы

лась к ней крошечная ее питомица — девочка Даша: неудержимо ей захотелось поманить ее пальцами и погукать навстречу коротким ее неверным шагам!

Произошло неожиданное: Даша ни у нее ничего не спросила, ни сама ничего ей не сказала. Между глазами кормилицы (Даша внезапно все вспомнила: няню́шка только? — нет! Нет!) и Дашиным вдруг устремившимся взором: снизу наверх, и сверху вниз — по косу — протянулась воздушная скользкая гладь, и Даша, не думая, не размышляя, как на санках с горы, скатилась к присевшей розовой женщине. Отец лишь едва где-то маячил, матери не было вовсе, но все ее детство, полное теплого запаха этих вот рук, пахнувших летом, и «витаминами», и конопле́й, – вот оно, тут, на огороде, с няней Феклушей!

– Дашенька! Дарьюшка! Что ты? Господь с тобой! Дитятко...

Даша закрыла глаза, ноздри ее шевелились: наконец-то настиг ее и все рассказал этот пахучий и ласковый ветер, долетевший из дальней страны раннего детства; тысячи темных воспоминаний, не доходя до сознания, заструились в крови, затрепетали под кожей. Даша почувствовала, как веки ее набухают, словно стояла за дверью и напирала толпа — в давке спрессованных капель; круглым плечом давили передние, дверь поддалась, и из-под Дашиных век, упруго их приподымая, одна за другой побежали резвые капельки слез.

Фекла Ивановна тоже расстроилась, но это нисколько не помешало ей, мерно, певуче, Дашу [illegible]ть — то очень немногое, что в ее памяти отстоялось от старых, давно минувших времен. Девушка слушала жадно и перебивала:

– А как ты одела меня?

– Да как? По-деревенски одела: честь честью! Платочек на голову — ай ты не помнишь? — и сарафанчик хорошенький.

– А где ты достала одежку?

У маленькой Даши было одежек великое множество, был у нее и «русский костюм».

– А кто-нибудь знал? А отец мой... Никифор? А матушка?

– Нет, никому.. никому я не сказывала, боялась — убьют... Время-то было какое!

«За что же убьют?» — подумала Даша, и сердце невольно в ней сжалось, как если б стояла все еще там — маленьким ярким комочком на Конькевском лугу. Даша знала теперь, и Фекла Ивановна ей отвечала ее же словами:

– А господская дочка... за что́!

Петр Афанасьич, кажется, совсем успокоился: все шло хорошо, Фекла Ивановна не отреклась. Узкой змейкой между несуществующих губ тщательно он облизал папироску, достал и продул старый янтарный свой мундштучок и прикурил от зажигалки. Зажигалка особенная, фривольностей старый слуга не допускал, но эту

вещицу хранил – больше как память о господине. Вдоль зажигалки лежала наяда, колесико около шеи, и неизбежно было проехаться пальцем по всему ее скользкому сардинному тельцу. Синий дымок повился над деревянною изгородью, Петр Афанасьич, безмолвный свидетелем, призраком, переложил витушкою ноги и наслаждался прохладой раннего утра. Порою он сплевывал на сторону, не оставляя курить, и теплый янтарь мягко поблескивал между его желтых зубов.

— Знала одна, да она умерла. Нашу сестру уважала. Нашего брата жалейка!

— Знахарка Пафнутьевна?

— Так. А кому же еще? Травы она собирала по зорьке. Вышла я это из лесу, за ручки держу. Ручки у тебя захолодали. Слышу, ко тят подводы... Я испугалась, за куст! А за кустом она самая! «Катись и сама, говорит, покуда цела, да никому не гугу. А мне ничего, скажу, что нашла. В хорошие руки отдам».

Даше припомнился вечер в лаборатории: не ее ли старуха приходила глядеть?

— Удостоверились, барышня? — издали вежливо осведомился Петр Афанасьич.

Даша махнула рукой. Но, странно, внутри у нее уже было готово решение. Она утвердилась теперь — прошлое было не сказка. И, как если бы она обещала, что будет все «ровно», что ежели Петр Афанасьич ей не наврал, то будто бы уже этим самым она давала согласие. Как и все после лесной ее встречи, [illegible] колебания в ней, отказы и утверждения — рождались внутри, помимо сознания, и сознание их находило — готовыми. Так и теперь: отмахнувшись от вестника, она помолчала и опять обернулась к нему, точно утратила право отмахиваться.

— Нет, ты меня не обманул, — сказала она. — Но только...

Впрочем, дальнейшее уже никак не могло относиться к нему. Ей было нужно спросить — только вот у кого? — «А что же отец он меня не продаст?» И даже у Феклы Ивановны нельзя так спросить и потому у нее спросила иначе:

— А ты меня не продашь?

Даже казалось, что она ни минуты не думала, но вот с изумлением она увидала, что Фекла Ивановна уже поднялась, а рядом с нею стоит Петр Афанасьич, и руки его уже обе в перчатках и в правой руке белеет червонец. (Он считал поручение очень ответственным, а деньги весьма уважал и потому счел приличным облечься в перчатки). Лицо у него, однако же, было сильно недоумевающее: Фекла Ивановна денег его не брала; она энергично, [illegible] рукой, отстраняла — перчатку, бумажку, всего Петра Афанасьича.

Дашиного вопроса она не слыхала, и Даша не стала его повторять.

Телушка, Агафьина дочь, ночью пришла, а Даша, приемная дочь Говорных, покидала Копьево. Не семнадцатый год, Дашу никто не стал убивать. Да и какая же Даша — Ширинская: было — быльем поросло! Но у Даши самой душа раскололась надвое. Знала давно, что она не родная дочь Говорных, но никогда об этом не думала; ни малейших терзаний в душе по таким пустякам! Да и сейчас — ни на минуту она не признавала отцом далекого барина, то есть ни на минуту не шевелились в ней дочерние чувства; все это было холодно, внешне и неприятно. Кровное это родство было поистине мифом, хотя и было оно закреплено на каких-то официальных бумагах. Кровь в ней молчала. Больше того, разум и чувства ее возмущались, точно бы чем-то события эти хотели ее опорочить в ее же глазах.

И, однако ж, одновременно, Даша решила поездку. Событие это давало ей крылья, возможность увидеть далекие страны, самый язык шевелился во рту — по-немецки.

Петр Афанасьич настаивал, впрочем, конечно, очень почтительно, на скорейшем отъезде. Даша не возражала. Смутно в себе сознавала она, что не так-то легко будет уехать. Тысячи нитей опять протянулись к ней. Всякий кусток на обратном пути, каждая ветка цепляли ее, не отпускали. Думала, как она скажет Ивану Егоровичу — и фраза была уже по-немецки готова — «Welche Kataloge soll ich Ihnen bringen oder senden?» — «Каких каталогов вам привезти или прислать?» И «привезти» [illegible] уж «прислать» звучало туманно и застилало [illegible] об отце и матери, Даша и вовсе старалась не думать. Так здоровые нервы ее стали болезненно чувствительными.

Даша сама, если подумала, могла бы все это представить отчетливо так. Растение вырвано или еще полувырвано только, но уже корешки обнажились; привычные комья земли, тонкие ходы, вся эта слаженность внезапно отпали; тонкие мочки, каждая вдруг сама по себе, обнажены и, обнаженные, преданы чуждой стихии.

И никакой, ни немецкой, ни русской, придуманной фразы о каталогах Даша Ивану Егоровичу не произнесла. Прощание их вышло коротким, почти деловым; Иван Егорович очень собою владел. Он был поражен и взволнован, но ничем этих чувств не обнаружил. И весь разговор произошел — это отчетливо чувствовалось — на расстоянии. Стояли они на полуаршине, а слова досягали из-за тысячи метров. И лишь на прощание скрытую думу Иван Егорович выразил вслух.

— Посмотрим,— сказал он,— крепка ли будет прививка.

Даша сразу не поняла.

— А по весне поглядим,— возразила она.— Может, моя будет не хуже, чем ваша!

Он еще раз, безмолвно, настойчиво, повторил свою мысль через очки. Даша смутилась, но смущение скрыла под шуткой:

— Эта прививка наоборот: благородную барышню привили личком!

Но Иван Егорович (как, впрочем, и Даша сама) шутить был не расположен.

— Если больному и отмирающему впускают здоровую кровь, в этом нет и не может быть никакого наоборота.

Эти слова о болезни помогли ощущению: йодом (как некогда лизнуло ей сердце. И опять эти слова, при всей их отчетливой близости, прозвучали в ней из далек-далека; будто она лежит неподвижная на мертвом операционном столе, а над нею — о ней — голос, одетый в белый халат.

Ребята ее обступили. Глядели на Дашу, как на диковинку. Будто у курицы за ночь вырос павлиний радужный хвост: своя и чужая. В общем, они ее проводили легкомысленно-весело, немного насмешливо, по правде, не веря ни в то, что девчонка улет, ни во всамделишную барышню Дашу. Это как ряженые: глянешь снаружи — сам Чемберлен, а под самим Чемберленом — Сенька Попов.

Ребята гурьбой провожали от дому и не давали разжалобиться. Говорные поохали: «Вот и самой птичьего молочка захотелось». Трудно было понять, знали и раньше они о происхождении Даши и только молчали или это была настоящая новость для них. Агафена Михайловна даже всплакнула, потуя свою милую дочку. Никифор же, как-то перша, деревянно, точно стругая в горле рубанком, повторял одну и ту же неотпускавшую фразу:

— Ты им там хорошенько очки-то протри!

За этой фразой, конечно, стоял сложный клубок: мужчина не может быть не политиком! Но упорным ее повторением Никифор скрывал и волнение чувств: ведь и мужчина волнения чувств — не лишен!

Последней из близких, уже по кустам, Даша увидела телку. Агафьину дочь. Она поглядела на таратайку и удивилась. (Петр Анасыч счел неприличным ехать в телеге.) Даша ее позвала. Телка выгнула шею, и, по привычке, автоматически, лизнула далеко языком. Тут вышло наоборот: расстояние их разделяло большое и лизнула по воздуху, а как если бы рядом, и как если бы впрямь прос... по руке.

Впрочем, была и еще одна встреча, а стало быть и прощание. На этот раз оба они были дома — и тракторист Андрей Николаевич и рыжеволосая его Катюша. День был погожий, урожай был хороший, оба они были молоды и весело встретили Дашу. К путешествию ее оба они отнеслись просто, без самомалейшей трещинки.

— Ну, выглядывай там все хорошенько! — говорил Андрей Николаевич и открывал крепкие зубы, которым сейчас одного не хватало — крепкой, с желтинкой, антоновки.

Даша заметила, что у Катюши под ситцевым платьем круглое...

живот. Она не ошиблась. Можно бы было подумать, что, работая в яслях, между детей, она и сама невольно пустила побег...

— Вот, девушка, что,— сказал на прощание Андрей Николаевич,— поищи-ка ты мне там каталогов...— И он стал объяснять, что ему надо: рисунки там хороши, а у него есть свои мысли... Даша знала его тайную страсть к изобретательству.

Тракторист Петру Афанасьичу также понравился. Старый слуга долго жевал, как отъехали, ниточкой губ и наконец произнес, больше сам для себя, как бы давая официальный оттенок мыслям своим, а они произносятся вслух:

— Отчетливый, я говорю, человек. Видно, что шарик работает.— И он тронул свой лоб цвета перчатки.— Его бы, я говорю, на отруб хороший, вот где процвел бы он замечательно.

Даша взглянула на спутника не без удивления.

Впрочем, была она слишком еще молода, чтобы полюбоваться как следует, как одни и те же вещи разные люди воспринимают по-своему; только с годами яснеют глаза для этих реакций, подобных реакциям в колбе. Только там результат есть результат, а тут он зависит равно — и от воспринимаемого, и от самого воспринимающего.

Даша, конечно, ощутила и это, но смутно, в полутени: во-первых, была молода, а во-вторых, [illegible] слишком занято было другим; в ней шла реакция [illegible] индивидуальная.

Даша думала о каталогах [illegible] дело — хотела об этом сказать Ивану Егоровичу и про[illegible] звука и он. А Андрей Николаевич сам и, напротив того, [illegible] единого звука ни о каких «прививках». И один был невесел, когда, пожалуй, надо бы было хоть сколько-нибудь и порадоваться, а другой будто брат, и Катюша — другая — будто сестра. Неужели же эти придорожные люди больше, чем он, преданы делу и неужели они спокойнее ей доверяют?

И понемногу движение этих мыслей и сопоставлений, сначала туманя сознание, стало его прояснять. Но это была не чистая логика. Реакция чувств шла более бурно и, как всегда, обогнала неповоротливость мышления. Как солнечный луч, прорвали они пелену облаков, и увидела Даша лужайку, залитую солнцем, и как если б ее знала всегда.

Эти минуты, когда Дашу трясло на тележке, как потряхивают пробирку в руках, чтобы реакция шла энергичней, открыли для Даши то чувство, которое — давно уже! — было между ними обоими. И его называть даже незачем: оно было в ней! И Даше теперь было понятно и обоюдное их косноязычие, и как бы далекость, и подобие обморока ко всему остальному, что прямо их не касалось, и самая эта тревога и недоверие — о возвращении...

И все это Даше открылось в движении, и запело движением. Движение было вовне: таратайка, дорога, движение было и в буду-

щем: заграница, и новые люди, и возвращение, которое ясно стоит на горизонте, как за леском недальняя церковь; но движение главное было внутри: Даша слышала ухом — не как вырастает трава, а как сама она выросла; это было — одновременно таинственное и вековечно простое явление роста.

Московские Дашины дни были пестры; немного они ее закружили. У Арцыбушева в доме бывало много народу, дело о паспорте он вел энергично и сам собирался с Дашей лететь. Перспектива лететь Даше ударила в голову, она уже видела землю внизу — как передвигаемый коврик.

Дашу одели по-городски; очень ей было неловко первые дни, но также неловко было бы ей и оставаться в простеньком своем платье, в грубоватых деревенских башмаках: все вокруг были одеты иначе. А помаленьку Дане уже и приглянулось. Раза два или три украдкой взглянула она на себя в зеркало и сама себе понравилась.

С каждою новою тряпочкой что-то, похрустывая, перемещалось в ней и внутри; уследить, что и как — ей было трудно, и вовсе не потому, чтобы у Даши не хватило внимательности, а потому, что и этот сидящий в ней наблюдающий сам непрерывно меняется. А Арцыбушев, талантливый циник, холодный и умный, для которого жизнь и интрига были синонимами, знал дозировку и отпускал капельки яда в строгой пропорции, по точно выверенному рецепту.

За две недели Даша с ним побывала и в театре, и на скачках, и в Музее изящных искусств. Город — простой и суровый, кипучий и сложный — оставался для Даши закрыт; руководитель ее и спутник, взяв ее за руку, переводил, как бы по цветочным мосткам, с одного островка на другой, подготовляя ее перелет.

По вечерам, когда были дома у Арцыбушева сидели гости: раза два и они были в гостях. Тут Даша трезвела: люди эти, мужчины и дамы, слишком открыто были чужими, враждебными; кроме того, на Дашу глядели они, как на игрушку, на забавного зверька, которому, однако же, выпала такая удача — состояние и заграница, многие ей открыто завидовали:

— Счастливая! Вот вы увидите жизнь, не то что у нас!

Арцыбушев прислушивался и понимал, что рецепт был не соблюден.

— Вы Дарью Владимировну не понимаете, — говорил он и трогал колкое жнивье усов. — Дарья Владимировна, насколько я... себя посвящает науке. У нее воля и выдержка, она человек ле... и человек исключительный!

Он мигал глазом, а на сторонке, уже не стесняясь, давал ... венные комментарии.

— Девочка — прелесть, но не надо тревожить ее. Бутончик ... добен флакону с духами — закупоренному; но и отличен: флакон ... открываем, бутон же распустится.

Если слушатель сам бывал в достаточной мере циничен, то объяснение это выслушивал он как очередную двусмысленность. И ошибался. Сам Арцыбушев, как человек, какой он там ни на есть, был прежде всего человеком принятого им на себя дела. В существо дела он никогда не вникал, считая это ребячеством и сантиментом, он решал его как задачу и вел как сложную шахматную партию: в шахматах есть мастерство и не может быть этики. Он получал крупную сумму, и он был ответствен за успех предприятия.

Так проходили для Даши эти сложные дни. Она уставала, впечатления дня ложились непереваренные. Она ничего сама не предпринимала, все делалось помимо нее. Это было похоже – как в поезде: кажется – будто сидишь, а на самом деле едешь, за тебя едут.

И, однако ж, Даша худела. Новая жизнь не проходила для нее даром. Наряду с платьицами, оставлявшими складки внутри, в ней поднимался порой и протест, но этот процесс шел на такой глубине, что он давал себя знать только по силе давления и по ощущению вдруг возникавшей томительной тяжести. Было похоже, как это бывает с раненым деревом: соки идут в крутом беспорядке – некое подобие кипятка только холодного – и застывают причудливым выплавком.

Под этим давлением Даша однажды ушла не спросясь. Попавши на улицу, с мелочью [illegible], она ощутила себя по-иному. День был солнечный, ясный. По переулкам из-за заборов глядели деревья, уже тронутые влаж[illegible] желтизной. Даше они показались как свои, дер[illegible] в город; невольно она взглянула под ноги: теп[illegible] уже падают желуди. Порой попадались торговки, и в их морщинистой коже также запрятаны были кусочки деревни.

Даша бродила так около [illegible]. На Садовой порядочная толпа теснилась у остановки трамвая. Из коротких обрывков речей Даша сообразила, что едут в Петровско-Разумовское. Как же она до сих пор не побыла в Тимирязевке?

В вагоне была теснота – воскресенье. Но люди не ехали просто гулять, почти весь вагон был дружно и звонко знаком.

– Вы в академию? – спросила Даша соседку, проверяя себя.

– Ага! – ответил, ломая хрустящее яблоко, красный платочек; то самое яблоко, которого так не хватало крепким зубам тракториста.– Красная Пресня на смычку с наукой!

Плотно прижатая, Даша осталась стоять на задней площадке. За городом резво стал набегать ветерок, показались луга, пробежало шоссе наискосок. В редком лесу Даша увидела прудик, а еще погодя дачи для кур; так кто-то рядом с ней крикнул:

– Глядите-ка, дачи для кур!

Кур было множество; между своих низеньких домиков пестрели они как цветы. Все было Даше родное.

Приехавших встретили; это был уже не первый трамвай. Даша не знала, как ей быть. Всех повели осматривать лаборатории, Даше хотелось: взглянуть бы коров! Но прогулка и воздух продиктовали свое: потрогав в кармане, она сообразила, что может чего-нибудь перекусить. Она была не одна, и ей показали столовую: «студенческая» — разобрала Даша на вывеске; у нее дрогнуло сердце.

Она ожидала шума и крика, подобия школы; и ожидала одновременно чего-то вовсе противоположного: ученых, степенных бесед с наморщенной бровью; Даша еще никогда не видала студентов и не знала, как это бывает. Оказалось ни то, ни другое.

Даша обеда себе не взяла, побоялась — не хватит денег, и ограничилась бутербродом и стаканом чаю. Ей пришлось пройти через огромную комнату к задней стенке, там стояли огобые столики, предназначенные для чаепития. Столовая была неполна. Люди, обедавшие там, не походили нисколько на каких-то особых существ: это были обыкновенные ребята, в куртках и косоворотках, ели они не спеша и деловито, брали много хлеба и откусывали с краю, не выпуская из рук большого куска; только у многих вихры по-городски торчали на лоб. Разговор шел короткий, скупой, и самая речь как бы похрустывала на зубах. Даша сидела тихонько; по отдельным словам, до нее долетавшим, она убедилась, что это и были студенты. Неподалеку сидели и девушки. Даша на них с интересом поглядывала. Ей было бы легче с ними заговорить, будь она по-другому одета. «Пробуду два месяца, — думала Даша, — вернусь, доучусь — и сюда». Тут внезапно взгляд ее остановился на одном существе.

Это была девическая фигурка, [illegible] ей напомнившая. Девушка сидела наискосок, видна была часть щеки и через короткие волосы проглядывала каемочка уха. Она тоже пила чай, видимо сгущала и наливала на блюдечко, рядом лежал пакет из газетной бумаги. Даша хотела пройти мимо нее, чтобы ее разглядеть, но в ту же минуту та поднялась и сама и обернулась. Казалась теперь она несколько старше, и платье на ней не было клетчатое, но Даша узнала тотчас; она и обрадовалась ей и недоумевала: что ей тут делать?

Девушка между тем постучала в стакан чайной ложечкой и, когда все притихли, громко сказала:

— Кто тут еще, товарищи, с Красной Пресни, пожалуйте со мной, сейчас начинается!

Даша к ней подошла и спросила:

— А мне с вами можно?

Девушка поглядела на нее и помолчала.

— А я вас где-то видела, — сказала она наконец.

— А как же, я вас сразу узнала. В Мещовске, на станции, ехали с вашим отцом.

— Как вы узнали? Да, да... И я теперь вспомнила! Вы стояли и глядели на нас, и у вас рот был раскрыт...

– Не помню,– серьезно ответила Даша, но тотчас же сама припомнила желтенький, запачканный нос, и обе они одновременно улыбнулись.

– А что же, товарищ, куда точно нам направляться? – подошел к ним невысокий рабочий с рябинками.

Шея его была несколько согнута, но голова сидела прямо и твердо. Небольшие глаза глядели с привычной настойчивостью, и, спрашивая, повел он худыми плечами, как бы разминаясь к работе.

– А вон наши пошли, я им показывала,– ответила девушка,– в белой лабораторке. Сейчас за столовой. А ты с нами пойдешь?

У молодежи теперь все это быстро: они перешли сразу на «ты». Несколько первых их фраз были как целый период знакомства. Стоило девушке на минуту оторваться для разговора со взрослым, как к Даше вернулась – будто знакомы давным-давно!

– А ты что-то забыла! Там, на столе... вспомнила Даша, когда они сделали несколько шагов, и, подбежав, она схватила сверток.

Она схватила его очень быстро, за один твердый угол, как если бы это был один цельный предмет, но бумага разорвалась, и к Дашиным ногам упали три толстых церковных свечи; они были недлинные, но толщиной почти в руку. Даша даже остановилась в полном недоумении; четверть фунта воска она зажала в руке: теперь уж и через бумагу не ошибешься. Ей вспомнилась церковь, как подходили к столовой, на входе ее была вывеска клуба, висели афиши и множество мелких бумажек с объявлениями.

– Вот чудеса! – пробормотала она, не зная, что думать, и подбирая упавшие свечи.

– А это как раз для чудес мне и надо!

Даша с изумлением посмотрела на новую свою подругу.

– Вот увидишь, пойдем! – засмеялась та.

В аудитории было людно, жарко и шумно. Но порою толпа затихала и с интересом следила за опытами и «чудесами» науки.

Профессор на кафедре был ни молод, ни стар. Голос у него был усталый, а глаза молодые; Даша не знала еще, что у ученых людей обычно моложе всего их глаза.

Очень большое впечатление на аудиторию произвело претворение воды в кровь.

Перед тем как сотворить это чудо, профессор порылся в бумажках и немного глуховатым голосом, закинув перед собою, прочел цитату из библии:

– «И сказал господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему: возьми жезл твой в руку твою и простри руку твою на воды Египтян: на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их,– и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле Египетской и в деревянных и в каменных сосудах».

Он поднял потом, отодвинув слегка рукава пиджака (жест настоящего фокусника), высоко два стакана с водой, и из одного стакана вылил прозрачную жидкость в другой; стакан оказался наполнен кровью!

На минуту в аудитории воцарились шум, возгласы:

— Вот это здорово!

— Гляди, гражданин Моисей очки протирает!

— Этот тебе и протрет и вотрет!

— Ничего не вотрет. Он снимает очки предрассудков и суеверий! — немного по-книжному, но убежденно сказал рыжеватый парень с узкими плечами и непомерно большими руками; тот самый, которого видела Даша в столовой.

Сосед же ее с другой стороны тихо ворчал:

— В стакане... пожалуй... А Моисей-то весь Нил окровенит! Выйдем на пруд — поглядим! — крикнул он громко; но, как видно, никто его не слыхал.

Тогда он пригнулся к карандашу и начал царапать записку профессору, все бормоча через усы:

— Этот твой фокус и жрецы фараоновы сделали, не хуже тебя.

«А ведь это, пожалуй, и в самом деле ошибка, что о жрецах-то он ничего не сказал», — подумала Даша, а сама старалась припомнить формулу роданистого калия, который дает с солями железа ярко-красное окрашивание.

— Дай-ка, Наташа, мне свечи!

Новая знакомая Даши помогла профессору; она аккуратно, не ошибаясь, все ему подавала. Схватившись за свечи, невольно она поискала Дашу глазами. Даша кивнула ей весело, но та не увидела.

Это последнее чудо с перуса.пимской свечой, которая сама зажигается в храме, имело наибольший успех. Даша не знала сама, что фитиль окунули в раствор фосфора в сероуглероде. С интересом следила она за этой несложною операцией. Многим казалось, что на этот раз ничего не выйдет: все четыре свечи были поставлены рядом и — никакого огня. Наступило молчание; спокойно молчал и профессор, снявши пенсне. Но вот один за другим вспыхнули яркие большие огни. Только одна, последняя, не загоралась. Профессор бесстрастно и несколько вяло сказал что-то девушке. Она взяла эту свечу и повела ею в воздухе; свеча загорелась тотчас. Раздались аплодисменты, взлох удовлетворения пробежал по скамьям. Даша вспомнила знахарку Пафнутьевну и на минутку задумалась. Потом она тоже вздохнула, но очень тихонько и про себя.

Вечером на пруду должны были на лодках «сжигать быка». Обе девушки отправились в парк.

— А ты разве тут учишься?

— Нет, куда мне еще! Это мой дядя, а я ему помогаю. Но я тут буду учиться. По химии.

— И я тут буду учиться. И тоже по химии,— сама для себя неожиданно прибавила Даша.

Наташа ей очень понравилась, и ей захотелось по-детски быть во всем как она. У Даши, собственно, не было еще настоящих подруг, все больше мальчики, а с ними — что же — как яблоки в куче! — толкаются холодноватым бочком одно об другое. Даше и в голову не приходило, что с ними можно было дружить по настоящему. А от Наташи шел девичий запах, что-то таилось в глазах и оттуда поглядывало. Хотелось схватить ее руку и крепко, не отпуская, помять. Наташе, пожалуй, можно бы все-все рассказать — и про Ивана Егоровича... Бочком поглядела она на нее и начала:

— А я дня через три полечу за границу...

Наташа была изумлена, а Даша ей все, как и хотелось ей, рассказала. Но об Иване Егоровиче так ничего и не промолвила. И не потому, что не могла бы подруге сказать — какая же тогда это дружба! — а потому, что вдруг увидала, как Наташа и слушает, и думает о чем-то своем.

С минуту шли молча. На боковой, тихой аллее было безлюдно, мягко шуршали первые осенние листья, вполголоса переговаривались о человеческих, их пошевельнувших шагах. Налево поблескивал темный, глухой осенний прудок, этот не разговаривал, дремотная дума покоилась в нем. Воздух [illegible] к деревьям, посередине дороги казался разреженным [illegible] зарождавшимся мыслям терпкость и остроту. Даша не [illegible] вздрогнула, когда Наташа тихонько сказала, [illegible] с предыдущим:

— А у меня отец там [illegible] В прошлом году. Скоро год будет.

Даша при этом почувствова[illegible] есть вещи, перед которыми надо посторониться даже любви.

В ранние сумерки, у старой, [illegible] сосны на пригорке Наташа спросила еще:

— Даша, а в бога ты веришь?

— Да нет... — протянула Даша, смущенная неожиданностью вопроса.— А ты?

— Ну конечно нет! — скороговоркой воскликнула и тряхнула головою Наташа; потом она резко сломала сосновую веточку и далеко кинула прочь от себя; потом они обе, молодые безбожницы, взялись-таки за руки и побежали к пруду — глядеть на «сожжение богов».

На пруду было людно и шумно; сжигали картонный цветной, шутовской иконостас; пели безбожные песни, и громче всех заливался пожилой усатый рабочий, писавший запрос о жрецах; у него оказался порядочный бас.

Арцыбушев был Дашей в первый раз недоволен, и в первый раз Даша увидела, как у него, под маской привычной любезности, отвратительно движутся скулы, набегая одна на другую. Однако же

Даше он пригрозить не посмел и не посмел помешать дальнейшим ее свиданиям с новообретенной, задушевной подружкой.

Профессор Синицын с племянницей жили в двух комнатах на Поварской; в академию он приезжал на трамвае. Кабинет его весь был устроен из книг: стены, простенки, перегородки. Но на окнах стоял целый рядок кипарисов, вывезенных им в прошлом году из Нового Афона. Они были очень красивы и придавали комнате, похожей на катакомбу, нечто отшельническое. Комната эта, закрепленная за ним для научных занятий, служила ему также и спальней. Он спал на небольшом диванчике с неоткидными деревянными стеночками — в голове и в ногах; они были сплошные, и оттого был немного похоже на коротенький ящик, в котором переносят цветы.

— И ни за что не хочет ни переменить, ни поставить кровать, — возмущалась Наташа.

У самой у нее комната была невелика, но хороша. Большое окно выходило на двор. Оно было высоко. Крыши теснились одна над другой, трубы взбегали, напоминая лианы, ободранные жестким укладом огромного города; окна глядели как входы в пещеры, тая за стенами частную жизнь. На дворе был асфальт и стоял одинокий, пышно разросшийся клен. Он развивал кипучую деятельность, и за эти три дня, в которые Даша глядела на него из окна, он был как фонтан: каждый день радуга, и все обильней и ярче. В комнате у Наташи была чистота и белизна.

Один раз у них Даша застала гостей, и как эти гости были ничуть не похожи на тех, что шумели у принудительного ее опекуна! Это были, как водится, тоже ученые, реже, как водится, изрядные чудаки. Даша в них мало что поняла, но у всех у них были молодые глаза: столь молодые, что в них можно бы было, пожалуй, летать. Порою они друг на друга сердились и спорили и также, порою, беззаботно смеялись.

— Ты понимаешь что-нибудь, что они говорят? — спрашивала Даша подругу.

— Немножко, — отвечала Наташа и очень добро смеялась: как взрослая, глядя на расшалившихся маленьких.

Но все-таки лучше всего, когда они оставались одни. Они теперь многое знали одна о другой; между ними образовалась уже молодая привычка друг к другу, но эта привычка не мешала ежеминутно ощущать — ежеминутно возникавшую прелесть нетельной новизны.

Однажды Даша от подруги не скрыла своих опасений, которые зародились в ней еще дома, в Коньеве — нет, пожалуй, в Ширинске уже, как стояла она на крылечке у Фаддея Никодимыча в чем а вдруг увезут, продадут, обманут, погубят?..

К этим страхам ее Наташа отнеслась со всею серьезностью подумала и сказала:

— А ты скажи, что ты застрелишь его!

Это был вообще несколько романтический вечер. Обе подруги сидели на подоконнике над глубоким темневшим двором. Если бы было кому поглядеть со стороны, обе они показались бы двумя угловатыми птичками, присевшими в нишу стены — передохнуть; и еще было нечто в выражении приподнятых плеч, в остром изгибе локтей, что навело бы на мысль: отбились от стаи. Это, конечно, было не так: к стае они еще не пристали.

Над вечеревшими крышами бежали, время от времени, гудки паровозов и фабрик. Эти [illegible], длинные звуки были подобны невидимым, протянутым в воздухе проводам, а минутное звучание лишь обнажало тугой, крепкий каркас, который незримо, но ощутимо вязал в один узел миллионы отдельных [illegible], воли, ума. И уже не девушки сами, а их предвечерние мысли присаживались на эти провода, чтобы цепко их обхватить и, [illegible] гудящего тока, перепорхнуть на соседние — чуточку дальше.

Они в этот вечер [illegible] о многом — и о себе, и о жизни, которая с каждою фразой [illegible] горизонтом [illegible] горизонт, более далекий [illegible] те же часы, [illegible] ные и необходимые [illegible] слышимый внутренний [illegible] не потайной, [illegible] индивидуальнее, [illegible] пространств, искание [illegible] места. Немножко [illegible], и клювики их раскрывались [illegible] сказать, что [illegible] чего не хватало, [illegible] и клювики их не [illegible] к ним воздух.

Наташа любила [illegible] Заграничный друг, ученый немецкий профессор Отто Реннер, с которым их [illegible] Даша в Мещовске на станции. Наташе писал, что [illegible] отца были о дочери; он очень томился предсмертной [illegible] Наташиной будущей одинокой судьбой. Но [illegible] Реннер писал и от себя...

— Я найду тебе сейчас письмо, погоди...

— Я по-немецки не очень еще... Не пойму, — немного [illegible] Даша.

— Я знаю его наизусть — и по-немецки, и по-русски.

Наташа достала письмо. Оно было длинно, на четырех [illegible] листках, исписанных аккуратнейшим готическим почерком.

— Ты знаешь, он очень, очень умеренный человек, совсем консерватор, но как он у нас все замечал. Удивительно, мы и не видим, приглядевшись, что ли, и он все это четко фиксировал... — У Наташи нередко встречались словечки полугазетного, полунаучного лексикона.

Письмо прочитали, близко сдвинувши плечи и перемешав ко-
роткие волосы; так было видно обеим, и Даша не сразу, но с раз-
стью соображала сама иные слова.

Отто Густавович, знаменитый геолог, длинно писал своей ма-
ленькой русской приятельнице, что он много думал об одном ка-
екте — взять Наташу к себе. Он знает ее способности, он был друго
ее отца, и он почел бы себя счастливым довершить образование
и воспитание высоко им уважаемой — der Hochgeehrten, маленькой
умной фрейлейн.

— Ты не обращай на это внимания,— законфузилась Ната-
ша,— должно быть, немецкие девчонки очень глупы, я так об-
няю эту мою квалификацию...

Но путем размышления он, Отто Реннер, пришел к убеждени-
что должен ограничить поток своих желаний, ибо... Тут шла целая
маленькая диссертация на тему о новой русской молодежи — der ne-
uen russischen Jugend. Он говорил о том, что нигде другой такой мо-
лодежи нет — во всем свете. В то время, как на Западе послевоенная
молодежь, в здоровой ее части, увлекается голой физкультурой
и спортом, русская молодежь живет одновременно и кипучей об-
щественной жизнью, принимая прямое участие даже в правитель-
ственном аппарате страны. Но не это важно, важно то, что куется
в этом горниле новая человеческая порода.

«Вас не должно удивлять, — писал далее профессор,— что я, че-
ловек совершенно других политических воззрений — высказываю
такие мысли. Я прежде всего ученый, следовательно, человек бес-
пристрастный по профессии — unparteiisch meiner Proffession nach.
Геология с ее камнями и породами должна казаться самой тяжело-
весной и малоподвижной наукой, но такое впечатление возникает
лишь у людей, мало знакомых с катастрофически стре-
мительными изменениями нашей земной коры; ведь понятие
о времени, милый мой друг, весьма относительно!

И вот я, геолог, вижу в вашей стране процесс, по грандиозно-
сти и бурной стремительности сдвигов напоминающий процессы
космические. Когда вы читаете книгу, вы воспринимаете ее на фоне
собственных дум и вычитываете свое, отличное от того, что воспри-
нимает сосед, имеющий другие, свои думы; так и я, ученый геолог,
воспринимаю ваш непрерывный вулкан и одновременную стройку
из лавы нового мира — на фоне своих мыслей о процессе видоиз-
нения того, лишь кажущегося неизменным фундамента, которы
именуется земною корой. Я лучше теперь понимаю и живей пред-
ставляю многие картины из прошлого, мной изучаемого, и будуще-
го, о котором я размышляю. И вот, невзирая на мое душевное же-
лание видеть вас у себя, я говорю вам: не покидайте вашей кипучей
страны! Нельзя отбиваться, скажу по-стариковски, от своей семьи
а ведь семья у вас — это не то, что у нас; она обширна!

И еще скажу так. Мы, немцы, любим музыку, как вам известно
и хоровое пение в частности. Представьте себе, что среди общего

[illegible] чей-нибудь голос выделился и запел свою индивидуальную [illegible], пусть исключительно прекрасную, она прозвучала бы диссонансом, и общий хор был бы нарушен. А у вас, я ведь вас знаю, головка упрямая, и я не хочу этой опасности, вас подстерегающей, усугублять; ведь рано или поздно вы, конечно, на родину возвратились бы!

Не знаю, поймете ли вы, как все эти мысли совмещаются во мне самом, но они совмещаются, ибо самая жизнь есть не что иное, как гармония противоречий – denn das Leben selbst ist nichts anderes als eine Harmonie des Widerspruchs. Но мысли мои не обо мне, а о вас».

Слушая, Даша опять увидала Мещовск, провинциальную пыль в воздухе, галок на старых березах и среди всего этого троицу, говорившую между собой на языке, ей непонятном; знала теперь, что на немецком.

– А он очень умный, должно быть, – наивно сказала она и тут же добавила [illegible] уже [illegible] пояснение. – У него такие густые высокие брови, и сам не седой, а брови уже с сединою.

– Ну что же ты скажешь на это? Как на письмо реагируешь?

Даша письмо с [illegible], но на вопрос отвечала вопросом, как будто совсем о другом:

– А отец твой [illegible] он был несчастен?

– Он был несчастен, [illegible] Наташа. – Он был народник, ему было трудно. (Даша не [illegible] стала допрашиваться.) И от него убежала жена, моя мать. [illegible] сделалось жалко, с кем убежала и почему [illegible] не спросила.) И вот умер теперь на чужбине. (Тут Даша [illegible] почти содрогнулась: для нее это оказалось самым [illegible].)

Мысль Отто Реннера о [illegible] фона, на котором читают, оправдалась и здесь, и разговор [illegible] протекал вперебивку по двум разным руслам. Для Натальи фарватер протекал по руслу [illegible] хора и индивидуального голоса (Красная Пресня и Тимирязевка для нее были только обычной научной [illegible] с опытами); для [illegible] мысли полный отлет за границу, письмо это и для нее [illegible], звучало предостережением.

Но сами подруги сколько-нибудь отчетливо не ощущали [illegible] двойного движения мыслей, да и помимо того каждая из них так непосредственно живо отзывалась на чувства другой, что у этих [illegible] девушек как бы и [illegible] в разговоре [illegible] большая коса [illegible] профессор [illegible] обе они по бокам. Наташа [illegible] подруге: подруга без грешинки! Когда Даша вернется, она обязательно приедет к ним в школу, а когда Даша будет учиться в Москве, она поселится у них... и тогда... они обе... А когда Даша сама в свою очередь поведала ей странные свои мысли о загранице и об [illegible], то мы уже знаем, как энергично Наташа дала дельный свой совет:

— А ты скажи, что ты застрелишь его!

Они говорили о многом. Вечер давно уже канул во двор. В окрестных домах загорелись огни; порою за кисеей занавесок возникали и исчезали отдельные силуэты, подобные недодуманным думам. Клен был в тени; тень была черной, густой, и сам он казался густым, смоляным; вся радуга красок двумя угловатыми грудками лежала теперь на подоконнике. Обе они перед расставанием примолкли, а когда соскочили одновременно на пол и хотели что-то еще на прощанье сказать, то слов уже не хватило, и они с горячим, внезапно возникшим порывом, неловко стремительно расцеловали друг друга — куда-то — в щеку, в висок... Должно быть, вот это и называется дружбой.

Арцыбушев опять был недоволен. Демонстративно он заперся в своей спальной. «Петрушка» — Петр Афанасьич — ждал Дашу на приемном диванчике в передней, где он и спал. Он с трудом оторвал горбатое свое, старомодное пенсне от короткой и толстой переплетенной книги. Красноватые глаза его неодобрительно поглядели на Дашу. Он сделал ручкой.

— Нехорошо-с... Нехорошо-с... — забормотал он, помаргивая. — Не пошли бы вы по стопам Грушеньки... да-с! — И он хлопнул другою рукою по книге.

Даша прошла в кабинет, ничего не промолвив. Петр Афанасьич последовал также за ней. Раньше, чем Даша, он успел повернуть выключатель, а затем, забежав, откинул с подушек (Даша спала на диване) темно-зеленое ватное одеяло.

— Постельку я вам приготовил-с... сдернул салфеточку с холодного ужина, — покушать я вам приготовил-с... — остановился и неожиданно поднял палец, прямой и желтый, как свечка, — а только, скажу, развращенность поступков не оправдать-с — даже красивою прелестью форм...

— Закройте еду, я ничего есть не буду, — сказала Даша сердито так что свечка Петра Афанасьича невольно согнулась и медленно поплыла книзу. — А кроме того, - Даша повысила голос, и в нем за звучали нотки надменности, — кроме того, доложите вашему бари ну, что если он там задумает что-нибудь сделать со мной, то

— Господи боже мой! — засуетился испуганный Петр Аф сьич. — Что это с вами?.. Да вы бы потише... потише-с! — При этом приседал едва не на корточки, и кулачки его трепетали перед ли лым потертым жилетом.

Даше уже становилось смешно, но она еще тверже повысила голос:

— То я его застрелю!

Из кабинета послышалось сухое покашливание. Не сме Даше рот, Петр Афанасьич горсткой зажал — и крепко! — свои и того зажатые губы.

Неизвестно, как Арцыбушев отнесся к выходке Даши, но наутро, к кофе, он вышел исключительно вежливым и предупредительным.

Когда они встали, он, потирая руки, сказал:

– А у меня для вас есть сюрприз! – и, подойдя к столу, выдвинул ящик.

Даша еще издали увидела, как в руках его блеснул, как осенний осиновый лист, новенький паспорт.

– Это что... мне? – спросила она, вдруг оробев.

– Так точно, – ответил с приятною улыбкою Арцыбушев. – Немножечко долго все это тянулось, но вот... результат! – И он протянул Даше паспорт. – А второй мой сюрприз... – Он помолчал, выжидая. – Вылетаем мы завтра, в семь тридцать утра. Билеты заказаны.

– Завтра, в семь тридцать утра... – машинально проговорила девушка.

– Москва, Смоленск, Рига, Кенигсберг, Берлин! – торжественно провозгласил адвокат, как бы торжествуя победу над Дашей. – И выспаться надо, предупреждаю! Афанасьич, пальто!

Он щелкнул пальцами и вышел в переднюю. Даша осталась одна.

Она как привстала, так и осталась стоять. В руках ее была яркая, красная книжка с большим золотым тиснением, радовавшим глаз. Она развернула ее и стала разглядывать. По фамилии стала она Говорная; это ее порадовало. Отчества не было; это ей тоже было приятно. Даша не знала, сколько было хлопот у Арцыбушева, чтобы в паспорте стояло иначе. Поглядела она также срок; срок был годовой. Сначала это немного ее испугало: зачем так надолго? Но потом она поняла, что это обычная форма. Итак, меньше чем через сутки она будет в воздухе!

Даша пошла уложиться. У нее было довольно много белья. Опять на нее ненадолго наплыли цветные психологические тряпочки; от платьиц шел запах духов, слегка дурманивших голову. Но быстро она отрезвела и побежала к Наташе; вместе решили они проехать на аэродром, поглядеть.

Однако же на аэродром не пускали, и они стояли с четверть часа у ворот, глядя, как слева, круто кренясь, одна за другой, сбегали по воздуху огромные крепкие птицы. На вышке по ветру вяло болталась привязная колбаса; четыре широкие черные полосы пропивались на ней.

– Вишь, нынче куб, – сказал рядом с ними подросток: – ветер переменился!

На вышке, среди других условных примет, разглядели они и черный порядочный куб. Но многое все же было им непонятно.

– Какая я дура! – сказала Наташа. – Ни разу не побыла и не полетала. И как жалко, что завтра нельзя. А ты не боишься?

— Ничуть!

По шоссе проезжали автомобили, телеги, раздавались звонки велосипедистов. Им захотелось пройтись, и вскоре они попали в воздушный музей.

— Погляжу, погляжу, как ты там завтра!..— твердила Наташа, немного волнуясь.

Они заплатили по двадцать копеек: не члены Осоавиахима, а то бы по пятачку!

В залах было прохладно. Висели аэропланы разных систем, стояли моторы, корзины с веревками от воздушных шаров; модели одна за другой — на столах; на стенах — таблицы и чертежи, картины и снимки.

— При первых полетах пассажирами были, как видите,— показал на одну такую картину руководитель,— утка, петух и баран. И ничего, спустились благополучно, петух только ногу себе повредил.

В толпе посетителей кое-кто улыбнулся.

— А она зажила?— спросил неожиданно громко маленький мальчик.

Тут уже все рассмеялись.

Но особенно интересно и хорошо показалось всем в самой дальней комнате; всю ее занимала модель аэродрома. Девочки сразу узнали и серую вышку, и куб, и колбасу. Но сколько же было там зданий, ангаров и мастерских!

Сидя на деревянных прохладных перилах на возвышении, они слушали жадно, впивая все мелочи. Очень заняли их приспособления для выверки компасов.

— А не заняться ли нам с тобой авиацией?— шепнула Наташа, вся раскрасневшись.

Даша сжала ей руку. И она была красная; и она думала о том самом.

— Теперь я покажу вам аэродром ночью,— сказал руководитель и погасил электричество.

— Мама, это будет кино?— спросил опять мальчик.

Но это оказалось лучше кино. Вся площадь аэродрома м... ского и сухопутного, и дальняя площадка с эллингами и дирижаб... ми внезапно расцветились огнями. Крошечные прожекторы осве... ли набережную, засветились ангары, подземные знаки; стало по... же на сон — из сказки, прочитанной на ночь.

И после, когда уже вышли, стоило закрыть глаза, как вспых... ло это играющее огнями видение.

— Как жаль, что ты вылетаешь не ночью!— говорила Ната...

На обратном пути было у них еще одно впечатление — ... нарочно — про летчиков, про аэропланы. Они обогнали на тропе... целую группу детей. Это были совсем малыши, четырех-пяти... ние. Все они были одеты в совсем одинаковые серенькие костюм...

ки, у всех на головах белые фланелевые картузы. Они щебетали, как птицы. И щебет был: «Летчик... летчику... Я буду летчиком!» И голос один, совсем карапуза: «А летчики мало зарабатывают!» Наташа весело рассмеялась и дернула его за картуз.

Расстались они так же молчаливо, как и вчера; только — на улице — значительно сдержаннее. По-обычному — вежливо и «добросердечно» — они еще не умели, а слова от волнения застревали где-то в горле. Но Даша, идя уже одна, чувствовала, какой неисчерпаемый — теплый, медовый запас открыла она для себя и как хорошо будет по возвращении; яркие огоньки, как на ночном аэродроме, светили в ней изнутри. И все ж не могла Даша не вспомнить и не улыбнуться: утка, петух и баран — это ее деревенскому сердцу было особенно близко, тепло.

Дома ждала ее еще одна нечаянность, радость. С кем-то из деревенских, приехавших с поездом в Москву, мать ей прислала — на дорогу платок!

Письма никакого приложено не было, но на словах передали Петру Афанасычу, что дома здоровы и все благополучно. Даша чуть не заплакала. Так было ей жаль, что она не видала сама, не расспросила! И так потянуло домой, как тянет сквозной, порывистый ветер — улететь — занавеску в окне!

Платок был завернут в городскую бумагу. Даша увидела, как мать замахала телеге, остановила, потом побежала домой и развязала, нагнувшись, деньги из узелка; как наказала купить в Мещовске гостинец, и долго потом, перебирая на сухой груди пальцы, следила, как тает и расстилается пыльный хвост от повозки между осенних ракит... Даша смяла бумагу и прошла в уголок — в кабинет. Арцыбушева, на счастье, все еще не было. Даша взяла и встряхнула за кончики домашний подарок. Платок был простой — летний, дешевый, по белому полю, кистями, мелкие красные ягоды; он еще не был обмят и колянился. Даша им повязалась по-деревенски и глянула в зеркало. Голова была Дашина — коньковская, деревенская... Тут она глубоко, по-бабьи, вздохнула: а все остальное — зачем это?

Быстро она скинула платье, ботинки и отыскала обычный, домашний наряд, все это ей доставляло невыразимое удовольствие.

— Что это, маскарад перед отъездом? Очень, очень мило! — произнес в дверях Арцыбушев.

Он был несколько навеселе: всякий проводит время перед отбытием — на свой образец.

— А я не поеду совсем! — сказала вдруг Даша.

Ей было весело видеть, как Арцыбушев мгновенно переменился, вся самоуверенность его и довольство сразу исчезли. Он стал похож на несвежую, измятую манжету.

— К... как... не поедете?

Даша не выдержала и рассмеялась.

Вечером много она размышляла, однако, всерьез. Ее потянуло домой. Это было одновременно и верность — дому, деревне, — и сладость, конечно: неужели боится она, что ей захочется остаться там? И из-за этого — не полететь? не побывать за границей? не поучиться?

Ночью опять видела Даша светящийся, маленький, точно с большой высоты, аэродром. От ветра, от шума мотора свистело в ушах; ветер сорвал с головы ее ягодный новый платок, и он полетел, как парашют, то закрывая, то открывая сигнальные на площадке огни. До самого низу он падал, не изменяясь в размере, наконец коснулся земли, целиком закрыв собою большую, светящуюся и указующую букву Т; и все огни сразу погасли. Даша, как от толчка, пробудилась и открыла глаза.

За окном еле брезжил рассвет: Даша оставила шторы нещелеными. Она соскочила босыми ногами, по привычке, прямо на пол; паркет был прохладен; ночной холодок, невидимым воском, устилал всю комнату. Стенные часы пробили пять, а следом за ними раздался стук в стену: Арцыбушев будил свою подопечную.

Даша плохо спала, но голова ее была необыкновенно свежа — точно умылась коротким своим, блистающим сном. Через четверть часа оба были готовы и завтракали, а еще погодя прогудел перед окном автомобиль.

Очень забавен был Петр Афанасьич. Он подволакивал ногу, но пролетал между дверей, как сухонькое, из одних только лапок, насекомое. Старый слуга волновался не самым отъездом, а тем, что отъезжали к старому барину. Прощаясь с «молоденькой барышней», он ухитрился поймать ее за руку и поцеловать. Даша отдернула руку, но Петр Афанасьич был очень доволен удачей. Волк из Копьевского леса, он теперь стелил лисий свой хвост.

— Батюшке вашему, я вас прошу, также вот ручку ему поцелуйте-с! Скажите ему, что это старый дурак Петрушка, верный и преданный раб, господскую ручку его лобызает-с!

Даша была в дорожном пальто. Спокойно она отодвинула шляпку и перед зеркалом повязалась вчерашним платком. Странное дело — этот платок и серенькая непромокашка ничуть между собою не дисгармонировали; Даша, умытая, порозовевшая и волнуемая этим отъездом, была так мила, что даже сам Арцыбушев не протестовал. «Даже оригинально, — подумал он, поглядев на нее. — Пусть почудит напоследок!» А громко сказал, как бы хвалю Дашу рекомендуя:

— Сотрудницу новую сопровождаю в Торгпредство, из вашенских женок!

Утренняя Москва легко и просторно бежала мимо автомобиля. Редкие люди на тротуарах не успевали к ним обернуться больше чем на пол-оборота. Узкая вдали улица раздвигалась по мере приближения. Порою дома, на поворотах, клонились к ним

сколько вбок и опять выпрямлялись; автомобиль на себя их нанизывал, как цепочку разрозненных бус. За Триумфальною аркой, вокзалом — солнце, деревья и воздух били в лицо, как одно проницаемое цветное полотнище; ежеминутно оно разрывалось и было вновь цело. Дашин платок трепетал по ветру, подобный флажку.

Навстречу им просвистали, блистая сплошным, из солнца, стеклом, два-три ранних автомобиля. Даша приподнялась поглядеть одному из них вслед: автомобильное солнце погасло, но зато все шоссе позади лилось, как река из текучего света.

У Петровского замка — Воздушная академия — уже кричали газетчики:

— Внезапная смерть Штреземана!

И мягко покрякивал автобус № 6, неизвестно — печалясь о смерти министра или попросту жалуясь на очередные неполадки в своем бензиновом желудке.

Скупые ворота открылись перед автомобилем, и на серенькой будке затрепыхался бледно-зеленый, по бледному, желтому фону, флажок, напоминавший игрушечный: посередине его, такая же мягкая в утреннем свете, блестела звезда.

Но — остановка! Из будки налево замахал кружевной воздушный платочек, а следом за ним набежало облако терпких духов: отчетливо крепко ступая каблучками в песок, к автомобилю шла женщина.

— Как это мило! — воскликнул навстречу ей Арцыбушев.— А я будто знал!..— И пальцы его проворно полезли в жилетный карман.

— Пропуск? Но это не менее мило... Здравствуйте, Дашенька!

Даша сердито взглянула на даму. Ее пропускают, а Наташе нельзя! На минуту мелькнуло: а если бы и она попросила у Арцыбушева? Но тотчас же: да ни за что!

Дама села с ней рядом, Арцыбушев напротив. Даша сидела отвернувшись и глядя перед собою направо. Автомобиль ехал шагом. Вдруг увидала она за загородкой странные лепные фигуры четырех тоненьких женщин — поодаль одна от другой; у них были подняты руки, они выражали печаль. Даша хотела спросить, что это значит, но удержалась. Несколько дальше, через десяток шагов, за такою же точно, палисадною изгородью, на невысоких столбах просерели две урны. Что это — место какой-нибудь катастрофы? Даша не знала... Но вот и часовой!

Перед ними лежало теперь огромное поле аэродрома. Все было залито солнцем и — никаких огоньков! Налево пестрела Москва, направо дымилось лесами Всехсвятское. Приехали рано. Даша покинула Арцыбушева с дамой и с наслаждением, впивая прохладу ноздрями, стала оглядываться.

Несколько крупных, тяжеловатых стрекоз спокойно лежали на порыжелой траве. Возле одной из них, с голубо-синими крыльями,

мерно возилась кучка людей; к другому аэроплану, бело-блестящему, тащили тяжелый узкий баллон. За узеньким тротуаром и бегущей вдоль него игрушечной низенькой оградой с пестрыми столбиками, напоминавшими кое-где сохранившиеся полосатые версты на старом Коньевском шоссе, на рабочей площадке рулировал на старт учебный биплан. Он неспешно бежал по земле, бодро пофыркивая, а механик шел рядом и направлял его за крыло; эта рука на крыле напомнила Даше плуг и пахоту. Но вот биплан и у старта разбег; приподнял сперва хвост и косо стал забирать высоту. Тем временем выводили другой, а этот уже блистал в вышине ярко-голубым своим оперением.

Даша взглянула на облака. Их было много, и залегали они не высоко. Низкое солнце сияло свободно, темно-зеленые ангары под ним казались небольшими бархатными холмами.

Вдруг Даша услышала гуденье пропеллера у себя за спиной. Обернувшись, она увидала наискосок заграничный аэроплан с буквою D и длинною цифрой. Пропеллер крутился, жужжал; по-видимому, шло испытание мотора. Летчик в очках и подпоясанной куртке, готовый к отлету, точно такой, каким их рисует воображение, стоял неподалеку. Даша к нему подошла.

— На этом мы полетим?

Он поглядел на нее с любопытством и не сразу ответил. Лицо его, может быть, было широко, но шлем его делал узким, воинственным, как на картинках у викингов.

— В семь тридцать на Кенигсберг, — сказал он неспешно, и Даша увидела простые его, неровные зубы. Внезапное жужжание пропеллера резко усилилось, и он закружился с такой быстротой, что стал едва видим. Даше невольно захотелось отойти немного подальше, но она удержалась и только взглянула на рядом стоявшего летчика.

Он, улыбаясь, глядел на нее.

— Не бойтесь, — пояснил он, — это проба на большой газ — сжатым воздухом. А он не разлетится.

— Я знаю, — возразила Даша, вспоминая музей. — Он склеен из мелких пластинок.

Эти ее нечаянные познания дали ей право на дальнейшие расспросы. Особенно ей понравился на спине аэроплана маленький игрушечный пропеллерчик — для электрического освещения внутри кабины — и радиатор для охлаждения воды, прикрытый спереди пластинками из металла, а сзади напоминавший точь-в-точь пчелиные соты.

Летчику Даша, как видно, понравилась.

— Аи из деревни? — спросил он ее вовсе запросто.

— Ага! — почти не разжимая губ, по-деревенски же ответила Даша.

То-то, гляжу я, платок: чистая красная смородина

Даша ему улыбнулась и обнажила сама на редкость краси-вые — горошинка рядом с горошинкой — крепкие зубы. Ей было приятно услышать самое это слово: смородина! При школе у них было целых три полосы красной смородины: северный наш виноград! И как это, вправду, сама она ни разу о ней не вспомнила! Разве по той, быть может, причине, что и о себе самом не вспоминается...

— А там-то, гляди! — кивнул очками ее новый знакомый, и Даша обернулась опять к голубой стрекозе.

То, что она увидала, было совсем по старинке. Трое рабочих стояли, взявшись за руки цепью. Крайний высоко хватал свободной рукой за верхушки пропеллера и по напеву «раз-два-три!» — они резко его ухали вниз, потом начиналась та же история: они заводили мотор. Аэроплан готовился [illegible] в Харьков.

Летчик ее потянул за плечо, и она обернулась на небо. Сначала она там ничего не увидала. Одинокий грач [illegible] свое железное брюхо по [illegible] дороге, и она [illegible] поднимались [illegible] Но постепенно [illegible] поднять глаза [illegible] особый [illegible] гряный, переливчатый [illegible] прорезал свою линию [illegible] на кожаный рукав своего соседа, и он [illegible] восхищение: «Вот [illegible] ваш!» — сказала бы [illegible]

Высоко летел [illegible] Но вдруг он [illegible] вертикально и быстро [illegible] назад, выравнивая брюхо в горизонталь и [illegible] нижнюю половину [illegible] го круга. Затем он [illegible] разбега [illegible] ю. Даша их насчитала [illegible] Он кувыркался на [illegible] как бы резвясь и беззаботно радуясь ясному [illegible] утру. Это было подобно игре — легкой, изящной [illegible] не требовавшей [illegible] усилий. Тем больше, однако, была полнота радости [illegible] Даша с трудом оторвалась от этого зрелища: она [illegible] ла в старом своем Копьевском саду.

— Кто это? — спросила она.

Летчик назвал ей гордое имя своего товарища [illegible]

И опять, оторвавшись, Даша увидела, как [illegible] вручную. Впрочем, устали они [illegible] рабочие [illegible] это занятие и потянулись, разминая [illegible] покурить [illegible]

— Так-то и мы в Смоленске [illegible] Дашин сосед.

Даше нисколько не было страшно лететь. [illegible] страшно! Оставшись одна, она оглядела [illegible] аэроплан, по-немецки прочла на боку возвещенный Арцыбушевым утром маршрут: Berlin — (Danzig) Königsberg Riga Smolensk Moskau, это доставило ей удовольствие; потолкала подножку, прочные [illegible] напомнил сошник, в нем были за ободком кусочки земли [illegible] желтоватый суглинок. И, однако, когда уже надо было садиться,

и как во сне слышала она прощание Арцыбушева с дамой, и как та говорила: «...чулки... не забудьте же... номер девятый...» — Дашино сердце сжалось невольно, точно она уже оторвалась от земли: утка, петух; серые урны; прививка; падение с дерева.

Сели: рулировали две-три минуты; механик вскочил по дороге, точно присел на облучок; отпустили; немного секунд — хвост приподнялся, легкий толчок и — совершилось отплытие: не сразу его и ощутишь! Но уже где-то внизу — ангары и станция, и серая вышка, две-три вороны поднялись с травы, пробежала собака; лечу!

Даша сидела, молчала; сердце в ней прыгало. Арцыбушев рядом посапывал носом — деловито и удовлетворенно. Бежала земля, казалось, не так теперь быстро, она только сжилась и расширялась одновременно, но уже именно съежившая. А облака ни поднимались, ни низились, и все же от них тянуло дыхание влаги. Где-то мелькнуло в мозгу, как ехал однажды — вот так, в облаках — тракторист Андрей Николаевич.

В кабине мест было шесть, а пассажиров всего только трое, да и то третий летел всего до Смоленска: член РКИ. Арцыбушев тотчас с ним разговорился, и был в разговоре, из-за шума мотора похожем на крик, ничуть не похож на Арцыбушева, знакомого Даше; охотники все объяснять естественно-исторически могли бы, не без успеха, приписать это явление пребыванию в воздухе на известной высоте.

Понемногу Даша опять успокоилась. Лететь было очень приятно, шум разве немножко ее оглушал, но ни капли не раздражал, скорее напротив, ровный этот и энергический пульс подчинял себе сердце.

Сидеть было также очень удобно. Все было обдумано с немецкою тщательностью: плетеное кресло; подстилка на нем — серая с коричневым четырехугольником посередине; подушечка для головы в чистенькой, с мережкою, наволочке, и назади — аккуратные пуговички. Даша не сразу догадалась, что можно отодвинуть окно она сидела слева и позади; окно ее не было пересечено литою трубой по диагонали. Ветер не очень трепал, и она отрывалась от созерцания осенних полей и лесов, серебряных, точно на карте изверченных рек только затем, чтобы взглянуть, через другое окошечко на кусочек спины, на кожаный локоть; там были руки и мозг одновременно.

Ближе к Смоленску ветер стал крепче, началась «болтовня», как называли это мужчины на лётном жаргоне; Даша качалась по корпо, порою лишь трогая пояс, застегнутый на животе. Раз или три попадали в воздушные ямы, и высота резко падала, казалось тогда, что внезапно убрали сиденье и летишь за ним вниз, догоняя его. И почему-то еще вспоминалось тут Даше: «дюралюминий, толщина стенки 0,3 миллиметра».

В Смоленске был чай, но летчик стал очень невесел; погода испортилась, мотор на последних пятидесяти километрах капризничал; механик, согнувшись, сидел под дождем, не замечая дождя.

В дороге аэроплану приходилось нырять, выбираясь из толщи бегущих чуть ли не по земле облаков. Порою он забирал круто ввысь, и, случалось, внизу виднелась земля, похожая на свое отражение в воде. Арцыбушев вдруг потерял всю свою самоуверенность, стал нервен и груб. Они были в кабине с Дашей одни, и он неприкровенно срывал свое беспокойство и трусость на ней:

– Скоро граница! Скоро конец этой прекрасной страны! Да, шутки теперь довольно шутить... Попили нашей кровушки, я говорю, и довольно. Довольно-с!

Даша молчала, ей адвокат был очень противен. Но что ей за дело до адвоката, когда и у самой сердце тоскливо сжимается – по неизвестной причине? Нет неизвестных причин, и Даша тотчас же сознает: у нее остается слишком немного времени, чтобы все это, самое важное, до конца осознать! Граница все ближе и ближе, воздушная линия скоро будет пересечена. Она обращается к Арцыбушеву и говорит, нисколько не скрывая своего отвращения:

– Да замолчите вы, наконец. Подлый вы человек!

– Ах, подлый! Так... хорошо-с... так и запишем! Начистоту? Извольте, давайте начистоту! Я человек высокого долга! – кричит он, теряя себя.– Я обещал доставить отцу заблудшую дочь... погибшую дочь... И я ее выкрал у мужиков! И навсегда, навсегда-с! Теперь я могу это сказать. Следующая остановка у нас – Рига, да, Рига-с, бывший губернский город Российской империи!..

Тут его речь прервалась. Аэроплан зашатался и задрожал. Но тотчас же машина опять как будто бы выровнялась. «Ах, отчего я не осталась в Смоленске, не скрылась, не убежала!»

– Вы со мной ничего не можете сделать,– сказала она, овладев собой на минуту.– Я еду законно, и у меня годичный мой паспорт. Я еду сама по себе.

– Скажите пожалуйста! И Арцыбушев как бы растер между ладоней закон. – Это здесь в моде... здесь в моде паспорта под псевдонимом, а там, извините, мадемуазель Говорная, там вы законная дочь лица с положением, да-с! И не-со-вер-шен-но-лет-ня-я-с! да, по законам цивилизованных стран!

«Наташа права: убить бы его!» Все ее тело занемело и съежилось. Адвокат продолжал издеваться, грозить, но Даша его больше не слушала. Несовершеннолетняя! Точно грубая чья-то ладонь сжала ее в темный кулак. Но в этом коротком, мучительном обмороке пришла к ней, возникнув из покидаемых недр,– Агафьина дочь – телушка у Говорных; когда-то она пропадала в лесу и вернулась и, вернувшись под утро, лизнула Дашину руку.

– Да и вы сама... Вы и сама, Дарья Владимировна, войдете в свой разум. Мы с вами вместе еще посмеемся над этою сценой!

Даша дала резкий толчок, раздвигая короткие, враждебно ее сжавшие пальцы. «Прививка... Прививка... Помню. Не обману!» — шептала она, а руки ее машинально расстегивали пояс. Отчаянные мысли: «Бежать, пока еще наша земля — не чужая!» — охватили ее с необузданной силой, и она глядела в окно, соображая, как это сделать; окно у нее все время оставалось открытым.

Аэроплан дико качало, и вдруг Даша услышала треск, как если бы, один за другим, принялись колоть гигантских размеров орехи. Арцыбушев кинулся к окошку пилотов и что-то кричал тем, впереди. Аэроплан круто начал спускаться. Бегущие мимо верхушки деревьев теперь едва не хлестали по крыльям, и в судорожном этом полете, как в вихре листвы, сорванной с дерева, бились в ней тысячи близких родных мелочей — бывших и будущих, — одна обгонявших другую, но ярче всего вспыхнуло, как она падала с дерева в школьном саду; внятно, отчетливо в ней прозвучало: «Ну, Говорная, разодолжила! Другой раз так не летай!» И голос опять перешел в щелкание грецких орехов.

Странно: звук, говоривший о смертельной опасности, в Даше стер в порошок все ее безумные мысли, в конце концов, звавшие ее к самоубийству, а ветер, свистевший в ушах, вымел их начисто: здоровый инстинкт — остаться живой, упрямство и вера в себя («А если что — убегу и оттуда») — как в ягоде сок, заполнили каждую клеточку ее существа. Даша была до краев исполнена силы, которую надо куда-то девать. Она слегка поднялась, крепко держась за поручни кресел.

В ту же минуту что-то произошло. Аэроплан косо рвануло и пронесло по верхушкам деревьев на большую поляну. Там он сел на костыль, потом на колеса, клюнулся носом и, повернувшись, рухнул набок. Какая-то сила кинула Дашу наверх через окно и, с высоты, на поляну.

Пилот уцелел. Он приподнялся с сиденья и повел головой, взгляд его упал на знакомый платок. Но и вся деревенская девочка Даша, лежавшая неподалеку, показалась ему ярким кустом с красными ягодами.

Аэроплан вынужден был к этой посадке, не долетев пяти километров до пограничных столбов.

4 октября 1929 г.
Москва

Товарищ из Тулы

I

Никто не знал его имени. И это не удивляло, было бы странно напротив — знать его христианское имя, как странно представить, что некогда был товарищ из Тулы маленьким розовым тельцем, которое окунают зачем-то в холодные воды купели. Зачем? — Неправдоподобно.

Детства и вообще как если бы не было. Сразу — завод; нынче бой; завтра постройка — нового мира. Расчет и учет; тело и ум — ни малейшей неувязки: упруго, спокойно, размеренно, сильно. Ученые спорят: кто раб и кто господин; он этой задачи не знал: машина — руки в работе, мозг и мотор — все это было одно.

Розовое и маленькое тельце?. Камень, пожалуй, и тот усмехнулся бы. Никогда этого не было. Со стороны поглядеть: просто где-то лежал коренастый, приземистый узлы на руках — как под корой огромные выплавки у огромной березы; только подпилок разве возьмет; одеянье из кожи — как вторая природная кожа, или чехол для машины; глаз серый, стальной без выражения? — нет, но всегда с одним выражением.

Как если бы под тяжелым давлением был отлит человек, и так лежал совершенно готовый, и вот — сразу в действии. Рабочий станок, или винтовка, или чертеж — разницы не было.

Таковы были дни; ночью работала кровь. Сердце, сердечность, это не то. Каково было сердце — это еще никому не было ведомо, но в жилах густая и вязкая кровь, это факт бытия.

Сны его были тёмно-полны; сны его были — непрерывность движения. Но было вполне наоборот тому, что при свете дня, когда тело заключено в точные, твердые рамки и воздух его омывает; было напротив: то, что его окружало, охватывало — была огромная толща, гранитно-твердая, непроницаемая; это был или камень, или каменный уголь, или руда, или, может быть, сталь. И между нею и им — никакого просвета, ни промежутка, воздушной прослойки. А сам он — текучий и подвижный; точнее — как газ, сгущенный до степени жидкости, жаркой и огненно-маслянистой в своей темноте. Это было противоборство колоссальным давлениям мертвых пород; впрочем, это давление как бы отчасти и помогало, стихийно выталкивая. И при всем том, он все же хранил очертания человека, только, быть может, несколько больших размеров: напряженность его диктовала это преувеличение форм.

И еще одно: это переливание всего существа, всей воли и силы его — в жест. Рука, или нога, или голова; в жесте они становились непропорционально огромными, их формы сдвигались и вырастали;

пламенная лапа-рука, она вся как огромный толчок, может быть, нефти: какие-то ласты броска; и, глазу не видно, но всему существу ощутимо: отливает темным огнем; и он несокрушим; и — результат: продвижение. Или вдруг толчок в высоту, и голова — во всем подобная факелу; и — продвижение.

Но сзади не пустота, толща замкнулась. И снова — неудержимость вперед, ибо это лишь путь, ибо не здесь еще то, что подлежит завоеванию. И это давление — благо, ибо, завоевав себе пустоту и растекшись по ней, потерял бы в упругости и в напоре, остался бы в этом каменном закроме, в мешке, в пустыне.

И вот — пробуждение, и вместо простора и шири, необозримости, вместо последнего утоления жажды, снова — закованность в твердой броне. Но неизменность и сна, и бытия, единство полярностей — в том, что мускулы, кровь, воля и чувство бьют и вздымаются факелами в невидимую гранитную твердь.

II

Трава не была сыра, но тело слегка отсырело; занемели мускулы рук, голени, шеи. Однако же, все было готово, чтобы вскочить. И товарищ из Тулы, проснувшись, мгновенно вскочил. Он огляделся: низкие, рваные тучи были раскинуты по небу, как шкуры убитых баранов; кое-где по краям их кровянило низкое солнце. Маслянисто оно выпирало, с трудом подбирая бока, как бы опасаясь растечься.

В ту же минуту кто-то другой вскочил на другом конце лагеря. Он виден был в профиль, но именно профиль его был характерен: упрямая прядь волос, спущенная на лоб полукольцом, горбик на линии носа, и это дрожание, скорее угадываемое, подобное пульсу, в углах челюстей — все выдавало затаенного Наполеона, Наполеончика, гвардейскую косточку.

Молодой человек отряхнул от песчинок сукно на штанах и с любовной заботой расправил преувеличенные, огромнейшие галифе, темно-синие. Заметив начальника, он сделал вид, что не заметил его, секунду подумал и улыбнулся, вытянул шашку. Потом, прищурив глаз, нацелился ею и воткнул прямо в низкое солнце. Он ее выкупал там, вытер и снова сунул в ножны.

Товарищ из Тулы глядел и размышлял хладнокровно. Он проверял наступающий день; все было правильно.

Он мог бы, пожалуй, еще улыбнуться декоративности жеста с этою шашкой, омытою в солнце, или быть может проткнувшей солнце, одобрить или, напротив, взять на подозрение, но он бо... не улыбался, и не одобрял, и не подозревал. Ни в том, ни в дру... не было надобности: он все уже знал, а то, что еще надо узнать, узнает сегодня. Молодой человек, «Хохолок», как он его звал, б... полезен и нужен — в твердых руках, и будет полезен и нужен — ... но до той самой минуты, когда та же рука, не дрогнув, его ... чтожит.

Товарищ из Тулы знал хорошо, что он человек небольшой, но винтик машины — огромной. Винты же, колеса, ремни, шестерни — все равноценно в машине, и на ходу, в срочной работе, где все согласовано, довольно ничтожной поломки, малой погрешности, чтобы испортить все дело; глаз его должен быть зорок и безошибочен.

Но также он знал, что и его небольшая команда в шестьдесят человек, будучи крошечным винтиком, сама по себе — тоже машина, и Хохолок был ему нужен; как раз именно нужен сегодня.

Товарищ из Тулы ничего не сказал, только махнул головой, и Хохолок, притворявшийся, что его не видал, однако тотчас подошел, выдавая этим себя.

— Ты знаешь, что мы сегодня до ночи должны быть у Старого Лома, а ночью — вступить и в местечко. Чтобы ни единая крыса не слышала: нас ведь не много.

Тут он пытливо взглянул на Хохолка и медленно продолжал:

— Но у Диких Камней...

При этом обычное выражение глаз стало еще напряженней, сгущеннее, но молодой человек и виду не показал, только дернулось на мгновение в углу челюсти.

— У Диких Камней ты обследуешь местность — один; на случай диверсии.

— Есть, — отвечал Хохолок и хотел повернуться; ему был тяжел этот каменный взгляд.

— Погоди. Ты передашь команду Способному. Предупреди.

— Есть, — повторил молодой человек.

Товарищ из Тулы поглядел ему вслед, и затем, негромко и не спеша, свистнул над лагерем.

Десятками маленьких эхо повторился тот свист. Седоватые и рыжеватые, пепельно-серые — быстро, подобные кратким дождевым пузырям, — там и сям заскакали любопытные рожицы. Скупо обтянутый кожею череп, полугорбик спины, тоненький жалобный свист. Вскочит головка и спрячется, рядом другая. Целая рать согляцатаев: как их доселе не приспособили люди — на службу разведки? Хохолок поглядел не без удовольствия: мертвая степь из земли рождала войска, и что-то в этом душе его, воображению — говорило.

Переход был тяжел, сон очень краток, и ни одна голова в лагере не поднялась.

Тогда свист повторился, и, как на первый призыв не отозвался ни один из людей, теперь ни один не остался в покое; такова была сила — равнения: одного к одному. И, подобные сусликам, заскакали одна за другою вихрастые головы; и, через четверть часа — строй и поход.

Но строй и поход — в тылу неприятеля; а потому — пути по безлюдью, по руслам весенних ручьев, ныне иссохших, там, где обглоданы временем камни, коряги, хребты — павших людей и животных.

Встречи коротки: ежели друг — ценные новые вести, а при удаче — еще партизан; ежели недруг — пеняй на себя. Одни пастухи не страшны: у этих ни хаты, ни огорода; как их называет Способный: «это самый и есть наш луни пролетариат!».

Бывший «ефрейтор Способный», нынче просто Способный — Хохолку очень нравится. Этот — без математики и без учетов; какая там стройка! Будущий мир? — оно хорошо и красиво, но бабы подчас бывают красивее. Да и сам он — Способный — кудерки по ветру, уколет подмышку усом — долго будет щекотно. И-их, р-ривалюция — хорошая баба!

Способному тесно в клещах у товарища. Тула? — слыхал, думал, будто как пряник. Нет: говорят: оружейная крепость, машинный завод. Что же, что машина? И машины видали. И всего, братишка, белее — и-их, хорошо! — как поршень туды — масляный, брат! туды и сюды! — И что-то еще прибавлял Хохолку — уже на ухо. И у Хохолка загоралась щека.

Весело шли; вчера было хуже, томительней. Теперь впереди было — дело, а это — привычней, спокойней. Но сейчас Хохолок был задумчив, рассеян по видимости и крепко сосредоточен внутри. И тоже горела щека, но по-иному. Ва-банк! Молодость, сила, не глуп; в огне побывал. А время... чудное время! — время великих возможностей.

Способный болтал, Хохолок его не слушал. Время клонилось к полудню, к небольшой передышке. Тучи все разбрелись, но на вершине реяла мгла, и предосеннее солнце косматилось рыжими космами — на вышине; отвесные копья лучей, низвергаемые, были остры, тяжелы и горячи. И на полушаге молодой человек на минуту замедлил.

Он огляделся.

Мертвая степь сонно горела. Пустынный простор, его вечный воздух, сухие и жесткие травы, колючки, песок. Все это вместе было остро, желто. И, точно бы острый лимон выжат на сердце — так остро и освежительно, колко. Сок этот — с сердца как бы смыл всякую тень сантиментов, всякий налет колебаний и нерешительности.

В отряде никто, конечно, не знал, что он был теперь — почти у себя дома. Эта неуловимая даль; эта неотличимая степь, [illegible]ки, овраги и камни — для него это книга, которую знал [illegible]. И именно здесь, или, впрочем, несколько дальше, у тех самых Диких Камней, куда он упрямо был должен проникнуть и куда так счастливо послал его сам товарищ из Тулы — да, именно там будет пересечение линий и поворотный пункт: налево кругом! — или точнее направо кругом — и марш-маршем! — к неведомому — к победе, к славе! История? «Но желал бы я знать» — он думал не раз, — «желал бы я знать, какую только удачу она не «оправдывает». В сущности — все совершенное, и уж во всяком случае все, где большая сила преодолела и победила — меньшую силу. И ее оправдание было

...а если они победят, и будет за нас — за меня, если... если начало не будет удачно. История — это служанка, раба».

— У Диких Камней я останусь один, — сказал он Способному. — Надобно сделать чертеж и отметить рельефы. На случай. А ты следишь без меня. Но у Дубровника, не доходя полуверсты до местечка, там, где старая шахта, ты меня подождешь.

«Товарищ из Тулы, — продолжал он уже про себя, — мне не доверяет. Но я веду мой полк на пол-аршина глубже, чем он. И он не знает, что там будет ждать меня... Даша. Он не знает, не может знать»...

Но как раз именно тут его мысль сделала резкий скачок. И была эта мысль зигзагообразна как молния, осветившая вдруг с беспощадною ясностью местность, каждый камушек, щель, всякую трав[illegible]. Ужели... Ужели он [illegible] разговор с пастухом? Но он [illegible] как и все; но разговора [illegible] только несколько [illegible] — чтобы Дарья [illegible] было раньше условлено. Ночь была темная; [illegible] пастушонок подло и незаметно — суслик в ночи. [illegible] комок, соглядатай. Или товарищ из Тулы [illegible] во сне, или читает [illegible] мысли? Все было [illegible] обдумано, как взять напрямую к Диким Камням [illegible], но вот ему предписали именно [illegible] обследовать как раз эту местность. Или это было [illegible], чтобы он отказался? Или встречный полковник [illegible].

— Ты меня подождешь, — повторил он Способному и добавил, подумав: — Может быть, будут и изменения.

Он ощутил чисто физически, как неуверенно вдруг ноги его стали ступать на ту самую землю, что доселе крепила его как верный союзник.

— Что, братец ты мой, али о девчонке задумался — [illegible]? Нынче же ночью пойдем. Помнишь, ты сам раз сказал: мы идем как рука, загребаем вперед. Ну, стало быть, нам же и первые [illegible]очки!

Хохолок ничего не ответил, с этой минуты им овладело странное чувство: надо пройти по мосткам. Мостки эти зыбки в движении. Одна роковая неосторожность — и гибель в глухой шахте, как говор внизу [illegible] бездны. Но он вспомнил о Даше, ее рука была протянута, надо схватить ее и быстро, зажмурившись, — перебежать. Пора [illegible].

IV

Имение Дубровник, со старою башней, сторожевой от стародавних [illegible], памятью казацких боев; неподалеку местечко, куда нынешней ночью намеревался вступить наш отряд, и это ущелье, Дикие Камни — с порывистым, диким весною ручьем — таков был тот треугольник, где предстояло развернуться событиям. Овладение им было важно для обеих сторон, и не раз уже обе волны — встречные

и непримиримые, перекатывались через него. Бывало и так, что в течение нескольких дней несколько раз переменялись хозяева: это уже было как мертвая зыбь.

В этот однако же раз линия боя была такова, что опорная, спорная база определяла крупный вопрос: или одним оттянуть свои фланги, или другим откатиться назад; в свою очередь, это решало о наступлении или об отступлении — по широкому фронту. Осень, зима — помогли б довершить остальное.

Но, невзирая на это, непосредственно тот треугольник охранялся небрежно. Небольшой гарнизон ютился в местечке, а все укрепления были у самой линии фронта, и об этот острый язык разбивались, одна за другой, вот уже много недель, все лобовые атаки. Напрасною дерзостью были бы также попытки прорыва где-либо в близком соседстве; против внезапного кавалерийского рейда также были приняты меры. Но ждать, чтобы в пешем строю сделан был тайный прорыв, этого ждать было немыслимо. И, однако же, именно это сделал товарищ из Тулы. И больше того, выбрав участок, сравнительно дальний, и перейдя его ночью рассыпанной цепью, дальше он шел уже днем, почти что открыто, лишь разбивая отряд на мелкие партии. Движение ночью могло б возбуждать подозрения, днем же — кто заподозрит? Все это было точно построено на «вопреки»; и все обещало успех.

Но в том же была — карта и Хохолка. Здесь он был свой, здесь у него старые связи. И главное: Даша была еще здесь, Даша верна и смела — крепкою ненавистью, страстною верой. Сразу ему самому открываться нельзя, а Даша успеет предупредить, чтобы достойно встретили ночью. А ежели почему-нибудь и заколеблется, для Даши в запасе — есть аргумент.

Даша — старше его на шесть лет; т о ж е талантлива (Хохолок и в мыслях себя не обижал); тоже с горячею волей. Но тут молодой человек отдавал себе ясный отчет, что воля у Даши была... как бы сказать — иного закала. Горячая эта женская воля питалась отнюдь не одним только собственным жаром, не честолюбием сердца и не вдохновением игрока, а истоками — глубже лежащими, точно бы в самой земле, в немых ее недрах.

Родина? — да, это первое слово и у Хохолка, но первое еще — словечко, таимое на глубине, короткое — «я». У Даши совсем по-другому. Точно бы травы, озера, луга, буйно-душистые ветры, под солнцем крутой чернозем, синее небо над перелесками — все это в ней жило, дышало, кипело и пенилось. И были не только слова: родная земля, родимое небо, Россия, но и самая плоть этих слов и — дух во плоти.

Как не почувствовать этого? Он, Хохолок, даже остановился По круто очерченной в небе, выпуклой линии (скат и тула, за горизонт, и по склону оврага — сюда) издали шла, не таясь, быстро, легко, точно по воздуху — Даша. Ветер бил ей в лицо; две коротких тяжелых косы тяжело на ходу отгибались полусторпом; платье летело за ней, чуть вихрясь в подоле, спереди плотно оно об-

...ло, почти облипало небольшую сухую фигурку ее, но четко была обозначена здоровая крепкая грудь и, не ошибешься, ноздри трепещут, как у коня, от крепкого, острого запаха осени. Странно казалась она — небольшая — больше чем в рост человека; и казалось еще, что не шла, а плыла или летела, скользя, эта девушка. Так, может быть, на Итаку сходила Афина-Паллада, в сущности, не небожительница, а лишь существо горного, горнего воздуха: там, на Олимпе, были они вообще несколько большего роста, чем люди долины. И такою Афиной увидал Хохолок русскую девушку Дарью.

«Даша точна, как всегда»,— сказал он себе и улыбнулся. При виде ее он ощутил себя сразу крепче, прочнее.

Особенных нежностей с Дашею не было — с самого детства. Правда, была и она — по матери титулованная, а так как отец был неизвестен, то мать присвоила ей даже свой девичий княжеский титул вместе с короной — на английских толстых конвертах из ватмана и на белье из батиста. Отец Хохолка тоже был родовит, на дворянской короне его, несмотря на обилие зубчиков, было весьма далеко до гордого очерка на самом последнем из носовых платочков девчонки. Хохолок к этому был донельзя чувствителен и сильно подумывал о присвоении титула матери. Отец был богат, это правда, но со своими заводами, свеклою, шахтой он был чересчур буржуазен; запах не тот. Сестра же росла аристократкой, несносная эта девчонка, с сомнительным происхождением, стыдно сказать — незаконная; в сущности — полусестра. К тому же она брала всегда верх: сильнее, здоровей, способней; скакала на лошадях как кавалерист.

Мать умерла; теперь ничего не узнать. Отец убежал; но отца где-нибудь на Grands Boulevards глянет в кафе гренадин или аршад через соломинку, а то и какой-нибудь острый аперитив, вроде коктайль или шерри коблер...), отца — он не уважал: трусишка, беглец. Да он ничего и не знал; матушка строго держала его на расстоянии. Дашину тайну знал разве дед из Дубровника, старый князь, в свое время едва не повешенный. «Да и напрасно, пожалуй, веревка его миновала»: Хохолок не любил старого князя. Большевики большевиками, а и эти поработали тоже достаточно. Распадение класса... классовое вырождение»...

И однако же, Дарья, верная внучка и... верная дочь? (мать оставалась загадкой) Дарья ему импонировала. Они не друзья, были и все время скорее врагами (был Хохолок политически без самомалейшей трещинки), и вот теперь — общий и яростный враг, и вот они — в одном стане.

Дарья ему импонировала, в ней было... страшно сказать — больше породы. Взглянешь в глаза: как если бы сабля звенит о встречную саблю. И — что за ритм! Хотелось бы знать, кто же отец?

Хохолок понимал в красоте. Этот наряд — скорее убогий - как бы подчеркивал резче еще: дикую прелесть, степную и неукротимую.

Дарья стояла перед Хохолком. На ней было легкое желтое платье с черными полосами. Продольные полосы эти, как на рисунке четкие линии туши, изгибами и полуизгибами рисовали фигуру ее с такою живой выразительностью, что через них желтым теплом, казалось, дышала самая кожа, и под тонкою кожей — горячая кровь; как если б решетка, и за решеткой огонь.

Все было сказано, и обдумано — все. Даша действительно была молодец. В Старом Лоху встретят гостей как надлежит.

Но и все же, в Старом Лоху силы невелики. Предупредить — это так, но и Способного, с пешей командой его, налобно было туда не допустить, задержать у Дубровника. Даша знает и это, но лучше, конечно, прикажет Способному — сам Хохолок. «Может быть, будут и изменения»: он ведь его предупредил. И вспомнил ответ о «девчонке»: «Нынче же ночью найдем». Какая-то острая мысль задела крылом его губы, он еще раз вскинул на Дарью глаза.

Место было пустынное, рыжие скаты, серые скаты, обрыва. С камня на камень узенькой змейкой прядал ручей; лето его подкосило. Струи звенели, как если бы не вода, а стекло. И Даша стояла как изваяние, камень, ни один ни на лице, ни под платьем — мускул не дрогнет. Серые, матовые стали глаза, как бы застыли, и неподвижное небо в них отражалось. Огонь не исчез, не потух, но он ушел внутрь, весь, без остатка. Сердце, как горн, скрытый в земле: плавится там и закаляется — воля.

О, если бы этот огонь на дикий простор — как скакуна, у которого страстью трепещут тонкие ноздри, как трепещут они порой и у Даши! Зачем ты — сестра?

Если Способный его заподозрит и не послушается, то ведь можно, пожалуй...

— Знаешь что, Даша. Мы выйдем отдельно, я за тобой через десять минут. Так осторожней. Но встреча — в Дубровнике. Может быть, ты... может быть, ты и еще мне понадобишься.

Даша молча кивнула ему головой.

— А дед твой - что он?

— Дедушка взял себе комнату во втором этаже. По-прежнему — химия, камни и микроскоп.

— Как к нему власти?

— Как и всегда. Ни те, ни другие не трогают.

— Нам он ничем не помешает?

— Ничем.

— Я не люблю его. В его голове не все еще бредни повыветрились.

— Бредни?

Он сознательно высекал как из кремня огонек; какая-то такая мысль дразнила его и раздражала. Даша блеснула глазами — взгляд но, презрительно. Он знал этот взгляд.

— Эти бредни не только его, но и моей матери, а также м

Она сдернула правой рукой верхушку полыни и круто ее растерла в горсти.

– И матери... гм! Но ведь она и моя также мать.

– Она твоя мать, но ты плохой сын. Тебе ничего не передалось. Ты весь в отца.

– Отец мой в Париже, я здесь. И ты... ты мне помогаешь.

– Да, потому что иначе нельзя. Но это до первой победы.

Тут Хохолок рассмеялся. Даша не выдержала и сделала шаг. Смуглый загар запылал на лице.

– Сию же минуту молчи, перестань!

Но Хохолок почувствовал почву, ему захотелось дерзить. Кроме того, в гневе своем Даша была хороша опьянительно. Он поглядел на нее, не отступая, и раздельно сказал, каждое слово ей подавая как вызов:

– Конечно, и ты, и я, и...

Он хотел назвать и кого-то еще, кого ни на минуту не забывал, но только помедлил, зная, что Даша, конечно, его и так поняла.

– Все мы работаем для и во имя – мо-нар-хи-и!

Жест этот был делом секунды: щека Хохолка загорелась; он ощутил острый запах полыни. Зажмурив глаза, он схватил сестру за руку: и рука была горяча. Он порывисто крепко сжал ее в кисти, но... но ни звука. Звенел и звенел стеклянный ручей, но тишина – она не плыла и не полнила воздуха, а как если б была реальной отдельностью, тут же стояла или даже сидела, присутствовала. Хохолок отпустил Дашину руку.

И когда отпускал, дикая смесь мыслей и чувств беспорядочным бегом промчалась в груди его. Опять побежден; и оскорблен. И ни ударить – ответно, ни... сжать бы в объятиях и – раздавить, чтобы горячий и обжигающий сок брызнул навстречу; в этом крушении, в рубке, в войне – где остались еще непереступимые грани? – и вот, однако же, рядом и страх: Даша разгневана, но Даша нужна – не изменила бы Даша?

И опять чехарда: Способный, и тот, про кого ей сейчас намекнул, кого не видала много недель. И ничего о нем не спросила, сталь, а не девушка. А должна бы спросить. Вместе сражались, вместе в плену, и вот Хохолок налицо, где же Георгий? Жив ли, убит? И ежели жив, то где же и как?

Да, да... Способный это как месть. Видишь ты: гордость! – степная орлица! пощечина! Посмотрим, увидим: у Способного лапы – у-у! – широкие лапищи... Это хорошая марка: одним ударом – двоих. И Даша сама полыни отведает, и Георгию будет сюрприз; вовсе не плохо. Победоносец Георгий, как его звали когда-то – лети! побеждай! и – наслаждайся: после Способного!.. Но Георгий сейчас – да, именно он-то и есть – аргумент. О Способном – молчок; Георгия выдвинуть: не убежит! О, теперь Даша не убежит!

– Даша, – сказал он без объяснений, без перехода. – Георгий отсюда не дальше двенадцати верст.

Краска сбежала с лица. Даша взглянула на Хохолка, помолчала.

— Он, значит, бежал?

— А ты не допускаешь, что он — вместе со мной?

— Нет, он не способен на это.

— А разве так плохо, когда это выгодно, перелицеваться?

— Он не способен на это, — упрямо повторила девушка, и брови ее поползли, одна навстречу другой; сплошная линия тучи залегла над глазами.

— Да, ты права, — быстро сказал Хохолок, подавляя свое раздражение, — мы были вместе в плену, я, как ты видишь, — «раскаялся», он же — счастливо бежал.

Кровь с новою силой прилила к щекам девушки.

— Счастливо бежал, — продолжал Хохолок, — долго скрывался, потом перешел через линию. У него свой отряд партизан. И он, я узнал, уже близко.

— От кого ты узнал?

— От пастуха, от мальчишки.

— И он идет к Старому Лоху?

— Да, и в эту же ночь должен быть здесь. Но если его встретит товарищ из Тулы, здесь укрепившись...

— Я пошлю к нему. Где он сейчас?

— Должен быть у Калинника у третьего брода.

— Он поспеет еще к самому делу.

— Ты не боишься?

— Чего?

Даша быстро взметнула черные брови; на лице ее было горькое счастье.

— Да, — заговорила она о другом, будто только что вспомнив: — я ударила, да; но вот тебе на прощанье та же рука. Все будет сделано.

— Значит, мы вместе опять? — осторожно спросил Хохолок.

— Но я ни в чем, нет, я ни в чем не уступила тебе.

Надо было кончать. Хохолок пожал ее руку, рука снова была холодна.

— Я за тобой через десять минут.

— Хорошо.

Он, обернувшись, глядел, как Даша пошла по уступам. Легкий шаг ее был невесом. Платье в полоску — желтое, черное — из-за решетки жаркий огонь, низкое солнце било ей вслед. И опять была Даша — выше чем в человеческий рост.

О, буйная ночь, богатая ночь — была впереди!

VI

И, однако, был еще вечер; и была тишина.

То самое низкое солнце, в котором, играючи, утром выкупал шашку свою Хохолок, опять было близко к земле. Жилким, стру-

ящимся золотом стекали с откоса лучи; земля обнажилась, и серая глина, чуть розовеющая, напоминала асфальт или аспид. «Грифельная доска» — нечаянно подумалось Хохолку, и внезапно откуда-то хлынуло детство. Зачем? — почему? Он не отдавал себе отчета, но как если б прохладные воды забили из-под земли, и зароились со дна, крутясь и крутясь, золотые песчинки. Этот поток омывал, холодил, как бы приуготовляя... к чему?

Как если бы жизнь и впрямь переломилась, и важное стало неважным, а для единственно важного не было слов.

Его настоящее как бы склонилось над этим мелькающим золотом дней и, склонившись, гляделось в истоки. Дарья и Дарии Гистасп из Виноградова... Эти походы и усмиренье восстаний, коварство; империи рушатся и вновь возникают; детство, костер; Даша-подросток, почти уже девушка, но короткое все еще платье, и загорелые длинные ноги... скачет через огонь; упала, и он подхватил, и быстро, обжегшись, поцеловал. Никогда этого не было раньше, и никогда не повторялось: совались носами в щеку друг другу — утром и вечером. И вот — мальчишка еще — война и крушение. И снова — походы... недостижимость — коварство. И... и ночь, как гора, как холм на пути, через который нынче еще надлежит перевалить. А там... там откроются [illegible] и горизонт нового царства. Сестра? Что, собственно, значит — сестра? Императоры древности предрассудков не знали. Способного он собственноручно убьет, если тот коснется хоть пальцем. Убьет и Георгия. Так надлежит, да.

У него слегка поплыло в голове. Как-то мешалось: и детство и настоящее, и давние войны, империи, и будущих дней — горизонты.

Он вытянул шашку. Не грифель — скала: она для него будет не грифельной — мемориальной доской. Так ныне история впишет клинком свою надпись.

И все же по-детски — склонился он к глине. Ночь перелома непросто есть ночь, а история, дата.

Но серая глина была не мягка, она только казалась такою в зыбком потоке желтых лучей; шашка царапала, а не писала. Он нажал посильней, под острием — глина ломалась и осыпалась. Тогда молодой человек, играючи — легкость его охватила — кинул шашку, не глядя, через себя, и выхватил синий чернильный свой карандаш, спутник походов. «Пусть пока будет так, позже — здесь памятник». Он наклонился и начал писать.

«Сегодня лома...»

И, между тем, думал:

«Мальчишество... Шашка могла бы сломаться. Но я звука не слышал: упала на мягкое».

И продолжал:

«Сегодня ломается»...

Солнце коснулось земли. И тишина, все время стоявшая, как бы отдельность, или именно даже, пожалуй, сидевшая — безмолвно, невидимо, как изваяние — тишина эта двинулась с места. Или, быть мо

жет, иначе: солнце — солнце коснулось земли; кончился день, и поплыла тишина, полная звуков, неслышимых уху...

Товарищ из Тулы встал из-за выступа, где он сидел эти тридцать минут, не тронувшись с места, не шевельнувшись. Ступая, как кошка, он вышел и остановился, следя, как молодой человек чертил свою запись. Лицо его было как камень, глаза — как всегда — выражение их неизменно. И однако же, точно, как механизм, работающий в доли секунды, он вытянул руку и ловко схватил мелькнувшую в воздухе шашку.

«Сегодня ломается жизн...»

Мягкого знака рука не дочертила. И свистящая линия той самой шашки что утром, играючи, он выкупал в солнце; — свистящая линия из той тишины, исполненной звуков, в царство которой в [illegible] пал; — свистящая линия эта, как синяя молния из безгромного неба, рассекла его полушария, и солнце, светившее им, сердце в груди — остановилось.

Товарищ из Тулы коротким рывком перевернул его на себя: быть может, хотел он увидеть лицо, но лица уже не было.

VII

В воздухе таял еще желтоватый дымок от полусолнца, пурпурным горбом косо взрывавшего плоскую землю, а уже синий покров, холодноватый, сплошной, падал на траву, на степь. И огромная Дашина тень, шагавшая рядом, незаметно, покорствуя, легко растворилась в общей, одной синеве. И как падает тень на лицо человека, когда он глубоко задумался, так и вечерняя та синева как бы проступала непроизвольно из самых глубин захолодавшей земли, принимая в себя и покрывая собою все отдельные тени. Так и спешившая Даша невольно замедлила шаг.

Странная вещь: при этом она как бы настигла — себя самое. Настигла и увидала, что думала не о Георгии, не о Хохолке, не о [illegible]чении, принятом ею, ответственном, важном; думы ее оказались — матери. Точно она увидала их бег, как они думались непроизвольно, сами собой, и на бегу, одна за другой, ни локотком не зацепляли сознания... И в самой дали, как с вершины горы бывают видны человечки где-то на горизонте: мамино детство — угадываемое.

Мамино детство! — княжеский дом, львы у подъезда, ливрея, [illegible]рета с гербом и родословное дерево, запахи пудры, духов [illegible] гретого воска (лощеный паркет) — и в лощеном паркете отображения золотом шитых мундиров; и ночь, наконец: «Колоко [illegible] под пуховою примятой подушкой, в углу тюфячок, брошен[illegible] ночь: чтобы было потверже, чтобы быть ближе к отцу [illegible] очень скупо всегда: холодное, редкое слово, и, между теми ск[illegible] словами, одно — ледяное почти, почти погребальное [illegible] Сибирь.

И вот не ребенок, и не подросток уже, — визиты и [illegible] чти что «на выданьи». И в благородном собрании бал [illegible]

генерал-губернатор и чьи-то душистые бакены над узкой, в голубых жилках, рукой. Даша помнит девичий портрет: очертания, нежность, воздушность, и из легкого газа, воздушнее, чем газ, приоткрытая невинная грудь. Ниже — цветок, чайная роза, но и она дышит живой и волнующей прелести полузатаенного вздоха, дыханья. И снова — холодный паркет и луна; дома. Затихло и отшумело веселье бала. Босыми ногами к окну. И подоконник, с ногами. Белеют коленки, рубашка; крестик на тонкой цепочке. И колечки золотые мелко изогнутые, как цепкие быстрые мысли, муравьиными лапками — одна за другой... Боже мой, это девичество, юность! — холод и жар одновременно, колко, остро, изморозь благоухание. И разве лишь в лунных лучах магически все замирает — благодовольчество! — о, необъятно! И еще по-иному, таинственно, как эта молочная, осеребренная ночь за окном — эта ложбина незнаков: да, декабристы!

И это все — Дашина мать.

Даша не знает всего, но больше чем знает — знает через себя, через тот электрический ток, что в поколениях — из рода в род — как дрожь муравьиных неразделимых лапок.

И, однако же, нет, не в Сибирь, не к концу, не как «Русские Женщины», тысячекратно оплаканные... Вышло иначе.

Как вышло и что? Казалось бы, в книже должно быть ясней. Но что-то и нет ни яркого света, ни кружевных занавесок, ни паркетных зеркал. События тонут во мраке. Уход и побег — от ливрей, от орденов, от гербов. Подпольные, работа, листовки, запах гектографа медленно тлеющего на горячем стекле абажура из газетной бумаги. Тут была верно и встреча — случай? — судьба? — в существе своем это одно. Как если б в пещере: строго, темно. И, однако же, эта пещера — тайная родина Даши. У нее сохранилось только одно воспоминание: тень, огромная, скачущая, изорванная — на изорванных [illegible] обоях, и под этою тенью, в спешной укладке [illegible] во мраке — блеснут и исчезнут — быстрые белые руки и темная волос коса. Бегство опять. Ночью, тайком. Что-то, должно быть, произошло: мать никогда не говорила. И мать никогда не показывала. Уже после смерти ее, вовсе недавно, Даша нашла эту карточку — «семейная группа!»

Карточка бледная, явно любительская. О, это уже не та, и не оранжерейная мягкость, воздушность, что любовалась на чайную розу!.. Но как по-иному прекрасна она — Дашина мать! Вот она же, но только еще утонченней, острее быть может, чеканней — глубинный — аристократизм. (Даша отчетливо знает: средние классы, буржуазия — рыхлая помесь пороков и выправленных снизу, слизываемых подобострастно с верхушек. Аристократ же, если и хам — есть подлинный брат тем драгоценным камням, что сияют из глубине первозданных пластов. Для Даши тому доказательство — живые примеры!) О, как у Даши забилось в это мгновение сердце! Будто бы видит живую: черное платье, чуть-чуть мерцает белый у шеи воротничок; скромнее нельзя. И тонкие крепкие паль-

ны, в покое они, но ежели к ним прикоснуться — острая, колкая искра, удар. И будто стоит у скалы, и взгляд ее видит — за горизонт. И эта скала... он не высок, но — как монолит, крепкие скулы, сжатые челюсти, коротким рывком застывший пробор и прямые («да, да... прямая — кратчайшее расстояние»...) — прямые, стальные глаза, без выражения? — нет, но как если б всегда с одним выражением. Это... отец?.. И вот на полу — Даша сама. Не мячик, не кукла, а случилось так странно, что в последнюю, видно, секунду увидела нож под столом, и между ножек стола потянулась ручонкой — к ножу.

Дашу всегда, как глядела на карточку, эта подробность — смущала ли? — нет, но чаровала и завораживала. В этой, казалось, нелепости была своя дикая логика. Кусочек бумаги, и у подножия взрослых малый ребенок — пухлым калачиком согнуты ножки — пухлою ручкою тянется к узкой полоске, к тусклому мерцанию лезвия. Годы проходят, зимы и весны — и какие все зимы и весны! — ребенок возрос, вот он стоит в центре неподвижного круга, вот широкий его горизонт — родная земля, вот за решеткой пылает горячее рыжее пламя, но неизменно на крохотном, крохотном лоскутке хрупкой бумаги калачиком тянется ручка — к ножу.

Даша тут и настигла себя самое. Так не о матери, а об отце?

И только одно еще краткое облачко, запоздавшее и одинокое, но верно необходимое (как все в этом мире случайное — необходимо) — опутало Дашу: зима; и — возвращение деда.

Точно в купели воспоминаний: жестокий декабрь, баррикады, Москва. Москва почернела, рычала. Даша в халатике, туфлях (красная лайка и оторочены мехом) — так подбегала к окну. Морозные льдинки впивались в виски. Сердце стучало. Из коридора, слышно, трещат в печке дрова. И за морозным стеклом трещит пулемет. И понятно, и жутко, а радость меж тем, вдвойне непонятная — как зайчик в груди. Может быть, так по весне веселится юная почка на старом, тяжелом, много видавшем бури и вьюг коренастом дубу, так веселится, играя, она — поздняя поросль — и на дубу обреченном.

Под вечер пришел человек. Он был в полушубке и валенках, в сосульках седые усы, и брови заиндевели. Пришел он пешком, и можно подумать — пришел он пешком — из самой Сибири. В доме смятение. Было смятение и без того, но это металась Москва широкая, многообъемная, теперь же упал ледяной аэролит — между княжеских львов и ливрей — в самый княжеский дом. Дашина мать всплеснула руками, и крик ее не был похож ни на что: не человек и не птица, не ветер, может быть, крик, как если б ударом ножа перерезали мир. Даша всем существом поняла: у мамы — отец! Сначала она совсем испугалась, во рту стало горько и закололо в глазах, и только потом, уже много спустя, но часто зато и настойчиво добивалась от матери Даша: «Мама, а папочка — мой? Где же мой папочка?» Мать ничего не отвечала.

Что же? — как если б очная ставка.

Ветер и степь. И Даша — одна. — И вдруг загорелую Дашину шею, как если бы туго веревкой, внезапно окинутой (почти заскрипело), круто и властно — повели, повели... и, обернувшись, увидела Даша на неподвижном палевом небе, на гребне холма — темный массив. Человек этот был невысок, но он был — как монолит. Отведенной рукой он держал перед глазами как козырьком, и глядел — перед собой. Даша не знала его и ничего не поняла, только тугие удары забили в груди.

Вдруг из земли, подобная суслику, выскочила и начала вырастать — еще небольшая головка, фигурка. Вот она вытянулась, и по общему очерку, по длинной заплате, полуоторванной и затрепавшейся на минуту над узким плечом (ветер с гребня), — Даша все отгадала: тот самый мальчонка, что нынешней ночью... из пастушат... Но с кем же он там? — и почему... да, да и здесь он принимал приказания... Вот мотнул головой, и опять, как бы в норку, стал уходить в толщу холма. Даша, прищурясь, глядела. Зоркий глаз ее различал, что ушел он, однако, не в землю. По теневому откосу холма почти ощутимо сползала, как неспешно текут ледники в снежных горах, густая и влажная мгла, и среди медленной той густоты едва отличимою струйкой — по трещинам и по зигзагам, боковою тропинкою быстро скользил пастушонок. Куда?

Даша подумала и рассчитала: немного направо, и она его путь — пересечет. Надо узнать, все надо знать и учесть.

Когда она сделала наискось несколько быстрых шагов и обернулась к холму, чистою линией он рисовался на гаснущем небе, две-три былинки полыни дымились как бы опушенные светом, они были похожи на тонкие свечи перед мерцающим золотом иконостаса: две сиротливых свечи у изголовья покойника. Возникший гигант (он был не высок, но он был гигантом) — бесследно исчез.

Возник как видение, и как призрак исчез.

Даша еще ускорила шаг.

VIII

События вечера, ночи были несложны в своих очертаниях, кратки; густо теснились они в две-три минуты, но и в промежутках между событиями напряженно текла крутая река. Даша все время была меж теснин, и фарватер души ее мучительно был изломан, остер.

Товарищ из Тулы работал спокойно, отчетливо. Он приказал пастушонку — Даше отнюдь не перечить в ее приказаниях, то есть отправиться навстречу к Георгию. Но только он должен его не торопить, а, напротив того, задержать — неподалеку, в условленном месте. Ночью — вступление в Лох, и ночью же этот отряд партизан — ликвидировать. Бить надо — в розницу. Дальше? Взрывы на складах. Сигнал. Короткий удар противнику в тыл и общий прорыв по бокам укреплений. Все было точно условлено. Этой ночью там ждут.

Даша? Как будто бы она заинтересовала его. Как будто какие-то где-то — когда уже все будет завершено — ждут ее четверть часа разговора.

Товарищ из Тулы видел, как девушка тронулась наперерез пастушонку. Улыбнулся ли он? Этого, кажется нам, никто еще никогда не видал, но было движение губ, которое, видимо, заменяло улыбку. Спокойною, ровной походкой подошел он к отряду Способного.

Приказанья его были кратки и ясны. Выступленье и в Старом Лоху было детально обдумано. Способный с отрядом должен был выступить в определенный момент и занять определенные пункты. Хотя Хохолок и не передоверял сестре своего очевидного плана задержать у Дубровника команду Способного, но она это знала, и товарищ из Тулы предупредил о возможном выступлении Даши: Хохолок не появится, а если и будет приказ от его имени, приказа не слушать. Способный, услышав о девушке, весь загорелся внутри («красавчик-то наш успел уже снюхаться!..»), но он знал хорошо, что товарищ из Тулы этих шуток не любит, и ничего не проявил и не показал. Только оставшись один, распустил свои толстые губы и приготовился ждать.

Даша меж тем изловила своего паренька. Пастушонок был длинный, рябой, сухопарый. Кафтанишка его на плечах и на рукавах болтался клоками, и в сумерках вечера весь он походил на худую, полуощипанную птицу, но взгляд небольших карих глазенок хранил еще дерзость полетов и замыслов.

— С кем ты там был?

— Это из наших.

— Кто он такой?

— Как видно, начальник. Он там с господином распорядился.

— Распорядился?

— Услал.

— Так что он сюда не придет?

— Нет, не придет.

Пастушонок на Дашу взглянул исподлобья. Что-то мелькнуло в глазах, чего она не поняла. Даша задумалась. Ей Хохолок ничего не говорил, что у него есть сообщник, товарищ. Это ее озадачило. Но тотчас же подумала со скрытой усмешкой: «это затем не сказал, что он, видимо, старше его; он хочет все сам, он хочет, чтобы так думали, чтобы так думала я». Пастушонок тем временем, из осторожности, погасил огоньки своих глаз.

— Он мне приказал вас отыскать, может, что надо.

— Кто приказал? Кто это — он?

— Начальник сказал.

Даша еще немного подумала и передала о Георгии Зимове, она не писала, пастушонок толково ей все повторил. Она доверяла ему, да и поручение нынешней ночи он выполнил в точности. Осталось одно: ничего о Способном. Все это взял на себя Хохолок. Но Хохолка отослали куда-то. Куда? Она ничего не спросила — не

ней привычке: лишнего не говорить, не распространяться. Это она сама про себя, должна все обдумать, решить.

Оставшись одна, Даша помедлила. Быстро темнело вокруг. Теплый закат внезапно упал за холмы; зеленоватые, острые полосы резали тучи; тревога была в их изломанном почерке. Легкий озноб пробежал по спине. Крик ее матери, как если бы резали небо: это вернулся отец. И тянется пухлая ручка ребенка к узкому мерцанию лезвия: это уже Даша сама. И где-то, на хрупком листке запечатленное, бытийствует это видение прошлого. Что оно значит?

Даша круто свела захолодевшие плечи и широко их расправила. Прочь! Энергично она переплела и хрустнула пальцами.

Непостижимая слабость настигла ее; тонкими иглами, как в лихорадке, кололо в сознании. Как если бы в этой степи внезапно из тьмы закружилась над нею хищная стая неведомых птиц: они налетают, клюют и взвиваются; и снова клюют. И Даша от них беззащитна, обнажена. И это, когда на счету — минуты, шаги и слова. Прочь! Прочь!

Высоко она взмахнула руками и почти побежала вперед.

Там, вдалеке, темным [illegible] уже обозначилась башня Дубровника и очертания [illegible] заброшенной. Низко густел и оседал, сплошною одной [illegible] массой, затаившийся сад. Налево, в лощине должна быть команда Способного. Что ежели он уже двинулся? О чем она думала? Что еще надо было решать? Она уведет их в поместье.

Но Даша не опоздала: до срока еще оставалось около часа.

— Кто здесь Способный? — спросила она, выступая из тьмы.

— Ась? — отозвался ей как бы дурашливый голос. — Это, товарищ, самый Способный и есть; то есть мы.

Даша ему коротко, сухо передала приказание.

«Наконец-то пришла», — с голодною яростью думал он, слушая фальшивый приказ. — «Какого там черта разбирать по начальству! В этих делах и начальство нам не указ. А баба есть баба». И так же резко и дерзко, как были резки и, в сущности, дерзки слова этой девушки, он дернул внезапно ее за плечо.

Даша качнулась, и вот — как первый глоток сладострастия, горький и обжигающий, сладостный перец, два острия мягким уколом с разлету коснулись его широкой груди. И с бурливой, порывистой спешностью, в ответ на укол, возникли двойные круги: пересекаясь и перехлыстывая, охватили они и гребнями вздыбили густую его и напряженную кровь. В лицо его резво пахнул ветерок; он был пахуч и истомен. Это Дашина кожа благоухала: дикая смесь полыни, цветов и загара — дикая степь.

Ноздри его задрожали, и привычною, жаркою хваткой он опустил свою жадную лапу на эту круглую и нежную грудь: первое яство, которого жаждали руки, ладонь, а через них и вся его жадная плоть — в яром оскале одна огромная пасть.

Способный был силен и крепок, но и он зашатался от страсти; однако не меньше был крепок и Дашин удар, и он от него едва не

упал. У нее захолонуло в груди, и вся ее жизнь на мгновение, вся суть и весь смысл бытия, ушли в ее сжатые, круто сплетенные пальцы; они отвечали за все, на них была ставка. И они за себя постоят.

Ошеломленный, смятенный, найдя наконец под ногами твердую землю, он походил (так мы издали скажем) на дно океана, столь же смятенное и ошеломленное столь же — солнечным светом и ветром от берегов, внезапною сушью. Воды ушли далеко, ибо, физически на два шага отскочив, он смят и откинут был весь — в смутную, сизую даль; он был истреблен; его на секунды — просто тут не было. Но с какой же грызущею яростью ринется снова в шуме и грохоте, в пене, остервенелый, возвратный напор!

И однако же, в эти секунды запинки произошло нечто еще — превосходившее страсть; и превзошедшее гнев; и предотвратившее этот потоп — вновь очертившее берег: границу стихии.

В краткие эти секунды *личное* Дашино и Даша *во вне*. Дашино дело — спаялись в одно. Творческий акт; организующий акт. Когда человек единственно в полной силе своей (тут уже скажем открыто: когда он творец; когда он паяльщик, формовщик; когда он седлает стихию — в себе и вокруг; когда непременность единственной формы пронзительно ясна для сознания, и одновременно осуществляется им как Господином — тогда для него преображается время: секунды — всегда их достаточно; это — огромно; секунды — обширный и емкий плацдарм, где возникает в законченной, четкой постройке, и возникает *реально*, все то, на что нужны годы и дни, иногда и столетия — в нашем медлительном, в *бытовом* нашем времени: *времени на тормозах*.

— Холоп ты! — сказала она и... засмеялась.

Найдена форма и вычерчен план.

Это было почище удара в лицо. Вот, не угодно ли, четкая грань! И тотчас же за этим смешок, и в нем... почти обещание: и на почти, а даже наверное. Вот и пойми этих баб, да еще из благородных! Но только игра — стоила свеч. И сразу — эта игра стала рядом, не уступая другому, также достаточно крепкому: служба и бой. Дисциплина; не шутка. И нельзя поручить во мгновение ока. Это не ягода: сорвал — и готово! И не просто: подмять! И оттого (ибо б... угадано) Даша игру повела уверенной, твердой рукой.

Было две Даши: одна знала все и видела будущее, ей верно... дить легко: ясно, уверенно; Даша другая была для игры, исполнитель. И так как она, эта вторая, была неотделима от первой, и игра шла без малейшей нечеткости, больше того: она была неотличима от правды.

— Мне велено здесь оставаться, и через час я выступаю.

— Да, через час, это верно, — ответила Даша, соображая, что на Хохолка, видимо, было ссылаться нельзя; как хорошо, что... помянула его.

— Мне приказали, чтобы... никаких изменений. И даже не... слушать.

«Он, стало быть, пойман, изобличен. А тот... на горе, а пасух – неужели предательство?» Но она отвечала спокойно:

– Я это знаю. Но у меня более поздние сведения. У вас есть изменник. Его изобличили...

«Ужли ж Хохолок?» – подумал Способный; это движенье в глазах Даша быстро учла. Она продолжала:

– Да, да... Но опасность осталась. И вам приказали...

– Да кто?

– Товарищ. Он мне не сказал свое имя.

– Товарищ из Тулы...– привычно добавил Способный.

– Ну, да. И вы должны этот час переждать в самом замке в Дубровнике.

Способный еще колебался, но послушная Даша вторая внезапно мигнула глазком.

– А то видишь, что вздумал,– сказал она,– на людях, на воздухе... Ты как медведь.

И это решило. Великий соблазн: «да, приказание, и я его исполняю. И не все ли равно, где пробыть этот час? Именье под боком, а девка... лукавая девка, да и огонь!» И он почувствовал снова, как ему горячо.

IX

Замок Дубровник, осколок польско-казацких давних боев. Сорок комнат – в два этажа; крепкая круглая башня с витою, уступами, каменной лестницей. У подножия башни темные груды: старая шахта. Здесь даже и днем – дико, черно. Унылый провал, острые грани и ребра дикого камня; каменный уголь – режущий глаз; и – ни травинки.

А там, позади сорока этих комнат, очищенных дочиста, пустых и унылых сараев, в разбитые окна шумит вековой дедовский парк. Он давно потерял свой уют, свой старо-панские чары. Он изуродован: рубкой, снарядами и озорством. Осколки от статуй в лунную ночь белеют как кости. Ветер свистит по диким прогалинам. Но и все же шумят еще дико-дремучие уцелевшие кроны. Но и все еще издали, или во тьме, на темных своих, неповрежденных корнях колышется он слитной, тяжелою массой.

На северо-запад, над самою шахтой, хранимая чудом, высится башня, сторожевой великан. Наружные стены ее изъедены временем: мох и лишайник внизу, выше, на крутлых боках – седая полынь с горбатым изгибом стеблей, с трудом отличимых от корня, изредка цепкий, сухой кустик ромашки, кажется – возрасту им не короткое лето, а мерить столетиями: ровесницы башни, закостеневшее время.

Даша стоит наверху у окна; там ее комната, камера. Жесткий тюфяк, табурет; несколько книг на столе, фотография, лампа. Даша глядит в темноту: черный, буграми отвес; зарытое, черное дно. Даша стоит неподвижно. Сколько ей лет?

Когда она здесь и когда недвижимым столбом над землей ночь утверждает господство свое, время тогда переплетено круто, как отдельные волокна в тяжком канате, и нитей — в отдельности — не существует. Отдельность и «я» — бред, метафизика. Когда-то под солнцем, под ветром упруго тянулся и колыхался живой стебелек: детство и юность девочки Даши, но это не больше как сон. И больше такая — она не нужна. Она — волокно в крепком жгуте: время спрессовано. Тысячи нитей, раздельности нет; тысячи жизней спрессованы в ней. И когда так стоит в молчании ночи, наверху у окна у себя, подобная статуе — также она неотделима от башни.

И нескрыто от Даши тогда — не только земля и то, что поверх, но и то, что под землей. С детства холодная жуть и холодный восторг заставляли ее трепетать, когда она опускалась в подвалы. Их было много, и собою они напоминали гробы. Массивные цепи в массивных камнях, холодные плиты, безмолвие, мрак.

Даша стояла и видела: толпы людей, гложущих камни — попеременно: казацкая вольница, гордая шляхта. И те, что сидели сейчас и выли, должно быть, — как если б сам ветер попал в заточенье. Сколько прошло?

Может быть, полчаса. Даша была как колдунья, волшебница, как чаровница. Ловко она заманила врагов, и заманила Способного. Все трепетало на ниточке, но — ниточка к ниточке, и тончайшая ткань, хитрейшая сеть — сплетена. И буйный улов — запечатлен, запечатан. Давно ли?

Может быть, четверть часа.

Немо, пустынно, как если бы не было ни единой живой души на десять верст. Засов — исполинский, стены глухие — четыре аршина стена.

И Даша спокойна. Если бы девушке в ней и надлежит трепетать, то статуе в башне, напротив, приличествует — строгий покой.

Изумительно то — какое богатство свободного времени! Некуда деть. Можно его израсходовать — спокойно, неспешно. Ступени не гнутся и не скрипят. Холоден камень; камень изучен; не надо огня.

Даша спустилась и перед камерой во втором этаже постучала.

— Дарья?

Да, я.

— Можешь войти

На старике была шапочка. Мягким венчиком выска[illegible] и завивались белые кудерки; подернуты были они зеленоватым отливом.

Это не был колдун и не был святой. Скорее — алхимик [illegible] Призрачный и пристальный взгляд: пробирки, реторты [illegible] тигель и горн; зеленоватое пламя медного окисла. В Сибири [illegible] гном — между руд и пластов, где в начале времен залегали [illegible] рылись потоком долины, как капелька ртути сам подвиж[illegible] и весомый — там он нашел эту страсть к ископаемым, и [illegible] эту строгую пристальность. И на квадратных аршинах [illegible] жил между горных твердынь, нося под своей слегка [illegible]

[illegible] без единой морщинки, — свой мир; мир первобытного лома и первобытного строя.

— Что тебе надо?

Она не ответила сразу.

— Вам тут не холодно? — спросила она.

— Нет. Но зачем ты пришла?

— Кто мой отец?

Он положил на плитку щипцы и пододвинул ей табурет. Даша не села.

— И кто моя мать?

— Это ты знаешь.

— Нет, я не знаю. И почему они разошлись?

— Дарья, ты знаешь, что нет элементов — ни родных, ни чужих... Каждый есть сам по себе, и каждый с другими можно спаять.

— Не понимаю и не хочу понимать. Почему — они — разошлись?

— Старая химия знает и совершенно уединенные элементы, и очень легко сходящиеся. [illegible] роман, где вопрос о браке и о любви разрешается так: [illegible] основание и есть кислота — соединение, соль. Но вот кислота [illegible] крепкая, и основание изменяет, соединяется с более крепкой [illegible] слабая — улетучивается и одиноко грустит.

— Потому они и разошлись. И отец — изменил?

Она говорила враждебно; он сухо.

— Нет, это старая химия. Я же думаю, что нет совершенно уединенного и нет элементов, которых нельзя бы было спаять. Все дело в условиях — в температуре, давлении...

Даша присела, она кинула руки к себе на колени. Так они полежали спокойно. Потом шевельнула — сначала полусогнутой кистью, слабо, неопределенно, как бы что схватывая, но не держа, отпуская тотчас, потом тронула воздух рукой, повела ею к деду.

— Дедушка, — тихо и мягко сказала она, — мне тяжело, и я с вами как маленькая. Мама моя умерла, отца я не знаю.

Он не шевелился.

— И мне... трудно мне... И хочется правды...

— Да... да... моя девочка, — пробормотал он невнятно. — И все-таки так: линии их пересеклись, если глядеть только сверху, но начертаны были они на разных листках, в разных пластах. И на листки дунул ветер — и разметал. А при давлении можно бы и спрессовать. Это война разделила и разметала.

— Какая война? — слабо промолвила Даша.

— Война... ты не помнишь. Японская. Твоя мать была за войну, за Россию...

— Конечно! — воскликнула Даша, вся загоревшись.

— А он был...

— Кто бы он ни был, я ненавижу его!

Помолчав, Даша сказала еще:

— Я люблю мою мать, и я никогда ей не изменю.

— У вас одно сердце. Я знаю. Камни и души — это не так далеко. Я ими бренчу, — старик захватил горсточку острых, скупо блестевших камней, — да, вот бренчу, а думаю я... думаю я... о сердцах и о людях. И я хотел бы знать сердце того, кто — твой отец.

Даша вскочила; ей было трудно сидеть.

— Если оно только мне попадется...

Старик был задумчив; он, кажется, вовсе не слушал ее. Он продолжал говорить, и Даша сдержалась, приостановилась.

— Потому это сердце хотел бы исследовать, что это сердце подземного мира, который задумал — быть наверху. Там, видишь ли, многое иначе... на глубине.

Даша дрожала, ее охватило какое-то бешенство. Не помня себя, она закричала:

— Да! Да! И я вырву его и кину в ваш горн! Исследуйте! Сделайте милость!

X

Волшебно все было иное. Красным щитом над степью встал месяц. Дымно, покорно, узорчато-тканная — стлалась живая и легкая степь. Она была странно жива — без движения, звука, без самомалейшего шороха.

Тучи свалили на запад. Месяц их гнал перед собою. Темный небесный ковер усыпан был звездами.

Прохладная высь; заворожила тишь.

И невозможно было душе — открыто крылами плескать и неистовствовать. Еще и еще — собрать в одну точку, дабы уплотнить, увидеть, ощупать. Последний нажим, усилие воли, острого зрения... — не ускользай, погоди, я хочу видеть самую суть — первую каплю, исток — да, я хочу осязать — зерно бытия, тайный кристалл.

Вот, вот... или нет, ускользает... Выпустить их, тех, что в подвале? Где Хохолок? Все это жизни... Губится жизнь...

Впрочем, Даша словами не думала. Она отошла, оставила слово. Мысли ее были нагие, за словом или до слова. Слова, как обрывки одежд, не хранили уже ни очертаний того, что недавно еще они облекали, и ни тепла, и ни трепета. Немая душа, немая — она И она в этой буре уже не плескала крылами, не возмущала просторной, надмировой тишины, где в ясном безмолвии шествовал по небу месяц. Это безгромное небо, полное бурь, неощутимых для слуха, и раскаленное молниями, для глаза невидимыми, и жары которых не ощутит самая нежная кожа. Космос грохочет и нем, стремится, летит — и недвижим; сгорает и не сгорает.

Даша меж тем продвигалась в степи. Она подошла и заглянула с полухолма в котловину. Все было там под месяцем призрачно ло похоже на лунный пейзаж. Такою земля отойдет в свои и в свой срок — обезвоздушенная, заледеневшая. Как это стра тогда — будет все в прошлом, но образ того, что само по себе только прошлое, почему же он — в будущем? Или это Даша

огрызалась и глядит — немыми глазами — с голой вершины — на прошлую землю?

Падали капли, струи звенели — остро, стеклянно; темный предмет был распят у подножия. И едва только звуки тронули слух, и глаза едва различили серо-седой в лунных лучах, неподвижный предмет, Даша из космоса — крылья ее онемели, свернулись, — из космоса пала на землю. Пространство и время. Русская степь. Где ж Хохолок? Она оставила его тут.

Даша стала спускаться. Скользила трава, и по траве скользили подошвы. Она ухватилась рукой за колючий татарник, но мгновенную боль едва ощутила. Глаза ее были прикованы. И скользя, поворачиваясь, не отводила она от седого бугра своих глаз.

И вот Даша в овраге, на дне. И перед нею — как государственный столб — как государственный герб: двухглавый орел.

Он был похож: галифе, оттопырившись, были как лапки; прядь пополам, лицо пополам, по одному незакрытому глазу: двухглавый орел.

Даша качнулась, не устояла. Завороженная, плыла тишина, время звенело и билось в ушах, как в паутину попавшая муха. Вот она — грань. Вот — государственный герб. Даша с трудом отвела глаза. Все было мутно и сизо в лунном свете. Непроизвольно она подняла глаза к месяцу. Он был [illegible] холмом; темным холмом немая земля вздыбилась в небо. Даша [illegible] повела головой. Навстречу ей быстро летела звезда. Летела и не падала. В колючем сиянии — как бы она занесла — руку над миром

Даша опять опустила глаза, [illegible] поглядела, и, как сомнамбула, двинулась прочь.

XI

Это было случайностью: товарищ из Тулы не гнался ни за эстетикой, ни за символикой. Это было движение пальца, скинувшего со счета костяшку.

Он это сделал спокойно, ибо так н а д о. И даже не он это сделал, а сделало дело само — через него. Личных, своих, индивидуальных поступков — делать ему не было надобности. Личное было неважным и безразличным, случайным.

Был Хохолок им убит. Ну и что же? Так надо, и точка. Был человек и нет человека: в порядке вещей. Был ли здесь грех? — «А что это грех?» Надо ли вспомнить про бога? — «А кто это бог?» Глупо, бездарно. Эти вопросы — как если б в ушах зазвенело, не больше. Грех, бог, человек — это не думы; а человечество — да, и пути его — да; это то, что превыше небес и первее стихий.

Товарищ из Тулы был раздражен. Участь Способного была решена: костяшку со счетов! Но надобно было извлечь остальных. Время текло. Поручить никому было нельзя. Он крепко шагал по степи, похожий на танк: дорога везде. У самых ворот столкнулся он с Дашей. Он крепко, клещами, схватил ее руку:

— Где мои люди?

— Я их увела. И заперла.

— Ты выпустишь их.

Он вынул револьвер; она засмеялась. Было бесцельно стрелять.

— Пойдем, я их выпущу... Руку пусти!

Он отпустил ее руку, Даша пошла. Товарищ из Тулы за ней.

Глухо по каменным плитам двора раздавались шаги — такт в такт. У самых дверей Даша остановилась.

— Ключ наверху. Я принесу.

Они глядели теперь зрачок в зрачок, и — как если бы сабля билась о встречную саблю.

— Или как хочешь. Хочешь — пойдем!

И она повернулась, пошла.

На лестнице глухо догнал ее каменный шаг. Товарищ из Тулы шел следом. Оба они вошли в ее комнату.

— Здесь.

Лампы она не тушила. Убогая комната, похожая очень на камеру в одиночной тюрьме, была неприветна; холодные стены веяли смертью. Даша остановилась у двери; обе руки скрестила она позади. Минута молчания.

— Тебе надо ключ,— сказала она наконец.— Он у окна.

И подошла к окну.

Но подойдя к окну, она вскинула руку; через немного долгих секунд внизу что-то звякнуло. Глухо. Как если бы в отдалении щелкнул курок.

— Я дверь заперла,— сказала она почти равнодушно.— А ключ за окном. Можешь теперь пристрелить.

Он что-то обдумывал. Потом оглядел. Мрачные своды. Дубовая дверь. Потрогал, налег, не поддастся.

— Ты любила его? — спросил он, еще немного помедлив и как бы чего-то ища.

— Нет, не любила.

— А ты знаешь меня?

— Нет, я не знаю.

Он помолчал.

— Я убью тебя все-таки.

— Да.

Он подошел к окну: голый отвес, шахта глубоко внизу. Нечего и думать.

— Ты белая?

— Нет.

Он посмотрел на часы на руке.

— Мне надо быть на свободе через десять минут.

Она промолчала.

— Ты меня выпустишь через десять минут.

Он сказал это спокойно, и Даша странно затрепетала. Какая-то сверхчеловеческая воля его давила ее как гора. Невольно метнулось в ...

...ым матрацем веревка. Она забыла о ней, а ведь когда-то припасла ...ля себя. Но — все равно. Она не шевельнула и бровью.

Он держал себя так, как если бы все было договорено. Как если ...ждал поезда, который придет через десять минут. А в ожидании ...станции равнодушно оглядывал голые стены.

Под лампою в полутени в узенькой рамке ждала фотография. Он кинул невидящий взгляд. Лица его Даше не было видно, но она ...здрогнулась, как чуду, увидев внезапный прыжок его пальцев. Это ...лилось, конечно, долю секунды, если только не просто привиде-...сь. Рука протянулась, и он взял фотографию. Даша ждала.

Товарищ из Тулы к ней, наконец, обернулся:

— Кто это здесь? — спросил он ее, избегая на Дашу взглянуть.

— Моя мать.

Он крепче сжал губы.

— А это?

— Я маленькая.

— А зовут тебя?

— Дарья.

Даша себя назвала: губы ее пересохли, и из пересохших, с тру-...м открывавшихся губ это короткое имя слетело как птица — ве-...кая, древняя.

Даша сама так ощутила, и тени под нею заколебались... И вдруг — Даша узнала...

— Отец?

Он отошел и поставил рамку на стол. Он постоял так с минуту, ...пной.

Даше казалось, что кто-то ее вскинул наверх. Как яблоко. Ку-...лу. Страшно. Не страшно. И упала легко, и крепкие руки приняли ...е теплое тельце. Ах, хорошо на руках, на широкой отцовской ла-...ни! Голова ее сладко кружилась, все поплыло... Подкидывай вы-...е! Лови! Лови же, отец!

И комната вовсе не та, и обои, полочка книг, табурет, ножка ...ола... Как если бы в ленту кино вклеили кусочек, перебивающий ...изнь давнею жизнью, и вот он сверкает и ширится... и вот - рокова...ая черта — и опять эта страшная ночь, и тюрьма. Но — не тюрьма!

Даша метнулась, схватила плечо, повернула, и — увидала глаза. ...ие бились уже сабля о саблю в глазах. Мягко лился из них — чело-...еческий свет. Ветка; на ветке листок. И обрызгано солнцем, до-...ждем. О, если бы умереть и унести это мгновение в вечность!..

Никаких разговоров не произошло. Ни излияний, ни споров, ни столкновений. В тесный кружок сбилось немного минуток, им отве-...ренных судьбой. В беспорядке толкались они, эти минутки, заскаки-...вая и забегая одна перед другой. Их руки встречались, встречались ...лаза. И хорошо, что было у них простое, почти что домашнее, жи-...йское дело. Дочь помогала отцу. Сначала отец, потом и она. Уве-...ренно делал он мертвые петли. Веревка была немного каляна, сле-...жалась. Но как хорошо, что длинна! Хватит до самой земли.

Все было сделано ловко и скоро. Он опоясался. Уверенно твердой рукой сам он наладил, как надо спускать. Веревка была перекинута дважды за крюк. Не спешить; отпускать понемногу. Так будет вовсе не трудно сдержать. А потом прикрепить уже наглухо и, по узлам, спуститься самой.

Перевязанный дважды, повис он на высоте тридцати пяти футов. Светлая ночь, с синим отливом в тени, приняла его тело. Спиною он ощущал холодный камень стены.

На сердце спокойно. Не было в нем ни благодарности, ни умиления; все было так, как должно было быть. Снова был ум – занят ближайшим. Пора было действовать. Вдруг...

Веревка остановилась и дрогнула. Этот внезапный толчок как бы его пробудил. И пробудившись, поняв, он ощутил - как сумму всего, как вывод, чертеж, и, одновременно, как всю полноту своего бытия – ощутил: груз и давление мертвых пород и страшный напор противоборства. Сны стали явью. Сам себе точка опоры, он всем существом рванулся вперед, рука деформировалась, темным огнем брызнули пальцы, и волосы на голове, удлиняя черепную коробку, зачертили и самую ночь неудержимым взметом. Все тело его содрогнулось.

Внешне все было в том, что чья-то рука уверенно, твердо, перерезала острым ножом веревку на срубе. Внутренно: вдруг ощутил товарищ из Тулы – полную легкость, свободу, полет. Было это подобно быстрому лету верно нацеленной пули, прошедшей сквозь дуло ружья. Свобода и необходимость стали одно: преодоление.

XII

Не дождавшись начальника, отряд не упел. Отступать – приказания не было; старший из них принял команду. Дремать было некогда. Товарищ из Тулы явно взят в плен.

Бой был короткий – в Старом Лоху. Склады взлетели на воздух. Грянули дальние выстрелы, и началась канонада: сигнал был услышан и понят. Двинулись сразу к имению: там был и товарищ из Тулы, и Способный с отрядом. Освободить их и рипуться в [illegible] произвести замешательство. Узенькой желтою лентой сбоку [illegible] занималась заря. На позициях бой разгорался.

Товарищ из Тулы не сразу, не ими был найден. Способный быстро нашли. Он колотил до ссадин в руках, и до хрипу ругался, [illegible] сов отодвинули. Но в ту же минуту раздались тревожные крики: [illegible] горизонте отряд верховых; дикие всадники мчались в галоп. [illegible] изготовились к встрече.

Это были повстанцы Георгия – «дикие». Пастушонок [illegible] скал, и Георгий поверил. Он задержался, но задержал и [illegible] Когда же тот вздумал бежать, он его пристрелил, и дальше [illegible] свой в карьер.

Даша как в полусне слышала звуки, стрельбу. Лежала она на полу и очнулась от холода; закоченела спина. Долго она ничего не понимала.

Приподнявшись на локте, она повела головой. Ножки стола, валяется нож... «Я не проснулась еще»,— подумала Даша.— «Это ведь я на бумаге... А где же отец?» И как только сказала себе: «где же отец» — сразу все вспомнила. Быстро вскочила она и подбежала к окну. Веревка вилась по подоконнику, как убитое тело змеи. Машинально она взяла ее в руку.

И как только взяла, земной ее разум опять помутился. «В разных пластах... Матери... матери...— нет, не изменю!» И она снова схватила свой нож, совсем как тогда, и описала им полукруг, как бы вскрывая самое небо, как бы срезая на небе звезду: навстречу ей быстро летела звезда; летела и не упадала. Пусть упадет!

Но рука ее слабо поникла, звезды уже не было. Глянула вниз: какого! Солнце слепило глаза. На дворе были лошади, люди, всё в беспорядке. Бой отшумел.

Вдруг между этих людей она различила Георгия. Он еще был на коне. На мгновенье она закрыла глаза, и когда снова открыла, увидела:

На толстом суку корявого вяза висел человек. Руки его тяжело опустились вдоль тела, голова покренилась на грудь. Георгий подъехал к нему и остановился. Его ординарец держался на полголовы позади. Что-то Георгий спросил. Ему отвечали.

И увидела Даша, как вынул Георгий короткую плетку и начал хлестать. От резких коротких ударов висевший покачивался; почти было слышно, как сухо поскрипывал сук: такая средь шума — для Даши была тишина. Даша узнала отца, узнала веревку.

Когда на короткий, режущий крик обернулся Георгий, увидел он девушку: как она никла, и как по желтому платью ее, пересекая черные полосы, хлынула алая кровь; и как из руки слабо выскользнул нож.

Еще до вечера дело на фронте получило развязку. Опять над хутором и над Дубровником прокатилась волна. Товарищ из Тулы был быстро опознан; тело его сняли с вяза с почетом. На груди у него зияла дыра.

И на этот раз деда не тронули. Он теперь оставался один. Он ждал наступления ночи; у него был подарок от внучки; Даша сдержала свое обещание.

Произошло это так.

Как и обычно, ночь он не спал. К боям, к перестрелке он был равнодушен. Он вышел на солнце. Солнце было кроваво, лучи истекали как бы из тысячи ран. На куче из глыб синеватого угля увидел он труп человека ничком; веревка его опоясывала. Он подошел и осторожно перевернул его. По странной случайности, лицо уцелело, он упал грудью на выступающий пик. И из груди там, где сердце,— остро торчал глубоко вонзившийся каменный уголь.

Дед постоял, помолчал. Он многое знал и все теперь понял. Пейзаж был уныл. Даже — в степи не было сусликов. Отдельные люди гонялись между деревьями парка с оружием.

Сердце торчало темной синеющей пикой. Он наклонился и вынул его. На груди зазияла дыра.

Это было еще до того, как труп отыскали другие — повстанцы Георгия — и, опознав, — повесили труп.

Погибла и Даша, старик оставался один — с этим подарком от внучки. Он ждал наступления ночи, уединения. Один на один — с ним оставался этот предмет. Товарищ из Тулы, сердце его, каменный уголь. Подземный Мессия; предмет для размышления — Подземный Мессия.

29 октября 1924 г.
Москва.

РАССКАЗЫ

Сон Сергея Ивановича

Многие жители нашего городка недоумевали, что вдруг сталось с Сергеем Ивановичем и почему он, всегда такой спокойный и разумный, категорически отказался от выгодного места в губернском городе Каменске и легкомысленно поскакал за тридевять земель. Иные серьезно и грустно поговаривали о чистоте и свежести его рассудка, другие с глубокомысленным видом молчали, покачивали головой и думали: «Нет, тут дело не обошлось без какой-нибудь штуки». О правоте этих и многих других мнений судить не берусь, но история, которая случилась с Сергеем Ивановичем, — смею думать, — известна мне лучше, чем кому-либо другому, а потому я считаю своим непременнейшим долгом рассказать, как было дело, соблюдая возможную точность и полное беспристрастие.

I

— Голодающие, голодающие! — ворчал с раздражением Сергей Иванович, шагая по комнате и дымя папиросой. — Что такое голодающие? Бабья выдумка! Делать-то нечего... Черт бы их всех побрал вместе с сестрицей моей любезной! Ну и отдувайся, черт с тобой, и наплевать... Поехала, не утерпела — ну и сиди в грязи и всяческой пакости. Нюхай!..

«Что «нюхай»?» — поймал вдруг сам себя Сергей Иванович и, затруднившись ответить сразу, пробормотал: «Наплевать!» — бросил папиросу в угол и опустился в кресло перед столом, где его ждал недопитый стакан чаю.

Да, Сергей Иванович не мог не волноваться. В его тихую, спокойную жизнь врывалось что-то постороннее, непредвиденное, тормошило его, выбивало из колен. Ах эти голодающие! Сергей Иванович вот уже несколько месяцев как познакомился с ними и отослал даже однажды в редакцию своей газеты три рубля. Это было еще осенью, а потом он привык к ним и равнодушно, с чувством человека, исполнившего свой долг, пробегал черные строчки, неизменно заканчивавшиеся каким-нибудь адресом. Но вот уже две недели, как голодающие опять завладели им.

Две недели тому назад он получил коротенькое письмецо от своей сестры Наташи, учившейся в Каменской гимназии. Она писала, что бросает восьмой класс, «который всегда успеет пройти», и едет помогать голодным и чтобы дорогой Сережа на нее не сердился, но что она «не может, не может больше спокойно читать газеты, слушать ужасные рассказы и зубрить к экзамену педагогику». А накануне Сергей Иванович получил приглашение занять хорошее

место в Каменске, о чем он давно мечтал, чтобы жить вместе с Наташей, которую любил, кажется, больше всего на свете.

Сергею Ивановичу она была единственным близким и родным человеком. Он один выходил и вынянчил ее на своих руках и любил, как дочь. И вот, когда все складывалось так хорошо, эта коротенькая записочка перевернула все вверх дном. И Сергей Иванович возненавидел и корреспонденции о голоде, и тех, кто писал их, и газету, где они печатались, и самих голодных...

II

В комнату вошла кухарка Марина, зажгла лампу и стала убирать самовар. Сергей Иванович сидел молча, понурив голову. Приступ острого раздражения стихал и сменялся приливом необыкновенной нежности к глупой далекой девочке, щемящим сознанием собственного одиночества и той особенной грустью, когда становится так жалко самого себя, а в горле нарастает какой-то большой клубок и трудно становится дышать.

Да, не так думал Сергей Иванович провести Светлый праздник. Его мечты рисовали ему уютную квартирку на одной из лучших улиц Каменска, где они поселятся вдвоем с Наташей. Как это хорошо было бы, и какой действительно светлый был бы праздник!

...Темная, теплая пасхальная ночь. Большой собор убран разноцветными фонариками и горит [illegible] точно гигантская свечка, на глубоком, почти черном фоне ночного неба. На улицах движение, шум, радостные приветствия. И все это сливается с торжественным шумом колоколов... А он, Сергей Иванович, в новом форменном мундире возвращается домой разговляться с Наташей и ее подругой, Лидочкой Ширяевой. Идет и гордится тем, что эта изящная барышня в светлой весенней шляпе его сестра и что она такая славная и хорошая... А перед Лидочкой Сергей Иванович даже робеет. Она такая живая, бойкая, бедовая. И Сергею Ивановичу всегда кажется, что она все смеется над ним, над его неуклюжей фигурой, над его тридцатью пятью годами. Да, он чувствовал себя рядом с ней совсем стариком. А ему так не хотелось этого, ему хотелось бы быть тоже молодым, изящным, привлекательным...

И вот вместо всего этого Сергей Иванович сидит в своей одинокой комнатке в опостылевшем уездном городишке и один-одинешенек готовится встретить великий праздник. Переезд в губернский город он отложил на пасху. Не все ли равно? Спешить некуда и незачем...

Сергей Иванович вздохнул глубоко, полной грудью, точно хотел отделаться от угнетавших его мыслей, и вынул из кармана [illegible] письмо «оттуда». Сергей Иванович чувствовал себя так мучительно одиноким, ему так хотелось выплакать перед кем-нибудь свое одиночество, хоть перед Наташиным письмом...

Марина кончила уборку и ушла из комнаты, все так же молча, как и пришла, и Сергей Иванович остался один. Сначала [illegible]

слышно, как Марина за стеной еще что-то возилась и вздыхала, потом, верно, и она прилегла отдохнуть, и стало так тихо, как бывает в душе человека, успокоенного и умиротворенного после долгих жизненных бурь.

Лампа горела ровным светлым пламенем. Часы тикали грустно и монотонно, словно все понимая и сочувствуя сидевшему за столом человеку; они тикали и говорили: «И нам так же скучно, и мы так же одиноки». А человек сидел не шевелясь и весь ушел в письмо, весь отдался охватившему его настроению. Опять перед его глазами знакомый, милый почерк, длинные черные строчки, в которых Наташа говорит с ним, с дорогим братом Сережей. И вся душа его, изнывшая и изболевшая от тоски и одиночества, жадно устремилась туда, к Наташе, к этим далеким голодным, с которыми так странно и настойчиво переплелась его судьба.

III

«Дорогой, хороший мой Сережа! Как много хочется написать тебе, а времени нет совсем. Не сердись, мой милый, хороший, что я бросила гимназию и потеряла год. Я знаю, как дорого достаются тебе деньги, но если бы ты [illegible] здесь, вошел... Я потеряла бы не год, а неизмеримо больше. [illegible] осталась в своем Каменске. Здесь каждую минуту я чувствую, что живу не даром, я, бессильная, слабая девочка, здесь так нужна. Господи, сколько неподдельного горя и какое терпение, покорность и какая отзывчивость на малейшее внимание к этим несчастным! Дорогой мой Сережа, в эту неделю, что я здесь, я поверила в жизнь, и полюбила ее, и учусь, как жить. Я теперь так далеко-далеко от всего, что там, в гимназии, в городе, и тебе только хочется рассказать все, написать, чтобы ты понял меня, но я не сумею этого сделать, и это мучает меня. А про то, что я здесь вижу, я прямо боюсь писать, это нужно самому видеть...»

— Иди сюда, я тебе покажу моих шиготных... — Это уже говорит сама Наташа и ведет брата за руку по широкой грязной улице.

Сергей Иванович боится спросить, откуда это вдруг взялась Наташа. Он молчит и покорно идет за нею.

Полуразвалившиеся избы чередуются изредка с крепкими. Много разбитых окон, заткнутых разным тряпьем; внутрь ничего не видно. Что там? На улице попадаются мужики в больших теплых шапках и с понурыми лицами. Они вежливо кланяются Наташе, и Сергей Иванович чувствует себя неловко и не знает, отвечать ли ему на поклон. А Наташа все идет молча, быстро, деловой походкой. Она в белом платочке, накинутом на голову, и в простенькой синей рубашке. У Сергея Ивановича предчувствие чего-то неизвестного, и он все еще боится заговорить с Наташей.

Вот они миновали большое здание с высокой деревянной башенкой, глядящей в небо. Как она мирно и покойно вырисовывается на голубой лазури вечернего неба! «Это мечеть, — думает Сергей Иванович, — Наташа уехала ведь в татарскую деревню».

— Ну, кажется, мы и пришли.

Довольно просторная изба с покосившимися окнами. Наташа дернула за висевшую небольшую веревочку, задвижка поднялась, и они вошли в избу. На нарах и на полу лежали и сидели люди, большею частью старухи. Душный, спертый воздух, как бы от гниющего мяса. К Наташе тотчас же протянулось несколько рук, худых, изможденных, и несколько голосов заговорили что-то непонятное Сергею Ивановичу. Большинство же молчало и смотрело равнодушно на вошедших. Наташа подошла к окнам, распахнула их и строго что-то сказала хозяйке. «Как она властно распоряжается!» — подумал Сергей Иванович, и ему стало страшно и в то же время досадно и жалко, что он тут чужой и не понимает, что говорят, и на него никто не обращает внимания. Сергей Иванович сел в угол на лавке и смотрел.

Наташа быстро навертывала вату на деревянные палочки и окунала их в красную жидкость. Татарки покорно поднимали головы и раскрывали рты с черными, шатающимися зубами. Наташа одной рукой поддерживала голову, а другой быстро смазывала распадавшиеся десны.

Сергей Иванович не знал, сколько прошло времени. Тяжелый и удушливый запах давил ему грудь. Он чувствовал, что у него начинает кружиться голова и дрожат ноги. Ему стало казаться, что больные старухи глядят на него [illegible] блестящими глазами и шепчутся между собой. Да, это правда. Они [illegible]жком двигаются к нему, протягивают руки и быстрым шепотом что-то говорят, говорят, говорят... Что? «Наташа!» Но Наташи уже нет, она ушла. Он один с ужасными старухами. Сергея Ивановича охватывает ужас; он хочет закричать и не может.

Откуда-то появился молодой рослый татарин.

— Что они говорят? — шепчет Сергей Иванович.

— Не бойся, — говорит татарин по-русски, — они говорят, что у них денег много-много, что не нужно им твоих трех рублей... Они говорят, что тебя тоже надо полечить, что ты тоже болен, а они тебя посмотрят...

...Да, вот он, этот ужасный запах, он у него во рту, это сочится ежеминутно кровь, а сердце стучит, как молотком, и ноги томительно, однообразно ноют, особенно ниже колен, и во всем теле слабость, и так душно, душно... А они смотрят, страшные старухи, в одних грязных рубашках уселись на нарах, поджав ноги, и смотрят, и смеются, и показывают длинными, худыми пальцами... Сергей Иванович теряет сознание и чувствует, что над ним склоняется Наташа.

IV

Она смотрит так ласково, ласково, глубоким, заглядывающим в душу взглядом и говорит:

— Бедный Сережа! Ты испугался кошмара. Как ты расстроил свои нервы! У нас не так, у нас хорошо...

Сергей Иванович чувствует слабость, хочет подняться и не может. Нет ни душной избы, ни страшных старух. Он за околицей, на свежем воздухе. Сверху пригревает утреннее солнышко, вокруг зеленеет густая озимь, и пробивает себе дорогу через взрыхленную землю яровое. На горизонте видно, как поднимается влага волнистыми струйками. Хорошо так полежать, отдохнуть.

– Ты испугался цинги, Сережа; смотри, у меня тоже цинга.

Наташа открывает рот, и Сергей Иванович видит красные, вспухшие десны. Но ему теперь почему-то не страшно, ему хорошо, только вот слабость, слабость...

– Поцелуй меня, Наташа, я не боюсь заразиться.

– Правда?

Наташа хлопает в ладоши, звонко смеется, потом целует Сергея Ивановича и опять смеется.

– Все просто, все хорошо, говорит Наташа,– ни о чем не надо думать, надо жить, любить и ничего не бояться.

– Я хочу жить,– говорит Сергей Иванович,– и ничего теперь не боюсь; но как я могу любить их?

– Слушай,– серьезно говорит Наташа,– насильно нельзя полюбить. Относись к людям [illegible] как к братьям, и ты их полюбишь.

Сергей Иванович молчит. Наташа говорит еще настойчивее: «Ты их полюбишь»; потом она ложится рядом с Сергеем Ивановичем и говорит ему тихо-тихо:

– Дорогой Сережа! Как мне хорошо! Все эти страдания не портят жизни. Я мучаюсь, болею сердцем, но душе легко, свободно. Не надо никаких забот, хлопот о себе, скучных, ненужных хлопот. Сережа, милый, оставайся здесь... Ты увидишь, как все просто, легко, радостно. И ты будешь таким же...

Сергею Ивановичу хорошо. Он слушает Наташу и глядит в далекое синее небо.

– Наталочка,– говорит он, а если я останусь тут потому, что мне хорошо, а не из-за любви и жалости к ним? Ведь это нехорошо, Наташа?

Наташа смеется и говорит: «Ах, какой ты глупый!» Однако больше ничего не говорит, а Сергей Иванович забывает свой вопрос. Солнышко греет так ярко и хорошо.

– Остаешься?

– Остаюсь...

Наташа еще раз целует его и говорит быстро-быстро:

– Ну, а теперь за работу, скорей!.. Я с тобой разболталась. Идем, я научу тебя ходить за больными. Я научу тебя приносить другим счастье. Идем, я тебе покажу все... А завтра,– озабоченно прибавляет Наташа,– надо чем свет в Черемшан. Поезжай ты с Хасаном, а я останусь дома.– Наташа лукаво улыбается и совсем тихонько говорит:– Там и с Лидочкой увидишься. Она ведь тоже там...

При слове «Лидочка» Сергей Иванович краснеет и встает, чтобы идти за Наташей. А она пошла быстро-быстро, и Сергей Ивано-

вич не может поспеть за ней, а ему так хочется идти, быть совсем таким, как она.

— Я тебе покажу все... Я научу тебя...— доносится Наташин голос.

— Подожди!— кричит Сергей Иванович.

Но Наташа не оборачивается и идет все быстрее и быстрее.

— Некогда... Иди скорее!..

И Сергей Иванович бежит, ноги его подкашиваются, бежит еще быстрее и все не может догнать Наташу.

— Скорей!..

Над Сергеем Ивановичем стоит, склонившись, Лидочка и слегка бьет его перчаткой по лицу.

— Проснитесь! Какой вы соня!

Сергей Иванович вскакивает с кресла и смотрит недоумевающими глазами на Лидочку, а она весело хохочет и говорит:

— Царство небесное проспите! Этакий увалень! Да проснись-и-тесь!..

«Так это был сон! Это был только сон?— думает Сергей Иванович.— Зачем только сон?»

— Здравствуйте, Лидия Павловна!

— Ну то-то, здравствуйте! Безбожно ведь этак-то валяться... Вы знаете, милый Сергей Иванович, как я рада, рада... Я на верху блаженства... Я к Наташке еду!— [illegible] кричит она.

Сергей Иванович все еще стоял молча; он смущался своим молчанием и не знал, что делать. Точно во сне... Лидочка откуда-то взялась... Едет на голод... А как хорош был сон! Да, для него, Сергея Ивановича, это только сон. Это вот им, таким молодым, хорошим, чистым, ехать туда. Да, он теперь понимает и Наташу, и Лидочку, и ему обидно, и досадно, и больно, что он не такой...

— Да ну, Сергей Иванович, что с вами? Я ведь еду! Понимаете, еду! К вам только по дороге... Вы в церковь идете?.. И я с вами. Как мне хорошо! Одевайтесь живей...

Через полчаса они уже были на улице и дышали свежим весенним воздухом. То и дело попадались люди с пасхами и куличами. В окнах везде мелькали огоньки. Небо было темно и как бы таинственно молчало. Лидочка, живая, здоровая, свободная, оживленно рассказывала о том, как ей удалось устроить поездку. А Сергей Иванович все еще молчал и думал, что и для него, может быть, жизнь еще не совсем кончена; что, может быть, впереди будет еще жизнь иная, которой он не знал до этих пор,— жизнь свободная, полная и разумная...

В эту же ночь Сергей Иванович и решил уехать.

Варенька из Прилеп

Но бури севера не вредны русской розе.
Пушкин

I

Телеграмма была послана, кажется, вовремя, но лошадей на станции не было. Игнатий Петрович был в недоумении, как ему поступить. Он стоял на станционной площадке и глядел вниз, на оставленный поезд. Раздался свисток обер-кондуктора: «Ехать!» — и ответный свисток паровоза: «Слушаюсь!» — и вагоны, прогнув, поплыли в ранних сумерках мягкого зимнего вечера. «Точно гусеница проползает у ног,— подумал он со скупою улыбкой,— с трудом отыскивает среди зимы свое лето».

Игнатий Петрович был человек педантичный и аккуратный, питавший органическое отвращение ко всякому непорядку; к тому же годы и чин его были не малые, что еще осложняло положение. «Сестра так сама просила заехать»,— думал он, сдержанно досадуя,— и не могла озаботиться высылкой лошадей».

Он возвращался теперь в Петербург из командировки, с Кавказа, и по пути решил заехать к сестре, которую давно не видал после крупной размолвки с покойным зятем, мужем сестры.

— Так точно, телеграмма была послана еще утром, с нарочным,— ответил на его вопрос дежурный по станции, прикладывая перед важным барином руку к козырьку фуражки.

— А далеко до Оболенского?

— Верст шесть или семь — разно считают. Здесь можно достать лошадей на деревне.

Игнатий Петрович задумался. Ждать деревенских саней и потом тащиться на них — это представлялось ему весьма невеселым.

— Впрочем, лесом дорога короче, непроезжая только тропа, через Прилепы. Конечно, вы не изволите знать... А впрочем... Варенька!

Игнатий Петрович не успел запротестовать против этого возгласа, как помощник начальника станции скрылся. Он пошел вслед за ним.

На маленькой станции было по-праздничному чисто и весело, лампа горела светло. Ни досадовать, ни сердиться было неловко. От топившейся печки, полной жарких углей, дышало приятным теплом, располагавшим к покорности; было тихо. Игнатий Петрович достал папироску и закурил. «Будь что будет,— подумал он,— подожду». Его чемодан лежал на диванчике, принесенный сторожем, также куда-то ушедшим.

Игнатий Петрович сверил часы, походил взад и вперед и стал глядеть на стене объявления. В это самое время кто-то рассмеялся за дверью; смех был быстрый, короткий, из тех, что, обрываясь, переходит в глаза и живет в них еще долго спустя. Так и было: в отворенных дверях стояла в крытом тулупчике и смеялась глазами — наверное, Варенька.

Игнатий Петрович, обернувшись, глядел на нее.

Ей было не больше шестнадцати лет; в своем мягком тулупчике она казалась крепкой и сильной, но стройность ее и легкость фигуры угадывались неуловимо и безошибочно; лица, точно рамкой очерченного темным платком, нельзя было сразу понять, как нельзя разобрать в первый момент, обернувшись внезапно из тьмы, залитого светом фасада или схватить рисунок пейзажа, взглянув на низкое полное солнце; видеть лицо мешали глаза.

Однако Игнатий Петрович скоро оправился и не без видимой холодности, как бы предупреждая всякую неуместную фамильярность, вторично взглянул на вошедшую. Лицо ее оказалось простым и милым, с чуть расплывающимися по-русски чертами и исполненным той изумительной свежести, которая возбуждает и зависть, и смутное чувство сходства к ее обладателю.

Варенька, помедлив минуту, подошла к Игнатию Петровичу и протянула, к его изумлению, руку, сказав:

— Мне Николай Васильевич сказал, что нам по дороге. Хотите, я с вами пойду?

Не успев подумать и подчиняясь невольно ее простодушию, Игнатий Петрович ответил тоном согласия:

— Благодарю вас, вы очень любезны. — При этом он рассмеялся своей излишней, как ему показалось, изысканности.

— Ну, так идем!

И Варенька направилась к выходу.

Вошедшему Николаю Васильевичу передана была благодарность и просьба сохранить багаж до приезда лошадей от сестры.

II

Хорошо в вечерних зимних полях. Идет тихий снег. Едва заметно покачиваясь, стоят пережившие лето былинки, иные из них так изукрашены зимним убором, что, кажется, и грустить им не надо бы. Вот высокая травка из зонтичных, надломившись, как люстру в засохшем соцветии, полную бледного в сумерках света, держит узорчатый ком хрупкого снега. Кое-где видны следы быстрых ног, близкие сердцу охотника. Пересечет невдалеке дорогу лиса с темной ношей в зубах (неосторожный петух из деревни), поведет головой, окинет вас боковым зорким взглядом и не спеша протрусит, взирая на ваш пугающий крик, в ближний лес — на покое полакомиться петушиной свежею кровью. Снег мягок и бел, спит под розовым покровом земля, и дыхание ее глубоко и покойно. Недалеко от тропинки, ведущей в лес, по косогору, возвышаются утлокие

Камни — старики из Скандинавии, за много тысячелетий до варягов пришедшие на Русь валуны; они вылезают из-под оседающей почвы, и поверхность их сохранила следы северных раковин. Камни поменьше попадаются и возле тропы; среди них есть и совсем небольшие, но каждый, как венчиком, отделен от снежных пластов пустотой: как если бы воздухом дышат самые камни. Хорошо в вечерних зимних полях.

По дороге взметается снежная пыль: запоздавшая тройка на станцию. Игнатий Петрович остановился и, улыбаясь, говорит своей спутнице:

— Это за мной.

Оба стоят и глядят.

— Да, это лошади Натальи Петровны.

— Вы узнаете?

— Еще бы мне их не знать,— говорит, смеясь, Варенька.

Опять ее быстрый, оборванный смех, но Игнатий Петрович не видит смеющихся глаз, сознавая с недоумением и стыдливою радостью, как ему хотелось бы видеть их.

Дорогой они говорили немного; кружащийся медленно снег, тишина и поля располагают к молчанию. Инстинктивно хотел сохранить в себе Игнатий Петрович нетронутым тихое очарование, охватившее сердце и исчезающее с уходящей впереди фигуры в тулупчике. Он не хотел укорять сегодня себя за внезапную сентиментальность души, это чувство не посещало его долгие годы, и от него веяло детством.

Кто была Варенька? Это было загадкой; она не крестьянская девушка, как ему показалось сначала, она не была и тем глубоко неприятным ему в своей тривиальности типом, что слывет под именем барышни. Он всею душой презирал этот собирательный тип; синонимом беспощадной, тоскливой и отвратительной пошлости были для него эти девицы породы барышень, равно столичные и провинциальные. Когда подавал он им руку, то чувство брезгливости овладевало им, точно трогал лягушку или скверную мышь. Игнатию Петровичу теми, кому надлежит это ведать, был давно и бесповоротно вынесен приговор: этого не женить!

Варенька сама в разговор не вступала, но все же они обменялись за дорогу несколько раз короткими репликами.

— А вы также с поезда?

— Нет.

«Нелепый вопрос,— была в гостях у кого-то на станции».

— Вам не холодно?

— Нет. Лошади будут, наверное: у них часы всегда врут,— говорит она, помолчав, и вдруг, нагибаясь, мимоходом ловит горсть снегу и ест.

Он пожимает плечами, но ему это мило.

— А нам по дороге?

— Да.

— Где вы живете?

— В лесу — в Прилепах.

Теперь Игнатий Петрович стоит и думает: «Я ее подвезу». Но Варенька говорит:

— Прощайте теперь, — и руки не протягивает.

— Я вас подвезу.

— Нет, нет.

— Почему?

— Тут и дороги нет в лес. Это надо в объезд.

Кучер подъехал, осадил лошадей, ломает парядную шапку.

— Не вы ли к Наталье Петровне изволите ехать?

— Я. Отчего запоздал?

— Не могу знать. Пожалуйте.

— Съезди на станцию и возьми мои вещи. Я тебя подожду.

— Слушаю-с.

— Я вас провожу.

Варенька думает что-то и наконец говорит:

— Только до лесу.

— А там?

— Нет, нет, я сама.

Когда коснется ее что-нибудь ближе, Варенька говорит два раза «нет», и так быстро и коротко это «нет, нет», как ее смех.

Игнатий Петрович не спорит.

Кудрявый лес подступил им навстречу; здесь еще словно бы тише: место, куда не каждый достойный ступить.

Ручка Варенькн, когда она протянула ее наконец для прощания, хранит еще влажность от снега; она горяча и мала, на ней один перстенек с синим камнем.

Было весьма хорошо, что на прощанне она ничего не сказала: можно думать, что было сказано больше того, что могла бы произнести. Вот тулупчик ее замелькал между деревьями: лес ей родной. Что же, однако, сказать? Нечего. Конечно, просто ей нечего было сказать; это так невесело ясно.

Лес молчит, в полях идет снег. Игнатий Петрович возвращается тихо к проезжей дороге. Лошадей еще нет, и он садится на камень, отойдя к сторонке. «Ракушки эти также хранили когда-то скромную жизнь», — думает он. И эта волна тихой задумчивости не покидает его и в санях.

III

Игнатий Петрович в Оболенском гостит третий день.

Дом у сестры большой, старый, склад жизни весьма беспорядочный, часов в доме семь, и разница в их показаниях доходит до двух часов и более (причина запоздания лошадей); встают поздно. день протекает в смене еды и питья, хозяйственных распоряжений приема гостей. Последних в праздничные дни великое множество и состав их крайне смешанный; на свежего человека, слегка скептического и холодного, как Игнатий Петрович, каждый из них произ-

дит впечатление живой карикатуры. Один, высокий и черный, с жилистой, темной шеей, выступает по паркету, как гусь, а смех его – изумительная имитация лошадиного ржания, и весь он – странная смесь лапчатой птицы, коня и смышленого человека; другой безмолвно сидит в течение пяти-шести часов, коптя свои седые усы, и без того уже под носом янтарного цвета, из коротенькой трубочки с египетским табаком Бостанжогло, за ужином напивается и обретает дар слова; тридцать или сорок минут болтовни и отборных любезностей дамам истощают его до крайних пределов, и он засыпает на старом турецком диване в одной из отдаленнейших комнат, пробравшись туда потихоньку; до утра его не тревожат, и на ранней зорьке он уезжает домой; он холостяк и прелестнейший человек, говорят; еще один – кавалер, о котором вздыхают, трубчевский помещик, с усами колечком и с французским произношением, напоминающим лай зарвавшейся гончей; у него голубые в полоску носки, пестрый жилет с подпалинами, красные запонки и галстук цвета перезревшей оливки, с горошком; и таких посетителей богатый подбор. О дамах и думать не хочется.

У каждого из мужчин свои поговорки, неизменные, повторяемые из года в год; оселком остроумия является выпивка, один зовет водку молоком от бешеной коровы, другой возглашает каждый раз с точностью механизма, держа рюмку перед собою: «Здоровье ваше – горло наше», – и выпивает ее, вытирая салфеткою губы перед закуской; ему вторит сосед, любезный сорокалетний толстяк: «Посторонись, душа: оболью!»

Впрочем, все они, может быть, превосходные люди, нельзя судить о них с высоты птичьего полета, но и отказать себе в этом не слишком веселом удовольствии жаль: оно любопытно. Кроме того, так легче забыть о себе. Странным образом в эти последние дни Игнатий Петрович почувствовал, точно бы вновь, свое одиночество. Не здесь, в Оболенском, а вообще меж людей. Служба, бумаги, дела – пока жизнь течет в этом русле, она полна по-своему, но стоит отойти от нее и взглянуть на себя со стороны, как на других, и вот горькое чувство заполняет, вливаясь, пустоту освободившихся дней.

Игнатий Петрович сидит у окна и глядит на двор. Снег не идет, но выпавший – свеж и приятен для глаза; деревья гнутся под тяжестью белых пластов; на раките у кухни черными комами взмостились индейки на ранний ночлег; видно налево, как рубят для топки дрова, проходит кто-нибудь по двору время от времени: ленивой походкой работник, женщина с кухни, раздетая, перебегает в рабочую избу; проскачет, лая на ветер, собака; трое детей лепят огромную бабу; она похожа на идола, с пуком вихрастой соломы на голове, черными углями глаз и алым ртом из моркови; каждый вечер забава одна: бабу рушить; в этом деле принимает участие большая ватага людей, причем достается изрядно всем участникам свалки: грубоватая, веселая баталия, смех, жизнь.

На пороге людской стоит старый пес, он часто хворает, шерсть стала плоха, еду отбивают здоровые, молодые и наглые; избыток сил в них кипит, много бегают, много едят, лают зря, но в них нет никакого почтения к старости и прежним заслугам. Пес смотрит уныло и долго на двор, на снег, на возню ребят; потом так же уныло и виновато поворачивает тощее тело и идет с крылечка в холодные сени. Он выглянет еще раз или два до наступающей ночи, которая обещает быть долгой и невеселой. Игнатий Петрович понимает его.

Но вдруг пес поднимает на полпути старую, но еще не утратившую чутья, умную морду и заливается хриплым, простуженным лаем, в котором сквозит явная гордость, что он первым открыл приближение подъезжающих. Лай дружно подхвачен, все обитатели дома, кухни, людской прильнули к прохладе стекла; здесь тот же инстинкт, что у собаки: увидеть приехавших первому.

Скоро из-за поворота, скользя, подбежали и санки, они были красивы, расписны и легки; за кучера сидел мальчик в красном шарфе с желтыми полосками, в самих же санках в белых платках поверх шапочек — две женские фигуры; лиц не разобрать, видно лишь что-то там розовеет; похоже, будто цветы, щедро и густо завернутые, как умеют это делать с любовью в больших магазинах, в мягкую белую бумагу, густо смятую наверху, но она растрепалась, и цветы розовели; розы в снегу.

Двор и дом оживились, все были рады приехавшим, собаки виляли хвостами и толкались мордами в парадные шубки, мешая высаживаться: они разделяли общую радость.

Мимо Игнатия Петровича спешно проходит сестра; она седа, но еще молода, высока и стройна; после мужа она для всех неожиданно начала жизнь как бы вновь. Братнин приезд также радовал ее: он был у нее в первый раз в этом поместье.

— Теперь ты не будешь скучать, — говорит она, проходя мимо него и с легкой лаской касаясь волос. — Седеют. Да что с тобой?

— Ничего, ничего, — спешно отвечает ей брат. — Иди себе, иди.

О Вареньке у сестры он не спрашивал и не называл ее имени вовсе, так что она вряд ли что и поняла.

— Это Варенька, — сказала она. — Ты увидишь, какая она. Я рада. — И, уже уходя, добавила: — С Сашей, сестрой...

В передней уже слышны приветствия, поцелуи.

Игнатий Петрович не двигался с места; он не узнавал себя, он чувствовал, как сердце его, приостановившись, часто забилось и горячая краска обожгла лицо. «Старый дурак», — подумал он про себя и разгладил усы.

IV

Было изумительно, как все люди теперь казались другими. Со старичком в наполовину янтарных усах, подойдя к нему первым, говорил Игнатий Петрович и открыл в нем трезвый и умный [illegible]

...жизнь и судьбу; молодой человек с лошадиной шеей обнаружил, кроме смышлености, начитанность в области агрономии; даже по-мещик с галстуком цвета оливки был приятен сегодня Игнатию Петровичу — впрочем, лишь тем, что Варенька не скрывала своего пренебрежительного отношения к его испытанным чарам.

«Умница, умница»,— не переставал, мысленно обращаясь к ней, хвалить ее Игнатий Петрович. Он любовался ею весь вечер.

Варенька была одета прелестно; низко открытая шея ее, горделивая и грациозная, была того теплого, золотистого цвета, который, кажется, сам по себе издает аромат; вся она так хрупка и сильна одновременно, что напоминает и этим свежую розу. В этом цветке есть как бы что-то банальное, но эта банальность вся от людей, заимствовавших эмблему: сам цветок в первобытной невинности свеж и прелестен.

В обращении ее с Игнатием Петровичем было нечто, что доставляло ему неизъяснимую отраду. По тому, как знакомили их, Варенька догадалась, что Игнатий Петрович не говорил ничего об их путешествии, и она умолчала также об этом перед другими. Таким образом, возникла сама собой меж ними небольшая их общая тайна; и из этой-то тайны, как истоки из озера, скрытого от взора людей, обильно струилось очарование.

«Умница, умница,— не уставал еще и еще повторять Игнатий Петрович.— И откуда в ней этот такт? Или это не только такт?» Последнее не сознавалось словами, но жило как смутное и отрадное ощущение в сердце.

Было шумно и весело, много играли; сестра Вареньки, Саша, старше ее и, может быть, много красивее, пела за роялем романсы Чайковского и Гречанинова; голос ее был приятен, ибо он напоминал голос сестры. Игнатий Петрович слышал короткий смех, быстрые чьи-то «нет, нет», и ему было неизъяснимо хорошо. Иногда он встречал глаза Вареньки через комнату, и она не отводила их, предоставляя во взгляде прочесть все, что угодно. И Игнатий Петрович жадно читал до сей поры ему незнакомую книгу.

Варенька в доме держалась свободно, говорила и с ним, но и за теми простыми словами, что она говорила, Игнатий Петрович давал себе волю читать все то же, сокрытое, что так тревожно и упоительно было отгадывать.

После того как Наталья Петровна, улучив минуту и подойдя близко к брату, сказала ему тихо и, как тому показалось, значительно: «Ну что, как тебе моя Варенька?» — он стал следить за собой. Всякий взгляд извне на то необычное, что в нем совершалось, был ему просто мучителен.

Вечер шел хорошо, и одно небольшое событие еще больше одушевило и развеселило всех.

В соседней с залою комнате играли люди почтенного возраста в винт. Между другими сидел и начальник станции из соседнего города, полковник в отставке в баках николаевского образца. В зале играли в «набор». Входившие из-за закрытых дверей кавалеры кла-

нялись даме, стараясь отгадать, кто его выбрал. Не угадавшим свистали и хлопали; большое одушевление вызвал поклон ошибкового щеголя Вареньке, на что она не только мотнула головой отрицательно, но и так экспансивно воскликнула свое «нет, нет», что поднялся стон. Игнатий Петрович также хлопал в ладоши. В это самое время старичок в отставке побледнел за столом и, встав из-за карт, ринулся вон, потрясая руками. Все переполошились, но оказалось, что ему представилось в поднявшемся шуме крушение поезда. Он выпил стакан холодного кваса и успокоился.

Впрочем, как обнаружилось впоследствии, ему, кроме того, сильно не повезло в этой сдаче.

В поднявшейся суматохе куда-то исчезла Варенька. Во время игры она избрала Игнатия Петровича, и теперь он искал ее. Но Вареньки нигде не было. Игнатий Петрович вошел в темную комнату, выходившую в сад, на террасу. Дверь туда и зимою не забивалась; это была одна из причуд Натальи Петровны. Он инстинктивно заглянул в окно и тотчас увидел стоявшую Вареньку; дверь была слегка приоткрыта, в нее тянуло ночным холодом, морозом. Девушка вышла, как была в зале. Свет лампы, падавший из окна кабинета, освещал ее сбоку; она стояла, откинув лицо, и глубоко дышала; видны были ее наполовину обнаженные руки. Первым движением Игнатия Петровича было последовать за Варенькой: она могла простудиться. Однако он замедлил, очарованный. Стихи Пушкина пришли ему в голову:

Но бури севера не вредны русской розе.
Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская [illegible] в пыли снегов!

И он стоял, любуясь ею и чувствуя, что готов сделать сейчас великую глупость. Вдруг, двинув рукой у стекла, он ощутил уколот на окне был газон с комнатной розой. Странная фантазия пришла ему в голову; он быстро ощупал рукою растеньице и, найдя цветущую розу, сломал ее стебель.

В тот же момент, как он решил толкнуть дверь и выйти за Варенькой, он увидел, что она была не одна.

Какой-то человек был возле нее, и Варенька, склонясь, обняла его и крепко поцеловала.

Игнатий Петрович круто повернулся и вышел из комнаты; рука его, дрожа, опустилась в карман вместе с розой.

— Кто этот парень?— спросил он, как бы шутя и мимоходом, с кривою улыбкой, полчаса спустя у сестры про скромную одежду молодого человека с ясным и простоватым лицом, которого до сих пор и не замечал среди гостей: Варенькин кучер. Сегодня он такой был в первый раз.

— Это Варенькин жених,— с той же деланною беспечностью ответила Наталья Петровна и тотчас же добавила, спрашивая и отвечая: — А как тебе понравилась сестра ее Саша? Не девушка — прелесть!

Несмотря на все уговоры сестры, Игнатий Петрович выехал из Смоленского этой же ночью.

До поезда времени было достаточно, и незадолго до станции он велел кучеру пустить тройку шагом. Недовольство собою, досада на Вареньку и сознание неправоты своей в этой досаде томили его. Об оставленной службе, делах думать было, как он испробовал, невыносимо. Всю свою горечь теперь он изливал на себя. Ему вспомнился старый покинутый пес, глядевший на двор. Он сделал всем телом движение, как бы желая найти себя. Теперь проезжали мимо тропинки, ведущей в Прилепы; это название было наивно и мило, и ему себя стало жалко до слез. Вернуться, сделать ей предложение, увезти... Боже мой, боже мой, куда же жизнь протекла?..

Кучер был изумлен, когда барин остановил лошадей и вылез из санок.

— Поезжай, я пройдусь,— сказал он ему.

Были видны по снегу чьи-то следы. Конечно, не те уже. Лес, ее дом, спокойно темнел в стороне. Кто-то дышали. Здесь все были дома, каждый на месте. Вот [illegible] Игнатий Петрович наклонился к земле: тесная горсточка стебельков подорожника в белом снегу, и каждый — как свечка. Ночное моление, благодарность. Вернуться?

Он распахнул свою шубу и быстро достал смятый цветок. Он был тепел и нежен, как чья-то ладонь. Невольно, стыдясь самого себя и, как обновлению, радуясь мгновенной и быстрой слезе, он поднес к губам этот душистый сонм лепестков, благоухающих и обреченных, и благодарно, прощая, прощаясь, кинул цветок по направлению к лесу; роза легла на снегу.

Кучер стоял невдалеке, поджидая, и Игнатий Петрович пошел к нему, все ускоряя шаги.

1911
Ильково

Двойной орешек

I

Зимнее утро едва занималось. За ночь пал иней и опушил узловатые ветви берез, мохнатое серебро щедро лежало на плетнях, на соломенных кровлях, на вчера обнаженных еще, корявых ручищах старого дуба, одиноко возросшего у истока оврага; дуб был дик и могуч, и ствол его походил на огромный, из мерзлой земли выжатый стужею корень. Ниже, по склону двойною неровною лентой сбегали узкие прутья лозин; смутно серели они в синеве молочного утра; бока оврага были седы, но весь он был полон уже невнятного звона весны.

Розвальни медленно двигались наизволок, полозья слабо скрипели, под копытами лошади мягко рушился рассыпчатый снег, по временам привычно она встряхивала мохнатою головой, мелко завитой серебряными щипчиками [illegible] утренника, с нерезвой спины ее подымался легкий [illegible] пар. Деревня уже не спала, трубы дымились, и темные [illegible], разлинованные между венцом бахромою пеньки и кострики [illegible], казалось, дышали, теплели.

У низенького, талого и мокрого на подоконнике окна стоял мальчуган лет десяти. Глядел он бесцельно, но торчащие уши придавали ему внимательный вид, вихры на лбу были мокры, а вздернутый на кончике нос белел и краснел попеременно: Николка то прижимался лицом к стеклу, то отводил лохматую голову и, оттопыривши губы, дул на него; мутноватая сырь морщинилась и рябовато струйками разбегалась по шероховатой глади стекла. Так стоял он без дум; день впереди длинный-предлинный, праздник, в школу не надо идти, будут блины, а до блинов сейчас же надо пойти посмотреть, лед на скамейке не оттаял ли за ночь.

Николка накинул свой полушубок и с важностью взрослого, ничего не ответив бабке у печки, вышел во двор.

Там встретил его старый Буян, продремавший вполглаза, вин-зу, у крыльца, сторожевую свою одинокую ночь; Николка с ним по-играл и повозился, а потом деловито, не обращая внимания на ста-рика, занялся скамьей. За ночь лед отопрел, и Николка был озабо-чен; он принялся отскребать острою щепкой вздувшиеся и рыхлые бугорки на талой поверхности льда; это делали руки, а в голове за-бегая вперед, он уже поливал из корца студеною водой лежку свою, высокую гордость, зимнюю быстролетную ладью, ставил ее на холодок у плетня, обтирая рукавом полушубка края обледе-лой доски. Буян между тем терся меж ног, радуясь Николкиному молодому теплу, запаху свежего теста и масла, которым тот пропи-тался за последние дни — и сам как свежий, горяченький блин

Но вот он метнулся к воротам и на ходу, спешно, давясь, хрипло залаял; Николка за ним. У ворот, оглядевшись, мальчик увидел издали сани, на высоко подбитом веретье сидела фигура, укутанная в клетчатый теплый платок. Николка узнал ее сразу, сразу сообразил, что не грех прокатиться, и, пнув ногой Буяна, побежал навстречу саням. Старый пес поначалу хотел немного обидеться, даже вздохнул, но вздох перешел в широкий и сладкий зевок, и, опустив лениво, устало лохматый свой зад, поплелся он на старое место, к порогу. Старость, усталость от жизни брали свое, но пенное верное сердце было незлобиво – Николку он нежно любил: вся молодость связана с ним; подслеповатыми глазами, улегшись, следил он, как на бегу Николка тыкался в рукава полушубка, попал наконец, но поскользнулся, упал и еще припустил мальчишечьей рыси.

Вера Кирилловна, учительница, ехала в город. Были и свои дела, и отчет к попечительнице: Кривцовы имение продали, но Агния Павловна школу не вовсе оставила, время от времени входила она в школьные нужды. Вера Кирилловна была молода, школа в Диких Верхах, только отстроенная, пахла еще свежестью леса, с ребятами она как старший товарищ. Не все идет гладко, но все хорошо, когда у самой непочатый еще, свежий запас бодрого рвения; окатится утром холодной водой, а в груди горячо, свой ключ, неумолчный, бьет изнутри; оттого и глаза блестят, руки просят работы, голос звенит: священная молодость!

Но сегодня чуть-чуть, может быть, туманится взгляд Веры Кирилловны: близость весны, талый мороз, ровная гладь мягко синеющей дальней дороги... Невольно вспомнился дом и семья, может быть, и еще кое-что... кое-кто... Волновало немного и предстоящее в городе свидание: у Кривцовых она еще не бывала, про Александра Петровича слава в округе сомнительная.

– Николай Сорокин!—узнала она и улыбнулась.—Ну, вались сюда!

Николка, схватившись за грядку саней, ловко вскочил.

– А ты в город?—спросил он, и глаза его загорелись.

– В город,—лукаво ответила Вера Кирилловна.—Хочешь со мной?

Все раздумье ее мигом развеялось. Николка был мальчик приятный и легкий. Она схватила его за борта полушубка и, смеясь, перевалила рядом с собой. Николка молчал. Вера Кирилловна подняла его голову, посмотрела в лицо и увидела неожиданно не весь смеющуюся, привычную Николкину рожицу: вся она сморщилась от усилий сдержаться, но все-таки было ясно—Николка заплакал.

– Что с тобой? Я тебе сделала больно?

– В город... в город хочется с тобой...—оттопырив губу, сказал Николка и заревел.

Вера Кирилловна и была смущена и не могла скоро не рассмеяться.

– Ну, я попрошу. Хочешь, правда, поедем?

— Бабка не пустит,— сквозь слезы, дергая носом, проговорил Николка.

— Ну, посмотрим. Не плачь.— Вера Кирилловна вынула из муфты платок и вытерла Николкино заплаканное лицо.

Бабка пустила не сразу, единственно из уважения к учительше. Николка получил, однако же, пару-другую шлепков. Отнесся он к ним даже весело, ибо были они живым доказательством, что в город все-таки едет. Он широко, до самых ушей, ухмылялся, пока повертывала его нецеремонно старая бабка, напяливая через голову чистую рубаху; на дорогу дала она Николке целых полситника, завернутых в ситцевый головной платок. Николка сунул гостинец за пазуху, но на дворе вынул его, развязал и, отломив, кинул краюшку буяну. Лицо его выражало гордость, восторг, когда он по праву уже умостился у ног Веры Кирилловны.

Дорога была не близка, и когда вдали показался раскинутый по берегам речки, синеглазый, засыпанный инеем, таинственный город, солнце стояло уже высоко, дробясь и играя на искристых, выпуклых волнах снегов. Сер[illegible] прыгало, он поминутно перебил за рукав Веру Кирил[illegible] расспрашивая: Николка в городе не был ни разу. Вере Кир[illegible] любо было глядеть на него, и даже глухой их возница, зар[illegible] до глаз, седенький Яшка Глухарь, обернулся и что-то невнятно прошамкал, подняв над собой оледенелое кнутовище и указуя вперед. Через ворох волос на лице, как солнце через застреху, кажется, и у него проглянуло что-то вроде улыбки.

II

— Ну что, дурачок, разве в городе хуже живется?

Сережа Кривцов прижался к отцу и молчал. Он касался щекой, горячей с мороза, мягкой сорочки и холеной, пушистой на ней бороды — она слегка щекотала его. Смешанный запах крепкой сигары и одеколона, привычный запах отца, был странно приятен Сереже. Отец — это мужчина, великолепный, красивый, образец силы и гордости.

— Что же ты примолк? Хорошо тебе?

— Хорошо, папочка.

Отец поворошил шутя завитки мягких волос у Сережиной шеи и слегка отклонил от себя сына.

— Ну, а теперь время обедать. Пойди умойся и поцелуй мать. Скажи, что мы воротились.

— И тебя, папочка!

Мальчик низко пригнул шею отца и крепко его поцеловал; и усы хранили тот же свой аромат, только еще несколько более терпкий и пряный.

Мать Сережа застал не одну, у нее сидела незнакомая дама; Сережа сразу не очень ее разглядел.

Вбежал он веселый и возбужденный: и зимним солнечным днем с деревьями в инее, и серебряною проволокой меж телеграфных столбов, и по-морозному крепкой синевою небес, по-праздничному беззаботной толпою на улицах и еще того более — первым своим гимназическим балом, на который поехал вместе с отцом. Святки Сережа, жестоко простудившись, вылежал дома, все празднества его миновали, нынче же был он одним из героев: читал на эстраде стихи, вспыхивая, выходил на аплодисменты и кланялся... Гимназия стала неузнаваема: много взрослых, парадных, не учителей, да учителя и те нестрашные, вежливые; лампы, цветы, танцы и игры... и, в довершение, что-то еще, совсем до того незнакомое, чего никому, никогда Сережа не скажет... На груди у отца он почувствовал это с особенной силой: такое неизъяснимое с этим великолепным человеком сродство, точно это от Сережи от самого уже пахло сигарой, одеколоном, этой всегда возбуждающей терпкостью отцовских усов и бороды.

Сережа смутился, увидев у матери незнакомую даму; он стеснялся новых людей, а потому не кинулся с размаху на мать, сдержался и только проговорил:

— Мамочка, как было весело! Отчего ты не поехала с нами?

— Мне не хотелось, дружок. Ты знаешь, я не люблю выезжать.

— Да ведь, мамочка, с папой!

— И папа вернулся? Поздоровайся же с Верой Кирилловной.

Сережа застенчиво поклонился Вере Кирилловне. Но новая знакомая мамы оказалась вовсе не страшной, вряд ли даже и дама — так она молода; глаза ее черные, но это зрачки, а вокруг узенький серый сияющий ободок; короткие волосы отдельными прядями, слегка завиваясь, пали у небольшого красивого уха; такие же маленькие и красивые руки; похожа на мальчика. Сережа быстро и сразу все это увидел, пока незнакомая гостья, чуть приподнявшись, взяла его за руку и притянула к себе.

— Вот ты какой,— сказала она.— А я о тебе слышала много от ребятишек.

Сережа искоса темными своими, крутыми ресницами повел на говорившую; ему было странно и это «ты», и... о каких ребятишках она говорила? Но что-то и привлекало к ней безотчетно. Мальчик вопросительно перевел глаза на мать.

— Вера Кирилловна занимается в школе, в Диких Верхах.

Вот уж никогда бы Сережа не догадался, что это учительница. И легкое сожаление о себе самом, о том, что привычный покинутый дом далеко, на минуту затемнило глаза; он пробормотал:

— Как? В наших Диких Верхах?

— Они уж не наши теперь,— с приметным вздохом ответила мать и, обращаясь к учительнице, добавила: — Вы не торопитесь, Вера Кирилловна, вы пообедаете с нами?

Вера Кирилловна ничего не сказала, но открытые глаза ее говорили: «Лучше, если бы нет».

— Да. Да,— наперекор ее взгляду утвердила Агния Павловна.— Мне еще хочется поговорить с вами о многом. Я так любила нашу деревню, мне не хотелось покидать ее. А ты всех, верно, забыл? Тебя-то там помнят, оказывается.

Сережа густо и горячо покраснел.

— Нет, я не забыл... никого.

— Он ведь с ними и рос,— продолжала она, отнесясь к Вере Кирилловне.— Особенно с этим... Колей Сорокиным. Не расставался. Сестра моя, Клавдия Павловна, прозвала их двойным орешком, шутя. Помнишь?— спросила она и протянула руку Сереже.

Он подбежал, схватил у плеча за руку мать, глаза его потемнели. Сережа забыл в эту минуту и про свой новый мундир с ясными пуговичками наверху, что сразу вдруг заморщил на узенькой груди его, и про недавнее упоение балом, успехом, и про фигуру отца, когда он танцевал с самой губернаторшей, самый красивый, самый высокий, и даже про то, чего никому, никогда... Нет, нет, ничего этого не было! Он побледнел и, мать, наклонившись над ним и с тревогой, однако ж ее не выдавая, спросила мягко и ласково:

— Что с тобой, маленький? Ты утомился?

— А он учится тоже? У [illegible] спросил Сережа, не ответивши матери; вид у него был [illegible] зверька застигнутого грозой.

— Да, у меня. Мальчик чудесный.

— И он... вспоминал обо мне?

— Да, и не раз. Он и сейчас со мной в городе, я взяла его. Бабка пускать не хотела, да уж очень заманчиво, выпросила. Он и города-то никогда не видал.

Сережа порывисто что-то хотел попросить и за себя, но мать, предупреждая, встала из кресла, как всегда в черном шелку, как всегда печально-усталая, тонкая по-девически, тихая.

— Иди, Сережа,— сказала она, однако ж, с настойчивостью и поцеловала его стриженую голову.— Вымой руки, будем обедать.

Сережа так ничего и не сказал, послушно пошел, неловко ступая, делая странно связанные движения, точно бы в этой комнате, в доме, очутился недавно, впервые, чужой ему.

— Какой ваш Сережа красивый!— сказала Вера Кирилловна, когда он ушел.— И отчего... отчего вы не хотите, чтобы они повидались?

— Какой он мальчик несчастный!— в ответ промолвила Агния Павловна, слегка дрогнув губами и с тем внезапным доверием к новому человеку, которое рождается, повинуясь внутренним токам в душе, как бы без всяких видимых на то оснований. Однако она ничего не прибавила в объяснение своих слов и прямого ответа Вере Кирилловне не дала.

— Агния Павловна, я не пойду... туда, обедать,— сказал та, помолчав.

Хозяйка дома улыбнулась слабой улыбкой.

— Я ведь ваше начальство,— возразила она,— и попечительни-

ы надо вам слушаться. Он где же сейчас? — спросила она вслед за тем и поглядела прямо на Веру Кирилловну.

— На постоялом, там, где и лошадь.

— Видите что...— быстрым и неожиданно горячим шепотом заговорила Агния Павловна.— Но ничего, ничего... Все дело в том, что мы с Александром Петровичем слишком разные люди. Это бывает. А живем и будем жить вместе. Вы еще молоды, вам можно этого и не понимать.

Вера Кирилловна невольно взяла ее за руку.

— Я, может быть, это устрою еще,— с горячностью на пожатие ответила Агния Павловна,— это свидание... старых друзей. Да, я устрою. Идемте же. Идемте со мной.

III

Все было внове Николке, город был перед ним как огромный пирог, который он с жадностью ел — глазами, ушами, руками: он трогал предметы — жестяную трубу со змеей на конце, играющую машину в трактирном чаду, даже стекло в магазине, за которым лежали книжки с картинками; поковырял краску на вывеске; слушал, развесивши уши, знакомую брань и малопонятное городское наречие; разинувши рот и про себя смеясь, глазел на диковинных птиц на шляпах у барынь и с неподдельным восторгом — на жирных в синеве голубей, которых гонял, махая рукой и подсвистывая, долговязый веснушчатый малый с крыши сарайчика. И всего не пересчитать, что занимало внимание мальчика.

Яшка Глухарь скоро, однако, Николку оставил. Допившись до третьего пота в трактире, вернулись было они на постоялый, но мальчику смерть как хотелось побывать еще на «свистунье», о которой давно был наслышан; в длинном, тощем кармане его из суровой холстины болталось несколько медяков и даже два пятиалтынных, подаренных Верой Кирилловной. Глухарь его отпустил, наказав только не заблудиться.

Важно вышел Николка на улицу — один, самостоятельно. Не без достоинства, между пышных складок своего полушубка, сунул он руки в карманы — пощупать еще раз неисчислимое свое достояние; монеты звенели. Он шел между домов Калужской плохонькой улицы несколько даже пренебрежительно, как человек бывалый уже, которого пустяком не удивишь. Но, выбравшись снова на главную, Киевскую, где утром уже проходил с Глухарем, Николка в душе немного опять заробел: черной сплошною толпой шли люди по тротуару, а несчастья никакого, ни дымом не пахнет, никого не раздавили, и идут очень степенно. Но Николка все же сообразил — глядя на эти гуляли. Тогда и он между других стал подвигаться с привычною медленностью; когда удавалось, нырял, как человек между медлительных барж.

Надвигались на город передвесенние, сизые сумерки; кое-где вспыхнули, сами собою, первые зеленоватые огоньки фонарей. На

...ка был поражен. Перед входом в кинематограф он долго, не об...ая внимания на толчки проходящих, с ужасом и упоением, как ...рованный, глядел на огромную зеленую женщину, которую пе...ватил, волоча, желтый, с глазами навыкате, великан; за ними ...ало многоэтажное здание, лоскуты огня из темных решетчатых ...он, как собачий летом язык, были длинны и красны. Кое-кто из ...ляющих заходил, как бы небрежно, рассеянно, в полукруглую ...ерь с разноцветной дугою фонариков. Николка наконец догадал...—шло представление.

На минуту он замер: ему пришло в голову, что и он, как дру...е, может войти; в груди у него похолодело; машинально он от...хнулся от каких-то ребят, теснивших его. Страшная робость ...сквозь нее одновременно восторг охватили его: Николка решился. ...к в полусне, но со смелостью и почти вдохновением, он сделал ...сколько шагов вслед за другими. И тотчас с беспокойною силой ...о обуяло сомнение, хватит ли денег. Поспешно он сунул руку ...карман — там было пусто.

Николка не сразу поверил себе, не сразу и понял всю глубину ...стигшего его несчастья. Он ...ил опущенной в полушубок ру...й правую полу и быстро ...ал ощупывать снизу левой рукой ...рман. О людях Николка ...был; на него натыкались, какой-то бри...ый молодой человек толкнул его в сторону; у Николки только ...ея невольно мотнулась в ответ на эту обиду, но до сознания она ...е дошла, так он был поглощен своею бедой, приходилось ей ве...ить. И когда окончательно убедился Николка, что от всего бо...атства его ничего не осталось, сердце его на минуту остановилось, ...отемнело в глазах. Никто на фигурку его, прижатую к стенке про...ода, однако, и не взглянул, а если кто и посмотрел мимоходом, то ...празднично сыто и равнодушно.

Николка сдержался и не заплакал, но горько было ему; ноги ...ступали, как онемелые, губы зажал, сам того не сознавая, как суро...ый покойник отец. Так он шел, пока не свернул опять на Калуж...скую. Тут было тише, темней, заработала снова Николкина неглу...ая голова: конечно, покуда стоял, какой-нибудь городской про...ворный мальчишка слазил в холщовый его, деревенский карман... И как он до этого себя допустил! Как рассказать Глухарю, или баб...ке, или самой Вере Кирилловне? Нет, никому, никогда!

А обида его все росла. Николка шел тихо, его обгоняли. Целая ...стая ребят переходила дорогу из переулка; еще издали Николкины ...уши торчком — различили свистки, щелкание деревянного соловья ...во рту. Все эти сокровища могли бы быть и у него... Услышал он ...также чьи-то слова о панораме, о русско-японской войне и об осаде ...крепости Порт-Артура. Николка соображал, все это мог бы увидеть ...и он... Один из мальчишек, проходя мимо Николки, пронзительно ...свистнул ему прямо в ухо, а другой, с другой стороны, покуда обер...тывался, выдул в щеку длиннейший «тещин язык». Николка и сам, ...может быть, сделал бы так же, но в эту минуту горечь и злость так

захлестнули его, что он, размахнувшись, не думая, ударил по шее одного и другого с изумительной быстротою и ловкостью.

Гвалт и крик поднялись возле Николки, кто-то схватил его за ворот, но Николка рванулся и отбежал. Тогда началась перебранка; на Николку наступали время от времени, он политично, медленно пятился, однако ж не убегал: одновременно из гордости и из осторожности, по давнему опыту зная, что спину подставлять не годится — опасно. Николка ругал мальчишек ворами, и это звучало так веско и убежденно, что противники были даже немного в смущении.

Николка опять повеселел: битва осталась за ним, и он за себя постоял.

Становилось вовсе темно. Николка ускорил шаги. Он шел и поглядывал по сторонам, припоминая дорогу. Кое-где он прочитывал надписи — на лавках, домах. На одном из домов на углу, серов, нарядном, с кисейными занавесками, у ворот была надпись: «Дом действительного статского советника Александра Петровича Кривцова». На минуту мальчик остановился. Он знал, что сюда отправилась утром Вера Кирилловна, что тут и Сережа... «Вот бы зайти...— подумал Николка.— Какой-то он стал?» Посмотрел еще раз на занавески, помялся: никого не видать, стоят цветы на окне. Николка тряхнул головой и отошел. Боевой задор его, бодрость снова поникли, увяли. Путь не близкий еще по прямой, не очень веселый — к себе, к Глухарю, на постоялый.

Там было темно, керосиновая лампочка на проволоке слабо коптила; хозяйка спала; спал и Глухарь на лавке под образом, отсыревшие валенки его сушились на низкой загнетке, а онучи, размотавшись, лохмотьями, как клоки паутины, свисали с согнутых, худых его ног. Николка присел на краешке лавки; вечер долог был впереди и одинок, Веры Кирилловны нет и не слыхать. Мальчик еще покрепился, но ненадолго, заморщился нос, зачесалось у глаз, и Николка дал наконец волю слезам.

IV

Обед у Кривцовых прошел с большим оживлением, во всяком случае таково было начало обеда.

Александр Петрович поначалу было поморщился, узнав, что жена пригласила остаться учительницу, которую он вовсе не знал и склонен был подозревать нечто классически серенькое. «И у тебя не хватило такта уйти, отказаться»,— подумал он, досадливо морща левую бровь, но когда увидел Веру Кирилловну, то быстро смягчился, стал разговорчив и оживлен. Ему весело было смотреть в это молодой девушки, на котором никак не утаить здоровья и жизнерадостности, аппетитно ее было смущать кое-какими намеками, а то и прямыми вопросами, хотя бы о том, кто на селе из деревенских парней «поет ей по вечерам серенады». Вера Кирилловна

[illegible]ного краснела, но, сверх ожидания, не терялась, давая удачные реплики.

После кофе, фруктов, ликера, закурив, с разрешения дам, сигару из ящика, глава семьи позволил себе нескромное замечание:

— А мне истинно жаль, что вы должны проводить зиму в деревне. Даже в мои лета,— он разгладил при этом пушистую над салфеткою бороду несколько полными своими, крепкими пальцами, делая вместе с тем паузу, чтобы дать гостье возможность оценить по достоинству замечание его о летах,— даже в мои лета рано упечь себя в деревенскую глушь. Ну, а в ваши... притом же при вашей... Агния Павловна внимательно посмотрела на мужа, но он спокойно и как бы с особенным удовольствием докончил: при вашей счастливой наружности, это просто, за откровенность прошу извинить, грех, и немалый.

Закончил Кривцов, помолчав, грубовато и неожиданно:

— Да, как ни верти, а деньги великая вещь.

— Александр Петрович...

— Простите меня, [illegible] хозяйку Вера Кирилловна, и голос ее несколько дрогну[illegible] у Агнии Павловны учу не из-за денег... Хотя и в [illegible] дурного нет. Мне же... знаете, что...— Вера Кирилловна [illegible] в упор на хозяина дома большими своими черными зрачками, ободок потонул в них бесследно,— просто мне весело в школе.

Александр Петрович невольно на нее залюбовался: было похоже, как если б сейчас, в феврале, подали на стол тарелку со свежими, зелеными огурцами. Однако ж почел он за лучшее, не выдавая себя, пробормотать:

— Идейность. Самопожертвование. Что ж...

При этом он шевельнул ртом, приподнял высоко левую бровь и тотчас же опустил, кинув одновременно перед собою перстами с сигарой; все это, взятое вместе, он предоставлял понимать, как кому вздумается, за шалость и вызов или за скрытый и тонкий сарказм.

Вера Кирилловна тонкостей этих не оценила.

— Только не самопожертвование,— возразила она уже совершенно спокойно. - Мы не так уже с вами расходимся: вам хорошо и весело здесь, а мне там. Я не знаю, отчего это так. Может быть, действительно оттого, что я молода, но с ними мне лучше и гораздо лучше, чем в городе, чем... Зачем же мне выбирать для себя дурное и скучное?

«Чем... чем со мной?.. Однако она начинает дерзить»,— подумал про себя уже с некоторым раздражением Александр Петрович. Вслух же заметил кратко и сухо:

— Это по меньшей мере оригинально... ваш взгляд.— И, обращаясь к сыну, добавил:— Сережа, иди к себе, ты устал.

Сережа послушно поднялся. Весь этот обед он промолчал, не отрываясь от Веры Кирилловны, жадно слушая, как бы вдыхая са-

мый голос; он бередил в нем тысячи теплых и вольных воспоминаний...

Кочевание с места на место вместе с вождем разношерстных отар, восьмидесятишестилетним Архипом, с «поддужными» его пастушатами, вольной и ободранной голытьбой, пережженной солнцем и ветром, как корочки черного хлеба; игра с ними в «ножички» или в «ладыжки», а то и попросту драка; купанье в старом пруду под корявыми, низкими ветлами; тоска и раздолье гармоники; гулкие звуки упругой земли то под ударом цепов на селе, то под топотом пляшущих ног; глухой и сдержанный свист ремня на молотилке в усадьбе, дрожание и вой барабана, фырканье в теплой испарине лошадей у привода, шелест сухой, свежей соломы, сизый дымок из трубы, холодные яблоки; яркий кумач и позументы у баб, теплый туман в праздничной церкви, таинственный треск горячих свечей перед образом, вымытые чисто-начисто дома полы, жаркий пирог; изморозь, рубка капусты, купанье и стрижка захолодавших овец; на кухне долгие зимние вечера с каганцом и со струной шерстобита, со свайкой и лыками, с запахом новой пеньки и свежего хлеба; и снова весна, зеленя, ручьи и проталины, «куриная слепота» по лужкам и на дворе «птичья гречиха»... Боже мой, это деревня, это ее голос, похожий на талую воду в ловушке, это Николка Сорокин, это Сережино детство. Это то, что, казалось, прошло и вот по-деревенски покликало.

Ему мучительно не хотелось идти, оторваться от свежей воды. Но идти было надо. Он было решил попросить у отца позволения пойти повидаться с Николкой, но, кажется, лучше смолчать. Сережа глубоко вздохнул, лицо его стало печально.

Вера Кирилловна поняла его.

— Прощайте, Сережа, сказала она и улыбнулась.— Поклониться Сорокину?

— Да. Пожалуйста... Да,— ответил ей через силу Сережа.

— Какой еще это Сорокин?— спросил, уже не скрывая недовольства, отец.

— Николай, сын Федота Игнатыча покойного,— ответила за Сережу Вера Кирилловна.

— Пустой малый, такой же каторжник вырастет, как и отец.— И Александр Петрович шумно и недовольно встал.

Сережа повернулся и вышел.

— Пойдемте ко мне,— быстро заговорила Агния Павловна, так же вставая,— вы хотели мне показать их тетради.

— Сочинения?— брезгливо-обиженно протянул Александр Петрович.

Никто не ответил ему.

— Боже мой, боже мой... Бедный мой мальчик!— по дороге к себе, уводя Веру Кирилловну, прошептала, как и давеча, Сережа на мать.

V

Вера Кирилловна вышла от попечительницы с чувством тяжести, отчасти — недоуменным; ей глубоко неприятен и чужд великосветский барин Кривцов с холеной его бородой, с медлительной, самовлюбленною речью, и жалко до слез красивого мальчика с прозрачною, тонкою кожей, однако ж не вовсе изнеженного, высокого для небольших своих лет, еще сохранившего деревенскую крепость; но он уже знал и печаль, может быть горечь: брови его были тонки и круты, под точеными, четкими дугами их глубоко мерцали глаза — острые, очень внимательные, совершенно коричневые, и когда он сидел, сильно задумавшись, странно лицо его и голова походили на голову степного в неволе орла, одинокого и печального. Но не совсем понятна была и возбуждала в душе томление и смутное беспокойство — Агния Павловна.

После обеда была еще сцена.

Александр Петрович куда-то собрался, приказал заложить лошадей. Агния Павловна попросила, чтобы зашел. Обе они сидели и разбирали тетради мальчика — не слишком внимательно; что-то томило ее; порою перебирала пальцами, тонкие пальцы ее приметно дрожали.

Вера Кирилловна также была немного взволнована. Кое-что раньше слыхала об Агнии Павловне, кое-что нынче открылось. Знала, что юность свою, полных семь лет, проучилась она в Смольном монастыре; в нем две половины, и поместили ее в отделении самом аристократическом, хоть и была не слишком богатой и всего только киргизской княжной. Но, верно, сама ее кровь хранила в те годы кочевую свою, кумысом от кобылицы вспоенную вольность, степную неукротимость, и немало хлопот в институте она доставляла церемонным, напудренным дамам. Вера Кирилловна знала все это от тетки своей — молодой и светской дамы, петербуржанки. Теперь и следа от былой этой порывистости не оставалось. Вера Кирилловна пристально, жадно глядела на тонкое лицо Сережиной матери, полное еще красоты, неправильное по чертам, но обаятельное в нежном своем своеобразии, — и какая же глубокая была разлита в нем печаль, усталость!

— Я старалась всегда, — сказала ей Агния Павловна, — хотя бы мальчику дать, в чем самой отказала судьба, ни в чем ему не перечила... И вот...

В эту минуту вошел и Александр Петрович; во фраке он был великолепен; жена ему встала навстречу.

Разговор по-французски был короток: очень настойчив вначале с его стороны Агнии Павловны и столь же холодно-непреклонен в отрывистых фразах Александра Петровича; кажется, он и не подозревал о том, что Вера Кирилловна их понимала, потому что несколько колкостей было отпущено и на ее счет — довольно-таки неприкрытых и даже нескромных. Она не сочла за нужное на них отозваться; вместо того мыслью, глазами всячески поддерживала Аг-

нию Павловну. Но Александр Петрович вдруг сразу и грубо все оборвал.

— Никаких моему сыну я не позволю свиданий с грязным мальчишкой... Бог знает что! — выпалил он уже откровенно по-русски и, быстро оборотившись, толкнул перед собою дверь.— Да что же у вас? Целый тут заговор! Пошел сейчас же к себе, без разговоров!

Захлопнулась дверь, и больше Александр Петрович не появлялся.

Вера Кирилловна догадалась тотчас, что это был бедный Сережа; она даже привстала и сама ощутила, как кровь прилила с шумом к вискам, а щеки ее запылали огнем, готовым на дерзость.

Агния Павловна, не размышляя, почти побежала к дверям, былая горячность вспыхнула в ней. Но Сережа уже отошел, и у дверей внезапно она остановилась, слегка пошатнулась, оперлась головою о притолоку. Вера Кирилловна быстро к ней подошла, но Агния Павловна слабой рукой, остатками гордости, ее отстранила; в лице ни кровинки, силы совсем покидали ее. Немного помедлив, неверной походкою она возвратилась к столу и, не садясь, опустила бледную руку на стопку деревенских тетрадок.

— Вы мне оставите это...— сказала она.— Вы извините меня. Мы еще с вами увидимся... приезжайте на пасху... А может быть, и я...

Агния Павловна не кончила, но Вера Кирилловна поняла, что она отпускает ее, простилась и вышла на воздух с чувством тяжелым, отчасти — недоуменным.

Теперь она шла по узеньким тротуарам затихавшего города, между вечерней талой и ласковой мглы; легкий, чуть слышимый, подобно вздоху, падал над нею снежок, орошая ей щеки зыбкой росой, но Вера Кирилловна слабо его ощущала, щеки ее еще не отгорели.

«Как птица, которую на моих глазах подстрелили...— думала она не слишком отчетливо.— Нет, пожалуй, не так... скорее как льдинка весной под тяжелым чьим-нибудь сапогом... Нет, и это не то». Она все ускоряла шаги, забыв о дороге, но ноги сами остановились — точно, где надо.

Вера Кирилловна поднялась по скользким ступенькам крыльца, но в темных сенях остановилась. Просачивался и через дверь тяжелый, смешанный с сивухою запах от спящих людей: направо в закуте, хрюкала и ворошилась свинья, оттуда несло уже чистейшим навозом и кислою, застоявшейся жидкостью. Вера Кирилловна для себя неприметно вздохнула, но все же и это было уже для нее облегчением. «Все это хоть излечимо»,— несколько странно, но именно так подумалось ей. Она сняла шапочку, тряхнула кудрями и провела рукою по шее — снежинки растаяли, кожа была прохладна, влажна. Девушка улыбнулась, нащупала скобку у двери и отворила.

Николка заснул, как сидел, на краешке лавки, ближе к загнетке; вихрастая голова его покоилась на Глухаревых онучах, коли смешно, несколько жалко, были подогнуты. Вера Кирилловна тот-

...различила следы Николкиных слез,— легоньким мехом покрыла ...копоть.

— Ну, путешественник,— сказала она, вытирая платком заплаканное, сонное его лицо,— собирайся домой.

Решение это Вера Кирилловна приняла как-то сразу. Ей думалось было: вечер пройдет у Кривцовых, или билет взять в театр, вообще в городе как-нибудь ей немного развлечься... но сейчас от всего этого как бы отмахнулась рукой. Домой, к себе, ночью, на лошадях... как хорошо!

Николка вскочил и, еще не проснувшись, чтоб не упасть, широко раздвинувши ноги, уперся в пол. Но постепенно он начинал соображать, и лицо его стало раздвигаться широченной улыбкой, самые уши зашевелились, как у доброй коняги. Немного соснув, он снова обрел невозмутимую свою ревность и крепкое расположение духа.

— А здорово я их отделал,— сказал он и почесался.

Это воспоминание покрыло все остальные, и денег было не жаль. Вера Кирилловна подумала, что это со сна, а сам Николка больше не распространялся. Он собирался было спросить про Сережу, да не то отложил, не то и вовсе раздумал. Промолчала со своей стороны и Вера Кирилловна.

Глухарь был мужик белоглазый, покладистый, хорошо отдохнул за день и конь. И так и тихоньку выбрались из города. За последней околицей пахнуло на них свежим степным ветерком. Николка поближе прижался к Вере Кирилловне.

— Погляди-ка на город,— сказала она.

Мальчик полуобернулся, не очень охотно, и поглядел косым глазом. Город теплел огоньками по скатам реки, было красиво и мягко для глаз. Но Николка всего только неодобрительно промычал себе под нос.

— Мальчишки в нем безобразные, озороваты... Да и трусы.

Вера Кирилловна слегка удивилась. Немного пообождав, она возразила:

— Не все же. Ты знаешь, Сережа...— Вера Кирилловна не очень знала, как ей начать.— Сережа хотел с тобой повидаться, да его отец не пустил. Он нехороший человек, недобрый... злой. Бабка твоя добрее куда! Да и вообще, знаешь, Николка, по правде сказать, тебе куда лучше живется. А тебе бы хотелось жить в городе, а? Тебе понравился город?

Николка не отвечал.

Вера Кирилловна пригнулась, прислушалась и явственно различила посапывание — Николка заснул.

Не раз и не два замечала Вера Кирилловна, как подозрительно покачивался на своем посту и Глухарь. Отлично следила за этим и лошадь, тотчас убавлявшая ходу; раз даже она и вовсе остановилась. Но тут столь же чутким себя оказал и возница. Он сейчас же с особенной бойкостью мотнул головой и задергал вожжами. Легкая дрема подчас одолевала и самое Веру Кирилловну. Многое ей приходило на ум, о чем-то или о ком вздыхала она, полуразмышля-

ла, полусожалела, быть может, о том, от кого и сама убежала в деревенскую глушь. Но сожалеть ли? Вставала опять, под ровный скрип полоза, фигура у двери Агнии Павловны, ни кровинки в лице, узкая, с синими жилками, воплощение жалости, с узким колечком рука. «Нет, поживу еще так... вольная волюшка лучше всего»,— размышляла Вера Кирилловна в полусне, и пальцы ее в теплой перчатке, не отягченные кольцами, тепло шевелились.

Близко к рассвету Вера Кирилловна на опушке сине-серовато леса издалека еще различила молодую березку, несколько выступившую ближе к дороге; верхушка ее кем-то была варварски сломлена и низко висела к земле. Вера Кирилловна сдвинула брови. «Не птица, нет... и не льдинка...— быстро она повторила себе,— вот, вот... бедная Агния Павловна!..»

Неожиданно к ней обернулся Глухарь. Он кнутовищем показывал ей на то же искалеченное деревце; Вера Кирилловна видела сбоку, как жиденькая бороденка его затряслась.

— Вишь ты, вишь!— заговорил он с таким для себя необычным негодованием.— Подлость какая! Этого каторжника самого бы я надвое перехватил!— И долго еще в этом же роде бормотал он, постепенно стихая, в путаные свои, с белым налетом усы.

Грубою суровою ниткой местами были затянуты дыры на Глухаревой сутулой спине, полушубок на нем сидел как мешок, но и через него были видны узкие, торчащие лопатки. Вере Кирилловне не захотелось провести рукою по ним, что-то от сердца у ней отлегло. Но она не сделала этого, только приподнялась, села опять и принялась тормошить совсем утонувшего в веретье Николку.

Остальную дорогу, уже недолгую, всю они проболтали вдвоем и в деревню, домой, въехали весело. Николке уже не терпелось он ерзал на месте, выглядывал и что-то себе под нос бормотал. Целая куча былей и небылиц, занятных рассказов о городе и о своем путешествии, томила его. Первый, конечно, Буян... да не его ли хвост там болтается? Бабка — вторая; товарищи... Как он давно всех не видал!

VI

Проходя без цели по коридору и услышав в комнате матери громкий ее с отцом разговор, Сережа, преодолев внезапное замешательство, решился было войти — попросить повидаться с Николкой. Он помнил еще раздражение за обедом отца, но не слишком тогда его понимал, да и просьба была, как казалось Сереже, не такая уж важная. Однако у самых дверей что-то его остановило, и пока он стоял и колебался, внезапный удар едва не сбил его с ног. Первым был отец, и, оторопев, Сережа его почти не узнал. Он хотел было спросить, что с ним. Но чувство, непонятное ему самому, удержало. Помедлив мгновение, Сережа удалился к себе, и пока он шел по коридору, в противоположную сторону гулко раздавались раздраженные шаги отца. Мальчик вспомнил и потом, позднее

...гим, тяжелые эти, все замиравшие звуки, и смутно начинало ка-...лося ему, что это уходит из его, Сережиной, жизни — гордость и восхищение — великолепный его отец.

Сережа теперь понимал, что все это вышло из-за Николки, из-за Веры Кирилловны. Отец не любил и презирал все то, что с та-кой отрадой пахнуло на мальчика. Мамочка за него заступилась, но он и ее оттолкнул. Да, Сережа не знает еще, как все это осмыслить, но он ясную чувствует трещину и не ведает только, как перешаг-нуть ее, да и... нужно ли? Никогда он не знал этого чувства к отцу.

Заходила и мать, оба они поплакали вместе, но настоящего об-легчения это Сереже не принесло.

Вечер был длинен и тягостен. Сережа томился как никогда; глухо и тихо в праздничном доме, беспокойно ему. Александр Пе-трович из клуба не возвращался, мать у себя, у нее мигрень. Ничего не радовало Сережу, самый сегодняшний бал потускнел и померк, и даже Сонечка Верхоланцева — то, чего никому, никогда... ...ок, набежав в коридоре, с разбегу она Сережу поцеловала и потом отступила, смущенная, розовая, с розовыми бантами на коротких косичках, и убежала опять, еще стремительней, прошумев, как ветер-ок между кустов.. даже и это, Сережину душу полонившая ла-сточка юной весны — и она ...лась зыбким туманом. Что-то ме-шало Сереже остаться с этим своим воспоминанием, отдаться ему.

Он сидел у себя, бра...книгу и оставлял, бродил по опустевше-му дому; успокоения не было. Бал и отец; Николка и Вера Кирил-ловна... День его раскололся на две половины, и их никак не скле-ить; и это точно меж ними бродит Сережа, мальчик с головою орла, в городской богатой квартире.

Он наконец решил лечь, не дожидаясь ни чая, ни ужина, но ко-гда облачился уже в длинную свою ночную рубашку, с новою си-лой охватила его невыразимая грусть. Он сидел на постели, согнув колени и обняв их руками; на ночном его шкафчике горела свеча, она оплывала тихонько, с едва слышимым шелестом, с легко ощу-тимым теплом; такие же вот готовы были закапать и Сережины сле-зы. Как одиноко! Уснуть, не простившись с матерью...

Мальчик поспешно спустил ноги с кровати, сунул их в туфли, взял свечку и, длинный в своем балахоне, пошел; запрыгали по пу-ти его тени, золотой ободок неспешно пропыл по самовару.

Сережа осторожно постучал к матери в дверь, ему не отозва-лись. Тогда он вошел и огляделся. Агния Павловна спала; узенькие лакированные туфельки ее выглядели на кушетке так сиротливо! Сон не смягчил ни утомления, ни горечи на лице; в неверном пламе-ни свечки по нем, казалось Сереже, пробегало еще живое выраже-ние страдания. От боли и жалости у мальчика похолодело в висках.

Агния Павловна уснула, быть может, читая, быть может, много спустя после чтения: на столике рядом лежала стопка синих тет-радок.

Сережа стоял и глядел на мать, в душе его что-то перегорало. Ему, как большому, захотелось взять ее на руки и унести куда-то

далеко отсюда, где было бы все по-иному — просто, цельно и хорошо.

Машинально тронул Сережа рукою тетради, развернул, поглядел. Заголовок везде был один: «Поступление в школу». Сережа порылся, нашел одну и начал читать.

«Поступление в школу.

Раз мы сидим, обедаем. Пришел староста, постучал в окошко, чтобы мы шли записываться на завтра в школу. Отец-покойник сказал: «Ну, Миколка, твой талан». А я говорю: «Слава богу. А кто приедет?» — «Учитель либо учительница». Я не стал обедать, побежал к Петьке Шумкову, а там сидел Степан Лифаныч. Он и говорит: «Ну ребята, теперь берегите свои уши, ладно учительница смирна будет, а то все выдерет с корнями — новых не вырастишь». Тут я испугался. Пришел понедельник. Я боялся идти в школу, а староста как крикнет, ну, я и пошел. В школе я увидел на стенке царя и царицу, стол, шкаф, а на шкафу шар. Учительница показала буквы. Стали считать на пальцах. Я все боялся, что она будет спрашивать и что я ничего не скажу, а она за уши отдерет. Потом ничего, отошел, как стали картинки глядеть. Когда мы пошли домой, у меня сердце петухом прыгало. Мы все радовались, дрались и толкали друг друга, больно нам в школе показалось. Потом я осмелел и стал озоровать и домики рисовать.

Николай Сорокин»

Сережа, окончив чтение, отошел к окну и прижался лбом к холодному стеклу; оно отпотело, и от теплоты Сережиного лба побежали струйки; другие, такие же, бежали из Сережиных глаз по лицу, он их не замечал.

Ни о чем важном — о своей судьбе — теперь он не думал. Он забыл обо всем и одного хотел: позвать громко Николку с крыльца и услышать, как он отзовется в овражке из-за крапивы... да увидать его оттопыренные, почерневшие уши, с нависшими на них, как над застрехою крыша, белыми соломенными волосами, да разглядеть улыбку на широком лице — широкую: от уха до уха.

Много потом будет событий в жизни Сережи, но этот вечер не минет бесследно. Всегда так бывает. В нужный момент посылает судьба — человека, книгу, часто одно случайное слово: это забота о нас, предостережение чье-то; надо только понять.

1911, 1919
Тула, Москва

САД

По-жалостному если сказать — каморка, закута; на опросных листках, что развелись несть числа, называют иначе — даже не комнатой, а целой квартирой, и идет она под особым номером, не очень счастливым — номер тринадцатый, а про себя и вовсе именую ее моим домом: с работы иду не куда-нибудь, а домой. Дом мой в подвале, рядом с другими такими же по коридору; длина его — пять с половиной шагов, ширина — почти три; окошко выходит в глубокую яму, издавна в ней были мусор и грязь, осколки стекла, всякая заваль; но и это местечко — мое: балкон напзнанку. Я его вычистил этой весной, принес в решете с Девичьего поля земли и обратил за высоким кирпичным забором не во что-нибудь [illegible]. И когда, в обхватку руками, нес решето, кричали грачи [illegible], мокрое солнце ложилось вдоль улиц и грело мою [illegible] землю, дышала весна в комочке земли, а думы мои над ним [illegible], как облака или как некогда дух над новорожденной [illegible] планетой. Таким же кусочком тепленькой грязи.

И вот: посредине подоконных, тощий и тихий, с не тяжелой, но лентами желтыми обвешанной шапкой, а округ него кудреватый подсед птичьей гречихи, несколько кустиков щавеля, былинки ромашек; по стенке горбатая в корне полынь, лук по углам. Хорошо мне глядеть на всю эту роскошь и грустно.

Хорошо потому, что человеку без радости, какой ни на есть, на свете жить невозможно, и еще невозможно ему жить без мечты, а грустно подчас на деревянном моем табурете в вечерний палевый час у садика моего тихо посиживать, может быть, оттого... но тут не обойтись без целой истории.

Как бы ведь ни был сам по себе незаметен и мал самый последний на земле человек, но и у него в голове — осколочек солнца, свой разум и свет, а потому другие все люди, сколь бы они на путях нашей жизни ни казались великими, только вокруг скромного этого светила в некоем череду обращаются, уподобляясь планетам; но и в груди у него — горячее сердце, уголь пылающий, а значит — и боль и восторг.

С юных лет моих был я пристрастен к раздумью, к чтению книг. Семья возрастала у нас большая, бедовая. Отец был кузнец, мать бегала прачкой по купеческим в городе М*** богатым домам, но оба не унывали; кое-когда на гроши любили кутнуть, пели веселые песни, а мы, куча детей, веселая голытьба, им подпевали. Между других замешался и я, самый последний, жадный до жизни, все примечающий, но не из слишком веселых; жил и тогда некий во мне червячок: «На Васю накатывает»,— говорила дьячихе-куме раз-

думчиво мать и поила меня водой с уголька. Но и вода не помогала. Помню, бывало, в закатный осенний денек забьюсь около вешалки в угол, сереют вечерние тени, дома нет никого, братья и сестры на улице, на каждодневной работе мать и отец, и только под божницею рыжие по рыжим обоям шуршат прусаки — и такая тоска упадала на душу и, как под серой золой, так разгоралось в груди, так закипало, словно смолою, детское сердце: обида ли в нем, недоумение, злость — не умею назвать, но только что грудь обжигало. Может быть, это было... предчувствие.

События развернулись не сразу. За долгие годы всего у нас в доме перебывало... Особенно памятна мне глухая одна зима, когда мор прошел по всей нашей округе; разорились и мы на гроба, всех троих моих братьев, одного за другим, а несколько позже и мать отвезли на вечный покой; трава на кладбище раскустилась в ту весну особенно пышная... Со старшей сестренкой также случилось несчастье: обольстил и увел ее в Петербург шустрый проезжий приказчик; позже дошли до нас слухи, что судьба ее не миновала; сама подать о себе верную весть, видимо, стыдилась, совесть не позволяла, но через людей знали соседи, а позже и мы, про ее невеселую жизнь. Две другие сестры в росте остановились, и когда было каждой из них уже за двадцать, оставались они как бы подростками, но были одновременно некрасивые, кощие, с мочалками желтых волос за ушами — как женщины, испытавшие бедность и горе; обе ходили за мать, работа томила, веселость пропала, песни погасли. Что до меня, я возрастал... да вот как самая эта горбатая в корне полынь, что между камней в подвальном саду моем горькими корешками своими засела в расщелинах камня. «Корень позднего посева», — от кого-то слыхал я и горько запомнил.

Помогал я отцу. С годами и он почернел от работы, от горя, от едкой сивухи. Но все еще был силен, кряжист. Любил я его, но ни словами, ни другим чем любви не обнаруживал — в семье у нас этого никогда не водилось. Работаем оба, молчим; в летний горячий день пот упадает на наковальню, жаркие оводы вьются над полтянутыми кверху конями, железо шипит, пахнет копытом; обернешься испить из кувшина — слышно, глаза отяжелели, легкий морок пробежит по бокам... Погляжу на отца — как обожженный громом коряжистый дуб... улыбнусь про себя и опять за работу.

Так прошел не один — целых три года, и вот был ветреный летний денек после дождя, пыль улеглась, работы немного, я в кузнице один. Сижу и читаю листовку с яркой картинкой. Обложка замечательная: с кресла полупривстала красавица, платье ей узко в груди, точно бы самую душу зажали ей крепко-накрепко, и красота, и княжеский сан, последнее — верно; перед нею крестьянский сын, кудри назад отмашь, беглый разбойник. Напрасно корят огулом лубки, в них много и живости чувства и правды; нам это снизу видней. И моя ведь история в этом же роде, как говорят — романтическая.

От книги не отрываюсь, сердце размякло, редко когда так мягко стучит оно в нашей корявой груди... Но между тем слышу, как

...-то вблизи припадает повозка, одного колеса не хватает — стало быть, к нам, остановилась. Поднял глаза... и обомлел. Как взглянула из тарантасика та, что сидела, так навеки в сердце канула, та самая, о которой читал! Так же полуприставши, так же белую ручку в перчатке слегка отвела, локон у глаза... Но и не та: не пышная и не жаркая — легкая, будто пичуга летит, или сейчас развеется облаком, а в глазах... невеселые были прекрасные эти глаза, тоска в них и грусть...

Однако же улыбнулась, как я мигом вскочил и на нее болваном уставился. Молодость — это дивное диво: у нее, что бы там ни было, всегда и над печалью, как над вечерним прудом, касатки, вольные птички, чертят простор.

И милой улыбки той мне не забыть. Я даже себя не узнал, такое тепло пробежало по жилам, речь развязалась, смешно и сказать — ловкость какую-то, статность в себе ощутил, как подлетел к тарантасу.

— Мигом исправим, — сказал я, — не извольте, сударыня, беспокоиться.

— Пожалуйста, — ласково попросила она. — Ты, Семен, после подъедешь... или нет... лучше потом. Я справлюсь с делами и просто приду сюда сама.

Принял я это последнее как царский подарок и даже в душе возгордился. Шла она к мосту, а я глядел вслед, покуда Семен, бородатый мужик, не хлопнул меня по плечу.

— Что, паренек, загляделся, — сказал он, — на нашу княжну Тараканову?

Избавил господь, ни одного грубого слова он не добавил, иначе... Не знаю, может быть, просто уложил бы его тут же на месте. Напротив того, мы скоро разговорились, и много от него я разузнал; странные вещи узнал я.

Конечно, она не княжна, про Тараканову я и сам раньше слыхал, но, однако ж, из знатных, родная племянница помещицы Б*, а приехала сюда из Москвы и не столько для тетки, как для... острога.

В городе нашем стоял на отлете, по большаку, белый острог, и придана была ему с некоторых пор особая важность: устроили в нем пересыльный пункт для политических. И стремилось туда ее сердце, в каменный этот мешок, где сидел в заключении Валентины Максимовны, московской красавицы нашей, милый жених.

— И чудно, — говорил мне Семен, — добро бы он был господин или студент, а то, говорят, из простых, почти что рабочий.

«Так, так», — думал я; мне и сладок был этот рассказ и горек до чрезвычайности. Молот, как бил, тяжело вздымался в руку; мысли кипели, плавилось сердце.

Шина была уже вовсе готова, как я, поправляя заклепку, в смятении чувств последнего удара не рассчитал и грохнул с размаху по пальцу. Боль была дикая, но и дикая радость: это из-за нее, это на память.

И была мне отрада еще, как воротилась она. Увидела кровь через корявую мою тряпицу, сдвинула брови, как от укола, сама, но тотчас и оправилась, очень внимательно на меня посмотрела и очень заботливо вновь перевязала сама, настояла; платочек был нежный и маленький, шел от него запах духов.

И так начались мои страдные дни, и возгорелись во мне все мои спавшие страсти. Тут и любовь, глупая и безнадежная, и еще того больше нелепая ревность, и безотчетный восторг, и новый мой, образом этим возглавленный иконостас; так есть же на свете те люди, что, вопреки всему, движут шаги и труды и самую жизнь готовы отдать за несчастных и обездоленных, что восстают против судьбы, так и она среди них, так и она — за нас... да, за сестру, что там, в Петербурге, и за наших, покойных, не устоявших, и за живых — за отца... за меня! Чем же я отплачу, как не тем, чтобы стать рядом? Но как? И ей, собственно ей, как я хотел бы, бессильный, помочь, хотя бы для этого надобно было и самое сердце... разбить. Но что мое сердце! О, научи меня бескорыстию жертвы, решимости в поступи, я жажду их так, как ничего никогда! Так я взывал и томился в бессонные ночи, мечтал, проклинал и любил горькой моей, но и пламенной, чистой любовью.

И время пришло, горячее, дорогое. Война, забастовка, Дальний Восток и Москва. Когда теперь [illegible] это — как руки, что простирала земля к нашим великим и [illegible] годам, и девятьсот пятого года мне не забыть и в семи [illegible]. Время пришло, и как раскаленную сталь вяжут узлом, так и [illegible] в моей жизни в короткие дни связало в одно самое страшное и [illegible] — навеки — мне драгоценное.

— В городе М*** тогдашние дни были бурны. Я в эти дни не узнавал и старика отца. Он выпрямил спину и был как гигант на зареве очистительных наших пожарищ.

Мы все громили острог, и когда опустели проклятые камеры, его подожгли; дымно и весело, людно было вокруг, люди тесались, кричали, и крики были похожи на дикое, вольное пение: таранили бревнами самые стены, чтобы сровнять их с невинной землей — без остатка: коли уж делать, так начисто! Отец улыбался мне в клубах горячего дыма, и эта улыбка была так же нежна, как и улыбка моей безнадежной любви; больше и выше мне не с чем сравнить ее.

Конца этого зрелища, этого действа, я, однако же, дождаться не мог, на мне лежала забота. Я нашел и опознал жениха Валентины Максимовны, я угадал его. Он был истощен, изнурен, но страшно похож — о этак случается! — на парня все с той же картинки. Я обнял его, как счастливого брата, и в эту же ночь поехал на усадьбу.

Судите, друзья мои, сами, как это было — свидание тех, я не могу и не стану рассказывать, ибо если молитву нельзя рассказать, когда подымается она, подобная пару, из безглагольной души, то и эта моя светлая ночь — как молитва моя, где тело — свеча и огонь не — светильник.

Я передал его ей с рук на руки, я не задержался, но, из дому уйдя, замедлил шаги. Утро выдалось теплое. Сад, осенний, уже поредевший, окутан был легким туманом, в тумане светила заря. Я ненадолго присел на скате к реке, и выпала мне минута раздумья.

И вот было так: все в груди улеглось, и не воды реки, не водопад, а тихое озеро, это душа моя, и озеро это — воздушно, и легкие видения возникают в нем, и не осенний, а полный цветов и аромата колышется сад. Что это было: только мечта или и самая жизнь, какою некогда придет и совершится она? Я не сумел бы сказать, но видение это осталось во мне — до срока.

В городе утром ждало другое. Отец погиб на пожаре, на него упало стропило; он умер на месте, но лицо его, грудь дико были обезображены.

Я скоро покинул свой город, переселился в Москву. Долгие годы шли тяжело, осенний мой сад покрыла зима, а о весне я и думать воздерживался. И сердце мое с течением лет одели морозные иглы, и на углах моих губ прикипела к словам едкая горечь.

Ни Валентины Максимовны, ни жениха ее (а позже, как слышал, и мужа) больше я не видал. Знаю, что оба не расставались, знаю, что вместе снова попали в Сибирь, может быть, там и погибли, а может быть, даже и здесь и — как это знать? — услышит она и мой, верный ей голос...

Но что до того? Дело не в ней и не во мне, и малые наши светила — душа да в хрупкой груди еще одна хрупкая вещь, горячее сердце, ведь и они только и живы одним великим огнем. Слава богу! И счастлив я верить, уже немолодой, при новом живительном свете, — все в ту же мечту моей юности: на месте острога, каторжной жизни — да будет полный цветов, благоухающий сад!

И ежели мой, перед окном, нищ и убог, и ежели горечь струится еще по горбику серой полыни, то все же не только мне грустно, друзья, но и поистине — хорошо.

Декабрь 1918 г.
Москва

Неувядаемая

Когда гости разъехались и я оставался последним из них, чтобы выехать к четырехчасовому ночному на станцию, любезный хозяин наш, доктор Лаптевской земской больницы Лев Николаич Чаковский, попросил у меня позволения снять сюртук и облечься в домашний костюм. Я перед ним извинился за то, что должен был в такую позднюю пору оставаться еще по крайней мере часа на полтора.

— Лев Николаич, если вы очень устали, ложитесь. А я возьму у вас что-нибудь из библиотеки, скоротать время до поезда.

— О нет, напротив, я очень рад, что вы остаетесь. Мне сегодня совсем не заснуть. Мы сейчас распорядимся о кофе и перейдем в кабинет. Извините, я на минуту.

Он вышел, и я остался один. Няня и горничная с усталыми лицами убирали из разных углов остатки вечернего пиршества — карты, мелки, сдвигали столы и расставляли стулья по стенам; доктор был любитель порядка, и у него после гостей все водворялось на свое место тотчас же. Я подошел к окну и стал глядеть, протерев стекло, в мутную осеннюю ночь. Ничего разобрать было нельзя, смутно темнел на дворе докторский неизменный плетеный возок с поднятыми кверху оглоблями да за ним неясные очертания зданий больницы и амбулатории, два освещенных в последней окна желтели сырым, расплывшимся светом, как два йодных пятна на больной, сероватой руке. По стеклам снаружи медленно плыли холодные крупные капли.

Стоял и думал я у окна под сухое постукивание передвигаемой мебели о только что минувшем вечере, о Льве Николаиче.

Это был очень веселый, жизнерадостный человек, отличный работник и общий любимец. Все наши дамы души не чаяли в нем и хворали с особенным удовольствием и даже, может быть, чаще, чем следовало. Его вечеринки бывали одними из самых веселых в округе. Был он приятнейший собеседник, ловкий танцор и хлебосольный хозяин. Однако — правда, не часто — выпадали порой и тяжелые для Льва Николаича дни, он делался замкнут, раздражителен, нервен; говорили, что он тогда пьет, запершись у себя, что называется, горькую. Впрочем, пьяным его никто никогда не видал. Большая фигура его дышала всегда несокрушимою силой, голова на широких плечах держалась обычно несколько гордо, а огромный, чуть тронутый желтизной, выпуклый лоб, еще увеличенный начинавшеюся лысиной, казалось, был освещен изнутри тем же светом, сдержанно сильным; что глядел и из глаз, низко погаженных под немного надвинутыми густыми бровями; они слегка раздвигались лишь при улыбке, а улыбка Льва Николаича была очаров-

ольной. Крутой, энергический подбородок его был всегда тщательно выбрит, большие усы, элегантно подобранные, оставляли совершенно открытым неожиданно свежий, молодой его рот, полный ровных, блестящих, сверкающих при улыбке зубов.

Лев Николаич был вдов уже несколько лет, с ним жила его девочка, восьмилетняя тонконогая Дорочка, рыжеволосая баловница. О прошлом своем, о жене, Лев Николаич никогда ни с кем не обмолвился словом.

Вечер сегодня не был удачным, и то, как держался Лев Николаич, мне представлялось несколько загадочным. Под обычной, привычно-сдержанною манерой его чувствовался тщательно оберегаемый от постороннего глаза надрыв. В карты играть он не сел, был больше с дамами и напропалую, злее и тоньше обычного, с ними шутил, превосходя сам себя, но все попытки забвения были детски и явно беспомощны.

Пока Лев Николаич [illegible], у меня было предчувствие, что он хочет что-то мне рассказать, и я не ошибся в этом предположении. Минут через пять я сидел у него в кабинете и слушал, не отрываясь от лица говорившего, [illegible] рассказ, крепко мне врезавшийся в память на долгие годы. Приступил он к нему, впрочем, не сразу. Докторский кабинет — [illegible] уютная комната во всем здании, приспособленном под квартиры, из помещения бывшей почтовой станции на Харьковском тракте; во всех других комнатах еще сохранился облик пустынно-холодной опрятности, здесь же было тепло, несколько тесно, старая мебель жила. Тяжелая лампа на окне у стола колебала нагретым течением воздуха штору, и мирно светило в дожде ее отражение за стеклом.

Кофейник уже принесли, и Лев Николаич сам занялся приготовлением кофе; делал он это спокойно, ловко и методически, как человек, привыкший к одиночеству.

Сейчас на нем была куртка из того рубчатого бархата вишневого цвета, видимо вывезенная из Парижа, какие носят во Франции рабочие и художники, и на распахнутой груди белела мягкая ночная сорочка. Над безжизненно-желтоватым пламенем спирта лицо его было мягко и очень печально; предстоящий рассказ смягчил уже, видимо, острую боль.

— Я рад, что вы еще остаетесь со мной,— повторил он опять.— В такую погоду мне одному всегда очень нехорошо. Мысли, знаете...

Помолчав, он полуспросил сам у себя:

— Кажется, кончили там?— и заглянул в гостиную, где убирали.

Там было темно; однако он запер тщательно дверь. В воцарившейся тишине едва слышно потрескивало в мертвенном пламени спиртовой лампочки под закипевшим кофейником.

После немногих, еще незначительных фраз, увидя на диван и приткнувшись в углу (я сидел в кресле напротив), Лев Николаич начал несколько глуховатым голосом так:

— Сегодня весь день не дает мне покою одна небольшая исто-
рия, конечно, в сущности, незначительная. Вам она может показать-
ся совсем пустяком... Но если, знаете, нервы шалят... Когда наступа-
ют осенние дни и такая вот... прелесть,— он кивнул на окно и, под-
нявшись, прибавил свет лампы,— нехорошо тогда на душе.

Вернувшись на прежнее место и как-то уйдя еще глубже в ста-
рый диван, он продолжал:

— Когда у меня умерла мать моей Дорочки,— а я ее, нужно
сказать, любил до безумия,— я совсем потерял было голову. Но,
как видите — жив и здоров. И спасло меня то, что я бежал ото всех
и от всего. Я бросил хорошее место, где все так было связано с ней,
и подал прошение в далекую глушь, на Кавказ. Вы не бывали там?
Север Кавказа — сплошная унылая степь, не похожая ни на Мало-
россию, ни на что вообще в мире. Зимы почти нет, но дуют такие
ветра, что в енотовой шубе дрожишь, как щенок на льду у водокач-
ки. А летом такая жара, впрочем, сухая и легкая, что Дорочка моя
садилась на террасе со мной за обед в одной... салфетке у шеи, ссо
сем голенькая. И целыми днями так бегала. Унылый край, но благо-
датный. Селения редкие: от нашей больницы в степи при очень
большой полукалмыцкой, полуказацкой деревне до другого села,
ближайшего, восемнадцать верст. Но дороги и кони прелестные.
Есть где и как потопить тоску.

Это, видите ли, верстах в шести от нас был хуторок одного
князька калмыцкого по реке. Сам князек уже умер от злейшей ча-
хотки. Они все почти сплошь туберкулезные, их кочевой организм
не выносит оседлости. Обреченное племя... Был он богат, имел два
табуна коней, три или четыре отары овец, дюжину верблюдов. Се-
мья их состояла из княгини-вдовы, ее женатого сына, старшей доче-
ри в Нахичевани, замужней, и Самбелик, младшей, шестнадцатилет-
ней красавицы. Калмыки не слишком красивы, это вы знаете, но
и в мужчинах с их кривыми ногами, массивными тазами, с характер-
ной монгольскою головой на сухой, жилистой шее есть своя при-
влекательность, от них пахнет кумысом, верблюжьим навозом
и собственным потом, не отличимым от конского. Но грузные эти
фигуры, мало и неуклюже подвижные на земле, преображаются ра
дом с лошадью. С воздушною легкостью взметаются они на седло
и, кинув поводья, пригнувшись, летят в желтоватый дымный про-
стор; мчатся они и поскрипывают от дикого восхищения желтыми
крепкими челюстями, взвизгивают по временам, припадая щекой
к разгоряченной, парной, дышащей шее своего скакуна, на лету ла-
луют ее.

Ну, а калмыцкие девушки... Я вам налью.

Доктор поднялся и, переплетя пальцы рук, хрустнул ими
с ожесточением. Он налил плоские чашечки кофе, положил туда са-
хару и заходил, не спеша, по ковру от двери к столу и обратно.

— Как мне вам рассказать про нее? Да вот...

Он выдвинул ящик стола, порылся и вынул небольшую люби-
тельскую фотографию.

– Вот она, Антарам,— сказал он глухо и коротко.

– Как Антарам?— переспросил я, думая, что доктор оговорился.

– Я потом вам объясню, ее звали и так.

На голой степи, удивительно переданной, с узкой полоской заката из-под толщи нависнувших туч, – я невольно представил и красавицу – стояла худенькая, очень стройная девушка с узким лицом, чуть-чуть выдающимися углами скул, с очень пышной и длинной косой, перекинутой наперед. Одна рука ее была отведена и схвачена снимавшим с необычайною живостью, точно только что сделала это откидывающее косу движение, другая опущена; очень тонкие пальцы ее с силою сжаты и так же несколько отведены в сторону, как на старинных иконах.

Должен сознаться, – и на этом выцветшем, бледном изображении она произвела на меня впечатление.

– Видите, дело все в том, что Самбелик часто гостила у своей замужней сестры в Нахичевани.

Доктор на карточку и не [illegible]

– Как хмель, говоря [illegible] так и тут, в этом бескрайнем унынии, разлилось [illegible] горе. Полюбил я эти места и сейчас не варил бы вам [illegible] поднимите, пожалуйста, крышку и убавьте огонь,— если бы [illegible] не Самбелик.

И там ее окрестили, [illegible] от старших, по настоянию зятя, и назвали Антарам – по-армянски. Ей самой понравилось это имя. И знаете, почему? По-русски значит оно: неувядаемая. Это было большой семейной трагедией и причинило юной княжне немало тяжелых минут в родительском доме. Поначалу это скрывали, а потом, когда все раскрылось, брат Самбелик, горячий и буйный калмык, едва ее не убил.

– А калмыки?..— спросил я.

– Калмыки – буддисты. Но буддизм их грубый, жестокий, далекий от первоисточника. И вообще это народ с горячей кровью... Брат бил ее немилосердно, таскал из комнаты в комнату за косы, когда она была уж в беспамятстве. Ночью кучер их тайком уложил княжну на кибитку и, полумертвую, привез ко мне. С этого и началось наше знакомство.

Три дня почти неотступно бились мы с фельдшером над нею. Кроме ссадин и синяков, которые проходят у них замечательно быстро, мучила ее жесточайшая, непрестанная головная боль, не уступавшая никаким моим средствам. Можно было бояться за потерю рассудка.

Я оставил ее у себя, и Антарам ко мне привязалась до чрезвычайности. Домой возвращаться она ни за что не хотела. Да и я страшился ее отпустить. Брат между тем настойчиво требовал ее возвращения, приезжал, шумел и грозил. Но я не сдавался. Пришлось перевести всю больницу чуть не на военное положение. Ложась спать в кабинете, я клал под подушку револьвер. Сторожа не смели спать ночью, опасаясь поджога.

Так продолжалось недели, может быть, три. Из всех обитателей хутора навещал Антарам только кучер, привезший ее. Это был замечательно крепко сложенный малый, лет двадцати четырех, с огромною силою в диких глазах. Перед княжною он благоговел, на меня смотрел явно недружелюбно. Порой между ними вспыхивал быстрый, полный страстных гортанных звуков непонятный мне разговор, похожий на спор, на борьбу. Когда он уходил, в тяжелой походке его мне чудилось что-то зловещее.

Антарам расположилась у меня по-домашнему. Она была в тесной дружбе и с няней, и с Дорочкой; девочке она пела калмыцкие песни и играла с ней, как с котенком. Ко мне ее отношения были неровны, точно она не могла отыскать настоящего среднего тона; она то дичилась, упорно молчала на обращенные к ней вопросы, то порывисто кидалась ко мне и обнимала мне шею и боролась, чтобы найти мои руки и поцеловать. Иногда же, под вечер, она садилась утомонясь, у моих ног на ковре — этом самом — и, обнимая колени прижималась к ним и раскачивалась, словно бы отдаваясь какому-то первобытному ритму души. Не скрою, что и я день ото дня привязывался к ней все сильней. Но все это кончилось так же внезапно, как было внезапным и наше знакомство.

Как-то она отыскала духи покойной жены моей, старый флакон, хранившийся у меня. Она [illegible] и долго вдыхала их, опьяняясь, и густо смочила ими волосы [illegible]. Меня тогда не было дома, и когда, возвратясь, я переступ[illegible] порог кабинета, меня охватил тотчас сильный знакомый мне [illegible]. Я крайне был раздражен этим поступком ее и был с Антарам [illegible] несдержан. Сначала она испугалась и забилась в угол дивана, робко и жалобно смотря на меня, но когда из моих отрывочных слов она поняла, что собственно было мне больно, взор ее в полутьме блеснул, как у дикого зверя. Она ничего не сказала, вышла из комнаты и заперлась у себя. Напрасно спустя некоторое время, я стучался к ней и звал ее выйти, она не отзывалась.

В эту же ночь она убежала домой; бесследно исчез и флакон. Видимо, она и его захватила с собой.

Так прошло целое лето. Я навещал ее, с братом мы примирились, и он стал даже бывать у меня. Антарам никогда ко мне не [illegible] жала, она казалась спокойной теперь и почти неизменно была [illegible] на со мной, но иногда я замечал в глазах ее тот же блеск, что [illegible] поразил в вечер нашего объяснения. Случалось порой, я ловил [illegible] себе и иной ее взгляд, чудно приветный, трепетный. Но она тотчас смыкала, заметив это, ресницы и, подавив себя, глядела опять [illegible] холодно.

Между тем про нее стали ходить недобрые слухи. И начальник [illegible] с именем Антарам называли, как друга ее, слишком интимного [illegible] го самого кучера. Я ничему, конечно, не верил.

Лев Николаич остановился у стола и залпом выпил чашку [illegible] лодного крепчайшего кофе.

— С женщинами я теперь только шучу,— сказал он вдруг резко повернувшись ко мне.— Не судите меня, с меня всего было слишком довольно.

И он продолжал, видимо заторопившись самому для себя сократить и сжать возможно суровей рассказ:

— Меня не было в этот день дома. Я был за тридцать верст. Погода была невыносимая. Грязь, слякоть. Ужасно. Вернулся измученный и нашел у себя лошадей с просьбой немедленно ехать на хутор. Я поехал. Мой кучеренок, мальчишка-калмык, ни слова не знавший по-русски, что-то мычал всю дорогу и отчаянно гнал лошадей. Порою он оборачивался и делал пальцем у горла какой-то отвратительный жест. Когда я подъезжал к знакомому хутору у реки, в окнах виден был свет, несмотря на поздний час. Я уже знал, верно, предчувствием, что случилось нечто непоправимое. Вы это знаете, как сердце умеет сжиматься? Ну, да что ж долго рассказывать. Я опоздал, да и все равно ничего бы поделать не мог.

Много позже узнал я подробности, меня поразившие; тогда было не до того. Дело, видите ли, было так. На крылечке в тот вечер сидел мой кучеренок, что он делал, не знаю, но видел, как на половину княжны вошел кучер Антарам (половина Антарам была своя половина — две комнаты); кучеренок еще удивился, что тот вошел прямо, не постучавшись. Скоро послышался из-за двери их разговор, потом Антарам закричала что-то по-русски, он ничего не мог разобрать и понять, но по ступенькам поднялся на порог в коридор и видит: открылась дверь, и вышла княжна, шея ее была перерезана наполовину (так он говорил), но она еще шла, протянув руки вперед, голова была откинута на спину. За ней вышел и кучер, также сильно изрезанный; мальчишка глядел, застыв на месте. Антарам вошла на другую, семейную половину, обогнула рояль и хотела войти в комнату брата, но дверь была заперта. Она оперлась рукой о косяк и дальше шла по стене, оставляя кровавые отпечатки руки. В комнату матери дверь была распахнута настежь, туда вели пять ступеней. Мать сидела и шила и, подняв глаза, увидела дочь, которая к ней поднималась... такая... Но Антарам не одолела всех ступеней и упала ничком, безмолвная, мертвая.

После паузы Лев Николаич скороговоркою досказал:

— А кучер туда не пошел. Он вышел во двор и, встретивши брата княжны, крикнул ему через силу: «Я убил Самбелик, застрели меня. Она хотела опять убежать.» И тут он назвал мое имя; об этом узнал я много спустя. Князь вошел к себе в комнату, снял со стенки ружье и, не заходя к сестре, исполнил желание кучера. Когда тот упал, князь приказал кучеренку ехать за мной. На полу у княжны нашли мой флакон от духов, совершенно пустой, и сама она была сильно надушена.

Как подумал, что сделано это перед попыткой бегства ко мне

Вот вам и все. Нет, впрочем, не все, самое главное впереди. Антарам похоронили, но три недели спустя, по распоряжению прокурора, я должен был произвести дополнительное расследование.

раскрыли могилу и... вы видите, какой я, но я едва не потерял сознания и не упал. Из гроба вместо запаха трупного тления всем нам в лицо пахнул все тот же крепчайший запах духов, моих. Она лежала нетронутая, прелестная. Она была...— голос Льва Николаича пресекся мгновенною судорогой,— прелестная... И я вспомнил значение ее имени — Антарам: неувядаемая.

С кривою улыбкой Лев Николаич прибавил еще:

— А что до кучера, до разговоров... то все оказалось неправдой.

Когда я прощался со Львом Николаичем, оставив кофе нетронутым и не в силах сказать ему ничего, я чувствовал, как ноги мои немного дрожали, и я не мог отделаться от галлюцинации запаха этих духов. Позже пришло мне на мысль, что и в самом деле в ту ночь шли они от его бархатной куртки: недаром он вынул ее.

Туман стоял по сторонам, цепляясь за сучья мелких кустов, когда мы с большака свернули просекой.

Туман был полон видений...

Я ехал, и неотступно вставал передо мной образ шестнадцатилетней калмычки, княжны Самбекиной-Антарам — посреди желтой унылой степи с отведенной рукой и полосой кровавой зари, пересекавшей ей шею.

И горькое чувство отрады тронуло вдруг мою заломившую грудь; я понял: любовь неувядаема в гробу.

1912

Уход

I

Марина Викентьевна долго лежала молча и не шевелясь. Земля под нею не была ровна, и после недавнего сенокоса кое-где остро стояли отдельные стебли конского щавеля, тмина и тысячелистника, но и это ощущение покалывания было как-то необычайно кстати: в нем были верность и соответствие тому немного странному ходу мыслей и чувств, что совершался в душе.

Над сквозною и мягко подвижною сетью ветвей плыли вверху облака, сливаясь и тая и возникая опять, во всем следуя мыслям, и только касатки порою чертили их быстрым крылом. Воздух внизу полон был запахов, жужжания пчел и шмелей, неясного шороха; пахучий и музыкальный, медлительно колыхался он, лениво объемля и омывая, во всем следуя чувствам. И только вот эти уколы травы, эти колючие ласточки в небе давали больно и радостно знать, что она и на земле.

День был как день, хотя и с утра уже несколько призрачный. Сквозь сон протянула щеку для поцелуя, в свежей полудремоте (спала с открытыми окнами) слышала, как муж ходил по столовой, звенел, торопясь, быстрою ложечкой, кидал через окно на двор поджидавшим собакам корочки белого хлеба; смутно донесся еще жалобный скрип дрожек на повороте у сада, взгляд на часы — четыре; уснула. Кофе пила одна, как всегда, дети были уже далеко, отзанимались недолгий свой срок, и теперь, наверно, у мельницы или в лесу, с ними всегда Катерина Андреевна, не страшно. Кофе — давняя слабость Марины Викентьевны, с детских ее, петербургских, лет; ни чай, ни обед — всего этого может не быть, но без кофе едва ли возможно, это и слабость и крепость ее, каждое утро мелет сама и составляет любимую смесь. Марина Викентьевна — плохая хозяйка, а то и совсем никакая, как она иногда про себя говорит, однако же по дому хозяйство лежит на ней, и она делает все, что полагается, и, кажется, вовсе не плохо.

Так и сегодня. Заказала обед, вместе с Малашей набрали малины, ранней, но сочной и ароматной, погладила рыжих двух телок, привязанных неподалеку, дала шершавым, молочным их языкам полизать свои пальцы, кружево на рукавах, поглядела, как кормит кухарка желтых пушистых цыплят индюшиной травой с рубленными яйцами, хотела пройти даже на скотный двор, но раздумала, взяла с собой книжку и села в саду у шалаша. Читала она очень много, по книге в день, с необычайною быстротой, скользя легко по узору страниц и скорее вдыхая их: то, что между четкими цепочками

строк благоухало живою душою поэта, всегда немного таинственное.

Но сегодня и не читалось. Пошла побродить по заглохшему медовому саду, набрела на открытую вновь куртинку с кустами дикой клубники; ягоды были еще зеленоваты в тени, но необычайно душисты; потом прилегла и лежала так долго, может быть, час или два, медленно приподымая и замыкая ресницы, вплоть до момента, когда прозвучал на террасе призывающий колокол: время обеда.

Состояние это — отлетаемости и легкой свободы, отдаленно подобное тому, когда сбрасываешь одну за другою одежды и погружаешься вслед за тем в дремотную ровную гладь неслышно бегущей реки и с водами ее сливаешь свое улегченное тело, воздушная эта легкость инобытия души (или первичного ее бытия) была слишком знакома Марине Викентьевне и нисходила на нее, ни с какими внешними обстоятельствами не считаясь:

и на балу в ее юные годы, когда праздично-легкая музыка звала закружиться в беге и танце, — стоял перед ней кавалер и на повторные обращения не слышал ответа, а если все же касался, осторожно и властно, тугого шелка у талии, то разве лишь этот чуть слышимый скрип упругой материи вовлекал и ее, покорствующую, наконец в зыбкое кружево ритма;

и в ту, не слишком еще далекую пору, когда, оставив отчий гофмейстерский дом с изобилием старой прислуги, золочеными лестницами, древним дворянским гербом над подъездом (две белые лани скрещали мечи) и таковым же, вышитым шелком на голубом щите и стоявшим в родительской спальне (с горячим стыдом глядела быстрая, строгая девушка, сама подобная лани, на голубой этот щит в серебре), — когда, поселившись в скромной студенческой комнате, бегала она курсисткою по звонким невским улицам Петербурга и с короткими паузами (как и речь ее с внезапными перед иными словами заминками раздумья) меняла один факультет на другой (смеясь, насчитывала она у себя одиннадцать специальностей за два с половиною года);

и посреди иных партийных собраний или везя к себе на извозчике тючок с прокламациями, а то и корзину с оружием, отданным ей на хранение, вдруг забывала, в чем, собственно, дело, и живо себе представляла (звучал в душе) голос монахини-тетки, читавшей в лиловом стареньком бархате «Четьи минеи»;

и тогда, наконец, когда была уже замужем и за три года имела двоих детей (тех самых мальчиков, что убежали к реке с Катериной Андреевной), — дома, в Москве у себя, на Пречистенке, или здесь, летом, в имении: за чайным столом случалось, что, поднеся руку к крану — долить гостю стакан, оставляла ее так, на весу, на срок — короткий ли или, может быть, длительный, — она не могла бы сказать.

чаще всего за последние годы из этой долины забвения выво-
дил ее голос мужа, хотя и не всегда Марина Викентьевна его узнава-
ла, припоминая со слабой улыбкой, кто бы это мог быть.

Сейчас это было, однако, немного иначе: недаром кололи пле-
чо грубые травы, не напрасно касатки с очаровательной и утлова-
тою смелостью чертили зигзаги в прохладе, шедшей с реки. И пото-
му, когда встала Марина Викентьевна, услышав от дома призыва-
ющий голос (пусть и не муж, всего только колокол, но, в сущности,
это одно...), лицо ее стало иным, немного суровым, строго глядели
глаза, сдержанны были и четки движения. Точно в ней перестро-
илось нечто в душе; и не думая, она больше, чем думала — находила
себя.

II

Покос еще шел на дальних лугах, работа кипела вовсю, и муж
Марины Викентьевны, Сергей Афанасьевич Хлудов, владелец без ма-
лого полутора [illegible] десятин, широкою грудью дышал на этом
просторе, вла[illegible]ствуя и гордясь; ему по душе был этот круп-
ный размах, деревенская ширь, кипучее дело. Он был человек про-
свещенный, общественный деятель, большой либерал; зимою
в Москве также не складывал рук: редким был вечер, выпадавший
ему без заседания обществ и комитетов, где всюду он был желан-
ным работником. Вопросы искусства также были ему не чужды:
особая публика премьер и вернисажей по праву считала его одним
из своих; дородная, статная фигура его, счастливо увенчанная круп-
ною, породистой головой, вызывала у горожан просторное ощуще-
ние земли и деревни, больше того – хранила в себе и нечто еще
просто мужицкое.

Сейчас ехал Сергей Афанасьевич мимо леса к обеду один; про-
хлада шла от густых дерев и приятно трогала щеки, шевеля, каза-
лось, чуть-чуть умеренно большую его, кругло подстриженную бо-
роду. Здоровая веселая усталость охватывала крепкое тело, замани-
чиво-ясно представлялся обед, свежий между стекла нежно-горь-
кий редис, пена сухарного кваса, как кружево у ворота кувшина,
светлые зайчики, рожденные солнцем, легко подвижные, готовые
прыгнуть ежеминутно со скатерти на изразцы кафельной грубки, на
потолок, на салфетку, свежим крахмалом холодящую шею, дети,
жена, Катерина Андреевна,— хорошо, аппетитно. Сергей Афанасье-
вич слегка зевнул, в предвкушении удовольствия, взглянул на обла-
ка, на сизоватые дали направо и прихлестнул вожжой. Бодрый ко-
нек вскинул короткою черною гривой и тронул нарядною рысью.

На круглой полянке, недалеко уже от гумен, оказалась засада.
С веселыми криками выскочили два мальчугана, оба в матросках
и синих коротких штанишках, болтавшихся выше колен. За ними
также бежала, чуть-чуть приотстав, девушка лет двадцати четырех,

[illegible] загорелая и раскрасневшаяся, как и мальчики, и так же [illegible] к ногам ее на бегу легкая синяя юбка; но она не кричала, а напротив того, в полуулыбке закусила губу блестящими даже издали, ровными своими зубами и голову держала, для скорости бега нагнув, как темный горячий конек.

Сергей Афанасьевич остановил вороного и подождал бегущих ему наперерез; глаза его вдруг стали оживленны, внимательны.

— Ну, ну... Сережа, постой... Алексей!

Но дальше рот оказался прижатым сразу с обеих сторон поцелуями: мальчики атаковали отца по-казацки, не останавливаясь, и Сергей Афанасьевич отчетливо различал на губах прихваченные ими с налету отдельные жестковатые волосы из бороды.

Смеясь и шутливо сердясь, он наконец оторвался.

— Ну, брысь по местам! Нельзя так... Простите меня, Катерина Андреевна, даже руки не могу протянуть. Он вытирал себе губы.

Катерина Андреевна стояла у дрожек, темно-вишневые глаза ее (есть такой сорт строго-коричневых вишен) и все под густым загаром лицо счастливо смеялись, рот так и остался немного открыт, на ровной эмали зубов светилось влажное солнце.

Сергей Афанасьевич протянул левую руку и взял ее правую, горячую, несколько влажную, другою [illegible] прижимала и слушала сердце; эта рука на груди подымалась [illegible] вместе с дыханием, ладонью (как пальцы разжа[illegible]) были прижаты несколько стеблей баранчиков, [illegible] же кофточке, медвяных цветов, на мизинце в [illegible] смутло в тени темнел вишневый, как и глаза, [illegible] — альмандин.

— Сейчас, куда же мне? Все не у[illegible] Сергей Афанасьевич ее шутя потянул; крепкие пальцы его [illegible] время непроизвольно слегка нажимавшие согнутую кораблик[illegible] кисть ее милой руки, ощущали горячую свежесть полных подушечек на границе ладони и пальцев.)

— Сюда, сюда... вот за папой.

Мальчики, как оказалось, все уже точно распределили. Старший, тезка отца, сел впереди, взял себе вожжи; младший, Алеша, больше всего на свете предан был пыли, пылевым облакам, почти обожал их, и потому устроился позади, лицом к задним колесам,— бог знает, что говорили ему эти дымки, непрерывно рождаемые из-под бегло поблескивавших стальных отполированных шин, что сулили собой впереди во взрослой его, еще не начинавшейся жизни... Ноги Сергея Афанасьевича, хотя и пришлось податься назад, оказались все же достаточно длинны, он упирался ими по-прежнему в передок; Катерине Андреевне пришлось сесть бочком.

— Удобно ли вам?

Но девушка только мотнула в ответ головой; он скорей угадал это движение. Через плечо она протянула ему горстку баранчиков.

Поехали шагом; Сережа за кучера поминутно взмахивал вожжами, причмокивал, но вороной был понятлив по-своему и переходил на все более скромный шаг. Сергей Афанасьевич взял наконец мальчика за плечи и притянул к себе на просторную грудь; тому это было не меньше приятно, чем править. Отцу же начать хотя бы и самый краткий свой, условный, с лошадьми разговор совсем сейчас не хотелось. Упругие стебли баранчиков он машинально уже пережевал, а золотые головки цветов, одну за другой, перекидал за себя; их со смехом ловили Алеша и Катерина Андреевна. Сладкая лень понемногу овладевала им, но оставалось и все возрастало одновременно и нечто активное – напряженно-чуткая обостренность, внимательность к тому, что за ним, чего он не видел.

Глаза — прирожденные у нас аналитики, и наиболее трезвое чувство — все-таки зрение.

Катерина Андреевна сидела там позади, в непосредственной близости, и он воспринимал ее волнующе смутно, как живое тепло; женская сущность, невидная, но тем более магически властная, дышала за ним: это был аромат, рождаемый ею, может быть, теплые — желтые, синевые... цвета, смутные шорохи легких, едва уловимых движений... И какая-то еще была, смертельная почти, отрада в том, что зрительный образ только отгадывался, непроизвольно в нем возникал, и в напряжении этих темных, единых позади себя токов рождались наконец и видения форм, и от близости их, магнетизирующей, немного кружилась великолепная голова на широких плечах, а черная, несколько вьющаяся борода его показалась бы сейчас совсем смоляной на вдруг побледневшем лице.

На одном повороте Катерина Андреевна коротко передвинулась влево и, перекинувши вместе с тем руку, взялась за обиму сиденья, и этим движением было с полною точностью оправдано все, что видело, не видя, темное зрение сидевшего впереди: глоток наконец к утолению слепой его и мучительной жажды... А всего только и было, что девушка бегло, едва-едва, передвигаясь, невольно коснулась его, возле него колыхнулась... И все же что-то большое произошло, и все смутное обозначилось резче, и неясные чувства томления и острой истомы стали теперь определенными.

Сергей Афанасьевич повел сухими губами, крепко сжал веки, темные брови его приподнялись и изогнулись, наморщился лоб, и выражение блаженной и сладостной боли на лице его было столь напряженно и явно, что обернувшийся в эту минуту Сережа, которому прискучило было сугубо тихое их передвижение, с испугом спросил:

— Папа, я тебе делаю больно?

— Нет, мальчик мой, нет... Однако садись-ка сюда.

И, продвигаясь вперед, он осторожно перекинул Сережу в раскрытые руки Катерины Андреевны; мальчик теперь был между ними.

— Алеша, а ты там не свалишься?

— Нет, папа. Поедем скорей, а то никакого сражения. (Алеша думал все время о пыли, ждал волшебства выбрасываемых и рассыпавшихся желтым дымком смятых комочков ее из-под колес.)

— Катерина Андреевна, держите их крепче!

И Сергей Афанасьевич только прищелкнул негромко о нёбо, как и губы, сухим языком и крепко взял вожжи; конь хорошо понимал твердую руку хозяина. Сергей Афанасьевич выпрямился и круто повел крутыми плечами; как шевелила давеча, щекоча отдельные волоски в бороде, лесная прохлада, так по спине и теперь цеплялись еще холодные лапки мурашек; отлетала, покорствуя воле, острая дрожь воспоминания.

Кончился лес, замелькали навесы на гумнах, молотильный сарай, конюшни, амбары, сараи для сена, липы, аллеи, цветники, живая гирлянда собак. На балконе стояла, ждала Марина Викентьевна.

— Стоп!

И только в минуту, как дрожки внезапно остановились, отняла горячее лицо свое Катерина Андреевна от нежной ложбинки между шеею мальчика и его немного открытым плечом; как охватила Сережу при передаче с рук на руки, так и не отпускала, время от времени слегка щекоча его кожу губами. Мыслей определенных не возникало в ней, но какой-то огненный удар и она ощутила, когда Сергей Афанасьевич быстро и здорово [illegible] от нее; безмолвный язык полнозвучен и жив и между людьми.

III

К обеду все вышли уже освеженные, влажные головы мальчиков аккуратно были расчесаны на косой пробор рукой Катерины Андреевны, сама она наскоро сбросила желтую кофточку и теперь была в белом; отдельные прядки черных волос выбивались своевольно из-под гребенок.

— Посмотри-ка, Марина, муха в сметане,— сказал Сергей Афанасьевич; ему хотелось теперь просто и как ни в чем не бывало шутить.

— Где?

Он, улыбаясь, повел в ответ головою по направлению к девушке.

Все рассмеялись, а Катерина Андреевна вспыхнула.

— Волосы мыла сегодня, не слушаются,— проговорила она, и румянец залил ей шею.

Сергей Афанасьевич этой своей вольной непринужденностью хотел бы, быть может, и окончательно сбросить, сморгнуть, как соринку из глаза, недавнее наваждение, летнее, под солнцем, горячее колдовство, но наивная попытка его была отомщена,— бог знает откуда, вдруг выплыл в мозгу зрительный образ: на белой подушке,

на кружевах, та самая, напротив него, черная как уголек, головка, милая, открыты глаза... и опять белизна легкой сорочки, волнистая нежность ее на груди, и открытые руки, несколько полные... очерк плеча... живое тепло, одетое этою нежною кожей...

Он положил редиску обратно и, выждав минуту, налил и выпил воды, но сердце, остановившееся, все медлило отпустить.

— Ты очень бледен,— заметила Марина Викентьевна,— ты, верно, устал.

— Нет, ничего, это так...— сказал он негромко и чувствуя, как постепенно и горячо начинает лицо его снова краснеть.

«Стой, стой...— говорил он себе, точно сдерживая резкий бросок шарахнувшегося от куста ночью коня.— Почему это со мною? Откуда?» Но, конечно, знал почему... И, в конце концов, не запретить солнцу быть жарким. Удивительно разве другое — как до сегодня, каждый день ее видя, не видел по-настоящему Катерины Андреевны... И никогда еще это не было так... сокрушительно. Точно внезапный полдневный случился удар, и не сразу от него отойдешь... Жена его жизнь знала давно, и первое же (случайное) его увлечение стало как грань, за которой дороги его с Мариной Викентьевной никогда уже не пересекались; единственное, что между ними осталось, это утром и вечером поцелуй — здорование и прощание.

Что же держало их вместе? Дети? Привычка? Дом?

Сергей Афанасьевич жену не переставал любить. «Серега, счастливый ты, брат,— сболтнул ему однажды приятель,— у тебя, скажу, как у красавицы, еще и сережки (тогда был один только Сережа), держись их, они драгоценные: сын и жена». Ужели, и впрямь, семья для него лишь украшение? Но не любил Сергей Афанасьевич длительных мыслей, когда они были тревожны, и оттого, уже вслух, рассеивая и разгоняя их, старательно распространялся:

— Зайчики... Это всегда напоминает мне детство. Я думал о них, когда ехал.— В косом золотом столбе, где плавала, тихо роясь, невесомая пыль, играл он серебряным ножиком.— Смотри, Сергей! Ну, держи... Ах! Алеша, к тебе...— Потом откладывал нож.— Но вот о чем я совершенно забыл, это о радуге. Глядите-ка, дети.

Солнце дробилось и в радугу, преломляясь в стекле. Граненые столбики, разноцветные, мирно лежали на скатерти. И зрелище это в самом деле тапло в себе нечто целительное и успокаивающее.

Марина Викентьевна была молчалива; ее не покидало свое. Она видела все и все замечала. При ее пробуждении вновь после таких вот полос забвения, подобного нынешнему, виделось все с хрустальной отчетливостью; были уколы, но нужные, ибо в них правда, а если душа чем и достойна дышать, то единственно правдой. В ней не было горечи, ни осадка, ни вялой, никчемной той нудности, что неизбежна при всяких бесплодных томлениях. Все это было бы только обидно при той, ни с чем не сравнимой отраде настояще-

го наконец нахождения вновь и вновь самое себя; этого просто в ней не было. Было, напротив того, разве лишь некоторое подобие любопытства, близкого к детскому: так, поглядеть... со стороны.

Когда был подан на третье воздушный пирог, молчаливый Алеша детским баском провозгласил:

— Ну, я так и знал.

— Почему? — спросил Сергей Афанасьевич.

— А потому, что Катерина Андреевна утром голову мыла, а она всегда моет желтками, белки на пирог, а желтки для мытья. Ты разве не знал: волосы мягче.

— Глупости ты говоришь! — хлопнула его по руке Катерина Андреевна. — Точно все сговорились сегодня!.. — И от великого сооружения она засмеялась.

— Уши горят, уши горят!.. Мамочка, ты посмотри! — не удержался Сережа созорничать; он подошел к Катерине Андреевне и вкусно поцеловал в самое ухо.

— А я в другое хочу! — завозился Алеша, но был он с изрядной ленцой и с места не двигался.

— Нет, я! — поддразнил его брат.

Тогда Алеша и вправду [illegible] и оба наперебой принялись тормошить Катерину Андреевну. Воздушный пирог очень ребята любили, Катерину Андреевну [illegible] день был чудесный — мельница, речка, за лесом покос...

— Ну, будет, — сказал Сергей Афанасьевич. — Довольно, вы рады замучить бедную Катерину Андреевну. Но это чудесно: белки и желтки, просто очаровательно... И надо же было придумать. — И вдруг на полуслове потупился, взглянул на жену (глаза их не встретились) и о чем-то задумался, может быть, вспомнил.

С тою же зыбкою думой встал он и из-за стола, внимательно-нежно поцеловал руку жены и прошел к себе: через полчаса его должны разбудить.

Заснул он не сразу, что-то мешало, но все же заснул. И как только что-то качнулось ко сну в слегка затяжелевшей его голове согретой подушкой, так мысли его переместились, и место жены т гда невесты еще (то, о чем вспомнил...), занял другой, опять первы шийся образ. Черная, милая на белой подушке головка... и так б ко она от его головы, и глаза темно-вишневые, открыты навстреч и было в глазах, как это бывает, смешение страха, вопроса и... ожи дания, и всему этому имя — покорность.

Уже в полусне губы его дрогнули неопределенно и нежно то улыбнулся, не то что-то шептал...

IV

Спустя полчаса Марина Викентьевна гуляла с детьми, как го гда. Только сегодня не стала она дожидаться пробуждения муж сей не хотелось видеть его. Может быть, только лишь этот по

...ый укол был ей немного чувствителен: конечно, это она научила Катерину Андреевну мытью головы, когда бывает в тот день воздушный пирог; конечно, когда-то, в этом самом имении, давно... когда Сергей был еще бедняком и студентом, черноволосым парнем-рубахой, он очень мило над этим подшучивал и восхищался... Она гостила тогда у тетки Сергея, от которой к нему пришло и это наследство, вовсе нечаянное. Старушка Марину Викентьевну весьма полюбила и говорила не раз: «Из-за тебя ему подпишу, ты мне пришлась по душе...»

Но не это, однако, мимолетное ощущение боли, давно уже, в сущности, отболевшей и всего только лишний раз обнаружившей, что в их отношениях с мужем давно все покончено, не это было для Марины Викентьевны важно. Важно было другое: где же любовь вообще, и чего она стоит? И на чем же зиждется жизнь?

О себе, как и всякий вообще человек, Марина Викентьевна знала не много, и со стороны поглядеть на себя было ей трудно. Кое-что разве она узнавала, вспоминая, как воспринимаются и сама она, и жизнь ее другими людьми.

Про нее говорили, что она нетерпима, сектантка: она еще девушкой оставила дом, порвала со своею богатой и родовитой семьей; иные сочлены семьи считали ее и до сей поры опасною революционеркой — «Лупзой Мишель», поджигательницей, или, как называли еще в тесном кругу, — «мадам Петролейшиц». Это название Марину Викентьевну очень смешило. Да, она стояла всегда открыто, может быть, даже порою и резко, за то, что считала своею правдою, но с годами, да и с падением революционной волны, внутреннее это ее острие направлялось все более на иное — на самую человеческую сущность. И когда со свойственной ей прямотой она, не стесняясь, высказывала добрым знакомым в лицо довольно-таки для них горькие вещи, было это для них, разумеется, не слишком приятно; Марину Викентьевну немного побаивались.

Но, с другой стороны, большой в ней таился запас общительности и жизнерадостности; любила она толпу и движение, театр, смех звучал у нее как родная стихия. И сочетание этих как бы весьма противоречивых в одном существе, разнохарактерных свойств давало облику ее, единому, черты большой и привлекательной своеобычности.

Была Марина Викентьевна, кроме того, очень красива, красотою строгой и нежной, и, как ни лико должно показаться еще и такое сочетание слов, — была красива она какою-то стремительной особою красотой. Определение это, однако, законно: в движении и в смене открытой и четкой всего, что волнно играет в душе, была та живая пленительность, что делала и самую красоту ее быстрой и подвижною.

И вместе с тем, как бы опять противореча, однако, по существу, наоборот, сочетаясь со свободными и импульсивными движениями души ее, ощутимый и явственный шел от нее холодок, как бы от снежной, в тени уцелевшей от солнца долинки... И это всегда определенную ставило грань для всех, увлекавшихся ею.

А если ко всему этому прибавить еще те, для нее необычайно характерные состояния — отхода от внешнего мира, как это было сегодня, станет понятным, что была Марина Викентьевна, во всем целом своем, непонятна для мужа; она это знала давно, и сейчас, идя по кленовой аллее в саду, пол узорной их тенью, опять неторопливо и медленно думала, больше того — решала нечто существенно важное, что пришло наконец и что должно вылиться в действие, в какой-то поступок. И она уже, в сущности, знала — в каком, но не торопилась его называть.

Незаметно вышла она с мальчиками из сада и по тропинке, между пестрою пахучею зарослью некошеных трав и бурьянов, по всему косогору оставленных на свою вольную волю, выбралась к мельнице на любимое свое местечко.

Речка внизу была неглубока и нешумна; скромное рокотание струи доносилось оттуда вместе с прохладой. Жар на полях еще не спадал, но здесь были уже ощутимы дыхания вечера. По дороге в саду болтала о чем-то с детьми, но только дошли до пригорка, как мальчики побежали вперед. Мельница была сейчас спущена, и глубоко внизу под самой плотиной завели они свою маленькую: запруда из глины и деревянное со спицами колесо, мастерили все это совместно с Катериной Андреевной.

Опять одна оставалась, сама с собою, мать. «Очень ли я нужна и им, малышам? Люблю ли и их неотрывно? Едва ли не больше привязаны дети к Катерине Андреевне... Ревную ли к ней?..»

И в самой уже постановке вопросов был ясен ответ. Оставалось сказать себе только, почему это так.

О любви Марина Викентьевна размышляла немало и верила, что она есть. Любовь — это то, что непрестанно обогащает, — так она думала, знала, — дает страдания, и им радуешься, это — когда веришь всему и во всем сомневаешься, начиная с мелочей, и знаешь на глубине, что и самые сомнения эти — все тот же образ любви, внешняя видимость верного существа ее, живые черты лица, выражение, прелестно изменчивое и дорогое, любовь — это все это, уединенное чувство, а вся огромная жизнь, и когда нет ничего чего не рождало бы мгновенный отклик в обоих.

Почему же не только так думала, а и знала, подобной любви сама не испытав? Она не смогла бы ответить; дано было знать. И вот на такой любви зиждется жизнь; непременно актриса она или уводит от жизни, а изнутри освещает всю ее полноту. То же, что называют любовью... да, это, верно, также чего-нибудь стоит, но это не для нее. Настолько неважное что-то такая любовь, что она не

...лаже ей... да, именно в этом ответ, пусть и дико, и страшно,— не ...да даже близости, настоящей и кровной... к собственным детям.

Марина Викентьевна даже слегка зарозовела на мгновение... ...ткие голоса и невнятная мальчишечья возня доносились с реки... ...чер, налитый теплом (время шло незаметно), золотым и аромат- ...ым покоем своим плескался о душу, утишая ее, склоняя в какое-то ...мирное благо... Но, верно, недаром был герб в древнем роду Мари- ...ны Викентьевны: и одна белая лань снова скрестила с другою мечи.

Правда есть правда. Вот уже несколько лет она не жена. Мать... ...плохая и мать; не плохая, а словно бы не настоящая. А этого быть не должно. И, в конце концов... Катерина Андреевна... да, она и лег- ко и полно заменит ее.

И как раз в это время, услышав шаги и обернувшись, увидела Марина Викентьевна почти бегущую под гору девушку. Катерина Андреевна махала руками на быстром ходу, голова ее, против обык- новения, была немного откинута, и она с наслаждением, как будто бы ела, глотала перед собою воздух с реки; вот сорвала по пути, легко наклонившись, какую-то травку и сунула в рот; кажется, горькая травка: выбросила и засмеялась... Еще бы не было детям с ней весело!

— Что вы, Катюша (изредка так называла ее Марина Викен- тьевна)? Нагнитесь-ка, я вам поправлю.

Марина Викентьевна сидела на бревнах, сваленных тут по неиз- вестной причине давно, вот уже несколько лет.

Конечно, Катюша она... не Катерина Андреевна: это слишком далеко и слишком условно звучит. И для мужа ее станет Катюшей, женой, может быть, наконец, настоящей. А для нее уже и сейчас как родная сестра, пусть немного далекая внутренне, но такая сама себе верная и вся она — здесь на земле, как и Сергей Афанасьевич.

Катерина Андреевна присела рядом на траву; голова ее крепко, по-бабьи (концами назад), повязана была сатиновым, простеньким красным платком; лицо, склоненное к Марине Викентьевне, пока та поправляла ей волосы, оставалось в мягкой тени, но загар на щеках светло теплел сам по себе. Марина Викентьевна задержала немного свои похолодевшие пальцы у открытой Катюшиной шеи и еще раз на нее поглядела, немного лишь отдалив от себя голову девушки.

— Какая вы крепенькая вся,— сказала она наконец, и в глазах у нее самой блеснул излучистый свет.— Вы как морковь-каротель. Не рассердитесь, ведь это так хорошо...

Марина Викентьевна быстро вскочила и подняла с собой за ру- ки девушку; она ощутила теперь, что снова была молода, хороша и — свободна. Быть может, немного холодноватая легкость и смех, зазвеневший в душе, тот самый опять, что был ее настоящим вну- тренним воздухом, обе эти стихии вернулись к ней наконец.

Не отпуская руки Катерины Андреевны, увлекая ее за собой, сбежала Марина Викентьевна к детям; и у них, в их собственном

царстве, немалое оказалось торжество: ленивцу Алеше выпало счастье, руками в затоне поймал небольшую плотичку. Рыбка была водворена в особый, ей отведенный прудок, и острая спинка ее живо и угловато резала низкую воду.

Оживлению, рассказам наперебой конца не предвиделось, и на обратном пути взялись все четверо за руки. Запоздавшие пчелы низко и тяжело тянули к ульям на уровне груди идущих; вдоль всей опушки у сада, непроходимой, густо гудели жуки; желтое ровное небо, ясный закат предвещали на утро погоду.

У сада Марина Викентьевна остановилась.

— Ну, пейте теперь молоко, сказала она, поцеловав детей,— да перед сном посидите тихонько. Катерина Андреевна что-нибудь вам почитает.

V

Марина Викентьевна осталась [illegible] на высоте над рекою одна.

Все было здесь знакомо [illegible] церковь в Игнатове, где было венчание, дорога к [illegible] огородов, жиденький мост и дальше тропинка [illegible] мимо ключа, между волнуемых ржей; мельница [illegible] Сурикова, сейчас вырезная и четкая на фоне [illegible] недвижны и поперечные доски сорваны майской [illegible] лишь крыле, тяжело и лениво приподнятом, [illegible] и висит посейчас темным сбитым пятном, точно прошел [illegible] степной Дон-Кихот и, приподнятый им, так и остался висеть [illegible] левее, за речкой же, двойные ряды сараев и изб [illegible] большой, промышляющей больше извозом на станцию, Хлудовки, бывшей когда-то хлудовской вотчины.

Как все знакомо и мирно... Но как вместе с тем бедно и глухо окрест!

Вместе с войною все затаилось куда-то, молчит. И если и дышит деревня, то разве лишь извечным покоем полей, леса и воздуха; надежное в нем обещание какого-то царства иного, где будет все наконец по справедливости, по братски и человечно... Когда же, когда?

И, глядя на серые избы, под темными, пыльными шалями крыш похожие очень на странниц, остановившихся передохнуть в дальнем пути, ощутила вдруг ясно Марина Викентьевна тяжесть своих (да, пока она с мужем, лежит этот груз и у нее за плечами...) слишком обширных полутора тысяч тучного чернозема. Не надо их сбросить... для легкого шага в пути слишком громоздко.

И была для нее эта последняя мысль, как если б открыли затвор на реке, и быстрые, торопливо спешащие, одна обгоняя другую, зашумели в ней воды освобожденного чувства; прохладный и легкий ветер свободы пронесся над ними в душе...

«Да, да, да...» — твердила в себе, как бы вне связи, Марина Викентьевна. — Одно из другого, одно неразрывно с другим. И нельзя безнаказанно... Надо себя, свое прежде... да, необходимо — освобождение».

Ей показалось, что дали, лежащие перед нею, сразу раздвинулись и какое-то движение, трепет пробежали по ним.

Не сразу подумалось опять о себе, об остающихся, но эти мысли были легки.

Ах, хорошо... Мужа ни в чем, по отношению к себе, не осуждала; больше того, она находила, что так будет проще, естественнее и для них... и для детей. Все дело лишь в том, что люди — разве и вам не бросалось это в глаза? — бывают различные: «присутствующие и отлетающие» (так про себя улыбнулась Марина Викентьевна)... Одни всегда пребывают сами в себе, они никогда не теряются, душа и язык их не знают момента косноязычия, им на земле нет ничего недоступного: если не знают чего, могут узнать, все это просто; туманности — что это, собственно, значит? может быть, звездные? О, но тогда нетрудно и их изучить...

А бывает душа... (Марина Викентьевна грезила; легкий с реки ветерок шевелил ее волосы, чуть-чуть подвитые — по давней привычке; с братским приветом вечный этот и беззаботный странник в полях целовал ее шею, а тонкие пальцы опущенных рук непроизвольно ловили, по-своему также лаская, шутя, легкое это движение; были глаза ее широко, светло и словно бы пусто открыты... Но не были пусты: мир проходил через них, как видение, не призрачный, но улегченный, или это она, может быть, протекала с ним вместе; и на всем лице ее, ставшем внезапно — о, безошибочно скажешь — д е в и ч е с к и м, на этом лице было такое общее нечто, как если б стояла она на борту парохода и ехала в дальнее плавание...) Да, так бывает душа, которая с телом не связана столь уже прочными узами и иногда, покидая его, отлетает... куда? Смешно отвечать: и у души есть дом — это весь мир. И вот в эти моменты именно то, что называют люди туманностями, это одно и есть единственно просто и ясно, свое; все же другое, оставленное, такое житейское, маячит оно очень невнятно, едва различимо, а на устах — или печать, или страшное, собеседника порою, быть может, даже путающее, косноязычие.

Но крепкой и вечною юностью юной вернется душа из отлета, и даст она просветлевшим глазам ясное видение, и речи — волнующий дар ударять по сердцам, и воле, поступкам — великую и четкую простоту.

Не нужно и думать. Сама собою, слитная в теле и духе, Марина Викентьевна тронулась в путь. Да, именно так, сию же минуту. И даже не отойти, а отплыть, ибо ветер надул паруса, а путь по воде легок, естествен, широк...

VI

Сергей Афанасьевич, вернувшись с работы и вымывшись, сидел на террасе, курил; это было приятно; после целого дня свежего воздуха крепкий и ароматный, неспешно вдыхаемый дым смутно как-то напоминал о городе, шуме, движении, о благах культуры. Прекрасно устроена жизнь, и это чередование разного типа труда,—в нем есть и благородное отдохновение, свежесть. Надо уметь пустить свою жизнь, как маховик, и придут в движение тысячи разных колес. И наслаждения — на смену труда... да, и они для человека, который активен, законны.

Он размышлял и конкретнее, но были здесь мысли его не так уже точны, отчетливы. Так же, пожалуй, несложны, но он как бы спотыкался о них: жена, не повидавшись, ушла после обеда и до сей поры ее нет... ну и что из того?.. Ревнует?.. О нет!.. И есть ли, в конце концов, у него по отношению к ней какие-нибудь обязательства? (Для человека корректного обязательства прежде всего...) И что это было такое сегодня?.. И что с ним сейчас? Катерина Андреевна... Катя...

И только дошел до имени девушки, как мысли оборвались; он достал еще папиросу и, ни о чем уже больше не размышляя, слушал теперь ее бытие рядом, в столовой.

Катерина Андреевна, как и всегда, приготовляла к вечернему чаю сама, и он всегда это любил. Звонкое что-то рождалось в быстрых ее, точных шагах, гармоничное нечто с фаянсовым маленьким городком на столе, с возникающим этим на скатерти под ловкими, крепкими ручками теплым порядком, уютом. Но сегодня было еще и иное: была острота.

Газета лежала у кресла, едва начатая; подле нее, вытянув в лапы острую морду, любимый из псов, с прозвищем очень нелепым: «Пегас парагвайский», лениво приоткрывал и закрывал свой единственный глаз. Из сада шли сизые тени, первые звезды между ветвей были похожи на капли росы, душно благоухал между перил белый табак с широких куртин. И постепенно все более в нем возникала уверенность, он уже знал, что то, чему быть суждено, произойдет неизбежно. Затихнут шаги, и у дверей, остановясь, позовет его в дом, он встанет, пойдет, как и всегда ровной походкой, но вот эта близость, минутная... молчание дома, сумрак там, за спиною, в саду, живое тепло...

— Сергей Афанасьевич, подано все.

Он вздрогнул, но ровно, спокойно встал и пошел, и путь его был предначертан сжатым биением сердца, жаждою рук, которые вдруг занемели, нехваткою воздуха между сухих, загоревшихся губ.

Однако все с тем же наружным спокойствием, как бы делая не что простое и неизбежное, Сергей Афанасьевич взял ее руки, выше локтей, крепко, со скрытою жадностью пальцев, сжал их наконец как свое, принадлежащее, и наклонил лицо к девушке; напрасно

[illegible] глаза точно такие, как давеча днем в жарком его, одолевающем сне, и было дыхание близким, горячим. Властным и мягким движением привлек он к себе Катерину Андреевну; голова ее, вполоборота, бессильно упала ему на плечо, губы что-то беззвучно шептали; он быстро своими горячими замкнул этот шепот...

В дверях из гостиной стояла Марина Викентьевна и видела все. Она не шевелилась, смотрела; легкая улыбка трогала губы, глаза были светлы, и их глубину, как белая зарница на небе, озарял далекий, холодноватый и быстрый отсвет. Дальше она различила слова. Катя резко откинулась и проговорила:

– Больше этого... нет, никогда. Я не хочу... Марина Викентьевна... Я должна быть честна перед нею. Уйдите.

Марина Викентьевна отступила назад. «Милая девушка... нет, все-таки женщины, мы тоньше и чище, чем...» Ей не хотелось, чтобы услышали или хотя догадались, что она подходила к дверям, и, осторожно ступая, [illegible] к себе.

«Ты свобод[illegible] карандашом на листочке бумаги, – а Ка[illegible] от души. Не ищи меня. Не к чему. Я ухожу [illegible] посительно. Хочется быть только самою собой».

VII

Корявый [illegible] бородой, и бородавками, рыжий и тихий, в [illegible] куртке, вез Марину Викентьевну к станции. Он никаким житейским явлениям не удивлялся. Пришла к нему барыня, у которой своя каменная конюшня полна лошадей, и попросила отвезти. Что ж, уморился, но можно. Теперь он спокойно дремал на козлах тряской плетенки, неукоснительно при каждом толчке встряхиваясь всею своей неуклюжей фигурой и мягко раскачиваясь, храня равновесие, на поворотах; пара лошадок трусила ровной рысцой.

Звезды сияли вверху драгоценным ковром; слабо, едва намечаясь, алела заря на востоке, но и закат не вовсе погас. Как хорошо короткою звездною ночью, покинув житейский багаж, ехать в молчании трав и трепете близких душе, нежных светил!

Марина Викентьевна вдруг улыбнулась. Представила, как это было... Она отошла не больше версты сразу тогда же, после детей, и на излучине речки, там, где в долине по скату растут три дубка, остановилась: «А кофе?» — это и слабость и крепость ее... Она над собой и тогда рассмеялась, громко и весело: вечная странница тронулась в путь, куда — все равно, без денег, без верхней одежды, не зная, где будет ночлег и что принесет с собой завтрашний день... и вдруг вспоминает о кофе. Ну разве не смех?

Но именно эта житейская мелочь, нечаянно в голове промелькнувшая, как и утром уколы на свежем покосе в саду, заставила

шедшую на минуту очнуться и ощутить с тою же радостью, что и она на земле.

На обратном пути Марина Викентьевна обдумала все: денег немного с собой, детей еще раз поцелует, и что-то еще... совершенный пустяк... Да, выпустить рыбку... Мальчиков это, как и ее уход, огорчит, но... Но как-то все это иначе... Точно проснулась она после долгого сна, где были видения, долгий ряд лет... Проснулась по-прежнему девушкой. И это ее настоящее... Да, и она, как эта плотичка в серебристой воде, найдет себе путь...

Все это сделано, все позади. Впереди Петербург, свобода и труд. С детства любила она звонкий, отчетливый ритм северной нашей столицы. Дело? Какое?.. Ясно Марина Викентьевна в этом себе пока не отдавала отчета, но дело найдется. Было и есть оно для нее — только одно, а силы — пусть невелики они, пусть это даже смешно, если еще раз припомнить, из-за чего остановилась... Но все ничего, ничего... Милая жизнь!.. Разве не все в ней смешано вместе — грезы, порыв, любимое дело и такие вот пустяки? Разве песчинка на солнце не так же сияет, как и алмаз?

Илья уже выспался, короткими малоподвижными пальцами протер он глаза и долго молчал.

— Надо быть, не опоздаем, потрафим...— промолвил он наконец философски и стал крутить папироску.

Крепкий горьковатый дым от нее пахнул на Марину Викентьевну; поехали теперь веселее, зеленовато-серые от павшей росы замелькали рубежики чаще.

— А что я хотел вас спросить,— неожиданно к ней обернулся возница.— Был я на шахтах, и сказывал мне один человек... по тому, собственно, случаю, как звезды горят оттуда и днем, на глубину-- истинный бог, хоть побожиться, не вру... будто бы как человеки живут и на протчих планетах, и будто бы можно к ним вроде как телефон провести... и, говорят, уже сильно обдумано.

Он с ожиданием и любопытством, готовым одновременно и на плохо прикрытое недоверие к словам учившейся барыни, которая скажет, конечно, что это все пустяки, мешковато на козлах сдвинулся к ней.

Марина Викентьевна машинально припомнила было на нечаянный этот вопрос что-то из книги — о марсианах, о кольцах Сатурна,— но тотчас оставила это и заговорила, как думала, верила, как знала душа. Илья ее слушал внимательно, кустистые на щеках его заросли сочувственно и одобрительно шевелились.

— Чудные дела...— сказал он раздумчиво, когда Марина Викентьевна кончила, и, помолчав, неспешно добавил:— И отчего ж тогда люди враждуют, не могу я понять... Темны мы, конечно, а то бы... иначе бы оно предпочтительней...

— А что ж, когда эту кончим, может быть, больше не будут и совсем воевать.

Но Илья отозвался, как и спросил перед тем, совсем неожиданно:

– Забастовка большая будет. Этого уж не миновать.– И, задвигав локтями, зацокал на лошадей, явно тем самым прервав разговор.

Молчание было теперь продолжительным, но уже недалеко от станции опять обернулся Илья и едва ли не дружески, с теплым доверием, добро и близко взглянув небольшими на желтом в отсвете зари, заросшем лице такими же желтыми глазками, сказал очень тихо, хитро улыбаясь:

– Ну, а по чести сказать, для меня всего удивительнее то, что неба (и он руками повел, словно его водружая) в точности столько же, как и земли. Я это всегда строго приглядываю: аккурат в аккурат, решительно нету нигде... ну, чтобы хоть щелка осталась... А я по губерниям поездил достаточно.

Марина Викентьевна в ответ ничего не сказала, но странно: эти слова были теплы для души.

На поезд поспели.

За утренним, ею протертым, стеклом сияла земля, и было прекрасно лицо ее в свете зари; было оно неотличимо от неба.

1917
Москва

Вечер в театре

I

От этой зимы Наташа Степная ждала для себя многого; впервые она была приглашена определенно на первые роли, а город был не из маленьких, и театр в нем был в своем роде замечательный: за последние восемь лет дал он столицам две знаменитых артистки. Это было ответственно и волновало Наташу.

Приехав сюда, она отыскала небольшую квартирку в три комнаты, во дворе. Собственно, это было крыло главного дома, выходившего фасадом на улицу; комнаты ее соединялись через коридор с квартирою домовладельца, старенького и добродушного доктора Семена Максимовича, где она и обедала. Прислуги особой не требовалось, но у нее было свое, отдельное крылечко, и входила Наташа к себе, никого не беспокоя; это особенно ей нравилось.

Было в теперешней жизни ее нечто студенческое, тихое, рабочее; по крайней мере так началась эта зима. Комнаты свои она убрала не слишком нарядно, но гармонично, светло; главное, было просторно. В первый раз еще жила Наташа на такую широкую ногу — одна в трех комнатах! По осени догорели в ее палисаднике оранжевые огни георгинов, и увяли разноцветные астры на клумбах, но теперь, когда в окно глядело зимнее белое солнце и подвижными, легкими зайчиками ложились на линолеуме отсветы его от зеркала и от застекленных гравюр, радовали глаз теперь пестрые краски платков, в изобилии накиданных всюду, – невинная слабость Наташи.

От главной улицы города вплоть до театра проложен был не длинный, но широкий и старый уже, тенистый бульвар. Липы чередовались в нем с кленом, а при концах его и на других пересечениях с улицами были посажены пирамидальные тополя; росли они скупо, верхушки их сильно страдали при крепких морозах, но Наташе приятен был их говоривший о юге, о родине вид: вставала далекая степь, раннее детство, первые мечты ее, радости, горе, любовь...

Про Наташу шел слух, что она нелюдимка и что вовсе она лишена не только что страстных каких-либо чувств, но и просто увлечься вряд ли способна; особенно твердо стояли на этом «любовники» трупп, где ей доводилось служить. Наташа глядела не раз на их почему-то у всех одинаково узенький лоб, блестящий, как лак на ботинке, пробор, на красный цветок, вдетый в петличку, и думала про себя не без иронии и печали: «Не я, а вы все — не те».

II

То же было и здесь, хоть и был Павел Иванович Сатин актером даровитым и умным. Но уже после первых двух с ним прогулок к реке и потом по бульвару, прогулок товарищеских, с разговорами об искусстве и авторах, Наташа почувствовала привычно все те же печаль и иронию и про себя решила тотчас, что за спокойными и обдуманными словами его все же был только подход, осторожный и умный, может быть даже на этот раз и приятный — тем, что была налицо необычайная эта оценка ее: не просто актрисы, но и человека.

Ей тогда стало досадно: зачем это? И захотелось дать сразу почувствовать внутреннюю его неправоту.

— Посидим здесь немного,— сказала Наташа Сатину и опустилась на скамейку бульвара.

Некоторое волнение, на минутку овладевшее ею, видимо, окрасило простые эти слова, потому что Сатин послушно сел и замолчал.

Деревья стояли уже обнаженные; две-три звезды горели над их головами; внизу, у реки, сквозь черные ветки тепло зажигались огни; легкий мороз делал все звуки, достигавшие уха, сухими и четкими. Наташа поглядела сбоку на Сатина, и он ей в эту минуту понравился. Черный цилиндр на его голове (над чем еще утром, умываясь холодной водой, Наташа весело, нечаянно вспомнив, вслух рассмеялась) — он был теперь совсем не смешон и давал всей фигуре сидевшего сухие и несколько строгие очертания; он с ожиданием глядел на нее, и темные глаза его были умны.

— Признавайтесь,— сказала Наташа, сделав к нему легкое движение (досада в ней улеглась, и сейчас, напротив того, было доверие),— признавайтесь: вот вы гуляли со мной, говорили о разных высоких вещах, а ведь на сердце у вас все вовсе другое.

— Может быть,— ответил ей Сатин спокойно.

— Другое и нехорошее. Скажите, милый, что так, и не сердитесь. Я буду вам благодарна за прямоту.

Сатин ответил не сразу, и Наташа успела бегло подумать, что ей скоро надо идти в театр.

— Другое, вы правы,— промолвил он после молчания,— но что именно это другое, в этом вы, может быть, и ошибаетесь,— и слегка повел рукою в перчатке.

Наташа, следя это движение, невольно представила: будь мы на сцене, за этим жестом руки, не без красивости выправляющим манжету на ней, неспешно и неизбежно последовал бы и второй: достал бы актер, откинувши полу, серебряный свой портсигар, с монограммами и, словно считая лежащие в нем папиросы, с достоинством взял бы одну, методически сухо закрыл портсигар, папиросой постукал о крышку, слегка поразмял ее кончик и, наконец, так же неторопливо ее закурил бы; вот это называется настоящая пауза, и как полна она содержания!

Он уловил по ее лицу этот насмешливый ход насмешливых мыслей и сказал не без раздражения:

— Умейте же быть хоть иногда не актрисой. Не портите минут... хороших и человеческих.

Наташе стало смешно: это он говорит «не будьте актрисой...», а сам!

Этим некстати Наташиным смехом все окончательно было испорчено. Сатин полуподнялся и действительно достал портсигар. Наташа уже не заметила, что это вышло вовсе не театрально; смех совсем одолел ее.

Когда они встали вслед за тем и пошли по бульвару к театру, Сатин молчал; молчала, затихая, и Наташа. Ей смутно становилось неловко и чего-то жаль, но слов для выражения этого своего состояния она не нашла. А он уже перед входом сказал ей с обидой и горечью:

— При таком отношении к жизни... Да, из вас никогда не выйдет великой артистки. Все настоящее приходит к нам через боль и понимание, а не через это... голое ремесло наше... или, если хотите... искусство.

Это было так неожиданно, что Наташа даже остановилась; поднялось в ней в ответ на эти слова нечто такое волнующее и беспокойное... И беспокойство это не было мелко! сразу она поняла, что ей сказали,— быть может, с обиды, это неважно,— нечто значительное, какую-то суровую правду. И было еще, через боль, ощущение благодарности к этому человеку, причинившему боль... Она невольным движением взяла рукав его пальто и хотела что-то сказать.

Но теперь он уже не дал ей возразить, а, поддаваясь охватившему его раздражению, зло и коротко бросил ей:

— И притом с этой фамилией! Нет, таких знаменитых артисток на свете нет и не может быть!

Наташа отдернула руку, как от укуса пчелы, и, ничего не видя перед собой, вошла в открытую Сатиным дверь. С этой минуты они оба в театр вступили врагами.

III

Наташа много думала после об этом их разговоре; она видела ясно, как и она, и он были в нервических своих раздражениях равно неправы и как оба ненужно испортили то нечто хорошее, что могло бы возникнуть у них, но твердо стояла, однако, и на этой первой обиде и на последовавших многих других — с обеих сторон.

Это в первое время несколько портило ее настроение, но не настолько, впрочем, чтобы мешать ежедневной работе, а потом и вовсе стало восприниматься, как неизбежное нечто и слишком обычное. Но главное, что тогда так ее поразило, невольно влекло к себе ее мысль. «Конечно, он прав,— размышляла она немного по-своему.— Великое горе или великая радость, вообще то свое, человече-

...ное, от чего и во имя искусства грех отмежевываться, оно-то и дает ...кусству настоящую силу...»

Лежа в постели, когда не спалось и свет от луны, холодный, ...четливый, четко вырисовывал в соседней со спальнею комнате ...мы окна, она не раз задавала вопрос: есть ли в ней этот запах ...лючённых сил, это богатство, откуда на долгую жизнь хватило ...ы черпать его? И когда вспоминалось ей детство, она отвечала ...да», и юность, особенно, может быть, юность с ее горячею жизнью,— ...ять-таки «да». А позже?.. Точно зарыты в ней эти богатства, и на ...ликое (сердце Наташино билось)... нет, на великое ее не хватило ...ы. Доступа нет. В чем же дело, однако?

Знала Наташа, что она неплохая актриса, спокойная, четкая, ...ровным и единственно правильным в каждом отдельном случае ...оном, с настоящей, правдивой душевностью, которые ставили ее ...выделяли на голову выше многих искусниц. Но все же чего-то ей ...доставало.

И когда припоминала она жизнь свою там, в глухом городке, ...среди лиловых степей, откуда бежала, гонимая мукой горькой люб...ви, больной и тревожною своей неудачей, она постигала теперь, ...что, может быть, именно эта сердечная боль открыла тогда источ...ник в груди, давший ей право быть на подмостках. Здоровая юность ...точно ждала этого в сердце удара, чтобы пришли в движение силы ...и забродило в смятении и преодолениях молодое ее дарование. Но ...теперь это было давно позади и в последние годы казалось уже ми...лой и мирною, не волновавшей легендой, подернутой той же сире...невой дымкою, как и ее родимая степь.

Но одинокие ночи, лежанье в постели без сна, лунный, квадра...тами замкнутый свет и эти вновь и вновь пробужденные думы о се...бе самой, о своем призвании в жизни, о каких-то новых, таких необ...ходимых душе ее, так остро желанных в искусстве своем достиже...ниях, все еще не дававшихся ей,— все это не проходило бесследно. ...И всего чаще это случалось, когда она бывала нервна и раздражи...тельна, порою бесцельное это томление отзывалось и на работе, хо...тя неизменно она имела успех, ровный и крепкий, а в зрительном ...зале самый теплый прием. Но она была сама к себе значительно ...строже.

«Мне уже двадцать восемь лет,— думала она иногда не без го...речи, стоя у зеркала и глядя на светлые, немного вьющиеся волосы, ...привычные черты лица, в темные свои красивые глаза, в которых ...сейчас отражалась печаль.— Это немало. Женский век короток. Что ...же успела я сделать?» И опять припомнился ей необыкновенный ...тот человек, который заставил переменить всю ее жизнь, из-за ко...торого вот она здесь — артистка Степная.

Был ли действительно он тем исключительным человеком, ка...ким казался в дни ее юности? Наташе хотелось бы и сейчас отве...тить с такою же твердостью, как и когда-то: «Да». Правда, он был ...только учитель гимназии, словесник, но даровитый, живой ...и увлекающий. Было в этом, конечно, и нечто банальное: нет на Ру-

ой женской гимназии, где не сидел бы такой уездный кумир гимназисток. Но Волохов Виктор Андреевич оправдал себя и потом. Наташа читала время от времени статьи его в разных журналах; он не плыл по течению, и были в этих статьях всегда острота и независимость мысли.

Вспоминая свое объяснение с ним, такое нечаянное и бурно-самозабвенное, Наташа и теперь неизменно краснела, а сердце ее повышенно билось. Он ей отвечал. О, это были блаженные дни, острo волнующие!.. Но что-то случилось, и на самом пороге возможного счастья он резко остановился. Наташа не знает и до сих пор с полной отчетливостью, что это, собственно, было, и только в журнальных статьях его, в каких-то волнующих недомолвках, смутно угадывала она ход его мыслей и чувств, ведущих словно бы к отречению от личного счастья... Во имя чего?.. А как могло бы быть все иначе и... хорошо.

Как бы то ни было, всю эту зиму Наташа опять жила мыслями с ним, и сердце ее отвечало с горячей готовностью на всякое живое о нем воспоминание.

IV

Для своего бенефиса, незадолго до святок, Наташа выбрала новую пьесу, только что шедшую в обеих столицах. Пьеса была не из легких и вызвала множество противоречивых оценок и всяких сопутствующих им кривотолков. Но трудностей Наташа не избегала; напротив того, в теперешнем ее состоянии были они ей по душе. Хотелось найти какой-то исход из томившего ее в последние дни, также исполненного противоречий душевного ее состояния.

В театре встретили пьесу сухо и неодобрительно, но Наташа твердо стояла на ней. Особенно резко отозвался о Наташином выборе Сатин. Он находил роль героини туманной, нелепой и даже противоестественной. Таковой же казалось ему и его — вторая в пьесе главная роль.

Неважная была атмосфера и на репетициях. Вторые актрисы, равно и расположенные к Наташе и враждебные ей, согласно твердили, что это рискованный шаг и что артистке Степной легко погубить себя.

С утра в день представления валил густой и мягкий, хлопьями снег. «Наша Наташа счастливая, — думал в то утро помощник режиссера Прокудин, к Наташе немного неравнодушный, — для нее лики хорошо, когда снег: мягкость в душе». У него была больная жена и куча ребят, сам он потерял несколько лет тому назад голос и на сцене не мог выступать, но театр любил горячо и бескорыстно.

Наташа пришла на репетицию рано, после прогулки, настоящей репетиции, собственно, быть не должно, но хотели прой

только те сцены, массовые, где надобно было еще полтянуть второстепенных исполнителей.

Она не прошла за кулисы, а вошла через боковую дверь в зрительный зал, где сегодня будет решаться ее судьба. Занавес был поднят, и партер, безмолвный, пустой, лежал перед ней; со сцены доносились отдельные голоса рабочих и служащих, кое-что еще не было закончено с постановкой.

Остановившись у рампы, Наташа глядела перед собою, на пустые ряды кресел и стульев. Одна из лож наверху не была заперта, и свет, падая вниз, выделял из темноты неровной косой полосою металлические таблички с номерами на креслах. Наташе это показалось похоже на рябь от луны на волнах морского залива. Славно, таинственно. Она перешла на новое место, и золотистые блики, качнувшись, также переместились. Машинально в кармане пальто, еще засыпанного не вовсе растаявшим снегом, нащупала Наташа коробочку спичек; ей захотелось немного пошалить. Она зажгла одну, другую, и радостно было глядеть, как ярко загорались, рябя по темному залу, золотые, веселые, там и сям в отсвете загоравшиеся зайчики на волнах. Потом безотчетно стало ей грустно и так одиноко, что она села в кресло и прижала платок к глазам.

Море, луна, темный партер, ее бенефис, одинокость — все это было как отдельные, разбитые куски чего-то единого, цельного, чего ей не дано. Чего же? «Счастья, Наташа милая, несчастная ты моя...» — отвечала она сама себе в слезах.

На репетиции подъема особого не было; казалось, что все шло очень нескладно. Сатин был зол, что его потревожили, нервничал, и все, что он говорил, обращаясь к Наташе, было несправедливо и грубо; сама она путалась не только в переживаниях своей героини, но даже в словах: плохо слушала реплики.

Только один момент вывел ее нечаянно из смутного этого бытия.

За сценой должен быть выстрел. Пока его делали просто хлопком пьесой о стол. Так было сделано и сегодня. Но, стоя у правой кулисы и входя, по пьесе, в мучительнейшие переживания героини, увидела Наташа, как, сделав хлопок, появился в просвете между неплотно сдвинутых декораций помощник режиссера Прокудин, сухой, испитый, но, как всегда, в белом жилете. Лицо его выражало в эту минуту истинное вдохновение; он глядел перед собой невидящим взором, в пустой театр (занавес был раздвинут, чтобы дать голос актерам), и вид у него был такой, точно играл он по меньшей мере Наполеона. Он был участник спектакля, и это был его миг, и он был герой этого мига.

Наташа и удивилась в душе, и рассмеялась, и почтительно как-то на сердце; на сцене было — искусство, да, а когда оно взглянет в глаза, лучше хорошо.

V

Обед в этот день Наташа просила подать к себе: ей не хотелось видеть людей. От болтушки Дуняши, горничной доктора, она узнала, что домохозяин еще с утра заказал ей большую корзину цветов. Она об этом догадывалась и сама еще раньше: милейший Семен Максимович третьего дня, будто бы между прочим, допытывался у нее, какие цветы она любит больше других. Но и этот знак внимания как-то лишь слабо тронул Наташу. Смутное ее состояние, затушенная тревога и возбуждение не покидали ее.

Тот же Семен Максимович, шутя, вчера ей сказал:

— Если бы мог, я поднес бы вам в бенефис подарок особый.

— Какой же? — спросила Наташа.

— А вы не рассердитесь?

— Нет.

— Женпха хорошего, милая барышня.

Наташа не рассердилась, но шутка эта не показалась ей веселой.

Странная слабость одолевала ее: закутаться бы в оренбургский белый платок и сидеть так, не двигаясь, в кресле. И чтобы печи топились... И никуда не идти. «Не простудилась ли я?» И впрямь легкий озноб охватывал тело Наташи, а сердце сжималось каким-то нелегким предчувствием. Где теперь он? И неужели ничто не досягает до него хотя бы сейчас, из вечерних Наташиных томлений? Совсем ли забыл ее? Возможно ли это?

Будь Наташа сегодня в состоянии ровном, ее только радовал бы и весело возбуждал шумный гул голосов по коридорам театра и в зрительном зале, достигавший неопределенно даже кулис; было опять похоже на море и темный, невидный прибой. Но сейчас, пока сидела она, наклеивая перед зеркалом черные густые ресницы поверх своих и отдавая голову во власть горячих шпицов, она не чувствовала доброты и расположения тех, кто заливал густою толпою весело освещенный зал. Еще с утра был аншлаг, и только после звонков померкнут огни, все притаится там и насторожится. Если думать о море, то это как стая птиц, густо усеявших берег, — темных и неизвестных, а когда сдвинется занавес, заплещут они крыльями и бог знает, что еще будет: ибо творят они суд и расправу по своим неисповедимым законам.

Бывает так в жизни: Наташа чего-то ждала и была совершенно права в этом своем ожидании. Неясною тяжестью тяготило оно и мешало играть, пока наконец не разрешилось.

Первый акт прошел у Наташи смутно и плохо; в этом она могла ошибиться. И дружные аплодисменты при встрече и прощальные вызовы были ей больны; она не заслужила их, а если и заслужила, то в прошлом. Сегодня же от нее еще ждут. От Наташи не укрылся и тот особенный взгляд Сатина, с которым он взял ее руку и провел до кулис. Был он сейчас по-необычайному кроток, а в

...ет явно сквозила тревога: он за нее волновался, не понимал и...
...ел.

Это последнее было непереносимее всего. Наташа вошла к себе и не удержавшись, заплакала. В эту самую минуту к ней постуча-...сь и подали карточку: Виктор Андреевич Волохов.

Наташа быстро закрыла руками лицо, встала и села опять.

— Просите,— сказала она и отняла руки от глаз; лицо ее было ...частливым, взволнованно-озаренным.

VI

Виктор Андреевич еще возмужал и похудел. Была теперь у не...о небольшая темная бородка, кое-где седина на висках. Глаза гля...дели по-прежнему молодо и остро, минутами ласково и печально.

Они говорили немного, живет он теперь в соседнем, губерни...ском же городе, много работает; на пьесу приехал нарочно, узнав, что Степная — это она. О прошлом, интимном, своем не сказали ни ...слова; да было и мудрено говорить: к Наташе входили и поздравля...ли, она ответно дари...а цветы. Но другое все это было, как в полу...сне; жадно только читала она, не отрываясь, строку за строкой на ...лице его, как забытую книгу, вдруг ей открывшуюся — в выражении ...глаз, легкой сети морщин, в самом звуке простых его, незначащих к ней обращений, в милых, опять для нее воскресавших манерах.

И теперь она понимала отчетливо, как это было тогда. Вся ...сложность души его и непостижимость тогдашнего чудесно теперь ...открывались ей и волновали светлым подъемом. Да, он запутался, ...бедный... Запутался в мудрых своих философствованиях, но — хоро...шо. Этим же самым, однако, он дал и ей настоящую жизнь, и вот ...пришел, приехал, все тот же, но и другой, жизни не убегающий.

И вся эта быстрая смена рождаемых чувств таинственным об...разом переливалась и наполняла собою тот образ, который Наташа ...должна была дать и на сцене. Ничего не осталось в нем ни смутно...го, ни неясного, ни томящего неполным его постижением.

Сатин широко открыл глаза уже на один ее выход во втором ...акте, еще до слов. А когда они сошли вместе со сцены, чтобы потом ...опять еще появиться, он снова был холоден с Наташей и сух; она же невольно при этом подумала: «Опять мы на равных правах».

После третьего акта Наташа спросила:

— Ну что?

— Хорошо,— ответил он коротко.

— Буду я знаменита?

Он поглядел остро, внимательно и, помолчав, очень серьезно сказал:

— Не знаю. Нет, это еще не то.

А Наташа возбужденно и радостно думала, вся до упорной: «Нет, нет, это вершина, это — то самое».

Во втором антракте Волохов к ней не заходил, он обещал прийти в третьем. Наташа значения этому не придала. Она знала:

Виктор Андреевич здесь для нее; она по глазам его видела и читала в них ясно любовь. О, какая теперь придет для нее новая жизнь!

В третьем антракте он постучался. В дверях разглядела Наташа чье-то еще позади его молодое лицо; значительным Наташе оно не показалось.

— Я не один,— мягко сказал Виктор Андреевич,— вы разрешите?— И он пропустил даму вперед. Хорошенькое личико ее, слегка смущенное, сияло восхищением. - Позвольте представить, мы вместе приехали, чтобы вас видеть. Лиза в полном восторге от вас

Улучив момент, немного спустя, он наклонился к Наташе и тихо сказал:

— Порадуйтесь вместе со мною: Лиза — невеста моя.

Наташа насколько могла сократила этот визит и приказала к себе никого не пускать; ей надо переодеваться.

Но вслед за тем отослала и горничную: переодеваться сейчас она не могла. Она забыла о пьесе, о сцене, о платье и сидела, открыв глаза и не мигая, неподвижная. Вся жестокая сложность пережитого ею в этот короткий срок: душевный восторг ее и вслед за ним катастрофа, радость успеха и недомогание — все это плавилось в ней в одном горячем огне.

Когда к ней постучали на выход, она, так и не переодевшись, встала тотчас и машинально пошла. Впереди шел Прокудин, осторожно ступая на цыпочках. Наташа приостановилась: перед взором ее стало вдруг явственно, точно видение — о, не Виктор Андреевич: она перед этим открыла глаза и увидела его, как он есть, и вот его нет для нее вовсе; встало другое лицо, лицо Наполеона, сыгравшего выстрел. «Искусство... искусство...» Она точно хватала воздух руками. «Вот оно... вот она боль... Как это Сатин сказал ей тогда... Вот и вершина; пришло...»

Невероятным усилием воли Наташа вернула себе обладание и вышла на сцену.

VII

— Два человека в театре в отчаянии, - суетился и бегал Прокудин после бесчисленных вызовов по окончании пьесы: в третьем антракте у дамы (в пятом ряду, желтое платье.) пытались спорить не, а в нем, говорят, было пятьсот рублей (мне бы найти!) а второй человек — Кудин Андрияныч — воспит, говорят, на весь кабинет, что за несчастный я антрепренер — убежит и эта в столицу. За лет три знаменитости!»

Наташа слышала смех в ответ на веселые шутки Прокудина и торопилась домой. Эти последние аплодисменты — они ла — шли от потрясенных сердец. Одною пришла сегодня в театр. уходит другим человеком. Ей тяжело, но и гордо; это не радость но нечто, может быть, выше; это рождение... да, великое

Ей сообщили, что много народа ждет ее выхода, но она сила зайти к себе Сатина.

— Павел Иванович,— сказала она,— проводите меня, выйдем вместе с малого хода.

Он поклонился ей молча; ни жалости к ней, ни грубости, ни остроты не было в этом его молчаливом поклоне. Наташа прочла наконец в нем признание — полное и без оговорок. Она поняла это и раньше: в самой игре его с нею, в этом последнем, венчающем акте, поднявшем ее на новую высоту. И было во взгляде его нечто еще, похожее на безнадежное чувство, уже не к артистке, а к ней самой — Наташе, живой. Она протянула Сатину руку, он крепко пожал ее и, наклонившись, поцеловал.

В стороне стояла, поджидая артистку, темная кучка людей, но они благополучно ее обошли. Впереди, уже на повороте, были только две дамы и мужчина с воротником, поднятым кверху.

Наташа услышала, как одна из них негромко и с непроизвольною, тихою радостью сказала другой:

— А я не горюю. Правда, что деньги не маленькие, но ведь не любимого же человека я потеряла.

Когда Наташа и Сатин минули их, обернулась Наташа и поглядела на даму: и на лице ее та же была тихая радость, что и в словах.

«Милая,— подумала Наташа о ней со внезапною душевною теплотой,— как хорошо ты сказала и как по-настоящему любишь»,— а на глаза навернулись слезы.

Сатин шел тихо, молчал. Наташа взяла его под руку. «А я что скажу? — продолжала она медленно думать. И вдруг сердце ее сильно забилось.— Да, потерять любимого человека, но у меня осталось искусство. Больше того, по-настоящему я его только сегодня нашла». Продолжал еще падать легкий снежок, плавно крутясь и щекоча ресницы Наташи.

— Я не домой! Я раздумала,— сказала она вслух и остановилась.— Павел Иванович, поедем кататься!

1917

Вор

Летом в Москве скучно и пыльно, бездеятельно; нечем дышать. Стены раскалены, нога утопает в смолистом асфальте, походка теряет упругость, неинтересно становится жить. Барышни вялы на улицах, кислы на бульварах, и у всех от жары неопрятные кофточки. Изо дня в день режет глаза пыль от известки и мусора, а ночью, во время работы, только откроешь сундук и сдернешь покрышки, как по всем на лето покинутым комнатам густой струей поплывет пронзительный запах нафталина. Веселое и дерзкое ремесло воровское теряет всю прелесть и становится скучной чиновничьей службой: разницы мало — рыться в архивной пыли или перетряхать нафталинную дрянь.

Миша, по прозвищу Щеголь, был существом молодым, жадным до риска и приключений, любил хорошие книги, выставки, острый театр, жил скромно, уютно, в двух комнатах, был склонен к работе изящной; ценя мастерство, все свои предприятия обдумывал тщательно, до мелочей, как если б работал над небольшой, но цепкою пьесой, и разыгрывать их любил без партнеров, один.

К середине июня оставаться в Москве стало невыносимо, и, подсчитав свою небольшую наличность, Миша решил прокатиться по Волге. Две эти недели весьма освежили его: есть что-то крепящее душу в этом согармоничном с темными водами, размерном движении между то плоских, то круто взъерошенных, но равно медлительно проплывающих мимо вас берегов — похоже на жизнь.

Миша душой отдыхал. Великая простота полей и воды, свежие токи ветров и прохладная близость звездных ночей давали покой, рождали раздумье.

Миша стал вором отчасти по случаю, отчасти по смутному влечению, которому немногого недоставало, чтобы стать настоящим призванием. Гимназии он не окончил, весь его независимый дух был глубоко враждебен общему строю этой маленькой, предварительной, фабрики для будущих чинов разных ведомств. Кроме того, Миша оказался немного скомпрометирован и политически, и его изъятие из журнального списка совершилось столь просто, необходимо и безболезненно, как сама собою выталкивается пробка на поверхность воды. Миша оставил старого дядю, у которого и своих детей была куча, и уехал в Москву. Здесь он, одно за другим, прошел шоферские курсы, месяца два проработал на заводе Бромлей, потом на Мясницкой в одном иностранном электротехническом предприятии: все эти знания, навыки позже очень ему пригодились.

Первая кража почти не была, собственно, кражей. Зимой на Кузнецком, в фешенебельный час, остановился он у Даниаро рядом

с молоденькой дамой, свежо у нее были подведены губы, ресницы изогнуты столь же лукаво, как был лукаво-насмешлив и взор. На руке, которой она касалась легко, время от времени, где-то у уха, неопределенно, у завитков, глухо шумели звенья браслета; когда же она ее опускала, то магический этот предмет и для глаза тускло блестел, широкий, чешуйчатый, поверх узенькой, обливающей руку, блекло-зеленой перчатки; мизинец изящно, с горбившимися через лайку перстнями, отведен был в сторону.

Миша был голоден, в конторе едва с управляющим не произошло столкновение, придется, быть может, покинуть ее, хотелось какого-то вольного жеста, равного молодости и красоте, о которой ему не раз давали понять кое-какие случайности его, с перебоями, жизни. Он загляделся на даму, невольно и смутно, и на браслет.

Постояв, однако же, дама пошла, чуть-чуть поведя на прощание в Мишину сторону кончиками губ, как бы острием похожей на жало улыбки, взмахом тенистых ресниц. Миша тотчас пошел следом за ней и по походке угадывал, что она это знает и позволяет. Медленный снег огромными хлопьями падал на шубку идущей, на плечи ее, как бы их обнимая: так Миша чувствовал это и понимал. Вместе с движением в нем пробуждалась голодная жадность: «Ты не уйдешь от меня», — говорил он себе и ступал следом за ней осторожно, внимательно.

И вдруг он увидел, как в ботике ножка ее, мохнатая, как у пчелы, отягощенной взятком, на белом предательском коврике, скользнула, подбила другую, и все милое тело, вдруг обозначившееся в душистом просторе легкой, коротенькой шубки, грациозно-беспомощно, как подсеченное, покосилось направо, блеснул на мгновенье браслет, но еще не успела рука, с инстинктивно все же отведенным пальчиком, коснуться земли, как Миша схватил и ее, у запястья, и с этою нежною ручкою вместе принял легко упадавшее тело. Одновременно почти два, и едва ли не одинаково острых, волнения были разрешены. Одно ощущение было жаркое, полное и утоляющее внезапно возникшую жажду касания — тому уже минуло два с половиною года, но живо оно, как если бы было вчера: вся его дрожь, все напряжение так сладостно были погашены, как погасил бы разбег упругой волны раскаленную, жадную сталь. И почти вслед за тем ощутил он другое: холодная тяжесть, скользнув, как полновесная змейка, лежала у него на ладони, браслет разомкнулся, и полусознательно он его сунул в карман.

Дама смеялась, все обошлось благополучно, но он все же, крепко придерживая — левой рукой, вопреки этикету, вел ее между людей; золото слабо отогревалось в правом кармане, и пальцы руки без перчатки непроизвольно ласкали глухо, казалось, шуршащие, подвижно скрепленные между собою пластинки. Миша весело улыбался и говорил первый пришедший в голову вздор. «Ну конечно, отдам, — думал он про себя, с некоторой все же неопределенностью. — Вот будет удивлена!» Он был неважно олет, она — простоя

...но, но оба смеялись, шел снег, Кузнецкий и молодость,— он ощу-...т к этому вкус, хорошо.

В сущности, этим немногим все было уже предрешено, но и по-...ледний, завершающий штрих не замедлил последовать.

Дама укоротила шаг, потом повела, освобождаясь, рукой, он ...шинально отнял свою. Пожилой господин шел им навстречу, со-...лость его не возбуждала сомнений.

— Я очень вам благодарна,— сказала приветливо дама и зато-...ропилась.

Глаза ее, кажется, что-то сказали теплей, пожалуй, лукавее, но ...ишу это не тронуло. Он подождал короткой их встречи и прово-...ил глазами извозчика. Где же его, мелкого служащего, было ...знать, но Миша узнал хорошо одного из директоров предприятия. ...ое было так просто, естественно, что Миша даже не огорчился, скорее напротив: теперь эта вещь, что осталась в руке, была его ве-...щью по праву.

Было ему даже несколько весело, когда через четверть часа он спросил себе скромного кофе, однако в хорошем кафе, и стал пробе-...гать вечерний листок, точно бы это давним было его и обычным препровождением времени. Машинально читая, он думал: «Конто-...ру похерить, конечно... Директор ей купит другой... Ювелир... Юве-...лир...» Оказалось тем временем, что газетный листок раскрыл перед ним свои объявления. Он наугад наметил себе ювелирную фирму. Как на свете все, в сущности, просто, удобно!

Позже не раз Миша раздумывал, специализировавшись на дра-...гоценностях: в тогу рядиться, конечно, не нужно, но все ж таки во-...ры хоть небольшой корректив к вопиющей социальной несправед-...ливости.

И, однако ж, на Волге спокойная ясность его и равновесие, сме-...нившие было усталость от летней Москвы, заколебались в конце ...концов и затуманились. Смутно почувствовал он тщету одинокой своей размеренной жизни. Вернется домой — и что же? Опять все сначала?

И, завершив путешествие, он от Нижнего взял билет не на Москву, а несколько дальше: внезапная тяга в родные края полони-...ла теперь воображение Миши. Несвойственно романтически глядел он в окошки вагонов на дымящуюся по ветру рожь, на серые лен-...точки горькой полыни, по рубежам; на станциях он выходил и на-...свистывал с мягкой задумчивостью грустный мотив. Здесь тишина ...не была такою кристально прозрачной, как на воде, была она боль-...ше весома, жива потаенною жизнью, тысячи звуков дышали в ней ...и копошились, скорее угадываемый, ни на минуту оркестр не оста-...влял играть под сурдинку... о чем?

Это была теплая, милая жизнь, единственно, может быть, на-...стоящая: птица в гнезде кормила птенцов, и шорох родился при от-...крывании клюва, от мягкого движения передаваемой кашицы, в по-...хлипывании едва оперившихся грудок, хрупкие веточки зыбкого ...птичьего дома похрустывали при перебирании крохотных ножек;

пчелы, шмели, муравьи... мириады движений, дыхания, легкого бега, трепета крыл; станционный начальник и барышни с ненужными зонтиками, и все же столь обязательными к проходу каждого поезда, как потертый флажок у сигналиста,— и они едва ль отделимы от хлопотливой всей мелкоты, живущей по милости солнца... Мишино сердце ныло и билось с доселе ему незнакомой истомой.

Наутро он с истинным наслаждением шел от вокзала пешком знакомые улицы, запахи неизменные те же, заботливой пилкою выпиленные сердечки на ставнях, неторопливая вся и добродушная лень провинциального города... Точно бы и никуда не уезжал и великий соблазн — взамен чемоданчика тряхнуть по-старинному кожаным ранцем, где завтрак, тетрадки, карандаши... Миша свистал теперь весело, бодро, и, предвкушая семейную сцену, радость свидания, радушные возгласы дяди, успевшего, надо надеяться, передохнуть от племянника, путешественник наш с веселою торопливостью дернул звонок. Все то же зеленое было крылечко с подгнившими досками теса, зацветшего мохом, с любимой его, изрезанной ножиком кленовой скамейкой, те же шумели из-за забора листы серебристого тополя, и облака, кажется, те же, легко и широко плыли над садом к реке.

— Дядя что? Спит? Вещи возьмите! — выпалил Миша, сразу одно за другим.

Девушка в простеньком клетчатом платье, которую принял он за прислугу, весело фыркнула и тотчас же рукою закрыла рот; привычный взгляд Миши отметил колечко с теплым топазом.

— Дядя? — переспросила она, смотря все еще полными смеха глазами. У меня его нет, а тетушка цветы поливает в саду.

Миша стоял в недоумении, одною рукой держась за ручку дверей, другой опершись о притолоку, стояла девушка перед ним, как живая изгородь, за изгородью оставался и дом, и милый сад Мишин, родной, где незнакомая тетушка в утренний час поливала цветы и проникнуть куда, видимо, было нельзя.

Все это, кажется, со слишком явною ясностью пробегало по его лицу, потому что девушка, через минутку молчания, заговорилась.

— А впрочем, войдите,— сказала она наконец.— Я проведу вас в сад.

— Как вы добры,— ответил он Миша. - Я прямо с вокзала, пешком, и немного устал.

— Пойдемте вот так, - сказала девушка, когда они вошли в дверь.— Оставьте тут чемодан. Зовут меня Катя.

— Да я знаю, как пройти,— отозвался с улыбкою Миша. Я ведь родился.

— Вот оно что...— протянула она, и грустное сочувствие [illegible] ло из живых ее глаз.— А мы тоже... имение продали... за долги... этом она улыбнулась,— и только прошлого года сюда переехали, купили. Верно, у вашего дяди... С бородкой? В очках? (Миша кивнул головой утвердительно.) Куда-то в Сибирь переехал.

Грустные нотки в словах этой девушки, смешливой и легкой, в свою очередь тронули Мишу. «Так дядюшка мой, стало быть, вовсе не то-то!» — подумал он между тем. — А впрочем, все это в порядке вещей, стоит ли думать, все на земле перемещается, и я сам тому соучастник: брошки, часы, люди... и — ничего!»

— Вот так, через столовую, — сказал он весело вслух и привычно толкнул перед собою дверь.

— Что вы, что вы! — воскликнула Катя со смехом и ужасом. — Боже избави!

Несколько все же секунд в изумлении Миша простоял перед открытою дверью. Шторы были опущены и в полусвете, сизоватом и летнем, быстро, в веселом замешательстве, скользнули под одеяла две легких фигурки; с непостижимою быстротой сделали ноги конвертик, изнутри, под одеялами руки подоткнули края простыни и натянули ее на лицо; у одной прищемилась косичка горбиком около уха, другая осторожно приоткрыла черный глазок.

— Какой вы сумасшедший! — сказала Катя, от смеха давясь, и схватила за руку Мишу; он уже закрывал медленно дверь. — Тут подруги мои... И вообще теперь спальня... — Коричневые глазки ее от смеха блестели. — Пойдемте вот здесь.

И чтобы обезопасить себя от возможной новой еще неожиданности, по коридору она повела его уже за руку.

С небольшой ветхой террасы Миша увидел знакомые с детства дорожки, беседку у склона к ручью и, неожиданно, маленький, аккуратный стожок; полянки в саду были тщательно выкошены.

— Это у нас свой сенокос, — сказала с гордостью Катя, — и у нас есть коза. Пожалуй, я вам покажу. — Она все еще не отпускала руки.

— Пойдемте, — отозвался Миша охотно.

В маленьком сарайчике, в полутьме, коза посмотрела на них с интересом; шелковистая ее пахучая шерсть отливала матовым перламутром. Потом повела она, сморщивши ноздри, по направлению Миши и, переступив, как на каблучках, подняла свою острую мордочку к Кате и сухими губами, поймав, стала жевать ткань ее рукава. Миша невольно пожал холодные Катины пальцы, она поглядела на него серьезно, внимательно, потом, чуть-чуть ответив едва ощутимым пожатием, вынула руку и стала гладить животное по нежному его одеянию; оба они молчали.

— Ну, беги теперь, ты засиделась! — сказала вдруг с живостью девушка и, полуобняв шею козы, повлекла ее к выходу.

Миша, не двигаясь, глядел им вслед. Катя, казалось, вовсе забыла о нем. Солнечный свет, падавший в узкую дверь, вблизи был рассеян, дымился, тесня, у самого входа и слепил глаза в глубине лихорадящим своим напряжением; кусочек земли, видимый в дверь, с группой деревьев, листвою и зеленью, казался отсюда юнопрекрасным, и в него, шаг за шагом, вступала за полчаса до того незнакомая девушка с шелковисто-серебряным послушным животным. Встречный им световой звенящий поток мягко скользил по ниспадающим прядкам гладко расчесанной шерсти и мириадами

брызг дробился у завитков легких волос, золотя их и обдавая сияющей пеной нежную кожу щеки, полусерпиком загоралось и погасало девичье ухо. Миша забылся, словно восхищенный на эти мгновения от самого себя.

— Идите же к тетушке,— с простотой, полуобернувшись, промолвила Катя.— Вы вовсе забыли о ней.

Миша вздохнул и вышел на свет.

От ручья, с кувшином в левой руке, неспешно шла женщина. Она была совсем молода, поверх головы обвязана синим платком, на узеньких мочках ушей висели, длинно болтаясь, сережки.

— С кем это ты? Катюша? звонко крикнула она, поднимаясь на горку, и свободной рукой затенила от света глаза.

Но вместо Катюши, смешно французскими своими каблучками брыкнув, устремилась к ней, легко перескакивая через клумбы, коза; было издали видно, как она сунула любопытную мордочку прямо в кувшин, тонкий ее язычок, надобно думать, с жадностью заработал.

Не раз еще Мише в тот день приходило на память это изменчивое бегство козы и ласковые ее повторные перебежки от тетушки Агнии к Кате и снова назад: он понимал ее. В Агнии не было юной той непосредственности, которая переливалась в Катюше по всем молодым ее жилкам, была она несколько даже по виду строга, чем-то, может быть, и озабочена, но та простота, с которой она встретила Мишу и пригласила пить кофе, а потом приняла его предложение помочь ей в поливке цветов, такую прямую открывала в ней душу, что Миша снова был очарован. И когда Катя ушла поднимать сонливиц подруг, а он раза три еще бегал за водою к ручью, каждый раз издали со смешанным чувством любования ею и невнятной заботы о ней следил он неспешные движения Агнии между цветов. Видимо, что-то ее беспокоило, но она не давала воли тревоге, серые внимательные глаза ее даже слегка улыбались при виде того, как Миша с одинаковым усердием поливал и цветы, и желтые щегольские свои ботинки.

— Вчера у меня был вечер дурной,— говорила она с открытостью и простотой, наполовину сама себе,— я получила письмо и расстроилась и клумбы мои забыла полить, а девочки до ночи катались на лодке. Вы, может быть, не знаете даже, что цветы поливать надо с вечера? А я ведь жила всегда у себя, в деревне

Мише хотелось спросить, что́ за письмо, помочь ей, но он не решался спросить, да и чем мог бы помочь?

В маленькой новой столовой, бывшем дяди́ном кабинете, шумел самовар, под колпаком дожидался хозяйки кофейник, чашечки коричневые, гарднеровские, с большой аккуратностью были расставлены, на масле лежал кусочек хрустального льда. Одна за другой появились и девочки; кусая губы и поблескивая из-под опущенных век смешливыми глазками, присели они перед Мишей, Катя, как старая знакомая, улыбалась ему уже вовсе открыто.

— Ну что за пустяки такие! — говорила она, немного спустя.— Поезд идет только ночью, куда ж вам деваться? Оставайтесь у нас, пойдемте все за город.

Племянницу поддержала и Агния.

— Тем более что сегодня приедет Михайла Никифорыч,— отнеслась она к Кате,— и мне приятно было бы, если б тебя не было дома. Я от него получила известие.

— Как, он приедет? — вспыхнула Катя.— Опять! Какой негодяй!

— Ну, Катя, довольно, я поговорю с ним сама,— ответила Агния.

Миша с жадностью слушал эти обрывки, клочки разговоров, стараясь проникнуть в их суть. Но это лишь только отчасти ему удалось в течение целого дня, который провел на былом своем пепелище, в прогулке за город, на реке в подвижной этой стайке резвых, щебечущих ласточек. Катя, впрочем, минутами становилась задумчива, и Мише казалось порой, что он ловит ее как бы вопросительный взор.

Под вечер встали над речкой синие тучи, ветер порывами набегал на поля, круто трепал ветви ракит, девичьи шляпы; заторопились домой. Катя немного отстала, Миша шел рядом.

— Скажите,— спросил он внезапно,— я все равно нынче уеду, кто этот Михайла Никифорыч?

— Мой бывший жених,— с такой же внезапною резкостью ответила девушка.— Я слышать о нем не хочу. Я знала, что вы меня спросите.

— Зачем он приедет?

— Он хочет купить меня.

Миша невольно поднял глаза.

— Он преследует нас. Мы разорились. Дедушка умер и оставил долги. Именье продали, кое-что взяли с собой. Да вы видели! Да я говорила уж вам!

Она с досадой замолкла и, бегло сорвав головку душистого тмина, растерла ее одною рукой и откинула в сторону. У Миши нахмурились брови, он терпеливо ждал продолжения, но, не дождавшись, спросил:

— Как же... купить? И голос его прозвучал неожиданно глухо.

— А вам зачем знать? — резко оборвала его Катя.

Одна половина небес была сине-темная, громоздились почти над головой и набегали, клубясь, одна на другую рыяные тучи, земля, одетая тенью, дышала уже ощутимой прохладой, и нежная была мирная ясность, покой на другой стороне: город лежал на склоне долины, как на отдыхе милая пестрая кошечка.

— Я никогда не любила его,— начала опять Катя сама,— и это неверно, что он мой жених. Он негодяй, хуже, чем вор или мошенник. (Миша тронул себя за висок и пальцем растер внезапный укол.) Ну, одним словом, у него векселя... А дедушка выплатил их. Это я знаю, знаю наверное! И тетя наверное знает! А он принимает нас

Ну и вот... меня хочет купить! Ах, зачем я вам рассказала! — И она сделала движение, чтоб побежать.

Миша поймал ее руки, крепко их сжал, потом отпустил, ничего не сказав, как бы что вспомнив. Да и обе подруги смеялись им издали, плескали руками.

Агния Мишу просила остаться переночевать; ему показалось, что ей было приятно, чтобы у них ночевал не один Михайла Никифорыч.

— Это сосед наш по имению... бывшему, — сказала она, знакомя с ним Мишу. — Он не решается ехать в такую грозу.

— Да, уж вы разрешите мне, Агния Владимировна, по-добрососедски... — отозвался, тараща глаза, коротко остриженный, широколобый, с рыжиной в бороде человек. — Ведь ехать-то, сами вы знаете, без малого тридцать пять верст, а я... так засиделся. Барышень ваших хотелось мне поглядеть. Катерину Аркадьевну давно не видал.

Миша слушал его со сдержанной ненавистью и быстро что-то про себя соображал.

Вечер прошел несколько смутно. В саду разыгралась гроза, молнии блеск не тонул и при ламповом свете. Катя почти не выходила, ссылаясь на головную боль, на усталость, но Михайла Никифорыч, видимо, не унывал, на что-то надеясь. По-деревенски, развалившись на кресле, бесцеремонно Агнию Владимировну он угощал деревенскими новостями. Она слушала сдержанно, устало и строго, подавая короткие реплики. Мишина ненависть против этого крутлоголового накипала с часу на час, что не мешало ему за круглым столом показать беззаботным двум существам целую серию фокусов в карты.

Рано легли. В столовой на жестком диванчике Миша долго ворочался, и не помышляя о сне. Гроза отшумела, в окно густою струей вливалась ночная прохлада благоухания, но не было отпущения Мишиным думам.

Отдельные падали капли с ветвей среди тишины, потом послышался смех, сдержанный, девичий, Миша сообразил: через окно пробежаться по саду после дождя... Ему послышался даже и бег, мягкий и мокрый по мокрым дорожкам. Там ли и Катя — он разобрать не сумел, ему сделалось грустно. Еще немного спустя услышал он стук в соседнюю комнату. «Можно?» — «Да, да». Скрип двери и пауза. «Ни за что и ни-ког-да», — раздельно сказала тетушка Агния. «Последнее слово?» — «Конечно. И незачем вам было и приезжать. Вы должны были знать это и сами». — «Ну, нет, все-таки есть зачем: завтра я предъявлю векселя». — «Однажды они [illegible]ные?» — «Это уж как вам угодно-с, а только они формальные и [illegible]хонькие-с». — «Вы все-таки гость и сейчас уже ночь, но завтра я [illegible] попрошу оставить мой дом... пораньше. Прощайте». Мише припомнилось: одна половина неба в грозе и на другой нежный покой безмятежность. Лежал он не шевелясь. Может быть, через четыре часа достигли его и звуки обратного бегства, столь же веселого [illegible]

...шел в саду летний, прерывистый дождь. И опять тишина, легкие ...ороги в девичьей комнате, бывшей столовой. Потом один голос: «Олечка!» — «Что?» — «Я вешаю платье, думала — гвоздик, а это... а это... кузнечик!» Шелест и смех. Сделали, верно, конвертики и подправили простыни. Катиного голоса нет. Помаленьку уснули, и Миша, напротив, оделся и осторожно вылез в окно.

Дальше события ночи развернулись с быстротой феерической. Недаром был Миша мастер сих дел. Все векселя, не глядя и не читая, положил он в карман, прихватив и золотые часы, чтобы больше было похоже на постороннего вора, затем имитировал бегство к калитке, искусно меняя оттиск ноги на влажной дорожке, и со всеми предосторожностями вернулся к себе.

Раздевшись, немного помедлив, он застучал в стену к соседу и на охрипший вопрос Михайлы Никифорыча поднял тревогу.

Скоро весь дом был на ногах. Миша организовал энергичнейший розыск. Встали и барышни. Кое-как запахнувшись, в ночных одеяниях, были они очень милы и, как овечки, жались одна к другой. У Кати, напротив, сдержанный блеск снял на лице, она была рада. Агния, кажется, несколько была смущена, но, как всегда, спокойна и сдержанна. Толстяк шумно и глупо неистовствовал. На дворе запрягали мокрую его бричку. Он хотел ехать в полицию сам, а оттуда в гостиницу. «Давно бы так»,— с легкостью на душе и удовлетворением думал Миша.

— Ночь все равно уж теперь перебита,— сказал он почтительно Агнии, когда отшумели колеса помещичьей брички,— позвольте мне вас поблагодарить и откланяться, я все-таки тороплюсь. Гроза миновала, и поезд еще не пришел.

Девочки, Оля и Зоя, так мило его обе просили остаться, потому что им страшно, и так смешно у одной вылезала снова косичка, а у другой не без лукавства блестел черный глазок, что, улыбаясь, вполушутя, Миша подумал: «Нет, нет, надо ехать... а то еще тут вовсе запутаешься».

Катя ему ничего не сказала, но пошла проводить. Ждала теперь молча она.

— Да, это я,— сказал ей Миша в дверях.— Вы Агнии Владимировне не говорите, не надо смущать. А сами ко всему происшедшему отнеситесь здраво, прошу вас. Наказан всем этим только ведь человек, который, как вы же сказали, хуже... да, хуже вора.

Он взял ее руку и поцеловал. Катя упорно молчала.

— И вы уезжаете?— сказала она наконец, когда после молчания, точно сам чего-то еще ожидая, Миша все же взял чемодан

— Да,— ответил он грустно,— потому что я... потому что я недостоин. Специальность моя — драгоценные вещи. Но вы не подумайте, эти часы,— добавил он с горечью, заметив, как тень пробежала по дорогому отныне лицу,— я подарю их первому нищему.

Когда он уже отошел по тротуару, Катя его негромко окликнула:

— Возьмите,— сказала она, стоя уже на крыльце,— возьмите... Нет, я вас прошу. На память... Я... Я...

Тускло блеснул в полутьме, перстенек, снятый с мизинца.

— Спасибо вам,— тихо сказал растроганный Миша и поцеловал еще раз ее руку.

Была минута одна, когда могло, может быть, что-то произойти, одна из тех перекрестных минут, что бывают и в скромных делах, и в больших — и на путях нашей маленькой жизни, и в бытии целых народов, но... ничего не произошло.

И было, однако, волнение этой минуты так велико, что не могла тетушка Агния, кажется, что-то подозревавшая, долго остановить обильных и страстных Катиных слез. А Миша шагал с чемоданчиком, не видя ни улиц, ни луж, и только уже недалеко от вокзала от быстрой ходьбы и от прохлады близкого утра стал понемногу находить сам себя.

— Сквознячок...— пробормотал он с усмешкой.— Сквознячок — это я. До грозы далеко. И все же... как сразу очистило воздух! Довелось бы пошире... вот хорошо!..

И все-таки нежность, досада, любовь томили его и теплели на сердце, как неукраденный, теплый в руке его, милый топаз.

16 марта 1918 г.
Москва

Жаркий день

Розовый, теплый свет с утра пролился на темные Лизины косы, на приоткрывшееся из-под тканевого одеяла плечо. Ночью она просыпалась и сонной рукой отдернула штору у изголовья — поглядеть на луну, на легкие дымные очертания — знакомого тополя посередине лужайки, на всю эту слабую молочную муть, что шла от пруда и заливала кусты, дорожки в саду; она успела тогда в полудремоте подумать: «Этот туман, и жидкий его месячный блеск, и душа моя, Лизина (почему-то добавила в третьем лице), и сон, стаканчик за стаканчиком (чуть-чуть повела при этом губами), — все это, должно быть, одно». Штора так и осталась отдернутой, и в сонное Лизино царство предводимая солнцем, на залитом щите его, ворвалась живая и пестрая явь: защебетали вольные птицы в листве, крылами на дворе громко захлопал нарядно-декоративный петух, отсырелый за ночь журавль заскрипел у колодца; густою, смолистой волной благоухал теперь белый, но жаркий и жадный жасмин, звенящей медовой струною мимо окна пролетали мохнатые пчелы; как яблоко на солнце, и Лизино плечо нежно румянилось, в жилах запела, запенилась алая кровь.

Лиза проснулась. Луна, и молочный туман, и сонные Лизины по неведомым морям плавания, легкими свитками все это сонмище призраков свернулось, и поднялось, и истаяло в солнечных красных лучах, а душа... душа темнокосой смуглянки осталась для дневного ее бытия. Лиза открыла глаза, потянулась, полежала минутку в сладком оцепенении, потом поднялась, взглянула в окно и уже дневными словами подумала: «Жаркий день нынче будет!»

Это предчувствие ее не обмануло. День распалялся, похожий на дымный пожар под синим, широко раздвинутым куполом. Было похоже несколько на панораму: так воздух прозрачен и так неподвижны леса, золотые поля зреющей ржи, седоватые космы овсов.

Выпивши кофе с топленными сливками, и сама Лиза несколько затомилась, не знала, что предпринять. Мохнатая простыня лежала на спинке плетеного кресла неубранная: как встала, против обыкновения, заленилась сразу пойти и выкупаться; день начался не как всегда. Лиза не чувствовала себя ни плохо и ни тоскливо, но неудобно, и какая-то смутная тягота клонила ее к бездеятельности, к лени, к земле; лечь бы на траву, не двигаться и не читать, не думать... Однако же машинально взяла книжку из шкафа и вышла.

Дома было пустынно: на дрожках в поле уехал отец, Оля — сестра — неизвестно где; было пустынно и на дворе.

Высунув длинные мокрые лоскуты языков, с которых капало, как в март у застрехи, лежали собаки под навесом у кухни, волоса-

тые клокастые ноги были раскинуты в полном, томительном изнеможении, и хвосты, лишь у корня, слабо и бесшумно пытались приветственно пошевельнуться; всего только вяло глазами, в конце концов, проводили они Лизин по двору медлительный шаг. До полудня было еще около часа, но зной уже всех истомил: совсем ошалелые, как паломники в Мекку среди песков, стояли индюшки, тяжело и часто дыша, куры спрятались под насест и томно «заводили» глаза восковой, похожее на бельмо, полукруглою пленкой; казалось, что и она вот-вот растопится...

Лиза неспешно прошла через двор, заросший курчавою птичьей гречихой; мертво возле сараев желтели оброненные из вязанки соломины, колос; янтарный их след вел на дорогу к каменному скотному. На укатанной этой дороге пеплом лежала серая пыль.

Поддаваясь общей истоме, Лиза подняла глаза вверх, как бы чего-то ища, но на небе — ни единого облачка; сквозь серо-зеленые узкие обрывки ракит оно не показалось теперь даже и синим, — выцветавшая, блеклая высь была невыразительна. Лиза вздохнула, вернее — открыла и быстро беззвучно закрыла рот, как рыба, жестоко выкинутая на берег. Хотя бы встретился кто... будто все вымерло!

И вдруг... быстро, легко Лиза откинула голову, насторожилась, прислушалась. Да, колокольчик! Да, да... там, между ржей, на полынью заросшем, заполненном ромашкою рубеже, ныряет челнок-кузовок экипажа. Она пригляделась: знакомый... свой. Стало быть, ездила Оля. Куда же?

Лиза откинула косы, забыла про лень, про все наваждение завороженной усадьбы и быстро пошла через лужок, навстречу таинственной, не разоблаченной еще путешественнице, заинтригованная, обрадованная, не прочь на ходу взобраться на козлы, вырвать из рук у вахлака Ефимки суконные вожжи и ухарски, с треском, самостоятельно въехать в усадьбу...

По дороге она и еще несколько изменила свой план. Добравшись до липок, где начинался картофель, она решила там спрятаться и, выскочив, напугать сестру. В сущности, стоит! Что за тайны такие, что за поездки: могла б и ее разбудить!

Но когда пара буланых лошадок бойко, наизволок, поравнялась с пригорком, где в засаде Лиза ждала, она не выскочила, не завизжала и не обрушилась на сестру; напротив того, она притаилась, ей не хотелось выдать себя.

Быстро она, с невольным биением сердца, соображала.

Очевидно, что так: ночью или под утро было событие в доме, и Лиза его проспала, хоть и просыпалась месяц глядеть; ясно: была телеграмма, и Оля сама решила поехать встречать. О, как ее не понять: выехать рано, еще по росе... и одной, именно так... и ехать встречать — любимого, трижды, казалось, потерянного... Боже мой, счастье на свете все-таки есть! Но только... для всех ли? Лиза в тени широкой, медовым гудением пронизанной кроны старого дерева смугло зарделась и прижала к груди обе руки: сердце билось так

...льно, как источник, готовый пробиться наружу. Дал бы гос-
...ль — проехали, не увидали!..

Николай Евгеньевич сидел загорелый в простом беленьком ке-
...ль, весь на виду. Он изменился, очень зарос и возмужал, похорошел.
...Как легонький рой цепких, лапка за лапкой, золотисто-коричневых
...вел, засела бородка, она слегка запылилась и на солнце смутно от-
...дельными волосками поблескивала. Лицом он был худ, нос выступ-
...л — тонкий и хрящеватый, с горбинкой... Худые же руки, но силь-
...ные, обе Лизе видны, на одной перстенек; он переплел пальцы за
...пальцы и сам подался немного вперед! Памятный этот какой пер-
...стенек и какая знакомая поза! У Лизы в груди захолонуло.

И вот, когда проехали уже, Оля внезапно откинулась и из-за его спины увидела Лизу.

— Лиза, Лиза! — тотчас закричала она; шляпа на ней покривилась, съехала на ухо, лицо было радостно и возбужденно. — Что же ты спряталась там? Смотри-ка, кого я привезла! Узнаешь?

Старенький кузов покалыхался и замер на месте: из-за откинутой его наискось полудуги серели ракиты, на крыше сенного сарая топорщилась потемневшая за зиму, прошлогодняя солома. Лизе пришлось выходить из убежища.

— Я не хотела будить тебя... Ну!.. — Оля уже соскочила. — Садись же, влезай! А вы узнаете ее? Николай Евгеньевич, вот она, ваша приятельница, посмотрите-ка, стала какая, больше меня!..

Николай Евгеньевич Лизу не видел года четыре; в ту пору ей шел тринадцатый год, была она темненькая, сухая и дикая девочка, к тому же религиозная. «Вы как тараканчик в просвирке», — шутил Николай Евгеньевич над нею тогда — на правах молодого врача, соседа и завсегдатая дома.

А девочка Лиза едва не падала в обморок от одного его приближения и умерла бы на месте, если бы кто из домашних, а пуще всего он сам, вдруг догадался о том, как она... да, страстна... не только религиозна.

Но Лиза напрасно боялась, тайна ее не стала тогда открытою: было не до того. Позже и ей самой это представилось с полною отчетливостью. Не без странностей (видно, в крови) вырастала и старшая — Оля, и роман ее с Николаем Евгеньевичем был как поездка в телеге: между полей, аромата, свежего сена и трав, но исполнен он был капризных толчков, дикого грохота... Сходились они и расходились: то миловались, то ссорились. И вот уже под конец первого лета дело дошло до того, что покинул он службу в уезде и перебрался в Москву. Но и Оля, покончив с гимназией, на курсы проследовала туда же, и снова пути их пересеклись. И скачка эта с препятствиями длилась все четыре года, пока Оля училась. Отец только рукою махал и фукал в усы, поглядывая на дочерей. И, однако же, Оля извела в это последнее лето недаром пачку свечей за письмами ночью, и, верная ласточка, потихоньку упархивала через день лесной пешеходной тропою за почтой на станцию... Теперь же было у них, — ясно для Лизы, — все решено.

Оля, взволнованная, приподнятая, соскочив, затормошила сестренку, усадила ее рядом с приехавшим... ж е н и х о м (так и шепнула горячим шепотом на ухо; и еще, бессвязно, крылато, отрывисто: «И папа знает уже... я открылась во всем... сегодня, как получила эту... ну, телеграмму... ты не сердись... я люблю, люблю тебя так... берегись, укушу!..»), села сама, прислонилась к козлам – напротив. «Я видела тополь, луну и туман, а это я все проспала»,– подумала Лиза.

Николай Евгеньевич взял Лизину руку и мягко поцеловал, на его же руке в эту минуту зеленый блеснул перстенек. Лиза взглянула и... ничего не прочитала во встреченных глазах, а может быть и не успела прочесть; только как будто забыл, хоть и носит, кто подарил ему при отъезде детский этот подарок. Она непроизвольно сдвинула брови, насупилась и быстро отдернула руку.

— Не ссорьтесь, – полушутя попросила их издали Оля.

Николай Евгеньевич улыбнулся; Лиза хотела сделать то же, но не сумела.

— Боже мой, жарко, – сказала она в замешательстве.– Как в медном тазу.

Сестра наклонилась к ней и крепко поцеловала в горячую темную щеку, а бедной Лизе и в самом деле стало казаться, что уже не пенится и не поет ее кровь, а круто густеет, густеет...

Приехали; с поля вернулся отец. Он не фукал сегодня, был, видимо, рад обороту событий, очень любезен с Николаем Евгеньевичем и вышел к обеду вымытый, переодетый; дали к столу всем новые салфетки из сундука.

Со стороны, может быть, было бы и немного смешно поглядеть на это «семейное счастье», но Лиза не знала и этой отрады; она едва досидела длинный обед, ей не хватало свежего воздуха.

— Да, жарко, жарко, друзья...— на весь дом, полнозвучно, повествовал отец. – Поглядели бы вы на стада. С коровами сладу нет, а бедные овцы... у нас нынче пало пять штук: скрутила вертячка!

Лиза знала эту болезнь: кружится-кружится бедное, ничего не соображающее животное, солнце ударило в мозг... и, свернувшись спиралью, упадает среди колючего жаркого жнивья. Ей стало страшно.

После стола тотчас она убежала на «пасеку». Так называлось местечко, где пчел уже не было: их несколько лет как перевели ближе к гречихе и клеверу. Но были зато в буйной глуши [illegible] женные старые ульи, где можно присесть и полную волю [illegible] и слезам, и смятению чувств...

Но и слезы медлили. Остро согнув свои локти, сидела на старой колоде смуглая девушка; мысли и чувства ее не были поначалу определенны, возникали они и медленно протекали, как тягучие капли густого, полного меда, но в этом меду была и незримая капелька горькой отравы.

О, как томителен зной! Она расстегнула рубашечку, помахала краями. И этот приезд наконец... и колечко... «А захочу – отобью»

и Лиза сама ужаснулась такому в ней прояснению мыслей и чувств... Боже мой, горько ей!

И только когда наконец слезы пришли и, наплакавшись вволю, поднялась Лиза, чтобы идти, она увидела вдруг с изумлением, что быстрая-быстрая туча росла — над нею, над пасекой, как из-под земли вздымаясь на снова синее небо. Была тишина, и оттого чудно было и страшно. Но страшно лишь на минуту: вдруг ровный, прохладный на открытую грудь подул ветерок, зашелестели листы, запущенный сад заговорил.

Лиза стояла минуту недвижно... глаза ее были широко открыты. Господи, боже мой, вот: кончился зной, вот наконец освобождение... Точно она распахнула в душе все окна и двери. И вдруг непроизвольно... одна, среди зелени... счастливо она рассмеялась. Как хорошо! Вот и нашла снова себя. Быстро пошла она, почти побежала — к пруду... это невыносимо, как раньше не вспомнила!..

Туча росла, густела и ширилась, воды в пруде были темны; с дивной отрадою вступила Лиза в прохладную глубь: пусть хоть гроза! И гроза оказалась столь же быстра, как Лизина мысль.

— Ты сумасшедшая! Лиза! Лиза! — через четверть часа кричала ей мокрая Оля с мокрым плащом и простыней; с открытых кос ее никли струйки воды, лицо было встревоженно, мило.— Вылезай же скорей, я рассержусь. Разве так можно!

Лиза смеялась ей из воды, и, выскочив на берег как сумасшедшая, зацеловала сестру.

— Ничего, что я так. Ты мокрая тоже. Олечка, милая... знаешь, я так... я так счастлива за тебя...

Оля примолкла в смущении.

— Ты не думай,— сказала она наконец, потупив в замешательстве голову.— Он любит тебя... очень, очень! Мы обо всем с ним говорили... И с колечком твоим не расстается.

Но Лиза, уже накинув на плечи мохнатую мокрую простыню, перебила ее:

— Да, да!.. Так счастлива и за себя, потому что... да: жаркий мой день — ох, он прошел!

Август 1918 г.
Москва

Аркадий Петрович и мышь

В дни Великой революции, которую ныне учат уже и школьники по классу истории, случилась в Москве одна маленькая и отчасти забавная также в некотором роде история, которую я и хочу здесь рассказать. Слышал я ее от самого Аркадия Петровича, тогда уже старика, тихого скромного, а главное — на редкость правдивого и уже отнюдь не застенчивого. Если бы сами вы знали его так же коротко, как довелось знать мне, то, конечно, ни на минуту не усомнились бы в искренности его повествования, как не сомневаюсь и я; но так как вряд ли судьба сводила вас с ним, — был он большой домосед и к тому же великий молчальник, — то прошу вас поверить мне на слово.

Жил в ту пору Аркадий Петрович в одном из тишайших, между Пречистенкой и Остоженкой, переулков, ходил, как и все, на службу, а по вечерам [illegible] и долгою ночью любил писать для себя, почерком мелким и убористым. Записки эти его, наискромнейшего из граждан республики, листал я не раз, а кое-что прочитал и вовсе внимательно; немало там любопытного от той любопытной поры, и когда-нибудь отдельные странички из них я извлеку на божий свет да на ваш суд. Хранятся они очень любовно и бережно у дочери покойного, Марины Аркадьевны. Во время же той истории с мышкой была она, впрочем, совсем еще девочкой, лет шести или семи, вряд ли больше того; все же и она кое-какие подробности помнила.

Аркадий Петрович снимал всего одну комнату, небольшую, но славную; любил он порядок. За стеною жили хозяева — рабочий-механик с женой; оба они с утра уходили на службу, однако ж хозяйка была к жильцу своему внимательна и благосклонна, кое в чем помогала и от души жалела Маришу, веселую девочку, что ей приходилось целыми днями оставаться одной. Но хоть скудна и голодна была эта жизнь, ни сам Аркадий Петрович, ни девочка на судьбу не роптали.

Мариша дневным своим одиночеством также не тяготилась: была она характера легкого и, как и отец, фантазерка, самая уборка их комнаты была для нее каждый раз по-иному, но всегда увлекательным и веселым не то приключением, не то путешествием по неизведанным странам.

Окончив дела, позавтракав корочкой хлеба или холодной картошкою с солью, доставала из шкафа она толстые книжки с картинками, садилась к столу на отцовское место, и время летело так быстро, что всякий раз неожиданным бывал для нее отцовский звонок. Он приносил ей со службы новость, а вечером в сумерки растапливали и сами свою железную «пчелку», стряпали ужин. Это было, пожа-

луй, самое лучшее время: волшебное тепло, веселый огонь, самый воздух в их комнате делался вкусным; оба они неумолчно болтали.

Маришу Аркадий Петрович сам раздевал и укладывал, и было так нежно у ней на душе, как лучше и не бывает.

И вот, уложив девочку спать, сидел он однажды, писал; час был поздний, ночной. И слышит Аркадий Петрович, как кто-то громко довольно и довольно настойчиво по бумаге царапает. Не сам ли так уж увлекся? Оставил перо, прислушался. Тихо. Но только опять: цирк-цирк!.. Поогляделся, нет никого, и звуки замолкли. Опять наклонился к столу и, подумавши, бисером стал выводить на бумаге то, что его занимало в тихий этот ночной, раздумчивый час.

Аркадий Петрович писал:

«Трудно стало быть добрым; раньше легко и ничего даже не стоило. Теперь же и корочку хлеба подать — отнять у себя. Но тут-то и надо...»

И показалось писавшему, что тонкое на него струится чье-то дыхание. Поднял Аркадий Петрович глаза, а на краю стола — мышка. Стоит и глядит. «Так это она была, за обоями...» — подумал Аркадий Петрович и себе начал глядеть на гостью нечаянную.

Мышка была телосложения слабого, из себя деликатная, а кроме того, верно, и отощала на постных хлебах: ножки такие малюсенькие, как у ребенка-мышонка. Стоит она и глядит, только что слова не вымолвит. И так постояв, присела на задние лапки, а из передних одну приложила к сердечку, а другую, правую, к Аркадию Петровичу протянула просительно, будто как милостыньку звала подать.

Так говорил мне об этом Аркадий Петрович, рассказывая, рукою немного прикрывши глаза: «Поверите ли, сударь, вы мне: лапкою этой своей, ручонкою худенькой, точно пронзила она пиджак мой и самую грудь, и коготками там у меня... в самое сердце царапнула...»

Понял Аркадий Петрович тотчас, что было ей надобно, поднялся, выдвинул ящик в обеденном столике. Маришину долю утреннюю он отделил, а свою хлебную порцию, очень миниатюрную, положил перед мышкой. Она немедля хлеб обхватила передними лапками и аккуратно и с наслаждением принялась грызть: Аркадий Петрович глядел на нее и улыбался. Всего кусочка мышка не одолела, но все ж таки съела порядочно, утерла обеими лапками повеселевшую свою серую мордочку, смешно поклонилась, поблагодарила и ушла куда-то к себе.

Аркадий Петрович в ту ночь больше уже не писал; так, улыбаясь, он и уснул.

Мариша слушала утром про эти ночные дела, как веселую сказку, но вечером пресерьезно потребовала, чтобы нынче для мышки была ее доля: она отломила сама и положила на угол стола. Аркадий Петрович посмеивался: неужели придет и сегодня?

И верно, мышка опять появилась и опять аккуратно пооб-

Стала ходить она каждую ночь, и Аркадий Петрович привык [illegible] совершенно; когда, случалось, мышка запаздывала, он скучал [illegible] нее и ждал, когда же царапнется. Скоро и вовсе с нею он подру[illegible]лся, гостья ночная его не торопилась теперь уходить, облюбова[illegible] местечко на Маришином маленьком креслице и частенько там [illegible]живала, наслаждаясь, а то и подремывала. Случалось, бывала [illegible] в настроении и шаловливом, тогда по рукаву взбиралась, как по [illegible]димой лесенке, на плечо к человеку, крохотной лапкой играла [illegible] волосками из кудрявой его бороды и вдруг, комочком, быстренько [illegible]катывалась на не просохшие еще письмена. Аркадий Петрович на [illegible]ее не сердился, мышку он полюбил.

Мариша просила не раз, чтобы ее разбудили — поглядеть, познакомиться с мышкой, но жалко было будить спавшую девочку, и Аркадий Петрович только давал по утрам подробный отчет о таинственной гостье. И все же знакомство их наконец состоялось, при обстоятельствах, правда, довольно печальных.

Аркадий Петрович [illegible] простудился (всю зиму ходил без калош) и однажды [illegible] руки его сильно горели, подернулись светлым [illegible] и мокрые волосы прядями прилипли к потным вискам [illegible], он разметался в постели и говорил не уставая, [illegible]. Потом замолчал, будто забылся, уснул. Хозяйка [illegible] к больному, качала над ним головой и тоскливо [illegible] девочку; Мариша тревожилась, хотя и крепилась. Но бежали часы, и она наконец вовсе осталась одна.

Хозяева спали теперь, горела одна небольшая их лампочка, затененная старой газетой, тени лежали в углах, чуть пошевеливаясь. Мариша сидела, глядела, как изредка вздрагивали ресницы на впалых глазах у больного, как он лежал перед нею худой, потемневший. В детской головке ее смутно мелькали разные мысли: надо бы доктора, надо бы папочку бедного хорошенько, хорошенечко подкормить, он бы поднялся тогда и стал бы опять веселым и добрым. Но как это сделать?

Слезинки навернулись у нее на глаза; она взяла большую отцовскую руку и осторожно прижалась к ней разгоревшеюся своею щекой. И только прижалась, как в ту же минуту и закропили крупные слезы, и стало ей так одиноко и горько, так безысходно...

А когда поднялась и утерла ресницы, то увидала на столике около лампы серую мышку; она стояла в тени, но глазки ее блестели внимательностью и пониманием. Тихонько потом она подошла поближе к больному, потрогала лапкою лоб, покачала серьезно головкой, подумала, что-то сообразила; потом, вовсе уже деловито, деловитой походкой подошла к самой Марише и успокоительно погладила ее по руке.

Девочка следила, как завороженная, за всеми ее движениями, не промолвив ни слова; так же она и проводила мышку глазами, когда та юркнула с поспешностью в потайную дверку свою, за обоя-

ми. Ей было и удивительно, и запала на сердце надежда, очень глупая, но и очень горячая: может быть, мышка поможет?

И она стала ждать, и долго ждала, покуда не задремала. Но сон ее был неровен и беспокоен; время от времени на короткий срок она открывала глаза, и тогда ей представлялись чудесные вещи... Мышка вернулась, но теперь пришла не одна: за нею цепочкой, как муравьи, тянулись мышка за мышкой... Их было много, старые и молодые, полные и худощавые, веселые и деловитые, взъерошенные и гладенькие... но у каждой из них было во рту по зерну – большому, отборному зерну пшеницы. Подходили они, одна за другой, и клали сначала на столике – кучку порядочную, потом и на стульях, потом и просто в углу: стало как в закроме – тепло, уютно и тихо.

Потом знакомая добрая мышка осталась одна, взобралась на плечо к самому уху Маришки и тихонько шепнула ей:

– Видишь, Мариша, сегодня как раз я узнала нечаянно адрес: у одного спекулянта спрятано много пшеницы, я всех и позвала – знакомых и незнакомых, чтобы они помогли. Пусть хозяйка твоя завтра пойдет на Смоленский и выменяет там на муку да и на сало. Главное, пусть не забудет про сальце... Это самая на свете вкусная вещь. И полезная самая. Да доктора человечьего позови.

Утром Маришка, проснувшись, так все и сделала. Повеселело у них. Был и доктор, седой старичок в серых очках, прописал он лекарство, но между тем одобрил и сало: простуда простудой, но и отощал наш больной.

И стал поправляться Аркадий Петрович, а как поправился вовсе, по вечерам жарили вместе с Маришей на сковородке картошку, сало шипело, корежилось и благоухало. А уж как было вкусно, этого и не рассказать.

Мышке ее хорошую порцию ни разу не забывали; она приходила теперь не ночью уже, а запросто к ужину. А вскоре и вовсе переселилась к Аркадию Петровичу в комнату. Очень они с Маришей подружились, сшила ей девочка платьице, теплые валенки и рукавички, а спать клала в коробочку возле себя: сама и перинку набила, и одеяльце ей тепленькое выстегала.

И жилось им всем троим, в дружбе, в любви – хорошо.

1920

Белая зима

Дом в Спицыне сгорел еще до революции, начали постройкою новый, но не завершили; стоял только остов, через пролеты дверей и окон видно насквозь. Пробовали, и не раз, разнести его по кирпичику, но проклятый цемент не уступал ни одного. Зато от огромного старого скотного остались одни только руины, причудливо поросшие зеленью. Если там был огород, зайти на него — и можно подумать, что возделывал эти овощи не человек, а гигант: долголетний навоз выжал из прелой земли тыквы больше, чем в пуд, капусту — не обхватить, томаты — неслыханной сочности и райского колера.

Но обитали в усадьбе отнюдь не гиганты; гиганты и не поместились бы в крошечном флигеле, бывшей конторе, где и сама хозяйка, женщина среднего роста, свободно дотрагивалась рукою до потолка с обвисавшей бумагой; два небольших окна из столовой глядели на двор — пустынный, необозримый, царство бурьяна, и еще одно из крохотной спальной, откуда были видны милые детские вещи.

Сами они по себе вещи не детские, но милые и неотрывные с младенческих лет, когда каждый серебряный день был как ключевая вода.

Зиночка, дочка Натальи Сергеевны, и теперь как проснется, прямо к окну. Оттуда глядит синий забор, обнесенный кругом, а за забором темные ровные елки; вокруг того дерева, что посередине, круглый же стол. Это местечко — как рай. Там хорошо и играть и дремать; там весело есть душистые яблоки и еще веселее катать их от дерева к дереву.

Но нынче зима. Лето само, как спелое яблоко, дозревшее к осени, скатилось куда-то по круглой земле, и на пустынные долы усадьбы, на луг, на овраг, и за оврагом на самое Спицыно, и на замолкнувший лес, на нагие поля легла пелена, чистая, свежая скатерть.

Зима началась и длилась так долго, как никогда; и была зима белая, как никогда.

Сразу отрезало мир и сделало жизнь во флигельке такою уединенной и замкнутой, как если б и вовсе вокруг ничего не осталось, кроме этого белого снега, то ровного, гладкого и нестерпимо под солнцем блестящего, то наполнявшего небо и воздух опаловой мутью, сыпучей, стремительно-неудержимой; вихрилась внизу и земля, сумасшествуя.

Белые комнаты флигеля в эти летящие ночи и дни напоминали каюту, волны плескались в окно, воздух стонал, и старые ели скрипели как мачты; закроешь глаза — и качает, клонит ко сну.

Белое утро и тишина — как первозданная. Все сумасшествие звуков себя исчерпало; их как бы не было, нет и не будет: такая стоит тишина, и одежды ее — белы и немы.

Но Наталья Сергеевна знает, что это значит. Доселе она спит, как котенок, калачиком. Проснется, взглянет на Зиночку — и Зиночка тот же калачик, только поменьше. Вытянет ноги — как простыня захолодала! Надо вставать, и первое дело — лопата: снежная буря все заметала крутою горой. Двери, случалось, и не открыть. Тогда вылезали по лесенке в окно из прихожей. Оно высоко и закрывается ставней, стекол в нем нет, целое предприятие.

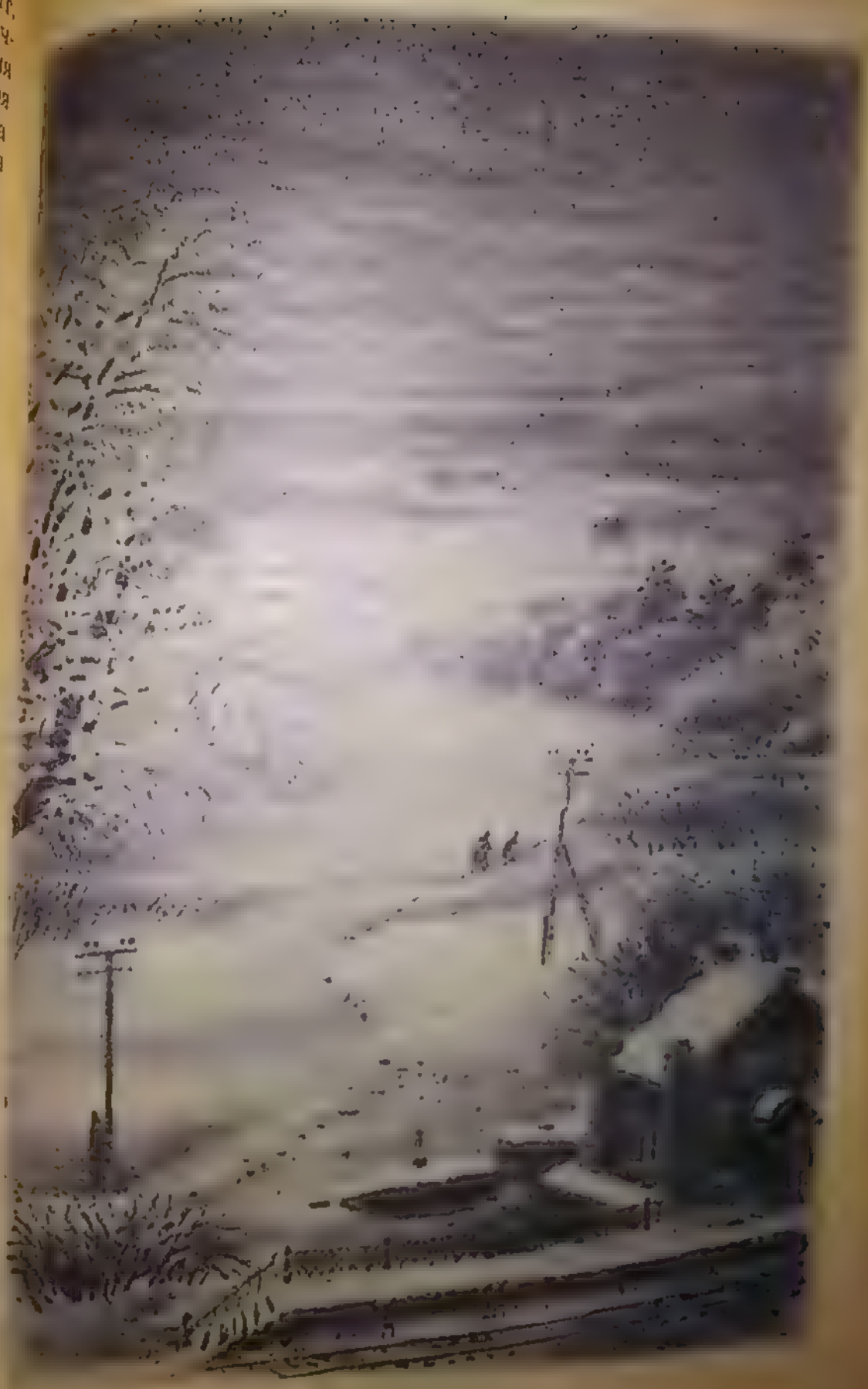
Кур на ночь брали к себе: у них две плетушки, в которых они должны бы нестись, но там только спят. Теперь в ожидании чая и крошек две эти ручные хохлатки ходят по горнице, дробно ступая, след в след, осторожными лапками. Скромный их муж, полинявший за зиму, тщетно высматривает — в поисках хотя бы малейшего повода, чтобы хозяйственно их подозвать. Козы же мужественно переносили длительный шторм в узком закутке, устроенном в той же прихожей, откуда Наталья Сергеевна восстановляет сообщение с миром.

Зиночка с козами, их [illegible] козлоногих монашки. Но имена этих затворниц скор[illegible] Зю и Глю. Обе они в селенитовых, мистически-[illegible] курках, врожденно изящные и грациозные. За долгую [illegible] их стали немного похожи на человеческие, они все понимают и даже по-своему отчасти и разговаривают: топаньем ножек, [illegible], которая то опадает, то электрически вздыбится, Глю, когда сердится, прикрывает левое веко, Зю — распускает веером бороду.

Но и Зиночка, между подруг, в аленькой шубке, на длинных ногах, также от них заразилась «козлятинкой», как говорит ее мать: ступает похоже и похоже глядит: по выражению глаз угадывает Наталья Сергеевна неразличимо: и у Глю, и у Зю, и у Зиночки — когда они голодны и когда им хочется спать.

Наталья Сергеевна в валенках и полушубке, оранжево-же [illegible] лицо ее пышет румянцем, морозом; мороз серебрит и височки под палевой шалью. Никто бы, пожалуй, не отгадал в ней певицу, и трудно сейчас представить ее на эстраде, с опущенным веером из слоновой кости, и рука, держащая веер, на темном бархате платья, тоже, бывало, казалась изваянной. Эти же руки теперь в рукавицах и держат лопату. Плотный, упругий под лопатою снег — как глыбы студеного сахара: колоть и откидывать — одно наслаждение. Такой же упругий, крепительный воздух, он — как вино. И если [illegible] у Натальи Сергеевны были поклонники, целая свита, то и теперь, между снегов, она зацветала пленительной русской морозною розой. Только никто ее не видал. Одна разве Зиночка вечером, как на полу сядут у печки, обнимет ее и крепко прижмется к золотому плечу:

— Ты у меня, мамочка, только одна такая на свете. Ты лучше всех!



И Наталье Сергеевне также не надо тогда и ничего, и никого. Живут они тут как в монастыре. День трудовой: козы, обед, куры, хозяйство, на речку идти за водой, самовар, постирушки, изредка — книга, занятия с Зиночкой. День неотличим ото дня: белые бусы на черной нитке ночей.

Здесь хорошо и по душе Наталье Сергеевне. И хорошо, что не было мужа, одна. Крестьяне ей дали контору и огород. И довольно. Отсюда она, из белого своего монастыря, не жалела теперь о призрачных видимостях. Бедным глядело отсюда тот человеческий быт, что зовется верхушкой культуры и где один разве только процент чистого золота, прочее же — явная, вредная и самовлюбленная суета! Суета — одурманивающая. Здесь же — не суета, простота и величие, скромность и тишина. И труд человеческий — явен, прост, строго необходим. И думы — о главном: о жизни, как она есть, и о пути человеческом. И медленно, пласт за пластом, в снегу и морозе, оттаивала сердце в груди. Здесь, в тишине, слышно, как сердце бьется в груди.

Однажды (за солью) ушла Наталья Сергеевна за шесть с половиною верст. Зиночка оставалась одна дома с козами, и без нее они разбушевались и разыгрались; Зиночка с ними не совладала. Зю была лакомка и пожирала бумагу, как только где добывала. Вернувшись домой, застала Наталья Сергеевна Зиночку спящей, рядом с ней тихо посапывала уставшая Гпю, а Зю все еще мерно дожевывала листок за листком: она раскопала бювар, где были спрятаны письма Натальи Сергеевны. Так и последнюю эту цепочку, идущую к прошлому, стройными ножками, с ножки на ножку переступая, играючи оборвала белоснежная Зю; и белоснежная Зю безраздумным своим язычком, играючи, каплю за каплей слизнула последний остаточек меда и горечи, что все же зачем-то еще берегла Наталья Сергеевна. Что же? И пусть. Она не рассердилась и не огорчилась.

И как хорошо! То, что теперь окружало, было единственно детство, те легкие, звонко-воздушные годы, когда каждый серебряный день — как ключевая вода.

На рождестве она сделала для Зиночки елку, как делали это когда-то и для Наташи. Двенадцать бумажных фонариков были подвешены на темно-зеленых ветвях, тонкие желтые свечки, перерезанные пополам, тепло дышали внутри, сверху, косматясь, глядел нависший снег, а по земле двигались синие тени. У Натальи Сергеевны от осени была припасена горсточка спелых орехов, которую она утаила и прокалила в духу тихонько от Зиночки; это был сюрприз, и превесело, блестя по-козиному своими прозрачными глазками, быстро она щелкала их один за другим. На торжество были приглашены и белые козочки. Им разложили в разных местах по клочку их любимого сена, и они с оживлением находили его то под одной пустынною елкой, то под другой. Потом на снегу была беготня — Зиночка с козами играла в снежки.

Вернувшись домой, она захотела немного побаловать и дюжину кур, они ей показались забытыми. Петуха нельзя было

...любиться, и две маленьких горки пшена насыпала девочка в горшие, собственно, для бесплодных наседок и, схватив в охапку, перенесла их туда. Тяжелые сном, вяло, однако, они приняли участие в пиршестве, восковые их веки то и дело ползли шутливо вверх. Зиночка, глядя на них, смеялась до слез и наконец отнесла их в корзинки.

Когда уже обе, и мать, и дочь, по-необычному поздно свернулись в постелях калачиком, проснулся петух и заорал «кукареку». И было так весело, ярко, как если б в ночи засветили яркий фонарь. Обе они его поощрили, и петух разгулялся совсем. Он расправил крыла, потоптался и вышел пройтись. Скоро из горницы послышался громкий его, призывающий клекот: набрел на пшено. Он долго не мог успокоиться, но так и не разбудил сонливиц в корзинках.

Утром пшена не оказалось. Ночной кавалер, видимо, не утерпел под конец. Проснулся он поздно, и Зиночка, смеясь, прощупала зоб: был он полнешенек.

После этого вечера стало обычаем брать коз на прогулку. Это было неплохо, и так, оранжево-ало-белой флотилией, не раз выступали они, попирая алмазы под солнцем. Зиночка пробовала выводить на тесемочке также и кур, но это не удалось, и на прогулки подальше их уже не тревожили.

Таковы были два этих события: Зю, изжевавшая письма, и семейный сочельник под стяками. Третье событие произошло ближе к весне. Ему еще задолго предшествовали слухи и разговоры.

Жизнь и сюда досягала. В далекой глуши, от станции на сорок верст, она доходила не как газеты, не как политика. Всю эту зиму округа жила страшными слухами о переодетых бандитах. Наталью Сергеевну изредка кое-кто навещал из спицынских баб, и каждая передавала напасти, одну страшнее другой. То женщина с тощеньким узелком попросит в пути ее подвезти, а потом вдруг в лесу вынет кинжал и заколет возницу; то под видом монашки зайдет ночевать, а ночью с печи как свистнет призывным сигналом, а уж по огородам ждет не дождется засевшая шайка. И не только что грабили, но и убивали, чтобы не оставалось следов. Так было в Кунееве, так было в Захарьине, в Байдине...

Наталью Сергеевну эти рассказы по временам сильно тревожили: не за себя, а за Зиночку. Ей иногда не спалось, и настороженно она слушала шорохи. Думала, лежа: «Пускать?» Доброе сердце ей отвечало: «Как не пустить?» Но недоброе время решало: «Нет, ни за что не пущу; еще будь я одна...»

И вот, уже ближе к весне, эта судьба не миновала и их флигелек.

Была серая, мутная ночь. Ветер и оттепель, но к вечеру захолодало, и ветер стал ледяной; уже перед сном выглянула Наталья Сергеевна во двор, и ее обожгло. Зиночка что-то была невесела. Термометра не было, но лобик на ощупь горяч; было тоскливо на сердце. Однако она, лежа, забылась. Резкий стук и ставень ее разбу-

лил. Не сразу она поняла, что это было, но стук повторился. Зиночка, слава богу, не пробудилась. Тогда Наталья Сергеевна встала и босыми ногами подошла к окну.

— Пустите переночевать!

— Я не могу,— отвечала она,— я тут одна и с ребенком. Мужчины нет в доме.

— Пустите за ради христа, я замерзаю.

Голос был сиплый, простуженный, у Натальи Сергеевны дрогнуло сердце. Но все же она отказала, стараясь казаться суровой и непреклонной.

— Я не пущу. Ступай на деревню.

— Я не найду. Я не дойду.

— Я не могу никого в избу впустить и не впущу.

Неизвестный во тьме больше не отвечал; он не стучал и не ругался, не стал силой ломиться и на крыльцо.

Наталья Сергеевна подождала и отошла. На душе было смутно, нехорошо. Если бы тот вел себя нагло и угрожающе, кажется, было бы легче и проще. Если борьба, натиск, насилие, она б за себя постояла, Зиночку оберегая. Но, кажется, он отошел. Почему непременно разбойник? Ей живо и больно, мучительно ясно представилась эта фигура во тьме, наконец-то наткнувшаяся на людское жилье и вот снова бредущая да и ше. Куда? И на деревне, если б добрел, ни один человек не отодвинет засов. Боже мой, что же это за жизнь? И почему нельзя проявить самых простых человеческих чувств? Это, пожалуй, было тошнее всего.

Наталья Сергеевна снова легла, но не могла ни уснуть, ни безмятежно согреться, как если бы ей передавался тот холод... Так пролежала она, может быть, с полчаса. Вдруг она вздрогнула и тотчас же вскочила: снова стучали. Она этому стуку даже как бы обрадовалась: он еще жив!

Голос теперь был слабее и заглушенней:

— Я ничего не нашел. Пустите за ради Христа, я коченею.

Наталья Сергеевна ответом замедлила, как-то все в голове закружилось, как если бы там запорхали снежные хлопья, а ветер одновременно дул в разные стороны. Снова сомнения, страх и тоска охватили ее. Вдруг она различила, как Зиночка быстро заговорила во сне:

— Ой, мамочка, мама, боюсь... он меня забодает.. как он рогами... меня!.. Нас!

Кто это — «он»? И почему не «она» — не коза?

Наталья Сергеевна твердо и громко сказала за ставни:

— Я не пущу. Я сказала тебе, что не пущу. Иди на крыльцо и сиди.

Отойдя от окна, она не легла; нельзя было лечь: там ждало тепло. Кто бы он ни был... Боже мой, что же мне делать?

Была тишина, только ветер порывами рвал отяжелевшие ветки. Ногам было холодно, и тишина, неуютная, как бы затаившаяся. медленно длилась. Она поглядела на Зиночку,— та разметалась

и спала неспокойно. У Натальи Сергеевны не было даже силы поправить ей простыню. «Про кого же она говорила: он забодает? Может быть, вовсе не про разбойника. Может быть, это про...— даже мысленно Наталья Сергеевна как бы запнулась.— Да, да... про него— шептавшего мне: «Не пускай, не пускай!»

Холодок пробежал по груди. Наталья Сергеевна думала теперь — сразу так горячо!

«Да, да... Нельзя. Человек замерзает. Кто бы он ни был, а я дважды его не пустила к себе на порог». Вдруг у нее захватило дыхание, и горячие слезы хлынули ей на рубашку, на грудь.

Быстро она подхватила своей полушубок, как была босиком, сунула в валенки ноги побежала в переднюю.

Ветер ее охватил. Сизая ночь дохнула в лицо. Но сразу она различила на пороге крыльца небольшую фигуру. Она наклонилась и тронула за плечи. Слабо качнулся сидевший и медленно повел головой. Он был убого одет, лапти, онучи промерзли насквозь. Наталья Сергеевна его приподняла...

— Прости ты меня за ради Христа,— сказала она по-мужицки, сама не замечая того, и повела его в дом.

Это была странная ночь, как если бы таяли льды.

Наталья Сергеевна его отогрела и покормила. Она не спала до утра. Утром замолк наконец неистовый ветер, и в спокойно-торжественный иней оделась усадьба.

И утром, проснувшись здоровой, увидела Зиночка, как если б был сон. Заглянула она в конурку, где козы: там между коз лежал незнакомый мужик, кажется, он лег там отогреваться, и обе пушистые милые дурочки грели его терпеливо своей шелковистою теплою шкуркой.

* * *

Пришла и весна, и весело, остро из земли заточила штыки юная травка; кое-где она уже и запушилась, кудрявая, все еще желтая, похожая на новорожденных цыплят. Ожили куры, козы резвились.

Но людям пришлось покидать свое место. Сад в Спицыне сдали в аренду, с садом постройки. Надобно в город.

Наталья Сергеевна кое-что продала. Куриное племя купил комиссар, но в этот не близкий путь, рассчитанный на два дня, взяли и коз. И вся эта флотилия вместе снялась и отправилась в путь.

Зима была позади. И белая эта зима у Натальи Сергеевны надолго останется в памяти, в сердце.

15 сентября 1922 г.
Москва

Петькина удача

Профессор де ла Пелюз был приметной фигурой не только что у себя на дворе, но и во всем переулке; надо, впрочем, надеяться, что также и в мире ученых, иначе зачем бы он был членом Цекубу и имел отдельную комнату? Цекубу! Это было словечко! Никто на дворе его не понимал и оттого особенно чтили, и самого де ла Пелюза (это и вовсе не выговоришь!) называли и за глаза и прямо в глаза – гражданин Цекубу. И ничего, он не обижался. Да и чего обижаться? Дворнику раз сказал постовой милицейский, что у Цекубу есть свой дом на Пречистенке со львами на воротах! А уж если свой дом, да еще охраняется львами, как же тут тронуть квартиру. Дворник вздыхал и как-то мечтательно щурил косые глаза: много чего свалили большевики, а его не свалили, стало быть – сила! И не мудрено: книги на полках до потолка, протопить ими можно бы целую зиму!

Но, несмотря на ученость, однако же имел гражданин Цекубу и кое-какие житейские слабости. О них, впрочем, можно было легко догадаться и по внешнему облику де ла Пелюза: был он, насколько возможно, франт первого сорта, и приятели звали его «советский маркиз». Самые полы чесучевого его пиджачка развевались под ветром не иначе, как с грацией. Ходил он вприпрыжку; развевался и галстучек, свежий, цветной; вились под щипцами и золотистые волосы, которые он омолаживал хной. Порхнет мимо окон трамвая, чтобы влететь в автобус, подумаешь – бабочка, а не профессор! А ежели склонит свой стан над шоколадницей из Моссельпрома, то так мелодично жужжит, как если бы шмель надел пиджачок. Но аккуратен был в этих делах! – не меньше, чем в самой науке. Жена его Анна Ивановна – «хохлатые уши», как звали ее на дворе, – была домовита и очень строга.

Жила она этим летом на даче, профессор же только изредка ее навещал: сам он недавно вернулся из Кисловодска, и в городе было множество дел и неотложных трудов...

— Петька! – крикнул он, наклонясь с высоты этажей.

— Сичас, гражданин Цекубу!

Двор походил на колодец, но не прохладой, а зноем асфальта горячею пылью – обжигало лицо. Петька закинул наверх свою рыжую голову, и на коричневом четырехугольном лице его двойная полоска ровных и белых зубов сверкнула на солнце, как если бы по губам мазнули сметаной.

Книжные полки нависли над Петькой, когда он вступил в заповедную комнату, было похоже, что он очутился на дне горной расщелины. Де ла Пелюз, однако же, был не похож ни на горного духа из сказок, ни на разбойника; был он настроен, напротив того, легко

мысленно весело. В комнате веял запах духов; сиреневый дымный листок, бледно исписанный, держал в руках де ла Пелюз; длинными бе́лыми пальцами он помавал этим листочком бумаги, вдыхая его аромат, играя и веселясь.

— Я собирался сегодня на дачу к Анне Ивановне,— начал он не спеша и сам наслаждаясь задуманным им изящным лукавством,— она меня ждет. Но, видишь ли ты, я не смогу: дела, братец, дела! Об этом я ей и пишу. И ты сам поясни. Ты отвезешь это письмо... и день- ги... да... И смотри не потеряй...— И он стал объяснять Петьке дорогу; телефонный звонок прервал эту лекцию.

Боже мой, как он рассыпался:

— ...Замок коварства?.. долина очарования?.. да я был бы преступником, если бы хоть один лепесток этих воспоминаний не был обрызган росой моей нежности... Нет, нет я не увлекаюсь... Да?.. Непременно! Да, получил! Я нынче свободен, и завтра, весь день... Да, вместе конечно... вдвоем... Ах, боже мой, да, я сейчас...— Он поглядел на часы.— Ты опоздаешь! Беги на трамвай... Поезд отходит... Ну вот, одним словом...

Не отрываясь от трубки, одною рукой он сунул бумажку и запечатал конверт. Петька принял его, исполненный гордости и озабоченности: как бы чего не забыть...

И на вокзале он все повторял про себя, на какой ему поезд садиться, как, доехав до Крюкова, взять по шоссе не вправо, а влево, и все время идти по телеграфным столбам, как передать этот пакет Анне Ивановне («там тебя и покормят»), взять письмо от нее и тотчас же назад. Но и гордость его и озабоченность, как только влез в плотно набитый вагон, покинули Петьку. Сесть было негде, но он примостился прямо напротив окна; мелькали деревья — острая ель, бисер берез; пахнёт то смолой, то ароматом лугов; вдруг налетит ветерок и распушит его рыжие кудри; склоны откосов пестреют цветами, сверкнет кое-где лужица, речка, касатка углом налетит и ковырнет серую гладь; небо синее, легкое, на нем облака, они громоздятся одно на другое и не упадают, мягко скользит на лугах их неслышная тень. Жарко в вагоне, как в парнике, но за окном — ровно тепло, мягко, душисто, как если б разлит над землею невидимый мед. А поезд летит, погромыхивая, тяжелый и легкий одновременно, черный, горячий, подобный жуку.

И Петька наш, рыжий подвальный мальчишка, он весь золотится под солнцем, ветер его продувает насквозь, и каждая жилка трепещет, купается в воздухе. Сейчас он забыл и профессора и серый подвал, где он прижился, подкинутый матерью, у тетки Аниси, рыхлой и полной, но без кровинки в лице, когда она так наклонялась, в сладковатых горячих парах, над корытом, казалось, как будто сама она взбита из мыла, из синеватой, то опадающей, то вновь возникающей, пены.

Анисья стирала тайком, чтобы ее не обложили налогами. Приходилось и прятаться, и унижаться, и водить корыстную дружбу с пьяницей дворником, оставшимся без перемен с царских времен.

Петька таскал по вечерам корзинку с бельем и всякий раз тайно дрожал, как бы ему не попасться черному Шварцу. Шварц был законник и в доме наводил субординацию: одних выселял, других уплотнял и Петькиной тетке грозился не раз, что он ее выкинет вон из рабфракции за то, что зимою она наотрез отказалась переселиться в хорошую комнату, с паркетом и с электричеством. Конечно, она сознавала, что была несознательная, а все ж таки рада была пожить по-человечески, да как на паркетах на этих разведешь свою стирку? Этого Шварц по строгости правил своих не понимал: грозный он был человек, его трепетали все в доме, отчетливый был человек.

И вот и Анисья, и Шварц, и гражданин Цекубу, и сам даже он, никуда не приткнутый и неприкаянный Петька, рыжий мальчишка на рыжем горячем дворе — всего этого словно и не было: было просторное солнце и синева, ветер с полей.

И еще был народ [illegible] народу. В вагоне гудели, жужжали и стрекотали, и краешком уха Петька порою прислушивался; говорили об Англии и о Ки[illegible] через тайгу, о продналоге и о религии; об уро[illegible] открытый, порою задорный. Петьке особенно [illegible] что все это было знакомо даже ему: об этом [illegible] имел обо всем этом суждение; был аппетит [illegible] Может быть, там кое-кому уже и надоело, а нам в самую [illegible] конец нашего Петьку уже и самого подмывало — вставить словечко: этак спокойно и рассудительно, с высоты своего [illegible]. Но крикнули: «Крюково!» — и он опрометью кинулся к выходу.

Тут-то на Крюкове, и начались настоящие Петькины похождения, о которых писать бы целую повесть! Но мы пробежим по ним быстро, как быстро порой прошуршит по кустам ветерок, мимолетно, легко покачнув, однако же, каждый листок: ибо и весь наш рассказ — не больше, как летний рассказ.

Петька, во-первых, прогородился, а профессор ему отвалил на расходы ни много ни мало, как целый серебряный полтинник — это для Петьки было богатство неслыханное! И оттого он с особым очарованием прочитал за полотном вывеску крюковского закусочного заведения. Письмо и обратный билет были у Петьки в кармане, полтинник же он как зажал, так и не выпускал из руки.

Из окон трактира шел дым — от табаку и от кухонных [illegible] внутри было густо и людно: человеческий дух был крепко настоян. Люди сидели за чайниками, за парочкой пива, шипела яичница, [illegible] рочинным ножом резали сало и колбасу, на расписных полуглубоких тарелках лежали баранки, на стенках — портреты [illegible] олеографии «Нивы»: старое смешано с новым, как это вкусно умеет причудница жизнь, и от старых времен в углу канарейка и в [illegible] спутницы всякой еды и жилья — неугомонные и придирчивые мушиные стаи.

Петька, пожалуй, не мог бы и сам рассказать, как его [illegible] от скромного чая к полубутылке в компании; просто он не хотел

в грязь ударить лицом и забавно, по-взрослому, из кружки прихлебывал горьковатую пену; под конец он совсем расхрабрился и даже расхвастался: ездит он часто... по деловым поручениям... вот и сейчас деньги везет... И он пощупал карман: письмо было там. Его соседники, двое парнишек прожженного типа, косили глазами, подталкивали под ребро и всячески его поощряли, жались к нему.

У Петьки остался пятак, когда он зашагал наконец на левую сторону, по телеграфным столбам. Хмель его быстро прошел, и на душе было легко; ноги веселые, сердце летит, а рукам... и рукам немало веселья: ветку схватить на ходу, травку, цветок... изредка ягода: маленький домик — зеленый, а в домике спелая красная ягода; что за блаженство! И вдруг...

Вдруг все это рухнуло! Петька схватил себя за карман: письма нет в кармане! Нет ни письма, ни билета! Он обомлел, в глазах помутилось. Он сначала попятился назад, глядя под ноги, думая: может быть, выронил... Но скоро он понял. Он тогда закричал и побежал сломя голову. Трудно было понять, что он кричал, должно быть о том, чтобы там задержали тех жуликов... что как же тогда «хохлатые уши»... что гражданин Цекубу очень важный и что он накажет... кого?

Петька только теперь понял весь ужас того, что произошло. Как же ему показаться домой, как заявиться к профессору?

Горе и страх перемежая слезами, Петька добрался до станции, в трактире над ним посмеялись, денег один пятачок. И Петька отправился вдоль по железной дороге — пешком, и шел он пешком целый день, и целую ночь, видел закат и восход, и лунный туман, и нечастые теплые звезды; и видел еще — на зорьке — лисицу! Это было событием. А самое горе его? Временами покалывало, не без того: будто босою ногой наступил на репей. Но разве какое б то ни было горе может поспорить с лисицей? Лисица возникла как сон, как видение; рыжим хвостом повела, поколыхала она по направлению к Петьке, чуть прискосила внимательный глаз, и... и исчезла. Это было так хорошо — на всю, может быть, жизнь.

Два раза Петьку взбрызнуло дождичком, разок подремал у копны (и после того долго еще Петькины сны пахли травою и сеном). А люди? Люди встречались не жулики; бабы-молочницы дали ему молока, а на пятак он купил себе ситного.

И, однако же, с новою силой обуял его страх, как вдали показалась Москва, вся золотая и розовая. Петькины пятки горели, сердце стучало. Не сразу он поднялся по профессорской лестнице. Делопроизводитель Пелюз сидел за столом и, золотыми зубами закусивши губу, тщательно выбривал себе тщательно бачки; нестертая мыльная пена покоилась под подбородком, как не успевшее сняться на солнце легкое облачко. Он отвел свою бритву и воззрился на Петьку; взгляд его был пылкий, недоуменный.

— Ты что?

Петька ему повинился. Профессор привстал, и мальчуган даже зажмурился.

— Я доверил тебе — деньги, письмо... Что же ты думал, шутки шутить — с профессором де ла Пелюзом? Да знаешь ли ты...

Из желтого круга — розовый круг, из розового — круг голубой; и в голубом — встала лисица. Петька сильнее зажмурил глаза. Вот хвостом повела, вот прискосила прищуренный глаз... Вот-вот раздвинется пасть — и... гам! Сейчас проглотила, проглотит: был на дворе рыжий наш Петька — и нет на дворе рыжего Петьки... А лисица... лисица хохочет...

И все-таки Петька наш жив, на сердце страх, руки-ноги дрожат, а губы кривятся в улыбке, нет силы-возможности, когда этакий смех... Он открывает глаза и видит, как де ла Пелюз в белой рубашке и голубых панталонах катается со смеху; он закричал и кинулся в ужасе к двери. Профессор схватил его и легким движением обмыл его загорелую щеку.

Петька теперь понял одно: что неудача его обернулась удачей и ему теперь можно домой, и можно заснуть, а если приснится лисица и будет смеяться, то это вовсе не страшно.

А что мальчуган все-таки ничего другого не понял, то это в порядке вещей; за него уж, конечно, догадался читатель. Ему-то нетрудно будет сообразить, как счастлив был наш де ла Пелюз, ибо, сунув в конверт вместо своей дипломатической ноты Анне Ивановне — душистый листок, коим он перед тем помавал, он и сам пребывал в не меньшем, чем Петька, смятении чувств, но гнаться за мальчуганом было уже бесполезно. Свидание он, махнувши рукой на судьбу, устроил за городом — на случай если бы Анна Ивановна прибыла самолично. И для него, как и для Петьки, также все вышло удачно: как тому и быть подобает — в летнем рассказе.

Еще одно может возникнуть недоумение: как же все-таки так... Гражданин Цекубу? А видите ли, легкомысленный наш де ла Пелюз — легендарная личность, конечно, ибо во всем Цекубу, как я знаю доподлинно, нет де ла Пелюза. А Петька на нашем дворе, Петька — он настоящий.

1925
Москва

Серебряная свадьба

Хорошо после летней бедовой Москвы с ее грохотом, дребезгом, пылью, когда через мозг проламываются грузовики, а где-то в груди, под девятым ребром, завывают разносчики, и внезапно лоток, как броненосец, врезается над вашею книгой,— хорошо очутиться в горах или у моря. Простор, тишина. Ветер, безветрие. Грохот грозы и прозрачные, тихие дали. Все хорошо, но одно не хорошо: не убежать от нарядной толпы и от музыки, от добрых знакомых и от разговоров, приевшихся за зиму.

То же скажу и о способах передвижения: пароход, или поезд, или даже аэроплан. Что говорить, в этом есть прелесть своя, но иногда хочется быть со всею страной, так, как она есть,— в немудреных ее и необозримых просторах, с росистыми утрами, с зацветающим днем — зелень внизу — травы, цветы,— а вверху облака; с багряным закатом — пламеногривые кони мчат под уклон отгорающий день; и, наконец, с тихой, душистою ночью, когда ложе — земля и звезды мигают между ветвей, а на заре приснится прозрачный полуявь-полусон: заяц стоит на опушке и слушает утро; лапка приподнята; и лапка мокра от прохладной росы.

Итак, стало быть, я пешеход, и не курорт, а деревня.

Неторопливо шагать, редкие люди, природа и труд.

* * *

В записной моей книжке немало зачеркнуто этих людей, памятных встреч, разговоров; можно бы взять наудачу. Но сегодня как раз у музыканта-приятеля пил я вечером чай. Вышли мы в садик (у него и в Москве кусочек деревни), светила луна из-за забора, после дождя пахло травой. А к чаю он подал, и это-то самое главное — в глиняном круглом кувшинчике, по-деревенски, варенье. Из городских обитателей знают его лишь немногие: полевая клубника. Она-то именно мне и напомнила...

Напомнила раннее утро. Я шел вдоль реки по течению. Лежала роса — отяжелевшая, крупная. В бисере были кусты, в бисере травы. В сборчатых листьях манжетки с ее зелеными, едва приметными глазу соцветиями стояли целые детские озера. Маленьким я их любил выпивать. Наклонишься, втянешь холодноватую влагу — и кажется, нет другого такого на свете напитка. Да и действительно нет!

Идти вдоль реки — хорошо. Больше того — очаровательно. Мысли легки. Плавно они поднимаются, плавно скользят и легко уступают место другим. Путь совершаешь с рекой. В ней отражают-

ся небо, рощи, деревни. Порою касатка, косо, стремительно, пересекает у воды свое отражение; черкнула крылом — и снова их две; взмыла — в глубину. У реки, как и у неба, свои облака, не только заемные, что проплывают над ней, и не только туманы, что сама она шлет на вышину, — облака эти издали видимы и ощутимы вблизи: это кувшинки. Порою на тихом течении мостят они мост с одного берега и до другого, и как извиваются крайне упругие стебли, как качивают блестящими белыми лопастями головок: вот-вот сомкнутся!

Солнце было уже высоко, когда я дошел до излучины речки. Она огибала не слишком высокий, заросший дубами, березой, ольхой приветливый холм. Я был уже рад передохнуть в зеленой тени. Но, по правилу всех пешеходов, отдыхать хорошо, в полную меру, не у подножия вставшей преграды, а, преодолев, на вершине. Так я и сделал. И как хорошо разметнулась земля передо мной!

Излучина речки блестела — серебряная. На отдалении избы, село. Между селом и рекою луга. А на лугу, по ту сторону леса, открылся мне сенокос. Пестрая дружная рать — в белых рубахах, в ярких платках. Грабли обернуты ручкою книзу, а клецами вверху бороздят облака. Слитный, ко мне доносящийся говор, чей-нибудь звонкий, раскатистый выкрик — все это так гармонирует с рокотаньем воды у моего каменистого берега, со всплеском наткнувшейся под водой на корягу какой-нибудь порывистой рыбины.

Мне захотелось туда. Дощатая лодка у маленькой пристани для полосканья белья плескалась на том берегу. Я помахал, покричал, и через четверть часа паренек лет четырнадцати, ловко работая одним веслом на носу, быстро меня перевез. Голубые стрекозы реденькой стайкой сопровождали наш переезд.

— Копнить нынче будете?

— А как же! Нынче будем копнить.

— А у вас что же, артель?

— Зачем артель! Почитай, все село. Раньше делили деляпками, теперь по копнам. Так же и в поле. Рожь и овес.

— А кто же у вас такие порядки завел?

— Как кто? А отец.

— А отец тоже тут?

— И отец тут, и мать.

Когда мы добрались до лугa, я попросился в работу. Меня допустили.

— Что ж, становись, — сказал мне высокий, немного сутулый мужик, отец паренька-перевозчика.

Под густыми бровями спокойные серые небольшие глаза глядели с большой простотой. Взгляд этот, ровный и твердый, не покидал его и тогда, когда на минуту оставлял он работу, чтобы вытереть пот на лице, на обнаженной груди или вынуть краску из жабо

под вышитым полотенцем, ни тогда, как обращались к нему за советом, как к старшему: копнить ли сегодня или отложим на завтра?

— Копнить и возить.

— Нынче же?

— Да.— Он только кивнул головой. А через минуту заметил, обращаясь ко мне: — Барометр с утра ненадежен, надо возить.

Про себя я сразу не мог и назвать этот взгляд; скорее всего этот взгляд был рабоче-уравновешенный, как если бы у этого человека за его чуть погнутыми жизнью плечами стояла богатая, трудная и преодоленная жизнь и преодоление это было — в труде.

А между тем мало по виду он отличался от других мужиков. Та же копна рыжеватых, выжженных солнцем волос, та же кудрявая проседь на жилистой шее, те же корявые руки с бурой каемкой ногтей.

И, однако, жену его сразу я отгадал. Между других, ярко цветных и голосистых, была одна тихая, маленькая, в белом платочке, из-под платка выбивалась каштановая с легкой проседью прядка волос. Казалась она немножечко тут чужестранкой. Не то чтобы вовсе не русской, а как капелька масла плавала и золотилась на поверхности чистой воды.

Со мною и другие поглядели насчет того, не иду ли к угоднику и что это, дескать, по нынешним временам будто и вывелось, но эти — ни он, ни она — ни о чем не расспрашивали и вообще проявили скорей как бы сдержанности.

Как хорошо, когда никуда не спешишь! Волен идти, а волен и так вот пристать к стайке людей и скоротать с ними летний денек. Сено душисто и пряно, его аромат возбуждает, даже немного пьянит, но опьянение это вовсе особого свойства: в нем смешано множество запахов, и в запахах этих такое же множество темных воспоминаний, и при этом не только своих, в коих волен отдать себе ясный отчет, но и древней — родовых, может быть даже общенародных. Это как бы какой-то развернутый в хаосе запахов эпос, но поет его, от ступени к ступени, не древний рапсод, а им дышит в лицо память былого, которое есть и настоящее; дышит земля в этих травах пахучих, и терпких, и памятливых. Так дышит полынь далекой татарщиной; и прядка осоки, павшей под лезвием быстрой косы (и самый-то звук, как она вжикнула под лезвием острой косы, был звуком оттуда, из стародавних времен), прядка осоки хранит аромат едва ли не от седой старины сказочной бабы-яги и серого волка, и этот вот аккуратный серенький шомпол Тимошки — это двенадцатый год, и ополчение, и французы... Не спорю, быть может, это последнее и слишком индивидуально, но я хотел передать, как все насыщено преходяще-непреходящим, как это бывает всегда, когда ступишь на землю, и как это, в частности, буйно шумит в голове и в крови, когда опьяняешь себя, глоток за глотком, густою эссенцией запахов — на сенокосе — на русском лугу.

А сон у копны, у свежей полукопенки,— то ли приснится еще! Я и поел вместе со всеми и подремал с полчаса.

Сено было обильное, возка веселая. Я помогал Петру Поликарповичу, как его все величали — по имени-отчеству. Бабы ушли встречать скот, и с последней телегой Петр Поликарпович отправил меня с пареньком.

— Ты оставайся у нас,— распорядился он даже несколько круто.— Место найдется. А ночью — будет гроза.— И он кивнул головой на закат.

Я лежал на возу — усталый, счастливый. Закат был багряный. Петр Поликарпович прав: будет гроза. Но что они были за люди?

Быстро мы покидали душистое сено на сеновал. Сарай был опрятный, просторный, виден во всем хозяйский присмотр.

— Уж небось подоила, сказал мне парнишка.— Вы бы пошли.

— А где же отец?

— А он пошел берегом. Через кусты. Я тут еще уберусь, вы ступайте.

Я поднялся на крыльцо и через сени заглянул в отворенную избу. Хозяйка стояла с подоткнутым подолом и выжимала, крутя, мокрую тряпку.

— Входите, входите, — сказала она и приветливо мне улыбнулась.— Я кончу сейчас. Вы сами уж скоро управились.

Я поглядел на нее и опять изумился. Правда, загар, но, удивительно, кожа не стала груба; руки хоть сильные, но небольшие; тонкие пальцы.

Быстро еще протерев начисто пол, женщина вышла. Я огляделся. Хата как хата. Но чистота необычная. Шкафик в углу. Подхожу: Пушкин, Шекспир — три старые тома, с детства знакомые: «под редакцией Гербеля». Смутно подумалось: «А хорошо, что не пошли на цигарки. Видно, он грамотный». Вдруг я услышал, как за моею спиной кто-то легко рассмеялся. Хозяйка стояла переодевшись — к глубокому моему недоумению. Все было просто, но по-городски, больше того: просто-изящно. Самодельная кофточка с откинутым воротом на маленькой, легкой фигурке ее сидела прелестно. Волосы были свежезачесаны на короткий косой полупробор: легкая изморозь даже, пожалуй, их украшала. И вся она очень напоминала в осенний прозрачный денек, где-нибудь на опушке, простую и легкую, аккуратную птичку — синицу, овсянку...

Надо мне было что-то сказать, но я не нашелся и глупо спросил:

— А вы... тоже грамотная?

Смех помешал ей ответить, и она только стремительно закивала мне головой: «Да, да, грамотная».

В эту минуту вошел и Петр Поликарпович. Он был все тот же, но и не тот. Расчесаны волосы: выкупался. Ворот застегнут. Глаза несколько мягче; на них — даже легкая, влажная дымка. Он стал из

пороге и молча глядел на жену. Она, все смеясь, через смех, насилу смогла проговорить:

— Он спрашивает, наш гость, у меня, что́ я — грамотная...

Тут улыбнулся и он. А я совершенно сконфузился.

И тут я увидел, как наконец-то блеснули глаза у хозяина. И как мягко блеснули они и глубоко! Никак бы не мог я этого предположить! Откуда-то из-за спины он вынул горбатый пучок такой же вот самой душистой клубники, какой горожане не знают совсем и запах которой во мне воскресил этот памятный мне сенокос.

— Поздравляю тебя, — сказал он негромко, — сегодня ведь памятный день, нынче наш с тобой праздник.

И по тому, как он взял ее за руку — правой рукой взял левую, прямо напротив себя — а другой протянул горсточку крупной зеленовато-красной клубники (она всегда снизу, в тени, сохраняет немного зеленого влажного цвета); и по тому, как, немного к себе потянув, осторожно он наклонился ее поцеловать, а она по-молодому, застенчиво и порывисто вместе, вдруг охватила, пригнув, мокрую, по-мужицки расчесанную (какую же ей дорогую!), тяжелую голову, — я наконец догадался, что это были — интеллигенты. И еще я увидел (чего тут догадываться!), как эти люди по-настоящему крепко любили друг друга.

«Неужели помещики? — подумал я бегло. — Но как же тогда...» Нет, не помещики; это я скоро узнал. И то, что я узнал, было гораздо значительнее и интереснее.

Протянув ко мне руку, Петр Поликарпович крепко пожал ее и, обернувшись к жене, проговорил, как и все, что он говорил — не спеша:

— Видишь, Анечка, вот у нас даже и гость. Я очень рад. — И, обращаясь ко мне, пояснил: — Нынче день нашей свадьбы. Двадцать пять лет.

Анечка ела клубнику. Пальцы ее были черны от загара, но тоненькие, как у подростка. И, как у подростка, зарозовело лицо, и молодо (счастье, любовь не знают, должно быть, что́ значит возраст), ясно сияли ее молодые глаза.

Так я нечаянно принял участие в этой «серебряной свадьбе». Мы пили чаи, говорили. Пришел и Алеша, мой паренек-перевозчик. Немножко он был диковат, но под конец и он разошелся. Старший их сын учился в Лесном и лето проводил где-то на практике. «Серебряные» молодые мои меня очень трогали. Петр Поликарпович вечером (тучи уже ходили вовсю) проводил меня спать на сеновал. Там, однако же, с ним, несмотря на усталость, по русской привычке, мы разговорились, и — вкратце — узнал я всю его жизнь. И пожалуй, что это не совсем обычная жизнь — настоящий сюжет для большой и содержательной повести. Как, впрочем, и большинство человеческих жизней в нашу эпоху. Но я пешеход, и это всего лишь корот-

кая запись; и есть своя прелесть в человеческой жизни на двух-трех страничках.

Петр Поликарпович жил — у себя. Как это ни странно сказать, жил он в родительском доме. В этой самой реке, у излучины, купался мальчишкой; судя по цвету волос, таким же льняным, белоголовым, как те ребятишки, что нынче барахтались в сене. И в этом же сене барахтался он. Отец его знал ремесло. Верст на тридцать — на сорок в округе все молотилки прошли через его рабочие руки и все были выверены зорким его серым глазком. Сына он отдал учиться в уездное училище. И Петя учился отлично, бросать было жаль. Перебрался в реальное, сам себя содержал. Анечку встретил уже позже в Москве. Экстерном держал за гимназию и поступил на математический.

— Вы математик.

— Да, жутко подумать. Не о математике, а об учительстве. Я был учителем. В Пензе. Теперь погляжу — отсюда — и не понимаю, как я мог только выдерживать! Ученье-то что, когда сам пробиваешься. Туго и голодно, но хорошо. Как тополек между камней. Железных дорог я не знал и, поверите ли, не то что из нашего города,— в Москву отправлялся с мешком сухарей за плечами. Хорошая школа. А вот — педагогом! Карты, вино. И все оттого, что тоска. Вы Анечку видели? Живем мужиками, а она у меня как гимназистка. Не правда ли? А там... там тяжело очень было. Там она старше была. Честное слово! А душа у нее... Впрочем...

Над головой грянул внезапный раскатистый гром. Щели сарая брызнули клинообразной узорной надписью.

— Шекспир! — внезапно воскликнул Петр Поликарпович с горячностью, как будто ему мало и свойственной.— Это она меня научила. Она ведь... как вы спросили... да, она грамотная! И еще меня его понимать научила... да, революция. Вот этакий гром!

Мы уж тогда перебрались в Москву... И как же мы там бедовали! Ребята, нужда... Да какая нужда! Нищета, впрочем, вы знаете сами. Анечка только и выручала.

— А она?

— Она врач.

Я живо увидел ее, с подоткнутым подолом, моющей пол.

— И что же она? Почему...

— Она лечит и тут. Только знаете, так... кто придет. Она у меня замечательная. Не она, я пропал бы. Не странно ли, правда: я можно сказать, мужиком родился. Университет и учительство... что там! Я таки был и остался мужик. А она ведь дочка профессора. Хрупкость какая... Бывало, на улице встретишь — в шубке и в шапочке Снег. Точно Снегурка. И вы, может быть, думаете, что это я.— Нычуть не бывало. Это она. Сказала: «Поедем в деревню к тебе; что нам тут делать? Ты пропадешь. А там хорошо будет всем — и детям

«мне». И знаете как расцвела! А ведь работа... Вы видели нынче, что за работа...

— А вы как?

— Что я! Мне хорошо. И вообще это верно. Все эти метания... не в тех и не в сех... Я на себе испытал. А тут я у себя. И жизнь моя — знаете, полная жизнь. Да что обо мне!..

Когда он уходил, дождь бушевал над сараем. Легкие брызги, мельчайшие, пылили на нас свежей прохладой.

— Вы не бойтесь ничуть, крыша отличная. С Алешкой сам клал. Он у меня по агрономической части. Я рад. Да дело не в нас. А ежели что, вот вы говорите, ежели что и есть замечательное, так это, конечно, она.

Я понял, что это было про Анечку. И я ничего не возражал.

Лег я на сено. Сено было душисто и пряно, как давеча днем... Но хмель от него умерялся прохладой дождя; умерялся раздумьем. И, уже засыпая, я думал: «Хождение в народ... Нет, не хождение в народ... Что-то другое: возвращение к народу... Новая травка вмешалась в запах старого сена. Что я говорю... старое сено — новое сено!..»

Так засыпал я на сеновале — после горячего рабочего дня, после грозы и Шекспира, после этой нечаянной, посланной путнику «серебряной свадьбы».

5 августа 1926 г.
Москва

Ласточка-парус

В мире ничто не пропадает, и все в мире весомо; и ни одна пылинка, ни один человек, как бы ни был он мал, ни одно даже слово — злое иль доброе — не пропадут без последствий. В этом и радость, в этом и наша ответственность.

Невелика деревенька Притулино — корявый лишай на дубу; и подобно тому, как гнездится лишай между двух складок коры, так и она притулилась меж двух рыже-коричневых полугорбатых холмов, к самой деревне подъедешь, а все еще будто и нет ее вовсе — деревни. И до людей, что там приютились в двенадцати плохеньких хатах, — какое кому до них дело? Произрастают — и ладно: бугров и холмов на Руси — не перечесть. А уж коли на таком положении люди на возрасте, то что же сказать про детей? Росла детвора как грибы: дождиком вымыты, воздухом сыты.

Но, однако же, как поглядеть, а то и совсем не грибы, а ближе сказать: полевые цветочки! И будто бы схожи между собой, а ведь каждый зацвел на свой образец и благоухает по-своему...

И так, между других, возрос и расцвел совсем по-особенному мальчик Никита. Был он задумчивый, тихий, а в голове проносились целые вихри. Далась ему грамота, и от книжки, бывало, не оторвешь. Книг было мало, а в полную собственность он получил только одну, да зато и знал ее почти наизусть.

Как-то зимою, в пургу, заночевал у них странник. Толкался к другим, да нигде не пустили, а тут обогрелся на печке, поужинал (как раз была тюря) и к ночи разговорился. И чудесные вещи рассказывал тот нелюдим! Откуда что только бралось, и где на своем веку он не побывал! Уходя, он оставил Никитке толстую книгу из сумки: «Приключенья на море и приключенья на суше». С этой книжкой мальчик и не расставался.

Жаркие страны пленили его и восхищали ребяческий дух. Он видел моря и себя мореходом. Мать разводила в корыте из тряпочки синьку, а ему на лицо летели соленые брызги, и синие волны, гуськом, горбатые, качали корабль. Небывалых людей, диких животных, фантастических птиц — слышал и видел: во сне и наяву. Самое слово Мадагаскар или Индия казалось живым. Мадагаскар был похож на жука с крутыми рогами, а Индия перелетала с цветка на цветок, неспешно, лениво, огромная синяя бабочка, и на крылах яркие желтые пятна.

Внизу, где овраг выходил на долину, луга, с давних времен была сооружена широкая, с проезжей дорогой, плотина. Стародавние, не в обхват, ракиты, с дуплами и прелью, со ступеньками плоских древесных грибов, зеленой грядою гляделись в спокойные воды

струя. Где-нибудь низко купалась в воде отдельная ветка, и как коралловы краснели пучки молодых корешков. Легкая струйка расчесывает их в сторону, тронешь ногой, пошевелишь — и опять завихрились зыбкою стайкой.

Часто Никитка под вечер сидел у дупла, ровная гладь его заворажинала, морское гористое дно открывало ему свои чудеса. Алели кораллы, как городок на заре, приснившийся ночью под воскресенье. Густые и студенистые водоросли, подобные лесу, бесшумно качались на диких скалах, и, как корабли под водой, проходили огромные рыбы, безмолвные и одинокие. И на таком же вверху корабле стоял наш Никита. Огни все потушены, где-то поблизости враг, надо пройти, проскользнуть незамеченным... Безлюдье, пустыня, морские валы, и одни только чайки острым крылом черпают воду и резво взвиваются ввысь. Правда, не чайки, а ласточки, правда, не море, а пруд, но и то — фантастическое — было такою же правдой...

Нежность большая была в душе у Никитки к птицам, животным. Но особенно он, молодой мореход, любил этих птичек морских — над своей деревенской лужицей. И они будто знали и отличали его. Иной раз скользнет у самого носа, и близко, так, близко сверкнет лукаво-наивный черный глазок... Пойдет ли он в лес по грибы взлобьем холма, вьется дорожка между серой полынью, а уж касатки, одна или две, глядишь, завели с ним игру... Так вьются они над лошадьми и перед самою лошадиною мордой, норовя схватить на лету ленивую конскую муху. Но тут никакой нет для касаток корысти, а просто им весело с этим веснушчатым мальчуганом Никиткой.

Не раз он за них заступался.

На барском дворе вековушкой жила в одиночестве старая барышня Матильда Ивановна, из остзейских баронок. Бог, видно, сильно обидел девицу, один у нее, левый, слишком порывистый глаз вертелся волчком, как будто стремясь заглянуть, что же там, собственно, было — вверху под бровями; другой же, напротив, косо летел круто приспущенным камнем куда-то к коленям редкого гостя, и направление это было всегда неизменно одно, ибо тот глаз совсем не вращался в орбите, был недвижим. Жила она замкнуто, каменно, ни взглянет как следует, ни улыбнется. Но была у Матильды Ивановны одна настоящая страсть — к собиранию птичьих яиц. Для нее по деревьям, бывало, и по полям рыщет притулинская детвора, собирая повсюду — как драгоценные камни — разноцветные яйца. И какая была красота — эта стеклянная горка: вся в сером, лиловом, розовом с крапинками, синем, каштановом и голубом! Матильда Ивановна через тончайший укол мастерски (говорили ребята, что выпивала) извлекала белок и желток и, досуха высушив в легком пару, заливала скорлупку капелькой воска. И что это было за торжество, когда попадалось яичко — иначе окрашенное! Левый зрачок, не видевший, но вожделевший увидеть, залетал в поднебесье, правый же был как летящая пуля. Темного воска рука, сухая, дер-

жала яйцо на расстоянии, боком ее голова наклонялась, и чудилось: вот-вот клюнет она скрытую, тайную жизнь. Ребятишки стояли пред ней, и ноги, сердца каменели поблизости этого — из неподвижного камня — боком летящего взора; что, ежели вдруг ненароком заденет и их: горло сожмется и остановится живчик, окостенеют глаза, и — темного воска рука отодвинет стекло и поставит на полку в каменный шкаф... И, зажавши крепко двугривенный, летели домой без оглядки.

Никитка не раз скандалил с ребятами за птичьи те гнезда, а однажды решился на крайнюю штуку, чтобы отвадить и самое Матильду Ивановну от собиранья яиц. «Что она птенчиков пьет? Нехорошо».

Матильда Ивановна раза два в год ездила в город. И вот раз Никитка подкараулил, пора была летняя, забрался в столовую к ней через балкон и вытащил в сад всю коллекцию... Ему самому было жутко немножко, как захрустела под пальцами разноцветная та скорлупа. Полдень налит был зноем, гудели жуки, и один за другим рушились, рушились легкие гробики. Он закопал все в канаве, тут же кинул и горку, а ночью над ним реяли птицы, свистели крыла, великое множество крыл. Было похоже на бурю, и хорошо или плохо — он об этом не думал, [illegible] какое-то дикое море швыряло его, в пене кружился водоворот.

Матильда Ивановна едва не умерла от огорчения. Никаких следов преступления не отыскали. Не брала она больше яиц, вовсе замкнулась. Никитка и сам затаился, никому ничего не сказал. Он долго ходил и раздумывал. Наконец, по ребячьи, на что-то решился. Выкупал ноги в воде, пригладил вихры, квасом из кружки, и потихоньку проник в пустынную область.

Август желтел, пахло хлебами и яблоками, и на заросшем травою дворе, безлюдном и тихом, где никогда не было птиц, реяли в воздухе две быстролетных касатки. Завидев Никитку, они испустили острый и радостный крик, и, как челнок на ткацком станке, засновали — то впереди, то позади — слева направо, справа налево — как бы заплетая его в воздушную ткань... Что они говорили, о чем щебетали?

На крыльце никого. В комнатах тихо. Никитка поколебался. Но остро в стекло чиркнула ласточка, и он пошел дальше. Полы были вымыты, пахло полынью. Целая груда свежих, на зиму, веников [illegible] жала на сундучке. В открытые двери столовой видна была сгорбленная небольшая фигурка, лопатки торчали остро и сиротливо. Матильда Ивановна, кажется, плакала, потому что головка ее, сухая, приглаженная, птичья головка, тихо, беззвучно подрагивала, как озябшая осенью птичка на голой, покинутой листьями ветке. Никитка невольно издал какой-то гортанный, приглушенный звук. Матильда Ивановна к нему обернулась.

Да, она плакала. Мокрые, смятые щеки как осеннее поле, густо и хлипко залитое дождем, глаза как запуганных две мятущихся по

ветру птицы. В комнате даже стало темней, как на лицо налетела темная туча. Ветер рванул, и заскрипели деревья:

– Что тебе надо? Что тебе надо?

Никитка сказал:

– Я украл твои яйца. Я их разбил и закопал.

Он взглянул на Матильду Ивановну и содрогнулся. Мокрые щеки ее – сразу сухие, как если бы их опалил огонь изнутри; далеко и наискось откинута птичья головка, чтобы как клювом – глазом пронзить обреченную жертву, и, наконец, этот взгляд, которого – так вот, в упор, должно быть, никто еще не видал: всегда до того стояла Матильда прямая и падала пуля – в колени. Никитка затрепетал, но не двинулся. Вот оно – это окаменение!

Матильда Ивановна сделала шаг и сухою рукой очень сильно и больно (но боль не была самое главное, главнее был ужас) ударила мальчика прямо в лицо. Потом, уже сразу обеими, схватила руками натертые квасом виски и стала качать его голову, тихо постанывая. Никитка... Никитка молчал.

Ему постепенно стало казаться, что это всего только буря, привычная на море. Но буря росла. Он головою ударился о мокрую палубу, голова закружилась, и доски под ним заходили. Когда он разомкнул глаза наконец, то увидал себя на полу; на полу же была и Матильда Ивановна. Костлявые руки душили его, и не было силы сопротивляться. С трудом проглотил он комочек свежего сжатого воздуха, и было слышно, как туго и трудно он продвигался в груди, как это бывает с куском, неловко проглоченным. Упорный, сверлящий и ненавидящий глаз приговорил его к смерти. Впрочем, ненависть шла глубоко – из-за глазниц, где засело мертво-неподвижное самое яблоко, зрачок же, отверстие – было не больше, как дулом ружья, из которого, туго свистя, летел этот взгляд – убивающий.

Все решено. Значит, конец.

Но в ту же минуту раздался звон, дребезг; осколки стекла брызнули на пол, и темная ласточка, блестящая, быстрая, заметалась по комнате. Матильда Ивановна с трудом отняла занемевшие пальцы и отпустила Никитку. Она глядела на птицу, чертившую в воздухе острые линии. Касатка металась так быстро, что Матильда Ивановна увидела ее одновременно – и верхним своим крутящимся глазом у самого потолка, и нижним, тяжелым, когда та, как бы черпая невидимую воду, скользила у самого пола. Никогда еще, верно, Матильде Ивановне не было так удобно глядеть...

Никитка тем временем также оправился, он приподнялся и сидел на полу. Он знал, что беда миновала. По лицу Матильды Ивановны бегали тени. Потом она закачалась, как бы в великой тоске, и корабликом темной рукою прикрыла темные впадины глаз.

— Так вот ты зачем... так вот ты зачем выбросил яйца...

Никитка ее понимал и не понимал.

— Мне было жалко... птенчиков жалко...— пробормотал он тихонько.

Но Матильда Ивановна ему ничего не сказала, она продолжала покачиваться и бормотала сама для себя. Никитка стал на ноги и сверху глядел на нее. Он разобрал одну только фразу.

— Но у меня... но ведь птенчика не было и у меня... никогда его не было...

Никитке вдруг сделалось страшно. Он еще постоял-постоял и тихонько потом, босыми ногами, не оборачиваясь, стал отступать по направлению к двери, и когда Матильда Ивановна отняла наконец руки от глаз, никого уже не было в комнате.

Эти два раза, как был на господском дворе, Никитке запомнились крепко. Как-то пронизали они туманы в горах и ущельях — ущелья и горы были в мозгу, туманные, серые мысли — над ними; весь его мир, тесно и косо, как под их деревенскою крышей, был заключен в его черепной неуклюжей коробке. Какая-то птица там поселилась; он просыпался в ночи — и глаза его, раньше не проникавшие мрака, приобретали теперь небывалую зоркость: видел он очертания печи, рушник на крюку, стенные часы с цепочкой и гирями — гордость семьи. Но все же и странно: серая печь была как гора или утес; рушник (недвижимый) [illegible] как парус, опавший без ветра, часы... вот часов не понять [illegible] корабль и туман... ясно — над толщею вод.

Все было смешано [illegible] явь: «Приключенья на море и приключенья [illegible] деревенские: их пруд и коряги, касатки, упругим крылом [illegible] заметавшие над вихрастой, клокастой его головой. И [illegible] судьбу прозревал. Никитке судьба быть на море, из Никитки со временем выйдет матрос.

Произошло это так.

Разноглазая старая барыня Матильда Ивановна Никитку отметила: то есть опять-таки не пригрела — почуть, а на расстоянии. При жизни она не хотела признаться, а решила облагодетельствовать — по завещанию. И когда умерла, было Никитке уже четырнадцать лет.

И вот паренек — хозяин усадьбы. Земли не так много — десятин шестьдесят, но шестьдесят десятин — это богатство, сокровище, клад! Да еще и усадьба, сад, огороды, собственный пруд.

Никитку превознесли, он стал знаменитым на целых [illegible] сти, съезжавшихся талою масленицей на село Коренное [illegible] лую многошумливую ярмарку. Сам он на ярмарке [illegible] вом, с резными коньками трактире — рядом с [illegible] мужик, как богатей. Щеки его горели и [illegible]

Некому было взглянуть со стороны, а то бы [illegible] знать? — била экзотика резко в глаза; сидел за столом — [illegible] жий; он был переодет в мужицкий тулуп, овчина торчала [illegible] хи, как перья желто-оранжевых птиц. И это была не Тула, не Елец, и не Мценск, а Ява, Гаити, Суматра. Вспоминал [illegible] свой жаркий и пышный триумф, как брел в песчаном [illegible] гда сапогами, подбитыми острым гвоздем, бороздил [illegible] савина оспа?.. Махорка, незаконнорожденный [illegible]

во-лиловых холмов, целой грядою холмов клубилась над головами, но и головы, каждая взятая сама по себе, были как эта низкая хата — с отсыревшим и прокопченным накатом, с которого капало, и с той же грядою дымно-кудрявой, махровой махры — нашей домашней экзотики, воспоминаемой и вновь предвкушаемой Индии.

Никитка не пил, отец держал его в строгости. Но курево это, винные эти густые пары, круто замешенные на человечьем и на овчинном поту, — сплошною струею они будоражили кровь, туманили мозг. И хотя на столе тускло мерцали приземистые, кубастые чарочки, можно было подумать, что пьют из бурдюков; сердце стучало, ломило глаза, и казалось, что с лавки не встать.

Но вот мужики поднимались и вылезали. Вставал и Никитка и тяжело, как в дурмане, двигая ноги, через липкие сени выбирался во двор. Там под навесами лошади мерно жевали, хрустя, сено, овес. Февральское жидкое солнце слегка золотило навозную жижу двора; воробьи копошились, чирикали, перелетали на крышу и с крыши опять — между саней; оглобли торчали, как ветлы, одинокие, голые. Русь. Экзотика кончена.

Ночью катили домой. Слегка подморозило; голубовато блестел накатанный след. Пьяный отец лежал, подвернувши тулуп, и спал, как ребенок; порою задорно он что-то пытался выкрикивать: «А мы!.. А у нас!..» Никитка стоял на коленях, перебирая каляными рукавицами вожжи. Дали под месяцем казались сквозными и призрачными. Дорога змеилась, и серебряный спутник, плывущий меж облаков, то справа светил, то выныривал слева; и это сулило Никитке судьбу переменчивую: удачи и неудачи.

Дома ждала непонятная и тревожная новость: повестка на суд, и в повестке стояло, что речь на суде будет идти об усадьбе покойной Матильды Ивановны.

Так на путях Никиткиного благополучия вырос чиновник.

Чиновник — фигура особая, вечная. Этот сухонький злак не нуждается в свете, тепле и воде; а если не злак, то скажем иначе: этот скелетик, обтянутый кожей, — не млекопитающее: питает детей и питается сам — бумагой, чернилами. Дать ему камень — пронзительной хваткой корней или цепкою лапкой, не важно уж чем, сожмет как в тисках: даже и камень бросило б в пот; капелька влаги.

И какие ж суды без чиновников? Чиновник там подлинный; первообразчик. Параграф застегнут в сюртук; сухо, могильно звучат статьи и положения, и разъяснения к этим статьям и положениям. И разъяснений тех много, и каждый раз нужное диктуется тихо, но внятно — мушиным брюшком, аккуратно застегнутым сюртучною пуговицей; а у параграфа (попробуйте-ка изобразите его) это брюшко даже двойное!

У Матильды Ивановны где-то отыскался племянник, сам из судейских крючков; затеял он дело: завещание тетки признать недействительным, ибо покойница жизнь проживала не в здравом уме и не в твердой памяти. Может быть, так, а то и не так. Но зыбкий

предлог на суде часто бывает самым твердым фундаментом: это не стройка, не инженерное дело!

Никиткин отец не уступил, погордился; он взял ходатая в горо-де; ходатай тотчас схватил и зажал его цепкою лапкой: даже и ка-мень бросило б в пот. Бумаги, инстанции, пошлины, гонорар, уго-щения — продáли овец; дело проиграно: кассационная жалоба, по-шлины, марки, двойной гонорар, и угощение тоже двойное — про-дáли корову. И вот благополучие, нечаянный дар обернулись шипа-ми; барская роза их уколола — и свое-то хозяйство (какие уж там поместья, сады...) рухнет вот-вот.

Никитка был свержен и низведен: над Никиткой смеялись на улице, дома пилили. Жизнь стала скупая и хмурая; Никитка сбежал.

Некуда было податься, и Никитка сбежал. Однажды, проснув-шись перед зарей, он поднялся, как если бы все было давно переду-мано и решено. В доме все спали, он вышел из хаты, поплескался из глиняного разлатого кувшинчика, что висел на крыльце, отерся по-долом рубашки, поглядел на прощание на дом, на безлюдную, ти-хую улицу, на милый и памятный с детства бледно-сиреневый пруд, чуть тронутый краскою ранней зари, на корыто, забытое зимою на льду,— деревенский корабль, тихо дремавший на заводи, на легкую дымку, лежавшую на горизонте, и точно бы кто позвал — двинулся в путь. След по росе, возникавший за ним, был подобен цепочке, ко-торая все удлинялась, но не обрывалась совсем. Но и цепочка распа-лась, как бы истаяла вместе с росой; солнце позвало к себе, и род-ная земля отпускала Никитку — на странствия.

Так, потеряв свою землю, ощутил он ее под ногами — не как зе-млю уже, а как стихию — как с у ш у. И начались для Никитки мы-тарства: «приключенья на суше». А разуверившись в суше, как дока-тился до моря — ступил он ногою на море. Детская книга листалась теперь самою жизнью. И ложилась страница: направо — удачи и не-удача — налево.

Не было это подобно изгнанию, море ему оказалось родным, и корабль на волнах, зыбкой стихии, смутно был родствен забытым уже, но ожившим в крови, младенческим воспоминаниям: старая бабушка вяжет чулок — мелькание спиц — и качает ногою скрипу-чую зыбку, а в зыбке, раскинув ручонки,— маленький мир, человек. И более поздние, отчетливо памятные, вставали видения детства. шумела волна, и птичьи крыла бились по ветру. Чаек он принял точно родных: это были все те же касатки, что когда-то заткали в узор его детскую жизнь.

«Приключенья на море» были обильны. Рыжий и крепкий ма-трос, после Каира еще и рябой, прежний Никитка,— Никита Гаври-лыч теперь, он повидал-таки мир. И мир состоял — это правда — из суши и из воды. И мир этот был круглый как яблоко. Никита Гаври-лыч это постиг безо всякой науки. И, что было гораздо важней, по-нял Никита, что мир был — един, и что деревенька Притулино, где увидел он свет, не одна его родина, что родная земля, родительский дом — это вот эта земля — круглая — вся: море и суша. И были ма-

тросы, разноязычные, разве, впрочем, с одним эсперанто русских ругательств,— все они были как братья, из шатучей одной, из круглой семьи. И мужики были в Индии, в Египте, в Америке — одни мужики: он узнавал в них притулинских; те же были купцы, капитаны, кабатчики. И везде было зло, и правда была — также везде; и ежели где в одном месте аукнется, в другом обязательно слышно, и — отзывается.

И то, что мерещилось с раннего детства — в яви сбылось: увидел деревья, какие можно увидеть только во сне, и диковинных рыб, и жарких зверей, и цветы — величиной с кувшин. Но и тут призакроешь глаза и увидишь под солнцем за невысоким плетнем — коноплю. Индия — бабочка? Да, но она же и конопля — кудрявая орловская конопель за плетнем. Везде все свое.

Нехорошо показалось Никите, как довелось воевать. Он уж отвык, что будто бы что-то надобно в мире делить. Но воевал. Мир ощетинился, воды и суша вздыбились гребнем. И уже на уклоне войны с ним и случилась одна, может быть, странная, а может быть, твердо необходимая вещь.

Всякое было в жизни Никиты: он был человек; было хорошее, было плохое. Все рассказать, это было бы — том. Но вот совершенный пустяк отозвался как раз в самое трудное время, в самую нужную пору. О нем рассказать нелегко, потому что все это может быть просто Никите пригрезилось. Крейсер их шел (плохонький крейсер) по очень опасному месту; подводные лодки, это было известно, их сторожили. Никита был в трюме, больной, огни все погашены, море темно. У Никиты был жар, и ему представлялись разные вещи. Шумела волна, и глубоко под водой ходили бесшумно огромные, глазастые рыбы. И в рыбах сидели такие же, как и он, рыже-кудрявые парни и мужики; и все они были рябые; и все они были Никиты. Но в рыбах был свой капитан, и он отдавал приказания. И приказания эти были враждебны! И рыбы метали икру, и икра была крупная — редкая — несущая верную смерть: плавучие мины. И ход этих мин был неотвратим.

А наверху, где лежало забвенное Никитино тело (но напряженно, в полубреду, бодрствовал дух), полуоткрытое веко давало увидеть в синевато-свинцовой таинственной мгле смутно серевший очерк предметов: бочки, тюки, кольца канатов и цепи. Но делал Никита усилие, и глаз начинал различать очертания печи (на печке отец, но его не видать), рушник на крюку, стенные часы с цепочкой и гирями — гордость семьи. И старая печь была как утес, и недвижимый рушник — как парус, опавший без ветра. И были часы... он еще напряг зрение — были часы — как механизм... если бы вспомнить какой! И вдруг увидал: однажды они разбирали тот механизм — механизм самодвижущейся смерти: плавучая мина! И ясно увидел Никита в бреду, как он четко и мерно работает и как мина несется на крейсер. Он быстро вскочил и хотел побежать, но дорогу ему заступили касатки: косо и резво носились они перед ним, как бы заплетая его в воздушную сеть: «Не бойся, Никитка, не бойся... Мы отсто-

ним тебя...» И снова он падал в скрипевшую зыбку, спицы летали, бесшумно блистая в коричневых, старых руках, и зыбка скрипела, качалась. На зыбке был парус, и парус несли попутные ветры. Но мина внизу скользила наперерез — неотвратимо. И знал хорошо лежавший Никита, что ветру бы надо дуть посильней, или поставить еще — хотя бы самый маленький — парус. Сказать бы — да некому: старуха сидит как судьба — спицы мелькают, — и в коричневых древних руках цепляется петля за петлю. Сказать бы — да нем Никиткин язык, и немы Никиткины руки. Рассчитано все — секунда в секунду: все это Никитке открыто. Ветер несет, но если б ускорить... ускорить еще...

И видит Никитка, как села на мачту — касатка. И, сев, расправила крылья навстречу свежему ветру. И на какую-то долю вершка ускорился ход парусной лодки. Все было дело совсем в невесомости, в капле, в пылинке.

Ей нелегко, ветер холодный и резкий, грудь у ней нежная — зачем бы сидеть на ветру? Но ласточка-парус сидела, крепясь, подставляя нежную грудь. И ласково пело где-то в крови, теплело у сердца: «Никитка, лежи... не бойся, Никитка.. Пройдем... пролетим...». И — легкий подводный толчок, точно бы боком, скользя и падает ласточка-парус мертвым комочком. И — безопасность.

Наутро Никита Гаврилыч был наверху, на посту; мертвая птичка, как это часто бывает, валялась на палубе.

— А ночью, знать, стукнула боком, на полвершочка бы ближе, и — прощай, старина: в рыбьих кишках — не в трактире, не спросишь селяночки!

Никита Гаврилыч ничего в ответ не сказал: он знал, как это было нынешней темною ночкой.

Никита Гаврилыч снова на суше; он управляет теперь тем самым хозяйством, где было когда-то это смешное, детское дело: «Что́ она птенчиков пьет? Нехорошо». И Никита Гаврилыч — крепкий матрос, и крепкий хозяин — на том самом поместье, что эфемерно когда-то было его, а ныне общественное; и Никита Гаврилыч — без предрассудков. Но малую птичку, с детства любимую, он чтит и теперь.

Все это похоже на сказку? Не спорю. Но круговая порука в природе — не сказка, и не сказка — добро. А ежели б в мире добро и красота самопогибли ради другого, если бы это осталось на долю одной только сказки и перестало вдруг быть реальностью в мире — кончился б мир.

18 августа 1926 г.
Москва

С севера — на север!

Два одинаково острых чувства гнали Аглаю Петровну на юг. Как и всякий человек, она была преисполнена противоречивых мыслей, желаний; сочетать их было нелегко. Про нее говорили, что она неизменна только в одном: в своей переменчивости. И это было похоже на правду. Аглая Петровна увлекалась порывисто, страстно, но столь же внезапно увлечения эти и покидали ее. Теперь уж вперед она знала печальную их кратковременность и от этой игры начала уставать; ею овладевала томящая жажда покоя, и возникала тоска по нерушимому и великому постоянству. Искать его здесь было, однако же, совсем бесполезно, московская жизнь полна была дребезга, звона и лёта: так мчится трамвай. То же, что пребывало в покое, было как труп, и, погружаясь в оседлую жизнь, Аглая Петровна впадала в оцепенение, в душевную мертвую зыбь.

Она глядела вокруг: знакомый диван, зеркало, шкаф. Все было мертво, и все не двигалось с места годами. Переводила медленный взгляд на окно; стекло зацветало на солнце зеленовато-фиолетовой мутью; на каменистой пустыне двора стояло всего одно деревцо — полусухая рябина. Аглая Петровна вздыхала и ехала к знакомым на дачу; знакомые также были неотличимы от шкафа, дивана и зеркала. Природа в такие поездки состояла из пыли, хрипенья гармоники и орепьев на подоле. Никуда не податься! Синеватое небо, жиденькое, похожее на снятое молоко, замыкало ее от простора, от вольных ветров; ступала ногами — и вместо упругой и звонкой, гордой планеты на каждом шагу попадала в пухлую, ватную пыль; не было оклика, не было эха.

И вот ей предложили — и не просто поездку, а постоянное место, фельдшерицей в Алупку. На юге она никогда не бывала, север ей надоел, и сразу в ушах — прирожденные раковины! — зашумело соленое тяжелое море; солнце пало на щеки, и кожа ее задымилась изжелта-темным, смолистым загаром. Больные? — привыкла к больным; дежурства — знакомое дело; но есть и свободное время за-то — дни и часы. Наконец-то — о, наконец! — нечто большое и яркое, с таким хоть и коротеньким, но блистающим именем — юг.

И она с восторгом решила и повторяла про себя, как девочка: «На юг, на юг!» Это было давней ее, постоянной мечтой, и это была перемена, да еще и какая... Довольно других перемен, можно там и осесть!

Так ее непоседливость и затаенная жажда — вот именно постоянства, оба эти противоречивые чувства — совместно, не противореча друг другу, гнали это молодое (однако уже тридцатидвухлетнее) существо к теплому морю! Там, ей казалось, она найдет свой

новые дни – большие и полные, не похожие вовсе на всю ее предыдущую жизнь, пережитую начерно.

Быстро она собралась, отзвонила знакомым. Тем, кто спрашивал поезд и час, отвечала: «Не знаю... право, не знаю еще...» ей не хотелось, чтобы ее провожали: зачем уезжать в орешьях?

Единственной спутницей в поезд взяла Аглая Петровна подвижную, очаровательную зверюшку: собственную фантазию; как молодой котенок, резвилась она в путешественнице и забавляла ее всю дорогу. Это было путешествием из одной страны ее жизни в другую страну. Но никакая фантазия не угадает загадки, задуманной самою жизнью. На второй день пути, вечером, поезд внезапно остановился. Резкий толчок; переполох; все бросились к окнам и на площадки.

Летний, густой, с настоем из трав и цветной пыльцы, покоился вечер за окнами. За минуту бежавшая дымною лентою степь также остановилась; что-то упало, оборвалось и в самой Аглае Петровне. Она ощутила это приблизительно так: тугая пружина, которую потихоньку раскручивала, отдаваясь ее мелодичному легкому звону, быстро, упруго свернулась опять в крепкий блестящий комок; воздушные мечты ее, подобные пару, захолодали и закружились снежинками. И, как всегда, когда при замерзании выделяется скрытая теплота, в душе ее потеплело. Она догадалась, сообразила, что произошло, очевидно, несчастье.

В вагоне их, и она сама, было все цело, но где-то, быть может, нужна ее помощь. Освобожденная в ней теплота стремилась куда-то излиться: таково ее изначальное свойство; и такова в человеке потребность сердца, переставшего сосредоточиваться на себе одном; оно начинает биться — о других.

С их поездом было все благополучно: крушение потерпел севастопольский скорый, шедший навстречу. За крутым поворотом производился ремонт пути, но предупреждающие сигналы не были выставлены. Когда машинист затормозил, было уже поздно, паровоз перевернулся и стал поперек обоих путей, вагоны же вздыбились один на другой, и весь потерпевший крушение состав походил теперь на короткий обрезок волны с двумя крутыми гребнями; разбитые в щепы вагоны чередовались с другими — уцелевшими. Крушение произошло всего, может быть, четверть часа назад; оно еще было, можно сказать, теплое, и дымилось в замедленных конвульсивных подрагиваниях.

Аглая Петровна вместе с другими бегом направилась к этой огромной, освещаемой факелами, искалеченной гусенице. Придорожные травы били ее по ногам, и ударял в лицо ветерок, неспешный, пахучий; до людских треволнений им не было дела. А люди бежали — рядом, и впереди, позади; они торопились, спешили, и все это было покорно каким-то законам, напоминавшим законы физические: точно беда была котловиной, а благополучие горками, и с горок бежали в долину.

Раненых было, по счастью, очень немного; ими уже занялись три или четыре врача, оказавшиеся в обоих поездах. Аглая Петровна, странно сказать, была даже как бы несколько разочарована: некуда было ей приложить свои силы, а главное — эту свою теплоту, внезапно в ней обнаружившуюся.

Вскоре на дрезине с большой близкой станции приехало и начальство; первое, что оно сделало, — арестовало машиниста, во вторую очередь позаботилась о пострадавших. А еще немного спустя прибыла большая партия ремонтных рабочих, занявшаяся очисткой пути; для Аглаи Петровны так ничего и не произошло.

Над степью легла уже полная ночь, звезды ходили бесшумно в вышине, а на путях, точно табор, горели костры, и по травам скакали огромные угловатые тени. Где-то во ржах дал себя знать отрывистый перепел, ему отозвался другой. Спать не ложились: шли разговоры, курили; на одном из откосов помаленечку сгрудился хор; несколько парочек в потемках ушли собирать васильки. Томление Аглаи Петровны все возрастало.

Тихонько она обходила раненый поезд, с той стороны, где никого: толпились и говорили, работали все на втором пути, где остановился их северный; в первую очередь расчищался путь для него. После света костров тут казалось темно, и в стороне от шумного говора — особенно тихо. Под ноги ей попадались обломки железа, щепа; точно игрушку, согнуло дугой железную крышу вагона. Чтобы ее обойти, надо было подняться по небольшому откосу; Аглая Петровна пригнулась немного и полувзбежала бы — быстро, легко, когда б не натолкнулась... на человека.

Сразу его не разобрать. Он лежал, закинув руки за голову, вытянув ноги; нет, одна нога согнута и откинута прочь — почти как отдельный предмет; однако ж она не отрезана. Это Аглая Петровна сразу определила опытным взглядом профессионалки. Был ли он жив? Ее охватили тревога, сомнение.

— Простите! — сказала она. — Я вас не видала.

Лежавший ей ничего не ответил, не пошевелился; Аглая Петровна наклонилась к нему.

Чтобы лучше его разглядеть, она опустилась на колени и, приблизив лицо свое к лицу лежавшего человека, увидела открытые простые глаза; щеки и подбородок были опушены небольшою светло-русой бородкой; даже в потемках не ошибешься; лицо северянина. Он глядел вверх, мимо нее, но когда она сделала движение встать, он высвободил одну из своих рук и удержал ее.

— Посмотрите, — сказал он неспешно. — Как она еще невысока... А все ж таки стала повыше... А у нас-то, у нас!

Аглае Петровне на минуту показалось, что она слышит бред.

— Вы нездоровы, вы ранены. Дайте мне вашу руку. Я попробую пульс.

— Нога... — отозвался он нехотя. — Да, я это знаю. Но я говорю про Большую Медведицу. Я очень скучаю по северу.

— Вы ранены, да?

Я выпила сюда. Мне не хотелось: вокзал, доктора... А тут хорошо. Тут никто не мешает: лежу и тяжу.

«А я?..- хотела спросить с радостным удовлетворением Аглая Петровна.— А я не мешаю?»

Но она ничего не спросила. В ней были противоречивые чувства. Немножко обиделась и за медицину, за непостижимое его равнодушие к ней, но и не только к ней, а и к самому себе, и было одновременно что-то такое, что говорило ее теплому чувству: мужество — раз не стонет, не жалуется, и, пожалуй, наоборот — неравнодушие именно к себе самому выбрал, что лучше! и, главное, к ней... Аглае Петровне - ушла, во чта свою ногу, от докторов и от помощи, а вот ее руку не отпускает и говорит ей о том, о чем и молчал — с собою наедине. Этого — нет, нельзя ли оценить, на это нельзя не отозваться.

И все же немножко она пошутила о медицине; он возразил очень строго:

— Я медицину люблю. Только на севере у нас ее нет.

«А сколько на юг было и претендентов и претенденток! На мое только место одиннадцать штук — подумала бегло Аглая Петровна, и за этой ее быстрою мыслью, как за кормой парохода, тотчас побежали струйки других, на глубине, потревоженных мыслей, в которых она еще не отдала себе сколько нибудь ясного отчета.

— Я медицину люблю и уважаю — подтвердил еще раз ночной ее собеседник. Она похожа на белый лакированный стол, а стол этот очень похож на весеннюю вспаханную пашню, и на нем словарь и грамматика. и все это в моем чемодане...

Тут поняла Аглая Петровна, что у больного все-таки легонький бред, и так для нее началась эта странная ночь, отсюда она никуда не ушла.

Незнакомец еще говорил о чемодане и о лопарях, в какой связи — неизвестно; связь эта позже, однако, открылась и оказалась разумной.

Чемодан лежал близко, он при падении разорвал свои скрепы, и пока больной затихал, она заглянула в него, чтобы поправить и привести в порядок его содержимое. Там было немного белья и много бумаг, исписанных частью по-русски, частью же на неизвестном ей языке; она прочитала несколько слов: слова были странны, щершавы и ни на что знакомое ей не похожи. Но что ей доставило настоящую радость, так это чистенький бинт и запакованный в синее, тюбик стерилизованной ваты. «Нет только йода... Нет только йода...» — и под ногою нашла с притертою пробкой бокастенькую короткую баночку: ее пациент доказал уважение свое к медицине.

— Это я так... позволил себе... потому что уже был не один...— говорил он негромко.— Я на минуту отпустил сам себя.. Это не бред, вы не тревожьтесь...

— Вы довериться мне? — тепло улыбнулась Аглая Петровна.

Я все время без вас сторожил чемодан, а теперь... да, я знал, что вы никуда не уйдете.

— Ну, ну! Попрошу много не разговаривать! — сказала Аглая Петровна и приступила к работе.

Он не послушался и продолжал говорить, не морщась, не жалуясь, пока она жгла его йодом:

— Я был мальчишкой еще...

— Не больно вам?

— Я был на льдинах... охота... вынырнул морж и хватил меня бивнем...

Аглая Петровна невольно приостановилась: этот невидимый морж царапнул и ее грудь.

— Он был уже ранен и вынырнул умирать, а то бы погибла рука; отец его тут же и застрелил. — Он помолчал. — Утром я вам покажу, хорошенький знак. С тех пор и вожу с собою ме-ди-ка-мен-ты!

— Большие они, эти моржи? — спросила Аглая Петровна, как девочка: глупый вопрос, но нельзя же сказать — то, что хочешь сказать, да и то, что действительно хочешь сказать, — не находишь для этого слов...

— Большие! Клыки одни больше аршина... И как они страшно мычат — как быки! Да я не об том...

— О чем же? — после молчания осторожно спросила Аглая Петровна, но он отвечать не торопился.

Впрочем, когда она совсем уже заканчивала перевязку, а он говорил ей о белых ночах и том, как наверху светлого купола в полярном сиянии загорается как бы звезда — северная корона, он мельком обронил-таки фразу:

— Я это вспомнил к тому про моржа, что меня никто тогда не перевязывал.

Сказано это было совсем будто бы так... мимоходом, но Аглая Петровна расслышала и поняла.

Летняя ночь длилась недолго, но эта короткая ночь для Аглаи Петровны осталась такою полною ночью, как никакая другая. Это была южная степь, и северного сияния не было. Но, широко расставив свои лапы, Большая Медведица неспешно плыла по вышине. Аглая Петровна глядела на молчаливые ясные звезды, и в сиянии их было именно то, чего она жаждала: простор и покой.

Они говорили немного, часто молчали; и то, что подолгу молчали они, это было и необходимо и верно. Молчание это было для них — как крепкий цемент, паявший слова; какое-то здание, в летней ночи, камень за камнем, воздвигалось в душе.

Он был северянин, но вот целый год безвыездно прожил, из-за болезни, на юге: как раз в тех краях, куда так стремилась она. Однако же юга с его беспокойством и воспаленными красками он не любил.

— Лето — ужасно: зной и москиты, ветра. Выдешь на море — некуда шагу ступить: в воде бегемотки.

— Снова вы бредите, милый мой друг! (Она, как с больным, позволяла себе немного шутливую нежность.)

— Не брежу ничуть. Как же их еще окрестить, если в каждой пудов по шести?

Аглая Петровна весила три с небольшим, и эта презрительность к морским бегемоткам ни капельки ее не огорчила.

— Там жить нельзя постоянно; жить там — нехорошо. Беспокойство в природе, и беспокойство — внутри...

Странно: Аглая Петровна не огорчалась и тем, что он так бранит ее юг; напротив того, преувеличенность его выражений была ей приятна: это были все те же за кормой парохода вскипавшие струйки, рокот их был легок и радостен. И все же она немного перечила:

— Мне нужно тепло!

— Тепло... оно есть только на севере.

И несколько раз он принимался рассказывать, какой у него на берегу океана, на севере, дом и как там просторно. Зимой он живет в Петербурге, но каждое лето приезжает к себе. Дом заколочен, он открывает его, и у него хорошо. Только живет — он один.

— А вы хотели б...— неосторожно начала она и замолкла.

Он отвечал, тоже помедлив, издалека, как бы листок за листком приоткрывая некую тайну:

— Я и на юге не расставался со льдинами. Я составляю словарь и грамматику... для лопарей. Я уже сильно подвинулся, но мне и еще.. необходимо... живое общение...

«У нас там, на севере, нет медицины...— параллельно подумала Аглая Петровна, как бы беря соседний аккорд.— И кусочек меня... моего... этот вот йод... уже был в твоем чемодане... со словарем и с грамматикой...» Она различала теперь дружное пение волн за кормой; и это согласное пение было теперь очень отчетливо в наступившем их общем молчании.

— Да, я хотел бы,— сказал он внезапно.

— А именно что?

— То самое, что вы спросили. Я медлил и ждал. Я хотел бы совсем... его не заколачивать.

— А это возможно?

— Да, если...

Странно, неспешная эта короткая ночь с куполом звезд, неподвижных и строгих, сверкающих и подвижных, она разрешила по-своему вопросы о верности и постоянстве. Медленно, верно вращалось звездное небо на вышине, светила текли с востока на запад. И медленно, верно какая-то стрелка в груди Аглаи Петровны вращалась... вращалась с юга — на север.

Тихо; говор под утро негромок; перепел — громче.

Немножко кружилось в ее голове, снежинки порхали, но было тепло. Север и океан... и лопари... и... какая же настоящая верность! Верность — как море, в ней — утонуть!

Не странно ли: в тридцать два года — как если бы вдруг, в короткую ночь,— нашла себя самое, настоящую... А впрочем, Аглая

Петровна уже не думала больше, не размышляла, как размышляла в Москве: это так утомительно думать — о себе... о себе...

О себе непрестанные думы — это как бездна; а думы другие — о живом существе, лежащем в степи и видящем звезды и лопарей — о, как легко, неутомительно! И дума встречает другого, исполненного своими, уже не чужими ей думами, она не летит в пустоту и, встречая живое по пути существо, теплеет, теплеет, и в этом другом — рождает тепло. Доселе Аглая Петровна всегда и во всех увлечениях любила, не понимая того, только себя, теперь же...

И только, пожалуй, одна полушутливая мысль все же была — о себе.

Впрочем, тогда уже минула эта степная открытая ночь, и еще минул день; у нее в кошельке лежал теперь новенький билет — на Архангельск. Телеграмму в Москву дала она очень короткую — близкой подруге: «Клюночи мое место, не еду». А сейчас, на дороге — в пространства, в окно, шептала она пояснения:

— Я бросила север, я изменила ему для постоянства — для юга, но постоянство нашла, изменив постоянству: еду на север!

Спутник ее видел (и понимал) эту улыбку. Он думал о доме на берегу океана и о просторном белом столе, похожем на всплывшую льдину; и на столе были словарь и грамматика: это как первые цветы на снегу — огромные незабудки на Новой Земле. И он думал о том, что этот их дом теперь не пустой и Большая Медведица — будет над ними обоими.

1929
Москва

Хитрое перо

Вот вы изучаете древние рукописи, и часто — не правда ли? — возникает вопрос о подлинности их и о возможных подделках. Но приходилось ли вам когда-нибудь размышлять на тему о том, что подделки нередко играли важную роль и в жизни простых людей?

Я расскажу вам, пожалуй, об одной такой подделке особого рода. Эта давняя история относится еще ко временам крепостного права, к царствованию Николая.

Сам я, как вы понимаете, не мог быть участником событий, но рассказ о происшествии этом слышал от одного из участников, человека своеобразного и в свое время известного, знавшего близко и Тургенева, и Лескова, и Фета — знаменитых ваших орловцев. Впрочем, с Тургеневым наш Василий Иванович... Петров (так мы его назовем) с течением лет несколько как бы и раздружился и даже порою метал на него громы и молнии за то, что тот жил за границей. Сам же Петров под конец своей жизни склонялся, пожалуй что к «почвенникам».

Та история, которую я собираюсь вам передать, доселе жива между потомками разных семейств в южных уездах бывшей Тульской губернии. Рассказывают ее по-различному. Один вариант записан и у Лескова, но только многое там совсем по-другому и не с теми подробностями. А я это все слыхал самолично от самого Василия Ивановича. Мне было тогда всего-навсего лет девять-десять, а Василий Иванович был уже старпком, однако же крепким, кряжистым, порывистым.

Был он по внешности, как иногда выражаются, человек страхолюдный, я его очень побаивался. Из-под косматых бровей — яркие, все еще озорные глаза; нос, подбородок и уши — все это как бы вырублено топором из старого крепкого дуба; не говорил, а кричал, но как-то вдруг умел переходить и на лирику: шепот листвы, светотень, как это там у вас говорится.

Собственно, роль его в этом рассказе совсем небольшая, да сам-то колоритен на фоне той давней, отошедшей Руси.

Мальчиком он обучался в лицее. Шалил и скандалил, но все покрывалось, сходило, что называется, с рук. Только однажды, во время веселой пирушки, он запустил бутылкою в стену и попал в изображение священной особы самого императора. Оскорбления этого стерпеть уже оказалось нельзя, и его исключили без права куда бы то ни было поступить.

Скандал для семьи, огорчение матери.

Однако же мать не растерялась. Она была энергична, умна и настойчива. Парня перед начальством как-то оправили, кое-чему подучили, и поступил он в Московский университет.

Там-то у него и объявился товарищ — полная ему противоположность; тих, скромен, воды не замутит, хоть и туляк — то ли из ерских, то ли из новосильских, — Приспешнев Никита Васильевич. Он был хорош из себя, даже, скажу, слишком хорош для помещика, у которого матушка секла своих крепостных на конюшне. Однако же и он вкупе с приятелем дружил с самим Александром Ивановичем Герценом; оба они находились под полным его обаянием.

Приспешневы были богаты, Петровы — не очень (невзирая на родовитость мамаши), и Василию Ивановичу показалось в резиденции товарища очень богато и пышно. Подобный некоей диковинной птице, ну, скажем, кондору, — огромный, нескладный, он осторожно старался ступать по лощеным паркетам, глазищами между тем цыркая по сторонам: на трельяжи и клетки с певчими птицами, на экраны перед камином, столики буль, портреты сенаторов и генералов с лентами через плечо и созвездиями на груди... На генералов он, впрочем, бросал взгляды, исполненные недоброжелательства и горечи: памятна была роковая бутылка! Но зато, покорствуя нежному сердцу, скрытому под топорной разбойничьей внешностью, он украдкой заглядывался на розовых дам с каштановыми локонами, упадавшими на снежно-белые открытые плечи.

Со смешанным чувством опаски и уважения взирала на Василия Ивановича Приспешнева мать и даже нрав свой при нем немного смягчила. От другого, пожалуй, она бы не потерпела тех вольностей, которые он себе позволял: ходил на дворню, слушал и записывал песни, заглядывал и на деревню для неизвестных бесед с мужиками. Отсюда опаска, а уважение внушали ей просто-напросто широкие плечи Василия Ивановича, богатырский его рост и послеобеденный раскатистый храп. Дело в том, что Агланда Сергеевна была еще не чужда увлечений, и, видимо, вкусы ее, в противность лощеным паркетам и птичкам, влекли ее к мощи, к простонародности... Из многочисленной дворни ее благосклонным вниманием отмечен был кучер Никифор, щеголь и пьяница. Впрочем, он был и красив, когда, сидя на козлах в синей атласной жилетке, с надутыми ветром рукавами рубахи, с селезневым изумрудным пером на черной бархатной шапочке, крепко держал в загорелых руках шелком прошитые вожжи... Единственно он изо всех не трепетал перед властною барыней, а порою и прямо с ней был нагловат и небрежен.

И это пристрастие госпожи к Никифору-кучеру не ускользнуло от зоркого глаза Василия Ивановича. Быстро вник он во все домашние тайны. А главной из них была молодая любовь Никиты Приспешнева и хорошенькой Дашеньки, почти что воспитанницы строгой и взбалмошной барыни Агланды Сергеевны.

Дашу взяли маленькой девочкой из дальней деревни, это по тем временам было не редкость: вспомните хотя бы тургеневскую мельничиху из «Записок охотника». Даше было всего семь-восемь лет, когда ее крепостные родители покинули свет, столь для них неприютный. Сиротку, хорошенькую, очень любил Приспешнев-отец и перед смертью наказал Дашеньку не обижать. Так в доме она и возрастала как полубарышня, тихо и непрерывно, день ото дня зацветая русской застенчивой красотой.

Я вам дополню рассказ, слышанный в детстве, кое-какими подробностями; частью узнал я их от других, частью догадывался и восстанавливал сам для себя. Вот почему весь эпизод для меня — не просто занятная история, а видится как бы на фоне всей той эпохи. Я о тех временах сильно наслышан, да много кое-чего соображаю и сам: ведь Русь крепостная, скончавшись на бумаге, долго и позже жила еще почти во всю полную силу. И вот почему все это мне видится въяве, и я передаю о событиях, как бы вам излагая некую словесную повесть. А что до самой эпохи, то о временах тех один из героев моих, еще мною не упомянутый, острое однажды словцо обронил. Я в свое время вам приведу его изречение, а если забуду, вы мне напомните.

Девушек принято часто поэтически сравнивать с лилией, розою, пальмой; Дашенька ближе всего была родственная льну — голубому цветку, в своей чистоте, простоте — близкому небу или ручью, может быть, даже — голосу птички-синички. Я ее чувствую так. Глаза голубые, легкая, ровная стройность, и волосы — именно лен, когда берешь его на руку: промытый, расчесанный... Но человек — не растение! В Дашеньке был также и огонек, резвость, веселость. Была она и хохотушка, умела плясать, напевала.

Втайне был и Василий Иванович ею пленен, но он хорошо сознавал, что дикобразу подобному даже просто рядом с ней стать — и то, пожалуй, было как-то не ладно. С тем большею страстью зато он потворствовал этой, еще с детства возникшей любви между Никитой и Дашенькой. Однако ж избыток усердия нередко приводит к результату обратному, чем ожидался.

Аглаида Сергеевна, непрерывно бушуя в душевной своей пустоте, видимо, не допускала и мысли о серьезности чувства между молодыми людьми. Смотрела на это она отчасти сквозь пальцы, а отчасти, быть может, даже потворствовала законному «баловству» юного барича: «Подумаешь, невидаль! Ну и случится грех... Не на то ль и грехи, чтобы их покрывать?»

А Василий Иванович знал от Никиты, что он Дашеньку истинно любит и намерен жениться. Немало друзья побродили под липами парка в лунные ночки, строя планы, мечтая, призывая в свидетели звезды. Кроме любви, им обоим мерещился в этом поступке подвиг, геройство; оба они как бы вызывали на бой эту проклятую «существенность» жизни. Изо ржи доносился прерывисто переливчатый зов перепела, без которого русскую деревенскую ночь и не помыслишь, а в душу волною вливались московские вольные речи Искандера, осуществлявшего свою благородную клятву... И, помимо всего этого, было «красиво»!

Так вот что случилось однажды.

Однажды Никита Приспешнев и Даша, уединившись, беседовали между собою на важную тему. Василий Иванович знал, что друг его наконец-то решил иметь настоящее объяснение с девушкой и объявить о своих серьезных намерениях. Василий Иванович со сложной и жертвенной думой в душе, с глубокими вздохами, колебавшими занавески на окнах, кусая свои толстые, обветренные губы, один бродил по гостиной. Вдруг он увидел, что Аглаида Серге-

евна подкатила к подъезду с крылатым своим Никифором на козлах. Она выезжала к соседям, но, видимо, их не застала и вернулась не вовремя. Он насторожился: может быть, барыня пройдет в этот раз прямо к себе... По звуку шагов будто бы так оно и выходило. Но внезапно она появилась в дверях, и предупредить было уже поздно. А Аглаида Сергеевна между тем, чем-то рассерженная (как бывала не в духе, имела привычку дергать себя за мочки ушей, будто скидывая с них осеннюю паутинку), направилась прямо туда...

Василий Иванович рыцарем заступил ей дорогу.

— Что же это такое еще? — спросила она, не понимая.

— Я заклинаю вас вашею молодостью! — театрально воскликнул Василий Иванович. — Вы не войдете туда!

Она попыталась его отстранить. Он схватил ее за руки.

— Нельзя, Аглаида Сергеевна! Там решается жизнь. Там в эту минуту сама судьба, Аглаида Сергеевна!..

Барыня вдруг засмеялась:

— Никита, что ли, там с Дашкой? А тебе, знать, завидно?

Василий Иванович побагровел, как бурак. Непроизвольно так стиснул он руки Аглаиды Сергеевны, что та закричала со страхом и восхищением:

— Мужик!

На этот крик дверь распахнулась, и сам Никита Васильевич выступил перед мамашей.

— Мамаша! — произнес он застенчиво-твердо. — Я давно искал случая объявить вам, мамаша, что я на Дарье Михайловне намерен жениться.

— На Дарье Михайловне? У Дашки есть отчество? Вот великая новость! — Она коротко, зло рассмеялась. — И ты делал ей там... декларацию? Мужичке? Моей крепостной? Да разве так, сударь, дворянские грехи покрывают?

Сын залился румянцем.

— Никакого греха! Клянусь вам, мамаша! И это берете вы именно на душу грех...

Трах!.. Никита не ждал, не успел отклониться. Пощечина вышла звонкой и крепкой, кажется, эхо отозвалось из углов парадной гостиной. Генералы смотрели со стен. Пыль реяла в воздухе. Птицы замолкли на жердочках. Самое время как бы остановилось, утверждая основы людского первопорядка: господа и рабы.

Так примерно и сам Василий Иванович определил эту минуту, так она с детства и в памяти моей запечатлелась...

Где была Даша? Должно быть, если б художнику вздумалось изобразить тот момент, он за раскрытою дверью увидал бы ее как одно лишь пятно, сквозное и розовое, подобное облачку, без очертаний почти. Ни собственной воли, ни голоса.

Никита Васильевич от удара качнулся, но решимость его не сразу сломилась. Мать поняла,что голой силой сына не взять. К ночи у них состоялся такой уговор: если любовь выдержит год испытания, она ему Дашу отдаст. Если ж теперь он стал бы настаивать то владелица душ пригрозила, что Даша будет отослана под стро-

жайший присмотр в дальнюю вотчину, а то она и вовсе ее продаст... или даже подарит: «Есть, мой сынок, знатоки и любители!..»

Никита с лица почернел, на глазах у всех постарел, покорился. Мать запретила ему свидание с Дашей: свою волю объявит сама!

И в ту же ночь Никита уехал, поручив верному другу задержаться ненадолго в усадьбе и Даше все разъяснить.

Василий Иванович, простившись с товарищем, глаз не сомкнул: терзали его могучую грудь океанские бури. Душно было в проклятых стенах, и заря едва занялась, как вышел он в сад.

Утро в деревне... Надо ли вам это рассказывать? Каждое утро мир начинается сызнова. Травы, роса, прозрачность, прохлада. И первая птица, первый розовый блик на вершинах дерев. И воздух не тот, каким был вчера, и самые воды ручья помолодели.

Слабо хрустели сучки берез под богатырской ножищей Василия Ивановича. Он шел и обдумывал, как бы тайно ему встретиться с Дашей и как повести объяснение. Вдруг он услышал странный звук, будто упало что в воду. И вслед за тем отдаленный жалобный вскрик. Он затревожился и побежал напрямик к пруду. Травы качались под взмахом его плаща. И еще через деревья он различил, как замирали и вновь возникали круги на поверхности затянутых ряскою вод, а какой-то глянцевитый предмет то выныривал, то снова тонул. И тут увидел на берегу простенькие Дашины туфли...

Так наконец она проявила себя.

Он нес ее на руках до самого дома — чужую невесту, юную, теплую жизнь, не менее прекрасную, чем это позднеиюньское утро. Он признавался, рассказывая, что не удержался и поцеловал ее несколько раз, пока она не очнулась, а как открыла глаза, быстро и горячо начал шептать о любви, конечно, Никиты, но выходило одновременно как будто и о своей, и о том, как он Дашеньку выкрадет и увезет, но, должно быть, и тут он смешивал воедино и свое и чужое...

Сердце щемило. В доме Василий Иванович явственно ощутил своим обостренным чутьем экстренные какие-то приготовления. С Никитой уехал мальчишка с конюшни, Никифор оставлен был дома. Василий Иванович увидел его выходящим от барыни. Красивый и неприятный лик старшего кучера был смутен; раздумье, несвойственное его натуре, искажало его черты. Что это могло бы значить?.. Тут до него донеслось бормотание Агланды Сергеевны: «А то, чего доброго, возьмет да и вернется...» Редко случалось, что Приспешнева-мать сама с собой говорила, и всякий раз в этом было что-то зловещее.

Вдруг Василия Ивановича осенило. Чтобы его не заметили, он прыгнул в окно. Он был наездник лихой и жеребца выбрал под стать. Поскакал за Никитой кратчайшим путем и чуть было с ним не разминулся: «Никита и сам возвращался домой. Увидев скакуна, он встал в тарантасе и, как мельница крыльми, начал крутить мягкой шляпой Василию Ивановичу.

Друзья обнялись. Запаленным коням выпала минутная передышка.

— Я отгадал?.. Я все раздумывал... И вот решил повернуть! Что там случилось? Не поздно?

Василий Иванович был краток, решителен. Приспешневу он уступил жеребца, сам пересел в тарантас: лошади были сильно замучены.

И что же? События эту поспешность оправдали. Тут надо коротко. Церковь была в полуверсте от усадьбы. День будний, а в церкви — огонь. Кучка народу у входа. Свечи бледно сквозь день глядят изнутри. Никита бросает коня, чуть не споткнулся о плиты. Видит: в мерцании свеч, в венчальном уборе стоит его Даша... Рядом — Никифор. Священник с припухлой щекой (рой огребал) готовится брать брачную клятву... Никита с порога кричит:

— Погоди!

И вот кучер уже в стороне, а сам он стоит рядом с невестой, и в руках его свечка, нагретая подставным женихом. И брак само собой завершен с женихом настоящим. Тут и Василий Иванович пригрохотал в тарантасе, выпрыгнув из него на ходу. Усердие дало на сей раз результат.

«Это и есть вся история? — спросите вы. — Но где же подделки и прочее?»

О да, конечно, это история, и несколько даже напоминающая пушкинскую «Метель», только, не правда ли, в некотором роде наоборот? Но главное все ж еще впереди — хитрое перо впереди!

Никита Васильевич, похоронив родительницу, недолго с женою пожил в Москве. Мать его проклята бы, да испугалась греха.

Она ограничилась тем, что перестала высылать ему деньги, а без денег как жить? Вот он и перебрался в Санкт-Петербург. У него в Петербурге был дядя, который ему и помог в ожидании богатой отдачи. Впрочем, этой отдачи пришлось-таки подождать, и когда молодые Приспешневы после смерти Агланды Сергеевны перебрались в деревню, у них уже было двое детей.

Редкий был брак по тем временам! Молодые дворянчики если когда и покрывали грехи брачным венцом, то скоро клали поверх ней — жен своих: вспомним хотя бы родителей Федора Ивановича Лаврецкого. Приспешневы жили, что называется, душа в душу. Обо они к этой поре устали уже от жизни в столице, а Дарья Михайловна и всегда тосковала по родным краям. Эти годы в деревне были самым счастливым временем их жизни. Молоды сами; свежи, весенний лепет детей; Василий Иванович их не забывал... Вечером чаи на террасе. Звезды, как светляки, в широколиственных кленах. Василий Иванович говорит о санскрите, по-древнееврейски читает «Песнь песней»... Прямо сам царь Соломон.

А Герцен? А клятвы?.. Чего вы хотите? Герои мои — не герои! Они жили, как все, покорствуя времени. Юность жила теперь больше в воспоминаниях. Но все же в конюшне теперь уже не было порок, а Василий Иванович, по образованию врач, лечил мужиков на деревне... Впрочем, и он о былых «неподобных» своих разговорах, кажется, крепко забыл.

Жить бы им так да поживать... Но непрочна жизнь человеческая!

Несчастный случай на охоте, не полностью выясненный,— может быть, здесь было даже злодейство, как полагали тогда, и не без основания,— но только что все стало мрачно в жизни внезапной вдовы: Никита Васильевич был убит наповал...

Горе, печаль неутешная. Дарья Михайловна кровно мужа любила. Свет для нее стал немил. И если бы не дети, кто знает?.. Тот самый пруд был близок по-прежнему, а омут в пруду так же глубок, как и некогда... Но дети ее не отпустили.

Так-то вот для нее и началась новая жизнь полузатворницы. А Василий Иванович тем временем женился и сам. Он поступил на казенную службу в Орле и, как встретит, бывало, с портфелем под мышкой какого знакомца, любил пошутить: извините, дескать, невинную хитрость бедного отца семейства.

Боюсь ошибиться, но думается, что и Дарью Михайловну он не вовсе забыл... Сначала они переписывались, а потом между ними и переписка заглохла. В одиночестве встретила Дарья Михайловна новые беды.

А беды такие. Было поднято дело о праве наследования малолетних. Боковые наследники подали в суд: дескать, дети Никиты Васильевича им прижиты от посторонней, собственно, женщины, так сказать, от сожительницы, не от законной жены, а посему малолетние эти имуществу рода Приспешневых никак не наследники.

Вот тут-то было опять и возникли разные слухи о случае на осенней охоте... Но слухи те были скоро приглушены.

Я не знаток в старинном делопроизводстве, но мы все хорошо его знаем по делу Александра Васильевича Сухово-Кобылина. Кажется, умница, связи, богат, и обвинение в убийстве француженки Симон-Деманш — обвинение ложное, а ведь каким скорпионам его подвергали и какую жестокую нанесли ему рану! Правда, что эта самая рана и породила жемчужину, открыла нам гения, но для Дашеньки бедной открылась одна нищета. Где же ей было самой справиться с хищною сворой «законных наследников»!..

Суд был короткий. Доказательства ясные. На стол положили — как это их называют? — «обыскные», кажется, а если еще по-древней — «венечные памяти». Такую вот «обыскную книгу» и представили судьям. И в ней была собственноручная подпись. «Никифор Терехин» — кучер был грамотен. Налицо его не оказалось: он получил отпускную от барыни вскоре же после своего «венчания» и, намереваясь заняться торговлей, отбыл куда-то на Дон; там и след его затерялся... Священник, венчавший Дарью Михайловну, умер. Свидетели — кто не явились, а кто и явился, мялись, робели... Поверенный новых наследников был мужчина отважный и ловкий: кого запугал, кого подкупил.

Так из суда и вышла Дарья Михайловна уже не Приспешневой, а Терехиной, а дети — и вовсе неизвестно кем... Бедной вдове разрешено было взять из имущества только «лично принадлежащее», а жить из Приспешнева отправляйтесь, пожалуйста, куда вам угодно, запрета мы не чиним...

Так обернулась для Дарьи Михайловны жизнь, и такова для нее

оказалась законная правда. А где же искать настоящей, человеческой правды?

Дарья Михайловна обосновалась с детьми в Москве. Она сняла в одном из переулков между Пречистенкой и Остоженкой маленькую комнатку у старушки просвирни. Окно глядело во двор, на дворе по-деревенски ходила коза. Синие вечерние сумерки, как улягутся дети, бывали особенно тоскливыми, она вспоминала счастливые годы свои, с тревогою думала о малышах. Скромные средства ее таяли день ото дня. Она про себя повторяла: «Ну пусть как-нибудь я... А дети... дети Никиты Васильевича? Как можно было отца от детей отделить?.. Что же мне делать? Что делать?»

Однажды, оставив ребят, она понесла продавать последнюю драгоценную вещь — сережки с жемчужинами, подаренные ей покойным мужем перед самою катастрофой. На обратном пути, крепко в кармане зажав ассигнации, проходила она мимо Иверской. Вся ее жизнь ближайшая — месяц, два, три — зажата в этой горячей ладони. Зима была не холодная, снежная. У часовни, залитой сотней свечей, она остановилась... Но и молитва не шла на уста.

Вдруг, обернувшись, увидела она человека, глядевшего на нее из-под ворот. Вид у него был неказист. Из-под картуза торчали височки неопределенного, полинялого цвета, глаза были крошечные, однако же острые; поверх очков глядели они, как говорится, буравчиками. Ростом маленький, корпусом щуплый, штаны в бахроме — сплошное какое-то неподобие. Она отвернулась, пошла прочь.

Но, когда она вступила уже на линию Охотного ряда с его звонкою сутолокой, кто-то почтительно тронул ее за рукав. Дарья Михайловна обернулась: это был он!

— Что вам от меня надо? — спросила она и невольно крепче зажала деньги в руке.

— Я к вам от Иверской,— отвечал он, подмигивая не без веселости.— Я возле нее в воротах состою-с, на посылках! Может быть, я вам буду полезен. Я по глазам различаю, кто из нас, человеков, пребывает в беде-с.

— Да кто же вы сами-то.

— Не бес, все конечно-с. Грешник, как все. А по призванию жи ненному ходатай по частным делам. Павел Егорыч Уздечкин-с. Будьте спокойны: любая бумажка, что из-под пера моего выходила, была, с одной стороны, «нельзя не сказать», а с другой — «нельзя не признать»... И признают-с! Хитрость пера моего общеизвестна и общедоступна. У вас ко мне непременно дело-с... Разрешите вам следовать...

Так, балагуря, и в самом деле он от нее не отставал. И странно, вопреки его мизерному и подозрительному виду, Дарья Михайловна не то чтобы склонялась на его уговоры, но и не гнала его от себя. А когда дошли они до дому, то оказалось, что он хорошо знаком с Агриппиной Петровной, хозяйкой Дарьи Михайловны, и не преминул к ней зайти. Они звали друг друга «сваточек» и «сватьюшка» и расположились чаевничать.

— Верьте ему,— говорила Агриппина Петровна.— Душевный он человек. И хитрей его нет. Правду со дна колодца достанет.

— В колодец не лазил... И влаги глубокой я опасаюсь и врать не люблю-с,— со скромностью возражал гость, мышиными зубками отгрызая кусочек крепкого сахара.

Дарья Михайловна наконец согласилась испытать снова судьбу.

— Вы расскажите мне только все обстоятельства, а я как на картах раскину пасьянс: можно — нельзя, а ежели можно, то именно как.

Дарья Михайловна все рассказала. Он внимательно выслушал и долго молчал. Шевелил бровями, касался очков, глядел в потолок. Внезапно рука его протянулась вперед и затем осторожно легла на скатерь, а пальцы пришли в движение, как если бы он самым тщательным образом принялся за исследование поверхности ткани.

Так еще помолчав, он словно бы себе самому кратко ответил:

— Могу-с.

И на другой же день отбыл в путешествие, даже и денег не взяв от Дарьи Михайловны:

— Верное дело — и расходы мои-с. После оплатите.

Однажды под вечер к Приспешневу двигались сани. Уздечкин велел держать на Поповку.

— Тут заночуем,— сказал он вознице,— а завтра назад. К батюшке есть маловажное дело.

Батюшке он, однако, сказал, что в пути запоздился, а, собственно, едет к отцу благочинному по консисторским делам, на ночь просит приюта.

Попик обрадовался: человек из губернии — это вроде газеты. То да се, раздевайтесь да давайте погреемся... Комнаты жарко натоплены, половички, пахнет немного лампадкой, пахнет и ладаном — полный уют. Запасы из шкафчика перекочевали на стол. Самоварчик, графинчик, грибки да селедочка... Особливо графинчик оказался чудодейный: опорожнят его, а он опять, глядишь, полный... Любопытно это и проверить: повторится ли чудо? И повторяли. Влаги глубокой, как на поверку выходило, Уздечкин не очень боялся.

Разговор был и мирный, но слово за слово возникали и споры; шумели:

— Вы говорите: правильные записи! А я говорю: правильных записей нет. Любую берусь опорочить!

Вы понимаете, к чему он клонил?

Натурально, послали за книгами. Кожей запахло и воском, сыростью церкви.

Книги на стол — «венечные памяти».

— Истинно чудо! Сама аккуратность... За честь сочту доложить отцу благочинному!

А между тем так, между прочим листая, глазами вонзился... Год и число были взвесты. Никифор Терехин! Вздрогнули пальцы, поправил очки. Сила солому ломит, но иногда хлеба на полях полегают и от избыточества влаги: так, рано ли, поздно ли, пал и благодушный хозяин. На диване и колечко свернулся и гость.

И, однако же, ночь и лампадка. И Уздечкин не спит, и хмель отогнал. Тишина. Вот приподнялся и тихо, на цыпочках, прокрался к столу, где были книги. Сразу открыл, что было надо. Аккуратненько вынул перочинный нож и принялся за работу. Он выскоблил со всей осторожностью подпись Никифора. Потом из кармана вынул перо, флакончик с чернилами, пригнулся, подвигал очки на носу и завершил свое дело.

А «дело» о Дарье Михайловне и малолетних пошло «на переуд». Представителем истца (на сей раз истицей была Дарья Михайловна) выступал на суде частный ходатай Павел Егорович Уздечкин. Свидетелем вызван был Василий Иванович Петров.

Ради высокой инстанции Уздечкин был в сюртуке и при гластуке. Сюртук блестел на локтях и на швах, но сам хозяин его держался достойно и строго.

«На что он рассчитывает?» — думала «та» сторона и ничего не могла отгадать. Главное, что удивляло: предлагали ему отступного — не взял! Правда, истица вызвала свидетелем дворянина... Но дворянин этот был не первоклассный: по слухам, и он что-то пером промышлял, излагал для российских журналов древних мыслителей! Это птица невелика... Но ведь главное... главное — это церковные книги! Ведь обнаружит же суд законную подпись... Ведь это же есть документ!

И точно: «Обыскная книга» сельской приспешневской церкви лежала торжественно на красном сукне, на судейском столе.

Тут уж Василий Иванович, рассказывая, давал себе волю: то гремел на всю комнату, то почти шелестел, замирая.

Все, разумеется, шло своим чередом, и все дошло наконец до знаменитого документа. Еще до того Василий Иванович дал показание под присягою, что с Дарьей Михайловной был обвенчан его покойный друг — Никита Васильевич Приспешнев, но когда он вздумал было коснуться некоторых подробностей и сопутствующих обстоятельств, ему было строго заявлено, что здесь не пишут романов, а пишут п о с т а н о в л е н и я.

— Посмотрим теперь, что гласят документы!

Поверенный «той» стороны разогнул пожелтевшую книгу, и вот над нею склонились душистые судейские бакенбарды.

Дарья Михайловна сидела и думала: «Чудо... Когда ж будет чудо? А вдруг и в самом деле сейчас я услышу другую фамилию?»

Но вместо того главный судья, откинувшись в кресле, сказал:

— Здесь расписался Н и к и ф о р Т е р е х и н. И мы по-закону...

Василий Иванович рванулся к столу и загремел:

— Это неправда!

Но тотчас же его осадили.

— Ну, а вы что же нам скажете? — с легкой насмешкой спросил судья Уздечкина.

— А ничего не скажу-с, ваше превосходительство, не погля дев, — скромно ответил Уздечкин. — Вы мне не разрешите ли полюбопытствовать?

Ему разрешили, он подошел. Склонился над книгой и долго глядел в нее, словно впервые видя сей документ. Потом он полю-

жил книгу на стол, и Дарья Михайловна как бы снова увидела скатерть и свою старушку просвирню Агриппину Петровну... Так же, точь-в-точь как и тогда, рука его протянулась вперед и осторожно легла на страницу, пальцы заколебались и внимательно стали прощупывать лист...

Все глядели и ждали. Он же молчал среди тишины. Потом привычным движением поправил очки, поднял книгу и стал глядеть ее на свет. Оловянная тонкая проволочка, идущая за уши, в одном месте была, видимо, надломлена и туго перекручена суровою ниткой. Василий Иванович, созерцая всю эту странную фигуру и манипуляции, которые проделывал поверенный Дарьи Михайловны у всех на глазах, серьезно подумал: «Да не сошел ли он с ума?»

Но вот Уздечкин при общем настороженном внимании обратился к председательствующему:

— Не изволите ли вы, ваше превосходительство, собственным вашим перстом ощупать бумагу? Шероховата-с, не правда ли? И поглядите на свет с... Подпись-то верную кто-то ведь выскоблил-с и по этому месту уже написал: «Никита Терехин».

Бакенбарды склонились. Палец ощупал подделку. На свет было видно еще того лучше. Была тишина. Недоумение.

И среди тишины Уздечкин сказал:

— Так чего же, я смею спросить, ваше превосходительство, стоит та подпись?

Его превосходительство изволил молчать.

— А еще позволю себе обратить ваше внимание на то обстоятельство,— продолжал Уздечкин спокойно и даже несколько строго,— что чернила в подделке вовсе другие-с, сами извольте сличить! Смею сказать, неизвестный художник грубо сработал-с... И удивительно даже, как в первой инстанции...

— Довольно!— прервал его председательствующий.

Так вот какова была подделка особого рода: выскоблил подпись и написал поверх то же самое и тем самым написанное опорочил. Ну разве не хитрое было перо?

Повесть была завершена, благополучный конец сам собой ясен, но я все же спросил:

— А что же Уздечкин сказал про ту эпоху?

— Благодарю вас, что вы мне напомнили. Изречение это было такое: «В нашу эпоху-с (он знал это слово) кривду, скажу, только и вышибешь кривдой же, а голенькой правде не жить!»

1939

Рассказ о прохожем

С Никитою Петровичем Первушиным так случалось нередко. Ждут его в гости к восьми, но хорошо, если в одиннадцать постучит — либо в окно, либо в дверь, звонков он решительно не признавал — привычка с детских лет: вырос во Мценске, где колокольчик на весь город был только в аптеке. К себе кого-нибудь позовет — и к себе опоздает. Часов у него не было, а время внутри не совпадало со временем внешним. «Счастливые часов не наблюдают». Но вряд ли Никиту Петровича кто-нибудь назвал бы особенно счастливым. «Задумчивый он человек» — так про него говорили; и это, конечно, хорошее было определение, верное и постоянно его запаздывания объясняло.

Так было и в этот раз. Я уже перестал его ждать. Нужный Никите Петровичу человек, с которым необходимо было его свести, познакомить, раз пять, загибая манжету, глядел на свои новые часики, приобретенные им во Львове, а в шестой раз не стал и глядеть, удалился.

Осталось нас четверо: я, да жена, да восемнадцатилетняя наша дочка Наташа, да подруга ее, поступившая осенью в школу при театре Вахтангова; у Оленьки — артисточки этой — в нашем кругу было довольно странное прозвище: Оленька Таракан. Для молодой, хорошенькой девушки, не правда ли, довольно-таки неожиданное? А объяснялось оно между тем весьма просто. И не тем, что сама она была черненькая. А вот на левой руке, на запястье, было у нее крупное родимое пятно, очень напоминавшее именно таракана. Вероятно, девчонкой это сильно ее тревожило, но теперь к отметине своей она не только привыкла и на прозвище ничуть не обижалась, но, может быть, даже понимала, как причудливо и интересно пятнышко это — вроде браслета — выделяет ее между подругами. Впрочем, сегодня рукава были длинны и «браслета» не видно.

Девочки живо болтали, вовлекая и нас в круг своих интересов. Оленьке задано найти и разучить какую-нибудь сцену; сцена должна быть лирическая. Как будто бы просто. Однако ж мы называли и то и другое, но она решительно все отвергала: то не та линия то не в том разрезе. Жена моя несколько даже на нее рассердилась — не за ее разборчивость в выборе, а вот за эти самые «линии» и «разрезы».

— Разве не слышишь ты, Оля, как грубо некстати, как пошло звучат эти слова? Какая уж тут лирика!

Девушка с удивлением на нее поглядела и заговорила опять о своем. Но вскоре же себя прервала, как-то взмахнула руками, развела и свела их, и уже с другим удивлением — на самое себя — призналась, что правда.

— А правда, как же это нехорошо! Как я сама не почувствовала... Значит, беда, значит, во мне лирики нет, значит, и сцену не надо искать, значит, я не актриса!

Тут мы все уже рассмеялись, а Наташа сказала:

— Нет, ты актриса. Только, видишь, комическая!

Среди такой болтовни и раздался наконец-то дробный, характерный стук в оконную раму.

Еще в передней пожурил я Никиту Петровича за опоздание.

— Ты знаешь,— я говорил, - NN, человек важный и деловой, ждал, ждал тебя и не дождался. И ты знаешь, что особого удовольствия принимать его у себя я не испытываю. Для тебя и позвал, а ты не пришел. Вот теперь и сиди со своим переводом.

— Ну что же, и посижу,— кротко промолвил Никита Петрович.— Я к тебе было вовремя вышел, да на бульваре, знаешь, присел у пруда. Деревья и почки набухли, вода наполовину еще под льдом, и подумай — ручей! В городе, да... настоящий ручей!

Я махнул рукою: неисправим! И, однако же, ну хорошо, задумчивость пусть объясняет его запоздание, а самую задумчивость эту чем объяснить?

Про Никиту Петровича никто ничего толком не знал. Переводы свои с персидского китайского, монгольского он делал отлично, хотя и страшно медлительно. Жил кое-как. Был «органически холост», как про него говорили люди с язычком, на женщин поглядывал как на полянку в лесу. Я спросил у одной очень милой особы, которой Никита Петрович наш явно и сильно, по-настоящему нравился, отчего бы ей не выйти за него замуж. Она отвечала: «Да разве можно выйти замуж за воздух?»

Но это неправда, Никита Петрович разве что несколько был чудаковат, но отнюдь не был «воздухом».

Вот в этот вечер как был он мил! Да и с девчатами как разболтался! И говорил дельные вещи.

— Что значит лирическое?— спрашивал он.— Лирическим должен быть сам человек, тогда всякая сцена станет лирической, а без этого и самую гибкую ветку под солнцем назовешь древесиной.

Оленька Таракан на него изредка взглядывала, и не без интереса: наслышана о нем была, но видела в первый раз. Я знаю ее уже несколько лет. Мать ее овдовела, когда девочке было всего год-полтора. Жила она где-то на юге одна, а Оленька с самого школьного возраста пребывала у тетки в Москве. Да и у нас она давно как своя. Я про себя отмечал все перемены их роста, ее и Наташи. Это все равно как посадишь растение и день за днем видишь то самое, что и называется — жизнь. И все же, бывало, не уследишь: да когда ж развернулось вот это? Или все это - внезапности? Накопляется, зреет невидимо, а потом этак вдруг — как прыжок?

Да хотя бы и эти сегодняшние поглядывания Оленьки - вот уж действительно «мгновение ока», зарница,— и потом как опустит глаза! Опустит чуточку уже медлительнее, с какою-то едва уловимою дозой то ли раздумья, то ли... истомы.

О сцене договорились. Никита Петрович назвал неожиданно пушкинскую «Барышню-крестьянку».

— Да, да, а что вы думаете? Пусть с хохотком, пусть немного морочит, но вот попробуйте дать и лиризм: пусть как солнце ложится на куст... ну, шиповника, а листья, цветы и бутоны — ведь утро — в росе!

— О, да вы поэт!

— Я переводчик.

Но Оленька не унималась:

— Я хотела бы, чтобы вы были партнером моим в этой сцене!

— Нет, на эту роль... нет, я не гожусь.

— Ну, тогда и я не гожусь! — капризно-кокетливо заявила Оленька.

За чаем дурили, смеялись. Вспоминали рассказы, ходившие про Никиту Петровича: как ему надобно было срочно уехать и как на сей раз на вокзале он был ровно за четверть часа до отхода поезда... но только не в тот день, как ехать, а на следующий. Говорили и еще покрупней: будто знакомые звали его на свадьбу, а приехал — у молодых только что родились первые близнецы, первым поздравил!

Оленька Таракан от души потешалась и хохотала. Но как хохотала! Что-то в ней угадал Никита Петрович: в смехе ее, представьте, был этот самый лиризм! И она очень тепло на нашего гостя поглядывала.

Но что страннее всего — я это заметил, — и он на нее несколько раз поглядел с необычайною пристальностью; больше того, словно бы даже с какою-то важною для себя заинтересованностью: как если бы только сейчас по-настоящему ее увидел.

И Оленька — пора бы, казалось, уже уходить, но не уходила. И вышло так — чего-то она дожидалась.

Перешли опять ко мне в кабинет. Никита Петрович сел на диван, и она на диван. Неузнаваема нынче!

Он вытянул ноги, откинул свою уже чуть посеребренную голову, закрыл глаза, помолчал. Как-то замолкли и все.

— А почему непременно сценку надо искать в литературе? — сказал он внезапно. — Ведь в жизни... да и не в жизни. Хотите, я вам сейчас выдумаю?

Мы попросили, но, ясно, и без того рассказал бы.

— Ну, представьте себе... — Молодым движением он подобрал ноги, окинул руками колени, выпрямил стан и, чуть покачиваясь, начал рассказывать: — Ну представьте себе именно раннюю весну. Первая бабочка, золотая лимонница, ищет цветов. Но цветов еще нет, летает по лужам. А земля уже теплая — к полудню; можно сидеть. И солнце с утра гуляет в лесу, между ветвей. Птицы поют. А по оврагу ручей низвергается маленьким водопадом, и веселая, кудрявая вода бежит и гремит по камням.

Да... ну и вот — молодежь. К экзаменам, что ли, готовятся. Вышли из города по большаку на лесную поляну и, представьте, играют, играют, точь-в-точь как козлята на первом зеленом лугу. Неиз-

вестно, во что. Смех, беготня... то самое лучшее, когда неизвестно, во что. Впрочем, кажется, эта игра называется юность. А юность, когда уже будто бы девушки, а всего лишь девчонки — зелененький, кисленький виноград; да и мальчишки под стать: какой-нибудь этакий паренек может, пожалуй, уже и задымить папироску, но с настоящим азартом гоняется все еще за лягушками. (Тут наши девочки фыркнули.) Все, конечно, на «ты», все звонко, догнав, хлопают друг дружку между лопаток почем зря, и чем звончее шлепок, тем веселей: талая молодая вода.

И вот, допустим, аэроплан. И летит прямо к городу.

«Ой, сядет у нас!»

«Поглядите, кружит!»

«Ребята, как низко!»

И все взгомозились, как птицы, все побежали. А у одной девушки подвернулась нога. Ну, не очень — вы не пугайтесь. Присела, потерла, губки зажала.

Ей машут, и машет она: «Не пойду!» Может, оно и обидно, что не может бежать, а отчасти немножко ведь и приятно: остаться одной... Тишина. И сразу заметила: облака,— а то не видала! И как воздух на горизонте колышется сам и легонько вокруг все поколыхивает.

И так сидит, и молчит, чуть наклонившись, а солнце ей льется за шею.

А от города, видно, со станции, идет человек. Рюкзак за спиной и кепка в руке, ветерок шевелит его волосы. Идет, приближается: видно, глядит перед собою, а видит ли что? Весь он ушел в какую-то думу. И он еще молод: может быть, двадцать два — двадцать четыре.

И все же остановился перед... и даже не знаю, как и зовут ее. И рассеянно, почти машинально, спросил:

«Вы что тут? Вам плохо? Вы нездоровы?»

«Нет, ничего, так, немного... нога».

«Да, да... это бывает... поболит и пройдет. Это не страшно».

Постоял, помолчал, сел. Случайный прохожий.

«Это не страшно. А я вот... зачем я иду?»

И полегоньку, с запинками, начал рассказывать, неизвестно зачем, себе самому, как он узнал от приехавшего товарища и земляка, что его мать умерла. Уже давно умерла, а он не знал. Уже месяца три, как умерла. А он это время все ей писал, и часто писал. Он любил свою мать; единственный друг. Видно, там адрес его потеряли. Или писем его не нашли. Да и кому находить? Жила она одна-одинехонька. Сына ждала, а сын на полгода уехал — в языках совершенствоваться, покой ее зарабатывать. А покой пришел сам.

«...И вот... буду жить. Экзамены бросил. Не додержал. И поехал. Я тут, в вашем городе, слез, а еще верст тридцать пешком.— И он машинально тронул ее руку:— Не плачьте!»

Тут Никита Петрович, рассказывая, сам взял руку Оленьки своею большою рукой, крепко пожал и отпустил. Движение это было

непроизвольно и коротко, как если бы сам себе не отдавал в нем отчета. Оленька тихо и очень задумчиво повела на него головой, а он между тем продолжал:

«Не плачьте!»

«Я слушаю вас,— отвечала она.— Я не плачу».

«Да, да... конечно. Это я так... я, скорей, о себе».

«Что вы? Нет! Говорите!»

Слова были коротки, не очень как будто и связны, но явственно они передавали движение сердца.

И он еще посидел. Немного. И еще, как бы опять себе самому, припоминал кое-что по кусочкам из жизни своей с покойною матерью: детство и как с нею он расставался.

И вдруг, разволновавшись, замолк и поднялся.

«Ну, прощайте теперь!»

И опять зашагал по дороге.

Девушка, верно, не плакала. Но она вся замерла и глядела ему вслед. Она была неподвижна, но огромное движение возникло в ней — смятение чувств, ей самой непонятное. Что-то роилось и сталкивалось, перемещалось; так, быть может, в бутоне вдруг задрожат все лепестки, перед тем как развернуться цветком.

Она протянула руку за уходившим, и рука упала на траву. Тогда, не отдавая себе отчета, зачем, почему, она его позвала:

«Погодите! Подите сюда! Мне вам что-то необходимо сказать».

Он обернулся и немного помедлил, будто безмолвно спрашивал, что же она хотела сказать.

Но она сама не знала этого, и когда снова он к ней подошел, она так ничего и не сказала.

Однако же, кажется, он (он был все же постарше) что-то в ней понял. Он наклонился к ней и вгляделся в нее — в глаза её, полные света и навернувшихся слез. И его самого, я это знаю наверное, так же как бы зашатало. Ну, так молодой тополек вдруг зашатается под налетом внезапного ветра. Но и он ничего не сказал и не мог ничего сказать: думы его, с которыми шел, были первее всего. Он не мог ничего другого пустить в свою душу. И, однако же, на минуту сердце его приоткрылось, и две эти женщины — мать и незнакомая девушка — как бы смешались в одну. Он взял ее руку и поцеловал.

И вот девушка снова осталась одна и продолжала сидеть, как сидела. А скоро опять птичьею стайкой набежали подружки, приятели: самолет опустился действительно, но на минуту — они видели и ничего не видели.

«Да что же с тобой? Что ты сидишь? Ты, кажется, плачешь?»

«Нет, я не плачу. Это нога у меня...»

Те принялись хлопотать.

«Больно? А где?»

«Нет, ничего,— сказала она, сдерживаясь.— Отойдите. Совсем не нога».

И вдруг зарыдала. Быстрые слезы закапали ей на руки на грудь, на подол ее платья, на траву...

* * *

Нам не хотелось нарушать наступившего молчания. Никита Петрович, однако, прервал его сам.

— Ну, вот мой рассказ,— промолвил он, пытаясь улыбнуться.— А впрочем, была и еще одна частность — странная, может быть, к делу не относящаяся, но она крепко врезалась в мою память.

— Да ведь вы же сказали, что все это выдумано. При чем же тут память?— не очень-то кстати, но по молодой своей честности перебила Наташа.

— Конечно, не «память»,— я хотел сказать, «воображение»,— быстро поправился он.— Это у него в память врезалось. Когда он целовал ее руку, то увидел странную вещь: у девушки той... вот именно здесь было большое родимое пятно.

И тут произошло так. Кончая последнюю фразу, он быстро опять взял руку Оленьки и чуть отогнул набегавший на кисть длинный рукав, что-то как бы проверяя. Это было для всех неожиданностью.

Девушка слушала, доселе растроганная, но тут она вспыхнула и быстро отдернула руку.

— Как вам не стыдно! - вскричала она.— И как вы заметили? И кто вам дал право смеяться над этим?!

Оленька в гневе была хороша, и голос ее зазвучал как струна, туго натянутая. Но что же, однако, все это значит? Что же Никита Петрович?

Ни у одного человека, пожалуй, за всю мою жизнь я не видал такого лица, какое было в эту минуту у старого моего знакомца. Как если бы время через все его долгие, медлительные годы бежало стремительно вспять. Не умею о том рассказать. Но вот на поезде проносишься мимо других, встречных вагонов — мелькают они и сливаются между собою, и видишь сквозь них и здания, и людей, и деревья.

И вдруг он издал какой-то возглас, в котором лишь звук, не успевший одеться в слова, захвативший дыхание, выдавал ту великую бурю, что на него налетела, бурю и радость.

Вряд ли он слышал возмущение Оленьки, вряд ли и видел, как вслед за минутною вспышкой, взглянув на него, крепко она сжала губы и виновато потупила взор; и вообще вряд ли он что-нибудь возле себя замечал.

Исчез он с какою-то непостижимою быстротой, не вымолвив слова, ни с кем не попрощавшись. И мы отнеслись к этому просто, как если бы так и быть надлежало.

Оленька Таракан тотчас удалилась к Наташе, о чем-то они пошептались, и скоро она также ушла. Все было ясно теперь: он говорил о себе!

Наташа зашла перед тем, как ложиться, как и всегда.

— Наташа, о чем вы шептались?

— О папа, как странно! Ведь тараканчик Оленьки — у нее это, папа, наследство от матери. И у мамы ее такое же пятнышко, и там же как раз. Он угадал!

— Так и ты догадалась?

— Мы обо всем догадались,— отвечала она и за себя и за Оленьку.

Мне стало вдруг весело. Я думал: «Однако нужного ему человека Никита Петрович у меня пропустил, а нашел зато самое для себя дорогое! Так вот как задумчивый наш человек — с каким запозданием, но и с упорством каким! — нагнал-таки свое прошлое...»

— Ну, что же, Наташа, пожалуй, теперь надо выписывать Олину маму?

— А то, может, Никита Петрович сам съездит за ней? — возразила Наташа, лукаво улыбнувшись.— И уж на поезд, поверь, не опоздает... Задумчивость кончилась!

Наташа моя не актриса, но она все-таки умница.

1940

СОДЕРЖАНИЕ

Я. Волков. Талант и совесть . . . 3

ПОВЕСТИ

Возлюбленная — Земля 21
Калина в палисаднике 43
Душка 97
Крест на могиле 141
Повесть о Спиридоновых 156
Феодосия 179
Красная смородина 254
Товарищ из Тулы 301

РАССКАЗЫ

Сон Сергея Ивановича 331
Варенька из Прилеп 337
Двойной орешек 346
Сад 363
Неувядаемая 368
Уход 375
Вечер в театре 392
Вор 403
Жаркий день 413
Аркадий Петрович и мышь 419
Белая зима 423
Петькина удача 430
Серебряная свадьба 436
Ласточка-парус 444
С севера — на север! 453
Хитрое перо 461
Рассказ о прохожем 472

Новиков И. А.

Н 73 ВОЗЛЮБЛЕННАЯ — ЗЕМЛЯ / Вступ. ст. Я. Волкова; Ил. Б. Забирохина. М.: Правда, 1989.— 480 с., ил.

В сборник известного русского советского писателя И. А. Новикова (1877—1959) «Возлюбленная — Земля» вошли новести и рассказы разных лет. Автор знаком читателям по дилогии «Пушкин в изгнании». Данный сборник предлагает наблюдения И. Новикова о событиях 1905 года, о жизни советских людей в послеоктябрьский период. Впечатления писателя воплощены в художественную форму повестей и рассказов.

Н $\frac{4702010200-1875}{080(02)-89}$ 1875—89 84 Р 7

Иван Алексеевич **НОВИКОВ**

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ — ЗЕМЛЯ

Редактор Г. Н. Захарова

Оформление художника А. И. Неровного

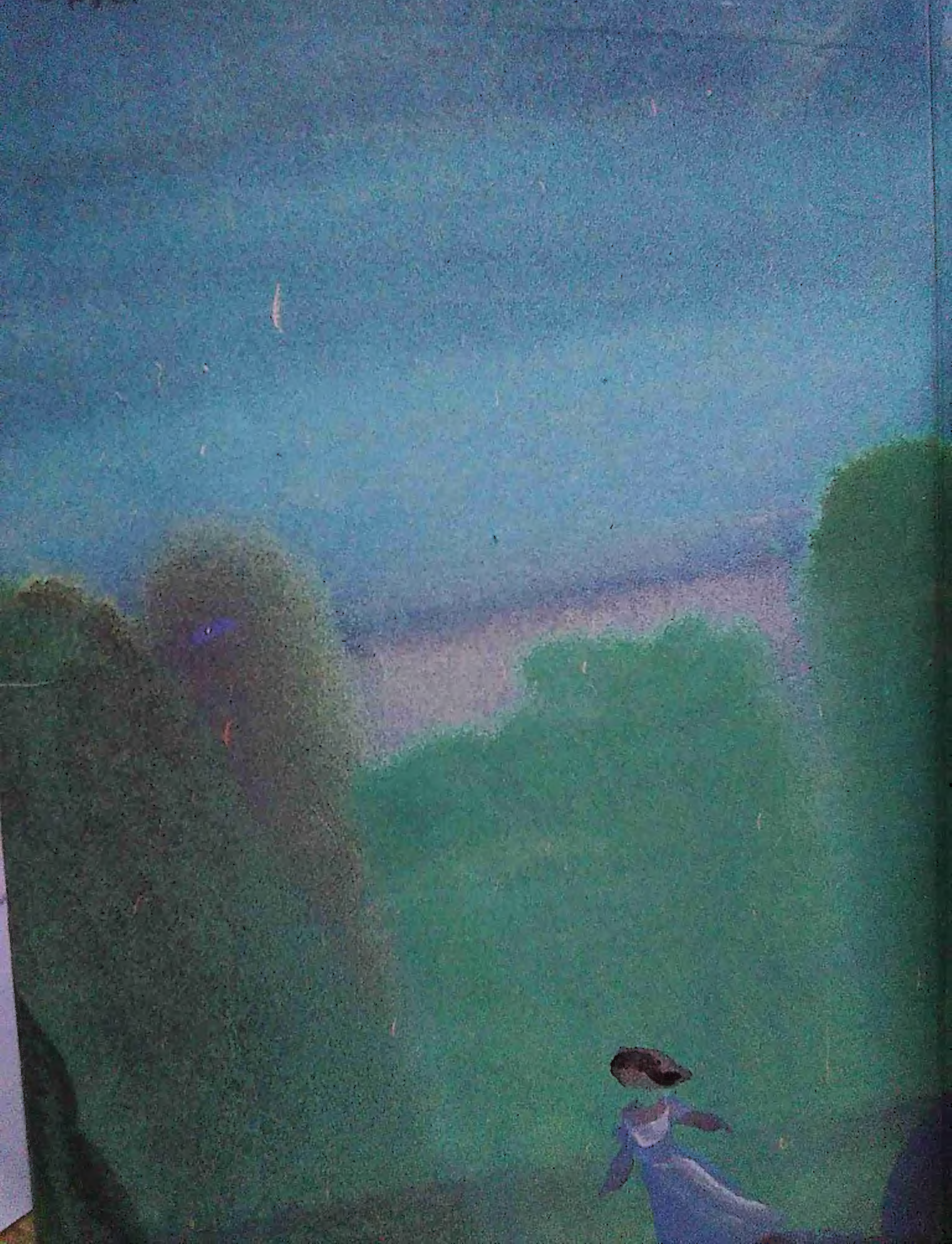
Художественный редактор И. С. Захаров

Технический редактор В. С. Пашкова

ИБ 1875

Сдано в набор 21.07.88. Подписано к печати 23.12.88.
Формат 60×90¹/₁₆. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Эдисон». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 30,00. Усл. кр.-отт. 60,50. Уч.-изд. л. 34,28.
Тираж 400000 экз. (3-й завод: 200001—300000 экз.).
Заказ Б-167. Цена 3 руб.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства Татарского обкома КПСС, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.

5 руб